

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион	Коялович М. О.	Соловьев В. С.
Св. Нил Сорский	Лешков В. Н.	Бердяев Н. А.
Св. Иосиф Волоцкий	Погодин М. П.	Булгаков С. Н.
Москва – Третий Рим	Беляев И. Д.	Трубецкой Е. Н.
Иван Грозный	Филиппов Т. И.	Хомяков Д. А.
«Домострой»	Гиляров-Платонов Н. П.	Шарапов С. Ф.
Посошков И. Т.	Страхов Н. Н.	Щербатов А. Г.
Ломоносов М. В.	Данилевский Н. Я.	Розанов В. В.
Болотов А. Т.	Достоевский Ф. М.	Флоровский Г. В.
Пушкин А. С.	Одоевский В. Ф.	Ильин И. А.
Гоголь Н. В.	Григорьев А. А.	Нилус С. А.
Тютчев Ф. И.	Мещерский В. П.	Меньшиков М. О.
Св. Серафим Саровский	Катков М. Н.	Митр. Антоний Храповицкий
Шишков А. С.	Победоносцев К. П.	Поселянин Е. Н.
Муравьев А. Н.	Фадеев Р. А.	Солоневич И. Л.
Киреевский И. В.	Киреев А. А.	Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Хомяков А. С.	Черняев М. Г.	Башилов Б.
Аксаков И. С.	Ламанский В. И.	Концевич И. М.
Аксаков К. С.	Астафьев П. Е.	Зеньковский В. В.
Самарин Ю. Ф.	Св. Иоанн Кронштадтский	Митр. Иоанн (Снычев)
Валуев Д. А.	Архиеп. Никон (Рождественский)	Белов В. И.
Черкасский В. А.	Тихомиров Л. А.	Лобанов М. П.
Гильфердинг А. Ф.	Суворин А. С.	Распутин В. Г.
Кошелев А. И.		Шафаревич И. Р.
Кавелин К. Д.		

МИХАИЛ МЕНЬШИКОВ

**ВЕЛИКОРУССКАЯ
ИДЕЯ**

ТОМ I

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2012

УДК 141.8(470)

ББК 87.3(2)6

М 51

Меньшиков М. О.

М 51 Великорусская идея / Сост., предисл., коммент. В. Б. Трофимовой / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2012. — Т. I. — 688 с.

В книге публикуются главные труды великого русского мыслителя, публициста и общественного деятеля Михаила Осиповича Меньшикова (1859–1918). В своих произведениях он призывал русских людей к самосохранению русской нации, отстаиванию прав русских на своих территориях. «Мы, русские, – пишет Меньшиков, долго спали, убаюканные своим могуществом и славой, – но вот ударил гром небесный, и мы проснулись и увидели себя в осаде – и извне, и изнутри. Мы видим многочисленные колонии евреев и других инородцев, постепенно захватывающих не только равноправие с нами, но и господство над нами, причем наградой за подчинение нам служат их презрение и злоба против всего русского».

С Петра I, считает Меньшиков, Россия глубоко завязла на Западе своим просвещенным сословием, которое хочет жить не хуже, чем западный обыватель. Российская интеллигенция и дворянство не могут понять, что высокий уровень потребления на Западе связан с эксплуатацией им всего остального мира. Как бы русские люди ни работали, они не достигнут уровня дохода, который на Западе получают путем перекачки в свою пользу неоплаченных ресурсов и труда других стран.

Меньшиков отмечает неравноправный обмен, который западные страны осуществляли с Россией. Цены на русские сырьевые товары, впрочем, как и на сырьевые товары стран, не принадлежащих к западной цивилизации, были сильно занижены, так как недоучитывали прибыли от производства конечного продукта. В результате значительная часть труда, производимого русским работником, уходила бесплатно за границу. Русский народ беднеет не потому, что мало работает, а потому, что работает слишком много и сверх сил и весь избыток его работы идет на пользу европейских стран.

Великий русский мыслитель был убит еврейскими большевиками на берегу озера Валдай на глазах своих детей.

ISBN 978-5-4261-0009-1

© Институт русской цивилизации, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Россия переживает сейчас неслыханное унижение, и ей предстоят еще Бог весть какие беды. <...> Чудо воскресения начнется, когда поймем, что жизнь наша – божественна, что она заслуживает не только глубокого уважения, но и героической обороны»*, – в этом высказывании выражено идейное и нравственное кредо выдающегося русского мыслителя, публициста и литературного критика Михаила Осиповича Меньшикова. Под героической обороной он понимал постоянный самоотверженный труд на благо России, выполнение своих нравственных обязательств, искреннюю веру в Бога, пробуждение национального чувства, основанного на понимании государствообразующей, имперской роли русской национальности.

Михаил Осипович Меньшиков родился 23 сентября (05 октября) 1859 г. в городе Новоржев Псковской губернии, был крещен 25 сентября. Михаил Осипович происходил из разночинцев: отец Осип Семенович служил коллежским регистратором и был сыном сельского священника. Мать Ольга Андреевна происходила из обедневшего дворянского рода Шишкиных. Семья Меньшикова была многодетной и очень бедной. До шести лет Меньшикова учила грамоте и воспитывала мать. Мать и отец Михаила Осиповича были очень религиозны, любили природу. В семье Меньшиковых воспитание детей было проникнуто религиозностью, духовностью. «Но были и добрые длинные вечера, когда за окном

* Как воскреснет Россия? // Новое время. –1908. – 13 апреля.

стонала осенняя непогода или бушевала снежная вьюга, дети забирались на теплую печку, тушили лампу, чтобы не тратить дорогой керосин, и все вместе с отцом и матерью долго пели любимые песни. Кончались эти вечера пением молитвы “Слава в Вышних Богу”^{*}. В 1870 году семья писателя переезжает в уездный городок Опочка, где Михаил Осипович учится в уездном училище, которое заканчивает в 1873 году. В том же году при помощи влиятельного родственника он поступил в Кронштадтское морское техническое училище, которое закончил в 1878 году и получил должность кондуктора корпуса флотских штурманов. Еще в годы учения в Кронштадтском морском техническом училище будущий писатель стал инициатором создания ученического журнала «Неделя», который он редактировал все время обучения в училище. После окончания училища Меньшиков участвует в ряде морских кругосветных экспедиций и получает звание инженера-гидрографа. Еще с конца 1870-х годов Меньшиков начинает заниматься журналистикой, печатается в «Кронштадтском вестнике», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Голосе», «Руси». Впечатления о плавании на фрегате «Князь Пожарский» легли в основу очерков, которые публиковались в «Кронштадтском вестнике» в 1878–1879 гг., а в дальнейшем составили книгу очерков «По портам Европы» (Спб., 1884). В 1884–1889 гг. в «Кронштадтском вестнике» публиковались также и рассказы Меньшикова из морской жизни. В 1880–1884 гг. будущий писатель в немногие свободные от службы часы слушает лекции в Санкт-Петербургском университете. Именно в этот период Меньшиков знакомится со знаменитым русским философом Владимиром Сергеевичем Соловьевым (1850–1900), который в это время читал лекции в Санкт-Петербургском университете. Уже в начале XX века Меньшиков напишет очень интересные воспоминания о Вл. Соловьеве, которые

^{*} *Поспелов М., Лисовой Н.* Естественный стиль: Штрихи к биографии и творчеству М. О. Меньшикова // *Меньшиков М. О.* Выше свободы. – М., 1998. – С. 417.

опубликованы в «Литературных характеристиках» книги «Критические очерки» (1901).

Живя в Кронштадте и участвуя в собраниях флотской и армейской молодежи, в 1883 году Меньшиков знакомится с уже знаменитым тогда поэтом С. Я. Надсоном. В дальнейшем Меньшиков напишет воспоминания о Надсоне и посвятит его творчеству большую критическую статью, которые войдут в книгу «Критические очерки» (1899–1901). Надсон оценил литературный талант молодого штурмана. Поэт ободряющим приветливым словом, профессиональными советами поддерживал литературные опыты Меньшикова. В одном из писем Меньшикову С. Я. Надсон пишет: «Я зол на Вас за то, что Вы не верите в себя, в свой талант. Даже письмо Ваше художественно. Пишите – ибо это есть Ваша доля на земле. Жду томов от Вас...»^{*} Именно по рекомендации С. Я. Надсона главный редактор газеты «Неделя» П. А. Гайдебуров пригласил Михаила Осиповича сотрудничать в его газете, где Меньшиков сначала публиковал судебные очерки.

С 1887 году Меньшиков становится младшим производителем работ Картографической части Главного гидрографического управления. В 1887–1892 гг. во время службы в Главном гидрографическом управлении Михаил Осипович публикует несколько оригинальных и переводных работ по специальности «Руководство к чтению морских карт, русских и иностранных» (Спб., 1891), «Люция Абоских и восточной части Аландских шхер» (Спб., 1892).

В 1892 года Меньшиков выходит в отставку в чине штабс-капитана и целиком посвящает себя журналистике и литературной деятельности. В этот же период Меньшиков начинает входить в русское литературное сообщество, знакомясь с А. П. Чеховым, Н. С. Лесковым, Л. Н. Толстым, Н. Н. Страховым, Я. П. Полонским. Эти встречи определили дальнейшее творчество Меньшикова. Все перечисленные знаменитые писатели благожелательно и с сочувствием отнеслись к начинающему литератору, отмечая большой талант

^{*} Цит. по: Там же. – С. 416.

и незаурядность Меньшикова. Разделяя взгляды народников, Меньшиков в 1890-е годы причисляет себя к толстовцам, в дальнейшем, когда воззрения Л. Н. Толстого изменились в сторону противостояния с государством, Церковью и армией, Меньшиков вел острую полемику с писателем и его последователями. В юности он не был увлечен революционным подпольем, будучи либеральным народником, приверженцем теории малых дел, в то же время не стал верным последователем Л. Н. Толстого. Меньшиков сам отмечал присущий ему консерватизм мировосприятия, соединявшийся с весьма критическим отношением к власти: «При всей сложности моей натуры я, кажется, более государственный, чем революционер, ибо при двукратном выступлении революции – в 1881 и 1905 гг. – я безотчетно становился на сторону государства. Но ничто в моей жизни меня лично так не жалило и не угнетало, как безнаказанность высоких чинов знакомого мне морского ведомства... Возмущала безнаказанность и других многих провинившихся сановников, но там для меня не было бесспорных доказательств вины... Я убежден, что ничто так не развращает народ и не революционизирует его в большей степени, чем безнаказанность зла в пределах самой власти. Вся подлая часть народа получает при этом неслыханную поддержку, соблазн и оправдание. Вся благородная часть народа получает глубокое оскорбление»*.

Итак, с 1892 года Меньшиков становится штатным сотрудником народнической газеты «Неделя», а затем – секретарем редакции. С середины 1890-х годов он уже является ведущим критиком и публицистом этой газеты и ее литературно-критического приложения – «Книжеч “Недели”». В дальнейшем писатель исполнял обязанность фактического заведующего редакцией «Недели». В этот период Меньшиков активно подтверждает свои нравственные принципы благородными и решительными поступками: на его литературные гонорары устраиваются столовые для го-

* Цит. по изд.: Шлемин П. И. М. О. Меньшиков: Монография / РАН, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – М., 1993. – С. 8.

лодающих, а за некоторые его статьи «Неделя» подвергается цензурным взысканиям. Будучи органом народничества, газета «Неделя» отразила все изменения народнической идеологии. С 1870-х годов народничество заметно «правеет». В 1880–1890-е годы газета является органом либеральных народников, которые выступают против революционных преобразований. Революционным преобразованиям поздние либеральные народники противопоставляют программу культурничества и самоусовершенствования. В этот период лицо газеты определялось статьями правого либерального народника Я. В. Абрамова, который призывал отодвинуть на второй, на третий план широкие общественно-политические вопросы. А другим идеологом газеты «Неделя» в этот период был М. О. Меньшиков, который выступал на ее страницах с проповедью опрощения в земледельческом труде и «самоусовершенствования в духе любви к ближнему», пропагандировал «теорию малых дел». Эту программу самоусовершенствования писатель противопоставлял методам революционной борьбы Н. В. Шелгунова, который на страницах журнала «Русская мысль» критиковал «теорию малых дел».

В период работы в газете «Неделя» и журнальном приложении к газете «Книжки “Недели”» Меньшиков публикует ряд очень значимых работ, показывающих развитие его идейно-философских воззрений. Среди таких работ необходимо назвать идейно значимую статью «Совесть и знание»*, посвященную вопросам общественной нравственности. В ней Михаил Осипович спорит с В. А. Гольцевым (г. О. Т. В.), задавая риторический вопрос: «Нужна ли совесть?» В полемике Меньшиков отстаивает главенство совести по отношению к знанию и их неразрывное единство в вопросах нравственного просвещения. Можно сказать, что заявленный примат совести стал для Меньшикова главным принципом не только его литературно-критического творчества 1890-х годов, но и определял всю его публицистическую деятельность уже в начале XX века. Специфика взглядов Меньшикова

* Русская мысль. – 1895. – № 7.

1890-х годов проявилась в книге «Думы о счастье» («Книжки “Недели”», 1894 и отдельные издания 1898 и 1901 годов). Принято считать, что в этом произведении отразились народнические воззрения писателя того периода, его увлечение учением Л. Толстого. Конечно, это верно, но лишь отчасти. Эта книга – итог размышлений писателя о судьбах человеческого индивида, его труде, проблемах городской семьи, городской цивилизации, прогресса в XIX столетии с точки зрения нравственного идеала Меньшикова. Размышлять об итогах близящегося к концу столетия – удел властителей дум рубежа веков. В своих тревогах и сомнениях за судьбы общества и цивилизации Меньшиков заметно сближался с К. Леонтьевым, О. Шпенглером, Вл. Соловьевым, В. Розановым, С. Мельгуновым, Г. Зиммелем и др. Всех столь непохожих мыслителей объединило предчувствие грядущей трагедии, непоправимого изменения всего общества и человека. С одной стороны, все перечисленные мыслители признавали, что в XIX веке необычайно интенсивно развивалась промышленность, пути сообщения, было сделано множество научных открытий, меняющих представления о природе и человеке, в области медицины были выявлены причины многих тяжелейших заболеваний, разработаны методы их излечения или поддержания жизни больных, в социально-бытовой сфере много внимания уделялось повышению гигиены повседневной жизни людей, улучшению их бытовых условий. Усилия многих великих людей Европы XIX столетия были направлены на гуманизацию общества, некоторое смягчение общественных нравов. Но европейское общество от этого не стало счастливее. Представители философии жизни Ф. Ницше, А. Шопенгауэр поставили перед цивилизованным европейским обществом вопрос: что такое жизнь и какова ее ценность? Эти мыслители поставили под сомнение все гуманные идеи XIX столетия, прямо сказав, что жизнь человека ничего не стоит, что право всегда на стороне сильного, что первобытная дикость, только слегка замаскированная цивилизацией, даже стала еще более жестокой. Европейское общество с не-

годованием отвергало подобные идеи, но их правота стала подтверждаться уже в начале и первой половине XX века небывалым террором, локальными и мировыми войнами, социально-политическими потрясениями. Примерно в одно время с О. Шпенглером М. О. Меньшиков в книге «Думы о счастье» признает: «Никогда человечество не было так многолюдно, образованно, могущественно и богато, как теперь, но никогда еще, кажется, дух скорби не овладевал с такою силой именно лучшими представителями человечества. Тончайшим ядом отрицания отравлена радость жизни; просвещенные расы утомлены, добытая бесконечными усилиями роскошь оказывается напрасной... Искусителем, обещавшим “покорить все народы и царства мира”, наша цивилизация сделала печальную ошибку, от которой предостерегал Христос. ... И из среды этих-то нашедших земной Эдем миллионов раздаются вздохи отчаяния, мрачного и неукротимого. Целое столетие было наполнено бурями политического возрождения, жестокими битвами за права, но все возможные “права” добыты, по крайней мере, для многих миллионов, осуществлена свобода – мечта благороднейших душ, и именно из среды пользующихся этим благом поколений слышится трагический вопрос: “Стоит ли жить?”* Все достижения цивилизации конца XIX века лишь усилили крайние пессимистические настроения в обществе. Меньшиков задается вопросом: в чем заключается счастье? Писатель обращает внимание на увеличившееся количество самоубийств в среде образованных, обеспеченных и успешных людей. С чем это связано? Писатель находит ответ на этот вопрос в том, что современному ему обществу «недостает стихии, которою, как грудь кислородом, дышит здоровая душа человека, которою она и живет, и радуется. Недостает любви, жалости человека к человеку**». Человек в городской среде оказывается замкнут в самом себе. Единственным условием счастья человека, залогом его психического здоровья является «тот ма-

* Меньшиков М. О. Думы о счастье. – Спб., 1898. – С. 1, 2.

** Там же. – С. 6.

ленький мир близких, в которых живешь душою»*. Михаил Осипович напоминает, что подлинное человеческое «я» всегда есть «мы», только в «мы» человек обретает счастье и покой. Любовь человека к ближним нуждается в ответной любви. К сожалению, именно в городской семье основанная на любви друг к другу духовная связь между ее членами очень часто нарушена. Разобщению способствует и образование: люди разных профессий не могут найти общих точек соприкосновения для общения, круг привязанностей сужается для цивилизованного человека пределами его профессии. Он лишен также и дружеского общения, которое подменяется формальным общением. Меньшиков побуждает к активной просветительской работе, особенно сельской интеллигенции. Он не принимает жалоб людей, подобных героям Чехова. Писатель призывает культивировать жизнь народа в деревне, просвещать лучших представителей народа, создавать народную интеллигенцию через народные школы, личное просветительство. В городской жизни он предлагает активно использовать все возможности города для создания собственного дружеского круга общения, надо только искать хороших людей, добрых и умных, именно из таких людей и создавать свой круг общения. Он приводит в пример движение нового Христианства в Европе, старых квакеров, которые создавали свои общности вне социальных преград, сословий, богатства. Меньшиков напоминает, что пересоздание мира начинается с собственного пересоздания: человек возвышенный, светлый духом – столь редкое явление, именно такие люди могут стать центрами общения, подобно святым, к которым обращаются даже после окончания их земной жизни. Другое условие пересоздания общественной жизни, по мысли писателя, – преодоление разобщения русской интеллигенции с русским народом. Меньшиков приводит в пример Европу, где культура складывалась в самом народе, в течение веков сближая все слои общества в одно целое, формировала «общую душу» нации. У нас же слово «патриотизм» звучит фальшиво, слова

* Там же. – С. 7.

«отечественный», «отечество», «русский обычай» произносятся русской интеллигенцией исключительно с иронией. В своем большинстве русская интеллигенция недовольна своей страной, презирает ее. Писатель полагает, что это презрение, возможно, вполне заслужено, но эта «холодность» к своему отечеству – «несчастье». Только война в русском обществе способна на некоторое время пробудить патриотизм. Именно в отделении от народа Меньшиков видел причину вырождения русской интеллигенции. Граждане должны участвовать разумом и совестью в интересах своей страны – именно это и называется политической жизнью. Он даже высказывает весьма смелое суждение о «ненужности» интеллигенции в качестве особого сословия. Более того, интеллигенция может даже приносить вред, так как она является слепым орудием, которое одинаково можно использовать для каких угодно целей. Интеллигентные люди наемных профессий продажны: их можно нанять для отправления винной монополии, для сочинения газетных кляуз, для эксплуатации бедных слоев народа: «... ведь все наши хищные предприятия, фиктивные компании, банки, даже деревенские ростовщики действуют у нас при помощи интеллигенции»*. В социальной борьбе интеллигенты-специалисты всегда к услугам тех, кто больше заплатит. Продажными оказываются не только мелкие служащие, но и министры, писатель приводит примеры скандальных судебных процессов на Западе. Сугубая специализация интеллигенции ведет к ее продажности. Этот вопрос Меньшиков поднимал в связи с рассмотрением назначения журналистики (статья «Назначение журналистики», 1894). В книге «Думы о счастье» Меньшиков предложил средство преодоления продажности интеллигентных профессий: в обществе образованность не должна составлять специальности, особого сословия, когда просвещенный класс совершенно отделен от народа. По мнению писателя, нужно целенаправленно и систематически просвещать народ, стремясь сделать его достаточно культурным. Необходимо фор-

* Меньшиков М. О. Думы о счастье. – С. 50.

мировать народную интеллигенцию. Тогда найм одного сословия против другого и откровенный массовый подкуп будет осуществить сложнее. Тогда образование могло бы вооружать не только дурных людей и дурные цели, но и добрые дела и помыслы. Исповедуя толстовские идеи, Меньшиков полагал, что интеллигенция должна превратиться в живой орган народа. В статье «Народ» книги «Думы о счастье» Меньшиков развивает идею о необходимости формирования народной воли через предоставление народу самоуправления: «Политическая жизнь в наш исторический период – необходимое условие счастья человека, этого “общественного существа”; в чем же состоит и общество, как не в участии всех в общем деле? <...> Гражданские инстинкты у нас совсем слабы; их свойство – самопожертвование, мужество, достоинство – почти вымерли среди интеллигенции. Клянчить о подачках – вот и вся наша “гражданственность”»*.

От проблем отдельного человека и общества Михаил Осипович переходит к рассмотрению народа и его труда. Далее – к современной ему цивилизации и роли прогресса в цивилизации общества, народа и отдельного человека. Выход из кризиса городской цивилизации писатель видит в возвращении к вере, культе веры, стремлению к Вечности, Богу. Заключительная глава книги – «Бог» – дает ответ на вопрос: что такое счастье жизни? Если в предыдущих главах Меньшиков зачастую следует учению Л. Н. Толстого, популярной народнической теории «малых дел», высказывает идеи, близкие воззрениям О. Шпенглера и других мыслителей, то в этой главе он выступает как оригинальный религиозный мыслитель: заключительная глава его книги «Думы о счастье» дает надежду, ободряет, показывает действительный выход из того настроения крайнего пессимизма и тревоги, которое охватило европейское общество в преддверии нового XX века. «Древние думали, что спасает *вера*. И я думаю, это условие осталось не менее нужным и теперь. Вера есть сознание идеала, она есть горячая надежда, на-

* Меньшиков М. О. Думы о счастье. – С. 53.

пряженная до любви. Я думаю, это прекрасное настроение необходимо и теперь, как ясная погода духа, как здоровый климат его. Но наш век верует только в коротенькие, мгновенные вещи: в “факт” – научный или политический, все равно, несмотря на то, что все философии, основанные на факте, рвутся, как паутина. Древние поступали правильнее, связывая свою веру с вечностью^{*}. Ощущение вечности, по убеждению Меньшикова, не может не присутствовать в жизни человека: «Знать и ежеминутно чувствовать, что есть великая тайна, которая должна же когда-нибудь раскрыться, – знать это и не верить – нельзя»^{**}. В системе воззрений Михаила Осиповича религиозное чувство занимало особое место: вера являлась необходимой частью всякой научной системы, а тем более серьезного общественного служения. Ощущение необходимости веры со стороны человека, принадлежавшего к поколению разночинной атеистической интеллигенции 1870–1880-х годов, да еще получившего серьезное естественно-техническое образование (напомним, что Меньшиков бы инженером-гидрографом, военным моряком), резко отличает Меньшикова от его знаменитых ровесников, например от А. П. Чехова.

Главным в жизни общества Меньшиков считал художественно-тонкую культуру, а веру он называл составной частью этой культуры: «Культ веры составляет продукт утонченной душевной работы целого народа, эпохи, культуры. Это общая душа огромной массы людей»^{***}. Меньшиков подчеркивал, что в народе «хранится взгляд древнего гордого племени, инстинктивно чувствующего себя хозяином в своих пределах»^{****}.

Интеллигенция, по мысли писателя, должна была стать истинным государственным представителем народа. Но для этого она должна была заслужить нравственное право

* Там же. – С. 170.

** Там же. – С. 171.

*** Там же. – С. 173.

**** Там же. – С. 54.

на подобное представительство. Иначе голос народа превращается в подьяческий, купеческий, кулацкий голос. Все формы общественного представительства только выиграли бы от соединения образованного класса с народом. Меньшиков показывает это на примере печати. По его мысли, нравственный долг всех благородных представителей интеллигенции – участвовать в печати, чтобы печать из шутовской толпы «превратилась в группу серьезных и строгих к себе органов, с очевидною авторитетностью знания, совести и таланта, то ради этой авторитетности была бы, может быть, уважена та смелость мысли, которую многие считают теперь опасной в руках полушутовской прессы»*. Меньшиков обращал внимание, что лучшие русские публицисты были «деревенскими хозяевами», приближенными к народу. Именно их талант отличался подлинной простотой, трезвостью. Только в их слове чувствовалась правда, убедительность, именно то, чего не было у «изболтавшихся около своего ремесла городских писателей». Ту же самую ситуацию Меньшиков наблюдал и в различных представительных и попечительских обществах, где народ никогда не был представлен. Интеллигенция должна была устроить из этих обществ подлинные вече, представляющие интересы трудового народа. По мнению Меньшикова, истинная цивилизация должна была «иметь своей колыбелью деревенскую семью». Писатель был убежден, что разум, отделившийся от совести, делается ложным. Отсюда проистекала ложь городской цивилизации, идеалов прогресса.

Путь преодоления индивидуального кризиса и кризиса всей цивилизации Меньшиков видел во внимательном, религиозном отношении к жизни: «Начало мира близко и доступно: сознание этого навевает на человека возвышенное, покорное благой Воле настроение, полное жажды слиться с нею. <...> Чем же должна быть жизнь? Она должна быть *богослужением*, непрерываемым священнодействием пред лицом Создателя. Как богослужение, жизнь должна быть тор-

* Меньшиков М. О. Думы о счастье.. – С. 57.

жественна, серьезна, полна поэзии и мысли, направленной к вечности. В этом священнодействии жрецом должен быть каждый из людей-братьев: молитвою их должна быть любовь, которая “исправится”, как кадило благовонное. Жизнь с Богом – величайшее счастье и завершение счастья*.

Этому выводу созвучно размышление Меньшикова о героизме из книги «Начала жизни» (Спб., 1901). Писатель считал, что единственным способом противостояния жестокости, хаосу внешнего мира является личное нравственное совершенствование каждого отдельного человека, которое не может не отразиться на обществе в целом: «Нравственный прогресс, повторяю я, не только возможен, но и неизбежен, потому что он есть своего рода линия *наименьшего сопротивления* в механике»**.

Идеи, высказанные Меньшиковым в его литературно-критических статьях в 1890-е годы и на рубеже XIX–XX веков, во многом дают ключ к пониманию системы его воззрений, которая проявилась спустя годы, уже в период работы в «Новом времени». Именно эти идеи, многократно переосмысленные, выстраданные, облеченные в более лаконичную форму газетных публицистических передовых статей по актуальным общественно-политическим вопросам, знаменитый публицист развивал в 1900–1910-е годы на страницах «Нового времени» – одной из самых влиятельных русских газет того времени.

Уже во время работы в «Неделе», с начала 1890-х годов, Меньшиков начинает разрабатывать проблему соотношения консерватизма и либерализма, национального и универсального. Принято относить Меньшикова к русским консерваторам, сторонникам сильной национальной империи. Да, это верно. Но опять-таки лишь отчасти. Созданный им Всероссийский Национальный союз относился к умеренно правым партиям политического центра. В то же время, не принимая даже умеренную либеральную идеологию, Меньшиков под-

* Там же. – С. 176.

** Героизм // Меньшиков М. О. Начала жизни. – Спб., 1901. – С. 261.

черкнуто отделял себя от представителей крайне правых партий. Меньшиков вкладывал несколько иной смысл в понятия «консерватизм» и «либерализм», особенно применительно к различным историческим периодам: «Свобода, один звук которой зажигал благородным пламенем сердца лучших людей, раз она добыта, начинает казаться своеволием, добро – ханжеством и т. д. Одним этим секретом исторической перспективы – скрашивать далекие предметы, облекать их таинственную дымкою – объясняется устойчивость двух основных настроений нашего времени – консерватизма и либерализма, чередующихся с довольно строгою правильностью, а иногда и проникающих друг друга»*.

Его понимание этих двух главных течений общественной жизни получает особенно актуальное звучание в наши дни. Михаил Осипович видел в консерватизме и либерализме две стороны одного явления. В двухтомнике «Критические очерки» (Спб., 1899–1902), собравшем наиболее значимые литературно-критические статьи Меньшикова, опубликованные в «Книжках “Недели”», писатель на материале русской и зарубежной литературы подводит своеобразный итог идейным движениям XIX века, выявляет идеологические устремления нового XX века. Одной из первых работ писателя, посвященных соотношению консерватизма и либерализма, России и Европы, была литературно-критическая статья «Две правды», рассматривавшая творчество Я. П. Полонского. В ней Меньшиков соединяет оба явления: «Мне кажется, консерватизм и либерализм, сколько ни были бы затасканы их клички, должны всегда и неизменно интересоваться общество. Это явления органические, неотделимые от умственного строя, и как люди говорят прозой, иногда не зная этого, подобно мольеровскому мещанину, так точно каждый человек со сколько-нибудь оформленным сознанием, независимо от своей воли, или консерватор, или либерал, или романтик, тоскующий по величавой старине,

* Две правды // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – Спб., 1899. – С. 64.

влюбленный в ее живые остатки, или утопист, грезящий о Царстве Божиим (или “Солнечном Царстве” – суть не в оттенках). Натуры широкие и утонченные способны обнять оба настроения и постичь обе правды, таящиеся в них и как бы отрицающие друг друга. Получается третий, на вид весьма странный и трудно разгадываемый тип – консервативно-либеральный, если можно так выразиться*.

Писатель относит к консервативно-либеральному типу всех наиболее талантливых русских писателей: Толстого, Достоевского, даже «постепеновца» Тургенева. Поэтому Достоевского и Толстого то негодуяще объявляли ретроgrадами, то поражались их радикальной либеральности. Подлинный либерализм находил М. О. Меньшиков и в другом известном консерваторе – Я. П. Полонском, долгие годы исполнявшем обязанности цензора. Я. П. Полонский являлся и консерватором, и либералом одновременно. Анализируя поэму Полонского «Собаки», в которой иносказательно (эзоповым языком) говорится об идейных движениях в русском обществе в 1840–1880-е годы, писатель рассматривает соотношение консерватизма и либерализма, их подлинную суть и невольное единство. Подобная двойственность мировоззрения, по словам Меньшикова, была в большей степени свойственна именно талантливым писателям, способным самостоятельно мыслить. Часто оба лагеря, консервативный и либеральный, «не вдумываясь в самих себя, а тем более в истинный смысл противника», ведут непримиримую, почти физическую, а не умственную борьбу друг против друга, разбивая доводы противника, но ничего не созидая взамен. Такое противоборство, по мнению Меньшикова, не способно развивать общество. Противоборство охватило все стороны жизни русского общества, ярко отразилось оно и в русской литературе. Более того, по глубокому убеждению Михаила Осиповича, не вникнув в суть этих двух идейных течений, нельзя понять ни русской литературы, ни всей русской национальной культуры: «Истинная суть консерватизма и либерализма... Вы скажете,

* Там же.

что эта тема не литературная. Но, увы, “нелитературной” она была *когда-то*, когда не было общества в теперешнем смысле этого слова, когда в психологии человека не было особых, теперь столь острых брожений. Я лично из опыта жизни вынес к политической страсти такое же предубеждение, как и к другим страстям, но мы живем в век очень широкого распространения этой страсти, до того широкого, что она дает тон эпохе. В литературе нашего времени политика почти столь же важна, как и эстетика: в этой области политика теперь играет ту же роль, что и религия для живописи Возрождения или история для эпохи романтизма. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Писемский – не говоря о более мелких – создали политический роман, до сих пор преобладающий, и даже Лев Толстой в “Анне Карениной” и “Плодах просвещения” является выразителем общественных течений. Но не понимая ясно подлинной сути консерватизма и либерального направления, можно ли понять Рудина, Инсарова, Базарова, героев “Дыма” или “Бесов”, интригу “Обрыва” или “Плодов просвещения”? Мне кажется, нельзя понять, а потому я считаю законным правом критики говорить и об этом столь важном элементе литературы – психологии политической страсти*.

Пользу или вред для общества консерватизма и либерализма Меньшиков видел в уровне развития культуры общества: если консерватизм поддерживает достигнутый высокий уровень развития культуры общества, то это благо, если же консерватизм закрепляет общество, где царят дикость и звериные нравы, то, обеспечивая сносную жизнь посредственности, такой консерватизм губит все лучшее и оригинальное. Меньшиков полагал, что русской культуре не дали сформироваться как на уровне отдельного индивида, так и в масштабах всего государства. Расстройство патриархального быта отрывало русских людей от их корней. Разночинная интеллигенция перемещалась по необъятным просторам Российской империи, не прирастая к определенному месту. Русский интеллигент не мог сформировать себя – это

* Две правды // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – С. 65, 66.

стало причиной появления «лишних людей», пассивных героев, нытиков, гамлетиков. Наиболее ярким отражением этого типа интеллигента в литературе стали герои Чехова. Русский человек обрел представления чуждой европейской культуры, но не обрел своей воли. Отсутствие воли в русском человеке вообще и русской интеллигенции в частности особенно тревожили писателя: «Разброд интеллигенции есть расстройство культуры, расхищение ее веками складывавшегося типа расы, который служит фундаментом каждого отдельного характера»*. Писатели, поэты, художники – властители дум эпохи – не могли не быть консерваторами, так как видели свою задачу в сохранении форм жизни, сохранении культуры общества и ее передачу последующим поколениям. Меньшиков видел в «историческом воспитании» национальной культурой еще и залог формирования нации: «Таков смысл исторического воспитания, духовной выработки, культуры: она вооружает каждую отдельную личность силою рода, психическими свойствами целой расы. Только в определенной расе человек является в расцвете своей природы, в полноте типа. Но всякое накопление, всякая организация требует известного спокойствия, постоянства условий, т. е. консерватизма**».

Именно сохранение «культы», национальной культуры сформировало в поколении дворянской интеллигенции 1840-х годов необычайную силу духа, слагавшуюся из веры «в мировую тайну» (Бога), чувства долга, чувства прекрасного («умиления к прекрасному»), самоотверженности. Этой силой духа было сформировано все лучшее в русской общественной жизни во второй половине XIX века: литература, наука, подлинно гуманные реформы. Сказанное вовсе не означает, что Меньшиков был непримиримым отрицателем либерализма. В понимание либерализма Михаил Осипович внес очень существенное уточнение, тоже считая его продуктом культуры, притом даже «лучшим». Либерализм Меньшиков связывал

* Там же. – С. 74.

** Там же. – С. 80.

с религией, с реформацией всей христианской культуры. По мнению Меньшикова, возрождение религии было связано с возрождением совести, гуманности через слово Евангелия. Истинный либерализм признает устои и законы, как и консерватизм, но эти законы должны быть основаны на нравственной истине: только тот закон обязателен, который основан на совести. В противном случае закон превращается в беззаконие: «Истинный либерализм, по моему мнению, есть развитие нравственного лозунга, данного две или две с половиной тысячи лет тому назад. Либерализм, как я его понимаю, есть стремящаяся воплотиться совесть»*.

Меньшиков предупреждает об опасности переразвития консерватизма, который проявляется в потере «духа общест­венности», в полном отделении власти от народных масс. Народ при таком консерватизме полностью лишается самоуправления, теряет интерес к своему государственному бытию, как при деспотичных режимах в странах Востока. Таким образом, осознавая неразрывную связь либерализма и консерватизма, Меньшиков воздавал должное русскому либеральному движению 1840–1860-х годов, которое ставило своей высокой целью «построить новое, просторное и свет­лое здание для великого русского племени, вывести его из развалин в дом с “европейскими удобствами”, не исключая удобств сердца, ума и совести. Либерализм желал создать то, что консерватизму стоило бы защищать»**.

Признавая за писателями и художниками столь веду­щую роль в формировании и сохранении национальной куль­туры, Михаил Осипович посвятил ряд аналитических статей выявлению задач журналистики, литературы и художествен­ной критики на рубеже XIX–XX столетий. Эти статьи писа­тель публиковал на протяжении 1890-х годов в «Книжках “Недели”» и собрал в книге «О писательстве» (Спб., 1898). Эпоха рубежа XIX–XX веков потребовала переосмысления не только кардинальных вопросов бытия, сущности прогрес-

* Две правды // Меньшиков М. О. Критические очерки. Т. 1. – С. 105.

** Там же. – С. 118.

са, цивилизации, смысла человеческой жизни, но заставляла задуматься над предназначением тех сфер общества, которые традиционно участвовали в формировании идеологии, общественного мнения, критериев общественной нравственности и художественного вкуса. Подводя итог XIX столетию, русские писатели и критики снова обращались к осмыслению таких явлений, как литература, журналистика, критика. О литературе размышляли знаменитые ученые и публицисты Н. К. Михайловский, А. М. Скабичевский, А. Л. Волынский, В. С. Соловьев, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, С. А. Венгеров и др. Меньшиков дал свою трактовку назначения литературы, критики и журналистики. Его размышления о литературе нельзя отделить от его мыслей об обществе, цивилизации, прогрессе, человеке, Боге, высказанных в книгах «Думы о счастье» и «Начала жизни». Можно сказать, что писатель рассматривает соотношение консервативного и демократического в литературе, критике, журналистике. В статье «О литературе и писателях» (1891) Меньшиков строго осуждает направление натурализма: из-за чрезмерного приближения к толпе, копирования жизни литература потеряла свою власть над людьми, становясь все более демократической («человеческой»), литература утратила «божественные свойства»: «Да, литература с каждым днем теряет свое правящее значение, ее облагораживающая сила падает, из хозяина литература делается слугою и даже, как это ни позорно, часто *лакеем* публики. Не говорите о чрезвычайном развитии журналистики в культурных странах – это-то и есть конец собственно литературе. <...> Журналистика втягивает толпу в литературу, и качество мнений заменяется количеством их; в толпе как был хаос мнений, так и остается. Литература слилась с журналистикой, сделалась в тысячу раз доступнее, чем прежде; она вошла в ежедневную потребность, как табак, как музыка»^{*}. Поскольку писательство сравнялось с толпой, стало выражать ее интересы, то и никакого благотворного влияния современные писатели не могли оказывать на тол-

^{*} Меньшиков М. О. О писательстве. – СПб., 1898. – С. 3.

пу, чаще они были источником дурного влияния, «как дурное общество». Некоторые разновидности литературы были насыщены ядом порнографии, «сословного тщеславия», жажды наживы, мошенничества. По мнению Меньшикова, современная ему литературная школа – натурализм – самая «жизненная» из всех других школ, но в то же время и самая «загрязненная», наименее влиятельная. Именно в натурализме художественность была сведена до репортерства. Меньшиков ставил в упрек даже корифеям натурализма – Золя и Мопассану – отсутствие высокой цели в их творчестве. Против этого выступали и критики-символисты. Михаил Осипович был убежден, что именно литература должна была возрождать идеалы в обществе, а современный ему натурализм и другие течения не могли претендовать на эту роль. Меньшиков рассматривал писательский дар как пророческий: «Для возрождения новой и яркой жизни в обществе необходимо литературное поколение с новым огнем, похищенным с неба, с совершенно новым слогом, которое должно быть *пророческим*, говорящим не о случайностях жизни, а о вечных ее законах. Это слово освобожденного идеала освободило бы литературу от излишней “жизненности”, от порочной склонности приспособляться к пошлым вкусам. Талантливые писатели, наконец, нашли бы в себе горячее сердце, неутолимую жалость к людям, неодолимое стремление увлечь бедный род людской из тьмы египетской в обетованный край достойного человеческого существования»*.

Настолько требовательно подходя к литературе, Михаил Осипович критически оценивает достижения русской литературы XIX века, полагая, что даже великие русские писатели, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, не смогли оказать достаточного благотворного влияния на общество. Даже огромные усилия писателей-демократов, Некрасова, Григоровича, Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, не смогли существенно повлиять на общество. Меньшиков обвиняет в этом литературу: «Да, виновна. Она виновна,

* О литературе и писателях // Меньшиков М. О. О писательстве. – С. 4.

как разум, который не только должен все предвидеть и от всякой опасности предостеречь, но и обязан быть достаточно сильным, чтобы заставить волю повиноваться себе. Литература виновна в недостижении своих хороших целей уже тем, что их не достигла»*. Писатель видел в литературном слове «вещное слово», которое должно было исходить из самых глубин сердца «избранных людей»; это слово являлось в мире новой грозной силой, которая была способна преодолевать любые преграды, опрокидывать даже рутинные «психические устои». Особенно строг Михаил Осипович к Пушкину и Лермонтову: да, они были истинными пророками, «но, к несчастью для общества, они пророчествовали не в меру долга». Меньшиков поставил под сомнение нравственную составляющую творчества Пушкина и Лермонтова: характерными чертами их поэзии не были ни «пробуждение добрых чувств» (если не соединять доброе и красивое), ни прославление свободы, ни милосердие к падшим. По мнению писателя, значительно больше сделали для идейного совершенствования общества другие поэты – Жуковский, Кольцов, Никитин, Некрасов, которых Меньшиков относил ко второстепенным. С пророческой ролью писателя более справились знаменитые прозаики – Тургенев, Гончаров, Толстой, Достоевский. Но и они, по мнению Меньшикова, имели на общество недостаточное влияние, не соответствовавшее мере их дарования. Рассудочность, отсутствие нравственного вдохновения в реалистическом романе не позволяли этим писателям раскрыть свое дарование, нравственно воздействовать на общество. Стихией реального романа являлось знание, а не вера. Целью изображения натуралистического искусства была действительность, а не идеал. Меньшиков восстает против излишне материального отношения к жизни со стороны современной ему литературы. Как и критики-символисты, Меньшиков признавал, что натурализм заимствовал из чуждой искусству естественнонаучной сферы способ освоения действительности. Именно натурализм в крайнем его выражении дошел до

* Там же. – С. 6.

отрицания высшей формы искусства – поэзии. Вместе с общим кризисом культуры в конце XIX века наметился кризис литературных форм и методов. Меньшиков предупреждал об опасности изображать в реалистических романах только отрицательные персонажи. Подобные идеи высказывал также другой известный публицист – В. В. Розанов, коллега Меньшикова по газете «Новое время». По словам Меньшикова, «давящую материальность» ощущали многие великие реалисты – Гоголь, Достоевский, Гончаров, Толстой. В стремлении преодолеть это давление Достоевский вводил в свои романы отдельные трактаты и поэмы, а Толстой – целые исторические и философские отступления. Невозможностью возвыситься до художественной проповеди – высшего назначения писательства, тщетными попытками создать образы положительных героев, носителей нравственного идеала, объяснил Меньшиков душевные драмы и мировоззренческий переворот Гоголя и Достоевского. В направлении художественной проповеди Меньшиков ожидал эволюции творчества Л. Толстого. Исследованию творчества Л. Толстого в этом аспекте посвящены статьи Меньшикова «Работа совести» (1893) и «Сбились с дороги» (рассказ Л. Н. Толстого «Хозяин и работник»)» (1895), вошедшие в книгу «Критические очерки» (1899–1902). Таким образом, Меньшиков одним из первых поставил вопрос о необходимости поиска новых литературных форм, жанров и языка.

В статье «Пределы литературы» (1893) писатель продолжает исследование проблемы новых литературных форм, зависимости литературы от общих изменений национальной культуры. Меньшиков определил литературу как одно из главных искусств, даже больше чем искусство: «В ряду других искусств художественная литература, бесспорно, самое могучее средство выражения культуры. Она до такой степени всеильна, что ее не хочется даже и называть искусством: она – нечто особое и высшее, нечто самостоятельное, вроде науки или философии. Я в известных отношениях ставлю литературу даже выше философии и науки, как единственного

явления, где все мертвые стихии духа – искусства и науки – сливаются в живой организованный состав. Литературу можно назвать изящной наукой или философским искусством*. В этой статье Меньшиков высказывает очень оригинальную идею: литература способна оказывать влияние и на науку. «В художественном слове одинаково приобретают полноту жизни обе правды, свойственные каждой вещи: то, что *есть*, и то, что *должно* быть, истина бытия (идея) и истина идеала (красота). Художественность – в ее высшем творчестве, поэзия, – есть оживление бытия, освобождение духа, как бы заключенного в каждой вещи. Все науки выработались из искусств; литература как бы занимает пограничную линию этого процесса. В то время как низшие искусства дают представления, литература, кроме них, дает понятия, т. е. то, что служит предметом науки»**. Это суждение особенно оригинально и интересно еще и тем, что принадлежит инженеру, естествоиспытателю. Будущее литературы Меньшиков видел в развитии ее нравственной, просветительной функции, в тесном слиянии ее с просвещенным обществом.

«С каждым поколением литература будет все теснее и теснее сливаться с обществом, пока не превратится в полное и притом художественное выражение его сознания и воли. Пределы влияния, до каких может дойти изящное слово, необъятны». Таким образом, Меньшиков ставит знак равенства между литературой и просвещением общества. Меньшиков утверждал: «Если когда-нибудь сбудется мечта пророков, если настанет вечный мир и “народы, распри позабыв, в великую семью соединятся”, то в этом идеальном будущем литература соберет в себе всю нравственную власть общества. Она будет школою общества, судом его, законодательством. Охватив собою “общество мыслящих”, непрерывно растущее, она явится как бы духовною государственностью, не менее повелительно, чем, например, современная государственность на Западе, где власть уже принадлежит обще-

* Пределы литературы // Меньшиков М. О. О писательстве. – С. 272.

** Там же. – С. 264, 265.

ственному мнению»*. В поэзии, по убеждению писателя, мысль и истина облекаются в красоту, этот момент и является пробуждением жизни духа, соединения действительности с ее разумом. Меньшиков подчеркивал, что развитие мысли еще не завершилось; сфера науки еще способна многое заимствовать из пластических искусств, как и эти искусства – от науки. И посредником в этом взаимном обмене могла быть только художественная литература. Подтверждением этого влияния Меньшиков считал творчество многочисленных популярных философов, которые были также и серьезными учеными, а также поэтов, претендовавших на роль мыслителей. Ссылаясь на мнение Шопенгауэра, Меньшиков назвал высшим и наиболее перспективным жанром литературы интеллектуальный роман. Меньшиков отмечал постоянное развитие интеллектуального и нравственного содержания литературы. В литературе проявляется «политический инстинкт» – стремление зрелого человека к самовыражению в обществе. Политический инстинкт проявляется в стремлении к различным формам власти – богатству, знанию, святости. В противоборстве с другими индивидуальностями творческие люди обращаются к сильному оружию души – образной мысли, которая и создает общественное настроение, «общественную душу». Литература и призвана выражать эту новую «общественную душу» в своих основных родах и жанрах или, по словам Меньшикова, в «общественной лирике» – героической поэме, трагедии, наконец, в интеллектуальном романе. Целью интеллектуального романа, по убеждению Меньшикова, является отражение «общечеловеческой нравственности». Меньшиков изучал развитие русской литературы в зависимости от нравственного роста русского общества. Причем писатель был уверен, что для развития литературы (даже появления лирической поэзии) была необходима достаточная свобода и зарождение самобытной национальной культуры. Поэтому в XVIII веке русская литература не могла сформироваться. Меньшиков был убежден, что русская ли-

* Там же. – С. 272.

тература создалась лишь под «освободительными влияниями Запада» в начале XIX века; расцвет же русской литературы в наивысшем ее проявлении – поэзии – совпал с формированием «более мягкой, гуманной цивилизации». В XIX веке роман стал ведущим жанром литературы, который также подразумевал «серьезное» содержание. Жанр романа достиг своего расцвета в произведениях Тургенева, Л. Толстого. Меньшиков ищет ответа на вопрос: почему в конце XIX века литература вновь начинает испытывать серьезный кризис? Писатели создают совершенные по форме, но мелкие по содержанию произведения. Причину этого Меньшиков видел в отсутствии определенной культуры, «стройного общественного миросозерцания». Натурализм не способствовал формированию миросозерцания, а роман – целостное отражение «выработанного и сильного духа эпохи», распался на свои элементы: рассказы, очерки, сцены, эпизоды. По убеждению Меньшикова, литература должна была содействовать всестороннему развитию общества, но в условиях общеевропейского кризиса культуры литература не могла выполнить свое предназначение. В статье «Литературное бессилие» Меньшиков высказывал идеи о формировании, развитии и старении культуры, «гения расы», которые созвучны взглядам О. Шпенглера. Основным условием расцвета творчества «высокой интеллигенции» Меньшиков считал «напряженное сосредоточение народного духа и веяние новой чуждой культуры». Заметным веянием чуждой культуры стало влияние на русскую культуру культуры западноевропейской. Но в конце XIX века и сама культура Европы – источник идейного расцвета и упадка русской культуры – переживала изнеможение, упадок. По мнению Михаила Осиповича, упадок европейской культуры стал следствием «великой духовной катастрофы, разгрома культур, системы и миросозерцаний». Как и в книге «Думы о счастье», в этой работе главными виновниками гибели европейской культуры Меньшиков считал научно-технический прогресс, специализацию всех видов деятельности, разрушение старой культуры и отсут-

стве новой в XIX веке. Создалась цивилизация без культуры. Литературное оскудение было лишь следствием общемирового культурного оскудения, пределы которого были огромны. Признавая великую роль литературы, Меньшиков конкретизирует свою идею о необходимости формирования определенного культа для спасения общеевропейской культуры: «*Величайший интерес времени* вытекает из самого серьезного несчастья времени – отсутствия в мире нового, достаточно определенного культа. Потеря общей цели, анархия направлений духа – вот опасность, преодолеть которую представляет величайшую задачу и для современного общества, и для литературы. Из современного мира как будто выдернута его великая ось, и общее громадное движение рассыпалось на тысячи мелких, раздробленных, случайных. Современный прогресс имеет слишком стихийные свойства; он оказался в крайнем своем развитии силою столь же губительною, как и застой, силою, несовместимую с естественною жизнью человеческого духа»*. Выходом из общеевропейского кризиса культуры Меньшиков считал возвращение к природе, естественной жизни, к вечным идеалам мудрости, неизменным во все века. По мысли Михаила Осиповича, литература должна была способствовать формированию великой культуры, а на основе этой культуры и литература снова могла стать великой. Следовательно, необходимость смены литературных направлений, форм писатель связывал с общим поиском новых форм культуры, которые бы содействовали преодолению общеевропейского кризиса культуры. Новые формы обязательно должны быть связаны с духовными исканиями, с «культом», религиозным началом. В статьях о литературе (книга «О писательстве») тоже отчетливо проявляется религиозное начало в творчестве Меньшикова. Писатель предстает перед нами как мыслитель-идеалист: «То нравственное изнеможение, тот всеобщий упадок духа, на который всюду жалуются, – продукт философского внушения человеку, что он – вещь. Великая лож материализма

* Литературное бессилие // Меньшиков М. О. О писательстве. – С. 27, 28.

в убеждении, что царство человека – исключительно от мира сего, что сущность человеческой жизни – в ее внешности, что радость ее – вне человека, а не в нем самом. Ложь – в смелом отрицании того, что смело утверждать нельзя, в отрицании тех великих, центральных возможностей, которые прямо не признаются, но как величины, не известные в математике, безусловно, необходимы для определения смысла самих известных. <...> *Лучшее* <здесь и далее курсив Меншикова. – В. Т.> есть нечто *новое*, требующее некоторого усилия, чтобы выйти из прежнего положения. Сама материя, безусловно, неспособна на это усилие, которое есть чудо Божественной воли. *Богопроникновение* – вот высшая цель всего, что составляет дух»*.

В «Книжках “Недели”» писатель публикует на протяжении 1897 года этюды «Элементы романа», составившие в дальнейшем его известную книгу «О любви» (СПб., 1899). Кроме того, некоторые вопросы равноправия полов, брака и семьи Меншиков рассмотрел в книге «Начала жизни» (1901) в статьях «Женщина-мать», «Семья», «Дети». Писатель называл любовь «философским камнем, прикосновение которого к самым презренным вещам дает им цену золота». Любовь для писателя – это сама жизнь «в ее творческом порыве, в благоухании ее расцвета». Писатель подчеркнуто возражает против понимания любви только как страсти, он даже подчеркнуто отделяет страсть от любви: «Но я решительно возражаю против предрассудка, будто любовь исчерпывается любовной *страстью*, будто вне плотской влюбленности нет блаженства. Я делаю попытку разъяснить, что страсть любви, как всякая страсть, есть *болезнь*, процесс естественный, но от которого следует беречься и с которым нужно бороться, раз он охватил вас. Я глубоко убежден, что супружеская любовь со всеми ее радостями не только не нуждается в плотской страсти, но искажается ею и обезображивается. Во имя самого чистого счастья, какое дает влюбленность, необходимо охранять ее от животного безумия, и я думаю, нравственная

* О литературе будущего // Там же. – С. 223.

культура дает достаточно сил для предупреждения или для встречи этого недуга»*. В этой книге Меньшиков стремился указать традиционные ложные представления о любви, которые сложились в литературе и в общественном мнении. Тема пола, любви, иной трактовки язычества с 1890-х годов привлекла внимание русского общества в связи с публикациями по этой теме писателя и публициста В. В. Розанова. Эти выступления Розанова вызвали бурную полемику в русской печати. Вероятно, обращение к теме пола, любви Меньшикова было не в последнюю очередь связано с этой полемикой. Меньшиков был уверен в том, что «высшее совершенство не нуждается в счастье пола, но и для стремления к этому совершенству, выражающемуся в святом союзе супружеском, необходима вся доступная человеку чистота тела и духа, необходима строгая воспитанность в целомудрии и долге ненарушимой верности друг другу»**. Писатель особенно подчеркивает, что от достойного или, наоборот, недостойного отношения к основному жизненному инстинкту, как и тысячи лет назад, зависят красота и сила человеческого типа, само могущество и сила расы. Меньшиков напоминал, что вековая мудрость народов и опыт многих цивилизаций свидетельствуют о том, что не только отдельные индивиды, но и целые народы гибли от потери религиозного взгляда на таинство продолжения жизни. Рассматривая любовную страсть как болезнь, Меньшиков противопоставил безумию любви картину здоровья – «разум» любви. Этот разум писатель назвал «святой любовью» или «любовью небесной» (по определению Платона). С понятием «святой» любви Меньшиков связывал также сознание истины, блага и красоты. Писатель разделяет любовь-желание, в которой нет ничего чистого и возвышенного, и любовь-жаление (жалование). Любовь-жаление желает своему объекту добра, благоволит к нему, в то время как любовь-желание относится к любимому существу потребительски, часто принося объекту поклонения только стра-

* От автора // Меньшиков М. О. О любви. – Спб., 1899. – С. I, II.

** Там же. – С. II.

дания, ставя на первый план только свои интересы. «Эти два типа любви соответствуют двум периодам нравственного сознания человечества. Любовь-желание характеризует язычество, любовь-жаление – Христианство. Первый период – господство страстей, второй – господство разума. Оба периода еще делятся, оспаривая свою власть в мире. И сообразно тому, который вид любви торжествует, меняется отношение человека к себе, к людям и к Богу»*.

Таким образом, период работы Меньшикова в газете «Неделя» стал временем становления его мировоззренческих и творческих принципов.

В 1901 году газета «Неделя» потерпела финансовый крах. По просьбе наследников основателя «Недели» П. А. Гайдебурова М. О. Меньшиков просил знаменитого издателя газеты «Новое время» Алексея Сергеевича Суворина купить «Неделю». Суворин газету не купил, но самому Меньшикову предложил перейти в «Новое время».

Именно в газете «Новое время» Меньшиков обрел всемирную славу как яркий политический публицист, с этим изданием связан последний, главный этап жизни писателя.

С декабря 1901 года Меньшиков начал вести в «Новом времени» постоянную рубрику «Письма к ближним». Статьи, опубликованные в этой рубрике, выходили в качестве ежемесячных журнальных книжек, которые затем составляли ежегодники «Письма к ближним» (Т. 1–15, Спб., 1902–1916). В жанре «Писем к ближним» Меньшиков выступил продолжателем традиций «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского и «Маленьких писем» А. С. Суворина. Тематика «Писем к ближним» разнопланова: в центре внимания писателя – историческая судьба России, рассматриваемая им в различных аспектах широкого круга политических, социальных, философских, духовно-нравственных, бытовых и других вопросов. Многогранность проблематики, всесторонний охват большинства явлений общественно-политической жизни России начала XX века определили

* Любовь святая // Там же. – С. 189.

значение «Писем к ближним» как летописи этой противоречивой эпохи. В «Письмах к ближним» и других статьях писателя, опубликованных на страницах «Нового времени» в тот период, отразился общественный идеал Меншикова, сложившийся в начале 1900-х годов, – национальная империя с сильной монархической властью, парламентским представительством и некоторыми конституционными свободами. Эта сильная монархическая власть была призвана защищать традиционные ценности русского общества и оздоровить народную жизнь. В разгар первой русской революции Меншиков высказывает почти невозможную в те дни идею о необходимости введения в России сословного строя. Так, в статье «Сословный строй» (1907) главную причину русской смуты публицист видит «в принижении древнего сословного духа», в попустительстве царской власти демократической деятельности разночинного, «межсословного класса» – интеллигенции. И в этом мнении публициста проявился его «естественный стиль», склонность проводить параллели между жизнью общества и воззрениями естественных наук на устройство живого организма, его жизнедеятельности. Меншиков убежден, что именно «принижение древнего сословного духа» отделило Россию и другие страны от средних веков. В тот период «европейское общество сложилось органически, как всякое живое тело, то есть по трудовому принципу. Общество было сословно, но сословия были не пустые титулы, как теперь, совершенно бессмысленные, а живые и крепкие явления. Сословия были трудовыми профессиями, корпорациями весьма реального, необходимого всем труда. Дворянство было органом обороны народной, органом управления. Оно действительно воевало. Рождаясь для войны, оно часто умирало на войне. Духовенство действительно управляло духом народным; доказательство – глубокая религиозность того времени и уважение к священству. Купечество торговало и ничем другим не увлекалось, ремесленники занимались ремеслами, земледельцы – земледелием. Как живое тело, общество было

строго разграничено на органы и ткани, этот порядок вещей дал возможность расцвести чуждой цивилизации, при упадке которой мы присутствуем*». Спасение России от смуты Меньшиков видел не в возвращении к старому порядку, против которого так горячо выступали все передовые слои русского общества, а в возвращении к тому «старому порядку», которого не знало современное писателю общество, но который «был когда-то», то есть в возвращении к устройству общества «по трудовому типу»: «Надо вернуть обществу органическое строение, ныне потерянное. Надо, чтобы трудовое правительство постоянно освежалось и регулировалось трудовым парламентом, то есть представительством трудовых сословий страны. Надо, чтобы нелепые нынешние сословия, фальшивые и бессмысленные, были заменены действительными сословиями, то есть, как некогда, трудовыми профессиями, и чтобы эти профессии – подобно органам и тканям живого тела – были по возможности замкнутыми. Необходимо всему народу расчлениться на трудовые слои и чтобы все отрасли труда были настолько независимыми, насколько требует природа каждого труда**». И начинать это возвращение нужно было с переустройства русской школы – «с главного очага революции – с бессословной школы», которую Меньшиков назвал «школой разврата», порождающей обломовщину, воспроизводящую интеллигенцию «с ее бесконечной способностью спорить не убеждая», с ее весьма частым профессиональным дилетантизмом. Это же жесткое разделение профессиональных обязанностей, их неукоснительное исполнение Меньшиков назвал основным условием существования в России сильной власти. Меньшиков полагал, что только сильная государственная власть способна спасти Россию, которую он сравнивал с центральным органом человеческого организма – сердцем. Слабость власти, как и болезнь сердца для всего человеческого организма, смертельно опасна для государства: «Мы переживаем по-

* Меньшиков М. Письма к русской нации. – М., 1999. – С. 27, 28.

** Там же. – С. 28.

стыдные годы бунта, где народные отбросы в союзе с ино-родцами терроризируют власть, срывают парламент, лишают возможности культурного законоустройства, предают трудовую часть нации разгрому и грабежу. Все это явления, не обещающие ничего доброго. Нам нужна не какая-нибудь, а непременно сильная власть. Нам необходимо могучее сердце, иначе мы пропали. Это сердце и теперь, как на заре истории, может быть создано народным организмом. Оно должно быть создано!»*

В статье «Власть как право» (1907) писатель полемизирует со своим коллегой по «Новому времени» – А. А. Столыпиным, журналистом, братом П. А. Столыпина. Меньшиков считает опасным заблуждением утверждение А. А. Столыпина о том, что гипертрофированная власть и есть сильная власть: «Кричат, что власть у нас чрезмерно сильна, что для спасения России необходимо обуздать эту силу, связать ее общественным противовесом. Под силой власти они понимают произвол, жестокость, бессмысленность, т. е. черты тирании, которые вульгарно приписываются самовластию»**. Это последнее замечание особенно важно, потому что позволяет отделить Меньшикова от лидеров крайне правых монархических партий, показать, что писатель придавал огромное значение работоспособному парламенту как представительному органу российского общества. Меньшиков подчеркивает, что сила правительства заключается в «способности достигать своих целей, цели же эти, конечно, не только разрушительные, но и творческие»***. Главная беда, по убеждению Меньшикова, заключалась в том, что эти «благие намерения» просто не выполнялись: «Сама власть не отвергает последнего, иначе она не взяла бы на себя почин переворота. Именно в том-то и суть несчастий наших, что государственная власть потеряла способность осуществлять свои намерения. Разве

* Меньшиков М. Власть как право // Меньшиков М. Письма к русской нации. – С. 35.

** Там же.

*** Там же.

можно назвать такую власть сильной?»*Отсюда сила власти заключается не в благих намерениях, а в исполнении. Этим Меньшиков объясняет неудачу либеральных начинаний власти, приведшую к народному возмущению, непрекращающемуся террору политических убийств, и полную невозможность модернизировать армию и флот, повлекшее тяжелые поражения в русско-японской войне, Мукден и Цусиму. Специфика взглядов Меньшикова на власть заключалась именно в том, что он не представлял себе государственную власть «как нечто противоположное праву»: «Власть над народом не есть право собственности, не *jus utendi et abutendi*** , а обязанность служения в пределах пользы народной. Избранием династии, которой вручено народом верховное управление, утверждено право действия власти на благо нации, “на славу нам, на страх врагам”. В самом слове “правительство”, в глаголе “править” заключено понятие права, неразрывного в народном разуме со справедливостью. Следовательно, власть по существу своему никак не может пониматься как “право силы”, а всегда есть “сила права”, кроме тех, конечно, случаев, когда власть впадает в злоупотребления». В полемике с А. А. Столыпиным и во множестве других полемических выступлений в последующие годы Меньшиков неизменно стоял за борьбу со злоупотреблениями власти, за то положение вещей, когда государственная власть, наконец, получила бы возможность «действовать как право», потому что неосуществленное право переставало быть правом. Но действовать может только сильная власть. И здесь Меньшиков не устал повторять, что власть не должна искать «народного сочувствия», она должна ощущать себя «представителем всей нации в ее истории». Власть «... во все времена – станова́я ось народная, поддерживающая общее единство: вот почему ее право выше общественной популярности». «Я желал бы своему отечеству гениальной власти, которая никогда не слагала бы на общество своего творчества, которая не нуждалась бы

* Там же.

** Право употребления и злоупотребления (лат.).

в сочувствии толпы, а которая, подобно правительству Петра Великого, Фридриха II, Наполеона, Бисмарка, в самой себе находила бы импульсы и великие цели»*. По убеждению писателя, «становой осью народной», власть будет лишь тогда, когда произойдет разделение обязанностей власти и общества: «Я хотел бы только, чтобы власть была властью, а не подделкой ее под “общественное сочувствие”, и чтобы общество было обществом. Не будем путать функций... Я страстно желал бы общество видеть самостоятельным, но в каком смысле? А вот в каком. Будемте хорошими работниками, каждый по своей части. Хорошая работа есть ежедневная дань государству, ежедневный вклад в общество, непрерывное накопление богатства умственного и материального. <...> Но должно заметить раньше, что “усиление власти” проявляется не в тех или иных поступках и мероприятиях, а в силе всяких поступков, всяких мероприятий. Если поступки власти достигают цели, я считаю эту власть сильной. Если цели эти умны, я считаю эту власть умной»**.

Примат нравственных законов, утверждаемый Меньшиковым еще в ранней статье «Вера и знание» и в книгах «Думы о счастье» и «Начала жизни», оставался для писателя определяющим и в его публицистическом творчестве, когда он стал одним из ведущих публицистов «Нового времени». Еще перед выборами в Первую Государственную Думу (1906), после сдачи Порт-Артура, поражений под Мукденом и в Цусимской битве, осмысливая горький опыт поражений России, Меньшиков в статье «Нравственный ценз» (1906) призывает русское общество серьезно отнестись к выборам. Главной причиной неудач в войне Меньшиков считал недостаток честности в правительственных кругах и армейском командовании. Поэтому главным выборным цензом для депутатов Думы надо сделать честность, «нравственный ценз»: «Выбирайте честных людей... Истинною силой всякой работы – и особенно парламентской – является нравственный ха-

* Меньшиков М. Власть как право. – С. 38.

** Там же. – С. 39.

рактер. Вот основной ценз, решающий судьбу страны. Нужны честные люди, иначе все рушится. Как в древние времена, так и теперь нужны праведники, чтобы спасти общество, нужно хоть немного их, но чтобы они были видимы Богу, грозящему огнем серным. Разве Порт-Артур, Мукден, Цусима не были для нас библейской катастрофой? Разве на армию нашу – лучшую кровь народа – пали менее огненные тучи, чем на хананейские города?». Меньшиков подчеркивает, что первый парламент должен руководствоваться властью совести. Он прежде всего требует от депутатов верности отечеству, чести: «Надо, чтобы законодатели наши не сдавались, подобно генералам, и не отступали. Надо, чтобы государственные люди России научились, наконец, исполнять свой долг. Надо, чтобы вывелась, наконец, бесстыдная ложь, продажность, бездействие, предательство и хищение. Гибель нашего народа, как и всякого, единственно от упадка нравов. То, что называется честностью народной, есть крайняя твердыня нации и единственный источник сил»**.

Говоря о необходимости сильной власти, Меньшиков высказывает еще один основополагающий для него принцип – полное отрицание террора как метода политической борьбы. Проблеме террора и борьбы с ним писатель посвятил статью с очень красноречивым названием «Глупость террора». Писатель убеждает Государственную Думу обратиться не только «к сердцу русского народа, но и к его разуму». Меньшиков обращался к благородным людям в русском обществе, которые были способны защитить себя и своих ближних, призывая дать однозначную оценку терроризму: «Сложившееся в тысячелетиях, окрепшее на своем корне, общество не так легко сдвинуть и перевернуть. Террористы воображают, что борются против отживших и вредных начал общественности. Но именно сила последних доказывает, что эти господа ошибаются. Дурное и дряхлое легко поддается

* Меньшиков М. Нравственный ценз // Меньшиков М. Выше свободы. – С. 196.

** Там же. – С. 197.

напору, только могучее дает отпор»*. Меньшиков призывает парламент объявить террористов вне закона, заявить, что «они самозванцы, что они не имеют полномочий от страны, что их самоуправство есть измена Родине, что предписанное им себе право насилия есть преступление, захват державных прав, которого нация потерпеть не может»**.

Писатель усматривал в терроризме, революционной смуте 1905–1907 годов инородческие корни. Он видел в революции целенаправленный процесс по разложению страны, порабощению русской национальности, изъятию русских земель, капиталов и политической власти. Писатель называет вспыхнувшую после конституционной реформы революцию не революцией, а «экспроприацией», еврейской экспроприацией верховной власти, парламента, армии, земель и промышленности. С присоединением Польши, в Малороссии и Литве Россия унаследовала и тяжелейший еврейский вопрос. Со страниц «Нового времени» публицист говорит, что капитал, биржа, промышленность, торговля и печать уже захвачены евреями в Западной и Южной России, на Кавказе, в Сибири, Туркестане, и процесс захвата идет уже и в Центральной России. Печать целенаправленно внедряет в массы враждебные интересам России идеи: «Уже огромная часть подрастающего русского поколения и чернь разных классов духовно обрезаны евреями, они думают и чувствуют, как их внушители»***. Атакам инородческого захвата начинала подвергаться и Государственная Дума. Меньшиков рассматривал левые парламентские партии как «подставные», а вождей кадет и «обновленцев» вовсе не рассматривал как подлинных вождей парламентских фракций. После революции 1905–1907 годов основной темой выступлений Меньшикова становится национальный вопрос и защита прав русской нации. Публицист приходит к необхо-

* Меньшиков М. Глупость террора // Меньшиков М. Национальная империя. – М., 2004. – С. 143.

** Там же. – С. 145.

*** Там же. – С. 114.

димости создания особой национальной партии в русском парламенте, которая представляла бы там интересы великорусской нации как государствообразующей. Этому вопросу писатель посвящает цикл статей под названием «Великорусская партия» (1907). Этот цикл, как и многие другие публицистические выступления Меньшикова на страницах «Нового времени», сыграли решающую роль в формулировании принципов и идейной программы Всероссийского Национального союза. В первой статье «Великорусская партия» от 8 мая 1907 г. Меньшиков полемически заостряет вопрос о поразительном отсутствии патриотизма у русских, этот факт с недоумением замечают даже иностранцы. В Думе, по словам публициста, были представлены все народности Империи. Депутат от каждой народности активно использовал представительство для отстаивания интересов своей народности. Причем часто эти интересы были абсолютно враждебны России. В качестве подобного примера Меньшиков указывает на деятельность вновь созданного украинского «коло», представители которого ратовали за отделение Малороссии от России, вслед малороссам про-являли сепаратистские устремления и представители белорусов. Меньшиков призывал русских осознать опасность таких тенденций, показывал губительность нарочитого отсутствия патриотизма в нации, имеющей столь древнюю и великую историю: «Долг спасения великой нашей страны лежит, прежде всего, на нас, великороссах. В ответ на бес-совестное предательство некоторых южных и западных со-родичей мы, великороссы, должны проснуться, пробудить в себе несколько померкшее государственное сознание. Рос-сия – это мы, наше племя. Остальные народности – родные нам или двоюродные – как поляки, или совсем чужие имеют свой пай и вклад, но основной капитал государственности – наш, и фирма – наша. Неисчислимыми трудами, страдания-ми, истомой, долготерпением, подвигами, благородством предков, их неутомимой силой и верой в себя и богатырской отвагой сложилась Россия, и мы, потомство создателей ее,

обязаны ее отстаивать. Основная мысль нашей истории та, что государство наше есть государство “всех России” нераздельно: “Великие и Малые и Белые России” – самодержавное господство, причем больше тысячи лет, еще при Владимире Святом, установилась “отчина” наших государей – все русское племя от Карпат до четырех морей. Носителем этой великоросской идеи являемся мы, великороссы*.

Именно в этой статье Меньшиков впервые поставил вопрос о необходимости создания в парламенте первой национальной партии, объединения всех русских патриотов в одном союзе, который бы отстаивал национальные интересы русских на законодательном уровне: «В ответ на враждебное дробление нашей империи на племена мы, великороссы, должны сплотиться как центральное могучее тело, которое тяготением своим удерживало бы центробежные силы. И в парламенте, и в стране нужно создать национальную партию – великоросскую или всероссийскую**».

В следующем выступлении «Великорусская партия» от 21 июня 1907 г. Меньшиков высказывает свое мнение по польскому вопросу, считая присоединение Польши несомненной ошибкой имперской политики России. Меньшиков анализирует избирательный Закон от 3 июня 1907 г., существенно ограничивший избрание и представительство в Государственной Думе депутатов от охваченных национальными бунтами территорий Российской империи. Проследившая историю многочисленных польских бунтов, Меньшиков определяет польские территории как постоянный очаг возмущения, нестабильности. Проанализировав неизвестную в России польскую прессу, он показывает, что у поляков в отношении России существуют захватнические планы – увеличить польскую территорию «от моря до моря». Но в начале XX века поляки уже были не способны на открытый бунт, а переменили тактику: «Объединенные национальной

* Меньшиков М. Великорусская партия I // Новое время. – 1907. – 8 (21) мая.

** Там же.

идеей, скованные католической дисциплиной, одни поляки в состоянии устроить России “саботаж” в миллионе точек одновременно. <...> Поляки теперь не поднимают бунта на своей территории. Они вносят его в самое сердце России, они продельывают бунт за счет и риск русского народа. “Сорвать” русский парламент, как некогда они сорвали свой собственный сейм, было бы предприятием серьезнее бунта. Но окончательная цель их, конечно, еще крупней – сорвать Россию*». Писатель предостерегает правительство и русское общество от попустительства этой тактике поляков, подчеркивает, что именно деструктивная тактика польского «коло» в Государственной Думе привела не только к срыву Дум двух созывов, но и угрожает всему русскому парламентаризму, так как вслед за поляками в Думе объединяются и заявляют о сепаратистских устремлениях представители других народностей Империи. Именно для противодействия подобным разрушительным тенденциям и должна быть создана великорусская партия.

В третьей статье «Великорусская партия» от 23 июня 1907 г. Михаил Осипович формулирует следующую задачу всероссийской партии: национализацию парламента и власти. Меньшиков закономерно привлекает внимание общества именно к этой задаче, так как поражения России в русско-японской войне и многие события революции 1905–1907 годов во многом были связаны с неприглядной (а часто и откровенно предательской) ролью в них представителей высшей русской власти, высшего военного командования. Причину этих явлений Меньшиков видит в отсутствии в России национальной элиты, национального парламента, власти. В статье писатель указывает, что со времен Петра I в Россию на службу хлынуло множество иностранцев. Причем уже при Петре I их почти сразу же уравнивали в правах с представителями родовитой русской знати. Вчерашние противники – шведские и прибалтийские бароны, татарские

* Меньшиков М. Великорусская партия IV // Новое время. – 1907. – 21 июня.

и кавказские мелкие князьки, польские шляхтичи – составили в дальнейшем русскую аристократию, были уравнены в правах с Рюриковичами. В течение 200 лет на русскую службу прибыло множество инородцев. Многие из них так и не обрусели, остались равнодушны и даже враждебны России. Вместо того чтобы покровительствовать русским, чьи предки были создателями Империи, русское правительство бездумно предпочитало покровительствовать иностранцам. Получалось так, что целые ведомства и учреждения в Российской империи состояли из чиновников, принадлежащих к инородческим нациям. Меньшиков напоминал о железнодорожных забастовках с участием «польского элемента» во время революции 1905–1907 годов, об эпизоде во время русско-японской войны, когда немец-генерал сдал русскую крепость – русский форпост, а «швед-адмирал в качестве министра, готовившего флот для войны, подготовил его для Цусимы». Писатель в то же время не делает обобщений, признавая мужество многих участников русско-японской войны, не принадлежавших к великорусской нации, преклоняется перед их подвигами, говоря, что среди полководцев только генералы Гриппенберг и Энквист предательски бежали из Цусимы. Писатель не выступал против инородцев: он своими публицистическими выступлениями (манифестами, статьями, работами) призывал правительство и русское общество осознать и защищать свои национальные интересы, проводить обдуманную государственную внутреннюю политику, покровительствовать русской народности, приглашать на русскую службу только лучших представителей иных национальностей, поощрять их обрусение в Российской империи.

В статье «Великорусская партия» от 2 июля 1907 г. в разгар парламентских выборов писатель делится своими размышлениями о том, каким должен быть парламент. По его мнению, русский парламент должен брать пример с лучших парламентов Европы. Эти парламенты выработали «своего рода политическую промышленность, то есть

тот порядок вещей, где политические силы тратятся не на борьбу, а на производительную работу». Парламентские комиссии в этих европейских странах напоминают «закондательные мануфактуры с добросовестно выработанным, первосортным товаром». Именно такой парламент Меньшиков и считал идеалом, о нем он писал и в статьях о «деловом парламенте» как о представительстве трудовых групп населения. По мнению Меньшикова, России нужна была более совершенная, чем на Западе, политическая структура парламента, где политическая борьба была бы сведена к минимуму. А способом усовершенствования парламента Меньшиков считал только национальную партию, которая объединила бы на основе национальной идеи множество фракций в Думе: «Вот почему несравненно выше тридцати трех существующих партий я считаю одну, еще пока не существующую, – великорусскую партию. <...> В сущности, национальная партия явилась бы уже не партией, а истинным представительством нации, в пределах которой борьба является самоубийством»*.

В статье «Великорусская партия» от 18 сентября Меньшиков объясняет, почему он назвал будущую национальную партию «великорусской»: «Идея никакой национальности не может быть основана на том, чего в природе не существует. Не существует реально “всей России”, не существует просто “русских” людей. Есть более или менее обширные части России – Великая, Малая, Белая, Червонная Россия, а в последние века вырабатывается еще Восточная Россия, Новороссия, Желтороссия и т. д. Есть великороссы, малороссы, белорусы и множество переходных между ними языков и типов»**.

Называя национальную партию «великорусской», а не всероссийской, писатель подразумевал объединение в этом названии всего «русского славянства», всех славянских племен на территории России: «Нам, великороссам, останутся

* Меньшиков М. Великорусская партия VII // Новое время. – 1907. – 18 сентября.

** Там же.

одинаково дорогими и Малая, и Белая, и Червонная Русь. Мы ценим и уважаем все прелестное, все сильное, что выработало русское славянство под всеми широтами и долготами. В силу этого мы имеем право считать себя истинными носителями духа всего нашего исторического племени, чем те выродки, для которых “чужды” более трех четвертей России. Вот почему я настаиваю на *великорусской* партии как национальной. В ней была бы представлена вся Россия, все наше историческое величие, все возможности в будущем. Никакая другая русская народность этого взять на себя не может и, может быть, не захочет*.

Завершая публицистический цикл «Великорусская партия», Меньшиков высказал следующий важный принцип, ставший одним из идеологических тезисов программы Всероссийского Национального союза: восстановление национальной власти – «великорусского правительства», государственная поддержка коренных классов русского общества. По убеждению публициста, говорить по-русски, носить русскую фамилию и имя – еще не значит быть русским. Михаил Осипович отмечал такую характерную особенность в русском правящем классе, как «психологическая метисизация»: говоря на русском языке, эти чиновники выражают чуждые идеи, их речь напоминает плохой перевод с иностранного языка. Эта психологическая особенность многих представителей господствующих классов, по убеждению Меньшикова, была следствием бездумного привлечения иностранцев на русскую службу, необоснованное покровительство им в ущерб русским. Эта особенность стала проявлением отсутствия в России национальной аристократии, национального правящего класса, породила безотчетное равнодушие и враждебность в этих чиновниках ко всему русскому: «Стоит человеку перестать любить свою родину такой, какая она есть, как тотчас из национальности его выпадает самое существенное, что определяет нацию. Теперешний правящий круг – нередко почтенные люди, весьма либеральные, подчас ученые, но...

* Меньшиков М. Великорусская партия VII.

не чувствуется в них жалости к своей стране, не слышно тревоги, тоски и страсти в стремлении защитить родную землю. У почтеннейших министров наших часто бывает крутой характер, но не замечаешь национального темперамента*.

Таким образом, в 1900-е годы публицист сформулировал свой идейно-политический идеал: монархическая власть, парламентское представительство, в котором интересы русских должна представлять государственная («люди государственного единодушия») партия, а также наличие определенных конституционных свобод. Такая власть должна была защитить русскую нацию, традиционные ценности русского общества и оздоровить жизнь народа.

Публицистический цикл «Великорусская партия» стал началом выступлений Меньшикова на страницах «Нового времени» по вопросу выработки идеологической программы Всероссийского Национального союза. В статьях «Чье государство Россия?» (1908. – 1 марта), «Национальный союз» (1908. – 5 июня), «Национальное движение» (1908. – 18 июня), «Собирание земли» (1908. – 30 октября), «Новый и старый национализм» (1910. – 12 июня) и других писатель формулирует главные положения программы Союза, выявляет его задачи, а затем пристально следит за его политической работой.

Меньшиков был одним из создателей и идеологов Всероссийского Национального союза. Всероссийский Национальный союз зародился в недрах Третьей Государственной Думы и являлся умеренно правой политической организацией. В состав Союза вошли представители расколовшейся правой фракции в Третьей Государственной Думе. В 1908 году в Союз вошла выделившаяся из правой фракции группа умеренно правых во главе с П. Н. Балашевым, а также «национальная группа» во главе с князем А. П. Урусовым. Всероссийский Национальный союз был образован весной-летом 1908 году в Петербурге, а учредительный съезд Союза состоялся 18 июня 1908 г. В отличие от Союза Русского на-

* Он же. Великорусская партия VIII // Новое время. – 1907. – 20 сентября.

рода, который объединял представителей разных сословий общества – большей частью представителей простого народа, Всероссийский Национальный союз состоял в основном из умеренно правых представителей русского образованного общества – профессоров, священников, журналистов, военных в отставке и др. Первым председателем Союза был избран С. В. Рухлов, товарищем – князь А. П. Урусов, секретарем – профессор Н. О. Куплеваский. Меньшиков состоял в Совете Всероссийского Национального союза. Вскоре С. В. Рухлов был назначен министром путей сообщения; исполняющим обязанности председателя Союза стал князь А. П. Урусов. В дальнейшем, 25 октября 1909 г., Всероссийский Национальный союз соединился с партией умеренно правых, возглавляемой П. Н. Балашевым. 31 января 1910 г. на учредительном собрании было объявлено о создании единого Всероссийского Национального союза из партии умеренно правых и фракции умеренно правых. Союз возглавил П. Н. Балашев, товарищем председателя стал князь А. П. Урусов. Союз имел отделения в провинции, в основном в Западном крае, где защита интересов русской нации стояла особенно остро. К 1912 году Всероссийский Национальный союз насчитывал более 70 отделов в 30 губерниях и областях Российской империи*. Первый съезд Всероссийского Национального союза прошел 19–21 февраля 1912 г. Председателем Союза вновь был избран П. Н. Балашев, товарищем председателя – А. А. Мотовилов. В Главный Совет Союза вошли С. Н. Алексеев, Ф. Н. Безак, граф В. А. Бобринский, В. Г. Ветчинин, архиепископ Евлогий (Георгиевский), профессор П. А. Кулаковский, профессор Н. О. Куплеваский, М. О. Меньшиков, Л. В. Половцев, А. И. Савенко, М. А. Суворин, В. В. Шульгин и др. В организации Всероссийского Национального союза существенную, но негласную роль сыграл П. А. Столыпин. Премьер-министр хотел иметь в Думе проправительственную фракцию националистов, на

* Святая Русь // Большая энциклопедия русского народа. Русский патриотизм. – М.: Институт русской цивилизации, 2003. – С. 162–165.

поддержку которой он мог бы рассчитывать. В то же время существуют и другие мнения, согласно которым П. А. Столыпин не имел даже косвенного отношения к организации Всероссийского Национального союза.

В статье «Национальный союз» от 5 июня 1908 г. Меньшиков перечисляет основные идейно-политические тезисы из устава Всероссийского Национального союза: «Содействие господству русской народности в пределах Империи, укрепление сознания народного единства, устройство русской бытовой самопомощи, развитие русской культуры и упрочение русской государственности на началах самодержавной власти царя в единении с законодательным народным представительством».

Меньшиков уточняет, что последний пункт устава – «признание установленного Основными законами титула Верховной Власти и ее отношений к народному представительству» – отделяет Всероссийский Национальный союз и от революционных, и от реакционных партий. Таким образом, он подчеркивает, что основной тезис Союза – незыблемая монархическая власть; революционеры и реакционеры отвергают этот существующий порядок вещей, а Союз признает его базой дальнейшего развития.

В статье «Русское пробуждение» (1910), выражая общее мнение идеологов и членов Всероссийского Национального союза, в основном представителей образованных классов – профессоров, военных в отставке, священников, журналистов, – писатель говорит исключительно об оборонительной тактике Союза, направленной лишь на защиту своих национальных интересов от хищных посягательств других народностей, об отсутствии агрессивных, захватнических планов у русского национализма: «Национализм русский, по крайней мере в моем понимании, не есть захват и не есть насилие. *Национализм есть честное разграничение.* Захват и насилие в его коварных формах идут со стороны не русского национализма. Не мы идем на инородцев, а они на нас»*.

* Меньшиков М. Русское пробуждение // Новое время. – 1910. – 23 января.

Представители Всероссийского Национального союза принадлежали к умеренно правому политическому центру русского парламента, им не были близки идеи крайне правых националистических консервативных фракций. Они отделяли себя от лидеров черносотенного движения. В сущности, деятели Всероссийского Национального союза были едины в неприятии радикальных либеральных конституционных реформ октябристов и кадетов, а также игнорирования либеральными фракциями Думы национального вопроса.

Меньшиков как идеолог Всероссийского Национального союза в знаменитой триаде «Самодержавие – Православие – Народность» на первое место ставил «Народность» в отличие от представителей крайне правых думских фракций и членов Союза Русского народа. Он призывал к выработке в русском народе здорового национального эгоизма, без которого невозможно само существование Российской империи: «Враги русской народности, всячески отстаивая свой национализм, всемерно опорочивают русский. Когда речь зайдет о нарушении прав еврея, финна, поляка, армянина, поднимается негодующий вопль: все кричат об уважении к такой святыне, какова национальность. Но лишь только русские обмолвятся о своей народности – поднимаются возмущенные крики: “Человеконенавистничество! Нетерпимость! Черносотенное насилие! Грубый эгоизм!” Сами ожесточенные эгоисты, поклоняющиеся идолу отчуждения, насевшие на нас инородцы не признают за Россией ее народного “я”. Что ж, остается нам обречь себя, в самом деле, на роль *удобрения* для чужих рас, как откровенно мечтают фанатики пангерманизма! Апостолы мелких национальностей не стыдятся выражения “эгоизм”. Мне кажется, и русскому национализму не следует чураться этого понятия. Да, эгоизм. Что ж в нем удивительного или ужасного? Из всех народов на свете русскому, наиболее мягкосердечному, пора заразиться некоторой дозой здорового эгоизма. Пора с совершенной твердостью установить, что мы не космополиты, не альтруисты, не “святые последних дней”, а такой же народ, как и все остальные, желающие жить на

белом свете прежде всего для самих себя и для собственного потомства. Пора признать искренно и просто те наши определения, которые значатся в нашем имперском титуле»*.

Публицист привлекает внимание к отличительным чертам Союза, отделяющим его от других национальных правых партий. Пожалуй, одним из самых главных отличий являлось то, что идеологи Всероссийского Национального союза изначально признавали парламент как представительную форму власти. Говоря о программе Всероссийского Национального съезда, Меньшиков подчеркивал особую, внеполитическую задачу Союза: «Из программы Всероссийского Национального союза видно, до какой степени нелепы уверения врагов его, будто союз – слишком *левый* или слишком *правый*. Национализм – не политика, он выше политики и в силу этого не допускает односторонних крайностей. В отличие от еврейско-либеральных партий (кадеты и октябристы), Всероссийский Национальный союз опирается прежде всего на Основные Законы. В согласии с последними союз признает “незыблемость представительного образа правления”, при котором “законодательная власть Самодержавного Царя” находится в “единении” с двумя палатами. Национальный союз придает важное значение “наблюдению законодательных учреждений за закономерностью действий правительства”. Последнее условие довольно резко отграничивает Национальный союз и от крайне правых партий. Если не большинство ультрамонархистов, то многие из них до сих пор не могут помириться с народным правительством»**.

Таким образом, борьба с «внутренними нашествиями» являлась одной из главных задач Союза. Деятели Союза ставили перед собой также и решение социально-политических задач. Так, М. О. Меньшиков писал: «Русская жизнь угнетена не только инородческим засильем. Она подавлена всеми последствиями национального упадка. Народное безбожие,

* Меньшиков М. Русское пробуждение

** Там же.

народное пьянство, развертывающееся в государственную катастрофу, народная нищета, народная преступность, народное невежество, опасный упадок практических знаний, беспомощность труда, несправедливость и бессудье – все это и многое другое составляет общую пропасть, из которой нужно извлечь народ. Цель сообщества, именуемого Всероссийским Национальным союзом, – *поднять* нацию из всех падений, восстановить ее*.

Вопросам народного здоровья, физического и духовного, народного труда, преодоления бедности Меньшиков уделял постоянно много внимания на страницах «Нового времени» и до создания Всероссийского Национального союза, и во время работы в Союзе. Среди публицистических выступлений Меньшикова на тему народного здоровья и борьбы с бедностью необходимо отметить статьи: «Нужда великая» (1904. – 31 марта), «В деревне» (1909. – 4, 6, 8 августа), цикл статей «Пьяный бюджет» (1907. – Март – декабрь), статьи «Казна за пьянство» (1913. – 23 апреля), «Казенная слеза» (1909. – 21 ноября), «Опасная государственность» (1911. – 13 декабря), «Борьба за трезвость» (1912. – 22 сентября), «Пьяная погибель» (1912. – 25 декабря), «Подгрызают корни» (1913. – 8 июня), «Берегите здоровье» (1913. – 8 июня) и др. Меньшиков резко критиковал правительство за введенную казенную монополию на водку, предлагал меры по снижению народного пьянства.

Одной из главных тем в публицистическом наследии Меньшикова была проблема армии и флота. На страницах «Нового времени» Меньшиков опубликовал немало статей, посвященных этой теме. Проблеме армии, обороноспособности Российской империи посвящен цикл статей «Дружина храбрых» (1907. – 19 июня, 7 июля). Меньшиков подводит итоги реформы армии, в результате которой была введена всеобщая воинская обязанность и армия существенно демократизировалась. Что же из этого вышло? Это привело к бунтам и мятежам в армии и на флоте, среди которых – известный бунт на броненосце «Потемкин». Это объяснялось революци-

* Меньшиков М. Русское пробуждение.

онными событиями. Но Меньшиков приводит похожие факты из повседневной жизни армии и флота во Франции: там тоже солдаты отказываются повиноваться, а на броненосце «Виктор Гюго» вспыхивает мятеж, напоминающий события на «Потемкине». По мнению Меньшикова, это означало, что в России и Франции, «столь далеких по истории и образу правления, совершается нечто странное и чрезвычайно сходное в области глубоко важной – области духа народного». Меньшиков отмечал общие неблагоприятные условия, которые сближают Россию и Францию: «Обе великие державы оскорблены в своей гордости народной. Обе побиты соседями, и обида не отмщена. <...> Во Франции будто бы среди глубокого мира давно идет яростная борьба с Церковью, с армией и национальностью, идет та же пропаганда отречения от своей истории, что и у нас. В обеих странах главным орудием всякой пропаганды – печатью – давно овладели враги христианского общества, цель которых – расстроить Европу...». Размышляя над событиями во Франции, Меньшиков задается вопросом: существуют ли в Европе огромные армии? Публицист убежден, что эти огромные полчища, с содержанием которых едва справляются национальные бюджеты, вовсе нельзя назвать армиями. Эти полчища наскоро обученных новобранцев совершенно не удовлетворяют военным и государственным требованиям. Вопрос об эффективности таких армий особенно остро стоял в начале XX века именно в России и Франции. Не изменят ли эти армии в минуту национальной опасности? Меньшиков напоминает, что опыт русско-японской войны показал несостоятельность такой армии. Публицист призвал правительство, пока не поздно, отказаться от губительной реформы армии: «Если говорить о государственной армии, то пора бросить крайне легкомысленный взгляд, будто все обязаны быть солдатами и все могут быть ими. <...> Что же делать? – вы спросите. Как я уже не раз писал, следует отречься от губительного предрассудка демократизации армии. Если нельзя сразу, то необходимо хоть постепенно, но настойчиво переходить к старой, разумной системе, к системе постоянной

армии, армии не количества, а качества. Обучайте военному искусству весь народ, но не смотрите на это как на армию. Начните обучение строю и выправке с народных школ, отмените все льготы, требуйте, чтобы каждый гражданин – как в Японии и отчасти в Германии – был бы подготовлен защищать отечество. Но серьезную военную силу набирайте лишь из способных людей и нравственно подходящих, причем основным условием следует ставить то, чтобы они посвятили себя службе не на время, а навсегда. Только такая – постоянная армия с долговременной привычкой к дисциплине и к идее долга – может быть оплотом государства. Армия берется, конечно, из народа, но она не должна быть народом, или она обращается в милицию, в вооруженное сборище, опасное более для своего отечества, чем для врага. Вся сила армии – в героизме, в преданности своим знаменам, в безусловном повиновении Верховной власти»*.

Меньшиков видел надежность армии в отборе людей по призванию и таланту. Публицист считал настоящей армией «дружину храбрых»: «Только талант удерживает человека иной раз на скромном и неблагодарном ремесле. Дружинами храбрых начинались все государства. Только дружины храбрых могут спасти современные общества от распада»**. Именно такая армия способна противостоять анархии, которая может уничтожить цивилизацию: «Власть должна, прежде всего, огородиться неподвижными рядами войск, дружиной храбрых и верных, готовых не на словах только, а на самом деле положить живот свой за веру и отечество. Под верой в древней формуле нашего героизма понимается, конечно, не церковный лишь обряд, а вся народная идеология, все мирозерцание – тот строй духа, что завещан нам предками вместе с кровью»***.

В разгар Первой мировой войны, с августа 1914 года, Меньшиков вел в «Новом времени» рубрику «Должны побе-

* Он же. I. Дружина храбрых // Новое время. – 1907. – 19 июня.

** Там же.

*** Он же. II. Дружина храбрых // Новое время. – 1907. – 7 июля.

дить». За год войны писатель опубликовал 163 статьи в этом цикле. Свое сосредоточение на этой теме Меньшиков как государственный объяснял своим подчинением призыву правительства «направить посильное служение войне и победе»*. К сожалению, положение на фронте заставило редакцию «Нового времени» отказаться от продолжения этого цикла.

В годы Первой мировой Меньшиков постоянно подвергался преследованиям сильно ужесточившейся к тому времени цензуры. В своих письмах к другу и единомышленнице писательнице Ольге Александровне Фрибес Михаил Осипович постоянно с горечью указывал, что его «взяли под предварительную цензуру», обращал внимание на беспорядки в экспедиции периодических сборников «Письма к ближним». Он обоснованно предполагал, что его статьи «застревают где-нибудь в перлюстрации». Государственная Дума сделала по поводу перлюстрации статей Меньшикова запрос в правительство, один видный депутат с думской трибуны осудил цензурные репрессии по отношению к Меньшикову. Сам писатель даже подавал на Цензурный комитет в суд, но все было напрасно. Многие его статьи 1915–1916 годов буквально можно назвать «криком отчаяния, негодования», вызванным свирепством цензуры. Отсюда проблема свободы слова и печати, всегда волновавшая писателя, в эти годы становится для него одной из главных в его публицистическом творчестве.

Но даже в условиях цензурного и правительственного притеснения, проявившегося в полном или частичном запрете рассмотрения многих важных общественно-политических тем, Меньшикову удавалось привлечь внимание ко многим важнейшим проблемам, связанным с безопасностью и обороноспособностью государства, свободой слова и печати, вопросами развития России как национальной империи. Говоря о животрепещущих проблемах политики и национальной обороны, публицист в статьях 1915–1916 годов выходит

* Он же. «Пророки» и держиморды // Письма к ближним. 1916 год. – Пг., 1916. – С. 279.

на высокий уровень не только геополитических, но и философских обобщений. Конечно, взгляды писателя претерпевали изменения, его точки зрения по различным вопросам менялись в течение его журналистской деятельности. Но нравственный идеал Меньшикова оставался неизменным на протяжении всего творчества. Особенно интересны в этом отношении статьи, написанные им в 1916 году. В них Меньшиков по-новому развивал идеи, высказанные им еще в литературно-критических статьях 1890-х годов «Две правды», «Художественная проповедь», «Литературная хворь», «Поэт-богатырь». В статье «Крайности сходятся»^{*} Меньшиков возвращается к проблеме крайностей, консерватизма и либерализма, вреде или пользе, ими приносимой в процессе исторического развития. Эту проблему на материале русской литературы он обозначил еще в статье «Две правды» (1894) и «Поэт-богатырь» (1895).

В статье «Крайности сходятся» Михаил Осипович polemизирует с журналистом крайне правой газеты «Земщина», органа Союза Русского народа, еще раз убедительно доказывая, «что какой бы крайний лагерь ни захватил в обществе власть, результатом этого явится разгром общества, разгром художественно-тонкого строения культуры и самое плачевное одичание». Писатель еще раз подчеркивает, что на протяжении всей своей журналистской деятельности он будет бороться против «обоих крайних фронтов». Меньшиков признает ошибочным отнесение к крайне правому лагерю представителей дворянской знати и знаменитых русских писателей и поэтов, вышедших из этой среды. По его мнению, родовитая аристократия находилась в центре власти, то есть правила вместе с монархом. Она придавала абсолютной власти необходимую для стабильности общества умеренность: «Родовитая знать, пока она не выродилась и не смешалась с выходцами из иных слоев, разделяла власть со своим монархом, ограничивая крайние эксцессы ее уже чисто моральным своим влиянием».

^{*} Новое время. – 1916. – 17 января.

Проясняя свою позицию по вопросу крайних проявлений консерватизма и либерализма, Меньшиков делает важное уточнение: «Под “художественно-тонким строением культуры” я разумею вовсе не одни изящные искусства, а всю область народного жизнетворчества. Сюда нужно отнести и религию, и философию, и науку, и политический строй, и земледелие, и промышленность, и торговлю. Прошу моего почтенного оппонента вспомнить хотя бы главные исторические разгромы русской культуры и ответить по совести: не крайними ли правыми направлениями они совершены?»* Первым «разгромом» художественно-тонкого строения культуры Меньшиков считал ошибку князя Владимира Святого, разделившего Русь между своими сыновьями, словно вотчину, в то время как государство остро нуждалось в единой державии. Именно эта ошибка не позволила Руси в XI–XII веках завладеть Константинополем. Разрушение единой державии принесло Руси в дальнейшем неисчислимыя беды. Вторым примером «разгрома» художественно-тонкого строения культуры писатель считал призвание варягов на русский престол. Какими судьями «по праву» и стали варяги, как укрепили они обороноспособность Руси – показало монголо-татарское нашествие да легенда о несправедном Шемякинском суде. Следующий пример «разгрома» художественно-тонкого строения русской культуры – правление Ивана Грозного, который традиционно считался представителем крайне правого принципа в политике. Меньшиков справедливо считал, что террор Грозного принес России только большие беды и никакой пользы: именно в этот период была уничтожена национальная знать – русское боярство и пресеклась семисотлетняя династия варягов: «Ведь аристократия, какая ни есть, тоже принадлежит к “художественно-тонкому строению культуры”. Ведь боярство было живым искусством русской истории, произведением высшего ее искусства. <...> Подобрал в

* Меньшиков М. Крайности сходятся // Письма к ближним. 1916 г. – Пг., 1916. – С. 31.

опричину худшее, что было в обществе, Иван IV громил лучшее, что было в обществе»*. Походы Ивана Грозного на Тверь и Новгород уничтожили эти центры русской культуры и заграничной торговли. При нем окончательно погибли богатые ганзейские города – Новгород и Псков. Если бы этого не произошло, Россия не потеряла бы выходы к морям, не была оттеснена от международной торговли, у России значительно раньше появился бы свой флот, в конечном счете – не понадобились бы преобразования Петра I. Правление Петра I довершило «разгром» художественно-тонкого строения русской культуры. Меньшиков подчеркивает, что Петр I ставил себе в пример Ивана Грозного, повторил главные его ошибки: окончательно уничтожил русское боярство и духовенство, отменил патриаршество, ликвидировал умерявшее власть народное самоуправление – Земский Собор. Европейская культура внедрялась в русское общество при Петре I не органично как благое и необходимое влияние, способствующее формированию национальности, а насильственно и быстро: «Неужели можно счесть правильным, что сегодня нас хотят сделать голландцами (москвичей XVII столетия!), завтра – французами, послезавтра – немцами? Я лично предпочел бы жить и умереть в стране, *свободной* от таких культурных опытов. Удивляются, что Россия не имеет своей великой цивилизации. Но, может быть, она потому и не имеет ее, что ей не дают спокойного времени, чтобы опомниться от принудительных подражаний»**. Развитие русской культуры в XIX веке Меньшиков связывал с наступлением эпохи «просвещенного абсолютизма», когда крайне правый политический принцип был умерен общеевропейской культурой. По убеждению писателя, «”художественно-тонкое строение культуры” в обществе подобно роскошному узору, который вышивает женщина. <...> Благородная красота и счастье есть награда свободной души народной. Награда не

* Меньшиков М. Крайности сходятся // Письма к ближним. 1916 г. – Пг., 1916. – С. 32.

** Там же. – С. 33.

крайних насилий справа или слева, а крайне осторожного, полного нежности выбора»*.

Разрабатывая проблему создания национального государства, формирования русской нации, Меньшиков продолжает развивать идеи, высказанные им в цикле «Великорусская партия» и других статьях 1907–1913 годов. В статье «Золотое сердце»** Меньшиков размышлял над словами известного французского поэта Жана Ришпена, обращенными к депутатам русской Государственной Думы, находившимся с визитом во Франции. В своем комплименте славянству французский поэт назвал характерной чертой этого народа «золотое славянское сердце», противопоставляя его разуму Запада. Меньшиков был задет этим сомнительным по справедливости комплиментом: публицист нашел в нем общее с определением славянства, данным Бисмарком, считавшим немецкое племя мужским, а славянское – женственным, слабым. Меньшиков подчеркивал несправедливость отрицания разумности, мужественности в славянстве, но признал необходимость развития, «накопления» разума в славянстве для преодоления многих проблем, в частности эксплуатации русских многочисленными инородческими племенами, в том числе и немцами, в течение трехсот лет. Писатель справедливо отмечает, что не благородное сердце, «а именно разум выдвигает высшие человеческие расы над низшими и дает власть под небом». Меньшиков призывал всеми возможными способами культивировать разумность в славянской расе, он спрашивал: «Почему западный человек представляется г. Ришпену (и не только ему) более разумным, чем восточный? Потому что разум его из отвлеченной силы вследствие накопления сделался силой действующей, *idée force*, по определению Гюйо. А это произошло просто вследствие более долговременной умственной гимнастики тех европейских рас, которые случайно, как ближайшие соседи, сделали наследницами древних, умственно богатых ци-

* Там же.

** Новое время. – 1916. – 8 мая.

визаций. <...> Примесь более культурных, более воспитанных рас, несомненно, поднимает умственную силу, как примесь диких и грубых народностей понижает эту силу. Но *развивает* умственную силу до границ возможного только долговременное, многовековое упражнение»*. Меньшиков привел в пример многих талантливых русских ученых – профессоров Мечникова, Ковалевского, Виноградова, прошедших европейскую школу, ставших на Западе «своими». Именно им охотно предлагали возглавить кафедры ведущих европейских университетов, удостаивали высших ученых степеней. Писатель подчеркивал, что требуется совсем немного усилий, чтобы «поднять разумность народной мысли до ее западного потенциала». Меньшиков видит развитие славянского разума в следующем: «Если славянская раса с ее золотым сердцем несколько отстала от западных собратьев в напряжении разумности, то есть простое (при этом единственное) средство: втягивать народную массу в жизнь Европы, в блистательное одушевление тамошней интеллигенции, в общее наследие человеческого рода, захваченное пока лишь немногими более счастливыми сонаследниками. Мы не самоеды и не киргизы, мы – арийцы и с каким ни на есть, но все же тысячелетним прикосновением к Западу. Более или менее общее у нас с Западом Христианство само по себе обладает такую массой идей и представлений, что не могло не быть помимо нравственности – и хорошей умственной школой. Наконец, свыше двух столетий мы живем с Европой общею политической, промышленной и культурной жизнью»**. Практическим способом вовлечения народной массы в европейскую культуру Меньшиков считал народное просвещение. Задачу печати Михаил Осипович видел в содействии усиленному развитию прежде всего технического образования, так как только «культурный труд» мог спасти русский народ от разорения. Вместе с техническим образованием Меньшиков признавал необходимость развития

* Меньшиков М. Золотое сердце // Письма к ближним. 1916 год. – С. 286.

** Там же.

и гуманитарного, и «общепhilософского» образования – в английском смысле этого термина. Писатель убеждал нас: «Необходимо, чтобы народные массы получали в школах известное развитие ума и вкуса, соответствующее нашему веку, а не какому-нибудь каменному или бронзовому»*. Причем Михаил Осипович был уверен, что Россия могла бы догнать Запад всего за несколько десятилетий. Эту задачу он считал долгом ближайших поколений русских людей.

Важное значение в просвещении, техническом образовании, становлении культурного труда Меньшиков придавал разумному привлечению иностранного капитала в Россию. Он писал по этому вопросу: «Тут мы подходим к тому моменту развития европейско-американского капитализма, когда он начинает принимать мировое значение и играть очень важную роль в судьбе культурно отсталых стран. <...> Колоссальный, технически оборудованный труд даровитой американской расы действует на отсталые страны двояко. Он до известной степени угнетает их собственную промышленность, существенно мешая ей развиваться. Но в то же время он обслуживает их во множестве важных отношений, непрерывно накачивая в сравнительно первобытные народы вместе с культурными товарами культурные идеи (ибо каждый предмет – осуществленная мысль, а иная машина – целый курс знания). Новые идеи создают культурные привычки, и, таким образом, патриархальные племена, обслуживаемые изобретательным европейско-американским гением, невольно подчиняются ему. Они поднимаются до уровня некоей общечеловеческой цивилизации, до того *standart of life*, какой сложился у дальних народов, часто у антиподов»**. Эволюцию переживает и вторжение европейско-американского капитала в отсталые страны. Меньшиков говорил об эволюции английского и американского капитала, который вкладывается в развитие национальной промышленности, способствует повышению культурного уровня труда в отсталых странах.

* Там же. – С. 287.

** Меньшиков М. Америка и Россия // Письма к ближним. 1916 год. – С. 515.

Например, английский капитал в Египте стал, по мнению Михаила Осиповича, «благотетельной силой», с помощью которой была несколько улучшена жизнь народа, а народный труд стал значительно более культурным. Именно английские инженеры построили Ассуанскую плотину. По такому же принципу культурного обогащения и развития политической свободы эволюционировало, по мнению Меншикова, и английское владычество в Индии. По мнению писателя, русские настолько привыкли к иностранной эксплуатации, в основном немецкой, что все иноземные предприниматели представляются непременно хищниками. Писатель призвал в вопросах привлечения иностранного капитала руководствоваться национальными интересами России, отличать хищников-капиталистов от «созидателей полезных источников богатств». Распродав за полцены колоссальные богатства России на Дону, Урале, Лене, Алтае, русские власти склонны видеть в иностранном капитале не что иное, как «старого конквистадора на экономической почве». Писатель подкреплял свою идею о необходимости разумного сотрудничества с иностранным капиталом мнением знаменитого русского ученого-химика: «Менделеев доказывал, что даже хищный иностранный капитал, погруженный в нашу почву, постепенно прирастает к ней и делается нехищным, ибо, в самом деле, не унесет же с собой обратно за границу колоссальные сооружения, здания, машины, каналы, пароходы и т. д. Весь вопрос, какие доходы и из какого источника получает их капиталист, рискнувший внести к нам свои деньги, знания и энергию. Если прибыль его умеренная и если она получается из развития самого дела, то иностранный капиталист не только не разоряет, но явно обогащает страну, где он налаживает культуру»*. Таким образом, чтобы культивировать народный разум русского народа, организовать его культурный труд, нужно привлекать иностранный капитал для развития национальной промышленности. Меншиков писал: «Наше спасение в труде народном, но труде *культурно обо-*

* *Меншиков М.* Америка и Россия // Письма к ближним. 1916 год. – С. 517.

*рудованном. Кто бы ни научил нас могуществу культурного труда и чего бы это ни стоило, мы должны учиться**.

Одной из наиболее важных тем для публициста, как было сказано выше, была свобода слова и печати в России. Меньшиков на протяжении всего периода работы в «Новом времени» выступал против стеснения свободы печати, но особенно активными его выступления на эту тему стали именно в 1916 году. В статье «“Пророки” и держиморды»** Меньшиков говорил о невероятной несвободе русской печати, о задержке целого ряда его статей в связи с делом министра обороны В. А. Сухомлинова. После относительной свободы русской печати в течение трех-четырех лет после конституционной реформы последовало еще большее ее ужесточение: «Уже в эпоху Столыпина, под конец ее, чувствовалось возвращение старых инстинктов, реакционных и ретроградных...». Борьба с обличительными выступлениями Меньшикова по поводу серьезных проблем в военном министерстве и по поводу тяжелого положения с обороноспособностью страны привела к тому, что русская печать не выполнила свою главную задачу – не предупредила русское общество о грозящей опасности. Наоборот, официальная газета военного ведомства «Русский инвалид» предпочитала обманывать, создавая лживую благостную картину, обвиняла публициста в насаждении духа уныния в армии. Меньшиков еще раз подчеркивал, что «публицистика, понимаемая сколько-нибудь серьезно, есть по самой природе своей пророческое призвание, но требует двух условий: искренности и свободы. Каждый способный к своему делу журналист в состоянии до известной степени предвидеть и, стало быть, предсказывать с большею или меньшею вероятностью общий ход событий. Для этого достаточно ясно осветить факты действительности и сделать логический вывод. Но ведь в этом же и долг нашей профессии! Мы обязаны беспристрастно судить о вещах и давать свое понимание их. Честность мысли при некоторой осведомленности доста-

* Там же. – С. 518.

** Новое время. – 1916. – 7 мая.

точно ограждает ум от ошибок. Однако, кроме внутреннего условия «пророчества», решительно необходимо и внешнее – свобода слова. Казалось бы, если вы не расположены слушать чьи-либо предсказания, кто же препятствует вам не слушать их? Но у нас еще держится глубоко нечестивый и варварский взгляд, будто несогласных с нашими мнениями нужно запрещать. Как в древности гнали пророков и даже величайших из них предавали смерти, как предавали гонению и даже смерти великих ораторов и мудрецов, так подвергаются тяжким ограничениям и современные публицисты, даже наиболее крупные из них (как Чаадаев, Герцен, Ив. Аксаков и др.)*. В то же время значительная часть ответственности за цензурный произвол лежал, по убеждению Михаила Осиповича, и на самих журналистах, которые буквально одержимы свирепым духом преследования, особенно это было характерно для представителей крайне правой и крайне левой печати: «И радикалы, и ретрограды одинаково инквизиторски относятся к свободному мнению, если оно им неприятно. Тут призванные быть пророками пишущие люди гораздо охотнее берут на себя роль держиморд. <...> Пророчество и зажимание горла друг другу – вещи несовместимые, как гений и злодейство, по словам Пушкина»**.

В статье «Долг печати»*** Меньшиков горячо поддерживал инициативу Британского союза журналистов о возможности плодотворного обмена мыслями между британской и русской печатью, а также необходимости обмена идеями между всеми странами-союзницами в Первой мировой войне. Меньшиков особенно выделил в обращении британских журналистов тезис, который не только полностью поддерживал, но и давал к нему собственные комментарии: «Питая надежды, *прилагаем усилия создать из нашей профессии в будущем еще более, чем в прошлом, орудие для добровольного*

* Меньшиков М. О. «Пророки» и держиморды // Письма к ближним. 1916 год. – С. 282.

** Там же. – С. 282, 283.

*** Новое время. – 1916. – 23 июня.

*международного служения в пользу национальной и личной свободы**. Идею международного служения журналистики принципам национальной и личной свободы публицист называет «инженерной формулой, скрывающей для техника огромное и важное содержание». Меньшиков ощущал в этой инициативе британских журналистов оттенок «раскаяния», что главная цель печати цивилизованных стран еще не достигнута. По мнению публициста, эта цель может быть достигнута через упрочение дружбы между русской и британской печатью, обмен идеями между журналистами союзных и дружественных нейтральных стран, а также через придание журналистике статуса одного из важнейших социальных институтов. Самым важным критерием в журналистской профессии, по глубокому убеждению Михаила Осиповича, должна быть совесть. Он считал, что не только английские журналисты, но и журналисты всех культурных стран должны ощущать долю своей вины за «слабость своего политического предвидения», которая привела к развязыванию мировой войны. Меньшиков писал: «Журналисты – люди политического мышления, и если это мышление оказалось бессильным, чтобы отклонить беду, то ясно, что печати, как и правящим кругам, чего-то недостает для их ролей. Чего же недостает печати? Наши британские собратья полагают, что недостает международного общения между журналистами. Необходимо, чтобы публицисты разных стран знакомились друг с другом, читали друг друга, обменивались идеями, выработывая общее понимание событий и общую, так сказать, политическую веру»**. Меньшиков напоминал, что международное профессиональное объединение журналистов – примета времени, так как еще в статье «Седьмая держава» от 1 сентября 1915 г. он сообщал о том, что на Международном конгрессе печати в Сан-Франциско (1915 г.) «с энтузиазмом» было принято решение о постоянной организации «конгресса печати всего света». Меньшиков лично получил извеще-

* Меньшиков М. О. Долг печати // Письма к ближним. 1916 год. – С. 437.

** Там же. – С. 439.

ние об организации этого конгресса и приглашение от его директоров – г. Вальтера Уильямса и г. Джемса Барра. Михаил Осипович завоевал не только всероссийскую известность, но и международное признание коллег-журналистов: по сведениям Ю. Алехина, в начале сентября 1917 года Меньшикова официально пригласили в Америку с циклом лекций о политической ситуации в России*. Однако писатель был вынужден отклонить предложение из-за опасения оставить семью в такое опасное время.

Меньшиков понимал миссию журналистов так: «Журналисты, если они желают служить национальной и личной свободе (цель, предложенная Британским союзом печати), должны быть *не представителями* общественного мнения, а руководителями его. <...> Сознательные классы всех народов пребывают в национальной замкнутости и не ищут путей для понимания международных общечеловеческих интересов. Политическая критика немецких историков, философов, публицистов обнаружила жалкую зависимость от общественного мнения Германии, мнения весьма невежественного и нравственно низкого. <...> К глубокому сожалению, и журналистика разных стран оказалась не выше или немногим выше простонародного уровня. Она оказалась чаще всего способной говорить только на национальном языке чувств и представлений, только *на своем языке*. Между тем для мировых задач, касающихся *всего* человеческого рода, очевидно, нужен какой-то общий язык, общая разделяемая всеми система понятий. Если ее нет, то нужно ее вырабатывать. Нужно с величайшим старанием, как бы это ни было трудно, вырабатывать общепризнанный нравственный закон, который подчинил бы себе сознание всех политических обществ. Без такого добровольного подчинения священным общечеловеческим заветам невозможна ни национальная, ни личная свобода. Печать, если она хочет исполнить долг перед человечеством, должна научиться ру-

* Алехин Ю. К живым адресатам // Меньшиков М. О. Выше свободы. – С. 446.

ководить сознанием своих народов, а не представлять его. Подобно чистой науке, публицистика должна делаться постепенно мировым сознанием, а для этого она должна всемерно добиваться идейного согласия и единства*.

В смутный предреволюционный год в статье «Мрачные предсказания г. Милюкова»** Михаил Осипович показал зависимость между несвободой печати и подъемом революционного движения, нарастанием террора. Свободная печать, по мнению писателя, – условие поддержания политической стабильности в государстве: «Те, кто привыкли трепетать перед свободной печатью, пусть вспомнят, что политические преступления совершались еще за тысячелетие до изобретения печати. Политический террор, очевидно, имеет свои особые источники питания помимо печати. Бесспорно доказанным следует считать то, что эпоха печати, задавленной цензурой, *способствует* развитию террора, а эпоха бесцензурной печати *не способствует* ему. Возьмите Англию и Францию XVIII века: замученная цензурой печать Франции не спасла последнюю от великой революции, тогда как при бесцензурной английской печати хоть и бывали сильные движения, но они никогда не доходили до политического террора. В нашей собственной истории мы видим, что задушенная цензурой русская печать не предупредила ни заговоров декабристов, ни широкого развития революционного нигилизма в 50–60-х годах, ни открыто революционных движений в 70-х и 90-х годах»***.

Писатель еще раз привлекал внимание публики к тому, как губительно подействовало повторное усиление цензуры накануне Первой мировой войны. Власти проигнорировали трагический опыт замалчивания фактов катастрофического положения с обороноспособностью армии еще перед русско-японской войной, который и стал причиной полного

* *Меньшиков М.О.* Долг печати // Письма к ближним. 1916. – С. 440.

** Новое время. – 1916. – 20 декабря.

*** *Меньшиков М.* Мрачные предсказания г. Милюкова // Письма к ближним. 1916 год. – С. 721.

поражения русской армии и флота. Писатель напоминал, что действительное облегчение положения со свободой печати произошло уже в 1905 году, в самый разгар кровавого террора. В то же время свобода слова сразу же способствовала прекращению смуты: «Но знаменательно, что вместо распространения пожара освободительная печать действовала на смуту, как вода на огонь. Когда открыли крышку с кипящего котла, пар вырвался большим облаком, но безвредным. За целое десятилетие с 1907 по 1916 год, кроме убийства Столыпина, не было у нас террористических актов. Так ответила всегда загадочная жизнь на доверие к ее свободным силам. Пока действовала либеральная в отношении печати практика покойного Витте, революционный дух вмещался в формы легального протеста и претворялся *в оппозицию*, не только безвредную, но часто и полезную своими ассенизационными свойствами» *. Завершая столь значимое для него публицистическое выступление, Меньшиков еще и еще раз подчеркивал: «И солнечный луч, и мысль человеческая очищают атмосферу *без преступлений*. Если прав г. Милюков в своих мрачных предсказаниях и если в самом деле на нас надвигаются “явочные формы” пережитой смуты, то нужно вновь мобилизовать свободу как лучший ассенизатор зла»**.

В 1916 году Меньшиков снова обратился к теме национализма. Он создал одну из наиболее значимых своих статей по данной теме «Что такое национализм?»***. В статье дано философское обобщение национального вопроса, в ней наиболее ярко воплотилась специфика политического и философского мировоззрения писателя. По убеждению Михаила Осиповича, «национализм с христианской точки зрения как развитие в себе наивысшей человечности есть поиск наилучшего. Евангелием не запрещено ни одному народу оставаться тем, что он есть, ибо этого запретить нельзя. <...> Все трогательное

* Меньшиков М. Мрачные предсказания г. Милюкова // Письма к ближним. 1916 год. – С. 722.

** Там же. – С. 723.

*** Новое время. – 1916. – 31 января.

и великое под солнцем, все благородное, что дошло до нас от египтян, вавилонян, евреев, персов, индусов, греков, римлян, средневековых и новейших европейцев, – все это “мое”, все это признано мной и усыновлено навеки со страстным желанием вместить в себя и передать потомству».

К весне 1917 года под благовидным предлогом отпуска Михаил Осипович был фактически отстранен от работы в «Новом времени». Сыновья и наследники А. С. Суворина срочно переориентировали направление газеты, устраняя правых публицистов от работы. Переориентация также была связана с распродажей издательства «Новое время», после которой основной пай был сосредоточен в руках не просто случайных в журналистике людей, а зачастую даже откровенно враждебных России. Зимой 1917–1918 гг. Меньшиков с семьей провел в г. Валдай Новгородской губернии, где у него была дача.

20 сентября 1918 г. Михаил Осипович Меньшиков был расстрелян прибывшей из Петрограда выездной карательной спецгруппой. Его расстреляли у стен знаменитого Иверского монастыря на берегу Валдайского озера. Расправа над писателем совершилась по личному указанию М. С. Урицкого, который с марта 1918 года был председателем Петроградской ЧК. Вдове Меньшикова Марии Владимировне выдали копию решения суда над писателем, в котором все обвинения были очевидной ложью. Меньшикову поставили в вину «неподчинение» Советской власти. Через два дня газета «Известия» в Москве сообщила о расправе над Меньшиковым, добавив от себя очередные клеветнические обвинения: «Чрезвычайным полевым штабом в Валдае расстрелян известный черносотенный публицист Меньшиков. Раскрыт монархический заговор, во главе которого стоял Меньшиков. Издавалась подпольная черносотенная газета, призывающая к свержению советской власти»*.

Страшную правду о подлой и невероятной по жестокости расправе над Михаилом Осиповичем находим в вос-

* *Поспелов М., Лисовой Н.* Указ. соч. – С. 414.

поминаниях Марии Владимировны Меньшиковой, вдовы писателя: «Вот что мы пережили, вот какое страшное горе обрушилось на нас и так внезапно, так неожиданно! Пришли, схватили, увели, замучили и убили! Казнили за *неподчинение* [курс. М. Меньшиковой. – В. Т.] советской власти, ни в чем, однако, не проявленное и ничем не доказанное. Но судьями были: Якобсон, Давидсон, Гильфонд и Губа! Несчастливая наша родина!»*.

Показательно, что чекист Якобсон, приговоривший Михаила Осиповича к расстрелу, спустя три года станет палачом и великого русского поэта Николая Гумилева.

По свидетельству Марии Владимировны Меньшиковой, после казни ей сказали очевидцы, «что русские солдаты не согласились стрелять в мужа и отказались, тогда послали инородцев»**.

В 1993 году Михаила Осиповича Меньшикова реабилитировали. Родные знаменитого писателя – дочь Ольга Михайловна Поспелова и внук Михаил Борисович Поспелов – приложили невероятные усилия, чтобы все обвинения с Меньшикова были сняты. С 1990-х годов в Валдае ежегодно проходят Меньшиковские чтения, которым предшествует каждый раз заупокойная служба на могиле писателя. Заключительные строки на мемориальной доске, установленной на валдайском доме Меньшикова, гласят: «Расстрелян за убеждения».

В. Б. Трофимова

* *Меньшикова М. В.* Как убили моего мужа: рассказ об аресте и расстреле М. О. Меньшикова, записанный со слов его жены. – 1918. – 20 сентября. – Автограф. РГАЛИ. – Ф. 2168. – Оп. 1. – Л. 14.

** Там же. – Л. 14.

РАЗДЕЛ I

РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Чего забывать нельзя

В Петербурге оживленно говорят об уходе адмирала Бирилева¹. Уход этот не возбуждает ни удивления, ни сожаления, но тем с большим рвением «кумушки» занимаются вопросом о его преемнике. Как всегда, выдвигаются кандидаты известные, неизвестные, сомнительные, возможные, невероятные. Этот бредовой период общественных ожиданий доказывает, что общество равнодушно к государственной жизни. У нас, как и везде, живут и борются партии; каждая из них мечтает о власти, каждая выдвигает своего кандидата, и министр, занявший ответственный пост, продвигает за собою целое общественное течение, дурную или полезную силу, которая непременно отразится на ближайшей истории страны. Пост морского министра, как и военного, – страшной трудности. Все понимают, что тут нужен не только служебный ценз, не только исправный формуляр. Нужен большой талант, нужна энергия, необычайная работоспособность – и сверх всего этого нравственный авторитет. Увы, таких людей у нас никогда не было много, теперь

же после катастрофы – где взять их? Нет адмирала Макарова², нет Чухнина³...

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит...⁴

Во флоте живы и процветают многие превосходительства, которые чрезвычайно сведущи в плохих заказах и очень хороших комиссионных. Им не предложат министерского портфеля, да они и не так просты, чтобы взять его. Это все равно, что променять тихую и теплую гавань на океанский шторм. Идти в министры в эти тяжелые годы надо иметь не меньше мужества, чем уйти из министров. Слишком трудна, слишком ответственна, сверхсильна предстоящая задача. Немудрено, что честные из стариков, например адмирал Дубасов⁵, как слышно, уклоняются от высокой чести. Прежде всего, тут необходимы большие физические силы, которыми гораздо богаче молодость, чем утомленная и заслуженная старость. Чрезвычайно жаль, что адмирал Дубасов не чувствует в себе данных для громадной работы; если он утверждает это, то это не недостаток усердия и не ложная скромность, а просто добросовестность и патриотизм, которые все поймут и оценят.

В числе возможных кандидатов в морские министры называют адмирала Алексева⁶, «того самого, который...».

Бесспорно, это одна из тех оглушительных знаменитостей, которых выступление – все равно в какой роли – составляет громкое политическое событие. Адмирал Алексеев вместе с г. Стеселем, Рождественским, Куропаткиным, Небогатовым⁷ пользуется всемирной славой, его назначение станет предметом толков во всех уголках земного шара. Опять начнут перетряхивать наш позор, трепать несчастное имя России... Помимо морского ведомства, где г. Алексеев, надо думать, ничего не сделает, назначение его министром будет понято всюду как возврат к старой системе, как вызов великой государственной реформе, за течением которой следит

заинтересованный в ней весь свет. Известно, каким огромным доверием пользовался злополучный адмирал; с ним была еще так недавно связана целая политическая система, его имя на Дальнем Востоке понималось как программа, как иероглиф, ясный для всей желтой расы. Назначение министром поверженного кумира явится политическим событием, которое будет встречено миллиардами восклицательных и вопросительных знаков. Остановиться на зловещей кандидатуре в министры следует, как на серьезном несчастье, угрожающем России.

Что такое адмирал Алексеев? Во флоте все еще помнят его командиром корабля, начальником штаба и т. д. Бесспорно, это был исправный морской офицер, насколько поколенческие упадка могло быть исправным. Г-н Алексеев никогда не выдавался, не блистал ни талантами Макарова, ни отвагою Дубасова, ни энергией Чухнина, ни ученостью многих адмиралов, составивших себе имя, сидя за книгами. Вместо талантов, отваги, учености и т. п. судьба послала ему счастливую наружность, и именно она, как мне кажется, сделала ему карьеру. Почти безобразная внешность г. Алексева была страшно внушительна. Гениальный гример не мог бы подыскать и загримировать более подходящей фигуры для «морского волка», «морской собаки» (seadog), как говорят англичане. Тяжелый, грубо скроенный корпус, суровое, резкое, крупное лицо, опаленное тропическим загаром или темное от рождения (мать г. Алексева, как говорят, не русская). Достаточно было взглянуть на эту фигуру, чтобы никогда не забыть ее. Если же столь живописный тип являлся в качестве командира огромного судна, идущего в океане, среди бурь и волн, то верховная власть его на корабле, общее поклонение и беспрекословное послушание выдвигали его как существо исключительное, мрачному обаянию которого трудно было не подчиниться. Мы, русские, чрезвычайно падки на идолопоклонство, причем особенно поражает наше воображение внешность, и в ней преимущественно что-нибудь грубое, резкое, сильное, театрально-живописное. Лев Толстой про-

гремел не раньше, чем стал шить сапоги и пахать землю, причем не спрашивали ни качества сапог, ни о том, вышло ли что-нибудь из паханья графа. Максим Горький прогремел не столько талантом, сколько босячеством и скандальными выходками. В наружности адмирала Алексеева, в его типе старого корсара было много романтики. Он производил большое впечатление. Когда потребовались люди на большой пост, события так сложились, что г. Алексеев выдвинулся и с головокружительной быстротой очутился на форпостах нашей политики. Ему поручили самую огромную государственную задачу – устроить русский Гибралтар, неприступную твердыню, которая служила бы опорой нашего господства в Азии, укрепить головной пункт великой Транссибирской дороги, подготовиться к отпору Японии, которая готовилась к войне с лихорадочной поспешностью. Для действительно даровитого русского человека это было бы восхитительное дело. Огромное, историческое, обещающее бессмертие имя. И средств, и времени было дано немного, но была дана власть, еще небывалая на Востоке. Адмирала Алексеева сделали наместником, командующим сухопутными и морскими силами, хозяином нашей политики на Востоке. Чего же больше! Истинно талантливый человек работал бы день и ночь, не покладая рук; он сам не спал бы и другим не давал бы спать. Он непременно укрепил бы Порт-Артур, загородил бы минами, сосредоточил бы достаточно войск, собрал бы флот. Даже просто умный человек на месте г. Алексеева шел бы на все уступки, оттягивал бы войну, елико возможно, пока действительно не был бы в силах дать отпор. Что же делал г. Алексеев?

Он более всего заботился о величии своего имени на Востоке. Позарез нужен был док, а адмирал Алексеев строил себе роскошный дворец. Смертельно необходимы были бетонные казармы на фортах, а вместо них строилась крайне дорогая и роскошная яхта для г. Алексеева (захваченная в плен, она служит, говорят, плавучим музеем войны, где показываются трофеи японских побед). Необходима была не-

прерывная подготовка гарнизона к бою, а г. Алексеев устраивал феерические вечера на берегу океана. Нужно было учиться, работать и молиться накануне великих битв, вместо того в Порт-Артуре шел такой разгул и разврат, что местный епископ в известном послании именно развратом объясняет казнь Божию – разгром со стороны японцев. Война надвигалась как черная туча. Россия ждала правды, одной правды и только правды на трагический вопрос: готовы ли мы к войне? И адмирал Алексеев слал пышные телеграммы о готовности, о том, какой блестящий отпор они дадут врагам, о том, что сам Куропаткин, по осмотру Порт-Артура, на городской площади пил здоровье «гения» тех мест, адмирала Алексеева, сделавшего крепость неприступной. Однако при начатии войны Порт-Артур до такой степени был не готов, что его можно было взять голыми руками. Если бы японцы отважились сделать высадку в первые же дни, они нашли бы вместо многих фортов только места, намеченные вышками. Уже во время войны в 2-3 месяца возведены были те укрепления, которые позволили Порт-Артуру держаться 8 месяцев. Что же было бы, если бы адмирал Алексеев работал изо всех сил предыдущие пять лет? Взяв на себя переговоры с японцами, адмирал Алексеев не заметил, что он со всех сторон окружен шпионами. Он не заметил, что наш флот разбросан по разным гаваням. Он ничего не нашел странного в том, что наш порт-артурский флот был выведен на внешний рейд и расположен как раз в том порядке, какой был удобен для японской атаки. Война была почти объявлена, а у нас не подумали даже об элементарных предосторожностях: адмирал Алексеев спал сном младенца, когда загрохотали японские мины и ядра. Он верить не хотел мичману, который явился доложить об этой неожиданной неприятности... Что же потом? Явился ли г. Алексеев, подобно Нахимову⁸, организатором обороны, сумел ли он внушить героизм? Нашел ли в себе гений повернуть военное счастье в нашу сторону? Ничего подобного. Он только всем мешал. И в крепости, и на театре войны он явился слишком крупною фигурою, которая загоразивала

всем дорогу и которую пришлось в конце концов убрать. Как говорят, комиссия адмирала Дикова⁹ пришла к заключению, что несчастный бой нашего флота 28 июля обязан именно полной неумелости адмирала Алексеева организовать выход флота. А этот бой решил все последующие поражения...

И вот этот роковой человек, бездарность которого стоила России океана бедствий, вновь всплывает к власти. Он еще не назначен министром, но какое-то могущественное течение вновь несет его на высокий пост. После Цусимы, казалось бы, несчастный флот наш не может быть более унижен и оскорблен. Оказывается, есть еще одна отравленная капля горечи – назначение вот такого человека в начальники... Пусть это только слух, но уже то, что слух возможен, глубоко возмущает тех, для кого честь флота и честь России неразделимы. Что такое все служебные цензы перед единственным, в котором самая тайна повиновения – перед нравственным цензом, перед правом смотреть всем в глаза открыто? Для флота важен не бутафорский морской волк, оказавшийся сухопутной овцой. Для флота нужно живое сердце, необходим герой, в которого все верили бы, который в малом был велик и которому в большом охотно подчинялись все. Пусть адмирал Алексеев заслужил более сострадания, чем осуждения, но как не считаться с психологией общества? И какое торжество будит этот министр у левых партий в новой, загадочной Думе, какой для них чудный козырь!

Великорусская партия I

«Русские отличаются неслыханным отсутствием патриотизма». Это отзыв господина Дмовского¹, одного из лидеров польского «кола» в нашей Государственной Думе. Отзыв сделан на днях в Варшаве, на собрании польских националистов. Его стоит запомнить, он характерен.

Напустив инородцев, злейших врагов нашей государственности, в парламент, мы напрасно думаем, что они сидят

там куклами. Оказывается, они пристально наблюдают нас, господствующее племя. Они всматриваются зорко, оценивают и приходят к выводам, далеко для нас не лестным. Наш парламент – постоянный съезд национальностей; побежденные племена впервые имеют случай сойтись с победителями в лице представителей своих. У них невольно возникает вопрос: что же такое народ, ими овладевший? Действительно ли это мощная сила и насколько неистощим источник ее в будущем? В течение ста лет мы презрительно относились к патриотизму польской шляхты, «пропившей», по выражению Костомарова², свою республику. Теперь, в первом парламенте русском, вождь польской партии возвращает нам тот же упрек. «Неслыханное отсутствие патриотизма» – вот первое, резкое, поднимающее дух инородцев их впечатление в парламенте. Не этим ли бросающимся в глаза печальным свойством русских партий объясняется наглость депутатов евреев, армян и татар, оскорбляющих самое заветное, что есть в каждой государственности, – нашу армию?

«Неслыханное отсутствие патриотизма» Думы плохо замечается только русским обществом, ибо, по пословице, «своя вонь не воняет». Иностранцы и инородцы, люди, пришедшие с ветра, не только сразу чувствуют эту странную черту русских людей, но, очевидно, ощущают ее в резкой степени. Не только культурным англичанам, немцам, французам, для которых родина их кажется священной и великой, – но даже для крохотных, разложившихся, зачаточных народностей, каковы латыши или армяне, русское равнодушие к своему отечеству кажется поражающим. Умный инородец широкими глазами смотрит на то, как коренные русские люди, дворяне, иной раз Рюриковичи, стесняются тем, что они русские, заглядывают в глаза какому-нибудь татарину или еврею, лебезят, семят перед ними и всячески – без слов – извиняются за невольное преступление – быть русским. Один перед другим великороссы ругают великую Россию, оплевывают все национальное, старозаветное, в чем выразилось наше племенное своеобразие. В обществе ино-

родцев иной великоросс из кожи лезет, чтобы отречься от тени подозрения в пристрастии к своему родному. Дошло ведь до того, что первый представитель от первого города России в первом парламенте нашем профессор истории заявил с парламентской трибуны о неловкости называть народ России «русским народом», ибо это может оскорбить господ евреев, латышей, армян, эстонцев и полсотни других национальностей, одинаково будто бы имеющих право на Российской империю. Иностранцев это сначала поражает; затем заставляет наглеть. Они смотрят на иного важного русского барина и думают про себя: ага, вот он кто:

Он с татаринoм – татарин,
Он с евреем – сам еврей,
Он с лакеем – важный барин,
С важным баринoм – лакей*.

И сообразно с подмеченной слабостью иные недавно еще лакействующие иностранцы начинают держать себя важными баринами перед лакействующим перед ними победителем.

Так ведут себя великороссы – не все, конечно, однако сколь многие! Не менее возмутительно держат себя малороссы. Эти уже вьявь кричат о своем предательстве, наотрез отказываясь от России. Они уже не русские, не малороссиане, – «они украинцы» и в качестве таковых завели особое «коло» в Государственной Думе. Край великого целого объявил себя неким отдельным целым, причем этого раскола не останавливает ни бессмысленность его по существу, ни голос истории. Последняя тысяча лет знает Киевскую Русь, Малую Русь и совсем не знает Украины как политической единицы. Коренная русская окраина, столь же законная в составе русских областей, как Белая Россия, Червонная Русь, Черная Русь (исчезнувшая, но когда-то бывшая), Малороссия со времен варяжских была одной крови, одной веры, одного

* Строчка из раннего стихотворения Н. А. Некрасова «Он у нас осьмое чудо...» (1845). – В. Т.

(с ничтожными отличиями) языка и – на протяжении многих веков до и после татар – одной судьбы с Великой Россией. Если Малая Русь через своих представителей объявляет себя какой-то иной национальностью, нам чуждой и враждебной, то это глупое дробление доказывает только дряблость окраины, отсутствие культуры, связывающей ее с целым. К счастью, в простом народе среди хохлов украинофильство едва заметно. Простые хохлы считают себя такими же русскими, как и москали, такими же православными, подданными одной русской власти, детьми одной матери – русской земли. Простые хохлы любят свой край, как жители Волги – свой, жители Астраханской губернии – свой. Простые хохлы любят своеобразие своего быта и языка, но в общегосударственной жизни любят и великорусский быт, и великорусский язык, как мы, великороссы, попав на юг, не считаем себе чужими их белые хаты среди садов, их звучные песни, их милый, совершенно понятный нам язык, кажущийся деревенским, народным и потому – родным. Кое-какие отличия, несомненно, есть, как между родными братьями и сестрами, выросшими в одной семье, – но эти несходства разрушают ли кровное родство?

Разрушают ли некоторые различия семейное единство? Отрицают ли они общность происхождения и общность родового имени? Хохлацкий сепаратизм – явление вовсе не народное. Это измышление недалеких умов, продукт обезьяньей подражательности. Сепаратизм – создание хохлацкой интеллигенции второго сорта, ибо первый сорт этой интеллигенции с давних пор естественно и безотчетно сливался с великорусской интеллигенцией, образуя общенациональный наш фонд ума и таланта. Как Гоголь с почетом был принят в русскую литературу, так с почетом, в качестве своих людей, были приняты многочисленные даровитые южане, писатели, художники, музыканты, общественные деятели. Людям второго сорта, неудачникам, бездарностям было труднее войти в большую русскую культуру. Оставшись за флагом, они ищут оправдание неудач в мнимой национальной отдельности от Великой России. Но это смешной вздор. Если отдельность

так сильна, то что мешает хохлам создать что-нибудь важное у себя в Золотоноше или Конотопе? Единственный талант, оставшийся у малороссов вне великорусской культуры, это Шевченко, которому помешали стать выдающимся русским поэтом нищета, крепостное право, солдатчина, ранняя смерть. Все остальные сколько-нибудь заметные дарования среди малороссов если кое-чем выдвинулись, то как русские люди, а не как хохлы.

Ни в одной стране сепаратизм не имел так мало серьезных оснований, как в пределах русского племени. Возьмите немцев. Немецкие окраины разделяет гораздо большее различие языка, чем у нас с малороссами, их разделяет различие веры, различие исторического имени, различие государственности и политической судьбы. Баварцы полторы тысячи лет иначе называются, чем саксонцы, они с незапамятных времен имели отдельных государей, отдельные законы, они десятки раз вели между собой войны не на живот, а на смерть. Разделенные горными хребтами, разделившиеся физически, они имели в тысячу раз больше причин считать себя чужаками, и тем не менее «Deutschland, Deutschland uber alles»* – одно пламенное, гордое чувство связывает всех немцев. У нас же Малороссии как государства никогда не было, никогда не было войн между нами. Разъединялись мы насильно, соединялись добровольно, причем перепутались, перемешались до физической неразделимости. Украинские сепаратисты по-детски хвастаются, будто их двадцать миллионов, и зачерчивают под одну краску все пространство от Карпат до Волги. Но ведь это одно чудачество. Как вы вырвете из предполагаемой Украины громадную Донскую область – чисто великорусскую? Или Новороссию с ее смешанным населением, или Прикавказье, или Вольту, или огромные южные города? Кому отдать Киев – «мать русских городов»? Только в крайне ограниченных и праздных головах зарождается потребность идти наперекор истории, сочинять новые народности, когда природа создала достаточно прочно старые.

* Германия, Германия превыше всего (нем.). – В. Т.

Политическое сочинительство у хохлов принимает жалкие формы. Я поражен был на недавнем чествовании А. С. Суворина будто бы малороссийским языком, которым приветствовала его депутация от хохлов. Сначала мне показалось, что говорят поляки, до такой степени малоросс, читавший адрес, старался подделаться под польский выговор, до такой степени он нажимал на ударения на предпоследнем слоге, до такой степени напустил полонизмов в адрес. Не желая быть русскими, хохлы полякуют, но, спрашивается, чего же они стоят в качестве полуполяков? Ровно ничего. Мне лично одинаково нравится благородный польский язык и более родственное мне изящное и нежное малороссийское наречие. Натурального поляка и натурального малоросса я слушаю с удовольствием. Но подделки, искусственные жаргоны, книжные композиции режут ухо, как гвоздь по стеклу.

Глупость заразительна: вслед за хохлами поговаривают о своем особом «коле» в Государственной Думе и белорусы. Тоже есть, видите ли, и белорусские сепаратисты! Курам на смех, но они есть или, по крайней мере, пыжятся выдвинуться в некую особую национальность. Неизвестно, поляки ли некогда оболванили западнорусское население до заметной потери здравого смысла, или от природы это население менее даровито, но политически разум западных националистов сошел на нет. Когда на съезде национальностей в ноябре 1906 года зашла речь о белорусском сепаратизме, даже армяне ахнули от изумления. Один армянин (депутат теперешней Думы) рассказывал мне, что ему пришлось упрекнуть одного придурковатого белоруса: «Все народы мечтают о национальном объединении. Единство Италии, единство Германии было заветной мечтой, ради которой пролиты моря крови. А вам, которым единство ничего не стоило, хочется разойтись и расползтись». Так говорят армяне! Поляк Дмовский, говоря о «неслыханном отсутствии патриотизма у русских», ничего не открыл для инородцев нового. Весь теперешний шумный бунт держится именно на этом подмеченном инородцами пороке нашем – отсутствии патриотизма. Скажите, как держаться государству без граждан? Если нет у

нас, русских, уважения к своему отечеству, если нет чувства священной гордости быть русским, если нет любви к России, как устоять последней от бешеного напора великих и малых национальностей, осаждающих нас и вне, и внутри границ?

Если бы порешить, что у нас совсем нет патриотизма, – рассуждать не стоило бы о России. Очевидно, она погибла, и колоссальный остывающий труп ее будет не далее как завтра похоронен соседями. Но я не верю этому, не могу поверить. Патриотизм – как вера: сегодня его нет, завтра он вспыхивает с неудержимой силой. Патриотизм – как пламень: он загорается от искры, от немногих искренних, горячих голосов, от голоса мясника нижегородского или троицкого монаха. Совершенно неожиданно рождается этот чудесный дар. Иной раз не в силах ничего сказать несчастному народу ни робкий король, ни его гордая знать, ни духовенство – и вдруг раздается чудодейственный голос пастушки, слабой девушки, спасающей со знаменем в руках свою родину.

Долг спасения великой нашей страны лежит прежде всего на нас, великороссах. В ответ на бессовестное предательство некоторых южных и западных сородичей мы, великороссы, должны проснуться, пробудить в себе несколько померкшее государственное сознание. Россия – это мы, наше племя. Остальные народности – родные нам или двоюродные, как поляки, или совсем чужие – имеют свой пай и вклад, но основной капитал государственности – наш и фирма – наша. Неисчислимыми трудами, страданиями, истомой, долготерпением, подвигами, благородством предков, их неутомимой силой и верой в себя и богатырской отвагой сложилась Россия, и мы, потомство создателей ее, обязаны ее отстаивать. Основная мысль нашей истории та, что государство наше есть государство «всёя России» нераздельно: «Великие и Малые и Белые России» самодержавное господство, причем больше тысячи лет, еще при Владимире Святом, установилась «отчина» наших государей – все русское племя от Карпат до четырех морей. Носителем этой великоросской идеи являемся мы, великороссы. На переломе истории, когда оживают кости некогда разбитых вра-

гов, когда поднимаются на нас новые хазары, половцы, татары, литва и чудь, мы, великороссы, обязаны вновь сосредоточить государственный стан свой, поднять знамя древней Великой России и дать инородцам отпор. В ответ на враждебное дробление нашей империи на племена мы, великороссы, должны сплотиться как центральное могучее тело, которое тяготением своим удерживало бы центробежные силы. И в парламенте, и в стране нужно создать национальную партию – великорусскую или всероссийскую.

Великорусская партия IV

Русским друзьям конституции полезно заглядывать в польскую историю, в историю парламента, похоронившего соседнюю с нами великую славянскую державу. «Публике мало известно, – говорит А. Т. Снарский¹ в своей интересной брошюре, – что за 112 лет (1652–1764) сейм собирался 55 раз; 48 из них были “сорваны”, причем 18 раз – силой одного голоса. Был период, когда десять сеймов подряд в течение двадцати лет срывались и расходились ни с чем. Нечего и говорить о том, как хорошо при этом шли дела государственные»*.

Таким образом, из 55 сеймов польских не сорвано было только семь. На 112 лет будто бы сеймового правления приходится около 100 лет анархии. Это полезно припомнить теперь, когда из двух наших распущенных парламентов один погиб, как утверждают, стараниями польского «кола». Это «коло» в будущем угрожает явиться осиновым колом, забитым в гроб Русского государства. Нет сомнения, именно поляки, организовавшись в русской Думе в свою сплоченную группу, являются заразительным примером для других инородческих депутатов, и те в свою очередь тоже спешат обособиться в национальные фракции. Сейчас же за поляками выделались в парламент татары, имеющие претензию объединить под

* Снарский А. Т. Автономия или федерация? – Спб., 1907. – 62 с. – *Примеч.* М. О. Меньшикова.

флагом общей религии целую кучу мелких тюрко-финских племен. Одновременно с татарами возникли группы армян, латышей и пр. Что всего курьезнее, это разложение парламента на племенные группы увлекло и коренных русских. Хохлы припомнили вздорную теорию о том, что они будто бы особое племя, и образовали смехотворнейшее «украинское коло».

Вслед за хохлами начали подумывать о своем «коле» так называемые белорусы. Что касается евреев, они, никогда не имевшие своей территории в России, не могут быть заподозрены в каком-нибудь ином патриотизме, кроме еврейского. В парламенте они довольствуются пока ролью вождей революции, а вне парламента поставлено требование об образовании особого еврейского сейма, который законодательствовал бы отдельно от русского парламента.

Избирательный закон 3 июня делает попытку несколько задержать племенное разложение империи. Одна окраина по новому закону лишена парламентского представительства вовсе, в другой число депутатов уменьшено, а в самых зараженных бунтом углах представительство уменьшено вдвое и втрое. Зараза инородческого разложения этим уменьшена, но не выброшена вовсе. Надо думать, что последствия нерешительной операции будут те же, как при вырезании рака, когда довольствуются частью злокачественной опухоли. Инородцы на малое время присмиреют, но затем опять начнут свое разрушительное дело. Следует заметить, что новый избирательный закон не только игнорирует самые опасные из движений – украинофильское и белорусское, но оставляет прежние представительства даже за латышской, охваченной бунтом окраиной. Если каждая из инородческих групп бесстрашна будет повлиять на парламентское большинство, то все вместе они составят внушительное «инородное тело» в русском организме. Нет сомнения, что всем своим объемом и весом инородческая коалиция будет вредить России вместо того, чтобы, по теории парламента, вносить свою долю пользы. Мечта объединить различные племена страны путем участия в общем законодательстве – самая фантастическая из

всех возможных. Общий парламент действительно объединяет инородцев – только не с господствующим народом. Они объединяются между собой; имперский парламент собирает рассеянных врагов государства сначала в отдельные лагеря, потом в один общий. Допустив к имперскому законодательству представителей покоренных народностей, Россия дает им вновь политическое бытие. Она как бы отказывается от старых завоеваний, она признает национальную силу поляков, евреев, кавказцев, финляндцев, латышей и прочих – силой, влияющей на решения России. Я нахожу такое отношение к инородцам глубокой ошибкой, печальные последствия которой быстро скажутся.

Что такое покорение? Или держитесь твердо восьмой заповеди и как огня бойтесь захватить что-нибудь чужое, или – если в борьбе за жизнь нельзя обойтись иначе – покоряйте как следует, доводите покорение до конца. Если захватили маленький народ, то или выпустите его на волю, или ассимилируйте, что вовсе не так трудно при твердой государственной политике. Нет сомнения, если бы наше правительство было национально, как некогда, то оно, покорив крохотные по населению окраины, давно залило бы их волной русской эмиграции, давно вытеснило бы упорно-враждебные элементы вроде евреев, давно утвердило бы наше народное преобладание на всех границах. В самом деле, что такое миллион с небольшим финнов или два-три миллиона поляков сто лет назад? Правительство с историческим самосознанием без труда заставило бы говорить всех подданных России по-русски, и что это возможно, доказывают поразительные успехи русской школы на окраинах за каких-нибудь 20–30 лет. К глубокому несчастью, наше правительство со времен Екатерины начало терять государственный разум. Александр I, которого трон народ русский отстоял от четырнадцати народов, поставил покоренные племена в привилегированное положение. В то время как коренные русские люди томились в крепостной неволе, полякам и финно-шведам была дана конституция. Правда, Александр рассчитывал впоследствии распространить и на Россию благо

парламентского правления, однако не сделал этого, и в истории останется чуть ли не единственный пример, где покоренным народностям были даны бóльшие политические права, чем те, которыми пользовался сам завоеватель. Нечто подобное тому можно найти разве только в польской истории, где коренное, искони христианское население было обращено в крепостное рабство, тогда как пришлые евреи не только не были крепостными, но за одно присоединение к католицизму приобретали потомственное дворянство. В России целая окраина – Прибалтийский край – сделалась поставщиком для придворной знати и правящей бюрократии. Русским знаменитым генералам приходилось просить «производства в немцы». Подобно тому как в московские времена русских аристократов оттесняли татары и выходцы из Литвы, после Петра немцы, французы, шведы, поляки и опять немцы, немцы и немцы владychествуют в России на верхах, продолжая древнюю традицию власти – презрение к самим русским. Возьмите списки чинов любого ведомства или имейте терпение проследить перечень награждаемых и произведенных к Новому году – вас поразит необычайное обилие нерусских имен. Не только аристократ, но и служилая буржуазия наша сплошь заполнена выходцами из окраин или из заграницы. Конечно, значительный процент немцев, поляков, шведов, армян, греков, евреев уже обрусели – иной раз до такой степени, что молдаване по крови – господа Крошеван² и Пуришкевич³ – являются лидерами ультрарусской партии. Однако процесс ассимиляции – вещь таинственная, ему поддаются не все в одинаковой степени. Огромное большинство инородцев остаются той же психологической породы, что и были. Они переводят на русский язык чужое нам понимание вещей, чужие взгляды и вкусы. Вместе с кровью душа их остается иностранной, вводя с собой иноземное равнодушие к коренной России, безотчетное презрение к ней.

Лидер польского кола господин Дмовский отметил «поразительное отсутствие патриотизма у русских». Не объясняется этот грустный факт именно тем, что русское общество слишком много растворило в себе нерусских элементов и

многих из них еще не растворило вовсе? В некоторых строго определенных условиях растворы и сплавы приобретают лучшие качества, во всех других – худшие. Метисация близких типов иногда улучшает породу, помесь далеких – ведет к бесплодию и вырождению. «Поражающее» поляка отсутствие патриотизма у русских – признак чрезмерной пестроты русской интеллигенции, а при пестроте неизбежна нейтральность. Смешение цветов дает неопределенную муть, как смешение звуков – шум. Намешайте в колбу всевозможных щелочей и кислот – получится жидкость, не имеющая определенной реакции. Русские бездеятельны, непредприимчивы, вялы, нежизнерадостны, у них нет увлекающей их исторической или национальной страсти. Все это признак нейтрализации духа, погашения его путем подмесей со всех сторон. Если осторожным и умелым скрещиванием вырабатываются в течение веков благородные породы, требующие тщательного бережения, то, наоборот, путем безоглядного слияния с инородцами идет обратный процесс – раскрещивания, разложения пород. Разложить же породу – значит разрушить художественное произведение самой природы, значит разбить некий специальный аппарат, который иными способами восстановить нельзя. Арабский рысак, пущенный в дикий табун, в несколько поколений утрачивает свой тип и свойства. Слишком подмешанный народ делается плохим народом, «подстилкой» для более чистых рас. Если в иных случаях подмесь чужой крови действует как лекарство, вылечивая больную породу, то в других чужая кровь действует как яд. Не есть ли сумасшедшее тяготение к пьянству некоторых народностей – безотчетная потребность вытеснить из своей крови вредную примесь, задержать в себе развитие другой породы?

Русское самосознание никогда не подымалось до древней мудрости, которой чистота крови предписывалась как высший завет. Между тем помимо опасностей антропологических, из которых главная – исчезновение расы, инородцы вносят множество опасностей социальных. Россия, допустившая в себя наводнение инородной знати, видимо гибнет от отсут-

ствия своей аристократии. Если нет более великих характеров и талантов – признак, что в народе нет прежней родовитости или она фальшивая. Именами древних родов покрываются часто совсем другие крови, разложившиеся, ничтожные. Семисотлетняя династия варяжская погибла не в лице Федора⁴, а в лице Ивана Грозного⁵, который, как и его предки, в сущности, уже не был Рюриковичем. Близкая примесь польско-литовской и греческой крови сказалась не только на физическом типе Грозного, но и на его моральном типе. Он не считал себя русским, он презирал русских, он выводил свое происхождение от цезарей. Кто знает, может быть, избыток инородческих кровей обострил в Иване тиранию до истребления коренных пород русских, до истребления коренных русских городов? Небрежение к породе довело к тому, что на престол воссел татарин и землю Русскую начала трепать лихорадка, едва не стоившая ей жизни.

Что такое смута – тогда и теперь? В самом деле, она похожа на лихорадочный процесс от проникновения как бы микробов, быстро размножившихся, отравивших кровь. «Лихорадки» и «микробы» – уверяю вас, все это не простые метафоры, и они не сочинены, а взяты из жизни. Самые деятельные из разрушителей России – евреи и поляки – вовсе не скрывают своих инфекционных планов, они громко провозглашают их. Охота же русскому и русскому обществу ни к чему не прислушиваться или не верить своим ушам. «Нас, поляков, миллион в России», – пишет одна польская газета; миллион на всех службах и на разных ступенях общественной и правительственной власти. Объединенные национальной идеей, скованные католической дисциплиной, одни поляки в состоянии устроить России «саботаж» в миллионе точек одновременно. Подумайте о последствиях, которые может повлечь за собой подобный «саботаж». Обструкция поляков теперь будет совсем не та, что в эпоху прежних бунтов. Наученные горьким опытом, все инородцы – и прежде других поляки – не станут поднимать открытого восстания. Открытое восстание есть война, а для этого требуется армия, солдаты, ружья, пушки,

крепости. Слишком тяжелой ценой досталась бы победа, вообще крайне невероятная. Поляки теперь не поднимают бунта на своей территории. Они вносят его в самое сердце России, они проделывают бунт за счет и риск русского народа. «Сорвать» русский парламент, как некогда они сорвали свой собственный сейм, было бы предприятием серьезнее бунта. Но окончательная цель их, конечно, еще крупней – сорвать Россию. Почему это невозможно? При «несомненном отсутствии» у русских патриотизма, при упадке национального духа в самом правительстве, при уже состоявшемся захвате поляками целых ведомств, целых железнодорожных линий, целых областей для них возможна очень крупная игра и большой выигрыш.

Чего нам ждать, великороссам? О нашей старой Империи идет речь. У нас хотят отнять великое достояние, плод тысячелетней истории, плод тяжелых трудов и жертв. Пока Россия жила «на страх врагам» – были опасны только внешние враги. Теперь, разбитая, она видит себя в осаде внутренних, тех самых, с которыми, казалось, все счета были покончены. Они встают из праха – и вновь, как в московские времена, выступают на сцену Польша, Литва, тевтоны, шведы – в лице делегирующих их финляндцев, вновь подымают свою голову татары, вновь сомнительным становится присоединение Малороссии. Что же делать великороссам? Неужели сдаться на модные теории, созданные как бы нарочно, чтобы простоватых людей водить за нос? Неужели забыть ответственность перед предками и перед потомством и здравый смысл? Неужели своими собственными руками уступить хитрости инородцев то, чего они не смогли взять силой?

Великорусская партия V

Есть нашествия военные и мирные. Которые из них опаснее – большой вопрос. Пока персы пробовали громадным обвалом раздавить Грецию, она давала им жестокий отпор.

Но уже побежденный Восток своим мирным влиянием внес заразу в греко-римский мир, развратил его и расслабил, и с этим нашествием Европа тогдашняя не сладила. Пока древние галлы и тевтоны совершали военные нашествия на Рим, они бывали неизменно биты. Но уже покоренные – они выслали Риму своих дружинников, своих вождей, и вот настал момент, когда граждане подменились наемниками и рабами, – и мировая империя пала. Той же участи подверглась Византия – от тождественных причин. Пока нашествию турок сопротивлялись пестрые народности Византии, турки шли победоносно и перед бунчуками пашей дрожала вся Европа. Но наступил мир, эпоха мирного влияния покоренных народностей, и вот все эти греки, сербы, болгары, румыны, черногорцы, армяне, казалось бы, раздавленные навсегда, закопошились, как черви в сыре, и в какие-нибудь полтора-два столетия сделали железную империю турок дряблой, непостижимо слабой. Военные нашествия венгров и славян не помешали Габсбургам довести Австрию до величия, а мирные влияния тех же покоренных народностей низводят Австрию до политического банкротства. Переходя ближе к нашей истории, вспомните, как мужественно воевала Польша с военными своими врагами и как тяжело ей обошлась пестрота государственного состава. На свою погибель польские короли пригласили с одной стороны евреев, а с другой – тевтонов. Присоединив с третьей Литву, Белую и Малую Русь с Галицким королевством, наконец, устроив у себя татарские колонии, Польша представила собой сырую грудку народностей, объединить которую не могла бы культура и посильнее польской. В довершение умной политики Сигизмунд мечтал присоединить к Польше Швецию и Московское царство. Попробуйте строить дом вперемешку из разнородного материала и посмотрите, что из этого выйдет. Попробуйте сделать машину из металлов разного сопротивления.

Россия не избежала последствий страшной нелепости, введенной ею в свой государственный механизм. Спасшись от татар именно цельностью великорусского племени, его

культурным единством, Россия подготовила себе, по примеру других погибших империй, внутреннюю гибель: она внедрила в себя инородные элементы в гораздо большем количестве, чем позволяет структура государства. Как ни огромно преобладание великорусской расы, правительство наше сумело не воспользоваться этим преобладанием, а парализовать его. Вместо того чтобы поставить свою культуру, свой быт в пример инородцам и в подражание им, наше правительство в лице Петра I отреклось от своей культуры и начало подражать инородческой. Говорят, московская культура была ниже западной; но ведь и западная была когда-то низкой. Если бы Петр I не был одинок, если бы его окружала древняя и сильная национальным чувством знать, долгом ее было бы не хватать особенности чужого ума и быта, а развивать свои собственные, развивать до того изящества и величия, в каких расцвела западная цивилизация. Сложись у нас подобный государственный порыв, он увлек бы в водоворот нашей национально-русской культуры и покоренные народности. К глубокому несчастью, сложился противоположный принцип. Завоеватели, мы скромно потеснились назад, а инородцев посадили в красный угол. Покорив их материально, мы объявили, что сами покорены ими морально! Из нелепой мысли, будто если чужое – хорошо, то свое – плохо, мы бросили многое прекрасное в своей истории, нуждавшееся только в обеспечении и уходе, и приняли много сомнительного, что исковеркало нашу жизнь. Как из подражания полякам ввели крепостное право, так из подражания монархическому абсолютизму, утвердившемуся тогда в Европе, бросили свои земские соборы, а впоследствии из подражания феодальным обычаям отдали государственную землю помещикам.

Нельзя исчислить все бедственные последствия безоглядочного подчинения иностранной культуре. Получилось то самое, как если бы одно животное вы искусственно старались сделать другим. Вышла не только жалкая карикатура, но она стоила оперируемому организму потери множества сил, потери здоровья. Народ русский из всех опытов над ним не сделал-

ся иностранным, но его собственное развитие было страшно задержано. Вместо того чтобы двинуться вперед, он жалко отстал. Он дошел до того состояния, когда поляки отмечают в нас «неслыханное отсутствие патриотизма». Что Россия жизненно нуждалась в реформе 200 лет назад, это, конечно, вне спора, но реформа нужна была по направлению своей культуры, а не против ее. Решив совершенствовать свои собственные, органические начала, выработанные веками, мы с гораздо меньшими жертвами достигли бы большего могущества и большей просвещенности. Если, судя по писцовым книгам, 300 лет назад земледельческая культура в России была выше теперешней, то весьма возможно, что, развиваясь она дальше без вмешательства извне, русское крестьянство, подобно китайскому, уже выработало бы свои способы чудовищных урожаев, и одним лишь хлебным давлением Россия держала бы Европу в своих руках.

Покорить Россию Западу не в силах были ни поляки, ни тевтоны, ни шведы. Все это совершил за них Петр Великий – в области самой важной: в области духа. Он поистине сделал больше для европейского могущества, чем все крестоносцы. Он укрепил свое великое государство, вооружил его – и предоставил владеть им западному авторитету. Вспомните мирное нашествие иноземцев при Петре и после Петра, и как высоко чужая власть утвердилась в России. После битвы под Полтавой Петр пил за здоровье своих учителей. Тост им оказался в руку. Они поздоровели – и в гораздо большей степени, чем если бы победа была на их стороне. Проиграй мы Полтавскую битву, очень может быть, что история наша сложилась бы совсем иначе. Вероятно, мы не владели бы устьями Невы, но зато иностранцы не владели бы Россией. Не перепутались бы основные политические понятия до опасной бессмыслицы. Старинные, наследственные враги – шведы, немцы и прочие – считались бы врагами и в качестве таковых сидели бы в своей черте. Победы Петра Великого открыли окно в Европу и вместе – русские двери настежь. Из русских, кто поближе к окну, получили возмож-

ность любоваться европейскими пейзажами, тем временем в открытые двери полезли иностранцы и инородцы. В два века они сделали то, что русский народ, единственный из всех, не имеет национальной аристократии, не имеет патриотического среднего класса. Наводненные чужим наплывом, растворенные в нем, русские именитые роды – знать, купечество, духовенство – постепенно потеряли свое древнее родство с народом. Тяготение их к своей земле сменилось тяготением к чужой. Что такое «неслыханное отсутствие патриотизма», как не сложившаяся в веках измена отечеству? Измена отечеству со стороны тех классов, которые каждый народ выдвигает на историческое предводительство и стражу?

Мирное нашествие инородцев, подобно появлению микробов в теле, требует микроскопического анализа. Следовало бы подробно и всесторонне осветить, почему Россия чахнет и какую роль, прямую или косвенную, играет равнодушие к отечеству – токсин, вырабатываемый инородцами? Возьмем лишь одну сторону, близко всем знакомую. Понаблюдайте, как вторжение инородцев во все профессии вытесняет в них русских людей и как государственная и общественная власть постепенно делается инородческими. Казалось бы, не все ли равно, кто нами правит – свой или чужой. Если чужой правит лучше своего, то и слава Богу. На деле это вовсе не все равно. На какой бы должности ни являлся немец, он неизменно начинает покровительствовать немцем. Куда бы ни проник поляк, глядишь – за ним, как нитка за иголкой, тянется длинный хвост родственников и знакомых, и через недолгое время все учреждение становится польским. Армянин покровительствует армянину, еврей – еврею. Даже среди малороссов чувствуется – еще с эпохи Феофана Прокоповича¹ – повадка вытаскивать своих земляков. Одни только великороссы отличаются каким-то параличом национальности. Им все равно, кому бы ни протезировать. Не по святости, а по глупости нашей для нас несть ни иудей, ни эллин, причем и иудея, и эллина мы принимаем часто с большей охотой, чем своего брата-великоросса. Гибельная черта, воспе-

тая Достоевским, «всечеловечество» наше, способность всем сочувствовать и во все перевоплощаться, чаще ведет к тому, что нас седлает всякий кому не лень. Важный начальник-великоросс думает, что совершает великодушный поступок, предоставляя хорошо оплачиваемое место поляку или немцу. Он не хочет сообразить, что если поляк или немец – хорошие работники, то среди русских нуждаются в труде и поддержке еще лучшие работники. Превосходительный покровитель не соображает, что, протезируя иной раз хорошему работнику-иностранцу, он одновременно протезирует бездарной или посредственной его родине. Целые ведомства у нас засорены инородцами, и в степени прямо-таки опасной, как показала последняя война. Вспомните также железнодорожные забастовки и участие в них польского элемента. Помимо всего прочего, множество русских людей видят, что родное государство изменяет им, отнимает хлеб у своих и отдает чужим. Казалось бы, великороссы, чьи предки были создателями империи, имеют предпочтительное право на выгоды, извлекаемые из их государственности. В числе выгод стоит одна, крайне реальная – непосредственное участие в составе власти. Правительство – самая обширная из фирм в стране. Оно дает работу миллионам тружеников, а кроме работы и обеспечения – еще политические права, звания, чины. Едва выбившийся из евреев или латышей чиновник, он уже для огромного большинства народного – «барин», один из правящей касты. Удел его завиден для многих. Его дети выйдут в дворяне, его внуки могут быть министрами. Подумайте же, какое горькое чувство является у великоросса, когда он видит, что на то же самое весьма нехитрое дело признается годным поляк и не признается русский. Ведь каждый день начинается народная история, каждый день возникает чья-либо карьера, тысячи карьер, которые некогда вознесут одни роды над другими, одних подымут в сияющую высоту, других заставят пресмыкаться в нищете и ничтожестве. «Почему же, – спрашивает обиженный русский, – в тот страшный для меня и моего потомства час – когда я мог выйти в люди – ро-

дина моя забывает, что я сын ее? За что она предпочитает мне поляка, немца, еврея? За что такой почет потомству врагов, которые тысячи лет старались вредить России, истощали ее всеми способами?» Глядя на развалины громадных крепостей, которые десятки раз облиты русской кровью в борьбе с поляками, шведами, немцами, татарами, нынешнее поколение чувствует себя обиженным, видя засилье в государстве тех же поляков, немцев, шведов и других.

Решительно ничем не доказано, что русские бездарнее инородцев. Наоборот, в какой хотите области – культурной, государственной и общественной – самые выдающиеся в России люди – великороссы. Они преобладают не только количественно, но и качественно – в администрации, в науке, в искусствах, в литературе, в медицине, журналистике, адвокатуре. Другие народности дают весьма почтенных иной раз деятелей или весьма шустрых, как евреи, но даже такое племя, как балтийские немцы, народ в высшей степени достойный, что-то не выдвигает в России своих Шиллеров и Бисмарков². Я не хочу сказать, что все великороссы даровиты. К несчастью, далеко нет, но, в общем, все-таки на их стороне больше гения и таланта, тогда как на стороне инородцев – больше посредственности. Тем обиднее для хозяев страны, коренных русских людей, видеть неудержимое проникновение ко всем карьерам чужеземных стихий. При отсутствии каких-нибудь моральных преимуществ они из чужеродных делаются неизбежно чужеземными элементами. В мирное время опасности не столь заметны, но после столетий инородческого внедрения наша империя дождалась, что немец-генерал сдал крепость, которую нельзя было сдать ни при каких условиях, а швед-адмирал в качестве министра, готовившего флот для войны, подготовил его для Цусимы. Россия, конечно, никогда не забудет героев-немцев и шведов, положивших рыцарски живот свой за славу России, но знаменательно, что жертва налицо, а славы нет. Будущий историк напрасно будет искать исключительные заслуги в списке сдавшихся и побитых генералов с балтийскими фамилиями. Если не считать генерала Гриппенберга³, отказав-

шегося остаться в армии, и адмирала Энkvиста⁴, благополучно убежавшего из Цусимы, остальные полководцы нерусской крови не предъявили никаких данных, которые оправдали бы предпочтение их русским вождям.

Знаменательно, что первое нашествие инородцев было из людей более даровитых, чем последнее. Когда-то мы имели Остермана⁵, который не чета графу Ламздорфу⁶. Имели Миниха⁷, который тоже не чета генералу Стесселю⁸, имели, наконец, адмирала Грейга⁹. В старину шли в Россию отборные немцы, и власть им давалась в меру заслуг. Теперь они повалили сплошь...

Великорусская партия VI

Если верить тому, чему нельзя не верить, если вникнуть в настойчивую тревогу русской печати в Западном крае, — там идет деятельная подготовка польского восстания. Как в 1863 году, «бесконечные католические процессии бродят по Польше, Северо-Западному и Юго-Западному краю из монастыря в монастырь, с хоругвями, очень похожими на военные знамена. Ксендзы говорят зажигательные проповеди по костелам, выписаны особые проповедники-миссионеры для совращения православных белорусов и малороссов, бывших униатов». Снова поднимается культ Костюшки¹, к его праху устраиваются торжественные поездки по несколько тысяч человек, и пр.

Сказать, что польский бунт невозможен, мне кажется, никто не решится. Бунт был дважды, и еще не слишком старые люди помнят великую передрагу 1863—1864 годов. Когда со своею резкой бестактностью господин Пуришкевич упомянул в Думе о «муравьевских галстуках», никто не потребовал комментариев к этому жестокому слову. Оба польских бунта возникли через немного лет после наших больших войн, когда армия была расстроена и отчасти распущена, когда правительство было утомлено бойней. Было бы странно, если бы по-

следняя несчастная война, столь скомпрометировавшая честь и мощь России, прошла бы без всякого впечатления в Польше. Задолго до войны чувствовалось патриотическое движение; вернее, оно никогда не прекращалось. По некоторым ультра-фанатическим романам Сенкевича² («Огнем и мечом» и пр.) вы можете судить, до какой степени жгуче чувствуется поляками их национальная обида и до какой степени даже великие их люди предвзято смотрят на все русское. Правда, время – великий целитель, и уже 40 лет Польша не бунтовала. Правда, после последнего восстания русское правительство кроме умной в своем замысле русификации школы предприняло еще более мудрую меру – наделение польских холопов земель, результатом чего было появление многочисленного социально удовлетворенного класса. Несомненно, целое сорокалетие совместной жизни, облегченной сетью железных дорог и широко развившимися экономическими отношениями, тоже сделало свое дело. Сотни тысяч – а по польским источникам «миллион» – поляков, то есть чуть ли не 10% всей нации, эмигрировали в Россию и втянулись в общую трудовую жизнь в качестве инженеров, лесничих, врачей, чиновников, учителей, адвокатов, управляющих и пр., и пр. Наконец, постоянное присутствие в Польше огромной русской армии расхолаживает попытки к бунту. Все это так, но именно только этим и можно объяснить запоздание очередного бунта. По закону, констатированному в свое время Бисмарком, польские восстания, как войны России с Турцией, периодичны и случаются каждые четверть века. Бисмарк не сообразил только, что в лице созданной им Германии явилось условие, спутавшее означенную периодичность. Немецкое могущество и железное угнетение закордонных поляков поневоле заставило русскую Польшу жаться к более слабому и более мягкому завоевателю. Вот почему поляки добровольно пропустили случай к восстанию два года назад, когда после беспримерных в нашей истории несчастий на нас восстали все окраины, все полупокоренные племена. Поляки не только не присоединились к еврейскому бунту, но, наоборот, именно еврейский бунт заставил приза-

думаться маленький славянский народ. Социализм еврейских бундистов ничего не обещает доброго польской буржуазии и дворянству. Социализм противен католичеству, и вообще торжество евреев в крае, где на восемь поляков приходится один еврей, не устраивает коренных хозяев его. В силу всех этих влиятельных условий польское восстание замедлилось, оно приняло иное, подземное течение. Благоразумные польские патриоты поставили более умеренный и гораздо более достижимый идеал – автономию. Заявлено, что Польша вовсе не хочет отделяться от России, а хотела бы лишь выделиться на правах Финляндии. Надежды на осуществление этого подала великая реформа в России, при которой не только возможны, но прямо необходимы самые коренные переделки в нашей государственной конструкции.

Я уже не раз высказывал мое личное убеждение по вопросу о польской автономии. Мне всегда казалось, что если вы не можете проглотить кусок, то лучше выплюнуть его. Мысль переварить Польшу, обезличить тысячелетний, крайне своеобразный славянский народ, лишит его национальности – мне глубоко противна. Когда поляки добровольно делаются русскими, это мне нравится, но насильственно внедрять в себя несродное, нерастворимое тело – эксперимент столь же опасный, сколько жестокий. Есть разлагающиеся народности или еще не сложившиеся. Эти маленькие племена, не дорожающие своей особенностью, составляют законный материал для ассимиляции, но следует отличать от них нации, организованные культурно. Тех лучше не трогать, иначе не оберетесь хлопот, и сомнительные выгоды будут куплены несомненными бедствиями. Поэтому я в отношении Финляндии и Польши постоянно высказывался за «честные отношения», за взаимное соблюдение договоров, если иногда не заключенных, то всегда предполагаемых между культурными народами. Есть естественные права и естественные обязанности, не исполнять которые значит вредить себе. В отношении Польши я держусь мнения Николая I, который думал, что лучше бы нам вовсе не владеть ей. Я не знаю, что отклонило императора от

мудрого совета, данного Паскевичем³: обменять у Австрии Польшу на Червонную Русь. Этим простым и честным поступком мы развязались бы с братскими объятьями, что нас душат; мы ввели бы обе славянские народности в их естественные русла. К сожалению, этнографическое размежевание не состоялось. Оставшись в нашей черте, Польша никак не может забыть, что она была когда-то «от можа до можа». Так как все элементы прежней политической унии налицо, польская идея уродуется старой мечтой – владеть не только Польшей, но Литвой и Русью. Переходный момент русской жизни одних поляков ставит в выжидательное положение, других толкает к бунту.

«Минское слово»⁴ приводит характерные выдержки из польской, совершенно неизвестной у нас печати. О чем думают поляки, сидя у себя дома? «Мы, поляки, долго скрывали наши стремления, – говорит “Goniec”^{*} (№ 500), – но теперь должны настаивать на своем. Последняя война сделала глубокие перемены в международном положении России. Она теперь размягчена, как глина, и стала бесплодной сама для себя, как глина же. Это дает нам возможность осуществить наши польские мечты».

Что же это за мечты?

«Пусть же теперь узнают проклятые москали, что мы не имеем ничего общего с русскими интересами, – говорит “Czytelnia dla wszystkich”^{**} (№ 30). – Искра нашей ненависти к ним долго тлела. Теперь пора ей вспыхнуть, когда сам же манифест дал ей толчок».

Вы спросите, какими средствами располагает польская ненависть? На первый раз вот какими: «Целый миллион должностей и служебных положений во всей России в руках польских, – говорит “Kurjer Pr.”^{***} (№ 291). – С этих постов мы ослабляли Россию. Теперь же, когда она в развалинах, мы

* Газета, выходила в утреннем и вечернем выпусках в Варшаве в 1901–1918 гг.

** Газета, выходила в Варшаве в 1903–1906 гг.

*** Вероятно, “Kurjer poranny” – газета, выходила в Варшаве в 1877–1917 гг.

должны на этих развалинах воссоздать независимую от моря до моря Польшу».

Как видите, притязания поляков идут гораздо дальше освобождения своей родины. Им хочется не только восстановить Польшу, но непременно «на развалинах России». Им хочется отторгнуть от России коренные части русского народа – белорусов и малорусов, которые никогда поляками не были. Но если к автономии Польши могут быть известные симпатии у культурных русских, то лозунг «от моря до моря» неприемлем ни в каком случае. Польша никогда не существовала «от моря до моря». Если на короткий промежуток времени территория от моря до моря была объединена унией, то собственно Польша играла в ней роль наименьшего члена. В самые гордые времена «крулевства» польского объем и вес Польше давала русская народность. Но с какой же стати русскому племени вновь идти в плен к полякам? На это едва ли согласятся даже те «не помнящие родства» предатели русского народа, что называют себя «украинцами». О белорусах и говорить нечего.

Вы скажете, что восстановление польского засилья – мечта фанатиков. Может быть, но если фанатиков много, то идеи их тем опаснее. Послушайте претензии не фанатиков – поляков, согласных только на автономию. «Помимо полной автономии Польши и отдельной конституции, – говорит “Goniec”, – мы должны непреклонно требовать обеспечения по всей России полного права открывать всюду польские школы и устраивать для себя всевозможные учреждения. Если где-либо, в Твери или Вологде, найдется десять поляков, то русский народ обязан будет устроить им польскую школу, костел, содержать для них судью-поляка, если они того требуют, и предоставить им даже собственное самоуправление и средства для этого, если они найдут это для себя нужным» (“Nasze prawo narodowe”).

Как это вам нравится? Вчитайтесь в эти курьезные строки, вникните в их смысл. Одним этим «правом народным» поляки могли бы загубить не только Россию, но какое хотите

государство. Не только в Твери и Вологде, но в любом городишке может найтись десять поляков, и для каждого десяти поляков Россия обязана на русский счет содержать польскую школу, польский костел, польского судью и т. д. Мало того: каждые десять поляков в России имеют право на русский же счет объявить польскую республику, ни более, ни менее. И за все это России предоставляется право защищать Польшу от внешних врагов всеми силами Империи. Чудесная афера, не правда ли? Вспомните, насколько скромны были сравнительно с этими бешеными претензиями требования англичан в Трансваале. Значит, на Россию господа поляки не удостаивают взглянуть даже как на Трансвааль. Какая бы нелепость ни пришла им в голову, они думают, что вправе «непреклонно требовать» ее от России. Вот что значит великой державе шлепнуться на глазах света. Оцените, каким тоном с нами разговаривает такая величина, как Польша!

Открытый бунт, по-видимому, еще не проповедуется в польской печати, но проповедуется нечто подлее бунта. «Не оглядываясь на интересы России, – говорит “Gazeta War.”* (№ 253)⁵, – имея своих людей на всех без исключения службах по России, подготовив себе польскую армию в 200-300 тысяч, мы, поляки, через пять-десять лет будем уже не соседями России, а ее господами. Потому что наши братья-поляки, пользуясь независимостью у себя дома, в Польше, и обладая свободой и властным положением над москалями, ведь не станут же дремать, как не дремали 40 лет, подрезывая крылья и когти у проклятой России».

Вот какие планы высказываются громко, среди бела дня. Даже умеренным полякам мало автономии и особой конституции, им надо быть «господами» России, «проклятой России». Вы скажете – вздор, нелепость! Но чего не бывает на свете. Ведь владела же Польша сотни лет если не целой Россией, то доброй ее половиной? Как это случилось – вопрос другой, но факт остается фактом. Белая, Малая и Червонная Русь на огромном пространстве принадлежали польской ко-

* Одна из старейших польских газет, выходила в Варшаве с 1774 по 1919 г.

роне, и только глупость Сигизмунда, соперничество его с родным сыном помешали захватить и Великую Россию. Конечно, если бы не погром монгольский, не видать бы Витовту Литвы и Западной Руси. Но вот поляки дождались второго монгольского погрома – нашей маньчжурской войны. «Россия в развалинах! – кричат они. – Да здравствует Польша на развалинах проклятой России!»

Великороссам, мне кажется, пора очнуться. Ведь в самом деле разные друзья и братья подбираются к нашей родине. Чрезвычайно быстро разворачиваются процессы трагического для нас значения. Мы ухватились за парламентскую реформу, как за якорь спасения, но, видимо, нам не дают с ней справиться и не дадут. Два парламента уже сорваны – при господстве в них той партии, которая соединила в борьбе с правительством все инородческие группы во главе с польской. Нам не дадут очухаться от погрома, нас расстраивают – без того расстроенных, нас хотят задержать, измотать до полной потери сил. Если есть еще искра в нас государственного сознания, если есть хоть капля любви к России – неужели теперь время толковать об оттенках партий? Неужели не ясно, что единственная партия, какая теперь нужна в парламенте, – это великорусская партия с всероссийским знаменем? Инородцы хотят быть господами нашими. Они уже становятся нашими господами! Они уже успели запугать русское сознание до робости, до отречения от своего отечества. Неужели Великой России не пора очнуться?

Великорусская партия VII

В разгар парламентских выборов всего ярче чувствуешь, до чего искусственно и произвольно дробление граждан на партии. В сущности, партии еще не сложились, сложились пока только «загоны» – неуклюже сколоченные изгороди, куда предприимчивые вожаки загоняют кочующее по степи политическое стадо. Как в стаде принадлежность данной головы

хозяину Ивану или хозяину Степану обоснована на совершенно непонятных, загоняемых началах, так частенько и в наших партиях. Враждуют почти как в детской игре: «Мы будем казаки, а вы будете разбойники! Мы будем ловить вас, а не то вы нас ловите!» Чувствуется, что если бы не эта наивная потребность спорта, то не было бы, пожалуй, никакого и разделения. Толпа оставалась бы анархичной, и жизнь ее состояла бы из стихийных и зародышевых процессов. Толпа металась бы, терзаемая хищниками, толпа устраивала бы себе нечаянные Ходынки, давила бы сама себя или, рассеянная по выгонам и загонам, вела бы из века в век первобытное существование, заставляя всякую государственность, привитую к ней, дичать до вырождения. Парламентаризм, пробуя внести сознательность в народную стихию, вносит почти впервые организующее начало. Политика (в благородном смысле) есть органическое сложение общества. Впервые из сырой протоплазмы слагается расчлененное существо, где отдельные группы в самом деле похожи на ткани, а ткани как будто реально развиваются в органы некоего великого тела – нации.

Организованность государственная вовсе не есть партийность в нынешнем, довольно-таки пошлом смысле. Органы и ткани сотрудничают друг с другом, тогда как партии – борются, стараясь утопить одна другую, хотя бы в ложке воды. «Черносотенцы» ненавидят всеми силами души «красноотряпочников», те в свою очередь копят в себе змеиный яд для черносотенцев. Идет, в сущности, междоусобная война, едва лишь сдерживаемая добродушными держимордами. Уйди городовые – ведь в самом деле присяжный поверенный Гессен¹ вцепился бы в присяжного поверенного Булацеля². Не говоря о черни, даже просвещенные люди передрались бы буквально насмерть, как это было в Византии, где «зеленые» считали врагами отечества «голубых», и наоборот. Наша демократия повторяет партийной борьбой не только западные современные демократии, но свое собственное народовластие глубокой древности. Не раз и не два, а начиная с доисторических времен великое множество раз общественность пробо-

вала слагаться органически в трудовые, сословные группы, и столько же раз она разлезалась, как ветхое рубище, в демократической партийной борьбе. Где политика вся уходит в борьбу, там общественные силы погашают друг друга, сводя общую энергию к нулю. Не получается просто никакой работы, никакого движения. Где политика уходит в борьбу, там история заканчивает свой цикл. Как в окоченелом трупе, в государстве начинается смрадное разложение. Культура, накопленная в период органического склада общества, быстро падает, а народ делается жертвой внутреннего вымирания или внешних нашествий. Так всюду было, будет и у нас, если по примеру некоторых счастливых стран мы не утишим в себе, сколько можно, политической борьбы и не направим силы ее на органическую работу. Есть скромные парламенты в Европе, где депутаты кое-что делают. Борьба всюду изнуряет страны, но параллельно с нелепой политической борьбой идут процессы сотрудничества тех трудовых организаций, в кипучем творчестве которых политическое разложение расасывается, как всегда возникающая болезнь в здоровье.

У нас держится предрассудок, будто всем своим просвещением Европа обязана парламентаризму. Но помимо того, что возрождение европейской цивилизации пришлось на века тяжелого абсолютизма, помимо того, что три блестящих столетия с величайшими из гениев в Европе протекли в эпоху феодального склада общества, у нас забывают гигантскую роль современной европейской промышленности. Паровая машина явилась почти одновременно с конституцией в Европе. Она работает параллельно с конституционализмом, между тем результаты их деятельности смешиваются в одно. Попробуйте представить себе, что из западной жизни вынута промышленность, – и вы сразу почувствуете, до чего оказалась бы жалкой одна «политика». Промышленность Запада, основанная на изнурении отсталых стран, вроде Индии, а также на выжимании сил собственных рабочих масс, выдвинула столь невероятно большое богатство, что оно покрывает собой все недочеты плохой политики. Происходит то самое, что

в ином хорошо поставленном коммерческом деле. Раз дело налажено, оно терпит и хозяйские грешки у Макарья, и плутни приказчиков, и кутежи тятенькиных сынков. До поры до времени все в Европе покрывается громадным перевесом чистого дохода. Относить этот переприход к методу политической борьбы – ошибка грубая. Самая ожесточенная борьба партий в Южной Америке или в Испании не выводит эти страны из нищеты. Уберите на время даже из Англии железные машины, и парламент покажется мельницей, в которую не засыпано зерно. Если нельзя отрицать, что где-то парламенты работают серьезно, то, присмотревшись, вы увидите, что они сами вырабатывают своего рода политическую промышленность, то есть тот порядок вещей, где политические силы тратятся не на борьбу, а на производительную работу. Парламентские комиссии в этих странах похожи на законодательные мануфактуры с добросовестно выработанным, первосортным товаром. Именно о такого рода хорошо поставленной фабрике законов я мечтал в своих статьях о деловом парламенте как о представительстве трудовых групп населения. Нам нужна более усовершенствованная, чем на Западе, политическая структура, сотрудничество сил более организованное, где политическая борьба была бы сведена до минимума.

Вот почему несравненно выше тридцати трех существующих партий я считаю одну, еще пока не существующую, – великорусскую партию. В качестве национальной она сразу стала бы выше мелочного вздора, грызни и возни тех разрозненных лагерей, которые воображают, что проявления их дурного характера спасают Россию. Только выступление национальной партии может вознести государственное дело над трясинной партийных дрызг. В сущности, национальная партия явилась бы уже не партией, а истинным представительством нации, в пределах которой борьба является самоубийством. Как в живом теле, так и в национальном обществе борьба есть болезнь, которую следует со всей поспешностью устранять. Гибель России в том, что национальное чувство у нас до такой степени угнетено, что утратилось даже представ-

ление о национальном складе жизни. Под внушением опутавшей нас со всех сторон инородческой мысли нам кажется, что политическая жизнь есть борьба и вне борьбы будто бы невозможна никакая политика. Но это глубоко вредное заблуждение; оно на руку лишь врагам России, живущим мечтой о ее смерти. Начиная с Маркса, бросившего в христианский мир отравленную идею классовой борьбы, евреям чрезвычайно выгоден раздор наших сословий, вражда партий, дробление христианского общества на воюющие лагеря. Все это не что иное, как разложение самих тканей христианской общности, распад самого тела ее. Но если осталось еще сколько-нибудь жизни в пораженных юдаизмом народах, то энергия их должна очнуться, восстать против скверного наваждения. Рано или поздно Европа должна стряхнуть дьявольский гипноз и должна вспомнить вечные заветы государственности. В центре коренного закона общества стоит не борьба, а согласие, не диссонанс, а гармония, не «захватное право» (право хищников и паразитов), а сотрудничество и взаимопомощь. Восстановить в растерзанном русском народе этот принцип государственности может не какая-нибудь партия, хотя бы господствующая, а некая группа людей, стоящая выше партий, группа, представляющая не партийные, а национальные инстинкты.

Мне говорят и пишут, будто я делаю ошибку, выдвигая великорусское начало. Этим я будто бы отталкиваю от русской идеи малороссов и белорусов. Они тоже чувствуют себя русскими, не будучи великороссами. Мне говорят, что правильнее было бы выдвинуть всероссийский принцип, не Велико-россию, а Великую Россию, обнимающую собой все отрасли великого русского племени.

Я долго думал, прежде чем остановиться на формуле национальной партии, как я ее понимаю. Называя эту партию великорусской, а не всероссийской, я думаю, что не делаю ошибки, и вот почему. Идея никакой национальности не может быть основана на том, чего в природе не существует. Не существует реально «всей России», не существует про-

сто «русских» людей. Есть более или менее обширные части России – Великая, Малая, Белая, Червоная Россия, а в последние века вырабатывается еще Восточная Россия, Новороссия, Желтороссия и т. д. Есть великороссы, малороссы, белорусы и множество переходных между ними языков и типов. Не только естественно, но и совершенно неизбежно, что все эти главные и переходные типы постепенно сливаются в один, какой-то средний, который в будущем и составит великоросский язык, всероссийскую расу. По теории сложения сил преобладающее племя и господствующий язык вносят в эту будущую национальность все свои преимущества, так что будущие *всерусские* ближе всего окажутся к теперешним великороссам. У нас уже идет процесс, напоминающий борьбу племен, например в Триедином королевстве. В английский тип и язык вошло немало элементов шотландских и ирландских, но бесспорное преобладание остается за британскими формами. Во Франции, в Испании, в Германии, в Италии – всюду, где родственные племена разошлись в стороны, один из языков становится государственным, одно из племен представляет всю родную семью. В России таким племенем силой самой природы является великорусское. Не дело какой-нибудь партии или доктрины, а стихийное дело тысячелетней истории – теперешнее преобладание великороссов как в количестве населения, так и в обширности занятой территории. Скажут: количество не всегда решает спор, бывает так, что решает его и качество. Это бывает, но в данном случае, очевидно, и качество за великорусским племенем, ибо спор исторический ведь уже целые столетия решен, и именно в нашу пользу. Права первородства, права державного верховенства среди русских племен давно установлены. Великороссам нужно не завоевывать эти права, а лишь утверждать, и в этом направлении им остается действовать сообразно с самой природой. Жребий давно брошен. Национальность всероссийская давно определена как великорусская, и вместо того чтобы изобретать несуществующую просто русскую государственность, малороссам и белорусам следует искрен-

но примкнуть к великорусской государственности, давно существующей. Ведь она и для таких такая же родная, как и для нас, ибо своей, сколько-нибудь прочной, у них никогда не было. Вся Россия в недалеком будущем должна сделаться Великороссией, и огромное большинство западного и южного простонародья ровно ничего против этого не имеет. Как великорусские мужики, попав куда-нибудь в Полтавщину, не считают изменой родине калякать по-хохлацки, так и хохлы, попав на север, узнав, что Царь, начальство, господа, духовенство, вообще «письменные люди» говорят на несколько другом наречии, чем где-нибудь в Диканьке, что на северном наречии написаны законы и почти все стоящие прочтенные книги, малоросс охотно изучает государственный язык. Чувствуя себя законным членом государства, он начинает считать государственный язык своим родным. В самом деле, если родной язык – язык отца, то тем более родным должен считаться язык отечества. Все это прекрасно понимается на Западе, в странах пестрой колонизации, как, например, в Америке. Там эмигранты даже не английской расы – немцы, итальянцы, чехи и те малороссы из Галиции – во втором уже поколении становятся американцами. Не более этого естественного права на общий государственный язык я хотел бы для русских племен, населяющих Россию. Слияние их неизбежно, оно уже идет. Если же каким-нибудь малороссам или белорусам не хочется слиться с нами, то никто, конечно, их не неволит. Пускай называют себя украинцами, волынцами, полешуками или как им угодно. Пусть считают себя не русскими, хотя бы рассудку вопреки. Мы, великороссы, должны твердо настаивать на историческом факте и определять свою государственную национальность так, как она действительно сложилась. Мы уже владеем империей, мы ее создали и прав на нее никому не уступим. Поскольку Россия – единое государство, постольку в ней должна быть одна нация, и эта нация – великороссы. Кому из русских ничего не говорит наша история десяти веков, для кого чужды престольный Киев, Великий Новгород, Москва, Петербург, для кого не ин-

тересен наш богатырский эпос, не интересна тяжелая трагедия татарского ига, эпопея возвышения Москвы, гигантская слава Петра и Екатерины, для кого ничтожен великий язык Державина, Пушкина, Тургенева, Толстого, Чехова – ну такие «русские» действительно не русские вовсе, и с ними может быть короткий разговор: черт с ними, вот и все. Нам, великороссам, останутся одинаково дорогими и Малая, и Белая, и Червонная Русь. Мы ценим и уважаем все прелестное, все сильное, что выработало русское славянство под всеми широтами и долготами. В силу этого мы имеем право считать себя истинными носителями духа всего нашего исторического племени, чем те выродки, для которых «чужды» более трех четвертей России. Вот почему я настаиваю на *великорусской* партии как национальной. В ней была бы представлена вся Россия, все наше историческое величие, все возможности в будущем. Никакая другая русская народность этого взять на себя не может и, может быть, не захочет.

Великорусская партия VIII

Тяжелое впечатление в России произведут вести, предсказывающие окончательную сдачу евреям русской высшей школы. Началось это, кажется, с Киевского политехнического института, где совет профессоров «постановил» принять 50% евреев вместо Высочайше установленной нормы в 15%. В силу этого, как жалуются киевляне премьер-министру, несколько сот христиан не были приняты в институт. Затем пришло известие, что по ходатайству ректора Московского университета господин Кауфман¹ разрешил принять 136 евреев сверх нормы на один лишь юридический факультет. Затем господин Боргман², ректор Петербургского университета, и проректор господин Браун ездили в министерство и привезли радостное известие, что в Петербургском университете будут приняты «все евреи сверх нормы, всего, вероятно, около 1000 человек». Затем подобная же весть пришла относительно женских выс-

ших курсов, и т. д., и т. д. Очевидно, под шумок событий и, может быть, чувствуя себя накануне падения, кадетское министерство решило использовать власть свою для открытия всех шлюзов излюбленному кадетами еврейскому племени. Получается такая странность: в то время когда евреи сравнительно не были опасны, до революции, наша государственная власть нашла необходимым ограничить проникновение их в русскую школу. Теперешние же министры в эпоху революционного напора еврейства отменяют это ограничение. В то время как всюду в Европе ставят серьезные препятствия для приема русских (то есть русских евреев в университеты), наши Императорские университеты открывают им двери настежь. В то время как множеству коренных русских юношей доступ в высшие школы закрыт за неимением вакансий, за евреев хлопочут, евреев принимают сверх нормы. При этом все прикосновенные к высшей школе власти, начиная с господина Кауфмана, знают, что именно сейчас высшие школы – лагеря революции, казенные здания для митингов учащейся и неучащейся толпы. Едва начались лекции, как десятки тысяч собравшихся в Петербург со всей России студентов и студенток буквально засыпаны революционными прокламациями. Одна из прокламаций, изданная университетской группой партии социалистов-революционеров, от 6 сентября, прямо заявляет: «Мы открываем университет для того, чтобы принести сильную помощь великому делу русской революции... Мы открываем университет, но мы не поступимся ни одной сходкой, ни одним собранием, ни одной функцией совета старост. Мы не поступимся той свободой, которую мы революционным путем проводили в жизнь, ломая наскоро сколоченные рамки либерального режима». Заявляя, что возможность служить революции через университет основана на прочном «кровавом» фундаменте, «открывая» университет революционная власть призывает студентов «к борьбе», то есть к продолжению тех безобразных беспорядков в высшей школе, что до одури надоели не только обществу, но и большинству студентов. И вот, отлично зная, что главными, почти исключительными за-

певалами революции в нашей школе служат евреи и еврейки, правительство наше широко распахивает им двери...

Чем это объяснить?

Объяснить это следует не отсутствием только государственного таланта у господина Кауфмана и не засильем вообще кадетов в его ведомстве. Объяснить это можно лишь отсутствием у несчастной России национально-русского правящего слоя и жадным напором инородчины, проникающей через расстроенную государственную школу в наше чиновничество, в аристократию, в те самые полуинородческие «командующие классы», под бездушным и бездарным правлением которых великая славянская держава дошла до несмываемого позора. Евреи – что, это уже арьергард нашествия, идущего более 200 лет, со времени Алексея Михайловича. Это нашествие чужеземных выходцев в конце концов перестроило наше общество до того, что самое слово «русский патриотизм» считается у нас зазорным. Цель великорусской партии, о которой я пишу, должна быть в восстановлении великорусской народности, ныне подавленной. Необходимо вновь как-нибудь собрать народное ядро, которое организовало бы прочную государственность. Прежде всех законов и прежде всех реформ России необходимо национальное – именно великорусское правительство. Мне возразят: а разве теперешнее правительство не великорусское? Разве оно не национально? На это я спрошу, в свою очередь: а разве ж оно национально? Быть официально русскими людьми, носить великорусские имена, говорить по-великорусски – это еще не значит думать и чувствовать по-русски. Переведите иностранную книгу на русский язык – в самом важном отношении она останется все-таки иностранной. Наша полуинородческая бюрократия, все эти стоящие горой за евреев господа Кауфманы, Боргманы, Брауны, и пр., и пр. – они говорят по-русски, но как будто в переводе с разных языков. Иной министр совсем плохо переведен, другой – превосходно, но часто при великорусском обличии своем и языке они остаются представителями каких-то чуждых народностей, выразителями чуждого духа. Это не немцы, не французы, не евреи, а психологическая метисация

тех и других понемногу. Мне трудно выразить своеобразную черту, отсутствие которой в данном случае так плачевно. Для ясности представьте себе француза, англичанина, немца, которые были бы равнодушны к своему отечеству. Стоит человеку перестать любить свою родину такой, какая она есть, как тотчас из национальности его выпадает самое существенное, что определяет нацию. Теперешний правящий круг – нередко почтенные люди, весьма либеральные, подчас ученые, но... не чувствуется в них жалости к своей стране, не слышно тревоги, тоски и страсти в стремлении защитить родную землю. У почтеннейших министров наших часто бывает крутой характер, но не замечаешь национального темперамента. Они точно иностранные туристы, если судить по спокойнейшему тону их циркуляров. Даже если бы не было постоянных уверений, что «Петербург спокоен, страна спокойна», даже в молчании министров вы чувствуете, что они «мовчат, бо благоденствуют», как выразился Разумовский про своих холопов. Благоденствовать в такое черное для России время, стоя на великой страже, атакуемой бешеными стихиями, как хотите, это доступно не подлинным русским людям, а как бы лишь обрусевшим, только недавно принявшим язык наш и идеал народный.

В самом деле, если бы правящий круг не страдал слишком заметным равнодушием к Отечеству, разве он выдал бы нас, Россию, на глумление инородцам? Разве он толкал бы великий народ в подчинение новой немецко-польско-еврейской аристократии? В официальном толковании инородческая аристократия только «уравновешена» с нашей, но это уравнение напоминает алгебраическое уравнение, где к одной части равенства прибавлено, а от другой отнято.

Вспомните эпоху внедрения к нам инородцев при Петре и после Петра. В то время как наша высшая аристократия – бояре – были сразу все разжалованы в простые дворяне, прибалтийские и шведские бароны сделались в один момент русскими баронами и графами. Польские князья, графы и шляхта ни за что ни про что сделались русскими князьями, графами и дворянами. Татарские мирзы и калмыцкие нойоны

тем же способом сделались русскими князьями. Кавказские бесчисленные князья и дворяне сделались русскими князьями и дворянами. Но вдумайтесь в этот удивительный факт. В течение многих столетий названные инородческие аристократы заслуживали себе титулы в борьбе именно с Россией. Чем больше их предки проливали русскую кровь из рода в род, тем крупнее были их фамильные заслуги. Происходило то, что недавно в Японии, где победители наших злосчастных Стесселей, Рождественских³, Куропаткиных⁴ получили титулы: Ойяма⁵ получил князя, Того⁶ – графа, и пр. Завоевывая окраины, Россия укрепляла за вражеским дворянством славу их службы против России. За все многовековое исключительное зло, нанесенное нашему народу, тамошние дворяне были не только уравнены, но даже возвышены над нашей аристократией, заслужившей свои титулы многовековой защитой Отечества, трудами, лишениями, ранами, увечьями, наконец, благородной смертью на полях битв. Скажите, есть ли справедливость – с русской точки зрения – в этом «уравнивании» прав? И кто является обиженной стороной?

Если бы мы имели национальное правительство, опасность устраиваемого самой властью нашествия инородцев давно бросилась бы в глаза. В самом деле, не только русский дворянин, предки которого гибли в борьбе с инородческой знатью, простой солдат русский имел бы право протестовать. «Позвольте, – мог бы сказать он, – если уж шведский барон производится за заслуги предков в русские бароны, то неужели заслуги моих предков, русских солдат, меньше значили для России?» Национальное правительство никогда не уравнило бы в государственных правах свой народ, создавший государственность, с чужими народами, разорявшими ее. Правда, еще до Петра в московскую эпоху принимались заезжие из чужих стран дворяне, однако не раньше, чем они крестились в Православие, и не раньше, чем меняли свое иностранное имя на русское. Московские цари ценили честь и мужество, но привлекали к службе не раньше, чем удостоверялись, на пользу России пойдут эти способности или во вред ей. Новейшее же

наше правительство оставляет инородческой аристократии не только титулы, но и ее веру, ее национальное имя, язык, культуру – все нам чуждое, как бы стараясь не уничтожить, а сохранить наследственную вражду к России. Я не смею отрицать, конечно, что многие немецкие, польские и даже армянские дворяне оказались истинными рыцарями на службе России, однако далеко не все. Есть люди, готовые воевать за чье угодно Отечество: немало русских, даже таких безобидных, как, например, Гучков⁷, ездили в южное полушарие защищать неведомых буров. Но такие явления, как польский мятеж, балтийская фронда, татарские и армянские перебежки, шведоманские подкопы под единство России и т. п., свидетельствуют о том, что аристократия инородческая, пожалованная из врагов народа в столпы Отечества, не могла идти ни в какое уравнение с национальной нашей аристократией. Равноправие в данном случае явилось принижением собственных лучших людей, забвением их исторических заслуг. Дошло до того, что Рюриковичи поставлены были в глазах народа на одну доску с польской шляхтой, которая была, в сущности, всего лишь челядью у родовитых панов, на одну доску с татарскими, киргизскими, калмыцкими кочевниками, которых права на дворянство обоснованы не более чем права краснокожих вождей у Майн Рида. Наводнение нашего правящего круга инородческими элементами происходило в том веке, когда дворянство было вовсе не пустым звуком. Если и теперь оно еще достаточно могущественный класс, то в крепостную эпоху дворянство было единственным политическим сословием. Собственно, только оно и пользовалось правами нации. Тем обиднее было чувствовать подавляющей массе населения свою приниженность не только перед своими «лучшими» людьми, но и перед чужеземцами, которых предки лишь тем и отличались, что умели вредить России. Ни в одной стране иностранная знать не находила для себя новой родины с большей легкостью, чем у нас. Ни в английские лорды, ни в испанские гранды нельзя попасть одним лишь принятием гражданства. Там национальная власть, состоящая из аристократии страны, понимает, что

права ее на власть должны быть оправданы реальными заслугами, и притом в пользу страны, а не во вред ей.

Начиная с Петра Великого управление в России оказывается в руках не родовой знати, а крайне пестрого, внесословного, полурусского, полуинородческого класса, заметно утратившего национальные инстинкты. Вытеснив наше историческое дворянство – бояр, смешав их с наемным разночинным слоем, бюрократия русская безотчетно давила все коренные условия, принижая их одно за другим перед инородческими классами. Так, например, было унижено до глубокого упадка когда-то первое и самое древнее у нас сословие – духовенство. В то время как иноверческие церкви и иноверческое духовенство были обеспечены высокими правами и привилегиями, наша полуинородческая бюрократия подвергала церковные имущества неоднократной экспроприации. Вопреки всякому праву и в нарушение самых бесспорных законов, от монастырей и церквей отбирались земли; оставленные по завещанию, на помин души, отбирались вечные вклады и частные приобретения самих церковных приходов. Приходы, некогда крепкие правовые общины, ячейки старой русской общественности, постепенно были сведены на нет. С разорением церковных имуществ духовенство, особенно сельское, было повергнуто в нищету и захирело донельзя. В то время как ксендзы и пасторы были заботливо утроены и им было обеспечено уважение прихожан, наше духовенство обречено было целые века протягивать руку за подаванием. Не только христианское инородческое духовенство – даже нехристианское было поставлено в условия куда более благоприятные, чем наше несчастное духовенство. В пользу раввинов, которые вовсе даже не священники, установлены разные сборы, которых исправность обеспечивается полицией. Наше правительство само создало не существовавшее дотоле духовенство у язычников – буддистов: права каких-нибудь бурятских лам и содержание их обеспечены так завидно, как нашему духовенству и не снилось.

Возьмите другие наши национальные классы – купечество, мещан, уже не говоря о крестьянах. В то время как ино-

родческие торговцы и промышленники пользовались явным покровительством, наши терпели неисчислимые притеснения и поборы. В то время как немецким колонистам нарезалось по целому поместью на душу и они освобождались от солдатчины, наши крестьяне не находили себе и клочка земли дарового. Громадные пространства степей были завоеваны русскими солдатами, но расхватаны были немцами, армянами, греками, которые теперь держат русское население на Юге в кабале. Можно бы насчитать множество непостижимых преимуществ побежденных народностей над народом-победителем, преимуществ, прямо иногда зазорных. Например, хотя бы широкие права финляндцев в России одновременно с лишением тех же прав русских людей в Финляндии. По какой-то странной причине только коренной русский народ попадал в крепостное рабство; ни немецкие колонисты, ни, например, евреи в крепостные никогда не обращались. Всего еще каких-нибудь четыре года уничтожен закон о телесных наказаниях. Характерно, что даже сибирские инородцы были избавлены от телесных наказаний, а коренных русских драли.

Теперьшнее засилье евреев в торговле, промышленности, либеральных профессиях, в печати, их проникновение решительно во все ткани общества и, наконец, их таинственные влияния на верхах – разве это не поощряется открытием для евреев русской школы? И чем же это засилье объяснить, как не печальным упадком национального разума в правящем классе?

І. Дружина храбрых

Когда, к изумлению всего света, некоторые части русской армии и флота подняли бунт, это невероятное явление пытались объяснить просто: в России идет революция, чего же вы хотите. Но вот в республиканской Франции, давно пережившей революцию, повторяется то же самое. Вспыхивает случайный мятеж виноделов, и пехотные полки отказываются пови-

новаться, а матросы на броненосце «Виктор Гюго» чуть было не повторили нелепую эпопею «Потемкина». В двух странах, столь далеких по истории и образу правления, совершается нечто странное и чрезвычайно сходное в области глубоко важной – в области духа народного.

Давно отмечены неблагоприятные условия, сближающие нас с Францией. Обе великие державы оскорблены в своей гордости народной. Обе побиты соседями, и обида эта не отомщена. Пока не восстановлена вера страны в свое могущество, нужно ждать печальных неурядиц. Все низкое, что есть во всяком народе, подымает голову. Скованные государственной дисциплиной рабские инстинкты начинают говорить громко. Внутренние враги, которые гнездятся в тканях всякого народа, действуют все с большей наглостью. Развивается пропаганда всевозможных отрицаний, неуважение к национальной вере, пренебрежение к родной культуре. Оплываются старые знамена, проповедуется цинизм, восстание против всякого авторитета. Во Франции среди будто бы глубокого мира давно идет яростная борьба с Церковью, с армией и национальностью, идет та же пропаганда отречения от своей истории, что у нас. В обеих странах главным орудием всякой пропаганды – печатью давно овладели враги христианского общества, цель которых – расстроить Европу, чтобы превратить ее, так сказать, в Евреопу. Одинаковые причины порождают те же последствия.

Было бы ошибкой думать, что только Франция и Россия захвачены разрушительным процессом. Германский мир, правда, крепче кельто-славянского. Германия имела некогда счастье провести свою революцию на религиозной почве и укрепила этим дух народный до такой степени, что анархия над ним пока бессильна. Германия имела великую удачу на переломе мирозерцаний, в середине прошлого века, запастись блестящими победами. Народная гордость ее надолго удовлетворена; как могучая пружина, она разворачивается в явлениях жизненных и жизнестойких. Идея великого отечества попирает самую тень измены. Равнодушие к родине кажется черной

неблагодарностью. Неповиновение державной власти – подлость. Все это – колоссальный нравственный капитал – куда поважнее пяти миллиардов, что оставил Германии Вильгельм I¹. Если немцы присваивают этому государю титул великого, то потому лишь, что чувствуют национальное величие, связанное с его скромным именем. Тем не менее даже исключительно счастливая Германия испытывает подтачивающие дух народный влияния анархии. О неповиновении войск и флота, конечно, нет и речи, но одна из самых могущественных партий в рейхстаге, опирающаяся на самый широкий круг избирателей, уже не встает в честь императора. В ее программе, как *ultima ratio*^{*}, стоит грабеж одних классов другими.

Французские события заставляют еще раз вернуться к вопросу: существуют ли в Европе громадные армии, о которых говорит статистика? Что государства подавлены содержанием огромных полчищ – это бесспорно, но *армии* ли эти полчища? Насколько они удовлетворяют военным и государственным требованиям? Вопрос чрезвычайно острый – особенно у нас и во Франции, с которых военное разложение началось. А что, если эти необъятные толпы молодежи, плохо воспитанной, наскоро кое-чему обученной, зараженной общей распущенностью, только даром едят народный хлеб? Что, если в минуту национальной опасности армия первая изменит своему отечеству? Надо вдуматься в это серьезно. Высшие военачальники во всех странах – люди старые; они родились в строгие времена, когда феодальная дисциплина насквозь проникла <в> народ. Генералы непосредственно знакомились с солдатами полстолетия назад, когда были прапорщиками, и понятие о солдатах у них архаическое. Им доселе молодой парень из деревни кажется добрым малым, вымуштрованным суровой семейной властью и внушениями веры. Подучить, как прежде, такого парня маршировке и стрельбе – вот вам и солдат. Но это представление неверное, глубоко вредное. За полстолетия мир решительно переродился. Нынешний материал для армии – совсем не тот, что

* Предел разума, предельно разумное (лат.). – В. Т.

прежде. Вся подготовительная дисциплина исчезла: сплошь исчезло крепостное уважение к барину-офицеру, исчезла привычка повиновения старшим, страх пред властью. Подрастающая молодежь в Европе не знает ни розги, ни палки, ни тех суровых средств, которыми тысячи лет дрессировался человек-зверь. Политический гуманизм имел свои хорошие и свои отвратительные стороны. Еще так недавно дети государей и старой знати воспитывались гораздо строже, чем теперь воспитываются дети черни. К темным народным слоям сразу была применена рыцарская прерогатива – личная неприкосновенность. Ждали подъема народного достоинства, и, может быть, благородные элементы в народе действительно возвысились, но элементы от природы низкие почувствовали то самое, что укрощенный зверь, когда с него снята узда. С возвращением к естественным условиям и зверь, и звероподобный человек быстро дичают. Они теряют культурную сдержку, становятся теми «естественными людьми», остатки которых еще водятся в глуши далеких материков. Среди нынешней народной молодежи встречается, конечно, еще большой процент культурных людей. Есть прирожденно благородные, но наряду с ними с каждым десятилетием все резче выступает элемент дичающий и даже одичавший. Озорники дома, охальники, головорезы, эти «естественные» молодые люди не только не приобретают привычки к повиновению в родной семье, но приобретают обратную привычку – держать в страхе своих стариков, плевать на них, а подчас и поколачивать. С этой новой привычкой естественный молодой человек, пройдя подготовительную школу деревенского разгула, идет на фабрику либо кочует по городским «легким хлебам», от трактира к трактиру. Наконец, его призывают к отбыванию священного долга перед отечеством, ставят под знамена. Как вы думаете, чудесное приобретение делает армия в лице такого молодого человека?

От опытных генералов я слышал, что в два-три года, если налечь на обучение, можно приготовить хорошего солдата. Я с этим, безусловно, не согласен чисто по психоло-

гическим основаниям. В два-три года нельзя приготовить никакого специалиста. Вы его едва научите теории за столь короткое время, а когда же практика? Практика же, более необходимая, чем теория, требует не только большого, но *непрерывного* времени. Кто хочет быть хорошим сапожником, тому нельзя поучиться этому делу три года и бросить его. Нужно шить сапоги всю жизнь. Есть прирожденные артисты военного дела, они усваивают его очень быстро. Но даже артисту стоит лишь бросить свое искусство, чтобы разучиться ему. В какой хотите области труда поставьте это условие – научившись ремеслу, бросить его, – и всюду это условие покажется безумным. А в самом важном после хлебопашества труде народном – в военном деле – это безумное условие введено в закон. Я вовсе не уверен, чтобы даже из даровитого рекрута можно в три года сделать хорошего солдата. Чисто технически это очень трудно. Даровитых же так немного. Нужно ли прибавлять, что далеко не одно техническое обучение делает солдата? Трехлетний новобранец будет держать ружье, но кто поручится, что уменье выпустить пулю он не использует против своего же ротного командира?

Правительства должны знать, что кроме кипучей пропаганды в деревне, где молодежь народная захватывается анархией на корню, – кроме усиленной агитации в казармах, есть еще одна сторона революционирования армии. Все разрушительные партии стараются провести в войска своих единомышленников – просто чтобы обучить революционную молодежь военному искусству. На казенный счет под видом правительственной армии революция обучает свои собственные батальоны. Перед вами стоят бравый солдат, унтер-офицер, фельдфебель. Он исправнее других, но кто знает его замыслы? Чей, собственно, он солдат – ваш или врагов ваших?

Если говорить о государственной армии, то пора бросить крайне легкомысленный взгляд, будто все обязаны быть солдатами и все могут быть ими. Это глубочайший абсурд, который стоил нам проигранной войны и потери мировой нашей роли. Японская война была, в сущности, первая, которую вела наша

армия на началах общей воинской повинности. В последнюю восточную войну новая система еще не успела пустить корня, и дух армии был еще старый. Уже и тогда было отмечено, что «армия не та», и тогда случились эпизоды, о которых стыдно вспоминать. Но во всем блеске нелепость новой системы сказалась именно в Маньчжурии, куда из трехмиллионного обученного полчища пришлось послать сброд, оказавшийся часто ниже всякой критики. Бородатые запасные, омужичившиеся в деревне, обабившиеся, распустившиеся, разучившиеся воинскому делу до неумения держать ружье, – они шли не в бой, а на убой, и если увлекали молодых солдат, то скорее «наутек». В силу того же глупого принципа – всякий, мол, годен стоять во фронте – в действующую армию посылали части, где иной раз до 40% было евреев, где чуть не весь офицерский состав были поляки. В результате евреи устраивали искусственную панику в войсках, а в службе России разделились так: треть бежала, две трети сдавались в плен. Были отдельные случаи героизма среди евреев и поляков, но общая роль инородцев была крайне пагубна, как расскажут когда-нибудь неофициальные мемуары лиц, вернувшихся с войны.

Что же делать? – вы спросите. Как я уже не раз писал, следует отречься от губительного предрассудка демократизации армии. Если нельзя сразу, то необходимо хоть постепенно, но настойчиво переходить к старой, разумной системе, к системе постоянной армии, армии не количества, а качества. Обучайте военному искусству весь народ, но не смотрите на это как на армию. Начните обучение строю и выправке с народных школ, отмените все льготы, требуйте, чтобы каждый гражданин – как в Японии и отчасти в Германии – был бы подготовлен защищать отечество. Но серьезную военную силу набирайте лишь из способных людей и нравственно подходящих, причем основным условием следует ставить то, чтобы они посвятили себя службе не на время, а навсегда. Только такая – *постоянная* армия с долговременной привычкой к дисциплине и к идее долга – может быть оплотом государства. Армия берется, конечно, из народа, но она не должна

быть народом, или она обращается в милицию, в вооруженное собрание, опасное более для своего отечества, чем для врага. Вся сила армии – в героизме, в преданности своим знаменам, в безусловном повиновении Верховной власти. Но эти качества на земле не валяются, их нужно поискать да поискать. В народе они есть, но в скрытом состоянии, раскрываются они лишь в особом сословии, как и другие качества народные. Необходимо, чтобы армия была особым сословием, то есть классом постоянным, а не сбродом, который распускают, едва собрав. Распушенность армии – органическое ее свойство, вытекающее из основной идеи – роспуска. Само правительство, распуская армию физически, распускает ее морально. Само правительство, назвав военное дело «повинностью», теряет здравый взгляд в этом вопросе. Пора вернуться к убеждению древних, что это вовсе не повинность только, а прежде всего – призвание, и что только та армия хороша, которая хочет быть армией и остается ею навсегда. Какого вы хотите воинского духа, когда солдат знает, что он гость в полку, что вся его долгая жизнь будет посвящена какому хотите делу, только не военному? Воинский дух, как всякое увлечение, накапливается – и для этого нужно время. Лишь то делается священным в глазах наших, чему – как некоему богу – мы приносим самое великое жертвоприношение – свою жизнь. Всякое случайное дело есть чужое дело, только постоянное занятие может быть своим. Кому же придет охота втягиваться на два, на три года в профессию, чтобы ее бросить?

Не то беда, что современные армии велики, а то, что они не армии вовсе. Переодетые в солдатские мундиры деревенские парни парадуют кое-как в мирное время, заставляя трепетать сердца кухарок; но попробуйте двинуть их на исполнение долга – они разбегутся, как солдаты 117 полка, или забунтуют.

Для спасения государств, угрожаемых более изнутри, чем извне, необходимы хоть и не большие, но постоянные армии, необходим строгий отбор людей по призванию и таланту. Только талант удерживает человека иной раз на скромном и неблагодарном ремесле.

Дружинами храбрых начинались все государства. Только дружины храбрых могут спасти современные общества от распада.

II. Дружина храбрых

Как многое, что я пишу, моя статья о необходимости постоянной армии удостоилась гвалта со стороны еврейской печати. Еще бы! Постоянная армия – это для смуты нож острый, это вопрос посерьезнее парламентского; в сущности, это центральный вопрос, в котором скрыто «быть или не быть» современному обществу. Парламент, безусловно, необходим для контроля власти, для хозяйственного подсчета, для соображения законов. Но постоянная армия необходима для самого существования власти, для осуществления ее решений. Пока еще государственность наша только трещит и колеблется. Пока еще теперешняя краткосрочная армия донашивает старые элементы постоянства – дисциплину, послушание. Но времена меняются с катастрофической быстротой. Пройдет пять, много десять лет – и во что обратится армия, охваченная пропагандой бунта? Или вы думаете, что этого никогда не будет? Но почему же, однако? Разве засвидетельствовано появление чумы сразу в сотне пунктов, необходимы крайне решительные меры, чтобы иметь право утверждать, что вы оборвали заразу. Где же эти меры? Их что-то не видно, да и возможно ли тут что-нибудь действительно решительное – вопрос.

Из мер, которые все должны быть приняты и ни одна не упущена, самую действительно угрозой бунту явилась бы именно армия. Власть государственная, как бы она ни называлась, – даже республиканская, даже социалистическая, – нуждается в инструменте, без которого она, как скрипач без скрипки, – ничто. Невозможно себе представить общество без закона, невозможно вообразить закон без повелительной силы, обеспечивающей его исполнение. Такою силою во всех

государствах до сих пор являлась армия. Измененная в своей древней системе, демократизированная армия всюду демократизировалась. В результате сама государственность разных стран начинает испытывать то самое, что испытывают здания с плохим фундаментом. Не во всех странах одинаково, но во многих чувствуются признаки какой-то беды, беды внутренней, грозной, которая еще не наступила, но когда наступит, то напомнит худшие времена истории. В результате загадочной эры прогресса, великих изобретений и открытий, в результате великих свобод и выступления на сцену пучин народных является всюду страшное падение авторитета, упадок культа, крушение обычаев и установлений и, в конце концов, теряется сцепление общества, то химическое средство, которым элементы удерживались от распада. Из твердого состояния общества переходят как будто в жидкое, дальнейшей эволюцией которого угрожает быть рассеяние в пар. Стремительный подъем народных слоев от прежней суровой стихийной жизни к жизни искусственной, капиталистической влечет за собой анархию, против которой европейские общества еще не придумали действительных средств. Может быть, они будут придуманы, и дело не так плохо, но, во всяком случае, нужно же их придумывать, эти средства, надо вовремя готовиться к самой страшной в человечестве опасности – крушению человеческого общества.

Ничего нет возмутительнее благодушного спокойствия буржуа, которые, привыкнув стричь купоны, серьезно думают, что это продлится до скончания века. Несколько поколений мира глубоко обмещанили наше военное сословие – дворянство, о чиновниках и купцах и говорить нечего. Добытый тяжкими жертвами предков мир – внутренний и внешний – мы получили даром, и нам кажется, что он вообще дается даром и, чтобы оберечь его, не нужно никаких усилий. Но это столь же губительное, сколько глупое заблуждение. За него придется заплатить, может быть, такую непоправимой жертвой, каково самое бытие народное. Не время убаюкивать себя надеждами, что все уляжется. Ничего не уляжется – по крайней мере, на

нашей памяти. Анархия еще в начале. Если немедленно не принять героических мер – гибель народа неизбежна.

Прежде всего, нужна точка опоры, и власть обязана счесть этою точкой самое себя. Власть не исполнит долга чести, долга великой клятвы перед родиной, если не укрепит себя в центре общества, как некий Гибралтар, неприступный и неодолимый для мятежа. Но Гибралтар составляет не один гарнизон, как бы он ни был храбр. Гибралтар составляют его несокрушимые, как кора земная, стены. Власть, прежде всего, должна огородиться неподвижными рядами войск, дружиною храбрых и верных, готовых не на словах только, а и на самом деле положить живот свой «за веру и отечество». Под верой в древней формуле нашего героизма понимается, конечно, не церковный лишь образ, а вся народная идеология, все миро-созерцание – тот строй духа, что завещан нам предками вместе с кровью. Именно за этот истинный дух народный, за его идеалы, за все прекрасное и дорогое, что мы любим под нашим солнцем, – герои должны стать живою стеной, которую можно разрушить, но не сдвинуть.

Нашей национальной власти нужна постоянная армия – небольшая, но отборная, превосходная, стоящая на бессменной страже отечества. Неужели вы не видите, что без такой силы нет и власти? Берегитесь упускать время! Не все еще видят призрачность колоссальной армии, ежегодно набираемой и ежегодно распускаемой. Не все еще понимают военное ничтожество полчищ, наскоро собранных, наспех кое-чему обученных, лишенных дисциплины, анархизированных еще дома, распропагандированных на фабриках и в казармах, – полчищ уже теперь буйных, с которыми чрезвычайно трудно справиться. На днях в замечательной статье г. Эль-Эс («Бумажная сила») сообщался ужасный факт, что офицеры повально бегут из армии, что даже в тех «округах, куда вакансии разбираются лучшими при выпусках из военных училищ, есть полки, где вместо 74 офицеров по штату – налицо 12». Но ведь это же ужас, которому нет меры! Остается, значит, местами в армии менее $\frac{1}{6}$ части офицерского состава. Но ведь это зна-

чит, что армии у нас уже нет, что остались одни развалины ее! Офицерство – душа войск, их движущая сила. Эта сила уже в шесть раз понижена против нормы – и мы все еще толкуем о надежности армии. Мы все еще приписываем нашей армии ее государственную роль!

Г-н Эль-Эс – сам блестящий боевой офицер – указывает ряд причин повального бегства офицеров: «Бегут от службы, тяжелой в настоящем, беспросветной в будущем, бегут от безнадежного застоя старых порядков, от произвола и незаслуженных обид, от чиновничьей, не офицерской работы». Я позволю себе прибавить к этим причинам бегства еще одну. Офицеры бегут потому, что большинство их – в душе не офицеры. А не офицеры они потому, что в армии давно возобладал штатский принцип, и сама армия обмещанилась до невероятной степени. Офицеры бегут по той причине, что бегут и солдаты. Солдаты через три года службы дезертируют, так сказать, по приказу начальства, – но и офицеров выталкивает из армии тот же закон непостоянства, переменного состава. В самом деле: есть ли нравственная возможность оставаться в корпорации, которая расползается постоянно, которая только числится существующей, но которой на самом деле нет? Спросите любого хорошего, действительно военного офицера – хорошо ли он чувствует себя между нестройными рядами озорных деревенских парней, кое-как собранных, кое-как оболваненных, не имеющих времени отвыкнуть от «воли» и привыкнуть к своему солдатскому делу? Действительно военные люди скажут: нет! Мы никогда не чувствуем себя на своем месте. Мы не в армии, мы – в милиции, которая так поставлена, что никогда не может быть армией. Прослужите десять, двадцать лет – вы так и умрете среди сырого, поллуштатского материала, среди рекрутов, а не солдат. Какое, спрашивается, удовольствие людям даже действительного призвания оставаться в плохих войсках? Оцените психологию охотника, вынужденного целые годы возвращаться в обществе детей, играющих в охоту. Но если офицерам – любителям военного дела – тошно в современной армии (и не только у нас,

а всюду), то что может удержать в армии огромное большинство тех переодетых в офицерские мундиры штатских юношей, что выпускают наши будто бы военные, на самом деле давно сделавшиеся штатскими училища?

Я писал недавно о том, какой погром в военную школу внесен либеральными военными министрами. Они изо всех сил старались кадетов воспитывать как гимназистов. Понасажали штатских воспитателей и учителей, назначили директоров, презирающих военное дело и влюбленных в светский лоск, в светскую утонченность, – и получили несколько поколений офицерства, невежественного в военном деле и совершенно равнодушного к нему. Они пошли в армию, эти милые молодые люди, но лишь <для того> чтобы сделать карьеру; а как только оказалось, что война не есть мир, а что-то совсем особое и беспокойное, – они толпой повалили вон из армии. Офицерское разложение армии еще раз показывает, до какой степени мы стоим над пропастью с этой опасной штукой – новой эгалитарной армией, «числом поболее, ценой подешевле».

Единственно, что может спасти армию – а с нею власть и нацию, – это переход к старому типу войск. Нужно принятый принцип сменить обратным, вот и все. Если пожертвовали качеством войск ради количества, то теперь следует пожертвовать несколько количеством ради качества. На всю миллионную армию в мирное время никогда не хватит хороших офицеров и хороших унтеров – никогда! Об этом и мечтать нечего. При краткосрочной службе вы никогда не будете иметь хороших солдат. Этого не допускает природа вещей, и противоестественный опыт «вооруженных народов» показывает это достаточно ярко. Все профессии должны быть постоянными, или они не профессии вовсе. Вводя в самый принцип армии глубокий дилетантизм, вы вносите в нее внутреннее расстройство. Не японцы нас побили, а несчастная наша подражательность, отречение от великих начал собственной же военной культуры. Как совершенно справедливо говорит г. Эль-Эс, в маньчжурской войне «бездарность меньшая победила большую» – очень, очень немного нужно было стойко-

сти у нашей власти, чтобы победа была на нашей стороне, ибо миллионная японская армия, собранная по такой же прелестной системе, что и наша, – под войны, начала расплзаться по швам. Отступив друг от друга без окончательного, решающего боя, миллионные армии доказали тем, что обе побеждены. Общим оказался не под силу тот финальный акт, ради которого армии существуют, – разгром врага. А если так, то что же это за армия? Именно так вели бы себя миллионные милиции, если бы им пришлось воевать.

И от внутренних врагов, и от внешних нация должна иметь постоянную оборону. Нужна небольшая, но превосходящая армия как особое сословие людей, посвятивших себя этому делу, закрепощенных ему. Еврейские газеты вопят, что постоянная армия была бы опасна для самой власти, и в доказательство напоминают преторианцев¹ и янычар². Очевидно, за отсутствием серьезных аргументов приходится пускаться в ход «металл и жупел». Если бы постоянная армия, о которой я говорю, была опасна для власти, господа евреи, конечно, с восторгом поддержали бы мою тему. Если они кричат против нее, то именно потому, что постоянную армию смешать с преторианцами и янычарами никак нельзя. В эпоху глубокого упадка власти трон делается игрушкой не только войск, но каких хотите стихий. Царедворцы, духовенство, самая родня монарха часто поднимают мятеж. В низверженной власти всего реже участвовала постоянная армия. переворот бывал обыкновенно делом дворцовой стражи, подкупленной или вовлеченной в бунт. Но почему же старая несменяемая гвардия менее надежна, чем вчерашние фабричные рабочие или деревенские громилы, одетые в солдатский мундир? При окончательном бессилии власти, конечно, никакое войско ее не защитит, но, говоря о преторианцах и янычарах, следовало бы припомнить и великие услуги, которые ими принесены власти. Они не только свергли монархов, но и возводили на трон и оберегали истинных властителей как действительные герои. Пока Рим и Турция имели свои железные легионы – знамена их были грозными. Именно с чудовищным по жестокости ис-

треблением янычар Турция вычеркнула себя из списка великих держав. Идея корпуса янычар была великолепной, и пока власть управляла этим удивительным аппаратом – он служил ей. Но чем виноват благородный инструмент в руках профана, который, не умея играть, полагает, что лучше всего сломать инструмент? Ранее янычар наши стрельцы были втянуты в мятеж и подверглись той же участи. Но, казнив стрельцов, Петр собрал новые, еще более многочисленные полки постоянной армии, которую догадался продержат в школе великой войны. Именно эта армия явилась стеновым хребтом России. На нее опирался внутренний порядок и внешние успехи. Без армии Петра Великого, где служили без отставки, до самой старости, не было бы у нас не только теперешней территории, не было бы не только Финляндии, Прибалтийского края, Польши, Белоруссии, Бессарабии, Крыма, Новороссии, Кавказа, Туркестана и Восточной Сибири, – без армии, даже если бы не расхитили Россию соседи, то она давно погибла бы от пугачевщины. Армия нисколько не мешает самым широким внутренним реформам, именно она всем им дает смысл и осуществление. Без хорошо поставленной армии никакой парламент, никакая форма правления не пойдут дальше благих намерений, а уже, кажется, этим-то товаром мы богаты. Как для кристаллизации аморфной смеси иногда необходим хоть небольшой, но твердый кристалл, так в разгулявшейся анархии государственной необходима стойкая линия, к которой, как к оси, могли бы подстраиваться элементы порядка. Такой осью может быть только реальная власть, реальная сила, а не какая-то непрерывно расплывающаяся в пространстве и вновь собирающаяся фантазмагория.

Власть как право

Быть или не быть сильной власти – это то же самое, что быть или не быть России. Вот почему я считаю долгом возвращаться к этому тяжелому вопросу. Речь идет о страшной

государственной болезни, которую можно сравнить с перерождением сердца. Болезнь эта появилась у нас давно; может быть, она унаследована в самом зачатии государственности. «Наше государственное тело велико и обильно, но нет соразмерного двигателя внутри. Придите быть нашим сердцем», – говорили новгородцы варягам.

Слабость центрального мускула в своих средних стадиях не смертельна, однако в последнее столетие обнаружались слишком зловещие признаки. Кроме страшной отсталости культурной и ее следствия – нищеты, мы пережили две позорные войны, и последнюю – с врагом, физически втрое слабейшим. Мы переживаем постыдные годы бунта, где народные отбросы в союзе с инородцами терроризируют власть, срывают парламент, лишают возможности культурного законоустройства, предадут трудовую часть нации разгрому и грабежу. Все это явления, не обещающие ничего доброго. Я не могу скрыть от читателей своей тревоги и не могу не говорить того, что составляет мое глубокое убеждение. Нам нужна не какая-нибудь, а непременно сильная власть. Нам необходимо могучее сердце, иначе мы пропали. Это сердце и теперь, как на заре истории, может быть создано народным организмом. Оно должно быть создано! Если у больных людей есть методы укрепления сердечной мышцы, то, несомненно, есть способы укрепления государственной власти, и нужно поспешить с ними, нельзя с этим откладывать! Россия гибнет от усталости сердца – неужели мы, живое поколение русских людей, настолько ничтожны, чтобы не помочь родине в черные ее дни? Неужели мы как племя настолько выродились, что не способны восстановить жизненно необходимый орган?

Множество моих противников ослеплены опасным заблуждением, будто гипертрофия власти означает ее силу. Кричат, что власть у нас чрезмерно сильна, что для спасения России необходимо обуздать эту силу, связать ее общественным противовесом. Под силой власти они понимают произвол, жестокость, бессмысленность, те черты тирании, которые вульгарно приписывают самовластию. А. А. Столыпин¹, ве-

роятно, сделает мне честь признать за мною иное понимание существа власти. Если бы речь шла о машине мертвой, например о заряженной пушке, то силу ее было бы допустимо определять количеством разрушения, на которое она способна. Но власть – машина живая; как всякое живое тело, она – существо отчасти духовное. Сила правительства определяется способностью достигать своих целей, цели же эти, конечно, не только разрушительные, но и творческие. Даже лютый враг нашей власти не станет отвергать благих ее намерений. Но даже пламенный поклонник власти согласится, что благие намерения не выполнялись. Сама власть не отвергает последнюю, иначе она не взяла бы на себя почин переворота. Именно в том-то и суть несчастий наших, что государственная власть потеряла способность осуществлять свои намерения. Если так, то разве можно такую власть назвать сильной? Нет! Раз вещь перестала достигать своих целей, она перестала быть сама собой, она превратилась в нечто другое. Достаточно в тысячесильный паровоз попасть горсти песка, чтобы он остановился. Но если он остановился, какой же он паровоз? На все время бездействия он – тело мертвое, груз, который сам нуждается в двигателе. Сила власти не в намерении, а в исполнении. Наше правительство – кроме подозрительных господ, втершихся в министры, чтобы при первой беде власти перекинуться в кадеты, вроде гг. Федорова, Кутлера² и др., – наше правительство искренне желало иметь счастливый народ – и имеет народ голодный и недовольный. Желало иметь победоносную армию – и довело армию до Мукдена и Порт-Артура. Желало иметь сильный флот – и довело флот до Цусимы. Желало законности, тишины, порядка – и довело до «позора непрекращающихся убийств». Скажите, можно ли государственную власть назвать сильной, если она достигает как раз обратных целей? А. А. Столыпин, конечно, не менее других русских публицистов осведомленный в намерениях власти, пришел к мысли, что с политическим террором может справиться «только само общество». Но ведь это значит манифестировать бессилие правительства несравненно решительнее, чем мог

бы сделать я. «Сила власти, – заявляет А. А. Столыпин, – не в праве силы». Формула прекрасная, и я, безусловно, согласен с ней. Я никогда ни одной минуты не ставил физическую силу в политике выше права (понимая под правом справедливость). Желая видеть власть сильной, я добиваюсь торжества вовсе не силы, а именно нравственного права, вложенного в понятие власти. Я думаю, простительно каким-нибудь еврейчиком из газетной черни, а не нам с г. Столыпиным представлять себе власть как нечто противоположное праву. Власть над народом не есть право собственности, не *jus utendi et abutendi*^{*}, а обязанность служения в пределах пользы народной. Избранием династии, которой вручено народом верховное управление, утверждено право действия власти на благо нации, «на славу нам, на страх врагам». В самом слове «правительство», в глаголе «править» заключено понятие права, неразрывного в народном разуме со справедливостью. Следовательно, власть по существу своему никак не может пониматься как «право силы», а всегда есть «сила права», кроме тех, конечно, случаев, когда власть впадает в злоупотребления. Но в последних случаях власть перестает быть властью, как музыкант, взявший фальшивую ноту, в этот момент уже не музыкант. Только деятели клеветнической, заведомо лгущей печати, сделавшей преступность слова своим ремеслом, могут утверждать, будто я ратую за *злоупотребление* власти. На самом деле, кроме непрерывной борьбы со злоупотреблениями власти, я стою еще за то, чтобы самое *употребление* власти было восстановлено, чтобы власть получила, наконец, возможность действовать как право. Кроме скверного делания есть не менее опасный порок – неделание. Право неосуществленное перестает быть правом. Но самое священное право, чтобы действовать, должно быть силой – это элементарное требование механики. Отсюда я настаиваю на необходимости власти быть сильной.

А. А. Столыпин упрекает меня в том, будто я упустил из виду его утверждение, что достигнуть подавления террора можно «выдержанным, неумолимым, но хладнокровным

* Право употребления и злоупотребления (лат.). – В. Т.

и законным преследованием преступности при неперменном условии деятельного государственного творчества». Я вовсе не упустил из виду этих строк, но решительно не знаю, как связать их с главным тезисом г. Столыпина: «С позором прекращающихся убийств может справиться только само общество, причем заслуга правительства была бы только в умелом пользовании общественного сочувствия». Выходит так, если я <правильно> понимаю г. Столыпина, что если есть налицо общественное сочувствие, то допустимо «выдержанное, неумолимое, хладнокровное и законное преследование преступности», а если нет общественного сочувствия, то правительству нечего использовать, то есть как будто нечего и делать, и остается самому обществу справляться с бунтом. Эта точка зрения мне кажется вдвойне неверной. Она ставит государственную борьбу с бунтом в зависимость от торжества так называемой реакции. Если есть реакция в обществе – есть и борьба, нет реакции – нет правительственной борьбы. Я думаю, власть государственная должна быть рассчитана не на столь преходящее условие, как общественное сочувствие или несочувствие. Власть, мне кажется, во всяком случае обязана бороться с преступностью, бороться непрерывно, со всей силой врученного ей историей права. Общественное несочувствие к власти не ослабляет, а скорее усиливает обязанность власти преследовать преступления. Ведь если в обществе растёт несочувствие к власти, то, значит, растёт преступность, стало быть, тут-то правительству и приходится напрячь все силы для одоления беды.

«Вся заслуга власти» не только не «в умелом использовании общественного сочувствия», как пишет А. А. Столыпин, а, наоборот, – в мужественном презрении к самой мысли подделываться под чьи-то вкусы, в честной решимости идти хотя бы против общественного течения, если оно явно вредно. Разве, в самом деле, «общественное сочувствие» – всегда синоним справедливости? вспомните Иерусалим, побивавший пророков. Общество – представитель данного момента, данного поколения, тогда как власть должна чувствовать себя пред-

ставителем всей нации в ее истории. Только на этом основании династия избирается не на данное поколение, а в долготу веков. Она во времени – становая ось народная, поддерживающая общее единство: вот почему ее право выше общественной популярности. Обрывать власть хотя бы на «умелое использование общественного сочувствия» – значит делать власть игрушкой толпы. При этом правительством делается толпа, а управляемой вещью – власть. Не думаю, чтобы такая перемена ролей повела бы к чему-нибудь хорошему.

Я отнюдь не отрицаю «государственного творчества», о котором говорит г. Столыпин. Я только полагаю, что оно, как всякое творчество, должно быть свободным, то есть прежде всего свободным от власти общественного мнения. Если художник, артист, писатель поставили бы своей «единственной заслугой умелое использование общественного сочувствия», я прямо сказал бы: это бездарности, это шарлатаны. Они могут обмануть толпу и пробиться в идолы, но это будут именно идолы, а не боги. «Художества свободны» – вот первый закон творчества. Все великие искусства, в том числе искусство власти, только тогда велики, когда независимы от мнений общества, когда «умелое использование» случайной моды не входит в их расчет. Я желал бы своему отечеству гениальной власти, которая никогда не слагала бы на общество своего творчества, которая не нуждалась бы в сочувствии толпы, а которая, подобно правительству Петра Великого, Фридриха II³, Наполеона, Бисмарка, в самой себе находила бы импульсы и великие цели. Как показывает история, творческая власть часто шла вместе с обществом, но нередко наперекор ему, причем в последних случаях ошибалась не власть, <ошиблось> общество.

Отрицая пагубную мысль, будто бороться с террором может «только само общество», утверждая, что если бы нынешняя власть нас покинула в этой борьбе, то мы принуждены были бы организовать новую власть и только через нее могли бы бороться с преступностью, я этим вовсе не отрицаю ни самостоятельности общества, ни его свободы. Совершенно

напрасно А. А. Столыпин приписывает мне мысль, не только не разделяемую мной, но такую, против которой я давно сражаюсь по мере сил. Общество, бесспорно, имеет свои политические права, но и власть имеет свои. Будем держаться конституции, если хотим иметь ее. В Основных Законах наших я не вижу, чтобы обществу было предоставлено право борьбы с преступностью и чтобы правительство было освобождено от обязанности этой борьбы. Напротив. В перечислении свобод в Основных Законах я не вижу свободы следствия и суда над своими согражданами, свободы наказания их тюрьмой и казнью, свободы ограничения преступных организаций и т. п. «Право силы» в нашей конституции предоставлено всецело «силе права», то есть закономерной власти, общему органу общества. Но те же Основные Законы предоставляют обществу широкое поле самостоятельности и очень определенное право вмешательства в государственные дела – через представительство в парламенте. Вот этой самостоятельности и этому вмешательству (в виде контроля над властью) я сочувствую, ибо считаю, что жизнь тела столь же необходима для жизни сердца, как и обратно.

И от власти, и от общества я не требую чего-нибудь чрезвычайного. Я хотел бы только, чтобы власть была властью, а не подделкой ее под «общественное сочувствие» и чтобы общество было обществом. Не будем путать функций. В самом деле, ведь опасно заставлять кишки работать за сердце и наоборот. Я страстно желал бы общество видеть самостоятельным, но в каком смысле? А вот в каком. Будемте хорошими работниками, каждый по своей части. Хорошая работа есть ежедневная дань государству, ежедневный вклад в общество, непрерывное накопление богатства умственного и материального. Накопление, согласитесь, лучше растраты. Чтобы быть хорошими работниками, будемте свободными художниками своего труда, то есть людьми мужественными, независимыми от вкусов толпы, от изменчивого общественного сочувствия. Будемте, наконец, достойными гражданами, то есть людьми, в самих себе подавляющими всякую преступность, – и тут наша

«самодеятельность» безгранична. Если конституция не дает права хватать за шиворот своих ближних и подвергать их нашему самосуду, то все конституции допускают собственный самосуд. Например, если вы газетный клеветник, и лжец, и фальшивомонетчик слова, то никакая власть вам не перечит осудить свои скверные занятия и наказать себя, до способа, если угодно, унтер-офицерской вдовы включительно. Никакая власть не перечит вам любить родину и выслать в парламент людей, любящих ее, разумных и стойких, лишь бы не преступных. Вплоть до преступлений конституция признает самодеятельность общества. Признаю и я ее в тех же пределах.

А. А. Столыпин просит, чтобы ему «указали реально, в чем должно проявиться усиление власти, в каких поступках (с точным их перечислением), в каких мероприятиях». Если угодно, я в следующей статье отвечу. Но должен заметить раньше, что «усиление власти» проявляется не в тех или иных поступках и мероприятиях, а в силе всяких поступков и мероприятий. Если поступки власти достигают цели, я считаю власть сильной. Если цели эти умны, я считаю власть умной. Если в итоге устанавливается «на земле мир и в человецех благоволение», я первый присоединяюсь к мнению херувимов и говорю: «Слава Богу!»

Россия — прежде всего

Сегодня открытие Третьей Думы. Хочется сказать собравшимся депутатам: «Если вы истинные представители народа, привет вам! И да выпадет вам счастье заслужить, кроме приветов, и поклон народный, глубокую благодарность родины, сознавшей, что ее доверие оправдано». Доверие пока еще только дано, остается не обмануть его — задача трудная! От всего сердца можно пожелать, чтобы Третья Дума явилась первым звеном непрерывной и крепкой цепи представительных собраний, долженствующих стать стеновою осью новой государственности. Дай-то Бог, чтобы слабые надежды на это сбылись!

Все зависит от здравого смысла, от величия духа народного, исправляющего несовершенство учреждений и отсутствие которого самые высокие формы жизни сводит в ничто.

О чем Россия может просить свою Государственную Думу?

Прежде всего, чтобы она думала о государстве – о государстве, а не о какой-либо партии или отдельной группе людей. Думать о государстве – значит думать о *господстве* своего племени, о его хозяйских правах, о державных преимуществах в черте русской земли. Государственная Дума недаром носит имя царской. Она должна думать о том же, о чем Государь, она должна быть верховным, историческим сознанием страны, органом национально-русского разума и народной совести.

Думайте о государстве! Думайте о господстве России! Я хочу этим наметить ту координату, на которой должно строиться мышление парламента, тот регистр, в котором оно должно звучать. Мышление может быть низким и высоким. В парламентах, как у отдельных лиц, оно бывает мелочным, партийным, узкоэгоистическим, а бывает и величественным, государственно-философским. Необходимо именно в собрании послов народных «с высоты» глядеть на жизнь, чтобы не растеряться в бесчисленных ее мелочах, не запутаться в лабиринте переулков и обходных путей. Как с заоблачной высоты перед Думой должна лежать неизмеримая Россия и должны выступать все ее истинные очертания, ее вечные непререкаемые условия. Первое великое сознание с такой объемлющей высоты – это гордое чувство господства:

Это ты, моя Русь державная,
Моя родина православная!*

Чувство царственное, подобно непрерывному торжеству. Чувство обладания, чувство *собственности* исторической и национальной. С политическим одичанием России этот инстинкт господства как будто заснул в нас. Древнее велико-

* Строка из стихотворения «Под большим шатром голубых небес...» (1851) Ивана Никитина. – В. Т.

русское начало – начало собирания земли, победы и одоления – заглохло. Столь живое у великороссов свойство великой арийской расы – покорять и господствовать – поникло под наплывом низкой психологии покоренной инородчины. Народ-завоеватель, львиным порывом разбросавший соседей, захвативший громадную территорию, печально ослабел, подчинился совершенно незаметно внутреннему завоеванию, попал в плен плохим государственным учреждениям, взятым с чужа. Вот на какой факт – в бесконечном ряду других – я позволю себе обратить внимание Государственной Думы. Мы в плену. Хотя многие этого не чувствуют и почти никто об этом не говорит, мы в духовном и политическом плену у некоего чужеземного нашествия, которое просочилось в наши государственные ткани и сделало их хрупкими и дряблыми. Мы в плену у чуждой нам инородческой психологии, привившей нам робость, растерянность, отсутствие чувства национальной личности и чести. Поляк г. Дмовский во Второй Думе «поражался отсутствием у русских патриотизма». Армяне и татары поражались тем же. Мы до того увяли, что не слышно даже шепота о любви к отечеству – самое понятие о народной гордости нам представляется дерзким. Почти забыты времена, когда внимание общества занимали героические легенды, сказания о подвигах предков, предания о силе, славе, величии своей родины. Позабыты века, когда в кругу высоких понятий вырастали молодые поколения и мужественно брались за меч и плуг.

Чувство победы и одоления, чувство господства на своей земле годилось вовсе не для кровавых только битв. Отвага нужна для всякого честного труда. Все самое дорогое, что есть в борьбе с природой, все блистательное в науке, искусствах, мудрости и вере народной – все движется именно героизмом сердца. Всякий прогресс, всякое открытие сродни откровению, и всякое совершенство есть победа. Только народ, привыкший к битвам, насыщенный инстинктом торжества над препятствиями, способен на что-нибудь великое. Если нет в народе чувства господства, нет и гения. Падает благородная гордость – и человек становится из повелителя рабом. Вот страшное несча-

стие, которое должна понять Государственная Дума, если она сложится национальной. Мы в плену у рабских, недостойных, морально ничтожных влияний, и именно отсюда наша нищета и непостижимая у богатырского народа слабость.

Как случилось, что народ-победитель перенял психологию побежденных им народностей? А именно так, как это было во все времена, начиная с незапамятной древности. Помните заклания Моисея выходцам из Египта: побеждайте, но не смешивайтесь с побежденными, не принимайте в себя их стихии. Уж если покоренный народ не имел силы и чести отстоять себя, стало быть, это народ дрянной, и он, будучи побежден, ничего не может внести в общение с вами, кроме дрянности своей, кроме чувства бессилия, трусости, лени, способности со всем мириться, даже с рабством. Всякое общение с такими народностями вредно. В мужественную расу он вводит ничтожную кровь и прививает подлую душу.

Если вы победили, то считайте же себя избранным народом и берегите раз достигнутое совершенство как зеницу ока. Если совершился в лице вашем исторический отбор, то не портите его примесью плохого сорта. Будьте самими собою и никем иным. Однажды достигнутое вами совершенное «Я» да будет богом вашим, и да не будут вам иные боги, кроме этого «Я». Таков смысл первой заповеди избранного народа. Смешение с иноплеменниками считалось грехом смертным, в особенности допущение инородческих граждан в свою среду.

То же строгое бережение победоносной породы выразилось в суровых кастовых законах арийцев, что основали первую великую цивилизацию – в Индии. Тот же закон господства выражен в гражданстве греческих республик и Рима в эпоху его величия. Пока строго держалось обособление от инородцев, народы-победители возрастали в славе и цивилизация их развертывалась по всем направлениям так же победоносно, как их военные знамена. Но смешение с побежденными народностями всюду на протяжении всех веков вело к гибели завоевателей. Примесь хананеян погубила евреев, примесь драведийских¹ и монгольских кровей расслабила индусов, мирное

проникновение варваров в эллинскую и римскую среду развратило и обессилило эти богоподобные народы. С нашей родиной совершается та же роковая ошибка.

По великодушию победителей, по славянской простоте, по добродушию наши предки допустили слишком широкое внедрение в нашу государственность покоренных народностей. Случилось великое несчастье в XVI веке: наша национальная аристократия истребила себя в распрях и уже не могла дать отпор инородческому нашествию. По затмению нашего государственного разума татары, поляки, немцы, шведы протерлись в большом количестве в служилой класс и с каждым поколением последний становился все менее крепким, все менее мужественным, все менее верным своей земле. Не нужно, чтобы русская аристократия совсем была вытеснена инородцами. Достаточно для упадка страны известного процента подмеси. Люди чужой расы и чуждой нам психологии вносят хуже, чем вражду к России, – они вносят равнодушие к ней. Постепенно тем сословиям, что стоят на страже народной, начинает казаться, что «все равно». Можно хорошо служить, можно и плохо. И так как плохо служить легче, то на всех ступенях власти постепенно сложилось предательское неделание, безразличие, чиновное «кое-как да как-нибудь». В то время как высшие классы у нас смешивались с выходцами из окраин, престолярияде смешивалось с остатками покоренных аборигенов. Я глубоко убежден, что так называемое «русское авось» – вовсе не русское: оно привито нам вместе с психологией побежденных народностей. Древние наши предки, создатели господства нашего племени, не могли бы создать его, если бы боролись «кое-как» и работали бы «на авось».

Государственной Думе нашей предстоит обдумать вовсе не бюджет только и не тысячу мелких законопроектов, заготовленных г. Столыпным. Все эти ассигновки на прачечную при такой-то тюрьме или на оранжерею при таком-то университете могут поглотить сколько угодно времени без малейшей для России пользы. На самом деле и детальное законодательство, и контроль над властью могли бы быть поручены не пар-

ламенту, а специально подготовленным комиссиям из сведущих людей. Роль парламента, мне кажется, гораздо выше или, по крайней мере, кроме нее у парламента есть иная, верховная роль, в которой особенно нуждается страна. Россия нуждается в возвращении своего сознания, в пробуждении национализма. Под грозными внешними обвалами, перед опасностью внутреннего разложения русские люди должны очнуться. Отчего мы гибнем? Где коренные исторические причины нашего упадка? Государственная Дума должна это мужественно обдумать и разобрать. Первая причина тяжелого унижения, в котором застаёт Дума народ, – это плохой состав власти. Говорят: пусть сделаются отдельные люди лучше, и тогда явятся и более совершенные учреждения. – Not institutions, but men*. Я на это отвечаю, что «ждать» России уже некогда. Я не вижу способа, каким плохие люди при дурном общественном устройстве делались бы хорошими. Если есть этот способ, то пусть он и действует, ему собираются не мешать, а лишь помочь. Для людей здравомыслящих ясно, что воскрешающая народ сила не упадет с луны, а должна быть взята из нас самих. Люди честные и трезвые, которые когда-нибудь занимались тяжелым трудом, хорошо знают, какая это сила – честный труд и что можно сделать сосредоточенной энергией. Люди сколько-нибудь талантливые понимают волшебную силу таланта, приложенного к труду. Так вот в чем наше спасение: пусть соберутся к власти люди труда, таланта и знания. Пусть соберутся патриоты, которым жаль крушения нашей государственности. Пусть они обновят власть, перестроят ее сверху донизу. Невозможно стоять великому государству, если центральный его двигатель состоит из людей инертных, равнодушных, чужого, инородческого склада, людей часто совершенно бездарных и совсем бессильных. Против нашествия этих никуда не годных элементов национальная Дума должна вызвать из народа другое нашествие – старого великорусского духа.

В составе Третьей, к сожалению, слишком разросшейся Думы есть благородные патриоты. Они должны ясно видеть,

* Не учреждения, но люди (англ.). – В. Т.

что Россия близка к гибели, что терять время в бесплодных перекорах с врагами – преступно. Необходимо немедля всем русским людям в парламенте соединиться и дать ядро для притяжения русской силы.

Нужно поставить верховной целью своей работы государство, то есть господство народа русского. Это господство не может иначе быть восстановлено, как путем кристаллизации из аморфной народной смеси. Пусть явится достаточно авторитетный центр группировки, и он привлечет к себе все, что еще осталось жизненного и сильного в нашем племени. Третья Дума не заканчивает собою периода реформ, а лишь начинает. Все государство в брожении, все законы – в зачатии, именно теперь время созидательному инстинкту великорусскому проявить себя, внести еще раз в жизнь могущественные начала, на которых она когда-то строилась. *Следует спешить*, ибо, как справедливо заявил вождь радикальной партии, каждый день могут наступить крайне важные события. Есть надежда, но ведь нет никакой гарантии, что Третья Дума окажется устойчивее всех предшественниц. Наконец, всегда следует делать поправки на неожиданное. Следует бодрствовать и спешить. Не откладывая, нужно вмещать в немногие, отпущенные каждому дни все возможное и даже сверхвозможное. Устоит или не устоит Дума, следует именно для устойчивости ее твердо поставить наш национальный великорусский принцип и заложить партию или, вернее, лигу партий, верных нашей народности. Это прежде всего, ибо народ – прежде всего.

Свобода? Поверьте, никогда не будет у нас свободы, пока нет национальной силы. Что ж вы думаете, инородчина, взявшая засилье, сдаст свои позиции без боя? Вы думаете, она охотно допустит те свободные учреждения, которые нам необходимы? Прежде чем подпустить народ наш на тысячу верст к правильной, закономерной жизни, где порядок ограждает свободу, внутренние враги наши используют всю меру свободы для расстройтва нашего господства, для крушения государственности, что держится уже как будто не внутренним сцеплением, а лишь давлением массы. Под эту механи-

ческую массу ведутся неумолимые подкопы и закладываются по всем направлениям мины. Взрыв тщательно готовится; он более чем возможен. Предотвратить его в силах лишь национальная стража – правительство патриотическое, стойкое, не сдающееся влево, готовое к героической борьбе. Только такое правительство, преданное исторической власти, могло бы спасти страну. Национальная лига, союз патриотических партий должен взять дело народного спасения из чужих рук в свои.

Чье государство Россия?

При обсуждении устава Всероссийского национального союза¹ возник любопытный вопрос: окажется ли цель союза – содействие господству русской народности – в согласии с Основными Законами? Некоторые находили, что названные законы отрицают господство какой-либо одной народности. Все российские подданные будто бы равны перед законом как в обязанностях, так и в правах. В силу этого борьба с инородческим засильем, по существу, незаконна.

Достали текст Основных Законов и не нашли в них ничего ясного по этому предмету. Что касается меня, я не допускаю даже возможности подобного чисто софического вопроса. В законе не указано многое такое, что предполагается само собою, например право подданных кашлять. Достаточно того, что в Основных Законах Россия названа *государством* Российским, чтобы вопрос о господстве считать решенным. Государство ведь и есть господство. И так как оно Российское, то тем самым утверждено господство в России именно русской народности, а не какой другой. Добиваться господства русских в России – значит осуществлять первое понятие Основных Законов – понятие того, что земля наша есть русское государство. Опираясь на чисто книжные, сомнительно философские теории, инородцы пробуют подменить коренное понятие государственности так, что существительное (государство) будто не относится к своему прилагательному (русское) и что

все нерусские племена имеют будто бы те же самые права на господство, что и народ-хозяин. Но это совершенно неверно. Хотя в России числятся что-то до 60 племен, однако политическое и юридическое имя всей их совокупности есть не государство русско-польско-татарско-латышско-еврейское и пр., а единственно государство *Русское*. Стало быть, государство по установленному правилу принадлежит в черте России лишь одной народности – нашей. В тех странах, где это государство разделяется между двумя народностями (например, Австро-Венгрия или недавно – Швеция и Норвегия), там этот правовой оттенок упомянут в самом имени. Он встречается в союзных государствах, федерациях и штатах, у нас же слабый намек на нечто подобное остается лишь в титуле монарха, где перечисляются вошедшие в Россию царства, княжества и республики. Так как в реальности этих государственных единиц более нет, то нет и разделения государственного господства между отдельными племенами. Оно всецело и неделимо принадлежит одному народу – русскому.

А как же быть с инородцами? Разве они не такие же граждане, как коренные русские? Конечно, не такие и не должны быть такими. В угоду довольно глупой либеральной моде инородцам дали было полное равноправие, полное разделение с нами господства, и что же вышло? То, что в состав первого же парламента инородцы выслали явных врагов России. Пришлось поспешным *coup d'etat** ограничить политические права инородцев, и на первом опыте дело, вероятно, не остановится.

В публике и часто в правящем кругу путают понятия политических прав с гражданскими. Что касается ответственности за преступления, то, конечно, все должны быть *более или менее* равны перед законом. Говорю «более или менее», так как и тут существуют громадные неравенства – вменяемости, возраста, сословия и пр. О гражданских обязанностях и говорить нечего. Тут столько ограничений и изъятий, что спорить о равенстве смешно. Сословное, профессиональное, имущественное разделения участия в государстве требуются самой приро-

* Государственный переворот (фр.). – В. Т.

дой общества. Можно ли говорить о равенстве прав? Говорят: инородцы несут те же самые повинности и налоги, стало быть, имеют право и на все права. Но это совершенно неверно. Инородцы несут совсем не те повинности и налоги. У них совсем не тот вклад в русское государство, что у коренных русских. Например, наши братья поляки. Они присоединены к нам всего 100 с лишним лет назад и, значит, несут налоги и повинности всего одно столетие, тогда как мы, коренные русские, несем ту же государственную тяжесть *тысячелетие*. Разница, кажется, существенная. Мы, русские, 900 лет строили и создавали наше государство, а поляки 900 лет *расстраивали и разрушали* это государство, сколько было в их силах. Мы с начала истории делали вклад в наше народное достояние, а они с начала истории нечто вынимали у нас (путем войн) и растрчивали нашу силу. В таком явлении, как национальное государство, живущее из глубины веков, нельзя довольствоваться лишь сегодняшними счетами. Государство принадлежит тому народу, душа и тело которого вложены в территорию. С этой точки зрения я признаю права инородцев на их собственные территории, на их маленькое государство в ими насиженных углах. Из инородцев только один народ не может иметь никакого господства на земле – это евреи, так как у них нет собственной территории. В силу этого они самой судьбой обречены оспаривать всякое чужое господство, и все народы обречены давать им в этом отпор. Когда евреи заведут свою территорию и государство – другое дело, я первый согласен уважать их права.

Только глубоким упадком чувства национальности на верхах власти можно объяснить наше не существующее нигде в свете и нигде не бывалое уравнение инородцев с коренными жителями. Если в Германии, например, ничтожная горсть инородцев имеет все гражданские права, то мыслимо ли допустить, чтобы у немцев $\frac{3}{4}$ должностей в военном управлении, например, были заняты поляками? Или чтобы почти сплошь все дипломатическое ведомство было предоставлено французам? Или чтобы самые важные стратегически железные дороги, контроль, финансы были захвачены датчанами? Или не

смешно ли представить, чтобы Англия объявила английскими лордами бесчисленных индийских раджей или князьков своих черных, желтых, оливковых и красных подданных? А мы ведь именно это сделали с татарскими, армянскими, грузинскими и прочими будто бы князьями, приравняв их к потомству наших древних царей, к потомству Владимира Святого!² При столь еще недавнем либерализме западных конституций у них держится бытовой, весьма суровый отпор инородцам даже там, где последние составляют ничтожный процент населения. У нас же при отсутствии либеральной конституции инородцам предоставили права даже не равные, а несравненно более высокие, чем «господствующему» (!) народу. В то время как свой господствующий (!) народ обращали в рабство, – ни один еврей, ни один цыган не знал, что такое крепостное состояние. В то время как господствующий (!) народ секли кому было не лень – ни один инородец не подвергся телесному наказанию. За инородцами, до отдаленных бурят включительно, ухаживали, устраивали их быт, ограждали свободу веры, давали широкие наделы, тогда как в отношении коренного, господствующего (!) населения только теперь собираются что-нибудь сделать. Разве в самом деле русским колонистам в Поволжье, в Крыму, на Кавказе давали те же громадные наделы и те же льготы, что немцам-колонистам? Разве русское крестьянство было устроенно столь заботливо, как, например, польское, 40 лет тому назад? Что ж тут говорить о равноправии, когда какой-нибудь слесарь-еврей, несмотря на черту оседлости, мог путешествовать по всей России, до Самарканда и Владивостока, а коренной русский слесарь еще по сей час связан, точно петлей, тем, вышлют ему паспорт из деревни или нет. Вместо одной, до смешного переходимой «черты оседлости», коренной русский народ до самого последнего времени был опутан целой сетью затяжных бессмысленных ограничений – при основной и тяжелой повинности нести на себе всю ответственность за громадное, раскинувшееся на два материка государство. Или вы думаете, что армяне, например, или евреи, или финны озабочены в такой же степени, как мы, существованием нашей Империи?

Всероссийский национальный союз, исходя из мысли, что *государство есть господство*, ставит первой задачей *господство* русской народности, но уже какое тут господство! Для начала хоть бы уравниали нас в правах с покоренными народностями! Для начала хоть бы добиться только пропорционального распределения тех позиций власти, богатства и влияния, что при содействии правительства захвачены инородцами. Если немцы, которых 1% в Империи, захватили кое-где уже 75% государственных должностей, то на первое время смешно даже говорить о русском «господстве».

Речь идет не только о государственных должностях. Не менее тяжелое засилье инородчины идет в областях общественного и частного труда. Разве самые выгодные промыслы не в руках чужих людей? Разве две трети крупной торговли в Москве не в руках евреев? Разве биржа и хлебная торговля не в их руках? Разве нефтяное дело, Каспийское море, Волга не в их руках? Переходя к умственным профессиям, разве самое сознание страны – печать – не в их руках? Разве театр, музыка, отчасти искусство не в их руках? Разве адвокатура, врачебное дело, техника не переходят быстро в их руки? «Значит, они талантливее русских, если берут верх», – говорят евреи. Какой вздор! В том-то и беда, что инородцы берут вовсе не талантом. Они проталкиваются менее благородными, но более стойкими качествами – пронырством, цепкостью, страшной поддержкой друг друга и бойкотом всего русского. В том-то и беда, что чужая посредственность вытесняет гений ослабевшего племени и низкое чужое в их лице владевает над своим высоким. Если не говорить об отдельных исключениях, оцените, насколько засилье немцев обесцветило нашу дипломатию и военное ведомство, или насколько засилье поляков расстроило железнодорожное дело, или насколько засилье евреев опоганило печать и уронило театр. В отдельных случаях инородцы в состоянии оказывать незаменимые услуги, но, становясь господами положения, они отнимают не только наше господство, но и роняют господство вообще. Они – как все постороннее – понижают тон жизни, то одушевление, что может исходить лишь из собственного духа

страны. Чужое всегда останется чужим, и усвоение его даже в отдельных счастливых случаях есть пытка для организма.

Несчастье России в том, что она позабыла, как ее зовут и какой разум вложен в ее тысячелетний титул. Мне хотелось бы сказать простым и скромным русским людям: господа, вспомните, что мы – господа! Вспомним серьезно, что Отечество наше называется Империей, государством, то есть господством в черте нашей земли. Не чьим иным господством, а нашим, которое нам дала история, благородство предков, их отвага, их стремление к царственной на земле роли. С какой же стати мы уступаем драгоценное наследие выходцам чужих земель? И не только уступаем, а начинаем входить в позорную зависимость от каких-то евреев, поляков, шведов и т. п. По замыслу великих царей наших, иностранцы и инородцы допускались лишь в меру нужды на должности служебные, на общественные положения скромные, отнюдь не посягающие на господство. Как же это так случилось, что они очутились наверху, а мы внизу?

Мы до того одичали под правлением наемной полуинородческой бюрократии, что позабыли первую истину жизни – смысл господства. Национальное господство есть не какая-нибудь роскошь, а нравственная необходимость, первое условие жизни. Господство есть совершенство, развитие всех народных достоинств до полноты развития. Отказываемся от господства – стало быть, отказываемся от идеала расы, от того величия, которым природа увенчивает все, имеющее жизнь в себе. О, если бы мы поучились хотя бы у евреев их национализму! Почитайте их священные определения. Они – народ, избранный Богом, народ единственный, которому все народы должны служить в качестве домашних животных. Сумасшествие, скажите вы. Не сумасшествие, а пафос породы, в своем аристократизме не желающей иметь равных. «Мы – потомство царей», – говорят евреи. Каких царей? Ну хотя бы пастушьих, хотя бы двенадцати сыновей Иакова. Иудеи – от Иуды, а он будто бы был царь. В сумасшедшем бреде маленького несчастного народа сквозит величайшая из истин всякой народности.

Всякое племя есть царь, и если не хочет властвовать, то оно раб, и хамская его доля им заслужена вместе с проклятием, что оно несет в себе. Всмотритесь в это изумительное явление: какие-нибудь евреи, армяне, финны, латыши позволяют себе эту роскошь – любовь к родине, гордость принадлежать к ней и мужество защищать ее; а мы – стомиллионное могучее племя – уже не смеем позволить себе этой роскоши. Мы боимся признаться, что мы – русские, мы трепещем перед тем, что скажет о нас еврей.

Я думаю, что столь глубокий упадок чувства народности – накануне восстановления ее или смерти. Одно из двух.

Письма к ближним. Как воскреснет Россия?

«Здесь молился Николай за матушку-Россию». Такую надпись, как говорят, до сих пор можно видеть под крестом высочайшего в мире христианского храма – св. Петра в Риме. Император Николай I в расцвете беспорного тогда могущества России, в эпоху, когда пред нею склонялся мир, молился за свое отечество, как бы предвидя наступление теперешних великих бедствий.

В святые дни страдания и воскресения Христова тысячи и тысячи безвестных русских людей, вероятно, вспомнят о тяжких «страстях» России, о терзании ее, задушении, оплевании, поистине крестных муках, за которыми врагам ее чуетя недалекая наша смерть. Вспомнят несчастные сыны России, до чего дошла их родина, и иные помолются от глубины оскорбленного сердца: «Господи, сотвори чудо! Воскреси Россию!»

Из известных мне замечательных русских людей покойный Владимир Соловьев¹ искренне верил в чудеса, и, между прочим, в воскресение Христа. Граф Л. Н. Толстой во все это совсем не верит. Верующие наши предки когда-то могли молиться за Россию, неверующее потомство уже не может. Постепенное исчезновение в народе молитвы за свою родину есть убыль большой и деятельной силы. Верно ли человек

верит или нет – это вопрос особый и почти излишний. Допустим даже, что он верит ложно. Но, пламенно веруя и молясь, человек доводит любовь свою к тому, за что молится, до степени высочайшей и героической. Если мать, например, молится на коленях за умирающего ребенка, то, пролив потоки слез, она встает с колен сама как бы перерожденная, с новым подъемом воли, со страстным желанием победить болезнь. Обостренное до сверхъестественного, ее внимание позволяет ей замечать и угадывать моменты самые важные и способы помощи самые действительные. Если Бог еще не отвернулся от слишком испорченной жизни, то совершается чудо: больной выздоравливает. Возбужденная молитвой любовь вырывает жертву из цепких лап смерти. Представьте себе, как это бывало в старину: десятки миллионов верующих в Бога и жарко любящих свою родину русских людей, вдохновленных одной молитвой: «Господи, помоги нам» (если, например, шла война). Они выходили из храма приподнятые, с наплывом страстной и нервной силы, с неодолимым желанием исчерпать все средства для обороны. Десятки миллионов волей, соединяясь в одну могучую, приобретали бесстрашие, которое не могло не увенчаться чудом – победой.

Оставляя вопрос о рациональности молитвы, я думаю, что народ, отвыкший молиться вообще, и в частности за отечество, теряет самый могущественный способ возбуждать в себе силу. Такой народ становится похожим на психических больных, страдающих упадком воли. При том же физическом здоровье, той же мускулатуре человеку становится трудно, например, встать с кресла или сесть в него. Нет импульса, нет возбудителей, нет какого-то ключа к пружине, которая могла бы двигать. Варварские, бедные, воинственные народы религиозны и потому победоносны. Бедствия побуждают их искать помощи свыше, и они получают ее в виде возбуждения их собственной энергии и мысли. Возбуждение – вещь великая: почти всегда остаются неисчерпанные средства, незамеченные или забытые. Всегда, на плохой конец, остается мужество, которое творит чудеса. Отвыкший молиться народ теряет отвагу.

В момент несчастья он не чувствует в себе жизненной упругости и как бы теряет опору в вечности. Такой народ плачевно сдается перед бедой, над которой предки смеялись бы.

Бывают ли в природе те изумительные и странные явления, что отмечены в священных книгах народов? Когда открываешь деяния грозного Илии² или еще более грозного Елисея³, дрожь берет, до какого ужаса доводили свое могущество библейские чудотворцы. Чудеса евангельские несравненно человечнее, и из них нет ни одного преступного. Поэзия ли легенда о чудесах или история? Бывали ли в действительности чудеса и могут ли они быть теперь? Мне бы не хотелось отделяться известным ответом Магомета. На просьбу сотворить чудо он сказал: «А разве не чудо Аллаха это сверкающее солнце? Это небо с кроткою луною и ратью звезд? Разве это не чудо – дуновение ветра и тишина, и не чудесны день и ночь? Разве не чудо мир и мы, и вообще, разве есть что-нибудь на свете, кроме чуда?» Так говорил пророк, которому ангел от имени Бога положил Коран на сердце. Ответ (передаю лишь мысль его) прекрасный, но неточный. Миллионы простодушных людей под чудом разумеют не естественные явления, а сверхъестественные, и именно последние считают божественной прерогативой. Бывают ли на свете сверхъестественные чудеса?

Как я уже писал однажды, наука начинает нащупывать возможность сверхъестественного в самом вульгарном, ходячем смысле. Строгая математика в своем отделе аритмологии, в теории чисел, в числовой геометрии, в теории инвариантов, в теории прерывных функций вообще набрела на нечто выходящее из причинности и близкое к чуду. То же в химии, например в структурной теории Кекуле⁴ и периодической системе Менделеева. В физике тою же внепричинностью отдает теория фаз Джиббса⁵, в биологии – мутационная теория де Фриза⁶, теория гетерогенезиса Коржинского⁷ и пр. Если пропововали понять новейшее учение об эманациях радиоактивных тел и основные положения механики атома, то вы, наверно, чувствовали себя в области более странных чудес, чем пре-

вращения Овидия⁸ или Шахразады. Я не имею данных того, чтобы останавливаться над этим темным вопросом: мне хотелось лишь оговориться, что я не могу, безусловно, отрицать чуда, даже мистического. После воздухоплавания, уже почти открытого, по крайней мере, аэропланы, тяжелее воздуха, уже летают в течение десяти минут, – после воздухоплавания науке ничего не остается делать, как наследовать мир тех чудес, о которых дошли смутные предания из глубокой древности. Я не буду удивлен, если натуралист конца XX столетия откроет, наконец, так называемого дьявола, автора плохих чудес. И может быть, как праотцы в раю, мы благодаря науке когда-нибудь вновь увидим и услышим Бога.

Скрытая сила

«Молитесь о чуде, и по вере вашей вам будет дано». Людям, молящимся о России, я дал бы такой совет: помолвившись, начнемте действовать. Мы не знаем одной удивительной вещи: что мы сами чудотворцы. Все люди обладают волшебной силой, о которой они и не догадываются. Эта сила – душа человеческая, дыхание, вышедшее из уст Божиих. Если не верите в это, то какой же может быть разговор о чуде? Если верите, то приводите в действие вложенную в вас верховную волю – и чудо совершится.

Я упорно держусь предложенного мной недавно толкования первой заповеди: «Я есть Бог твой и да не будут тебе другие боги, кроме твоего Я». Поверхностные читатели, не желавшие вникнуть в смысл заповеди, нашли в этом толковании безбожие, но это их ошибка, ничего больше. «Я есть Бог твой» означает вовсе не самообожествление, не безграничный эгоизм. Это просто согласие с основной мыслью нашей веры, что мир есть воплощение этой воли, и это следует понять во всей громадности буквального значения. Для меня лично нет невидимого божества, ибо я ничего не вижу, кроме осуществленной Воли. Правда, я могу рассмотреть в ней не все, а лишь то, что входит в инфузорно малый горизонт моего постиже-

ния, однако в этом горизонте Бог для меня не призрак, а сама действительность, и притом единственная. Человек и каждая вещь могут сказать себе: «Если мое “Я” есть воплощение воли Творца, то мое “Я” есть Бог во мне. Для меня нет иного закона, кроме того, который самым существованием своим я призван исполнить». Каждая вещь обязана быть тем, что она есть, и ничем иным. У брильянта и булыжника, у розы и крапивы, у орла и змеи, у Ньютона и микроба свои строго выраженные назначения, своя личность. В этой личности, в этой формуле бытия заключен повелительный долг, уклоняться от которого преступно. В силу этого мы должны надеяться лишь на ту божественность, которая заключена в нас самих. В минуты гибели тщетно призывать иного Бога, кроме того, который от вас неотделим. Пока человек жив, Бог непрестанно как бы говорит ему: «Я здесь, Я – в тебе самом, Я не отступил от тебя и не могу отступить, пока ты жив. Но и ты не отступай от своего “я”, борись за него, не думай, что вне себя найдешь какую-нибудь силу более могущественную, чем ты сам». Истинный алтарь живого, живущего в каждом Божества есть душа человеческая, ее сознание. Можно восхищаться и благоговеть перед присутствием Божиим в других Его созданиях, будь это человек или камень, но обязательную для вас волю Бога нужно искать лишь в себе. Будьте тем, чем хотел видеть вас Создатель, давая эту, а не какую-либо иную душу. Будьте самим собой. На этой истине покоятся величие личности человеческой и силы национальной. Только доводя до полноты и яркости выражение своего отдельного «я», народ и человек осуществляют вложенную в них волю Бога.

Смутное сознание того, что Бога нечего далеко искать, что «царство Божие – внутри нас», сквозит в народной мудрости: «На Бога надейся, да сам не будь плох», «Молись, да к берегу гребись» и т. п. При всем соблазне отказаться от всякого участия в судьбе своей, раз ею управляет стоящая вне всемогущая воля, народ не так глуп, чтобы не заметить естественных последствий самоотказа. Народ видит кругом себя непрерывные чудеса Божии, но чувствует, что кроме этих, от

него не зависящих, никаких иных чудес нельзя вызвать иначе, как лишь из своей души.

Помните великое испытание веры, которое выдержал Христос в пустыне. Искуситель требовал того чуда, какое требуют от идола идолопоклонники. Если ты Бог или Сын Божий, преврати камни в хлеб, бросься с крыши храма. Поверь во внешнего Бога, поклонись ему – и получишь все царства мира. Но Христос не поклонился внешнему; он чувствовал божество не вне, а внутри Себя. Соблазн внешнего поклонения Он отверг повелением, которое мы так часто забываем: «Не искушай Господа твоего».

Что действительно «царство Божие – внутри нас», это доказывает невозможность внешнего чуда и возможность внутреннего. Молите Бога, чтобы он превратил камни в хлеб, и этого никогда не будет, *никогда*. Но каждому из нас дана возможность превратить камни в почву, посеять на ней зерно и из зерна добыть хлеб. Скажите, разве, в конце концов, это не есть осуществление просимого чуда?

То же самое, если бы весь мир умолял Господа спасти человека, собирающегося упасть с крыши, то чуда не произошло бы. Падающий человек, будь то Шекспир или Наполеон, будь то праведник или невинный младенец, превратился бы в грудку окровавленного мяса. Но в каждого человека вложено божество, способное произвести просимое чудо. Стоит лишь довериться разуму, не падать с крыши, а сойти вниз по лестнице. «Но ведь это очень просто, это совсем не чудо!» – воскликнет наивный читатель. «Вовсе не так просто», – отвечу я. Сойти благополучно вниз гораздо сложнее, чем слететь с крыши, причем спросите любого человека, учившегося механике. Он скажет вам, что тайна *движения* непостижима, самого простого движения, например, поднять ногу. Отказываясь от своего «я», человечество отказывается от истинного божества, что в нем само. Оно идолопоклонничает, ищет чуда, не замечая, что ему с начала мира дан истинный метод чудес и что бессознательно оно уже пользуется этим методом, непрерывно создавая, кроме природы, все чудесное, что вокруг нас. Когда

мы хотим овладеть мировой волею, когда мы хотим отменять вечные законы, на глупое кощунство это Природа отвечает неммым молчанием, но она тотчас становится благорасположенной, как только мы хотим овладеть собственной, вложенной в нас Богом волей. Еще пример. У вас полоска земли сохнет от солнца. Умоляйте небо послать дождь – дождя не будет. Но вспомните, что вы сами божество, что вы – осуществленная воля Божия, что вы вовсе не бессильны. В момент возвращения к своему разуму вы возьмете ведро, сходите к колодцу и польете свою полоску совершенно таким же дождем, как если бы он падал с неба. Это требует некоторого труда, но трудящийся знает, что он делает божественное дело, заменяет само Небо. При сосредоточении веры на самом себе, при полном отказе от идолопоклонства человек в состоянии ведро заменить бочкой, устроить водокачалку, к ней ветряную мельницу, провести желоба, арыки и т. п. В миллионе человеческих задач совершенно бесполезно просить решения их у высшей Воли, но каждая задача решается недурно, если вы сами потрудитесь над нею. Как мещанин у Мольера⁹, не знавший, что говорит прозой, мы все не догадываемся, что мы чудотворцы, что каждый для себя есть Бог не какой-либо иной, а именно той природы, как наш общий Отец, создавший нас. Вот почему единственная молитва Христова, где мы названы детьми Божиими, дышит таким благородством. Единственное прошение допущено – о хлебе насущном, да и здесь хлеб следует понимать как «слово, исходящее из уст Божьих». Ни о чем не подобает просить, ибо все возможное уже дано. Остается подтвердить в себе молитвою власть Божию и Его волю. Мне кажется, молитва всех благородных людей с тех пор, как мир стоит, была лишь торжественным провозглашением в себе воли Божией.

Метод чудес

Молитва за Россию, за несчастное Отечество наше, истерзанное и поруганное, уже захваченное тайными ее врагами. Но о каком чуде смеет просить Создателя народ, не умею-

щий сам сотворить никакого чуда? Кошунство просить о том, что уже дано, для чего нужно только поклониться и поднять. «Тебе, – может сказать Небо народу русскому, – дано громадное пространство земли, и не самой худшей. Тебе дана самая обширная в мире черноземная площадь, самые широкие степи, самые пышные леса. Тебе дана душа великой расы, победоносной, шествующей во главе человечества. Как малодушный апостол среди волн, ты утопаешь среди суши, теряешь веру в себя. Но, теряя веру в себя, ты отступаешь от божества, от своего права на жизнь. Ты просишь чуда, но в твоей собственной власти сотворить его».

В минуты острого отчаяния за Россию меня утешает одна мысль: а что, если мы, замотавшийся народ, очнемся? Я в это не совсем верю, но что я знаю достоверного в таинственном процессе жизни? На моих глазах от ничтожнейших, пропавших родителей вдруг появлялись сын или дочь как бы другой породы, сильные, трезвые, трудолюбивые, и на сгнившем корне начиналась другая жизнь. Для меня бесспорно, что миллионы, может быть, десятки миллионов нынешних людей русских обречены на гибель. Невозможно им не гибнуть – ленивым, праздным, пьяным, бесноватым, развратным, которые бродят по всему лицу России, от ночлежки до Английского клуба, шулерничают, воруют, гадят и огаживают собою жизнь. Проникнув во все ткани народные, они, как яд, отравляют нацию. Что сами они погибнут, это вне спора, вопрос лишь в том, успеют ли они погубить Россию? А что как нет? А что если после великих бедствий, сбросив с себя человеческую гниль и грязь, Россия пустит свежие побеги? Отрицать я этого не могу, и это единственное, что утешает. Ведь нечто подобное было с другими некоторыми народами. Еще так недавно, всего сто лет назад, Швеция погрязла в пьянстве, и население ее бедствовало в нищете. Посмотрите же теперь на Швецию. Еще недавно, всего 100-120 лет тому <назад>, Германия и Франция вымирали от голода: в неурожайные годы буквально вымирали миллионы людей. Нищета и невежество местами были невероятные, и вот теперь совсем другая картина. Еще при Георгах Англия была

незначительной страной, и население ее, пьяное и грубое, отдавалось грабегам и разврату. Но в земле рылись здоровые корни, и от них побежали новые, сильные поколения. Россия переживает сейчас неслыханное унижение, и ей предстоят еще Бог весть какие беды. «Но в искушеньях долгой кары, перетерпев судьбы удары, окрепнет Русь».

Чуда воскресения, – я совершенно в этом уверен, – не пошлет Бог, но оно может совершиться само собою, стоит проснуться воле народной, его личности, его страстному желанию жить. Давайте же делать это чудо. Давайте работать из всех сил, и кто во что горазд! Схватитесь за топоры, за вилы, за сохи, грабли, косы, за молоты и буравы. Как некогда предки наши, схватитесь за благородный меч, если этого потребует необходимость. Давайте отстаивать жизнь родины – и чудо совершится, она воскреснет. Прежде всего, давайте гнать вон из жизни лентяев и дармоедов, людей ничтожных, отродившихся как отброс народный. Жалость – вещь прекрасная, но пусть будет поменьше жалости к человеческой дряни, потерявшей в себе Бога, отрицающей его самым фактом смрадного своего существования. Да не будет никакой жалости к пороку в ближних наших и в самих себе! Никакой жалости к врагам, неспособным стать друзьями. Если человек, покрытый грязью, насекомыми, паршами, начинает серьезно чиститься, то он сентиментальные чувства свои к паразитам должен оставить. Чтобы воскреснуть к жизни, нужно погубить смерть. Если же вам жалко пороков, своих и народных, воплощенных в целых сословиях, неисправимо испорченных, если вам жаль бездарности, слабости, лени, разврата, пьянства, бездушия и бессовестности, то знайте, что, поддерживая все это, вы губите отечество и самих себя. «Нечестивые истребятся!» – это вечная воля Божия, спасающая жизнь. Без отброса, без чистки самой энергической и беспощадной нет воскресения. Я не говорю: истребляйте зло, но, по крайней мере, не давайте ему помощи, и оно волею Божией само сгинет. Жалость – прекрасная вещь, но если хищник грызет человека, почему нам жаль хищника, а не его жертву?

Чудо воскресения начнется, когда поймем, что жизнь наша – божественна, что она заслуживает не только глубокого уважения, но и героической обороны.

Национальный союз

3 июня я получил от профессора Н. О. Куплеваского¹ телеграмму: «Союз зарегистрирован». Всероссийский Национальный союз, стало быть, уже существует: спешу поздравить с этим читателей, которые сочувственно откликнулись на мысль о национальном союзе. Необходимые формальности сделаны. Будущее Союза зависит теперь исключительно от вас, от русских людей, которые примкнут к Союзу и своей энергией и непоколебимой верой в национальное дело создадут в лице его реальную могущественную силу. Устав Союза напечатан будет завтра. Остановлю внимание читателей на самом существенном: на целях и средствах Союза. Все остальное сложится приблизительно, как во всех обществах.

Всероссийский Национальный союз задается целью действовать: *господству русской народности* в пределах Империи, укреплению сознания народного единства, устройству русской бытовой самопомощи, развитию русской культуры и упрочению русской государственности на началах самодержавной власти Царя в единении с законодательным народным представительством. Последний пункт – признание установленными Основными Законами титула Верховной власти и ее отношений к народному представительству – отгораживает наш Союз одинаково от революционных и реакционных партий. И те и другие отвергают существующий порядок вещей, мы его признаем базой для дальнейшего развития в ту сторону, куда укажет общечеловеческий и общерусский опыт. Должен оговориться (и эту оговорку прошу запомнить), что, говоря в данном случае «мы», «нас» и т. п., я говорю лишь о себе, о своих личных мнениях. Я был бы счастлив, если бы выразил одновременно общее мнение Союза, но отнюдь не приписываю

ваю себе этой чести и надежд на нее не питаю. Каким Союз сложится – покажет опыт. Я позволю себе лишь с моей точки зрения разъяснить те начала в уставе Национального союза, которые мною были предложены и приняты учредителями почти без изменения. Особенно я удовлетворен был тем, что параграф 1-й устава – «Содействие *господству* русской народности» – после продолжительных и жарких прений был принят в моей редакции.

Как я уже докладывал читателям, в гордом слове «господство» вносится не новый факт, а древний, равновозрастный самой России. Господство есть государство, и наоборот. Отрицая господство русского племени в черте России, мы тем самым отрицаем государство русское, то есть без полномочия народа развенчиваем его из великого и царственного племени в сырой этнографический материал. Наши кастрированные в национальном чувстве кадеты под внушением разлагающей пропаганды евреев, не имеющих отечества, порешили на том, что все племена в России полноправны и каждая, хотя бы засохшая ветка какой-нибудь расы имеет право на «национальное самоопределение». На этом основании первый кадет от Петербурга в Первой Думе, профессор Кареев², предложил даже отменить название «русское государство», ибо наше государство будто бы не русское, а русско-польско-татарско-литовско-финско-армянско-грузинско-киргизско-эстонско-самоедское, что ли. Хотя взгляд отменно простодушного кадета не имел успеха, однако множество так называемых либеральных людей близки к мысли, что равноправие племен разумно и справедливо. Именно с этой мыслью, глупой и несправедливой, придется вести борьбу Национальному союзу.

Без принятых ужимок и лицемерных оговорок мы ввели в наш устав первый догмат национальности – господство своего племени в государственной черте. Мы, Божию милостью русский народ, обладатель Великой, и Малой, и Белой России, принимаем это обладание как исключительную милость Божию, которой обязаны дорожить и которую призваны охранять всемирно. Нам, русским, недаром далось это господ-

ство. Оно нам стоило более тысячи лет неисчислимых трудов и лишений, оно стоило мучений, ран и подвигов для тридцати поколений предков, оно стоило их благородной крови, пролитой с верой в Россию, единую и неделимую. Ни с того ни с сего делить добытые царственные права с покоренными народами – что же тут *разумного*, скажите на милость? Напротив, это верх политического слабоумия и представляет собой историческое мотовство, совершенно подобное тому, как купеческие «тятенькины сынки», получив миллион, начинают разбрасывать его лакеям и падшим женщинам. Сама природа выдвинула племя русских среди многих других как наиболее крепкое и даровитое. Сама история доказала неравенство маленьких племен с нами. Скажите, что ж тут разумного – идти против природы и истории и утверждать равенство, которого нет? И справедливо ли давать одни и те же права строителям русского государства и разрушителям его? Ибо не забудьте, что маленькие племена в течение многих веков боролись с нами и всеми силами пытались разрушить наше царство. Если вы не совсем слепы, то можете видеть, что и теперь еще идет инородческая борьба против нашей государственности, борьба непримиримая, скрытая, но тем более опасная. Крик инородцев о равноправии не есть требование гражданского равенства. Это требование тех исторических позиций, которые мы завоевали для себя. О совершенно обрусевших инородцах, конечно, нет и речи, такие не нуждаются в равноправии. Они получают его по мере слияния с русским племенем. О полноправии, о национальном самоопределении кричат необрусевшие инородцы, признающие себя открыто нерусскими. Но в таком случае какое же для нас отличие они имеют от иностранцев и почему давать им преимущество перед иностранцами? Есть ли хоть тень смысла предоставлять нерусским людям хозяйские права в русской земле?

В XVIII веке Россия перенесла роковое несчастье: она потеряла свой национальный правящий класс. С ним померкло народное политическое сознание. На Россию хлынули из-за границы и из покоренных окраин целые волны равно-

душных, часто враждебных элементов. Пользуясь безличностью власти, они заняли в разных точках страны крайне важные позиции, которые продолжают захватывать вширь и укреплять. С Россией совершилось нечто подобное тому, что было с Китаем: гигантская империя была захвачена ничтожными по численности маньчжурами, а у нас без всякой войны, свободным наплывом взяли засилье немцы, шведы, поляки, евреи, армяне. Нет сомнения, и маньчжуры сделали кое-что для Китая, однако не сумели организовать его в великое и неприступное государство. То же и инородцы в России – известные заслуги их отрицать нельзя, однако общий итог их двухвекового внедрения оказался весьма печальным. Как и Китай, Россия – столь огромная – оказывается парализованной в духовном могуществе, в государственной воле, в железной решимости бороться за жизнь. Китай, включивший в себя четвертую часть человеческого рода, разбит мизерной Японией. Приплывают эскадры из противоположного полушария и занимают китайские гавани, китайские территории и источники дохода. Россия, распростершаяся на два материка, разбита той же незначительной Японией, и почти те же захваты, что в Киао-Чао и Квантуне, у нас идут на Чукотском полуострове, на Камчатке и в Приамурье. Флоты обеих империй уничтожены, армии разбиты, и вся надежда обеих стран остается на будущие преобразования. Но какие ни вводите реформы, какие ни заводите парламенты, обе империи будут никнуть, пока в самом сердце их, в тайнике государственной жизни будут присутствовать чужие, инородные элементы. Среди сильно окитаенных маньчжурских вельмож есть, конечно, люди очень умные; несомненно, они преданы престолу, но роковой факт, что они чужие для Китая и он им чужой, чрезвычайно связывает их психологию. Они годятся на роль исполнителей, но чтобы стать вождями нации, вдохновителями ее в годы гибели – маньчжуры на это не способны. Наши инородцы, захватившие чрезмерное влияние в самых важных слоях общества, далеко не всегда предатели. Иной раз они весьма сочувствуют Империи, которая их кормит, но даже и в

этих случаях их сочувствие не может подняться до героизма, до принятия тех великих решений, что спасают нацию.

Выдвигая первой целью своей *господство* русского племени, Национальный союз хотел бы вернуть народу своему самую первую и необходимую из функций – национальность командующих классов. Под «властью» в данном случае я разумею не только политическое преобладание, но и экономическое, и моральное. Мы, Национальный союз, ровно ничего не имеем против инородцев, действительно обрусевших. Еврейские газеты печатали, будто я на учредительных собраниях восставал против допущения в Союз всех, фамилии которых нерусские. Конечно, это вздорная ложь, ложь одна из бесчисленных, которые паразиты нашей печати связывают с моим именем. Я уже множество раз заявлял, что среди вполне обрусевших инородцев встречаются пламенные русские патриоты. Почти все русские люди носят еврейские и греческие *имена*: об этом можно жалеть, но придавать серьезное значение именам не придет же в голову. Но при полнейшей симпатии к обрусевшим инородцам, вошедшим в нашу плоть и кровь, Национальный союз должен заявить самую решительную нетерпимость к инородцам необрусевшим. Как посторонние тела в организме, как занозы и наросты, не сливающиеся с нами племена должны быть удалены во всех тех случаях, где они выдвигают свое засилье. Ограничив их в политических правах, Россия может терпеть на своей территории некоторое количество иностранцев; но допускать в черте империи на основе равноправия целых миллионов нерусских людей – принцип безумно губительный. Таким инородцам в России должна быть указана определенная территория и даны их местные права, но собственно имперские, государственные права их должны быть строго ограничены – до тех пор, пока натурализация каждого инородца в России не будет достаточно доказана. Гениальные фальсификаторы-евреи убеждают: дайте лишь полноправие – и ненавистники России станут верными ее сынами. Но ежедневный опыт говорит иное. Среди евреев наименее опасный для нас элемент – именно бесправные евреи, сидящие за чертой оседлости, и наибо-

лее опасный – это те, которые получили – вроде гг. Винавера³, Гессена и др. – все права. Самые же опасные, пожалуй, это некоторые выкресты, что отказываются от своей веры и совести для того лишь, чтобы легче втереться в христианское общество. Даже во втором поколении иных выкрестов встречаешь безотчетную неприязнь к России и неодолимую симпатию к своему «гонимому» племени. Явная и тайная поддержка инородческому захвату идет у выкрестов на несколько поколений. Вот почему для России необходимо отгородиться от своих – по крайней мере некоторых – инородных племен хотя бы ценой расширения их местных прав.

Я лично убежден, что не инородцы нуждаются в автономии окраин, а Россия в ней нуждается. Именно Россия должна делать все возможное, чтобы ее оставили в покое, чтобы не захватывали хозяйского господства под нашей же крышей. С этой точки зрения я считаю колоссальной ошибкой допущение в русский парламент представителей других племен. Парламент есть храм законодательства; как в храме, тут должно быть одно национальное исповедание, одна политическая вера. Как в храме признается один Господь, в парламенте один господин – свой народ и одно господство – свое собственное. Присутствие в русской Думе польского кола, мусульманской группы и т. п. есть грубейшая описка нашей конституции, которая – вместе со многими другими – нуждается в решительном исправлении. Если бы Англия или Франция позволили себе ту же нелепость – дать права парламентского представительства инородцам своих колоний, они тотчас перестали бы быть Англией и Францией. Из шестисот членов английского парламента на англичан пришлось бы полтора десятка депутатских мест – все остальные места заняли бы индусы, африканцы, американцы, австралийцы до подданных кофейного и оливкового цвета включительно. Спрашивается: почему то, что в голову не придет англичанам, как смешной курьез, у нас вошло в Основные Законы?

Цель Всероссийского Национального союза – прояснить, сколько возможно, омраченное разными бреднями рус-

ское народное сознание и восстановить в русской политике здравый смысл. Каковы же средства для этой цели? Вы их прочтете в уставе. Так как мы – частное общество, то и средства у нас частные, более или менее общепринятые. Первое из средств – широкая пропаганда прав русской народности путем печати и разных просветительных учреждений. Второе средство – организация бытовой самопомощи. Если инородцы в России берут свою сплоченностью и поддержкой друг друга, то и русским следует устраивать взаимную оборону – поддержкой русских людей и русских интересов. Бойкот и обструкция – явления вообще отвратительные. Они возможны лишь в скрытой гражданской войне и противны, как всякий бунт. В нормальных условиях эти средства негодны уже потому, что невыгодны для обеих сторон. Но разве мы, русские, живем в нормальных условиях? Разве России и всему русскому не объявлен бойкот со стороны, например, евреев и поляков? Разве когда-нибудь еврей или поляк позволит себе купить что-нибудь в русском магазине? Разве еврей или поляк, немец, швед и т. п. помогут когда-нибудь русскому человеку и не предпочтут ему своего земляка? Вот на их безмолвный, крепкий и ненарушимый заговор против всего русского (кроме, конечно, денег, чинов, орденов) члены Всероссийского Национального союза должны будут отвечать подобною же отчужденностью.

Мы, русские, нуждаемся в общечеловеческом опыте и принимаем все, что цивилизация дает бесспорно полезного. Но Россия в данный момент ее развития совершенно не нуждается в услугах инородцев, особенно таких, фальсификаторская репутация которых установлена прочно. Россия – для русских и русские – для России. Довольно великой стране быть гостеприимным телом для паразитов. Довольно быть жертвой и материалом для укрепления своих врагов. Времена подошли тяжелые: извне и изнутри тысячелетний народ наш стоит как легкодоступная для всех добыча. Если есть у русских людей Отечество, если есть память о славном прошлом, если есть гордое чувство жизни – пора им соединиться!

Национальное движение

Сегодня, в среду, назначено открытие Всероссийского Национального союза. Записавшиеся учредителями благоволят пожаловать в зал городской Думы в 8 часов вечера. Предстоит избрание совета и должностных лиц.

Нечего и говорить, что от удачного выбора совета зависит судьба Союза. Если подберутся люди, верующие в дело, деятельные, предприимчивые, – посмотрите, как новая партия наберет ход и какими торжественными успехами ознаменуются первые же месяцы союзной жизни. Если же выборы пройдут с обычной у нас беспечностью – в совет засядут случайные, может быть, весьма почтенные и влиятельные люди, но вялые, *ожидающие* вместо того, чтобы *достигать*. С целью помочь учредителям, которых записалось несколько сот, основатели Союза предложат список лиц, рекомендуемых в члены совета. Этот список будет значительно больше необходимого числа членов, чтобы был известный простор для выбора. Что касается меня, я убедительно советовал бы гг. учредителям не стесняться нашим списком и предлагать своих кандидатов, энергия которых им достоверно известна. Дело не в том, чтобы попали в совет мы, основатели, или кто-нибудь другой из нами намеченных лиц, а исключительно в том, чтобы люди, которые будут править Союзом, обнаружили действительное увлечение и талант. Национальный союз – вовсе не мое, не наше, не чье-либо дело, это дело нации, просыпающейся в политическом сознании. Наша роль (основателей и учредителей Союза) – лишь изначальная. Начнем великое дело и передадим дальше – все расширяющемуся кругу лиц, которые пробуждаются в чувстве граждан, ответственных за Родину. Наша роль крайне скромная, роль горчичного семени, о котором говорил Христос. Но малая горсть людей, чтобы иметь гордость стать зачатием большого дела, должна быть полна жизни, одушевления, самопожертвования. Вялые и слабые пусть лучше не идут в Союз. Неуверенные в том, что они будут действитель-

но полезными, пусть добросовестно откажутся от кандидатуры в совете. Кто не может уделить союзу достаточно времени и сил – зачем ему идти в совет? Не забывайте, что каждый праздный член вытесняет работающего, и никакой враг не может нанести молодому делу столько поражений, как собственные вожди, если они бездеятельны. Отчего гибнет наше великое государство, как не от подмены правительства путем постепенного наплыва слабых людей на сильные роли? Представьте, что обожженный кирпич потерял бы силу спаявшего его огня и превратился в сырую глину: какое здание не рухнуло бы при таком превращении? Роль совета Национального Союза, как всякого правительства – роль сильная по существу. Не будем же губить великого замысла слишком слабыми исполнителями. Выберем в совет только деятельных, только трудоспособных! И кто примет честь этого избрания, пусть сочтет долгом чести оправдать доверие.

Предположим, что совет выбран. Что же затем предстоит делать? В точности, конечно, я ответить на это не могу. Разве можно вообще что-нибудь предвидеть в точности? Будущее пока все еще в мечте. Это не отнимает важного значения мечты, если она сообразна со здравым смыслом. Разве всякая действительность не есть осуществившаяся мечта? Если действительность плоха, то потому лишь, что народ – плохой мечтатель. Если бы из поколения в поколение народ жил возвышенными желаниями, он добился бы самой блистательной действительности. Воображение есть величайшая из сил, действующая в человечестве, – возбудитель воли. Хотим блага – необходимо, чтобы воображение было благородно. Я думаю, что мы – Национальный Союз – должны задаться великой целью, и хотя бы у нас был всего один шанс из ста, мы должны идти к этой цели твердо.

Великая задача национального движения – пробудить в народе древнюю гордость, его бесстрашие, его дремлющий богатырский дух. Он был, этот дух, когда-то – иначе не было исполинской России – и он есть. Нужно сдунуть гадкие очарования, нужно сказать народу какие-то вещие слова – и богатырь

проснется. Вы улыбнетесь: не слишком ли мы нескромны? Неужели мы, вот эти полтысячи человек, можем совершить столь огромный переворот? Конечно, нет. Мы – решительно ничто, если мы одни. Мы – смешные фантазеры, если нас не поддержит народ. Но народ, я думаю, нас поддержит. Народ, как бы он ни пал духом, вышлет людей сочувствующих, может быть, несравненно более одушевленных и деятельных, чем мы. Посмотрите, сколько за эти немногие годы возникло национальных организаций. Пусть оскорбленное чувство народное не нашло еще себе прочных форм, но оно уже проснулось. А за чувством проснутся и мысль, и воля!

Вы скажете: все это хорошие пожелания. А что же мы собираемся делать завтра, послезавтра? Какие у нас практические планы? С чего начнем? На это ответит ближайшая деятельность совета. Мне кажется, в Петербурге и в каждом городе, где сложится отдел Национального Союза, следует прежде всего устроить Дом Союза как материальную точку опоры. На какие средства – об этом я скажу ниже, – но чтобы искать средства, следует знать, для чего именно они нужны. Исполнительным организациям Союза понадобятся квартиры – для себя, для канцелярии, для учреждений национальной пропаганды. Дом Союза мог бы включить в себя разнообразные учреждения, которые предвидит устав: Национальный клуб, квартиру для совещаний совета и для постоянного общения между собой членов Союза, редакцию своего органа и своих изданий вместе с конторой и типографией, библиотеку, книжный магазин, аудиторию для лекций и народных чтений, театральную сцену, читальню, школу, музей, юридическую консультацию, потребительский склад и магазин, банк для мелкого кредита, и пр., и пр. Ограничиваюсь дюжиной учреждений, но их может сложиться гораздо больше. Каждое из учреждений, хорошо поставленное, может быть средством национальной пропаганды, способом пробуждения народа от теперешнего нравственного маразма. Не нужно пояснять, что оборудование даже одного из перечисленных учреждений требует немалых сил. Разве легко наладить редакцию

хорошей газеты? Нужен неутомимый редактор, нужны два-три сотрудника с писательским дарованием. Или разве легко устроить хорошую школу в наше анархическое время? Разве легко найти увлекательных лекторов для аудитории? Все это очень трудно, трудно до безнадежности, но в то же время и волшебным образом легко. Весь вопрос в энергии будущего совета, в его искренней решимости добиться цели.

«Были бы средства», – обыкновенно говорят в подобных случаях. Были бы люди, говорю я, – средства найдутся. Подобно электричеству, «средства» рассеяны в природе и в количестве громадном. Нужны только возбудители этой дремлющей стихии и конденсаторы ее. Разве на наших глазах не делаются миллионерами люди, которые в детстве ходили в лаптях? Если для личной наживы существуют неистощимые источники средств, то как не явиться им для общественной пользы? Раз налажена правильная деятельность, денежные средства растут, как снежный ком. На первое время, мне кажется, учредители Национального Союза должны подать пример некоторого самопожертвования и сложиться, чтобы образовать первоначальный фонд. Уже 500 учредителей и членов могли бы не только окупить себя, но и давать средства на расширение дела. Наконец, если действительно национальная идея чего-нибудь стоит, должны явиться крупные пожертвования. Неужели так-таки совсем вымер русский патриотизм, и уже нет более граждан в нашем Отечестве?

Россия унижена и оскорблена. Все мы плохо это осознаем, но положение дел до крайности безотрадно. Вековая уверенность в своем могуществе поколеблена – она сменяется справедливым страхом за ближайшее будущее. Фундамент народный – крестьянство – разорено, и, что еще хуже, оно разорено духовно. В опасной степени иссякли народные добродетели: вера, дающая бесстрашие, трезвость, трудолюбие, довольство судьбой. Нищий народ опускается до бродяжничества батраков-лентяев, до босячества, до хулиганства, причем преступность всякого рода растет с ужасающей быстротой. Древние виды народного труда расстроены. Массы народные

еще с детства лишены правильной трудовой дисциплины; вместе с привычкой к труду они теряют и способность к нему. Втягиваясь в праздность испорченных средних классов, народ укореняет в себе ужасные пороки пьянства и распутства. На такой ослабленной почве может ли явиться мужественная армия? И с прежним ли рвением она будет защищать Отечество в случае возможных, даже *неизбежных* нашествий? Над темным и несчастным народом возможны ли сословия свежие и могучие, подобные тем, что когда-то предводительствовали в стране? Ужасный упадок Церкви, школы, интеллигенции, аристократии, небывалое малодушие сверху донизу. Мы живем стихийной, безотчетной жизнью, мы не видим подкрадывающихся роковых событий, а они зреют, они идут. В эти годы, когда решается судьба России, те немногие, которые оценивают важность положения, обязаны встать на защиту Родины. Нужно, чтобы по всей стране, в тысяче мест раздался пробуждающий голос: просыпайся, Россия, ты в опасности! Вспомни, что гибли царства не менее огромные, чем ты! Если предки наши столько поколений отстаивали родную землю – неужели мы, живая стража России, сдадим Отечество в плен завоевателю, как семьсот лет тому назад? А ведь как это ни ужасно, это, в конце концов, возможно. Разве громадное славянское государство не пошло ко дну на памяти наших дедов? Тысячелетняя Польша – ровесница России – где она? Какое это для нас недавнее и страшное *memento mori**.

Чтобы защитить Россию, нужно сделать ее русской, надо сплотить ее и соединить. Что нас обессилило и развратило – это чуждые нам народности и чуждые начала. Не в нашей только судьбе – в судьбе всех великих, когда-то павших царств действует один закон. Пока народ единокровен и единоверен, пока его связывает общий язык и общие заветы предков, он, как нерушимый монолит, неприступен, неодолим. Точно первозданная глыба, он отбрасывает все нашествия, все удары. Но если в невидимые щели проникают посторонние, с виду столь невинные стихии – вода, воздух,

* Помни о смерти (лат.). – В. Т.

даже гранитные горы крошатся. Посмотрите, чем держится жизнь в природе. Деревья защищают свое тело корою, смолами, ядами, эфирами. Животные защищаются кожей, зубами, когтями, внутренними ядами. Оцените, какой разгром вносит вторжение во всякий организм посторонних примесей и паразитов. Неужели вы думаете, что общество человеческое имеет особые законы? Оно молодо и сильно, пока не разъедено паразитами. Оно становится дряблым, как червивый гриб, когда начинает принимать в себя чужие зародыши. Цель национального движения – очистить Россию, сколько возможно, от всего не национального, от всего чуждого народному организму и враждебного его природе.

Инородческая печать кричит, будто Национальный Союз вносит раздор в общество, восстанавливает одну часть населения на другую. Какая грубая ложь! Если кто вносит раздор в общество, то именно инородцы – те из них, что засоряют ткани нашего государственного организма, как чуждая, несвойемая им примесь. Евреи, поляки, немцы, армяне, шведы, кавказцы – 33% чуждых нам племен – вливаются в историю нашу со всею пронырливостью, способностью входить во все слои общества, закупоривая и парализуя нашу собственную жизнь. Каким образом *Национальный Союз* может вносить раздор? По самой природе своей нация есть *согласие*, – каким же образом националисты могут идти против своего закона, своего принципа? Цель национального движения – не нарушать, а восстанавливать согласие, наше древнее единодушие, нашу общую когда-то народную мысль, словом, душу русскую, расстроенную чужим вторжением. Не нация есть анархический элемент, а посторонние примеси к ней. Нация, как живое тело, не может иметь раздора – ни в своих физических функциях, ни в своей мысли. Раздор, как внутренняя болезнь, имеет всегда внешнее происхождение. Расстройство в обществе всегда идет извне. Когда-то русские люди в условиях своей природы выработали замечательное единодушие, и эта моральная сила несла молодую Россию на орлиных крыльях. Россия росла, гремела победами, и народ, хотя и содержимый

в суровой дисциплине веры и государственности, не голодал, не доходил до той мерзости падения, как теперь. Иностранцы и инородцы разбили эту становую ось народную – единство духа. Они расстроили согласие, и хор народный превратили в нестройную *толпу*. Потеряно согласие – сразу отлетело счастье, исчезло довольство Богом и своею жизнью, исчезли простые секреты удовлетворения: труд и честность. Народунигилисту, соблазненному и одураченному врагами, – что ему остается, как не пьянство и разбой?

Восстановление души народной, какую ее создал Бог, – вот цель прекрасного движения, которому мы призваны служить. Восстановление русского мужества, чести, достоинства и вместе с ними – силы, которая ослабевшей государственностью нашей потеряна... Как бы ни была тяжела задача, вспомните, что мы – теперешнее поколение – живем недолгие годы. Почему не истратить хотя бы часть убегающей жизни на великое дело? Почему не постоять за несчастную Родину? Неужели лучше вместе с инородцами предательски отойти от нее, видя, что она гибнет?

Древние документы (по еврейскому вопросу)

Не без страха парламент наш приступает в четверг к решению еврейского вопроса. Этот вопрос начинается в Г<осударственной> Думе с частного законопроекта о лишении евреев не прав, а обязанностей – именно военной службы. Всем понятно, что граждане, которые признаются негодными к несению некоторых обязанностей, не имеют прав и на некоторые права. Прения по общему еврейскому вопросу должны начаться теперь же, как этого ни желают избежать еврействующие радикалы.

Я сказал: не без страха приступают представители народа к этому ужасному вопросу. Он расколет парламент и народ в России на два лагеря. Те партии, которым дорога Россия, будут, конечно, не за евреев; но какое бесчисленное множество

у нас предателей вольных, то есть знающих, что они творят, и невольных, чье невежество и непонимание, а главное – трусость перед евреями (Judenfurcht) – склоняют их идти против своего отечества!

Вредны евреи для армии или нет – это, собственно, решать парламенту, а не самой армии. Еврейский вопрос – из тех, где законодательству приходится не создавать решение, а лишь регистрировать опыт жизни. Можно ли рассуждать в Думе о том, что мышьяк ядовит и что вольная продажа его опасна? Если хотите знать вообще, вредны или не вредны евреи, – спросите население, спросите торговцев, промышленников, бедных людей, нуждающихся в кредите, спросите прокуроров и судей. Насколько полезны евреи в армии – спросите у начальников частей, конечно, не у финляндских и польских патриотов и не у тех генералов из выкрестов, которые заметно протерлись в армию. Даже либеральные генералы вроде Мартынова¹ – и те говорят, что евреи – это проказа армии и отделаться от них – мечта всякого начальника. Евреи обременяют войска как самый слабосильный, наименее дисциплинированный, наиболее преступный элемент. Еще до поступления на службу евреи вносят в нее разложение. Не являясь к призыву, совершая подлоги, членовредительства, подкупы и т. п., евреи развращающе действуют на солдат, еще не став солдатами. Будучи насильно привлечены к службе, по самой природе своей – геройской, евреи вносят в армию то же самое, что мусор, подсыпaeмый в хлеб: из хорошего материала они делают плохой. Вечно уваливая от работы, залегая в лазареты, пробираясь в нестроевые, евреи заставляют христиан нести двойную службу. Они вводят с собою в казармы обычные свои промыслы: мелкое торгашество, ростовщичество, спаивание водкой, сводничество, а в последние годы – революционную пропаганду. Это в мирное время. В военное – они губят армию, они первые предаются бегству, устраивают нарочную панику, в которой свои бьют своих. Генерал Мартынов рассказывает примеры тяжелых, дорого обошедшихся паник, устроенных в последней войне евреями. Из 18 000 евреев, как писалось в

свое время, 12 000 сдались в плен, остальные дезертировали или пристроились в тылу.

Для сколько-нибудь серьезных начальников частей даже невозможен вопрос: вредны евреи в армии или нет. Смешно даже рассуждать об этом! Говорят, попадаются же евреи – георгиевские кавалеры. Да. Я готов признать, что иногда эти Георгии приобретены честно. Но ведь редкое исключение не есть правило. Среди евреев, как утверждают антропологи, 10 процентов арийцев – стало быть, герои между ними возможны. Но воинская повинность касается не их, а массы еврейской. Было бы безумием есть гнилые яблоки потому только, что среди них случайно попадаются и негнилые. В роковом и грозном для Христианства, в еврейском вопросе законодатели обнаруживают жалкое непонимание, если судить о евреях по немногим личностям, которых притом знают не с деловой стороны. О евреях нужно судить как о целом племени, живущем четыре тысячи лет, о племени *единственном* по социальному типу и роль которого совершенно исключительная в истории.

Ученые, наблюдая перерождение какого-нибудь животного в паразитарный тип, с удивлением видят, как тело его начинает терять постепенно свои органы. Отмирают за ненадобностью рабочие конечности – ноги и щупальца. Отмирают органы высших чувств – зрение, слух и т. п. В конце концов какой-нибудь глист представляет <собой> простое сочетание пищеварительных и половых желез. Небольшое сирийское племя, которое напрасно называют семитическим (ибо среди евреев всего 5 процентов чистых арабов), за тысячи лет до нашей эры приняло паразитный тип, растеряло основные органы народности: территорию, государственность, язык. Не вина евреев, что так сложилась их история, но, к несчастью для них и для всех народов, их тип выработался именно этот, а не какой другой. Наши скудоумные либералы, идолопоклонники чужих, плохо понятых теорий, кричат со слов евреев, будто никакого еврейского вопроса не существует, будто гонение идет на веру их и все это – якобы предрассудки христиан-черносотенцев. Но это глубокая ложь, просто постыдная, когда ее начинают

разделять люди с государственной ответственностью за свои мнения. Еврейский вопрос существует, и не у нас одних. Не сейчас он явился – он тянется со времен Авраама², и поразительнее всего то, что всюду и во все эпохи это вопрос один и тот же. Откройте Библию. Несмотря на невероятные подлоги и извращения, которые со времен Ездры³ еврейские книжники внесли в книги пророков (см. Чемберлена «Евреи»), все же на страницах священного сборника остались бесчисленные свидетельства того, что евреи и тогда были тем же, что и теперь, то есть несчастьем для окружающих народов.

Откройте книгу Исхода. Фараоны дали гостеприимство всего семидесяти евреям, сыновьям и внукам Иакова⁴. Что же вышло? «Сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та» <Исх. 1:7>. Совершенно, как в Польше или у нас, правительство египетское спохватилось, когда было уже поздно. Один из фараонов сказал народу своему: «Вот, народ сынов Израилевых многочислен и *сильнее нас**; перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей» <Исх. 1:9, 10>. Скажите, эти библейские слова не сбылись ли в значительной степени в России в последнюю войну? Как видите, история еврейского народа начинается с засилья евреев в чужом государстве. Уже тогда проданный в рабство еврейский юноша протерся ко двору царскому, сделался министром и втянул в земледельческое государство все свое кочевное племя. Полное равноправие ничуть не сблизило евреев с египтянами. Оно повело лишь к тому, что евреи сделались сильнее коренных граждан. Равноправие вызвало в евреях лишь чувство вражды к приютившей их стране. Фараоны убедились, что в случае войны евреи станут не за египтян, а против них. По-видимому, евреи вели в Египте праздный образ жизни. Фараон говорит: «Они праздны, поэтому и кричат: “пойдем, принесем жертву Богу нашему”»; дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пусты-

* Курсив М. О. Меньшикова. – Примеч. ред.

ми речами... праздны вы, праздны!.. Пойдите же работайте» <Исх. 5:8, 9, 17, 19>. Весь вечный еврейский вопрос в этом и ни в чем ином. Первое же организованное правительство, с которым евреи столкнулись, увидело, что это паразиты, что они размножаются чрезвычайно быстро, что они остаются праздными среди трудящегося коренного населения. Фараон сначала хотел приучить евреев к работе. Была сделана попытка ассимилировать чужеродное племя путем труда, но говорит Моисей: «Чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что [Египтяне] опасались сынов Израилевых» <Исх. 1:12>. Гонения на евреев, таким образом, начались не раньше, чем были испытаны мирные средства справиться как-нибудь с опасным засильем этого племени. Но «стенали сыны Израилевы от работы и вопияли» <Исх. 2:23>, и начали с фараонами и египтянами ту самую отвратительную борьбу, что теперь ведут еврейские анархисты: саботаж, отравление и порчу всего вокруг, пока фараону не пришлось уже силой изгнать этих отравителей воды и носителей язв.

Опускаю период, когда евреи вторглись в Ханаан, перессорили тамошние народы и заставили их истреблять друг друга (Чемберлен утверждает, что завоевание Ханаана совершено было силами арийских союзников евреев и что Саул⁵ и Давид⁶ всего вероятнее были арийцами). Затем евреи снова всею массою попадают в плен к арийскому народу.

Откройте книгу Есфирь⁷. По характеру своему книга Есфирь есть небольшой исторический роман, написанный в объяснение известного еврейского праздника Пурим⁸. Как от романа, да еще еврейского автора, да притом в эпоху послевавилонскую, от книги Есфирь нельзя требовать исторической точности. Несомненно, события в этой книге извращены, но остался подлинный или фальшивый – все равно – манифест Ксеркса⁹ о евреях. Если он сочинен или подделан, то чрезвычайно правдоподобно, как и требуется в исторической беллетристике. Вот этот манифест:

«Царствуя над многими народами и властвуя над всею вселенною, – пишет он в своем манифесте, – я хотел, не пре-

возносясь гордостью власти, но управляя всегда кротко и тихо, сделать жизнь подданных постоянно безмятежною и, соблюдая царство свое мирным и удобопроходимым до пределов *его*, восстановить желаемый для всех людей мир. Когда же я спросил советников, каким бы образом привести это в исполнение, то отличающийся у нас мудростью, и *пользующийся* неизменным благоволением, и доказавший твердую верность, и получивший вторую честь по царю Аман¹⁰ объяснил нам, что во всех племенах вселенной замешался один враждебный народ, по законам *своим* противный всякому народу, постоянно пренебрегающий царскими повелениями, дабы не благоустроилось безукоризненно совершаемое нами соуправление.

Итак, узнав, что один только этот народ всегда противится всякому человеку, ведет образ жизни, чуждый законам, и, противясь нашим действиям, совершает величайшие злодеяния, чтобы царство *наше* не достигло благосостояния, мы повелели указанных вам в грамотах Амана, поставленного над делами и второго отца нашего, всех с женами и детьми всецело истребить мечами, без всякого сожаления и пощады... чтобы эти и прежде, и теперь враждебные *люди*, быв в один день насильно низвергнуты в преисподнюю, не препятствовали нам в последующее время проводить жизнь мирно и безмятежно до конца» <Есф. 3:13>.

Таков любопытный манифест царя Ксеркса персидского, изданный 2400 лет назад! Только потому, что царь был чрезвычайно привержен к женщинам, евреям при посредстве красивой Есфири удалось избежать гибели. Им удалось даже погубить «второго отца» царского – Амана, которого верность и мудрость засвидетельствована царем. Из книги Есфирь ясно, что Ксеркс (или Артаксеркс <по> Библии) был изнеженный деспот, допустивший править своим великим царством выходцам из чужих стран, как грек Аман или еврей Мардохей. В завязавшейся между инородцами борьбе за власть верх взяли евреи. Интрига Мардохея – классическая в своем роде. Шпионство, донос, подлог, соблазн женским телом, спаивание царя, умение подействовать на жалость, умение заставить власть служить

своим планам – все здесь специфически еврейское, что повторялось впоследствии тысячи лет и что повторяется теперь. Заметьте, как быстро рассеялись евреи по огромному пространству персидской монархии. Манифест пришлось рассылать по всем 127 областям – от Индии до Ефиопии. Второй манифест, отменяющий первый и разрешающий иудеям «собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить» <Есф. 8:11>, этот манифест до такой степени не вяжется с психологией персидских царей и с общим презрением Востока к евреям, что, несомненно, этот второй манифест сочинен – его в действительности не было. Хотя на нашей памяти три года тому назад евреям были разрешены на юге кружки самообороны, из которых и разыгралась революция, но трудно допустить, чтобы древнеперсидские власти пребывали в том же маразме, что и русские бюрократы. Всего вероятнее, что, опираясь на выскочившего в министры Мардохея, евреи без всякого манифеста бросились задирать и резать персов и успели вырезать до 76 тысяч человек. Тем или иным способом, но евреи взяли в пленившей их империи необычайное засилье. По свидетельству книги Есфирь, евреи овладели слабой верховной властью, «и никто не мог устоять перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях и сатрапы, и областеначальники, и исполнители дел царских поддерживали Иудеев, потому что напал на них страх пред Мардохеем» <Есф. 9:2, 3>. Если верить книге Есфирь, то евреи, завоеванные и плененные, нагнали такой страх на завоевателей, что «многие из народов страны сделались Иудеями, потому что на них напал страх пред Иудеями» <Есф. 8:17>.

Нет сомнения, что великая империя арийцев в Передней Азии погибла в значительной степени от растлевающего влияния евреев: вспомните, что когда Кир освободил евреев из плена, всего только 42 000 воспользовались данным разрешением, а всех их было свыше полутора миллиона. Да и тех 42 000 евреев пришлось выселять со стражей и на казенный счет.

Перенеситесь через несколько столетий, откройте третью книгу Маккавейскую и прочтите указ уже греческого царя – Птоломея Филадельфа¹¹. «Мы думали, – пишет он, – благоустроить народы, обитающие в Келе-Сирии и Финикии не силою оружия, но снисхождением и великим человеколюбием, охотно благодетельствуя им. Давая по городам богатые вклады в храмы, мы пришли в Иерусалим, положив почтить святилище этих негодных людей, никогда не оставляющих своего безумия... Явно обнаружив свою враждебность против нас, они одни только из всех народов упорно противятся царям и своим благодетелям и не хотят исполнять ничего справедливого.

Мы же, снисходя к их безумию и тогда, когда возвращались с победою, и в самом Египте, принимая человеколюбиво все народы, поступали, как надлежало. Между прочим, объявляя всем о нашем непамятозлобии к их одноплеменникам, мы решили ввести перемены: так как они служили нам на войне и занимались весьма многими делами, издавна по простоте предоставленным им, то мы хотели даже удостоить их прав Александрийского гражданства и сделать участниками истинного жречества. Они же, приняв это в противность себе и, по сродному им злонравию, отвергая доброе и склоняясь всегда к худому, не только презрели неоценимое право гражданства, но и гласно и негласно гнушаются тех немногих из них, которые искренно расположены к нам, постоянно надеясь, что мы вследствие беспорядочного образа жизни их скоро отменим наши установления. Посему мы, достаточно убедившись опытами, что они при всяком случае питают неприязненные против нас замыслы, и предвидя, что когда-нибудь, при возникшем неожиданно против нас возмущении, мы будем иметь за собою в лице этих нечестивцев – предателей и жестоких врагов, повелеваем... тотчас упомянутых нами людей с их женами и детьми, с насилиями и истязаниями заключив в железные оковы, отовсюду выслать к нам на смертную казнь, беспощадную и позорную, достойную таких злоумышленников. Если они в один раз будут наказаны, то мы надеемся, что на будущее время наши государственные дела при-

дут в совершенное благоустройство и наилучший порядок» <3 Макк. 3:10, 11, 13–19>.

Задолго до появления на свет несчастной России, задолго до рождения Христа евреи сумели внушить культурнейшим тогдашним народам – египтянам, персам, грекам – страх, отвращение, ненависть. До чего доходили эти чувства у греков, показывает манифест Птоломея Филадельфа: «Всякое место, где будет пойман укрывающийся Иудей, должно быть опустошено и выжжено так, чтобы никому из смертных ни на что не было годно на вечные времена» <3 Макк. 3:22>. Вы скажете: это был манифест пьяного тирана, а не государственного человека. Но помимо того, что Филадельф, как и все лагиты¹², отличался терпимостью, вспомните, как отнеслось к его манифесту туземное население, среди которого жили евреи. «Везде, куда приходило это повеление, у язычников учреждались народные пиршества с радостными кликами, как будто закореневшая издавна в душе вражда теперь обнаружилась дерзновенно» <3 Макк. 4:1>. Евреев (в Египте) переписывали для казни «с крайнею поспешностью и ревностным старанием» <3 Макк. 4:12>, причем писцы донесли царю, что «они не в состоянии сделать переписи Иудеев по причине бесчисленного их множества» <3 Макк. 4:14>. Только нетрезвое состояние Птоломея и очевидный подкуп приближенных царя спасли евреев от гибели.

Я привел эти библейские выдержки ввиду прискорбного у нас невежества в еврейском вопросе. Даже государственные люди у нас часто не знают азбуки этого вопроса, именуемой Библиею. Священную книгу евреев не читают, а между тем она – сплошной обвинительный акт против их племени. Что евреи всегда, с начала веков были вредными для всего человечества, свидетельствует их собственное писание. Что они вредны для самих себя, об этом возглашают все еврейские пророки, начиная с Моисея¹³ (см. предсмертную его песнь <Втор. 32:1–43>), и отсюда их мысль о Мессии, о необходимости божественного вождя, который спас бы еврейское племя от собственного его характера, от порочности, с которой ни-

как не мог справиться Иегова*. В конце концов, сам Бог (по учению евреев) отсекся от них за их неискоренимую порочность. Потребовали для человечества Новый Завет, но и в нем иудеи – те же иудеи, что при фараонах и Птолемеях¹⁴: с той же опасной способностью размножаться и с той же склонностью разрушать всякое государство, в каком они живут. Я говорю: «всякое» государство, начиная с их собственного. Чего ждать от народа, который несколько раз разрушал свою государственность и упорно не хочет создать ее вновь, предпочитая жить на теле чужих государств? Англичане, испанцы, французы, голландцы создали в пустынях за океаном новые государства. Кто мешал бы евреям, по примеру буров, устроить собственную республику? Англичане им предлагают чуждую для этого Уганду; однако еврейская эмиграция направляется в Нью-Йорк, в Москву, куда угодно, только не в новый Ханаан. Даже в старый Ханаан евреев нисколько не тянет. Что они сделали со священным Сионом, который лицемерно оплакивается? Вот что пишет их же еврейский историк Иосиф Флавий¹⁵, свидетель разрушения Иерусалима: «Иерусалим – это публичный дом, чудовищный вертеп разбойников, воров и убийц... Я уверен, что если бы римляне пощадили этот отверженный город, то Иерусалим погиб бы от землетрясения или же, подобно Содому¹⁶, потому что пророки Иерусалима превосходили пророков Содома». Доведя до гибели собственное царство, неужели евреи могут действовать в чужом иначе, как разрушительно? Как грызуны не могут не грызть, ибо так устроены, евреи невольно и безотчетно вносят разгром во всякое человеческое общество, будь то республика вроде нынешней Франции, или деспотия вроде старой Испании, или федерация областей вроде Польши. Мартиролог измученных или вконец загубленных евреями стран очень длинен. Неужели он должен быть увенчан развалинами России?

Вопрос в Государственной Думе – допускать ли далее евреев в армию или нет – есть начало долгой, мирной борьбы русского народа с чуждым ему и непримиримым племенем,

* Искаженная форма имени Яхве. – В. Т.

которое или должно оставить Россию, или погубить ее. Это не мое только искреннее убеждение: «Жида погубят Россию», – с ужасом писал Достоевский, вникая в паразитную деятельность этого всепроникающего и рокового в истории народа.

Права на Кавказ

В Петербурге говорят, что наместничество кавказское уничтожается, что в охваченный бунтом край посылаются два генерала: Куропаткин – по гражданской части и Мищенко¹ – по военной. Если слух этот подтвердится, останется только приветствовать мудрую решимость правительства и пожалеть, что хорошие идеи приходят поздно.

С Кавказом у нас возятся до смешного долго, между тем этот драгоценный ларчик открывается очень просто. На Кавказе нет хозяина, вот и все. Некогда кавказскую войну у нас совершенно напрасно тянули полстолетия, перегубили множество русских солдат и создали мусульманским горцам незаслуженный ореол непобедимости, что, конечно, соответственно роняло престиж России. Нашлась, наконец, умная голова – князь Барятинский², которому пришло на мысль: а что если вместо сквернейших наших ружей и такой же артиллерии завести порядочные? Попробовали – и успех, представьте себе, получился блистательный. Сразу «погибельный» Кавказ оказался самой обыкновенной трущобой, где разбойники храбрятся, пока лишь начальство трусит. Нет ни малейшего сомнения, что теперь Кавказ находится в том же положении. Кавказ разваливается. Разложение там идет полное, подготовка к восстанию заметна во всех углах – и Россия снова как будто изнемогает в борьбе с Кавказом. Простая мысль, что «артиллерия плоха» (или нечто вроде артиллерии) не приходит в голову. Роль старого, никуда не годного вооружения играет теперь нынешняя никуда не годная высшая администрация края – все эти господа Петерсоны, Джунковские³, Мицкевичи и проч., движимые армянскими влияниями, и общий их псевдоним –

граф Воронцов-Дашков⁴. Вынуть из дорогого механизма плохую пружину и заменить хорошей, – казалось бы, вот и опять часы пошли; но эта идея, повторяю, слишком проста, слишком сообразна со здравым смыслом, чтобы начать с нее.

Бюрократия наша остается удивительно верной себе. Какой бы пожар где ни начинался, гг. чиновники льют на него капельку чернил. Потом еще капельку, даже две-три капельки, и уж потом, дождавшись полымя, начинают лить солдатскую кровь – и последнюю уже без счета. Ясно как Божий день, что, если мы не хотим опасной заварухи на нашем Закавказье, надо послать туда сильных и преданных России людей. Оба названных выше администратора – генералы Куропаткин и Мищенко – прежде всего русские люди, не поляки и не евреи, и не до такой степени переутонченные аристократы, чтобы в душе у них сидело благоволение ко всему человечеству и совершенное равнодушие к своей родине. Генерал Куропаткин отличился в свое время как превосходный чиновник (в Закаспийской области), г. Мищенко отличился как герой войны. Многоопытное понимание генералом Куропаткиным военного дела даст ему возможность, если он захочет, быть крайне полезным генералу Мищенко в основном вопросе – в устройстве кавказской армии. Настройте как следует этот когда-то чудесный инструмент – и совсем другая пойдет музыка. Пovyбросьте из кавказской армии либеральных начальников частей, сомнительных поляков, подозрительных восточных человекoв, любителей освободительного движения. Очистите славные войска от агитаторов, от жидов и нестроевых «товарищей», обеспечьте от заразы революционной печати, подтяните строй и дух войск, упавший от бесконечных унижений русского имени. Осмотрите кавказские крепости и укрепленные места. Они у нас страшно запущены. Особенно они загажены в смысле якшанья регулярных войск с разными восточными элементами, разлагающе действующими на дисциплину и патриотизм солдат. Кавказская армия должна отскрестись и отмыться от налипшей на нее чужеродной грязи, и тогда, с порядочным оружи-

ем в руках, она вновь отвоюет России благословенный край. А что приходится вновь его отвоевывать у разных федералистов, автономистов, сепаратистов, дашнакцаканов, гачакистов, анархистов и вообще у разбойной сволочи кавказских гор – в этом для меня, по крайней мере, нет сомнения. Позорный развал Кавказа, истребление русской колонизации и государственности будет там продолжаться до тех пор, пока державная над краем сила России не прогремит забытыми громами и не огласит ущелий кавказских стоголосым эхом. Посмотрите, как затем будет там тихо и мило...

Я вовсе не поклонник грубой силы как таковой. Сила, конечно, – не панацея от всех бед. Но во всех человеческих затруднениях бывает момент, когда грубая сила – единственное спасительное средство и, стало быть, наиболее мудрое и наиболее нравственное. Я не стану проводить избитое сравнение некоторых государственных актов с ножом хирурга. Даже не в хирургии, а просто чтобы принять, например, микстуру, необходимо обратиться к грубой силе, именно поднести ложку ко рту. Или попробуйте откусить кусок хлеба без грубой силы. Все какие есть на свете гуманные и святые действия, даже самые сентиментальные, сплетены из более или менее грубых насилий, и без них не существовал бы мир. Мечтать о замирении Кавказа совсем без помощи грубой силы – жалкая глупость. Образчиками наивностей в этом роде обмолвились по кавказскому вопросу г. Милюков и гр. Бобринский 2-й⁵. Оба – прошу заметить – считаются лидерами своих партий! Г-н Милюков со свойственной ему надутой важностью изрек следующее достопримечательное изречение: «Я полагаю, что ни в одном цивилизованном государстве ни одно уважающее себя правительство не позволит отождествить себя с одной из национальностей, населяющих империю, признав ее “нашей”, а всех остальных – “не нашими”». Далее г. Милюков заявил, что такая политика – хуже, чем мадьярская, «эта политика старомосковская и истинно русская, это наша политика». На это можно заметить надутому кадету, что он ошибается. К глубокому сожалению, это не «наша политика». Такая дей-

ствительно была «старомосковская, истинно русская политика», но от нее давно отказалось полуинородческое по составу теперешнее правящее сословие. Что касается того, будто ни одно цивилизованное правительство не отождествляет себя с одной из народностей, а отождествляет себя будто бы со всеми, населяющими страну, то это плод или глубокого невежества г. Милюкова, или его феноменальной ограниченности. На деле во всех цивилизованных государствах и безусловно всякое уважающее себя правительство отождествляет себя с одной лишь, именно с *господствующей* национальностью. Ни на одно мгновение ни одно правительство не отождествляет себя ни с какою иной народностью, и по простой причине: отождествить себя можно вообще лишь с одной вещью, себе тождественной, а никак не с многими. Если правительство считает себя принадлежащим к русской национальности, то тем самым оно не может отождествить себя ни с какою иной. Правда, иной русский бюрократ или плохой ученый вроде г. Милюкова ухитряются одновременно чувствовать в себе все национальности, какие есть на свете, но это доказательство их пустоты. У русских людей довольно распространена эта форма душевной болезни – национальная прострация. Что касается цивилизованных стран, то, не говоря об упомянутых мадьярах, где правительство себя считает только мадьярским и никаким иным, – разве немецкое правительство отождествляет себя с познанскими поляками или датчанами Шлезвига? Или французское правительство отождествляет себя с арабами Алжира и неграми Сахары? Или английское правительство отождествляет себя со всевозможными бронзовыми, коричневыми, красными, кофейными, оливковыми, черными национальностями владений короля Эдуарда? Скажите любому лорду или джентльмену нижней палаты, скажите любому английскому министру, что он не только англичанин, а сверх того и индус, – они пожмут плечами и даже не поймут, что за глупость вы хотите этим сказать. Чтобы немец или англичанин хотя бы в теории, хотя бы на один миг отождествил себя с чем-то не немецким или не английским, – это психологический

nonsense. На что североамериканские министры представляют собой сборную власть, а разве мыслимо допустить, чтобы покровитель негров Рузвельт⁶ «отождествил» себя с неграми? Именно в цивилизованных странах правительства настолько уважают себя, что, принадлежа к господствующей национальности, управляют завоеванными племенами не как их, туземные правительства, а как одно господствующее, действия которого определены господствующей расой. Немцы управляют только по-немецки, французы – неизменно по-французски, англичане – непременно по-английски, а не как-нибудь иначе. Если допускаются автономия и самоуправление, то лишь под верховным надзором одной, именно господствующей национальности. Притом самоуправление – это не есть ни в коем случае отождествление правительства с чужой национальностью, а как раз нечто обратное. Именно потому и дают автономии, что не хотят подобного отождествления. Послушать г. Милюкова, русское правительство только в Петербурге должно носить фрак со звездой и говорить по-русски, в киргизских степях оно должно надевать халат и есть конину, в Закавказье – носить чалму и сажать подданных на кол. Хорошо было имперское правительство, отождествляющее себя со всеми ста национальностями России!

Не меньшей наивностью блеснул и гр. Бобринский 2-й. Он заявил, что Кавказ можно замирить не преследованием бунтарей и разбойников, а «путем долгого и систематического законодательствования», причем сохраненный во всей прелесть институт наместничества должен руководствоваться немецким лозунгом “Leben und leben lassen”^{*}.

Вообще говоря, граф Бобринский 2-й далеко уступает господину Милюкову в степени либеральной благоглупости. Лидеру кадетов в этом отношении бесспорно принадлежит пальма первенства. Однако и гр. Бобринский делает по этой части заметные успехи. Всем памятен его «конституционный рубль» – выходка в грош ценой, как и знаменитое утверждение, что духовно он, гр. Бобринский, родился лишь 17 октя-

* Жить и позволять жить (нем.). – В. Т.

бря 1905 г. Не лишенный некоторого ораторского дарования, почтенный граф попал даже в лидеры «умеренно правых», но, умеренно виляя вправо и влево, он незаметно очутился в партии «умеренных левых», и затем, Бог даст, мы его увидим и совсем в объятиях г. Милюкова. Основная фальшь умеренно левого графа – в жажде популярности, в той слабости, которая сгубила такое множество мягкотелых превосходительств, кончая гр. Воронцовым-Дашковым. Графу Бобринскому и ему подобным ужасно хочется за счет России приобрести друзей среди инородцев, – вот ему и вспомнилось архилиберальное “Leben und leben lassen”. Сказать столь прописную мораль столь некстати, в серьезнейший момент обсуждения кавказского вопроса, значит сесть всей своею тушей на левую чашку весов – не за Россию, а против нее. Если гр. Бобринскому понадобилось крикнуть: “Leben und leben lassen”, стало быть, Россия не признает этого принципа, не так ли? Стало быть, инородцы вообще в России, а на Кавказе в частности, в таком уже угнетении, что надо кричать об их правах на жизнь? Но ведь это смехотворная ложь. В действительности дело стоит совершенно наоборот. Не Россия мешает жить инородцам, а они ей. Не русские вытесняют евреев из черты оседлости, финляндцев из Финляндии, кавказцев из Закавказья, а как раз наоборот. Я лично вовсе не друг инородцев, напротив, я откровенный враг их, но враг именно потому, что они нас завоевывают, они забирают наше царство. В качестве врага вот подобных, лезущих на Россию инородцев я, однако, никогда не подавал голоса за отнятие у них земель, имуществ, культурных и религиозных прав. Никогда! Идя гораздо дальше большинства патриотов русских, я советую дать инородцам автономию – лишь бы они очистили русскую землю и вышли из наших государственных тканей. Оставаясь верным этому началу, я лично ничего бы не имел против пятидесяти крохотных автономий Ноева Ковчега кавказских народностей, но с условием, чтобы все свободные там земли были предоставлены только русской колонизации и чтобы правительство на Кавказе было только русским. Иначе невозможно осуществить

в анархическом краю именно принцип “*Leben und leben lassen*”. Пусть кавказцы живут, как им угодно, – я лично предоставил бы им, если бы это зависело от меня, даже резаться, как они привыкли со времен Язона. Но пусть кавказцы не мешают жить около себя русским, для которых Кавказ – тоже не чужая страна, а своя, купленная кровью предков. Самоуправляясь как им угодно, пусть гг. кавказцы не распространяют своего самоуправления на русское население и русскую власть. Здесь каждое прикосновение к правам России должно вызывать электрический удар, достаточно внушительный, чтобы отбить охоту для дальнейших попыток.

В интересах Империи нашей следует держать Кавказ раздробленным на столько национальностей, сколько природе угодно было тут насочинить. Дайте каждой национальности жить, как она хочет, дайте завести свои школы, свою церковную иерархию, свой суд и проч. С нашей стороны следует покрепче отгородиться от их интеллигенции и культуры. Только тогда мы, русские, прочно утвердимся за Кавказом, когда, подобно духоборам или немецким колонистам, будем отстаивать свою национальную отдельность от туземцев. Уверяю вас, только такой политикой мы заставим уважать себя и вызовем тяготение к себе. При завоевании Кавказа была сделана колоссальная ошибка: туземцам было дано «равноправие» – не только гражданское, но политическое и национальное. Иностранцы Кавказа были приравнены не только к коренным русским гражданам, но многим из них были даны громадные преимущества. Все дворянство туземное было, например, приравнено к русскому дворянству, то есть целые сословия инородческие сразу поставлены над коренным народом русским. Грузинские и татарские «эристы» и «ханы», маленькие феодалы, выродившиеся и обнищавшие часто до пастушеского состояния, вдруг были сравнены в правах с князьями Рюриковичами, с потомством древних русских царей, основателей и строителей государства! Безумие этой политики продолжается до сих пор. Какому-нибудь армянину достаточно правдами или неправдами окончить русскую гимназию и высшую

школу, и он получает все права государственной службы, он вносит свою инородческую, до сих пор враждебную России стихию в самый состав нашего правящего класса. Дошло до непостижимой странности: в русском парламенте, в святилище русского законодательства заседают полудикие кавказцы и принимают участие в решении наших национальных нужд! Каким же в любом организме может быть участие инородных тел, кроме разрушительного?

«Кавказ для кавказцев!» Вот что должна провозгласить русская власть с оговоркой: «Но не весь Кавказ. Русский Кавказ – для русских». Последнее нужно отстоять столь же твердо, как Москва – для москвичей. Весь Кавказ принадлежит России, ибо он отвоеван у Турции и Персии нами, русскими. Но кроме права завоевания есть еще и право вселения, и кроме туземного Кавказа есть чистокровный русский. Под русским Кавказом следует разуметь все, что остается от вычитания из завоеванного края частных туземных прав. Остаток, если предложить произвести арифметическое действие не местным жителям, получится громадный. Заселив кавказские пустыни и пустоши, мы навсегда завоевали бы его для русской расы.

Русское пробуждение

Наиболее обещающим движением русской жизни является теперь национальное. Враги национализма и справа, и слева распространяют о нем самый пошлый вздор, но это не мешает великому движению расти и захватывать собой все более и более широкие круги общества. Что такое национализм? В течение еще многих лет придется рассуждать об этом – точнее, трудно себе представить время, когда вопрос этот не заслуживал бы проповеди и самого внимательного обсуждения.

Из множества определений национализма позвольте остановиться на самых простых и удобопонятных. Национализм, мне кажется, есть народная *искренность* – в отличие от притворства партий и всякого их кривляния и подражания.

Есть люди искренние, которые не терпят, чтобы казаться чем-то другим, и которым хочется всегда быть лишь самими собой. Наоборот, есть люди, как бы боящиеся самих себя, внутренне не уважающие себя, которые готовы быть чем угодно, только не тем, что они есть. Эта странная трусость напоминает так называемый *миметизм* в природе – стремление слабых пород, особенно среди насекомых, подделывать свою наружность под окружающую среду, например принимать очертания и цвета растений. Чувство национальное обратное этому малодушному инстинкту. Национализм есть полное развитие личности и стойкое бережение всех особенностей, отличающих данный вид от смежных ему. Национализм есть не только полнота самосознания, но полнота *особенного* – творческого самосознания, а не подражательного. Национализм всегда чувствуется как высшее удовлетворение, как «любовь к Отечеству и народная гордость». Нельзя любить и нельзя гордиться тем, что считаешь дурным. Стало быть, национализм предполагает полноту хороших качеств или тех, что кажутся хорошими. Национализм есть то редкое состояние, когда народ примиряется с самим собою, входит в полное согласие, в равновесие своего духа и в гармоническое удовлетворение самим собой.

Отсюда недалеко до самовлюбленности, до обожествления своего «я», как это бывало у древних, более свежих народностей. «Аз есмь Господь Бог твой» <Втор. 5:3>. Эта заповедь в древности понималась так: «Господь Бог твой есть твое “я”, и да не будут у тебя другие боги, кроме твоего “я”». Вышедший из естества природы народ чувствовал, что он осуществляет какое-то особенное бытие, особенную идею, и довести последнюю до крайнего выражения почиталось призыванием народным. То, что называлось «дух» народа, «гений народный», был действительно как бы особый бог (Ягве¹, Ассур² и пр.), по образу и подобию которого в данном племени строился человек и нация. Религия и культура в древности не стремились к иной цели, как только к той, чтобы воплотить в народе *идеал*, то есть особый замысел природы, некое исключительно сильное и неподражаемо прекрасное своеобра-

зие. Посмотрите на тонко выработанную породу, например на орла или оленя. В такой породе все закончено, как в статуе великого скульптора, все остановилось, как бы достигнув *вечной* жизни. Вы чувствуете, что тут никакие перемены невозможны, ибо всякое *изменение* будет *изменой*, упадком расы. Такова же всякая строго выработанная национальность. Как все совершенное, она консервативна; достигнутое своеобразие свое она отстаивает, как жизнь.

В сущности, в нем, исключительном своеобразии, и заключается смысл жизни. Безмерное количество приближений природа тратит для того, чтобы наконец достигнуть особенного идеала и воплотить его. Воплощенный дух народный счастлив, как воплощенный Бог. Вот окончательная цель национализма: полное удовлетворение, полнота блаженства. Что это момент редкий и труднодостижимый, это не меняет дела. Раз достигнутая национальная законченность на долгие века создает народ *счастливый*. Именно в эти эпохи рождаются чудные песни народные, героические сказания, мечты о бессмертии. Порода, вошедшая в вечный тип свой, ощущает бессмертие не в будущем, а в настоящем.

То, что мы, проповедники национального восстановления, ставим народной целью, не есть измышление или каприз ума. Это повелительное и самое высокое требование природы, и наградой за исполнение его служит счастье. Подумайте достаточно серьезно – и вы увидите, что только в отстоявшейся и законченной народности возможны мир, согласие, свобода, братство – все начала блаженной жизни. В народности растрепанной, разнородной, переполненной чуждыми элементами, по необходимости царят раздор, постоянная грызня и ожесточение, как в химическом котле, куда положены разные соли. Брожение и хаос – вот неизбежная картина анархии, охватывающей ненациональное общество. Враждебные друг другу стихии взаимно разлагаются в борьбе и вносят, что касается человеческого сожительства, одну ненависть, которая есть самая острая из болезней духа. Если желаете мира и добродетели, для этого бесполезно произносить нравственные

сентенции, хотя бы самые изысканные. Сделайте так, чтобы народ был национален: вместе с национальным чувством войдет сам собою и мир и сама, непрощенная, явится добродетель. В уравновешенной системе общества нет борьбы. Она взаимно обуздана, враждебные силы погашены. Разве это не последняя цель человеческого общества?

Именно в страстном желании мира и «*благоволения* в чело-вечех» националисты и говорят наседающим со всех сторон инородцам: «Отойдите от нас! В наше внутреннее согласие не вводите раздора! В достигнутое национальностью примирение не вносите начал вражды! Ибо вражда совершенно неизбежна при основном неравенстве, от которого ни вы, ни мы отказаться не можем. Вы – евреи, поляки, финны, армяне и пр., и пр. – пламенно дорожите своим национальным своеобразием. Вы не хотите и *не можете* изменить ему. Мы, русские люди, то же самое: без тяжких расстройств народных, может быть, без окончательной гибели своей родины мы не можем уступить вам». Остается, стало быть, разойтись, подобно Аврааму и Лоту³: «Направо – твое, налево – мое». Национализм русский, по крайней мере, в моем понимании не есть захват и не есть насилие. *Национализм есть честное разграничение*. Захват и насилие в его коварных формах идут со стороны не русского национализма. Не мы идем на инородцев, а они на нас. Не мы овладеваем территорией и трудом народным у евреев, поляков, армян и пр., а они овладевают нашими. Дать закономерный, но ощутительный отпор этому внутреннему «нашествию иноплеменных» – цель национального движения. Это *не нападение, это самооборона*.

Как случилось, что громадный народ русский не сумел предупредить величайшую из опасностей – нашествие изнутри? Это случилось очень просто. Завоевав чуждые племена, мы имели несчастную ошибку удержать их у себя. Врагов, захваченных в плен, мы ввели в семью свою вместо того, чтобы отпустить на волю. Наследственных врагов, тысячу лет вредивших России и разрушавших ее, мы уравнивали в царственных правах со строителями государства и его защитниками.

Непримиримые с нашей народностью, чужеземцы проникли в самую глубину общественных тканей, в сердце и мозг страны, и внесли и вносят этим самые тяжелые расстройтва.

В твердыню государственности нашей инородцы входят при посредстве двух лжеучений – политического и религиозного. В силу первого лжеучения все «подданные» государства приравниваются к «гражданам» его, в силу второго – все люди рассматриваются как «братья». Горький опыт здравомыслящих людей убедительно доказывает, что «гражданин» и «брат» – явления слишком высокие, чтобы быть широко обобщенными. Инородцы, отстаивающие свою национальность, не могут одновременно принадлежать и к нашей, и если числятся «гражданами» Русского государства, то это просто политический подлог. Точно так же чужие люди, пока они чужие, не могут быть нам братьями; доверять им, как братьям, важные позиции в государстве крайне безрассудно. Природа не терпит фальсификаций. Природа создала не одну, а разные национальности. Сентиментально смешивать их и притворяться, будто все они сливаются в одну, есть безумие и грех против природы.

Враги русской народности, всячески отстаивая свой национализм, всемерно опорочивают русский. Когда речь пойдет о нарушении прав еврея, финна, поляка, армянина, подымается негодующий вопль: все кричат об уважении к такой святыне, какова национальность. Но лишь только русские обмолвятся о своей народности, – поднимаются возмущенные крики: «Человеконенавистничество! Нетерпимость! Черносотенное насилие! Грубый эгоизм!» Сами ожесточенные эгоисты, поклоняющиеся идолу отчуждения, насевшие на нас инородцы не признают за Россией ее народного «я». Что ж, остается нам обречь себя в самом деле на роль *удобрения* для чужих рас, как откровенно мечтают фанатики пангерманизма! Апостолы мелких национальностей не стыдятся выражения «эгоизм». Мне кажется, и русскому национализму не следует чураться этого понятия. Да, эгоизм. Что ж в нем удивительного или ужасного? Из всех народов на свете русскому, наиболее мягкосердечному, пора заразиться некоторой дозой здравого эго-

изма. Пора с совершенной твердостью установить, что мы не космополиты, не альтруисты, не «святые последних дней», а такой же народ, как и все остальные, желающие жить на белом свете прежде всего для самих себя и для собственного потомства. Пора признать искренне и просто те наши определения, которые значатся в нашем имперском титуле. Этот титул говорит, что Россия – народ державный, независимый ни от кого на свете, никому не подчиненный. Мы – *государство*, то есть высшее господство на своей территории. Мы – племя *царственное*, повелевающее всеми народностями, вошедшими в состав Империи. Именно наше национальное своеобразие, а не чье другое должно считаться непреложным. Все иные национальности должны быть терпимы как явления временные, подлежащие или усвоению, или вытеснению. Счесть за закон *постоянное* сожительство разных национальностей в черте одного государства составляет величайшую нелепость, какую можно себе вообразить.

Приглашаю читателей внимательно прочесть объявленную вчера (22 января) в «Новом времени» программу, выработанную для объединенного Всероссийского Национального союза. Первый член этого символа нашей политической веры – «единство и нераздельность Российской империи и ограждение во всех ее частях *господства русской народности*». Для инородческих окраин русские националисты допускают лишь «хозяйственное самоуправление при обязательном и полном ограждении русских интересов, как местных, так и общегосударственных». Особо подчеркивается, что «*равноправие евреев недопустимо*». Последний тезис отграничивает Всероссийский Национальный союз от тех умеренно-либеральных партий, которые составляют авангард еврейства. Во всех остальных пунктах объявленная программа может подлежать критике, но в этом пункте она безупречна. С величайшей искренностью и прямоотой, делающими большую честь вождям партии, они имели мужество высказать свои взгляды по инородческому вопросу. Он, этот вопрос, как в разложившейся Турции и разлагающейся Ав-

стрии, составляет у нас теперь главную государственную болезнь. Нельзя говорить ни о «подъеме производительных сил государства» (§ 5), ни о «восстановлении военного могущества Российской империи» (§ 6), пока народ и общество разъедаются внутренней враждой, вносимой чужеродными элементами. Если мечтать о благополучных временах, то они явятся не прежде, чем вернется наш давно утраченный национальный мир. Как организму, зараженному чужеродными микробами, России прежде всего нужно вылечиться от заразы. Только в здоровых руках что-нибудь значат и трудовой топор, и когда-то победоносный меч.

Из программы Всероссийского Национального союза видно, до какой степени нелепы уверения врагов его, будто союз – слишком *левый* или слишком *правый*. Национализм – не политика, он выше политики и в силу этого не допускает односторонних крайностей. В отличие от еврейско-либеральных партий (кадеты и октябристы) Всероссийский Национальный союз опирается прежде всего на Основные Законы. В согласии с последними союз признает «незыблемость представительного образа правления», при котором «законодательная власть Самодержавного Царя» находится в «единении» с двумя палатами. Национальный союз придает важное значение «наблюдению законодательных учреждений за закономерностью действий правительства». Последнее условие довольно резко отграничивает Национальный союз и от крайне правых партий. Если не большинство ультрамонархистов, то многие из них до сих пор не могут помириться с народным правительством. Законодательное *единение* Царя с народом им кажется *ограничением* самодержавной власти. Националистам это не кажется. Они убеждены, что названное ограничение – мнимое, подобно независимости суда или свободе административной деятельности в пределах закона. Пока принципом русской государственности остается единодержавие, верховным законодателем, утвердителем законов является Государь-Самодержец, но органы отправления Высочайшей власти должны быть согласованы с природой дела. Естественно, что

наилучшим органом законодательства и надзора за правительством может служить только та стихия, которая живет законами и которая на себе же чувствует всякое нарушение их. Как ученый не создает законов природы, а *открывает* их, изучая свойства вещей, так и политический законодатель: наиболее совершенные законы – это наиболее естественные, согласные с природой нации. Если Империя наша пришла в опаснейшее расстройство, то, главным образом, потому, что естественные законы, когда-то устанавливавшиеся обычаями и нравами, были подменены постепенно сочиненными законами, безжизненными и чуждыми природе общества.

Цель Всероссийского Национального союза – восстановление русской национальности не только как господствующей, но и государственно-творческой. В области политики союзу придется вступить в борьбу со всеми ложными доктринами, навязывающими народу русскому чуждые его природе порядки. В этом смысле для националистов одинаково противны бумажная метафизика бюрократии и книжная метафизика революции. Покушение и той и другой навязать нации насильственно не свойственные ей нормы следует считать одинаково преступными. Метод национализма совпадает с научным: предоставьте нации самой определять, что она такое и к чему стремится. И так как это уже определено тысячелетней жизнью, то остается с возможной добросовестностью лишь осуществить то, что есть.

Величайшее несчастье всякого народа – это когда естественные законы расстроены и жизнь его в силу этого расстройства искажена. Национальное движение есть порыв русского общества восстановить натуральный порядок, вернуться к родным, наиболее удобным и потому наиболее свободным формам, слагающимся органически. Наибольшей помехой восстановлению служат инородные элементы, излишнее присутствие которых, не предусмотренное природой, разлагает жизнь. Вот почему закономерная борьба с внутренними нашествиями является одной из главных задач союза. Но эта задача, конечно, не единственная. Русская жизнь угнетена не только

инородческим засильем. Она подавлена всеми последствиями национального упадка. Народное безбожие, народное пьянство, развертывающееся в государственную катастрофу, народная нищета, народная преступность, народное невежество, опасный упадок практических знаний, беспомощность труда, бесправие и бессудье – все это и многое другое составляет общую пропасть, из которой нужно извлечь народ. Цель сообщества, именуемого Всероссийским Национальным союзом, – *поднять* нацию из всех падений, восстановить ее.

«Не слишком ли гордая задача?» – спросит иной читатель. Отнюдь не гордая, отвечу я. Не только не гордая, но самая законная, которой должно задаваться всякое пошатнувшееся существо. Отбросив пустые страхи и ложный стыд, попробуем искренно сделать каждый, что в наших силах, и вы увидите, что сумма небольших усилий способна сложиться в огромный и блистательный результат.

Каким же иным способом, как не этим, воскресали другие народы? А они – не исключая наиболее передовых – переживали еще недавно не лучшие, чем мы, времена. Так же, как и у нас, и французы, и немцы, и англичане лет всего полтора-два назад коснели в невежестве и нищете. Но пробудилось национальное сознание, проснулся гений народов – и они, точно по слову Божию, сбросили свою проказу...

Быть ли России великой?

Сегодня южнорусское образованное общество чествует 50-летие со дня смерти Т. Г. Шевченко. Грустная годовщина эта дает повод озлобленным и вздорным людям к возбуждению того междурусского раздора, который в последнее время из всех сил стараются раздуть австрийские немцы и поляки. Как известно, мечтательное украинофильство тридцатых годов прошлого столетия довольно давно, именно в эпоху Шевченко, начало принимать оттенок революционный. Поддерживаемая врагами России, постепенно сложилась изменническая

партия среди малороссов, мечтающая о разрушении Российской империи и о выделении из нее особого, совершенно «самостийного» украинского государства. По имени исторического героя этой партии – Мазепы¹ – членов ее последнее время зовут «мазепинцами», и они очень этим титулом гордятся. Читателям, без сомнения, известно, до каких нелепостей доваривается эта преступная партия и в коренной Малороссии, и в закордонной Руси. Никогда еще, кажется, политический психоз не развивался до такой болезненной остроты. Ни одно из инородческих племен – кроме разве поляков – не обнаруживает такой воспаленной ненависти к Великой России, как эти представители Малой Руси. Самые ярые из них отказываются от исторического имени «Россия, русские». Они не признают себя даже малороссами, а сочинили особый национальный титул: «Украйна», «украинцы». Им ненавистна простонародная близость малорусского наречия к великорусскому, и вот они сочиняют свой особый язык, возможно, более далекий от великорусского. Нужды нет, что сочиненный будто бы «украинский» жаргон является совершенно уродливым, как грубая фальсификация, уродливым до того, что сами малороссы не понимают этой тарабарщины, – фанатики украинского сепаратизма печатают названной тарабарщиной книги и газеты. В науку русской вообще и, в частности, южнорусской истории «мазепинцы» вносят систематические искажения и подлоги, а самые крайние психопаты этой партии провозгласили необходимость для малороссов жениться на еврейках для того, чтобы кровью и плотью как можно дальше отойти от общерусской закваски. К счастью, это бредовое состояние провинциальной психологии, ударившейся в сепаратизм, охватывает далеко не всю Малороссию, и даже в австрийской Галиции оно встречает до сих пор внушительный отпор. Тем не менее, нельзя забывать, что политические помешательства заразительны: в силу этого государственная власть обязана глядеть на украинomanство как на одну из злокачественнейших язв нашей внутренней жизни. Этим объясняется вполне разумное решение правительства не допускать в Киеве под предлогом годовщи-

ны смерти народного поэта революционных выступлений как со стороны австрийских мазепинцев, так и со стороны наших. Я уже не раз докладывал читателю о планах Австрии возбуждением малороссов к бунту расчленив Российскую империю, столь страшную для придунайских экспроприаторов. Уже доказано участие в украинофильской пропаганде не только флоринов, но и прусских марок.

Благодаря стародавней оплошности нашей правящей бюрократии имя Шевченко давно уже служит знаменем для южных сепаратистов. Не только в Малороссии, но и по всей России – включая Петербург – за эти 50 лет сложился настоящий культ Шевченко, выражавшийся в обществах и кружках имени поэта, в ежегодных торжественных панихидах в день его смерти, в банкетах и вечерах в его память, в издании его «Кобзаря» и т. п. Великорусское общество, не читавшее «Кобзаря», особенно в полном его виде, с большой симпатией относится к культу южнорусского поэта. О нем судят по некоторым лирически отрывкам («Думы мои, думы...» и т. п.), переведенным по-великорусски и понятным даже без перевода. Но тут случилось то же самое, что вы видите по всему необъятному фронту нашей государственности. Плохо подобранная, слишком барская и потому беспечная администрация наша далась в обман. Удовлетворившись поверхностным благополучием в Малороссии, она не заглянула за кулисы. А за официальными кулисами украинский вопрос совсем не тот, каким его хитрые украиноманы показывают снаружи. Для самих украиноманов и для малорусской интеллигенции «Кобзарь» издается без пропусков, то есть с крайне возмутительными выходками против российской власти и нашей имперской идеи. И правительство, и невежественное великорусское общество обрабатываются в том смысле, что Тарас Шевченко, «великий и гениальный поэт», томившийся в крепостной неволе, только за то и был сослан в солдаты куда-то в Среднюю Азию, что осмелился воспеть свою милую родину, ее чарующую природу, ее деревенскую жизнь со всеми преданиями и безыскусственной прелестью простого быта. Такова лицевая сторона

шевченковского культа, а изнанка ее совсем иная. Подлинный Шевченко, если восстановить запретные места, оказывается, подобно Мицкевичу², ослепленным ненавистью к нашей государственности и народности. Стихи, за которые Шевченко был наказан ссылкой и солдатской службой, были определены как *государственное преступление*, и таковым они в действительности и были. Если говорить без фальшивых уверток, политическая поэзия Шевченко есть возбуждение к мятежу и к разрушению государства. Украиноманы, создавшие культ Шевченко, его лирикой и романтикой прикрывали в самом деле преступную пропаганду, почин которой в этой области принадлежит именно Шевченко. Недаром яростнейший ненавистник России Михаил Грушевский³, устроив «Литературно-наукове товариство» во Львове, назвал его именем Шевченко. Это своего рода украиноманская академия наук была создана для научного обоснования украинского сепаратизма. Она явилась большою фабрикой для всевозможных псевдоученых фальсификаций. С чисто польской наглостью, достойной какого-нибудь Духинского⁴, г. Грушевский в своей смехотворной истории, нашедшей покровительство в Петербурге, стал доказывать, что никаких великорусов или белорусов нет, что искони был только украинский народ как славянское племя, а уже от него путем колонизации и смешения с финскими племенами образовалась убудочная народность, называемая русской. Государство русское создали будто бы тоже украинцы: древние киевские князья были украинские князья, а летописец Нестор⁵ – украинский летописец. Насчитав в России и в Австрии до 30 миллионов будто бы особенного украинского племени, г. Грушевский наметил столицей будущей Украины Киев и после недавней нашей революции перенес в Киев и Товарищество имени Шевченко. Пользуясь столбняком петербургской бюрократии после военного погрома, г. Грушевский поднял за последние годы кипучую пропаганду. Во многих городах, начиная с Киева, появились «просвиты», то есть просветительные (якобы) общества на манер польских, начали издаваться «вистныки» и открываться «кныгарни», причем

как «просвиты», так и «вистныки» и «кныгарни» состояли в теснейшей связи с австро-галицкими учреждениями того же имени. Правительство наше недавно закрыло киевскую «просвиту», но в других городах «просвиты» продолжают благоденствовать. Нашлись хохлы и даже великороссы, которые горой вступились за обиженную будто бы Малороссию, за ее политический сепаратизм, проповедуемый – как это было повсюду – через отчуждение языка и извращение истории. В сильной степени кадетствующая полуинородческая наша Академия наук дала приют для скверной затеи г. Грушевского. В то время как на юге работают гг. Грушевские, Левицкие⁶ и пр., на севере за тот же расовый разгром России хлопочут разные гг. Шахматовы, Чижевские и т. п. Правительство наше издает циркуляры, но... ведь циркуляры можно не выполнять, не так ли? В распоряжении мятежных стихий имеется гениальное, как яйцо Колумба, разрешение всех циркуляров. Не исполнять их – и баста...

Пятьдесят лет прошло после смерти Шевченко, и для него наступил уже беспристрастный суд истории. Пусть темпераментные южане раздражаются преступными выходками в «Кобзаре», пусть преувеличивают до смешных крайностей значение своего народного поэта. Но что такое был Шевченко в его натуральную величину? Мне кажется, значение его поэзии довольно верно определил Белинский, указавший, что «простоватость крестьянского языка и дубоватость крестьянского ума» не составляют условий, благоприятных для великой поэзии. В самом деле, при всей чарующей задушевности некоторых дум и песен Шевченко при всей прелести, свойственной первобытному творчеству, именно в силу первобытности это творчество не может быть великим. Как ни приятно было бы иметь еще одного великого русского поэта наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым и Фетом, в отношении Шевченко нельзя установить подобного места. Единственный поэт Украины, он остается второстепенным, как его страна, как вообще остается второстепенной провинция, хотя бы весьма богато одаренная. Шевченко – несомнен-

ный талант, но второразрядный, вроде нашего Кольцова или Никитина, вроде Майкова или Полонского, которых муза в лучших вещах достигала удивительной красоты; красоты, но не величия. Шевченко как поэта фольклора можно с восхищением читать и даже волноваться; если вы малоросс, то вместе с Основьяненком⁷ непременно скажете: «Хорошо, батечку, хорошо... Сердце так и иока!» Но если вы просто русский, немец, француз, вы не почувствуете тех могучих, поднимающих ввысь ощущений, какие дает великая поэзия Пушкина, Гете, Байрона, Шекспира – на какие бы языки вы ее ни перевели. Дело в том, что *гений* есть нечто державное, свойственное только великому племени, знавшему победы... Поэтический гений может явиться лишь на высоте героического, мирового подъема расы. Только на такой высоте всякое племя может сказать человечеству нечто значительное и вечное. Если данное племя недоразвилось до большой государственности, до большой культуры, если оно навсегда осталось провинцией, составною частью целого, то в нем нет психологических условий для большого творчества. Провинциалу, хотя бы очень даровитому, нечего сказать крупного, пока он находится в кругозоре своей провинции. Вспомните «Кобзаря», вспомните прелестную «Наймычку» или «Катерину» и т. п. Культурные категории, в которые укладываются эти типы и вся их драма, до того местны, до того случайны, до того превобитны, что как-то пропадают в масштабе цивилизации. Такие явления, как, например, чумачество, или крепостное право, или старая солдатчина, – они живописны, но подул новый ветер – и нет их: через пятьдесят лет необыкновенно трудно войти в психологию этих исчезнувших особенностей того быта. Даже гайдаматчина, где более героического элемента, по своей жалкой некультурности не могла дать материала ни для «Илиады», ни даже для «Полтавы». Шевченко был талантливый поэт и художник, художник не менее значительный, чем поэт, но если бы он обладал гениальным талантом, как Гоголь или Мицкевич, ему пришлось бы, как этим писателям, искать родственного, более великого языка и более высокой культуры. Бело-

рус Мицкевич сделался польским поэтом, Гоголь – русским писателем. Огромные дарования выбросили их со дна жизни. При более мелких способностях они остались бы, подобно Шевченко, краевыми, провинциальными писателями, на творчестве которых, иногда удивительном, всегда лежит печать кустарности. Ни один кустарь, как бы он ни был одарен, не достигает высоты искусства. *Искусство* есть завершение *большой* культуры. У Южной России (называйте ее, как хотите, – Украиной или Малороссией) большой культуры никогда не было, ибо не было государственности сколько-нибудь выше зачаточных форм. Ясно, что этот край, как все отдельные части великого русского племени, в состоянии проявить величие лишь в тех условиях языка и мирозерцания, какие дала общая наша история. Гоголь не прогадал, променяв, как художник, полтавскую мову на общерусскую речь. Приняв этот общий знаменатель национального духа, Гоголь стал рядом с Пушкиным, а при полтавской мове оставался бы никому не известным Рудым Панько. Украиноманы мечтают о «самостийной» государственности для будто бы 30-миллионного народа украинского. Но если бы были для этого данные, то это давно была бы не мечта, а факт. Малорусское племя в течение четырех веков пробовало сложиться в особое государство, но ничего не вышло: приходилось подчиняться то татарам, то Литве, то полякам, то Москве. Бывали у нас русские украинцы – не чета Запорожской Сечи, и те не выдержали. Великий Новгород был огромной и вполне организованной республикой, но и ему, пометавшись между сильными соседями, пришлось сойти со сцены. Более умеренные украиноманы мечтают о федерации автономных славянских народностей. Но что касается русских народностей, подобная федерация уже была испытана и повела к татарскому игу. Прелести федерации можно наблюдать теперь за Карпатами. Чехия, Галиция, Хорватия, Славония и прочие пользуются автономией, но что же толку? Автономия только подчеркивает мелкое строение этих племен: за сто лет ни одно из них не дало, кажется, ни одного великого человека. Даже вполне «самостийные» державы,

вроде Румынии, Греции, Сербии: что касается культуры, их маленькая государственность дает какие-то карликовые продукты. Провинции вообще остаются провинциями, какими бы королевскими титулами ни награждали их.

Как я уже высказывал однажды, наших яростных украинофилов нельзя считать русскими. Очевидно, в крови их проснулись те тюркские кочевники, которые когда-то терзали Южную Русь, пока не замучили ее до смерти. С бешенством племенной ненависти нельзя спорить; против господ мазепинцев потребна не идейная, а реальная государственная борьба. Но те из южнорусов, которые не отрекаются от общерусской семьи, пусть внимательно прочтут биографию своего «бабки Тараса». Они увидят, до какой степени сердечно отнеслась Великороссия к украинскому таланту и насколько он был обязан «жестоким москалям». Как ни оплакивают ужасы крепостной неволи Шевченко, ужасы его ссылки и солдатчины – на самом деле все это было до крайности смягчено вниманием и участием к Шевченко тех великороссов, с которыми он сталкивался. Не «москаля», а свои же земляки-хохлы немилосердно секли Шевченко в школе; родной дядя сек его подряд трое суток и чуть было не заporол его до смерти. Ничего свыше пастуха или маляра родная Малороссия не обещала дать поэту: так он и погиб бы чабаном. А «свинья Энгельгардт» (помещик Шевченко), как и управляющий его, заметили способности мальчика к рисованию и тогда, в каторжное будто бы крепостное время, уважили эти способности, послали мальчика учиться живописи в Варшаву, в Петербург. В Петербурге, едва лишь были открыты способности Шевченко, – посмотрите, какое горячее участие принимают в нем такие знаменитости, как Брюллов, Григорович, Венецианов, Жуковский. Стоило крепостному парню обнаружить просто дарование, далеко не гениальное, в живописи – и вот он делается любимцем знати: за ним все ухаживают, собирают средства, выкупают из крепостной зависимости. Посмотрите, как бережно «холодный Петербург» поддержал искорку таланта, чуть было не погашенного в глуши провинции. Графиня Баранова, княжна Репнина, графиня Толстая, князь

Васильчиков, граф Толстой друг перед другом наперебой хлопчут за Шевченко и облегчают ему жизненный его путь. Ну а Малороссия? Как она встретила уже прославленного на севере поэта? С восторгом, конечно, но с каким? «Многочисленное украинское помещичье общество, – говорит один биограф (г. Яковенко)⁸, – не могла предложить своему народному поэту ничего лучшего, чем карты или пьянство». В знаменитой Мосевке, куда съезжалось до двухсот помещиков из трех губерний, в Мосевке, которую называли Версалаем для Малороссии... Шевченко попал в так называемое общество «мочемордия». «Мочить морду» означало пьянствовать, а «мочемордой» признавался всякий удалой питух: неупотребление спиртных напитков называлось «сухомордие» или «сухорылие». Члены, смотря по заслугам, носили титулы мочемордия, высокомочемордия, пьянейшества и высокопьянейства. За усердие раздавались награды: сивалдай в петлицу, бокал на шею, большой штоф через плечо и пр., и пр. У Чужбинского⁹ читатель, если пожелает, может найти дальнейшее описание пьяных оргий. Такова была атмосфера «ридной Вкраины» в той области быта, где она пользовалась полнейшей самостоятельностью. Разве вместо безобразного пьянства (которое сделалось болезнью Шевченко и свело его в могилу), разве вместо дебошей то же общество не свободно было погружаться в науки, в искусства, в земледелие, в культурный труд? Украинomanы рисуют Шевченко как какого-то пророка и вождя – между тем втянувшийся в пьянство поэт быстро терял и талант, и то культурное развитие, которое дал ему «холодный Петербург». Украинomanы не могут забыть, что крепостного Шевченко как-то высекли. Но уже свободный и знаменитый, под пьяную руку он сам дрался и сек людей. Поссорившись как-то с шинкарем-евреем, Шевченко закричал своей компании: «А нуте, хлопцы, дайте поганому жидови хлесту!» Еврея моментально схватили и высекли. Такова была тогдашняя эпоха: насилия были в обиходе. Если уж оплакивать варварство тогдашней Великороссии, будто бы державшей Украину и ее поэта в неволе, то нелишне припомнить, какова была Украина и каков был сам поэт. Когда

за политическое преступление Шевченко был сослан в прикаспийские степи, то у всего кацапского начальства, у всего офицерства страшных николаевских времен Шевченко-солдат встречал самое сердечное, самое уважительное отношение. Нарушая закон, то есть рискуя потерпеть тяжелое взыскание, Шевченко-солдата освобождали от службы, принимали как равного в своем обществе, ухаживали за ним, разрешали все, что ему запрещалось (писать и рисовать), всеми мерами облегчали положение и старались выхлопотать прощение. Вопреки кричащей легенде ссылка и заточение Шевченко (серьезно им заслуженные) почти всегда были призрачными – до такой степени великорусское общество высоко чтит талант, хотя бы и малорусский, хотя бы враждебный России... У нас, к сожалению, пустые сплетни предпочитают документальным данным. Мне кажется, фанатики украинского сепаратизма окажут себе услугу, если изучат биографию Шевченко: она должна действовать весьма охлаждающе.

Шевченко умер сорока семи лет, то есть годами старше Пушкина, но сопоставьте эти два имени – и вы почувствуете, что такое культурная Россия и что такое она захолустная, провинциальная. Что бы там ни болтали ограниченные умом политики, Россию создавать не нужно: она создана – и создана историей не в чигиринском или конотопском горизонте, а в очертаниях мировой державы.

Великороссийская идея

Нам нужна великая Россия.

Из речи Столыпина

Сегодня открывается памятник государственному мученику, павшему от руки еврея. В лоне «матери городов русских» упокоился великий гражданин, в сердце которого горели те же государственные начала, что свыше тысячи лет назад вдохновляли государей новгородских и киевских.

П. А. Столыпин не был создателем русского национализма, но, как все благородные люди, он родился с преданностью своей стране, с чувством гордого удовлетворения своею народностью и с пламенным желанием защитить ее и возвеличить. Все русские люди с честью и совестью – сознательные или несознательные националисты. Они, как порядочные немцы, англичане, французы, поляки, финны, евреи, несут в душе своей наследственный завет служения своему племени, своему народу. Иначе и не может быть, если говорить о людях вполне здоровых, не поврежденных духом. Отдельная личность – лишь звено в бесконечной цепи рода, и все призвание этого звена – *не разрываться*, удерживать в себе полную передачу жизни из прошлого в будущее. Для этого каждое звено должно быть такой же железной крепости, как род, которого он является продолжателем. Эта родовая крепость, преобразуясь в личное сознание, дает патриотизм, расширяющий отдельную душу до неизмеримого объема родины. Люди столыпинского склада в России еще юношами, в ранние годы, ощущают радость чувствовать себя не какими иными, а только русскими людьми. Они на отечество свое глядят, как на мать, с жалостливой любовью: «Земля родная! Люблю тебя и молюсь за тебя, и за твое благо, если нужно, иду на смерть».

Столыпин еще до мученической смерти сделался дорог России тем, что сумел показать ей в своем лице некий пленительный образ – образ благородного государственного деятеля, имеющего высокую историческую цель. Сразу, в первые же дни, почувствовалось в нем бесстрашие и неподкупность, то непоколебимое упорство, которое в конце концов дает победу. По правде сказать, Россия истосковалась по такому историческому человеку – она давно ждет его не дождется. Возможно, что люди такого пошиба не раз появлялись на высоте власти: Яков Долгоруков¹, адмирал Мордвинов², граф Киселев³, граф Пален⁴ и др., но они не встречали надлежащих для себя условий. Их мысль встречала отовсюду гранитную стену непонимания или своекорыстной вражды, и они хоронили с собою неиспользованный для отечества талант. Среди множества

министров, имя которых гремело в годы их власти и покрывалось странным забвением на другой же день после отставки, бывали люди умные, ловкие, энергические, трудолюбивые, но на их фигуре и на их работе лежала та *facies Нурроcratica** государственности, что называется бюрократизмом. Оттенок неизбежной мертвенности, восковой налет оторванных от корневой жизни решений. Столыпин в роли министра не был бюрократом. Для подземелья русской жизни это показалось струей свежего воздуха, возможностью молодого, восстанавливающего творчества власти, что в годы революции многих примиряло с нею и вновь заставляло надеяться и верить в нее.

После неслыханного позора, который пережила Россия на Востоке, и общество русское, и народ русский были близки к отчаянию, к самоубийственному мятежу. Для всех представлялась ясной простая причина разгрома: чиновно-дворянская бесхозяйственность, неумение овладеть огромными средствами Империи, чтобы сделать ее непобедимой. Чиновники этого не могли сделать; сама собою сложилась мысль, что нужна иная, не канцелярская власть и что эта власть – что касается законодательства – должна быть в согласии с народной волей. Наскоро создано было народное представительство, о котором русское образованное общество мечтало целое столетие и ради которого деда нынешней аристократии шли на эшафот и в рудники Сибири. Но одно народное представительство, крайне невыработанное и случайное, не могло вывести нас из анархии. Необходимо было и *новое правительство* в стиле великой реформы. Столыпин чрезвычайно подошел к этому стилю или, по крайней мере, к главным его координатам. С первых же шагов и заявлений нового премьер-министра стало ясным, что глава власти нелицемерно предан идее народного представительства и что Государственная Дума дорога для него, как для самих ее членов. Это тоже было великой новостью, встреченной в обще-

* «Маска Гиппократата» – характерные особенности лица больного при тяжелых заболеваниях органов брюшной полости, описанные Гиппократом. Лицо, отмеченное печатью смерти (лат.). – В. Т.

стве с восхищением. Министр, уважающий народ, не только допускающий народное представительство, но внимательно выслушивающий его и соображающийся с его волей, – это-го мы ждали столетие и почти отчаялись, не дождавшись. И народ, и образованное общество к началу XX века были утомлены затянувшимся бюрократическим режимом, душой которого было неуважение к Родине. *Любовь* к Родине, может быть, у многих чиновников и была, но любовь, как известно, не исключает жестокости. Вспомните, как любовь к детям и к жене извращалась самодурством у купцов Островского: любовь любовью, но главное – «чего моя нога хочет». Этот самобытный тон жизни – наследие Средних веков – был усвоен и государством и явно вел к одичанию страны. Великая реформа и первый страж ее – Столыпин – внесли в наш заглохший патриотизм благородную прививку. Как для одичавшей яблони мало своих корней, для государственности мало любви к Родине – необходимо еще и *уважение* к ней. Без уважения народа к власти невозможно здоровое государство, но и наоборот: без уважения власти к народу невозможно культурное государство, по крайней мере современное.

Чтобы уяснить себе образно эту мысль, сравните плохой крестьянский огород с культурным. Крестьянин может очень и очень любить свои чахлые насаждения, но по темноте своей и лени он не уважает законов их роста, не дает растениям того, что они требуют. Культурный огородник может гораздо менее любить свои растения, но он *уважает* их природу, дает ей полный простор и питание, облагораживая полезным скрещиванием, подбором и прививкой, – и, глядишь, его огород получает волшебные преимущества перед крестьянским. Бюрократия наша при всех ее (мне мало известных) добродетелях имела этот основной порок: неуважение к природе общества, нежелание считаться с естественными правами народными. В результате упадок народной жизни через пятидесятилетие отмены крепостного права сделался местами угрожающим.

Когда заявлены и любовь к народу, и уважение к нему, этого уже почти достаточно для плодотворной государствен-

ной работы. Но Столыпин кроме этих драгоценных качеств принес в своем лице еще одно великое – государственный талант. Это совсем особый талант, настолько же специальный, как в науке и искусстве. Основную черту государственного таланта, как и всякого, я считаю способность угадывать лучшее и осуществить его. Это та же изобретательность, которая особенно ярко проявляется в гениальных умах. Источник изобретательности есть глубокая индивидуальность, несвязанность характера тем, что думают все. Благодаря возможности подумать самому гениальные люди нащупывает то, мимо чего все ходят и не замечают. Часто не замечают нечто давно уже открытое, но брошенное или забытое, что выпало из угла зрения или вытеснено наплывом новых, более низких мод. Как талантливый государственный человек Столыпин без труда нашел униженную, но великую идею – национальную. Она древняя, древнее самой государственности и веры, она жила у нас века и иногда господствовала, но после царя Алексея пришла в упадок прямо плачевный. Хотя третий член славянофильской формулы и указывает на *народность* как на одно из непререкаемых условий культуры, но славянофилы сумели только назвать идею национализма и не сумели ни развить ее содержания, ни примирить противоречий ее с другими своими основами. Национализм русский, конечно, не исчез совсем, как ничто в природе не исчезает, но без культурного ухода он одичал, как все дичает без ухода. Столыпин и умом, и сердцем примкнул к национальному движению, разбуженному у нас неслыханными бедствиями отечества. Талант Столыпина позволил ему понять, что приниженная народность не может дать высокой государственности, способной побеждать, и что лечить государство надо начиная с народа.

Слово «народ» у нас имеет, к сожалению, два смысла, и это придает ему двусмысленность. Чаще под «народом» разумеется простонародье, и это придает высокому понятию оттенок вульгарности. Государственный талант Столыпина подсказал ему, что в унижении у нас находится не одно простонародье, но и нация, которой простонародье составляет

98%. Поднимать нужно не только простой народ, но и самое племя русское во всем объеме этого слова. Чернорабочий народ нуждается в культуре, но нуждается в государственной культуре и образованный класс, без которого нет нации. Если в опасной степени расстроена материальная жизнь народа, то, может быть, гораздо опаснее то расстройство духа, потеря веры в себя, потеря самоуважения, без которых невозможна никакая победа. Что такое национализм? Это алгебраический x , обозначающий очень сложное и многочленное содержание. Но суть национализма составляет благородный эгоизм, сознательный и трезвый, отстаиваемый с упорством, как душа, как совесть.

Столыпин явился в ту эпоху растреления души русской, когда под иностранным и инородческим культурным засильем мы почти совсем забыли, что мы русские. Почти два столетия кряду нам прививалось отрицательное отношение ко всему *своему* и почтительное – ко всему чужому. «Иностранное» сделалось как бы штемпелем всего лучшего – «русскому» усваивалась оценка как второсортному и совсем негодному. Это началось при прапрадедах наших, и они не заметили, как очутились во власти морального завоевания, не менее вредного, чем завоевание физическое. Вместо того чтобы совершенствовать свое, мы начали хватать чужое, причем достаточно было даже чужому усвоиться как следует, чтобы на него распространилось презрение, относимое к своему. Хорошо усвоенное византийское Православие как только сделалось своим, стало казаться неудовлетворительным. Наша Церковь, когда-то возвеличенная до возможности появления таких святителей, как Филипп, Гермоген⁵ и Никон⁶, была унижена до материального и морального нищенства в столетия Протасова и Победоносцева. Самодержавие наше, заимствованное из различных иностранных источников – Византии, Золотой Орды и у западных самодержцев, – как только сделалось своим, стало внушать недоверие в значительной части образованного класса. Заимствованный, главным образом, из Польши и Голштинии крепостной феодализм лишь толь-

ко сделался национальным, начал казаться отвратительным, подлежащим отмене. Превосходно усвоенное в век Миниха и Суворова западное военное искусство показалось в эпоху Милютина слишком «своим» и только потому подлежащим отмене. Может быть, во всем этом сказывается общий закон, в силу которого заимствованное чужое ненадолго делается своим: чужое добро впрок нейдет. Так или иначе, но перед Столыпиным стояли два громадных факта, органически связанных. Несомненный упадок русской жизни, и государственной, и народной, с одной стороны, и потеря в народе веры в свое родное – с другой. Сложился губительный гипноз, будто мы ничего не стоим и ничего не можем и будто в таких условиях нам всего лучше уступать иностранцам и инородцам, уступать и уступать...

Из всех государственных людей Столыпин на своем посту наиболее определенно примкнул к русскому национальному движению, ставящему целью восстановить Россию в ее величии. «Вам нужны великие потрясения, – говорил Столыпин инородческой смуте, – *нам нужна великая Россия*».

При всей бессовестной клевете на русский национализм необходимо помнить, что это не какая-нибудь новость в природе. Это просто национализм, только русский. Он точь-в-точь схож со всеми национализмами на свете и разделяет все их добродетели и грехи. Вообще национализм – будь он английский или еврейский – есть лишь племенное самосознание или, как нынче любят говорить, племенное самоопределение. Вот это небо – наше родное небо, слышавшее молитвы предков, их плач и песни. Эта земля – наша родная земля, утучненная прахом предков, увлажненная их кровью и трудовым потом. В этой родной природе держится тысячелетний дух нашего племени. Каковы мы ни есть – лучше иностранцев или хуже их, – мы желаем вместе с бессмертной жизнью нашего племени отстоять и натуральное имущество, переданное прошлым населением для передачи будущему. Желаем, чтобы это небо и земля принадлежали потомству нашему, а не какому иному. Желаем, чтобы тот же священный язык наш, понятный

св. Ольге и св. Владимиру, звучал в этом пространстве и в будущем и та же великая душа переживала то же счастье, что и мы, сегодняшние. Да будет мир между всеми народами, но да знает каждый свои границы с нами! И иностранцы, и инородцы могут жить в земле нашей, но лишь под двумя условиями: или они должны быть временными гостями, не стесняющими хозяев ни количеством своим, ни качеством, или они должны усваивать нашу народную душу через язык, обычаи, законы и культуру нашу. Никаких иных государств в нашем государстве, никаких чуждых колоний, никаких отдельных национальностей, внедренных в нашу, мы допустить не можем, не обрекая себя на гибель. Вот почему мы миримся с крохотными народностями, растворяющимися в нашей, господствующей, если это растворение идет безболезненно и не слишком понижает качество нашей расы. Но если чужеземцы принимают огромную славянскую империю за питательный бульон для своих особых национальных культур, если они заводят особые, враждебные нам колонии, особые племенные сообщества, чуждаясь языка и духа русского, – мы обязаны всемерно этому препятствовать. Унаследовав от предков такое бесценное благо, как независимая государственность, мы обязаны передать его дальше, в долготу веков, усовершенствовав и возвеличив. Если никому не кажется странным, что Англия по всему неизмеримо огромному пространству своей империи поддерживает строгое господство своего языка, государственности и культуры, то пусть не кажутся странными те же требования и нашей политики в черте Российской империи. Если признается естественным, что немцы прежде всего покровительствуют немцам, поддерживая их победоносное положение среди покоренных народностей, экономическое и культурное, то пусть сочтено будет естественным и покровительство русской государственной власти прежде всего своей собственной, основной исторической народности, чье имя она носит.

Столыпин пришел в годы великого испытания. После двух столетий всевозможного покровительства инородцам Россия оказалась покрытой могущественными сообществами

поляков, финляндцев, евреев, армян, немцев и проч. Когда бюрократия наша, обессиленная и обездушенная инородческим засильем, оказалась разбитой на Востоке, поднялось восстание, вдохновленное по преимуществу теми же инородцами. Столыпин довершил борьбу с восстанием и провел ряд мер против финляндского, польского и еврейского натиска. Не погибни он от еврейской пули, возможно, что эти разрозненные меры сложились бы в строго национальную государственную систему, отсутствие которой так глубоко чувствуется...

Древнерусскому Киеву выпала грустная честь упокоить в себе прах нашего последнего государственного героя.

Как змея, выползшая из черепа верного коня, убила вешего Олега, так черная еврейская измена вышла из священных стен киевских, чтобы поразить самое могучее, что имела в себе наша живая государственность. Но как с Олегом не погибла Русь, со смертью Столыпина не погибла еще державная наша сила и мы все еще в состоянии бороться с государственным предательством и одолевать его.

Да помянет же Господь во Царствии Своем великого страдальца, кровью своею запечатлевшего верность Отечеству. Да помянет и народ русский из рода в род одного из благороднейших своих сынов, показавшего, как надо жить для России и умирать за нее!

Письма к ближним. Крайности сходятся

Удивительно, что в органах крайне правого направления не всегда ясно себе представляют, что такое крайняя правизна. На днях я высказал в печати «глубокое убеждение, что какой бы крайний лагерь ни захватил в обществе власть, результатом этого явится разгром общества, разгром художественно-тонкого строения культуры и самое плачевное одичание». Это, сказать кстати, и заставляло меня все время моей журнальной деятельности бороться против обоих крайних фронтов. Против этих строк в газете «Земщина» я

встретил следующее, весьма заслуживающее внимания возражение, подписанное псевдонимом «Волна».

«Мы совершенно не можем согласиться с мнением, будто захват власти каким бы то ни было крайним лагерем ведет к разгрому художественно-тонкого строения культуры. Да кто же всегда были носителями и служителями идеалов художественной культуры, культуры духа и когда процветали живые источники духовного творчества, как не тогда, когда об оскудении родовитого дворянства еще не было и помину, так же, как и о рождении нового типа безграмотных, совершенно некультурных претендентов на право властвования? Ведь не снизу же получило государство бессмертные творения искусства во всех формах его, начиная с литературы и кончая хотя бы зодчеством. Какое же основание имеет почтенный М. О. Меньшиков предполагать, что если у власти окажутся «крайние» элементы – потомки Фета, Пушкина, Гончарова, Маковского¹, Алексея Толстого, Суворова, Кутузова и иных лиц, внесших богатые духовные вклады в историю России, то они окажутся громилами культуры так же, стали им господа Аладыны, Кузнецовы и иные герои 1905 года? На каких, собственно, примерах основывает свое убеждение М. О. Меньшиков? История французской революции говорит о разгроме памятников искусства без участия в этом высшего класса. История падения искусства и культуры в Греции и Риме тоже совпадает с падением власти высших слоев и захвата власти чернью».

Вот тема, вечно свежая по глубокой серьезности и заслуживающая, чтобы каждое поколение над нею много думало. Мне нетрудно в нескольких словах раскрыть основную ошибку моего противника. Почему он думает, что «родовитое дворянство» – истинный носитель культуры – было у нас *крайне правого* лагеря? Почему он думает, что великие, перечисленные им писатели наши, поэты, полководцы и пр. были крайне правыми? Он в этом плачевно ошибается.

Ни у нас и, я думаю, нигде в свете *родовитая* аристократия никогда не стояла на крайне правой стороне общества. Она стояла наверху общества и занимала то же положение, какое

занимает вершина горы в отношении ее склонов. Вот ее естественное место (в моих, по крайней мере, глазах), как крайняя вершина аристократии – естественное место монарха. Вершина горы при правильном ее строении не может назваться ни «правой», ни «левой», частью ее, ни тем более *крайне* правой или *крайне* левой. Вершина совпадает с мерилом всякой мудрости, с «золотою серединой», с положением некоего высшего равновесия, отвечающего основному замыслу природы.

Проследите всемирную историю и нашу (попытка, конечно, трудная в газетной статье). Вы увидите, что именно *родовитая*, то есть настоящая аристократия, пока она не вырождалась, то есть пока не переставала быть самой собою, всегда действовала умиряюще на обе крайности: и на народ, и на власть. И греческие евпатриды², и римские оптиматы³ хотя были консервативною партией, но одинаково боролись как против подонков народных, так и против тирании власти. Пока держалась родовитая аристократия, держалось органическое и мирное строение культуры, развитие всех талантов и направлений народного творчества. Пока держалась родовитая знать, держалась и присущая ее духу свобода и культ человеческого достоинства. Правление было или умеренно-республиканское, или умеренно-монархическое. Даже тираны, вроде Пизистрата⁴, вынуждены были управлять с большою мягкостью или были изгоняемы, как его дети. То же смягчающее влияние *родовитой* аристократии вы встретите во всех средневековых монархиях. Испанские гранды, английские лорды, французские бароны, русские бояре – они неизменно во всех странах являлись носителями народного величия, личной свободы и достоинства. Окружая трон монарха, родовитые дворяне несли к трону то, что имели: благородную душу, которой по природе ее не свойственны несправедливость и угнетение. Так как старая знать чувствовала себя одной крови со своими монархами, одной многовековой и славной службы родине, одной истории национальных подвигов, то этой высшей знати не приходилось ни холопствовать перед троном, ни прятать своего значения. Родовитая знать, пока она не выродилась и

не смешалась с выходцами из иных слоев, разделяла власть со своим монархом, ограничивая крайние эксцессы ее уже чисто моральным своим влиянием.

Вот роль родовитой знати. Совсем другое дело – знать неродовитая и густо перемешанная с вольноотпущенниками и варварами, как это было в эпоху упадка Римской республики. Почти во всех странах идет один и тот же процесс: расцвету родовитой аристократии соответствует не крайне, а весьма умеренное правление, где власть ограничена благородством духа, свойственным высшей касте. Но по мере затяжных войн родовитая аристократия вымирает. Лучшая, героическая часть ее остается на полях битв, а оставшаяся дома, сравнительно робкая и слабая, уже не в силах бороться с двумя насилиями – сверху и снизу. Начинаются народные волнения снизу и суровые тирания сверху.

Как превосходно изложено у Тэна⁵, старая французская аристократия, пока она обитала в своих замках, сдерживала самовластие королей и была любима народом. Она стала ненавидима народом, когда бросила свои деревни, бросила свою власть над народом и целыми массами устремила ко двору. Здесь, сделавшись придворным классом, французская аристократия, как и наше боярство в XVI веке, потеряла и силу, и благородные свои черты. Еще до великой французской революции французская аристократия была разгромлена: бесконечными войнами, дуэлями, расправами королей (вспомните *lettres de cachet*^{*}) и главное – изнеженностью и сервилизмом придворной жизни. Что такая переродившаяся, перемешанная с чужеродными элементами аристократия уже непригодна быть носителем и защитником художественно-тонкого строения национальной культуры, показала великая революция. Ведь если бы аристократия Людовика XVI, сделавшаяся к тому времени неспособной умерить власть, была сколько-нибудь живуча и сильна, то не было бы и этого колоссального бунта народного, не было бы возобладания (правда, на один момент) французской черни.

* «Спрятанные, закрытые письма» – тайная дипломатическая переписка (фр.). – В. Т.

Именно революция-то и доказывает, что выродившаяся знать, погрязшая в подбострастии, не способна умерить правление, не способна сдерживать напор ни сверху, ни снизу.

Мой почтенный противник не допускает, чтобы крайние правые элементы, захватив власть, явились губителями художественно-тонкого строения культуры. Я мог бы, конечно, сослаться на Нерона⁶, сжегшего Рим со всеми искусствами, или на Омара⁷, сжегшего Александрийскую библиотеку. Мог бы, будь у меня побольше места и времени, привести очень длинный список великих пророков, вероучителей, философов, поэтов и даже художников, потерпевших от тирании крайне правых элементов, захвативших власть. Принято думать, что древние тираны покровительствовали культуре, поддерживая заказами художников разного рода. Отчасти это правда. Но ведь мы не знаем, какое множество великих произведений *не появилось* на свет из-за страха не угодить названным покровителям. Мы видим то, что прошло сквозь крайне правые сети. А то, что не прошло? То, что навсегда погибло или при рождении своем, или при зачатии в сердце художников и мыслителей? Это тоже следует учесть.

Что говорит история

Я должен сделать важную оговорку. Под «художественно-тонким строением культуры» я разумею вовсе не одни изящные искусства, а всю область народного жизнетворчества. Сюда нужно отнести и религию, и философию, и науку, и политический строй, и земледелие, и промышленность, и торговлю. Прошу моего почтенного оппонента вспомнить хотя бы главные исторические разгромы русской культуры и ответить по совести: не крайними ли правыми направлениями они совершены? Первым разгромом я считаю (чтобы начать с чего-нибудь) ошибку Владимира Святого, разделившего Русь между своими сыновьями. Согласитесь, что в интересах нашего племени этого не надо было делать: Россия нуждалась в единой державии, и если бы князь Владимир сумел преодо-

леть в себе модный тогда взгляд на государство как на вотчину свою, то он оказал бы России великое благодеяние. Собранная воедино за много столетий до московских собирателей, Русь за двести лет до татар могла бы укрепиться и дать громовой отпор монгольской орде, вся численность которой не превышала 300 тысяч человек. Собранная воедино, то есть не разделенная Владимиром и не ввергнутая в пучину удельной анархии, Русь, нет сомнения, еще в XI и XII веках, до захвата Византии крестоносцами, сумела бы осуществить мечту Олега⁸, Игоря⁹ и Святослава¹⁰, то есть завладеть Константинополем. Если завладела им горсть французских рыцарей, если Царьград чуть не сдался полудикому болгарскому царю Круму¹¹ и, наконец, сдался Магомету II, то почему это было бы не доступно объединенной России? Я уверен, единая Русь, имея талантливых вождей, могла бы еще три четверти тысячелетия назад решить славянский вопрос, нерешение которого составляет трагедию наших дней. Я не знаю, советовался ли князь Владимир со своими боярами и богатырями, когда делил Россию на части, но что он не советовался с народом русским – это известно доподлинно. Раздел России был актом не крайне левого и не умеренного, а крайне правого принципа. Это было самоубийством единодержавия, причинившим России неисчислимые беды.

Второй пример. По самому смыслу призвания варягов князья являлись судьями «по праву» и вождями народными. (У Нестора: «И почаша сами в себе володети, и не бе в них правды, и вста род на род, быша в них усобиц, и воевати почаша сами на ся. Реца сами в себе: “Поищем себе князя, иже бы володел нами и судит по праву”»). Какова была военная защита России – это показало татарское нашествие. Каков был суд «по праву» – свидетельствует легенда о суде Шемяки. Спрашивается: оберег ли художественно-тонкое строение русской политической культуры крайне правый принцип, даже не «захвативший» власть, а получивший ее из рук народа?

Третий пример, более близкий, хотя и не слишком близкий по причинам, которые можно не пояснять читателю. Из московских монархов Иван Грозный справедливо считается

наиболее типичным носителем крайне правого принципа. Не слышал ли мой почтенный оппонент что-нибудь о внутренней политике этого монарха? Об эпохе казней, во время которых погибло множество представителей родовитого дворянства, а некоторые роды были искоренены начисто? Ведь аристократия, как ни на есть, тоже принадлежит к «художественно-тонкому строению культуры». Ведь боярство было живым искусством русской истории, произведением высшего ее искусства. Ужасно, конечно, когда чернь или варвары громят статуи и картины великих художников, но ведь национальные сословия, национальные учреждения, веками сложившиеся обычаи – разве они дешевле статуй или коринфских колонн? Иван Грозный при помощи опричнины громял не одно будто бы враждебное ему родовитое дворянство (в сущности, оно вовсе не было ему враждебно, напротив, своею кровью оно защищало трон его, но своим древним величием и властью над народом оно только умеряло крайности Ивана, морально ограничивало их, и это приводило его в неистовство). Подобрав в опричнину худшее, что было в обществе, Иван IV громял лучшее, что было в обществе. Жертвами этого разгрома пали не только благороднейшие элементы боярства вроде Репнина и благороднейшие элементы духовенства (митрополит Филипп)¹², но в ярости своей Иван Грозный убил и престолонаследника своего, замучил нескольких жен и подсек под корень семисотлетнюю династию варягов. Это было второе самоубийство единоподданства, стоившее России гибельной эпохи смут.

Скажите, почтенный г. Волна, неужели это не достаточно выразительный пример того, что в руках людей и крайне правого направления власть ведет, как я сказал, к разгрому общества, к разгрому художественно-тонкого строения культуры? Приглашаю моего противника вспомнить знаменитые походы Ивана Грозного на Тверь и Новгород. Скажите по совести: заслуживали эти древние областные центры (с замечательной по тому времени культурой) того, чтобы предавать их огню и мечу? Ведь за всю свою сверхтысячелетнюю историю Новгород Великий не переживал ни от одного из внешних врагов

такого ужаса, который он пережил от своего собственного монарха. И Новгород, и Псков были очень богатыми ганзейскими городами, восхищавшими иностранцев своим многолюдством и великолепием (вспомните отзыв о Пскове монаха, находившегося в свите Стефана Батория¹³). Хотя уже сильно разоренные предыдущими московскими князьями, и Псков, и Новгород все еще имели кое-какие традиции заграничной торговли, имели сословия старинных купцов, имели население и капиталы, пригодные для того, чтобы развивать промышленность и торговлю в масштабе тогдашних европейских держав. Спрашивается: нужно ли было расстраивать, разрушать, опустошать эти национальные торгово-промышленные центры, наши Гамбург и Амстердам? Не следовало ли лучше укреплять их всемирно и способствовать их исторической роли? Результатом разгрома этих цветущих городов было то, что мы потеряли самостоятельную торговлю с Западом и попали в двойную зависимость: от поляков и англичан. Сухопутная торговля вместо задуренных русских центров, Новгорода и Пскова, направилась через Литву на немецкую тогда Ригу, а московская торговля (через Белое море) захвачена была англичанами. Ведь для исправления именно этой самоубийственной ошибки Петру Великому пришлось вести 20-летнюю Северную войну, разорившую Россию. Для исправления ее пришлось строить «С.-Петербург» на устьях Невы и заводить искусственно тот флот, который, вероятно, завелся бы у нас самостоятельно, если бы два жизненных центра заморской торговли не были искоренены.

Петр I был представителем крайне правого направления: он ставил себе в образец Ивана Грозного и повторил в своей жизни многие его ошибки. Он закончил борьбу Ивана Грозного с боярством и духовенством отменой Боярской Думы и патриаршества. Он покончил с умерявшею власть народною стихией отменю Земского Собора. Казнь царевича Алексея он повторил гибельную ошибку Ивана Грозного. Вы скажете: Петр насаждал культуру, он вводил заграничные учреждения и обычаи, стриг бороды, резал длинные кафтаны наших пред-

ков и пр. Да, совершенно верно. Он делал все это и многое другое. Но насаждение всего чужого вместо своего не похоже ли на тот разгром «художественного строения культуры», о котором я писал? Неужели можно счесть правильным, что сегодня нас хотят сделать голландцами (москвичей XVII столетия!), завтра – французами, послезавтра – немцами? Я лично предпочел бы жить и умереть в стране, *свободной* от таких культурных опытов. Удивляюсь, что Россия не имеет своей великой цивилизации. Но, может быть, она потому и не имеет ее, что ей не дают спокойного времени, чтобы опомниться от принудительных подражаний.

Была же у нас великая культура, скажете вы, и еще есть она. Были же у нас Пушкин, Тургенев, Лев Толстой, Достоевский, Глинка, Чайковский, Крамской¹⁴, Верещагин¹⁵, Захаров (строитель адмиралтейства), Суворов, Менделеев и пр., и пр. Да, они были. Но ведь они были уже в XIX столетии, в эпоху так называемого «просвещенного абсолютизма». Это было в век, когда крайне правый принцип был умерен и связан общеевропейскою культурой. Ни Александра I, **при котором расцвел Пушкин**, ни Александра II, при котором воссияла великая наша проза, никак нельзя поставить в один ряд с Иваном IV или Петром I. **Я никому не навязываю своих мнений**, но искренне думаю, что «художественно-тонкое строение культуры» в обществе подобно роскошному узору, который вышивает женщина. Для работы нужно, чтобы не связывали рук, не толкали под локоть, не завязывали глаз, иначе ничего не выйдет. Благородная красота и счастье есть награда свободной души народной. Награда не крайних насилий справа или слева, а крайне осторожного, полного нежности выбора.

«Пророки» и держиморды

В газете «Земщина»¹ г. Ал. Ефремов посвящает длинную статью одному из моих «пророчеств», к глубокому сожалению, иногда сбывающихся. Статья озаглавлена «Пред-

сказание сбылось», а начинается она так: «Когда семь лет тому назад генерал В. А. Сухомлинов² был призван к власти, М. О. Меньшиков встретил это назначение пессимистическим предсказанием, почти пророчеством, смело отметив явное пристрастие нового военного министра к евреям. Пророчески предостерегал он наше общество усилить бдительность за новыми порядками военного министра, открыто симпатизирующего кагалу и “освободительству”. Печально, что словам Меньшикова в свое время не было придано надлежащего значения, печально и то, что пророчество публициста было забыто, а всего печальнее то, что сам новоремесенский пророк не может уже и не имеет особого желанья вспоминать о своем предостережении». Далее идут обычные в последнее время упреки правой печати по моему адресу, почему, мол, я не возвращаюсь к еврейскому вопросу, с разными более или менее оскорбительными разгадками причин моего «молчания». Г-н Ал. Ефремов патетически взывает: «Пророк сам оказался в плену иудейском... Пророк умолк по обстоятельствам, зависящим от его воли... Какая ирония судьбы!»

В ответ на это позвольте мне из предполагаемого плена иудейского ответить следующее. «Земщине» известно, что еще в начале войны русской печати преподан был свыше лозунг: оставить националистические споры и перекоры, забыть на время о внутренних распрях, отдаться тому громадному подъему патриотизма, который тогда объединил под императорскими знаменами все народности России, не исключая поляков, евреев, латышей и кавказских племен. Державному русскому племени в период войны не время сводить счеты с маленькими народцами, переживающими в одинаковой мере неслыханную катастрофу и в одинаковой мере проливающими кровь за общее великое отечество. Таков, сколько помнится, был правительственный лозунг, обязательность которого в катастрофические дни не подлежала спору. Вот первая в ряду разных причин, в силу которых я надолго отложил еврейский вопрос, как и многие иные, до наступления мирных времен. Все внимание печати или почти все должно было направить-

ся на посильное служение войне и победе. Свыше года у меня одна лишь тема – «Должны победить». Вторая причина, в силу которой пришлось отложить еврейский вопрос, это та же, по которой была прервана и тема «Должны победить»³. Всякой теме имеется некоторый естественный предел. В течение десяти лет я так часто возвращался к еврейскому вопросу, что, мне кажется, исчерпал в нем почти все, что имел сказать. Кто интересуется моими взглядами на еврейский вопрос, тот может прочесть их или в «Новом времени» за прошлые годы, или в отдельном издании моих статей под общим заглавием «Письма к ближним». Это не значит, что еврейский вопрос я считаю более неинтересным или незначительным, но ни для меня, ни для читателей в этом вопросе, как мне кажется, пока еще не обнаружилось новых и серьезных перемен. Третья причина моего «молчания» следующая. Текущая колоссальная война, как и предыдущая японская, воочию показали, что кроме мелких инородческих вопросов в России есть необъятный по важности вопрос *русский*. Это вопрос общего нашего исторического положения среди народов и способности нашей защищать свое место под небом. Евреи во многом виноваты, но не они же, однако, призваны защищать нас. Не они тысячу лет были у нас законодателями, министрами, судьями, теми общественными деятелями, которым от имени огромного народа русского вручена была его оборона от внутренних врагов и внешних. Я не хочу говорить о В. А. Сухомлинове все, что могу сказать до окончания судебного о нем дела, но все-таки позволю себе утверждать, что он был не еврей. Не евреи были и его помощники, составлявшие президиум обороны, и его предшественники. Не евреи составляли наш парламент, имеющий даже по скромной нашей конституции права известного надзора над министрами. Из достаточных данных, проскользнувших в печать относительно обвинений, предъявленных генералу Сухомлинову, нельзя заключить именно о «еврейском» характере этого грустного дела. Подождем его окончания, а пока у меня лично нет данных признать, что мое «пророчество» о генерале Сухомлинове *вполне* сбылось. Оно сбылось лишь *отчасти*, и

в той обстановке, какую я не ожидал, а не сбылось именно в отношении еврейства, которому я отводил в своем представлении слишком большую роль.

Я писал буквально следующее (см.: Майор Мардохей. – Новое время. – 1909. – 15 марта): «Рекомендация со стороны евреев генерала Сухомлинова не обещает ничего доброго. Именно теперь наши патриотические и национальные союзы должны удвоить и утроить свое внимание к военному ведомству. Нужно смотреть за последним с величайшей зоркостью, ибо давно начавшееся нашествие евреев собирается, кажется, хлынуть туда целым истоком... Генерал Сухомлинов, несомненно, русский человек, но того поколения, которое воспитано в крайне нездоровые наши нигилистические годы. Далек не все русские люди вышли из обезличивавшей атмосферы тех лет безнаказанно. Есть чрезвычайно почтенные господа, которые искренне верят в свою верность Родине и которые не подозревают, до какой степени у них понижены исторические инстинкты чувства народности и патриотизма. Случай власти. Будем желать ему всевозможного успеха. Постараемся каждый, сколько может, помочь ему в его великих замыслах, если таковые обнаружатся. Но пусть общество зорко смотрит на эту не слишком твердую власть и вовремя поддержит ее полезным сопротивлением. Особенно такая поддержка нужна в отношении евреев, если они, в самом деле, наметили здание против Зимнего дворца как свой Ханаан».

Беспристрастный читатель благоволит припомнить, что особенного наплыва евреев в армию при генерале Сухомлинове не замечалось, и я не думаю, чтобы моя статья «Майор Мардохей» могла тогда помешать этому наплыву. Если что исполнилось из названной моей «пророческой» статьи, то лишь общая характеристика людей нетвердой власти, воспитанных в нашу нигилистическую эпоху. Особенно заинтересованными нетвердой властью на высоком посту оказались совсем иные элементы, гораздо более могущественные, чем перечисленные мною в статье киевские евреи. В моей статье, к глубокому сожалению, об этих элементах не было сказано ни слова.

Но его и не было и *не могло быть* в условиях русской печати. О евреях в те времена, семь лет тому назад, писать было можно, о немцах же писать было нельзя, по крайней мере, с тою же откровенностью, как о других инородцах. «Новое время» подвергалось и до японской войны, и после нее самым тяжким давлению со стороны разных ведомств, кроме цензурного, за самый сдержанный отпор тевтонским притязаниям.

Это не могло бы появиться в печати ни под каким соусом, кроме разве еврейского. Но этот еврейский соус, то есть предостережение об опасности, грозившей военному ведомству со стороны подкупа, могло появиться только в 1909 году. В дальнейшие годы никакие пророчества в этом роде уже не являлись возможными по простой причине. Кратковременная у нас (и вообще весьма относительная) свобода печати продержалась лишь в первые три-четыре года после конституционной реформы. Уже в эпоху Столыпина, под конец ее, чувствовалось возвращение старых инстинктов, реакционных и ретроградных, особенно в том *punctum vegetationis** расцвета всякой гражданственности, который представляет свобода слова.

Уже в 1909 году в той же самой статье, которую «Земщина» называет «пророческой», я далеко не все мог сказать о новом министре, что мне сообщали из киевских национальных кругов. Из того, что я решился сообщить, самое характерное было выпущено по настоянию редакции. В том же году, как было отмечено в моей записной книжке, задержан был целый ряд моих статей (11, 20, 22 августа, 10 октября, 22 декабря) исключительно по цензурным условиям. Даже благородный Столыпин, понимавший значение свободы слова, в некоторых случаях вызывал М. А. Суворина⁴ и требовал крайней сдержанности в критике правительственной деятельности. Не знаю: сам ли Столыпин, или его тогдашние коллеги (все они уже сошли со сцены) настаивали на том, чтобы печать отнюдь не колебала «авторитета власти» какими-нибудь неблагоприятными о ней суждениями. В силу этого в числе погибших моих статей была одна, недопущение которой было, мне

* Точка роста – о растении (лат.). – В. Т.

кажется, очень большой ошибкой. Это была большая статья (набранная на 11 августа 1909 г.) о бракоразводном процессе супругов Бутович и об участии в этом процессе В. А. Сухомлинова. Статья была написана по целому портфелю документов и засвидетельствованных копий, доставленных мне из России и Франции г. Бутовичем, бывшим супругом Е. В. Сухомлиновой. Хорошо зная строгость законов о диффамации и клевете, я решил представить русскому обществу свод документальных данных, дававших такую характеристику прикосновенных к делу лиц, над которою следовало бы очень призадуматься. Статья, как мне объяснили в редакции, была задержана по телефону от П. А. Столыпина с категорическим требованием не касаться этого «частного» дела военного министра. Допустите, что эта, может быть, слабая по силе выражения, но вполне правдивая статья была бы тогда пропущена. Возможным следствием ее было бы то, что никакие «пророческие» статьи о генерале Сухомлинове в дальнейшем не понадобились бы, не понадобился бы и «Крик отчаяния» в мае 1912 года со стороны комиссии государственной обороны в Государственной Думе и многое, многое такое, что могло бы и должно не быть... Все бы, может быть, тогда поняли, что у *государственных*, как и у *общественных* деятелей не должно быть частных дел, нуждающихся в сокрытии от общества, как у часового на посту – никаких «частных» слабостей.

Русская печать, как я свидетельствую о себе лично, не могла еще семь лет тому назад принести единственной пользы, которую она обязана оказывать отечеству, именно разоблачением надвигавшейся опасности. Чувствительное давление на освобожденную в 1905 году печать продолжалось до самой смерти Столыпина, но с этим давлением все еще можно было бороться, так как Столыпин был человек рыцарственной души и оценивал побуждения обличительного слова. Сам В. А. Сухомлинов пытался приспособить к себе печать и, может быть, не без успеха в иных, не слишком требовательных редакциях. В начале февраля 1911 года он с большой любезностью прислал мне в качестве материала свой законопроект о всеобщей

воинской повинности. Я написал статью (Пересмотр армии. – 1911. – 3 февраля), в которой назвал некоторые части законопроекта непродуманными, и генерал Сухомлинов тотчас просил этот материал вернуть и не пользоваться им для продолжения статьи. Я тогда же убедился, что сколько-нибудь серьезных заслуг для Родины со стороны генерала Сухомлинова ждать нельзя. Это убеждение окрепло у меня в начале следующего года, когда Третья Государственная Дума, опираясь на доклад Комиссии государственной обороны, подняла знаменитый «крик отчаяния». Он был подхвачен честною патриотической печатью и, между прочим, моим скромным голосом (см.: Крик отчаяния. – 1912. – 10 мая). Генерал Сухомлинов пробовал полемизировать со мной на страницах общей и военной печати. Особенно старался «Русский инвалид»⁵ под старой его редакцией. Военная газета, как я писал тогда, обратилась в «фиговый лист» для военной тогдашней бюрократии. Мои статьи по военным вопросам «Русский инвалид» характеризовал тогда «как удушливый и ядовитый газ», который «постепенно наполняет атмосферу наших народных и общественных настроений». Подобными статьями, доносил «Инвалид», «насилуо прививается такой дух уныния, который, как болезнь, входит пудами, а выходить будет золотниками... Хорош дух той армии, которая в день объявления войны будет насыщена элементами, впитавшими в себя со столбцов печати одно убеждение – в негодности оружия».

Вот что писал «Русский инвалид» едва ли не собственною рукою своего тогдашнего вдохновителя.

В статье «Нужно ли обманывать Россию» (1912. – 28 июня) я отвечал на это: «Видите, какая подводится инсинуация: в будущих поражениях будет виновато отнюдь не негодное оружие, а печать, которая предупреждала о том, что оружие негодно».

Печать сеет недоверие к негодному оружию, а недоверие рождает уныние, и все это вместе, видите ли, роняет “дух”. Гораздо, стало быть, выгоднее, чтобы народ и армия шли в бой со слепую верою в негодное оружие и разочаровались бы

в нем только на поле сражения. Чудная логика! По этой логике, если бесчисленные поезда везут армию на поле битвы и если печать знает, что железнодорожный мост впереди не годен, что он непременно рухнет и погубит армию, то печать все-таки не смеет предупредить об этом настойчиво и громко». Как читателям известно, мне недолго пришлось полемизировать с военным ведомством. По инициативе тогдашних министров нашей обороны, с благосклонного согласия Государственной Думы и Государственного Совета был принят закон, совершенно заграждавший уста печати, что касается недостатков и злоупотреблений в военном и морском ведомствах. Коротко и просто.

Я не знаю, серьезно или иронически «Земщина» называет первую мою статью о генерале Сухомлинове «пророческой». Она действительно оказалась пророческой наполовину, как и множество других моих статей, чего я отнюдь не ставлю себе в гордость или в заслугу. Дело в том, что публицистика, понимаемая сколько-нибудь серьезно, есть по самой природе своей пророческое призвание, но требует двух условий: искренности и свободы. Каждый способный к своему делу журналист в состоянии до известной степени предвидеть и, стало быть, предсказывать с большею или меньшею вероятностью общий ход событий. Для этого достаточно ясно осветить факты действительности и сделать логический вывод. Но ведь в этом же и долг нашей профессии! Мы обязаны беспристрастно судить о вещах и давать свое понимание их. Честность мысли при некоторой осведомленности достаточно ограждает ум от ошибок. Однако, кроме внутреннего условия «пророчества», решительно необходимо и внешнее – свобода слова. Казалось бы, если вы не расположены слушать чьи-либо предсказания, кто же препятствует вам не слушать их? Но у нас еще держится глубоко нечестивый и варварский взгляд, будто несогласные с нашими мнениями нужно запрещать. Как в древности гнали пророков и даже величайших из них предавали смерти, как подвергали гонению и даже смерти великих ораторов и мудрецов, так подвергаются тяжким ограничени-

ям и современные публицисты, даже наиболее крупные из них (как Чаадаев⁶, Герцен⁷, Ив. Аксаков⁸ и др.). Я не решусь сказать, что преследованием свободного слова одержима одна лишь правящая бюрократия. Не менее свирепым духом нетерпимости одержима и сама печать, особенно на крайних оконечностях своих крыльев. И радикалы, и ретрограды одинаково инквизиторски относятся к свободному мнению, если оно им неприятно. Тут призванные быть пророками пишущие люди гораздо охотнее берут на себя роль держиморд. Они набрасываются на вас с остервенением – хуже, чем гоголевских полицейских, – а прямо каких-то болгарских палочников эпохи Стамбулова. Так как «Земщина» – крайне правый орган, то пусть г. Ал. Ефремов последит за своей почтенной газетой и за ее отношением к свободному слову. Если же это не так удобно, то пусть почитает столь же крайнее «Русское Знамя»¹⁰. Как на свежий пример бесчинства в этом роде укажу на статью «Опасные фантазии» в этой газете, помещенную на днях. В этой статье безвестный автор призывает на меня и на профессора Мигулина¹¹ все небесные и земные громы за то, что мы позволили себе «сметь свое суждение иметь» относительно общего хода этой войны вообще и верденских операций в частности. Суждения наши были, может быть, правильны или ошибочны, во всяком случае, они пропущены военной цензурой. Вот это-то и бесит ретроградную газету. Ей кажется, что нас следовало бы схватить за горло и тащить в участок, что мы выбалтываем «по несообразительности» какие-то секреты неприятелю, и пр., и пр. Не знаю, еврей или русский писал этот добровольческий донос на нас с профессором Мигулиным, но чувствуется, что по духу своему это именно то, что называется держимордой. Что ж, в самом деле, валить все вины на правящую бюрократию? Чем же лучше, чем гуманнее и справедливее сама печать в ее крайних лагерях? И если пророчество в печати только мечта, то не сами ли гг. журналисты во многом виноваты в том? Пророчество и зажимание горла друг другу – вещи несовместимые, как гений и злодейство, по словам Пушкина.

Письма к ближним. Золотое сердце

«Золотое славянское сердце соединится с разумом Запада и образует ценный сплав; из него будет отлит колокол, который возвестит рождение новой цивилизации, когда справедливость будет возвышать свой голос с той же силой, как и любовь».

Эти слова знаменитого поэта Жана Ришпена¹, обращенные как привет к членам нашей Государственной Думы, гостящим во Франции, меня несколько царапнули по сердцу. Приветствие изысканного поэта изысканной нации написано в стиле тех священных изречений арабской вязью, которыми украшены фонтаны восточных храмов. Тут глубина и красота мысли и пышная узорность ее, предназначенная вместе с фресками нежить взоры веков. Но если перевести эту утонченность на простой язык, то получается несколько обидный (по крайней мере, для меня лично) смысл. Желая сделать России наилучший из комплиментов, французский поэт ничего не нашел отметить, кроме «золотого славянского сердца». Оно противопоставляется будто бы равносильному достоинству Запада, именно разуму его, простому или бриллиантовому, к сожалению, не прибавлено. Итак, у нас – только хорошее золотое сердце, у них – разум.

Признаюсь, мне лично такая национальная характеристика славянства, помимо вопроса о ее справедливости, не кажется лестной. Она напоминает характеристику славянской расы, данную когда-то Бисмарком. По мнению последнего, славяне – племя женственное по характеру, тогда как немцы – племя мужское. Немец – будто бы как тип мужчина, славянин – всегда немножко женщина. Не кажется обидным, когда говорят о золотом *женском* сердце, превозносить же золотое сердце мужчины – значит в каком-то важном отношении компрометировать его. Так, по крайней мере среди народов арийской расы, установилось понимание мужественности и женственности. «Мужчина должен быть свиреп, гласит испанская пословица», – говорит один тургеневский герой. Есть ли такая пословица, я не знаю,

но на нашем языке когда говорят человеку: «Не будь бабой», – хотят выразить, что мужчине неприлична слабость сердца, мягкосердечие, чувствительность и излишняя нежность. Я боюсь, что прославленный французский поэт, говоря о «золотом славянском сердце», совсем нечаянно для себя расписался под бисмарковской характеристикой славянской расы.

Что славянам недостает твердости характера, то есть ясно выраженного стиля души, об этом чуть не в один голос говорят все европейские наблюдатели, которые серьезно интересовались этим вопросом. Если не все, то многие говорят о славянском добродушии, о славянской мягкости, простоте, безыскусственности, возможности без особенных церемоний сойтись с человеком и сдружиться с ним. Сдружившись же с русским человеком, очень нетрудно и поэксплуатировать его, приспособить к тому, чтобы он обслуживал вас без большой, а иногда и без всякой требовательности относительно вознаграждения. Это дорогое и прямо-таки золотое свойство русского сердца из европейцев прежде всего открыли немцы и давным-давно, лет триста тому назад, начали использовать этот источник дохода. Судя по множеству выходцев из Ливонии, «из прусс», из Швеции, из земли Цесарской немцы потянули в Россию еще в великие времена Москвы. В половине XVII века в Москве была уже очень крупная немецкая колония. Судя по отзывам немцев о России, они и тогда презирали ее, как только может грубый мужчина презирать женщину. А в какой степени даже гениальный немец может презирать женщину, об этом прочтите у Шопенгауэра в его убийственных отзывах о слабом поле. Для Шопенгауэра женщина – это «второй сорт» человека, существо на целую ступень ниже мужчины.

Поразительно, с какой настойчивостью из века в век от подавляющего большинства немцев повторяются презрительные отзывы о русских. Если немалое количество немцев сливались с русскими и делались даже горячими русскими патриотами, то это, может быть, объясняется славянской кровью, принесенной еще из Германии: немецкий *Drang nach Osten**

* Натиск на Восток (нем.). – В. Т.

стерший с лица земли множество славянских племен Средней Европы, сделал немцев – особенно восточных – полуславянами. Но несмотря на это или, вернее, вследствие этого антипатия немцев к России и русским установилась прочная и незыблемая – антипатия не ненависти, а именно презрения. «Русская свинья» – это сделалось даже не бранным словом, а ходячей формулой в устах немцев. Русский человек представляется немцу существом грязным, глупым, но очень выгодным для эксплуатации. Неприхотливый корм для свиньи, какое угодно помещение – и сколько вкусной ветчины, сала, щетины! Отсюда неудержимое тяготение немецкой стихии в Россию. Наша родина сделалась Hinterland'ом Германии*, страной колонизации для западных культуртрегеров² среди «низшей расы». Пользуясь нашим «золотым славянским сердцем» и доходящим до глупости гостеприимством, забирая наши земли, капиталы и власть, немцы укрепились в мысли, что славяне вообще и Россия в частности есть только «подстилка» для германской народности, вроде соломенной подстилки в хлевах для породистого немецкого скота...

Мне кажется, слишком строго винить немцев за это обидное к нам отношение нельзя. Ведь мы же сами подаем для него серьезнейший повод и основание. Немцы триста лет твердят о русской глупости, но ведь и в самом деле есть налицо, по крайней мере, одна колоссальная и непростительная глупость – это терпеть на своей земле присутствие столь нагло внедлившегося к нам паразита. Не только хитрый немец, но даже известное насекомое в голове неопрятного крестьянина имеет право кричать на весь свет: поглядите, до чего глуп этот добродушный народ! Ему лень взять гребень и вычесаться! На самом священном месте своей особы, на голове, где должна помещаться корона этого царя природы, он тысячу лет терпит присутствие этих маленьких с виду, но очень расчетливых и рассудительных насекомых, от которых ему одно беспокойство. Не ясно ли, что этот царь природы глуп в сравнении с ними? Не ясно ли, что он служит естественной и вечной подстилкой для их расы?

* Глубинкой Германии (нем.). – В. Т.

Хотя каждый крестьянин только усмехнется, когда услышит об уме колонизирующих его голову насекомых и о его крестьянской глупости, и хотя, в самом деле, какой же ум можно предполагать у такой противной дряни, что гнездится в волосах, но, тем не менее, попробуйте-ка выкрутиться из этой логической ловушки. Что паразит поступает умно, размножаясь там, где находит себе пищу, это ведь, кажется, бесспорно. Что крестьянин поступает глупо, терпя этого паразита, столь доступного и уловимого, это бесспорно. А стало быть, при некоторой склонности к софистике и в самом деле можно утверждать, что насекомое умнее человека. В немецком презрении к России, несомненно, кроется этот софизм, но столь же несомненно, что мы сами подаем для него очень серьезнейший повод. Золотое ли у нас сердце, как утверждают европейцы из вежливости, или не совсем золотое, но что касается *разума*, то его, действительно, во множестве случаев у нас заметно недостает и в мелочах жизни, и даже в трагических решениях. Ведь сколько ни оправдывайтесь, в самом деле, не умно жить в грязи, если можно не жить в ней. Не умно хворать от коросты, если можно не хворать от нее. Не умно терпеть около себя мышей, крыс, тараканов, клопов, блох и пр. до заразных бацилл включительно, если чрезвычайно легко и просто избавиться от подобной нечисти. Не подыскивайте извинений этой и всякой другой неряшливости. Извинения, конечно, найдутся, но они все сводятся к некоторому душевному дефекту. Кроме грязи и насекомых, есть множество всяких иных условий, угнетающих жизнь, от которых при достаточном желании было бы легко избавиться. Нетрудно было бы избавиться, например, от сквернословия, загрязняющего язык и душу, или избавиться от пьянства, или от обычая колотить под пьяную (а иногда и под трезвую) руку своих жен и ребятишек, от обычая работать кое-как да как-нибудь вместо того, чтобы хорошо работать, и пр., и пр. Следует признаться, что при всем простодушии и добродушии, при всем здравом смысле, в остроте которого русский человек никому не уступает, все же на обширном пространстве русской жизни в самом

деле недостает разумности. Ум есть, но он каким-то образом остается в головах людей и не вкладывается в жизнь, по крайней мере, в степени достаточной. Ум есть, но нет накоплений его, нет того напряжения, при котором он сам, так сказать, автоматически насыщает пространство. Мало вложить в какое-нибудь предприятие «капитал». Нужно, чтобы этот капитал был достаточный, иначе и дело пропадет, и капитал пропадет. Беда наша в том, может быть, что мы влагаем в нашу жизнь не весь необходимый для нее разум, а лишь некоторую часть его. Обдумываем жизнь, но не до конца, и оттого она часто принимает характер как бы полоумный.

Накопление разума

Сохраним наше сокровище – «золотое славянское сердце», но будем стараться о накоплении и другого великого человеческого свойства, именно разумности. Не забудем, что в смысле сердечной мягкости есть множество кротких животных, за которыми нам не угнаться: агнцы, голуби, бабочки, червячки... Весь травоядный мир отличается большой кротостью, а растения – те совсем святые, кроме некоторых хищных и паразитных пород. Не забудем, что единственное свойство, высоко поднимающее человека над природой, – это разумность. Не забудем, что в человеческой семье многие дикие племена отличались удивительной кротостью, что не избавило их от истребления. Не «золотое сердце», а именно разум выдвигает высшие человеческие расы над низшими и дает власть под небом. Если имеется какая-нибудь возможность усилить в себе это высшее свойство – разумность, то, мне кажется, всякий народ должен использовать все способы к тому. Спрашивается: есть ли способы для целых наций сделаться разумнее? Мне кажется, есть. У западных европейцев, может быть, эти способы уже в значительной степени использованы, и они ближе к возможному пределу развития; у нас же, позднее выступивших на арену всемирной цивилизации, в этом отношении есть еще большой простор.

Почему западный человек представляется г. Ришпену (и не только ему) более разумным, чем восточный? Потому, что разум его из отвлеченной силы вследствие накопления сделан силой действующей, *idée force**, по определению Гюйо³. А это произошло просто вследствие более долговременной умственной гимнастики тех европейских рас, которые случайно, как ближайшие соседи, сделались наследницами древних умственно богатых цивилизаций. Разумность есть функция мозговой ткани. Эта ткань, подобно мускульной, подчиняется законам подбора и упражнения. Примесь более культурных, более воспитанных рас, несомненно, поднимает умственную силу, как примесь диких и грубых народностей понижает эту силу. Но *развивает* умственную силу до границ возможного только долговременное, многовековое упражнение. Когда вы бываете в европейской толпе, вы сразу замечаете, что англичане, французы, итальянцы и пр. имеют несколько более широкий череп, нежели малокультурные, например экзотические, народности. Есть и между европейцами малоголовые и плоскоголовые обладатели первобытных черепов, но процент таковых меньше, чем у варваров. Даже на простой глаз, без измерительных приборов, вы видите у культурных европейцев более могучий мозг. *Он ими нажит*, он усовершенствован ими в ряду поколений, и средством для этого служило так называемое просвещение. На много столетий раньше нас новая Европа усвоила от древней зачатки наук и искусства, а через грамотность – зачатки идей и представлений, свойственных гениальной стадии цивилизации. Если нынешние ученые говорят о материальном количестве электричества, то, может быть, допустимо говорить и о материальном объеме мысли, рассеиваемой в пространстве. Если в душе самоеда, скажем, живет и действует *n* мыслительных единиц, то в душе киргиза – $2n$, в душе англичанина – $3n$. Естественно, что для тройного объема идей нужно и повышенное число мозговых клеток и волокон, что требует более просторной черепной коробки. И самоедам, и киргизам для того, чтобы поднять умственную силу своих народностей, нужно

* Движущей идеей (фр.). – В. Т.

постепенно втянуть себя в оживленный процесс европейской мысли. Если славянская раса с ее золотым сердцем несколько отстала от западных собратьев в напряжении разумности, то есть простое (притом единственное) средство: втягивать народную массу в жизнь Европы, в блистательное одушевление тамошней интеллигенции, в общее наследие человеческого рода, захваченное пока лишь немногими более счастливыми сонаследниками. Мы не самоеды и не киргизы, мы – арийцы и с каким ни на есть, но все же тысячелетним прикосновением к Западу. Более или менее общее у нас с Западом Христианство само по себе обладает такую массой идей и представлений, что не могло не быть, помимо нравственности, и хорошей умственной школой. Наконец, свыше двух столетий мы живем с Европой общею политической, промышленной и культурной жизнью. Для России требуется очень немного, чтобы поднять разумность народной массы до ее западного потенциала. Об этом свидетельствует развитие отдельных русских даровитых людей. Не говоря о гениальных наших людях, даже просто талантливые, вроде проф. Мечникова⁴, Ковалевского⁵, Виноградова⁶ и пр., пройдя европейскую школу, считаются уже *своими* на Западе. Их охотно приглашают на университетские кафедры, удостоивают высших ученых степеней. Нет сомнения, что и общей массе народа русского нужно очень немного подвинуться в просвещении, чтобы догнать французов и англичан. Но это *немногое непременно должно быть сделано*.

Если судьба пошлет нам победу в этой страшной войне, мне кажется, печать должна обратиться с горячим призывом к обществу во что бы то ни стало просвещать народ, развивать в нем высшую разумность. Даже победоносная война обнаружит крайнюю опасность нашей культурной отсталости. Теперь-то мы ясно видим, что владычество немцев у нас было недобросовестным в высшей степени. У себя в Германии немцы за эти двести лет изо всех сил старались просвещать народ, ибо для них это был родной народ, который они любили. У нас же они не любили русского народа, который кормил их, а глядели на него с презрением. Оттого у нас запоздало со своей отменою и

крепостное право. Оттого запоздало и всеобщее школьное обучение. Оттого в начале XX века мы – наименее образованная страна в Европе, особенно в отношении технического труда. Влиятельные немцы умышленно старались держать нас в черном теле и навсегда приучить к наиболее грубым, чернорабочим формам труда. Немудрено, что при несомненной талантливости русского человека он в массе своей умственно связан, и не только элементарным невежеством, но и общим пониженным запасом идей. Печати следует настаивать на усиленном развитии прежде всего технического образования, ибо только организованный культурный труд в состоянии спасти нас от общего надвигающегося разорения. Но вместе с техническим образованием необходимо и гуманитарное, и общеполитическое (в английском смысле этого слова). Необходимо, чтобы народные массы получали в школах известное развитие ума и вкуса, соответствующее нашему веку, а не какому-нибудь каменному или бронзовому. За все прошлое человеческого рода слишком много приходило в мир великих людей, но народ наш в своих толщах даже не знает об их пришествии. Нужно положить этому конец, нужно соединить дух народный с гениальным сознанием, накопленным в человечестве, как это уже делается в школах Америки и Европы. Попробуйте весь народ сделать грамотным – это не так уж трудно. Попробуйте сделать его хоть немножко образованным. Это тоже нетрудно при настойчивых усилиях. Если весь народ никогда не будет талантлив и никогда высокоразвит, зато доступное народу, хотя бы маленькое образование откроет множество теперь скрытых талантов и блестящих способностей к образованию. Раскопки земли никогда не сделают ее сплошь золотой, но откроют огромные сокровища самородков и золотоносных жил. Наш разум народный, признаем это скромно, далек от завершения, но он *может* и, следовательно, *должен* получить всемирное развитие. В несколько десятилетий мы в состоянии догнать Запад – и это очередной долг наших ближайших потомков. Он, к сожалению, не выполнен нашими прадедами, дедами и отцами. Он не выполнен и нами. Но он должен быть, наконец, исполнен!

Америка и Россия

На днях в «Новом Времени» (№ 14546) были описаны чрезвычайные затруднения, какие переживает Америка от наплыва туда европейского золота. «Американцы жалуются, что страна их заполнена золотом... Люди буквально захлебываются от золота, не знают, куда его девать, как тратить. Дело дошло до того, что правительство изощряется в выдумках, что бы такое закупить в Англии и Франции, чтобы избавить страну хоть немного от наводнения золотом. Перед каждым новым платежом союзников на военные заказы, который сулит новые золотые горы, в Америке поднимается стон... Этот приток золота повышает стоимость жизни до громадных размеров; людям среднего достатка жизнь в Америке становится не по карману...» и проч., и проч.

Явление это, интересное само по себе, имеет, мне кажется, мировую важность и могло бы быть очень небезразличным для России. Что стремительный наплыв золота может вносить нежелательные расстройства в жизнь страны, это известно еще было в XVI веке, когда огромное количество золота, прихлынувшего в Испанию из только что открытого Нового Света, не обогатило блестящее тогда испанское королевство, а разорило его в весьма заметной степени. Обилие золота ослабило и местами приостановило истинный источник богатства – народный труд. Испанцам показалось странным работать, когда имеются средства купить все нужное. Но золото ушло так же быстро, как пришло, и многие парализованные отрасли национального труда навсегда завяли. Мировая нынешняя война, по-видимому, проделывает обратный исторический опыт: не Америка Европу, а Европа, истекающая кровью и трудовой энергией, заваливает Новый Свет несчетным количеством золота. В Америке создается странная болезнь, которую можно назвать экономическим полнокровием. Громадный прилив золота обесценивает золото почти так же, как громадные выпуски бумажных денег обесценивают кредитки. Как некогда в Испании, так теперь в Америке

денег становится слишком много, и ими слишком многие начинают швыряться. Создается страшная дороговизна жизни как вследствие уродливой переоценки ценностей, так и вследствие того, что на рынок потребления выступает многомиллионная разбогатевшая масса, которой прежде, по ее бедности, многие товары были недоступны. Прилив денег резко повышает уровень потребностей и понижает привычку к экономии. В результате – потеря стихийного экономического равновесия и возможность серьезной катастрофы.

В течение многих десятилетий неслыханный рост капитала в Америке, как во Франции, Бельгии и некоторых других странах, имел три главных выхода. У наиболее энергичной части капиталовладельцев каждое приращение капитала влагалось в дальнейшее развитие дела, в культуру земледелия и сельского хозяйства, в постройку железных путей, в промышленность разного рода, в общественный комфорт, в просвещение, в обеспечение жизни широких масс. Более пассивная часть капиталистов обращала свои капиталы в частные и государственные займы, довольствуясь небольшим, но определенным процентом прибыли, так что некоторые страны приобрели даже репутацию всесветных банкиров. Наконец, третья, самая легкомысленная часть капиталистов растрачивала случайно нажитые богатства в разных эксцессах роскоши, доходящих до безумства. Вероятно, два последних типа капиталистов – кредиторы и моты – будут и впредь продолжать свои невзрачные методы употребления богатств, но перед первым типом миллиардеров, наиболее деятельным, возникает серьезный вопрос. Что же им делать с колоссальными количествами золота, свалившимися на них со старого, истощенного войной материка? Влагать в дальнейшее расширение материальной культуры самой Америки? Но счастливая «республика лучей и звезд» начинает уже, по-видимому, приближаться к пределам возможного развития своей культуры. Уже почти вся Америка превосходно возделана, поля ее превращены в цветущие огороды и сады. Уже почти вся территория Америки затянута густейшей сетью железных дорог и новой сетью автомобиль-

ных путей. Уже почти все города и крупные селения снабжены электрическим освещением, трамваями, водопроводами и т. п. Америка насыщена и перенасыщена своей могучей промышленностью – продукты последней давно льются через край страны и завоевывают себе далекие рынки. Колоссальным капиталам становится нечего делать для самой Америки. В ней, как в роскошно отделанной квартире богача, уже все есть в избытке, и остается лишь поддерживать эту роскошь без большой затраты капитала. Как же быть дальше?

Тут мы подходим к тому моменту развития европейско-американского капитализма, когда он начинает принимать мировое значение и играть очень важную роль в судьбе культурно отсталых стран. Я уже сказал, что из Америки, как из переполненной чаши, начинают переливаться продукты неукротимого труда народного на ближние и далекие рынки. Об этом нет нужды распространяться, если вспомнить, в какой зависимости мы находимся до сих пор от американского хлопка, от многих американских машин, и каким страшным конкурентом выступает до сих пор Америка нашему хлебному вывозу. Колоссальный, технически оборудованный труд даровитой американской расы действует на отсталые страны двояко. Он до известной степени угнетает их собственную промышленность, существенно мешая ей развиваться. Но в то же время он обслуживает их во множестве важных отношений, непрерывно накачивая в сравнительно первобытные народы вместе с культурными товарами культурные идеи (ибо каждый предмет – осуществленная мысль, а иная машина – цельный курс знания). Новые идеи создают культурные привычки, и, таким образом, патриархальные племена, обслуживаемые изобретательным европейско-американским гением, невольно подчиняются ему. Они поднимаются до уровня некоей общечеловеческой цивилизации, до того *standart of life*, какой сложился у дальних народов, часто у антиподов.

Уже такое бессознательное, автоматическое влияние богатых культур следует ценить как важную культурно-историческую силу. Но западный капитал и движущий им

промышленный гений не ограничиваются одной торговлей. Уже сравнительно давно, задолго до мировой войны, непомерно разросшийся капитал Запада вышел из родных берегов и начал разливаться по всему свету. И тут повторилась, только в обратном порядке, история завоевания Нового Света Старым. Как некогда португальские и испанские конквистадоры делали хищные набеги на дряхлые материки, так и первые вторжения европейско-американского капитала в Индию, Китай, Африку, Россию имели, несомненно, хищный характер. Но за поколением конквистадоров в Америку хлынули европейские фермеры и культуртрегеры, которые сделали из цветных материков роскошно цветущие колонии. Хищная энергия сменилась трудою, эпоха истребления сменилась веком создания новой, неизмеримо более блестящей цивилизации, нежели та, которою пользовались царства ацтеков и инков.

Вы справедливо скажете, что как бы ни были низки одичалые культуры цветных материков, но они поддерживали существование цветных рас, между тем введение высокой христианской цивилизации вызвало или массовое истребление, или медленное вымирание диких племен. К сожалению, это верно: не успевшие приспособиться к новым условиям, по общему биологическому закону, исчезают. Однако тут необходимо внести существенные поправки. Во-первых, что касается России, то к ней неприменимо воздействие европейской культуры на цветные расы, ибо мы – арийцы и сами европейцы. Как опыт истории свидетельствует, мы все-таки настолько быстро приспособились к европейской культуре, что в течение двухсот лет отбрасывали все завоевательные попытки Запада. Отбросили таких конквистадоров, как Карл XII и Наполеон, и, даст Бог, справимся и с последним экземпляром этой хищной породы. Даже и цветные расы не все поддались насилию европейских завоевателей. Китай до сих пор отстаивает свою независимость, а Япония, с величайшей искренностью восприняв основы европейско-американской культуры, сумела даже выдвинуться в ряд великих держав. Есть и третья важная оговорка. Подобно тому как век конквистадоров сменился веком

хищных колонистов и культуртрегеров, так этот последний на наших глазах сменяется третьим периодом – не хищного, а взаимовыгодного симбиоза культур. То, что делают современные англичане в Индии или в Египте, не имеет ничего общего с тем, что делали первые английские пионеры в той же Индии или на цветных материках. То, что делают современные американцы на Гавайских или Филиппинских островах, не имеет ничего общего с эпохой первой колонизации англосаксов в Америке, когда каждая колонистская ферма была блокгаузом, распространявшим среди краснокожих смерть и ужас. Правнуки злых тиранов, внуки жестоких рабовладельцев, современные англосаксы являются просветителями и защитниками подчиненных рас.

Несомненно, ту же эволюцию переживает и вторжение европейско-американского капитала в отсталые страны. Этот капитал, как, например, английский в Египте, является спасающей народ и благотельной силой. Заняв Египет на началах временной оккупации, англичане тотчас принялись за тот культурный труд, который не был под силу ни древним богам Египта, ни фараонам, ни грекам, ни римлянам, ни арабам, ни туркам, ни самому несчастному египетскому народу. Англичане тотчас приступили к урегулированию волшебной реки, способной превращать песчаную степь в изумительное по плодородию рисовое, пшеничное, хлопковое или какое хотите другое поле. Английские инженеры не стали строить новых пирамид и сфинксов, а построили колоссальную Ассуанскую плотину, которая дала возможность управлять безмерной массой нильской воды, расходуя ее с точностью до одного стакана. Затем оставалось отчасти возобновить древнюю систему орошения, отчасти построить новую сеть каналов – и в течение двух десятилетий Египет расцвел. Он сразу выступил богатой, производительной страной, которая одним хлопком своим собирает столько золота, сколько не могли бы ему дать все сокровища Голконды. Искони поработенный, искони забытый феллах выкрутился, наконец, из нищеты. Он разжился, сильно разжился, разбогател. Что касается рабства, то права английского под-

данного, конечно, выше тех, какими пользовался египетский народ в эпоху Сезострисов. По такому же типу культурного обогащения и развития политической свободы движется эволюция английского владычества в Индии.

Все это относится к занятым англичанами или завоеванными странам. Но совершенно ту же метаморфозу, мне кажется, переживает и европейско-американский капитал, путешествующий теперь по земному шару и ищущий для себя практическую работу. Пора, мне кажется, заметить, что капитал этот постепенно теряет свои хищные свойства и приобретает какие-то иные. На днях, как напечатано в газетах, в томскую городскую управу поступило заявление русско-американско-азиатского общества, образовавшегося в Нью-Йорке. Директор общества – Дарлингтон, заведующий в Нью-Йорке муниципальными санитарными учреждениями. Общество предлагает взять на себя благоустройство Томска, причем ручается, что поставит Томск на равную степень благоустройства с любым американским городом, оборудует трамвай, дороги и электрическую станцию. Уплату общество принимает облигациями городского займа с условием реализовать и распространить его в Америке.

Вот последний, самый свежий, но, конечно, не единственный пример домогательства американского капитала, желающего поработать в России и кое-что нажить. Я лично не имею ни малейшего понятия ни о названном обществе, ни о его директоре г. Дарлингтоне. Допускаю все возможности, какие читателю придут в голову. Но меня угнетает одна возможность: а что, если эти американцы – не жулики и не шарлатаны и *вовсе не хищники*? Мы до такой степени привыкли к иностранной эксплуатации, преимущественно немецкой, что все иноземные предприниматели кажутся нам непременно хищниками. Распродав за полцены наши колоссальные богатства на Дону, на Урале, на Лене, на Алтае, в Баку и пр., мы склонны думать, что иностранный капитал – не иначе как старый конквистадор на экономической почве. Что и это допустимо, я не отрицаю, но что, если мы начинаем ошибаться уже в обратную сторону?

Как прежде не умели разглядеть хищников, так, может быть, теперь не умеем разглядеть полезных организаторов культуры и созидателей новых источников богатства. Надо смотреть в оба и доводить каждый частный случай до полной ясности сознания. Покойный Менделеев много думал над нуждами России и проповедовал, что иностранный капитал – не всегда хищник, что очень часто он – сила высокоблагодетельная и ничем не заменимая. Менделеев доказывал, что даже хищный иностранный капитал, погруженный в нашу почву, постепенно прирастает к ней и делается нехищным, ибо, в самом деле, не унесет же с собой обратно за границу колоссальные сооружения, здания, машины, каналы, пароходы и т. д. Весь вопрос, какие доходы и из какого источника получает их капиталист, рискнувший внести к нам свои деньги, знание и энергию. Если прибыль его умеренная и если она получается из развития самого дела, то иностранный капиталист не только не разоряет, но явно обогащает страну, где он налаживает культуру.

Заметка о планах американского капитала на Томск озаглавлена в газете так: «Новые варяги». Я думаю, эта характеристика не совсем удачна: старым варягам, как известно, не удалось поднять Россию до степени высшей культуры. Притом американские капиталисты вовсе не рассчитывают, подобно потомству Рюрика, обрусеть и навсегда остаться в России. Они поработают и уйдут, унося с собою капитал и известную наживу. Но мне кажется, они и при этом условии сделают в некотором важном отношении больше старых варягов. Унеся *свой* капитал, они, несомненно, оставят в России неизмеримо больший капитал, вызванный к жизни их закваской. Унеся свою определенную наживу, они оставят и нам, и потомству нашему иную огромную наживу, представляемую культурно налаженным трудом народным и развитием его производительности. Я лично мало встречался с дельцами американско-европейского типа, но из всего, что я знаю о них, мне кажется, что этот тип довольно быстро эволюционирует. Не только одна нажива толкает предприимчивых людей Запада рыскать по отсталым странам и искать работу. Зачем, казалось бы, с обломовской

точки зрения, имея миллиарды, рисковать ими, навязывать себе многолетнюю тревогу и заботу? Мне кажется, архимиллионеры Запада кроме наживы движутся особой страстью, нам мало знакомой. Они до того втянулись в деятельность, что она становится их неодолимой потребностью, как своего рода спорт. Спорт тем увлекательнее, чем он рискованнее и опаснее. Я допускаю, что если не всеми, то некоторыми предприимчивыми капиталистами руководит та же жажда подвигов в отдаленных и малоизвестных странах, какая руководила великими моряками и конквистадорами. Эпоха *открытий* сменяется эпохой *культурного завоевания* новых стран. Сохраняя по возможности свой капитал и даже наращивая его прибылью, новые Колумбы и Васко де Гамы стараются открыть в недалеком будущем по-европейски культурный Китай, по-европейски культурную Россию. Нам надо серьезно подумать о том, *препятствовать* им в этом или *способствовать*. И подумать об этом следует теперь, когда колоссальная гора золота скопилась в Америке. Этой золотой горой, как могучей культурной силой, могут воспользоваться раньше нас наши азиатские соседи. Если через двадцать лет на эти деньги расцветут и поднимутся Индия, Китай, Персия, а мы останемся при нашей скудости, то как бы не пришлось нам горько пенять на себя. Наше спасение – в труде народном, но труде *культурно оборудованном*. Кто бы ни научил нас могуществу культурного труда и чего бы это ни стоило, мы должны учиться.

Мрачные предсказания г. Милюкова¹

Бедная мать наша Россия захворала серьезно. Как же тут не нервничать, как не переживать тревоги? Последние шесть недель распущенного парламента нашего были крайне лихорадочными. В нараставшей драме этой сессии было чрезвычайно мало будничной, производительной работы. Уже одно это обстоятельство драматично в высшей степени, если вспомнить, как дорого время вообще, а в тяжко от-

ставшей стране нашей – в особенности, и наипаче теперь – в разгар трагедии, где поставлена на карту сама жизнь России! Если народное представительство в обоих законодательных палатах не могло заниматься практическим делом, очевидно, этому мешали важные, непреодолимые, хотя бы чисто психические причины. Когда люди или учреждения теряют способность действовать, когда их силы истощаются в судорожных движениях и бесполезных воплях, то положение очень серьезно. Напрасно было бы заподозрить тут симуляцию, нежелание работать и пр. Ведь и к симуляции прибегают не с легким же сердцем! И нежелание работать, когда оно прочно складывается, не есть признак благополучия. Все это – признаки опасного политического расстройтва и какой-то неясной, но глубокой драмы. С нею необходимо считаться. За эти шесть недель мы были свидетелями крайне острых моментов. Прошла целая туча дурных слов, инсинуаций, угроз и уголовных обвинений, направленных во все стороны. Прозвучали зловещие обвинения в измене отечеству, обвинения в подкупе некоторых высокопоставленных лиц, в организованной системе предательства, какого еще мир не видел. Очевидно, частичка какой-то страшной истины тут тонула в пучине лжи, в вихре бредовых и напуганных состояний. Последовали вызовы на дуэль, прогремел симулированный или настоящий открытый заговор на жизнь вождя одной политической партии. Наконец, запахло свежепролитой человеческой кровью в таинственную ночь после роспуска Государственной Думы, после громовых прощальных речей и злых пророчеств.

Мы переживаем глубоко важное, сверхисторическое время, из хроники которого будущие драматурги накроют трагедий. Это налагает на нас, живых деятелей эпохи, сохранять все доступное нам присутствие духа и всю ясность сознания, столь необходимого в критические моменты общей растерянности. К сожалению, орган общественного сознания – печать – обречен бездействовать. Печати, а в лице ее и обществу, навязан паралич мысли, глубокое молчание о том, что существенно и важно, с предоставлением отвлекать внимание общества к

тому, что незначительно и ничтожно. Но результатом этого организованного молчания получается не тишина, а шум, только фантастический и принимающий преступный тон. «Мы переживаем теперь страшный момент, – сказал г. Милюков в своей речи 16 декабря, – на наших глазах общественная борьба выступает из рамок строгой законности и возвращаются явочные формы 1905 года. Нельзя, господа, отрицать, что в общественных заявлениях есть и такие ноты. И они служат предостережением власти не в смысле полицейском, а в смысле политическом. Пусть не говорят, что тут на сцену выходит улица, – это, господа, не улица, это те же самые социальные элементы, к которым принадлежите и вы сами. И самые резкие предложения на общественных съездах зачастую делаются самыми правыми элементами. Русское политическое движение снова приобрело то единство фронта, которое оно имело до 17 октября 1905 года. Но эти 10 лет прошли даром. Масштабы и формы борьбы, наверное, будут теперь другие. И вот в такой-то момент кучка слепцов и безумцев пытается остановить течение того могучего потока, который мы в дружных совместных усилиях со страной хотим ввести в законное русло... Время не ждет. Атмосфера насыщена электричеством, в воздухе чувствуется приближение грозы. Никто не знает, господа, где и когда грянет удар...»

Эти слова, сказанные за несколько часов до роспуска законодательных палат и ближайших событий, являются документом известного политического течения. Можно быть далеким от поклонничества в отношении этого старого парламентария, но нельзя не признать, что долгие годы, посвященные им сплошь политической оппозиции, достаточно изощрили его чутье.

Таково впечатление, под которым на несколько недель разъехалось народное представительство. В каком настроении последнее вернется 12 января – это во многом будет зависеть от хода событий вообще и от хода военных действий. За 3½ недели едва ли может совершиться что-нибудь чрезмерно крупное, решающее все наши затруднения, но все-таки допустимы если

не события, то отсутствие событий, продолжающих угнетать общественное сознание. В числе угнетающих факторов продолжают оставаться, между прочим, репрессии против печати за малейшие попытки осветить политическую дорогу. У нас полагают, что в поломке экипажа виноват не неверно избранный путь и не ветхость первобытной государственной телеги, а... фонарь, который был направлен на дорогу.

Именно в наши дни, когда где-то под благословением отцов Св. Синода куются новые цепи на печать, позволительно спросить: было ли хоть одно политическое преступление, подготовленное бесцензурной печатью? Таких я совершенно не припомню. Кровавый террор обыкновенно готовится подпольной печатью, в которую поневоле идет общественный протест, когда нет открытых способов высказаться. Так как свободная печать во всех странах связана уголовной ответственностью за преступления слова, то всякий общественный протест в открытой печати поневоле отбрасывает из себя все преступное и вливается в закономерные формы. В каждом протесте и обличении остается лишь то, что не выходит из границ добросовестности и приличия, а в таком обезвреженном виде никакая правда, ни даже неправда (*bona fides**) не являются источником возбуждения злых чувств. Совсем другое дело, если общественное слово угнетено, если добросовестные люди лишены права громкого обсуждения дел. Тогда автоматически заводится подпольная печать, трудноуловимая и безответственная перед законом. Если не всегда, то очень нередко она делается орудием возбуждения злых страстей. Какая-нибудь намеченная жертва, виновная или невинная, делается предметом клеветы и травли в кругу подпольных обществ, и тут очень часто печатное слово перерождается в яд, динамит, отравленную пулю, в смерть.

Те, кто привыкли трепетать перед свободной печатью, пусть вспомнят, что политические преступления совершались еще за тысячелетие до изобретения печати. Политический террор, очевидно, имеет свои особые источники питания помимо

* На доверии, честно, доброй верой (лат.) – В. Т.

печати. Бесспорно доказанным следует считать то, что эпоха печати, задавленной цензурой, *способствует* развитию террора, а эпоха бесцензурной печати *не способствует* ему. Возьмите Англию и Францию XVIII века: замученная цензурой печать Франции не спасла последнюю от великой революции, тогда как при бесцензурной английской печати хоть и бывали сильные движения, но они никогда не доходили до политического террора. В нашей собственной истории мы видим, что задушенная цензурой русская печать не предупредила ни заговоров декабристов, ни широкого развития революционного нигилизма в 50–60-х годах, ни открыто революционных движений в 70-х и 90-х годах.

Единственный раз, когда у нас попробовали серьезно облегчить положение печати, – в 1905 г. Это было, к сожалению, уже в самый разгар кровавого террора. Но знаменательно, что вместо распространения пожара освобожденная печать действовала на смуту, как вода на огонь. Когда открыли крышку с кипящего котла, пар вырвался большим облаком, но безвредным. За целое десятилетие с 1907 по 1916 год, кроме убийства Столыпина, не было у нас террористических актов. Так ответила всегда загадочная жизнь на доверие к ее свободным силам. Пока действовала либеральная в отношении печати практика покойного Витте², революционный дух вмещался в формы легального протеста и претворялся *в оппозицию*, не только безвредную, но часто и полезную своими ассенизационными свойствами. Укрощенная закономерной свободой революция, как обездвиженная лошадь, становилась даже рабочей государственной силой. Но если у рабочей лошади слишком натягивать удила, стеснять все ее движения, она начинает биться и снова дичать.

К глубокому сожалению, несмотря на основные законы, у нашей государственности не хватило характера провести опыт великой реформы до ее логического завершения. Успокоение общества после введения в жизнь свободы сочли за нечто обеспеченное, что можно было не беречь как зеницу ока. Постепенно начали возвращаться к стародавней тактике, тактике наси-

лия, постепенно начали стеснять и без того зачаточные наши свободы, насаждать искусственную тишину – и результат мы видим налицо. Первое жестокое стеснение печати произошло за два или три года до войны по инициативе тогдашних министров нашей обороны. Печать вынуждена была глухо замолчать в тот момент, когда в Государственной Думе раздался «крик отчаяния» по адресу ведомства генерала Сухомлинова. Печать вынуждена была глухо замолчать и по вопросу о подводном флоте, и о крепостях, и о ружьях и пулеметах, и об оружейных заводах. Представляю читателям рассудить, полезным ли оказалось это молчание в роковые годы, когда свинцовая туча войны уже поднималась на Западе. Не вдаваясь в глубь этого вопроса, я должен засвидетельствовать, что сравнительно свободная печать 1906–1911 годов кое-что сделала для обороны страны, поддерживая хотя бы лихорадочное внимание к армии. *Лишенная же свободы печать ничего не сделала.* Как путевой сторож, которого разбил паралич, несчастная русская печать, разбитая цензурой, не могла уже поднять тревожных сигналов при виде неминуемого столкновения целых государств. Не могла задушенная цензурой печать своевременно осветить и выявить и другие явления русской жизни, которым не надо было давать развития и которые погибли бы в зачатии, если бы шли при дневном свете.

Вспомните, как в эпоху сравнительной свободы печати легко выведены на чистую воду подозрительные и темные типы, группировавшиеся около Гапона³ и Азефа⁴, с одной стороны, и около Илиодора⁵ и Виталия⁶ – с другой. Гапон погиб жертвою подполья, как Казанцев⁷ и др. Но, может быть, многие акты черного и красного самосуда были предупреждены и сорваны свободной критикой печати, свободным обвинением и свободною защитой. Когда выяснены были в точности зазорные деяния Илиодора, когда этот юноша великой наглости был публично, так сказать, раздет печатью и освидетельствован, он показался настолько жалким шутком, что вся Россия захохотала над ним. Это было моральным приговором ему и, может быть, спасением от двух ужасов. Он сам мог бы

закончить свою эпопею каким-либо мрачным преступлением, или его могли бы убить. Суд свободной печати легко ликвидировал Илиодора и дал ему возможность перенести свою расстриженную персону подальше от России. Если бы суду свободной печати, то есть суду всего общества, знакомого с другими темными личностями, было предоставлено обследование их темных дел, то не было бы очень часто ни комедии, ни печальной драмы, с ними связанной.

России нужно много солнца, много света, убивающего паразитную заразу. Стихии ее взбудоражены, и часто с глубоких подонков народных поднимаются элементы, притязающие на большую политическую роль. Что и на дне народном могут родиться благородные и великие души, это вне спора, однако тьма народная имеет, подобно морскому дну, своих гадов, которым лучше бы там, на дне, и оставаться. Святошество и пустосвятство, симулируя простоту и святость, представляют собой глубоко вредное явление, и так как оно гнездится в суеверных нравах наших, то с ним нужна самая энергичная борьба. Какая? А вот та, где орудием является не кинжал, а свободное слово. И солнечный луч, и ближайшая родственница ему – мысль человеческая – очищают атмосферу *без преступлений*. Если прав г. Милюков в своих мрачных предсказаниях и если в самом деле на нас надвигаются «явочные формы» пережитой смуты, то нужно вновь мобилизовать свободу, как лучший ассенизатор зла.

РАЗДЕЛ II

КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ И «ОБЩЕСТВЕННАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ»

СОВЕСТЬ И ЗНАНИЕ*

I

Нужна ли совесть? Вопрос этот, к сожалению, не настолько беспорен, чтобы невозможны были в нем разноречия. В *Литературных наблюдениях* декабрьской книжки *Русской Мысли* г. О. Т. В.¹ достаивает одну мою статью** сочувственного разбора, но вместе с тем отрицает основную ее мысль – ту, что личная нравственность есть источник общественной нравственности. Мой уважаемый противник утверждает, что не совесть, а знание ведет к справедливым порядкам жизни; в разных местах статьи он иронизирует над развитием совести («погружением» в совесть, как он выражается), считая это по меньшей мере бесполезным делом. Совесть выходит как бы не нужной: достаточно, видите ли, одного знания. По представлению г. О. Т. В. выходит, что совесть и начинается, и окан-

* Охотно помещая ввиду важности и сложности вопроса статью г. Меньшикова, мы предоставим ответить на нее г. О. Т. В. в следующей книге нашего журнала. – *Ред.*

** Высшая цель // Книжки «Недели». – 1894. – Кн. XI. – С. 236, 237².

чивается в границах отдельной личности, что она не переходит на общественные цели человека и со злом общественным мирится. «Само по себе стремление к нравственному самосовершенствованию, к спасению души, – говорит он,– отнюдь не заключает в себе элемента борьбы с общественным злом; можно и *удалиться от мира* для того, чтобы всецело заняться собственной совестью».

Я позволяю себе не согласиться с этим взглядом. Я думаю, что совесть есть *абсолютное* отрицание зла, то есть зла не только личного, но и общественного, государственного, расового, всечеловеческого, мирового, если бы последнее было открыто. Нельзя допустить, чтобы совестливый человек, борющийся со своими нравственными несовершенствами, мог равнодушно отнестись к таким же несовершенствам вне себя. Совесть, если она не притворна, как и всякое доподлинное сознание, есть страсть, то есть не пассивное, а деятельное состояние души, стремящееся, как всякая сила, распространиться на весь мир. Можно ли, в самом деле, «удалиться от мира», раз обладаешь живою совестью? Бросить страдающих братьев без попытки помочь им, удовольствоваться личным, отдельным спасением... Но ведь это низость, это отрицание самой совести. Если в века аскетизма нравственные люди бежали в пустыню и отрекались от мира, то или по нравственной слабости – сознанию своей неспособности к деятельному добру, или из желания послужить людям живым примером отрицания грешной жизни и возможности иного, праведного существования. Истинно совестливые люди и в пустыне не чуждались людей: к ним шло из мира все, что отрицало тогдашний мир, и тут, около кельи подвижника, часто устраивался ряд колоний, отслаивалось новое общество на иных, более справедливых началах. Совестьливые люди во все времена удалялись не от мира, а от гадостей мира, от участия в этих гадостях. Они отрекались от богатства, власти, незаслуженного почета, карьеры и т. п. – от всего, что, по их мнению, нарушало братство людей и их свободу. Но они не отрекались от участия в добрых явлениях мира, в общественной взаимопомощи, просвещении,

честном труде, – не только не отрекались, но принимали во всем этом плодотворнейшее участие. Уж никак нельзя сказать, что они не боролись с общественным злом. Ведь величайшее общественное зло всегда состояло в *насилии* человека над человеком; из этого допускаемого как *право* принципа ветвятся все бесчисленные насилия – личные, семейные, сословные, государственные, международные, – вся дремучая поросль зла, которая, подобно чаще лиан, издревле душит живое «древо жизни». Отрекаясь сами от права насилия и отрицая это «право» *всюду*, где оно встречается, совестливые люди взамен его несут в жизнь другое начало: долг уважения к личности человека, несут любовь, которая, по словам апостола, есть «закон свободы». Проповедуя неприкосновенность человека (*homo – res sacra**), показывая в самих себе пример благоговения к его достоинству, разве не борются праведники с общественным злом? Насаждая новый мир идей и чувств возвышенных и гуманных, люди совестливые разве не создают коренного переворота в злом обществе?

«Нравственное совершенствование», как я его понимаю, не есть просто *неделание* зла: оно есть стремление к деланию добра. Воздержание от дурных поступков есть не высшая, а низшая граница совести, тот уровень, где последняя лишь начинается. Простое воздержание от зла, как всякая граница, есть момент безразличный: ни добро, ни зло. Подняться до этой границы, конечно, необходимо, но подняться и не перейти ее, это все равно что младенцу созревшему не родиться. Кто нравственно созрел, чтобы не делать зла, тот не может не делать добра, и чем горячее в вас отрицание неправды, тем искреннее и глубже подчинение нравственной истине – до степени страсти, требующей выхода. «Спасение души» никак нельзя понимать как погружение ее в мертвое безразличие; душа – это энергия; «спасение» души есть превращение ее из вредной энергии в полезную *энергию* же. Идеал совестливых людей – Христос – не удалялся от мира, а шел в мир, в жестокий и холодный мир, чтобы согреть его Своею кровью. Удаление от мира – это эго-

* Человек – это тайна (лат.) – В. Т.

изм, отторгающий человека от человечества и замыкающий его в узком кругу корыстных интересов. Только эгоисты одиноки, и за то мир для них – пустыня.

II

Кто «удаляется от мира», от защиты несчастных братьев?

Посмотрите, что делается в жизни: отграничивают себя от страдающей человеческой массы люди не совести, а иных преимуществ люди богатства, знания, таланта, создавая разного рода касты и аристократии. Именно они «удаляются от мира» в одиночество замкнутых сословий, корпораций, професий, мирозерцаний. Именно они, отгородив себя от народа, занимаются своею особенною, эгоистическою совестью (корпоративною или сословною честью, «честью мундира») и не только не борются с общественным несовершенством, но входят и душой, и телом в живой состав его, и именно они и поддерживают живучесть зла. Общественная неправда тотчас рухнула бы, лишись она поддержки богатства, знания и таланта. Единственная из аристократий, не выделяющая себя из народа и стремящаяся слиться с ним и не участвующая в пороках общества, это аристократия совести, и на ней именно, как на библейских десяти праведниках, держится вся жизнь общества. Но нужно, чтобы хоть десять-то их нашлось, иначе общество гибнет в своих мерзостях, как те города, за которые напрасно молил Авраам разгневанного Бога.

Поглядите, какой процесс идет в народе. Все, что хоть немного выдвигается умом, богатством, знанием, тянет вон из деревни, отгораживается, уходит в «город»: мечта каждого деревенского лавочника – **выйти в купцы и перебраться в уездный город**, затем в губернский и, наконец, в столицу, почему в столицах и накапливаются такие чудовищные богатства и образуются особые расы и разного рода аристократии. С незапамятных времен, как только рождается в деревне какой-нибудь талант, он стремится в город, на рынок промышленный, научный, литературный, художественный, административный, где

продает себя возможно дороже и всею силою своей укрепляет то или другое господствующее над массами влияние. Все культурные центры поддерживаются оторвавшимися от народа талантами и энергиями: вот почему так истощена деревня. Чудо-вищные помпы, называемые городами, целые века выкачивают из деревень не только продукты труда, но и лучших производителей труда; из народа беспрерывно отбираются даровитые и сильные элементы, которые уже никогда более в деревню не возвращаются. Останься они в деревне, весь их гений и вся энергия были бы потрачены на местные нужды, и деревня, несомненно, давно бы обогнала город в истинной цивилизации: в развитии справедливого общежития, нравственного знания и естественного достатка. Но всегда и всюду все духовные энергии, *кроме совести*, «удалялись от мира», от бедного деревенского мира, оставившегося только со своею совестью. Конечно, эта совесть, покинутая изменившими ей орудиями духа, являлась безоружною и малосильною, едва достаточною, чтобы поддерживать жизнь. *Ubi bene, ibi patria** – вот девиз всех аристократий, кроме аристократии совести. Как древние феодалы или наши дружинники переходили от сюзерена к сюзерену, куда было выгоднее, так и современная денежная и всякая иная знать: она охотно меняет не только родную бедную деревню на любой, самый отдаленный город, но часто покидает даже родную страну, помещая свои капиталы и знания (добытые в отечестве) за границей. Предприимчивые капиталисты, как и ученые, расходятся по всему свету, оседая: капиталисты – там, где хищничество всего легче, ученые – где легче добыть себе славу и деньги. Аристократия крови проживает безвыездно *ubi bene* в блестящих столицах Запада, на берегу теплых морей и на веселых курортах, хотя все питание этой аристократии идет из заброшенной серой деревни. Самые талантливые профессора у нас мечтают получить кафедру за границей, лучшие живописцы, скульпторы, литераторы начинают устраиваться в Париже – на том основании, что там роскошный рынок для всякого большого таланта, тогда как у нас, например в России, если и

* Где хорошо, там отечество (лат). – В. Т.

есть спрос, то на дешевые, лубочные изделия. Бегство за границу нашей интеллигенции еще только начинается: огромное большинство ограничивается бегством из деревни в город, где устраивается такая же чуждая народу «заграница», как и настоящая. Большинство образованных людей, не обладая крупными дарованиями, не выдержало бы заграничной конкуренции и поневоле остается дома, но *только* поневоле.

Никто не пробовал – да это и было бы очень трудно подсчитать, какое множество русских людей выезжало за границу искать себе лучшей жизни; еще в крепостное время сотни и тысячи дворян эмигрировали добровольно, и кто, бывая за границей, не встречал хоть нескольких подобных соотечественников? Только самая малая их часть – «политические» эмигранты, чаще же всего это неудачные делатели карьеры, побродившие и в Старом, и в Новом свете и где-нибудь осевшие, чтобы раствориться в местной жизни. И до сих пор эта эмиграция продолжается. Из небольшого круга моих знакомых я знаю нескольких человек, ездивших в Америку наживать богатство. Чаще всего выезжают люди бесполезные, возвращающиеся довольно скоро доедать родные остатки. Но среди этих «удаляющихся от мира» встречаются люди с большою энергией, знаниями и талантами. Я знаю одного доктора медицины, едущего на Сандвичевы острова заниматься кофейными плантациями. Он сам сознается, что был очень полезен в России. Живя на одном диком побережье, он устроил цветущее маленькое хозяйство. «В продолжение 11 лет, – пишет он мне, – я лечил все окружное полудикое население, способствовал удалению хищной, разбойничьей администрации, спас 200 семейств от разорения, добился того, что на нашем побережье стали возникать ценные культуры». Казалось бы, бесценный человек, но потерпел несколько тысяч убытка и соблазнился статьями одной русской женщины-врача с Сандвичевых островов (вот куда заносит судьба наших женщин-врачей!). Соблазнился и едет. «Хочу, – пишет он мне, – успокоиться – в России я успокоиться не могу – и снова принятая за работу, подобную той, которою и здесь занимался». За доктором, кроме его многочис-

ленной семьи, едут еще три интеллигентные семьи, а человек, купивший хозяйство доктора, уже собирается в случае неудачи «махнуть на Цейлон» и поселиться в горах. И все эти образованные, даровитые люди оправдывают свое бегство тем, что в России жить нельзя.

Позвольте привести здесь любопытный пример «удаления от мира» одного русского человека – одного из тех, у кого хватило таланта и энергии сделать себе на Западе хорошую карьеру. Это П. А. Тверской³, автор известных очерков из североамериканской жизни, печатавшихся в «*Вестнике Европы*» и «*Книжках “Недели”*». В этих очерках он сам описывает, как после нескольких лет горячей, но безуспешной деятельности в одном из земств, он уехал в Америку, как он начал там с низших рабочих должностей, сделался инженером, строил железные дороги и участвовал в разных предприятиях, пока не остановился на паровых прачечных в Калифорнии. В результате кипучей деятельности – изрядное состояние, а главное, душевный покой, покой человека, постигшего истинный смысл жизни. Смысл этот – американизм, то есть возможно энергетическая работа с целью материального обогащения, к которому будто бы все остальное само приложится.

Очерки г. Тверского взбудоражили многих русских людей; в редакциях журналов, где его статьи печатались, получалась масса писем с просьбой сообщить адрес автора, и очень многие собирались ехать в Америку делать себе карьеру. У г. Тверского выработалось даже философское обоснование его бегства из бедной и невежественной России. Когда в прошлом году в очерках «*Думы о счастье*» я высказался за необходимость сближения нашей интеллигенции с народом с целью создания новой, народной и нравственной культуры, г. Тверской возражал мне следующим письмом:

«...Энгельгард⁴ и его последователи разных типов... по моему глубокому убеждению, принесли России несравненно более вреда, чем пользы. Русская интеллигенция и русский народ – две несовместимые вещи, и всякие попытки совместить их, как бы честны и искренни они ни были, только мешают на-

роду идти по своему собственному пути, единственно возможному и способному вывести его из тех дебрей, в которые завели его тысячи лет рабства и нищеты. Как варяго-русы не сумели “устроить Русскую землю”, так и теперешняя интеллигенция не сумеет этого сделать и только задерживает народ своими неумелыми, неудачными поползновениями. “Хождение в народ”, “служение народу”, “братство” и все им подобное только вредит действительному прогрессу, – пусть сам народ добивается этого прогресса, и если мы, интеллигенция, не будем у него на пути с нашими непонятными, ненавистными ему приемами, он скорее выбьется из тьмы на свет. Я пришел к этому заключению после десятилетней жизни в деревне, после десятилетней искренней, горячей, молодой борьбы со “всемирным злом”. У меня были и силы, и средства, я не был интеллигент-пролетарий без связи с окружающим меня мужиком, а местный житель, предки которого 600 лет сидели в одном гнезде. Я был богат и молод, молод и задорен – без малейших личных эгоистических мотивов – был самым молодым из предводителей дворянства и председателей земских управ во всей России, пользовался неограниченным влиянием во всем уезде и даже губернии, работал горячо и с самоотвержением – и только исковеркал и собственную жизнь, и жизнь моей семьи, и свой уезд. Если вам не лень, найдите в 1880 и 1881 годах мои очерки в *Вестнике Европы*... Знайте, что они написаны моею кровью, в них я исповедовался перед моими друзьями, а их в то время у меня было много по всей интеллигентной, следившей за земскою жизнью России публике, и что и до настоящей минуты я глубоко убежден, что я был прав в моих выводах... Я мыкался до 188... года, когда сделалось до того душно, что я ушел с родины. Думаю, что это был единственный шаг, которым я действительно принес пользу русскому народу... Мы с вами – варяго-русы, и чем скорее мы уберемся восвояси, тем скорее славянский народ добьется того, что ему нужно. Мы не только не можем ему помочь, но и, несомненно, ему вредим всяким нашим движением, всяким нашим словом, как бы искренно, честно и горячо оно и ни было...».

Как видите, тут намечается новое «последнее слово» для русской интеллигенции «конца века». *Бежать из России* – вот новый лозунг, поданный выдающимся человеком, предки которого «600 лет сидели в одном гнезде» среди народа. Если бы г. Тверской предлагал бежать из России всем хищным и низким элементам, я понял бы его мысль, хотя и счел бы ее наивной. Но он призывает к бегству именно самую благородную, честную, талантливую часть общества, людей наиболее чистых и самоотверженных, которые все же хоть немного сдерживают торжество зла, и вот это для меня непостижимо. Я ни на минуту не сомневаюсь в личной честности г. Тверского, но думаю, что не она подсказала ему решение оставить родину, и когда оставить! Когда она *особенно* нуждалась в людях, ему подобных. У нас так страшно мало людей честных, даровитых и энергичных, а г. Тверской бежал и увещевает бежать и тех, кто остался. Мне это кажется изменой родине, и я думаю, что она была вызвана не совестью, а талантом и энергией г. Тверского. Не преступление эта измена, но грустная ошибка. Неблагородно бежать, «не заплатив долгов», не возвратив издержки 600-летнего своего воспитания. Красивыми софизмами можно заговорить на время свою совесть, но кто же поверит, в конце концов, что честные и талантливые люди вредны для России? Что они более нужны Америке, где их и так много? Что в России нельзя было устраивать паровых прачечных и что заводить эти прачечные в Калифорнии – настоящее призвание русской интеллигенции?

Нет, совесть не подсказала бы такого решения.

III

Что подсказывает совесть, об этом говорят живые примеры деятелей, служивших народу. Те из этих подвижников, у которых совесть была вооружена большим талантом, посвящали себя всенародной (литературной, научной, художественной) проповеди добра, и это во все времена нужнейший и благороднейший вид служения. Те же, которые при великой

совести не обладали соответствующими иными дарованиями, шли на живое практическое дело не как вожди, а как рядовые, неся часто безвестную, но истинно геройскую службу народу. Припомните жизнь известных вам хороших людей: какие прекрасные деятели попадают из земцев, народных учителей, докторов, помещиков, священников и как благотворно их присутствие в обездоленной массе! Один истинно хороший человек в каком-нибудь захолустье уже заметно поднимает жизнь целой округи, и в доказательство я мог бы привести десятки имен подобных деятелей, отмеченных уже печатью. Но если нужен общеизвестный и громкий пример благородной деятельности, возможной в России, напомним хотя бы жизнь Н. И. Новикова: кстати, только что праздновался 150-летний юбилей его рождения. Уже более ста лет тому назад существовали в России такие «варяго-руссы», как Новиков, Шварц, Лопухин, Гамалея, Походяшин и др. Обратите внимание, с какой энергией, «упорствуя, волнуясь и спеша», небольшая горсть этих идеалистов берется за огромное историческое дело и ведет его с удивительным успехом – дело общественного просвещения, насаждения у нас журнальной и книжной печати, издания исторических материалов и т. п. В тот «жестокый век», в разгар крепостного рабства и государственного грабежа Новиков восстал против этих зол, полемизировал с журналом самой Екатерины II, в то время как аристократия таланта в лице Державина торговала лезвием. Первый журнал был закрыт – Новиков создает второй, с еще более смелым обличением крепостного права. Закрыт был второй журнал – Новиков открывает третий. Пусть и этот журнал погиб, пусть Новиков «подвергся личным неприятностям» и был выслан из Петербурга – он не опускает рук: он предпринимает огромное издательское дело в Москве и создает читающую публику, которой до него не было. И тут его преследуют кары, даже за научные его издания, но он, как мифическая гидра, теряя одно щупальце, выпускает два: он основывает целый ряд новых журналов, заводит народные школы (*первые* в России), вступает в связь с масонами, организует ряд типографий, устраивает учитель-

скую семинарию, делается душой знаменитого дружеского ученого общества, оказавшего столь благотворное влияние на тогдашнюю молодежь, разбрасывает книжную торговлю по всей России, кормит народ в голодный 1787 год, а, главное, наводняет читающую публику полезными, просветительными книгами. Пусть вся эта безупречная, честная служба родине увеличивается гибелью всех начинаний, преследованиями и страданиями в казематах Шлиссельбургской крепости (Новиков сидел там около 5 лет), все же Новиков и его друзья сделали для просвещения России больше, чем было сделано до них, и от них именно пошла порода искренних народолюбцев в нашей интеллигенции. Киреевский говорит о Новикове, что он не распространил, а *создал* у нас любовь к наукам и чтению и что дело, им совершенное, еще живет и приносит плоды. Неужели было бы лучше, если бы этот «варяго-русс» в свое время бежал из России, подобно некоторым офранцузившимся русским дворянам, и пустился бы вроде г. Тверского в промышленность на безопасных условиях? Даже и совсем выбитый из колеи, ушедший в родную деревню, Новиков сумел остатки жизни отдать крестьянам: о его заботах до сих пор живет благодарная память у крестьян. Так работают люди совести.

Представьте себе, что все честные и просвещенные люди вроде Новикова уходят из России, забирая и свои богатства, уходят навсегда, как евреи из Египта. Не будет ли это своего рода вскрытием артерий у народного организма? Ведь за первую волной уходящей честной интеллигенции должна бы последовать вторая, третья и т. д. – до полной потери лучшей народной крови. Представьте, наоборот, что все честные и просвещенные люди идут навсегда в народ, неся с собою свои знания, талант, энергию и материальные богатства, растворяя все это в массах народа. Не будет ли это работой творческих элементов крови, фагоцитов, которые стремятся именно к самым бедным, больным, захудалым частям тела и вступают в мужественную борьбу с враждебными жизни микробами? Хиреющая масса народная, мне кажется, может быть спасена именно притоком к ней элементов просвещенных и героических, ко-

торые подняли бы хоть немного народную жизнестойкость. И двинуть в народ талантливых и просвещенных людей, повернуть поток их, стремящийся теперь *из* народа, может только проснувшаяся совесть. Если бы для этого было достаточно знания, то образованные люди уже шли бы в деревню и в служении ей находили бы себе счастье.

IV

Мысль г. О. Т. В. обойтись без участия совести в деле общественного развития – для меня представляет сплошное недоразумение. С общественным злом, говорит г. О. Т. В., нужно бороться «общественными средствами», а «не погружением в свою совесть». Нужно действовать путем печати, суда, законодательства и устраивать справедливые порядки жизни. Все это прекрасно, но каким образом, *помимо совести*, привести в движение «общественные средства»? Ведь в печати, суде, законодательстве и проч. заседают *люди*, которые могут быть (как часто и бывают) совершенно равнодушными к общественному злу. Ведь прежде всего нужна чья-то тревога, что данное явление есть зло, а не добро, то есть нужна именно совесть. «Я как публицист, – говорит г. О. Т. В., – буду доказывать, что совесть не в г. Родиславском (из дела г. Евгения Маркова), а в несправедливом законе». Будете *доказывать*? Но, значит, еще прежде вам *самим* нужно убедиться в несправедливости закона, а как же это сделать помимо совести? И мало просто «убедиться»: убеждены в несправедливости некоторых порядков очень многие, но и пальцем не шевелят, так как зло их не касается или выгодно им. Огромное большинство образованных помещиков до реформы признавали крепостное право злом, но лишь очень немногие были настолько совестливы, чтобы отпустить крестьян на волю, возратить им землю и посвятить жизнь борьбе с рабством. Мало только *узнать* об общественной несправедливости, нужно *восчувствовать* ее, оскорбиться, вознегодовать, и только когда зло почувствуется невыносимым, вы сдвинетесь наконец с места и начнете действовать так, как

нужно: самоотверженно и страстно. Необходимо возбуждение совести не как идеи только, а как *воли*, то есть в форме не скрытой, а освобожденной энергии, и следует всеми мерами – воспитанием детей и нравственным просвещением взрослых – укреплять в обществе эту нравственную энергию. Перерождение общества – задача долговременная: нужна бесконечная работа совестливых душ, работа полипов на дне океана, прежде чем поднимется общий нравственный уровень.

Г-н О. Т. В. говорит: «Образованное меньшинство приходит к сознанию, что такое-то учреждение, положим, наш старый приказный суд, не удовлетворяет целям правосудия, стало быть, в общем вредит нравственному развитию людей и понижает нравственный уровень всего общества. Что надо делать этому меньшинству? Конечно, не погружаться в свою совесть, а добиваться введения гласного, независимого, устного правого суда». Прекрасно, но каким же путем «образованное меньшинство» *приходит к сознанию* безнравственности прежнего суда? Ведь *сознание безнравственности* и есть совесть! И как «добиваться» нравственных целей, не «погружаясь» в совесть – свою и ближних? Это все равно, что добиваться музыкального наслаждения, закрыв плотно уши. «Зло надо определить, отличить от добра, – говорит г. О. Т. В., – ведь для этого надо иметь ясное сознание того, какие общественные порядки хороши, какие плохи и вредны». Святая истина! Но что же, кроме совести, *определяет* зло? И в чем коренное свойство совести, как не в определении зла? Иначе ведь придется вовсе отрицать само существование совести как особого сознания. Для людей «личного самоусовершенствования», говорит г. О. Т. В., не нужны нравственные порядки. Но для кого же нужны нравственные порядки? Неужели для людей бессовестных? Кому дорого и желанно осуществление правды: тем ли, кто отрицает ее, или тем, кто отстаивает ее ценою хотя бы жизни? Г-н О. Т. В. иронически относится к подвигам совести: «Пострадать за правду, – говорит он, – лет десять героически просидеть совсем безвинно в отвратительной тюрьме и умереть в тюремной больнице, сохранив при этом

чистоту души»... это будто бы ничего не стоит. Не понимаю я этой иронии. «Пострадать за правду», может быть, самые святые слова, какие есть на человеческом языке. Ведь если страдают за *правду*, то страдают за нечто всем нужное и важное, и уж если у кого хватило нравственной страсти поставить идею выше жизни, у того (и только у того) хватит энергии, чтобы «добиваться», как советует г. О. Т. В., осуществления этой идеи вне стен тюрьмы или больницы. Хорошо, конечно, если бы «поменьше было *возможности* для подобных подвигов», согласимся мы с г. О. Т. В., но необходимо, чтобы было побольше *готовности* на такие подвиги.

«Нужна отчетливая общественная цель», – говорит г. О. Т. В. Но что же, кроме совести, в состоянии указать отчетливую *нравственную* цель? Безнравственная цель, как бы она ни была отчетлива, не должна же быть целью общества. Задача истинного общества есть нравственное сожительство, и если общество не осуществляет справедливости, то оно и не есть общество.

«Для нравственной работы, – говорит г. О. Т. В., – нужна безопасность, некоторое обеспечение того, что ваш труд не пропадет даром». Но чем достигается эта безопасность, как не подъемом *совести*, запрещающей стеснять свободу человеческой мысли?

Я ставлю развитие совести прежде всех других задач не потому, что другие задачи не нужны, а потому, что совесть находится у нас в особенно жалком упадке и тормозит развитие просвещения и благосостояния. В основах русской личной, семейной и общественной жизни гнездятся безнравственные начала холопства и самодурства, почти полное отсутствие инстинкта достоинства, отсутствие в силу этого самостоятельности и влечения к жизненной правде. Грубейший, чисто азиатский материализм душит нашу невежественную буржуазию, и тем же своекорыстным материализмом заражена в огромном большинстве и интеллигенция. Корысть и нажива – вне этого нет желаний, – поймите: *желаний* нет. Как же ждать, что явятся откуда-то светлые законы жизни, когда жизнь темна, – явятся возвышенные *явления*, когда отдельные *факты* низки? При

низких чувствах откуда возьмутся благородные категории их – справедливые порядки? Ведь не с неба падают явления жизни: они слагаются роковым образом из тех элементов, какие есть в действительности, и слагаются в те именно сочетания, на какие способны по их природе. Как химическая смесь кристаллизуется сообразно входящим элементам, так и живая человеческая смесь – общество – отслаивается сообразно нравственным задаткам отдельных членов. Если у большинства преобладают не нравственные интересы, жизнь общая роковым образом принимает звериный характер; из миллионов отдельных неуважений личности слагается стихия общего бесправия. Гибнет отдельный хороший человек – общество молчит, гибнет хорошая идея – общество молчит, гибнет хороший закон – общество опять молчит или даже злорадствует: возвращение к несправедливому закону радуется, как возвращение к более естественному для такого общества порядку.

V

Основным двигателем общества мой уважаемый оппонент считает не нравственность, а знание. «Просвещение, – говорит он, – подымает нравственность, знание увеличивает материальный достаток, и оно же ведет к созданию таких учреждений, которые наилучшим образом удовлетворяют целям общежития». Речь идет, очевидно, об *истинном* знании, хотя в общем знание гораздо богаче ошибками, нежели истинами. Но даже и та небольшая доза знаний, которые признаны истинными, *сами по себе* не создают еще нравственности. Они питают ее, доводя действительность до сознания, но *пища*, хотя она и необходима для тела, не есть еще само тело. Прежде питания совести необходимо еще, чтобы она существовала хоть в зародыше. Знание еще не есть *сознание*; знание – свет, но не следует смешивать *свет* со *зрением*. Чтобы увидеть вещь, конечно, необходимо, чтобы она была освещена, но сверх того, нужен зрительный центр в мозгу, чтобы почувствовать и обсудить световое ощущение. Для нравственного сознания, как

и для всякого другого (религиозного, эстетического), необходима точная картина действительности, но, кроме нее, необходима еще способность обсуждать деятельность, относить ее к особой координате души, к известному *идеалу*. Знание есть не более как простой материал сознания – груды кирпичей, песку, извести, остающаяся грудой, пока ею не воспользуется архитектор – разум или безумие, совесть или бессовестность, смотря по стилю души. Как орудие, знание вооружает совесть и увеличивает ее средства в чрезвычайной степени, но в той же степени знание вооружает и бессовестность. Математика, химия, физика, ботаника и проч. ни на йоту не изменяют безнравственного склада жизни, а, скорее, укрепляют его. Химики, механики, электротехники и проч. охотно приглашаются полудикими деспотами, вооружают их войска скорострельными и бездымными винтовками (как в Афганистане и Персии), выкуривают спирт и опиум, которыми отравляются миллионные населения, проводят железные и иные пути в те страны, куда еще не добрался капитализм. Ученые юристы и социологи по приглашению тех же деспотов разрабатывают местное право и создают кодексы, укрепляющие насилие, как закон. Хищникам такие знания помогают только укрепить свое господство над массами. Физическое знание (а таковыми стремятся сделаться все науки) по природе своей нравственно безразлично: оно, безусловно, равнодушно к добру и злу, считая то и другое за одинаково законный, естественный факт. Никогда и нигде такие знания не вносили смягчающего влияния в общество, а укрепляли всякую силу, добрую и злую. Если развитие знаний необходимо, то только в качестве могущественного оружия, от которого добро не может отказываться, раз тем же оружием вооружилось и зло. Материальные знания «освобождают» ум человеческий от суеверий, но освобождают одинаково для добра и зла, не внушая никаких пристрастий к тому или другому. Только чувство – злое или доброе – направляет освобожденный ум в ту или другую сторону.

Кроме *физических* знаний, правда, есть еще и *гуманитарные*, но гуманизирующее их влияние принадлежит цели-

ком не научному, а *нравственному* элементу, который в них заключается. Гуманитарное знание есть та же совесть, только обогащенная конкретными фактами, картинами и сочетаниями. Все гуманитарные науки теряют тотчас же всякий смысл, отнимите лишь от них проникающее их чувство совести. Что одно умственное просвещение не поднимает нравственности, достаточно взглянуть на наших просвещенных ретроградов, на прусских юнкеров, на английских лордов, на французских буржуа. Во всех странах самые просвещенные сословия стоят или в стороне, или прямо-таки поперек дороги нравственного движения общества; это движение ведется менее просвещенными, но более совестливыми междусловными элементами. Даже класс ученых и профессоров нигде не стоит во главе общественного развития, за известными, конечно, блестящими исключениями (исключения, не менее блестящие, встречаются и среди лордов и буржуа). В классической стране учености – Германии – многие ли профессора занимаются чем-нибудь, кроме своего ученого ремесла и карьеры? «Гелертер» – родной брат «филистеру», и оба стоят далеко от кипучей общественной струи. Между гелертерами часто [по]являются усерднейшие слуги реакции: вспомните едкие характеристики немецких ученых, сделанные Шопенгауэром, Дюрингом⁵, Геккелем и т. п. Вспомните французскую коллегия «бессмертных» с ее тупым консерватизмом или нашу академию наук со времен Ломоносова. Тип саламанкских профессоров эпохи Колумба не умирает; то, что говорил Герцен в своем превосходном очерке (*Цех ученых* и пр.) 52 года тому назад, написано точно сегодня: в наиболее просвещенном классе до сих пор господствует отсталость в области самых жгучих и важных вопросов жизни, мертвая узость взглядов и грубый специализм. Русское просвещение очень молодо, однако уже выдвигало в критические моменты общественной жизни людей, влиявших всю тяжестью своего таланта и образования для удушения новых, более нравственных форм жизни: достаточно вспомнить роль Державина, Карамзина или некоторых московских публицистов в позднейшее время. Для жизни Новикова, раз

мы ее коснулись, характерно, что этот великий деятель, как и многие ему подобные, был «недоучкой»: был исключен из гимназии, не знал ни одного иностранного языка. Не избыток знания, очевидно, направлял его благородную работу, а чувство совести. Характерно и то, что первое гонение на Новикова воздвигла «комиссия об училищах» из отборных представителей тогдашней учености.

Что умственная просвещенность сама по себе не делает людей более нравственными и духовно-свободными, доказывает и то, что нравственность в среде крестьян (и именно самых невежественных, не прикоснувшихся еще к фабрично-казарменной культуре) значительно выше, чем среди средней интеллигенции. Возьмите наших раскольников и сравните с образованными людьми *fin de siècle*. В центрах просвещения, – в Париже, например, – просвещенный класс уже повторяет римлян времен упадка, и даже представители общественной совести, – деятели печати и члены парламента – часто поражают своею безнравственностью. Наша интеллигенция уже второе столетие мечтает о некоторых основах справедливости, которые в глубине народных масс осуществлены давно. Нельзя также отрицать, что самые невежественные наши века – до XV столетия – давали типы государственной жизни, в нравственном их плане недостижимые для последующих столетий.

Утверждая, что знания поднимают нравственность, обыкновенно имеют в виду великие общественные реформы на Западе, совпавшие с чудесным расцветом знаний. Но, в сущности, совпадение это не точное и не в пользу знаний: великие реформы осуществлены еще при очень низком уровне просвещения, населенными почти сплошь безграмотными и в эпоху, когда все точные науки (кроме математических) только что начинались, и даже гуманитарные были в зародыше. Великий подъем духа в XVII–XVIII веках, повлекший за собою облагораживание общественных форм, имел не научное, а *нравственное* происхождение; он вытек из реформации и из английской философии (породившей французскую), а главное, из постепенно сложившихся более гуманных нравов, пришед-

ших в противоречие с устаревшими учреждениями. Расцвет знаний, конечно, очень сильно влиял на жизнь, коренным образом перестраивая экономические и социальные отношения, но влияние этого расцвета знаний нельзя еще назвать нравственным. Скорее, наоборот: следует с грустью признать, что как только появлялось какое-нибудь новое открытие или изобретение, первые им овладевали хищные элементы для вящего порабощения масс. До порабощенных масс знания не дошли, или дошли поздно, или вовсе оказались непригодными в их борьбе за существование. Что пользы современному английскому рабочему от усовершенствования машин? Каждое усовершенствование уменьшает спрос на рабочих и выгоняет часть их на улицу. Сто лет тому назад, до расцвета знаний, народ на Западе был независимее экономически, чем теперь, в эпоху колоссальных промышленных стачек и войны капитала с трудом. Теоретики передовых общественных учений утверждают, что победа *непрерывно* останется за рабочей массой, но будет ли это так – судить еще рано. Весьма возможен и обратный исход: новое и бесповоротное закрепощение народных масс промышленной аристократии, когда последняя овладеет всеми государственными рычагами. Если же и восторжествуют когда-нибудь более справедливые социальные порядки, то это будет благодаря не знаниям, а опять же *нравственным* усилиям, вложенным в борьбу.

Вот и следовало бы говорить, прежде всего, об этой первоосновной энергии; благотворные последствия ее явятся сами. Искренняя совесть есть стремление к истине во всех областях сознания, и все, что есть истинного в науке, поэзии и религии, связано в источнике духа с совестью. Совесть не отрицает знания: она к нему стремится; тем более странны попытки людей знания обойтись без совести.

* * *

Ставя *совесть* первоисточником светлых общественных явлений, я считаю ошибочным, но не вредным и противный

взгляд, полагающий этот первоисточник в знании. Я убежден, что горячая защита знаний как панацеи общественных бед подсказана тою же совестью и что знания в руках защитников вроде г. О. Т. В. могут послужить только нравственным целям. Спор не нужен, нужна честная работа, которая людей искренних непременно заставит встретиться: поборников совести непременно приведет к знаниям как к необходимому ее оружию, а ревнителей знания приведет к нравственным идеалам, дающим смысл знанию. Лозунгом плодотворного общественного движения не может быть ни «нравственность», ни «просвещение», а неразрывный союз их – *нравственное просвещение*. Эти два великих сознания должны быть сближены, чтобы вызвать из скрытых сил души «священный пламень», энергию сознательной и радостной работы.

ДУМЫ О СЧАСТЬЕ

...Still govern thou my song, Urania,
and fit audience find, though few.

*Paradise Lost, book VII**

И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.

Быт. 2:15

Никогда человечество не было так многолюдно, образованно, могущественно и богато, как теперь, но никогда еще, кажется, дух скорби не овладевал с такою силой именно лучшими представителями человечества. «Тончайшим ядом отрицанья» отравлена радость жизни; просвещенные расы утомлены, добытая бесконечными усилиями роскошь

* Урания! Всегда руководи моею песней; для нее сыщи достойных слушателей, пусть немногих (Пер. С. Шервинского. – М., 1976). – В. Т.

оказывается напрасной, и «жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом». Преклонившись перед искусителем, обещавшим покорить все народы и царства мира, наша цивилизация сделала печальную ошибку, от которой предостерегал людей Христос. Покорены народы, исследованы дальние океаны и материки, раскрыты сокровища земные, и если не весь род людской, то многие миллионы людей окружены неслыханной и сказочной для прежних веков роскошью. И из среды этих-то нашедших земной Едем миллионов раздаются вздохи отчаяния, мрачного и неукротимого. Целое столетие было наполнено бурями политического возрождения, жестокими битвами за права, но все возможные (права) добыты – по крайней мере, для многих миллионов, осуществлена свобода – мечта благороднейших душ, и именно из среды пользующихся этим благом поколений слышится трагический вопрос: «Стоит ли жить?»

Перед «концом века», этого «века подвигов человеческого духа», гений жизни разочарован, возникает всюду страстная потребность разрешить загадку счастья. Порабощенная природа кажется пустыней, от которой уже не веет поэзией начала жизни, радостью свободы, радостью существования. Что такое счастье? В чем оно? Эти затаенные вопросы, которые волнуют всякую живую душу и которыми мучились самые высокие умы, снова с неожиданною силою поднимаются в европейском обществе.

Семья и общество

I

Чтобы понять, в чем счастье, нужно заглянуть в сердце несчастных, самых несчастных, какие есть на свете. Ко мне пришел однажды уже пожилой поэт с некрупным, но искренним талантом. Он прочел мне свое стихотворение и спросил, хорошо ли оно. Стихотворение было полно глубокою тоской и тою робкою надеждой, которая хуже отчаяния. В начале его

поэт как бы под тяжестью чьих-то беспощадных укоров пробовал защитить наше больное поколение, наш истомленный век:

Милый друг, в былое время
Был ли лучше человек?
Так же он грешил, как ныне,
Так же падал и страдал,
Так же он своей святыне
Безрассудно изменял.
Те же страсти и сомненья
Повторялись вновь и вновь,
Те же ведал он мученья,
Ту же чувствовал любовь.

Такова бедная природа человека, его вековечная доля...
Но дальше поэт пробует утешить и оправдать человека:

Но всегда в тумане мира
Сердцем он распознавал
Ложь житейского кумира,
Вечной правды идеал...
И поверь: настанут годы, —
И полнее, и сильней
Чувства правды и свободы
Оживут в сердцах людей...

Эта последняя надежда, что когда-то «настанут годы» и оживет все то, чем радостна жизнь, эта робкая надежда мне показалась какою-то жалостной и горькой. Когда же настанут они, эти желанные годы?

Поэт, написавший стихотворение, их не дождался. Через немного дней после этого он совершенно неожиданно для всех лишил себя жизни. Он выбрал сильнейший яд, приготовился, написал письма и на заре, когда всходило туманное петербургское солнце, он прервал свою еще не долгую и, как всем казалось, беспечальную жизнь...

Я близко знал бедного поэта*. Ему было около 40 лет, он имел несомненный талант, пользовался здоровьем, материальным достатком, не был связан ни семьей, ни заботой; страстный охотник и любитель природы, он любил путешествовать; задушевный и интеллигентный, он мог черпать счастье из всех сокровищ науки, литературы и общественной жизни. Необъяснимая, загадочная смерть, как и все подобные смерти. Пусть доктора говорят о «нервном расстройстве», о «подавленном состоянии», о «навязчивой идее» – все это внешние признаки какого-то странного и темного процесса, неразгаданного, как сама жизнь. Я знал многих самоубийц – и роковой конец их всегда казался для меня внезапным и в то же время безотчетно необходимым.

Другой мой знакомый, один генерал-морьяк, застрелился в тот самый день, когда печатался приказ о назначении его на очень крупный пост. Генералу было всего около 50 лет, он пользовался общим уважением как человек милый и добрый, имел ученое имя, был богат и имел счастливую семью. Он отличался религиозностью, ревностью к службе, замечательной честностью и умеренностью в жизни. Решительно никаких, по видимому, причин для самоубийства не существовало. Говорили, что генерал страдал нервами, но кто же ими не страдает? Он совершил над собою казнь сознательно, приготовившись за несколько дней. Дочь играла на рояле, он поцеловал ее и выстрелил себе в сердце... Что довело его до ужасной развязки? «Стало скучно жить на свете», как в предсмертных записках пишут эти несчастные. Помню еще самоубийцу – молодого офицера, замечательного красавца. Он имел шумный успех у женщин, прекрасное здоровье; жизнь беспечальная расстилась перед ним. И вот однажды, одевшись по-походному, он вышел за крепостную стену и выстрелил себе в лоб. Рука не дрогнула... И сколько я помню молодежи, сверстников моих, покончивших с собою без всяких сколько-нибудь уловимых причин: нельзя же считать «причиною» то, например, что человек проиграл деньги, не получил обещанного отпуска, не

* Вячеслав Александрович Гайдебуров. Ск. 15 февраля 1894 г.

дождался на свидание женщины, которую увлекся. Очевидно, это были не причины, а последняя капля уже в переполненной чаше горя. Но какого горя? Откуда оно?

При виде человека, которого все считали счастливым и который лежит перед вами «бездыханен, безгласен», бежавший в объятия смерти, вы чувствуете какое-то неразрешимое, тяжелое недоумение. Вы смутно сознаете, что стоите в центре каких-то жизненных трагических процессов, невидимо росших тут же около вас, в эти серые будни, в монотонной буржуазной обстановке, где, казалось бы, невозможны никакие драмы, где жизнь сплетена из мелких радостей и мелких печалей. «Счастливый человек» – и вдруг лежит перед вами раздавленный неожиданным душевным переворотом, убитый возмущившимся в нем духом, потребовавшим его казни...

И самоубийства растут, растут в ужасающем числе, захватывая все возрасты и состояния, все – даже высшие пределы счастья, и даже высшие по преимуществу.

II

Что же такое счастье? Я думаю, если бы можно было разобрать хорошенько жизнь «счастливых» самоубийц, которые неизвестно почему бежали от своих денег, орденов, чинов, от своей молодости и красоты, от праздности и комфорта, – если бы исследовать их жизнь, приведшую к отрицанию жизни, – быть может, мы поняли бы, что такое счастье. Невозможно, к сожалению, вскрыть душу самоубийцы, как вскрывают его тело, чтобы определить психический яд, его убивший; но та боль и страх, которые вами овладевают при виде жертвы, не есть ли вскрытие вашей собственной души? Не испытывает ли она при этом те же состояния, какие в сильнейшей степени испытывал самоубийца? Я думаю, что чужую душу следует изучать по своей собственной и именно в себе искать разгадки гнетущей тайны самоубийства. Как бы вы ни были далеки от погибшего, всегда при вести о самоизгнании его из жизни вас начинает мучить в тайных уголках сердца какое-то тре-

возное сознание, что каким-то образом и вы причастны этой смерти, как будто и вы в чем-то виновны. Точно пришедший к вам гость вдруг уходит раньше времени, обидевшись чем-то или соскучившись. Так и здесь: невольно говоришь себе: может быть, и не убил бы он себя, если бы я вовремя подошел к нему и заглянул в его душу, если бы я, как родной брат к брату, приблизился к нему и взял на себя половину его ужаса, погоревал бы с ним, поплакал бы, обнял бы его и умолил его пощадить себя... Может быть, не было бы мертвеца, если бы общество близких окружило его жизнью, нежным дыханием любви, если бы кто-нибудь вошел в его внутренние душевные интересы и разделил бы частичку их тяготы... На обществе живых лежит смерть погибших, «все виноваты за всех», как говорит Достоевский. И «страшный суд» совести перед отшедшим, сейчас еще полным жизни братом говорит вам: «Он был наг» душою и «Вы не одели его», он томился в темнице мрачного отчаяния – вы не посетили его, он алкал истинной дружбы – вы не накормили его...

В этом смутном и скорбном сострадании нужно искать разгадки самоубийств. В нашей сложной, пресыщенной, чувственной жизни недостает стихии, которою, как грудь кислородом, дышит здоровая душа человека, которою она и живет, и радуется. Недостает любви, жалости человека к человеку. Самоубийцы, которых я знал близко, были все прекрасные люди, но их всех можно было назвать «невольными эгоистами». По их природе им, казалось бы, свойственно было много и горячо любить, но жизнь их как-то так слагалась, что они ни к кому искренно не привязались и все интересы их как-то искусственно замкнулись в них самих, обратились внутрь, а не наружу. И в этой тесноте собственного существа человек психически задыхался. Приходилось жить для себя только в четырех стенах своего сердца, а это становилось тюрьмою, перед ужасом которой дух изнемогал. Ужасно, возмутительно запереться в самом себе и только для себя. Ведь на самом деле внутренняя природа наша шире пределов видимой индивидуальности. Я – не только то, что заключается в телесной оболочке, но и все

то, что я чувствую вне себя, что входит в мое сознание. Из телесной оболочки человека как бы исходит нечто, обнимающее собою внешний мир и как бы присутствующее в близких мне людях. Я сочувствую и сострадаю этим людям, значит, душой живу в них. На крошечной физической основе моей держится громадный пространственно психический организм, настоящая жизнь которого не в теле, а вне тела, в слитии с другими подобными же организмами. Есть предрассудок, будто человек любит всего больше самого себя. Однако всякий, кто хоть однажды в жизни искренно любил, сознается, что *любить* можно кого угодно, только не себя. Можно желать себе разных благ, страшиться за себя, быть обиженным, можно нравиться самому себе (как и не нравиться), но никогда не любишь себя и в малой доле той восхищенной, восторженной, стремящейся любви, как, например, в детстве – свою мать или брата, а потом – жену, ребенка, друга. Свои потребности удовлетворяешь равнодушно, машинально, а потребности тех, кого любишь, – с наслаждением. Больно и страшно самому страдать, но видеть страдания любимого существа невыносимо. Жизнь своя бессознательно дорога себе, но жизнь искренне любимого человека еще дороже, и тем естественнее человек, чем менее он испорчен ложною культурой, тем это чувство проявляется резче; так что в сущности любить – как и ненавидеть – можно только других, тот маленький мир близких, в которых живешь душой. И вот эта-то любовь и есть основное психическое условие счастья, душевное дыхание, без которого человек умирает.

Нет любви – и гаснет жизнь,
И дни плывут как дым.

Настоящее человеческое *я* есть *мы*, и только в такой формуле оно счастливо и покойно. «Всякому необходимо, чтобы было к кому-нибудь пойти», и необходимо, чтобы ваша любовь была встречена любовью, нужно, чтобы кто-нибудь вам приветливо улыбнулся и «пожалел» вас, помечтал бы с вами, посмеялся. Недаром древние мудрецы, тончайшие ценители

счастья, высшим благом считали дружбу. Прочтите речи Сократа¹ о дружбе, Цицерона² (о Сципионе³) или трогательные и глубокие письма Сенеки⁴ к Люцилию. То же убеждение во благе дружбы выражает и вековая мудрость народов во множестве пословиц. Дружба скрашивает дни жизни даже колоднику в руднике; самая тяжкая кара, заменяющая смертную казнь, – одиночное заключение. Вот я и думаю, что «счастливые» самоубийцы – те, которых жизнь делает невольными узниками, лишенными не только света, но и воздуха счастья, лишенными любви человеческой...

III

Если любовь есть основное условие счастья, спрашивается: кто мешает каждому любить людей? Ведь даже какой-нибудь бедняк-сапожник любит свою грязную и изнуренную жену-прачку, имеет приятелей, таких же оборванцев, и насыщает же он как-нибудь свои потребности любви и дружбы. Не легче ли это в среде культурных, изнеженных классов с их утонченным умственным и эстетическим развитием и пр.? Нет, не легче; я думаю, что даже труднее. Культурная жизнь, соединяя громадные людские массы механически, разъединяет маленькие естественные психические группы, в которых только и может жить человек, разрушает тесные семейные и родовые кружки людей, столь крепкие в прежние времена. Пути сообщения – железные дороги, телеграфы, телефоны, газеты, книги – соединяют человечество, но не сближают людей до непосредственного, сердечного общения; они дают возможность иметь в сто раз больше знакомых, но часто отрывают от вас немногих истинных друзей. Старинные, малоподвижные времена были выгодны для семьи и дружбы; большинство людей тогда где родились, там и росли и кончали жизнь, в черте своего околотка среди нескольких десятков односельчан. Теперь же и образованный, и рабочий класс кочуют с ранних лет, отыскивая лучшие условия образования, службы, работы, беспрерывно перемешиваясь и поминутно обрывая завязыва-

ющиеся отношения; знакомства приобретают мимолетный характер, не переходят в дружбу, в родственное чувство долгого сожительства. Если где еще возможна старая, патриархальная общественность, то в деревне. Деревенский постоянный житель знает своих односельцев с головы до ног, с их нравами и привычками, с их затрапезной жизнью, с их ежедневными событиями за десятки лет, часто – со дня их рождения. Только в деревне, где все на виду и всем все известно, возможна общая душевная жизнь целой группы людей, возможно настоящее *единение*, слияние душ, только в деревне возможна *Церковь* в древнехристианском смысле этого слова. Сравните быт деревни с жизнью большого города; там громада населения вам и близка, и столь же чужда, как бы она жила за тысячи верст, – там вы можете двадцать лет прожить в своей квартире и не знать даже имени соседей, живущих через стенку, в расстоянии полуфута от вас. На расстоянии полуфута могут рождаться, любить, страдать, умирать – и вы даже не узнаете об этом. Разве только отдаленный гул рояля иногда напомнит, что за стеной еще не конец света, что там живут с их радостями и печалью такие же люди, не знающие, не догадывающиеся о вашем существовании. В городе можно иметь много знакомых, но все они – как разбредшееся общество в дремучем лесу: никто не видит друг друга, все потонуло в темной чаще, и нужно каждый раз разыскать приятеля, чтобы узнать, что он делает. В городе внутренняя жизнь даже друзей прикрыта, есть условные часы для встреч, в которых вторгаться в домашнюю жизнь ближних не принято. Живя в городе, можно от всех скрыть все, что не хочется открывать; эта возможность разъединяет людей сверх меры, устанавливая лишь немногие и условные точки соприкосновения.

Но и кроме этих, чисто механических причин, в цивилизованном быту есть могущественные психические условия, отделяющие человека от человека. Чем богаче, знатнее, образованнее человек, тем уже круг возможных для него знакомств: сын крестьянина, делаясь образованным, сразу как бы выселяется из многомиллионного ему родного мира в

мирок из нескольких тысяч образованных людей, ему равных. Даже и в этом мире образование соединяет людей менее прочно, тем в большом народном мире их спланивало невежество. Чаше всего образование разобщает. По условиям нынешнего просвещения, чем человек учнее, тем он более специалист, то есть тем более чужд всему остальному миру. Техник, юрист, филолог, музыкант – если они серьезно преданы своему делу, то им очень трудно найти общую почву для душевного общения; в лучшем случае им приходится болтать о театре или политике или обмениваться замечаниями о погоде. Ведь если бы стенографировать любой разговор в гостиницах, то, за редкими исключениями, такая запись дала бы своего рода *testimonium paupertatis*^{*}, почти клиническую картину духовной бедности людей – и людей в отдельности не глупых, а иногда отменно умных. В Петербурге я знаю одно общество людей изысканной интеллигенции, с именами, известными всей России, людей, собирающихся по понедельникам для бесед о литературе. Можно подумать, что тут-то ведутся живые, одушевленные речи, тут-то идет искрометный обмен мысли. На самом деле, на этих беседах, когда их удается кое-как собрать (обыкновенно никто не ходит), царит гнетущая скука или пустейшее словоизвержение какого-нибудь болтуна. Даже простая деревенская сходка содержательнее, искреннее и интереснее, чем это сборище «известностей». Но каждая «известность» мертва только здесь; в ином, интимном кружке она очарует нас умом, талантом, образованием, знанием жизни, остроумием. Что же это значит? А только то, что в обществе члены недостаточно близки друг с другом, а потому стесняются. Удобно ли перед почти незнакомыми людьми раскрывать свою душу, заветные, самые дорогие мысли? Полузнакомство, несколько сближая людей, всех как бы парализует, а близкую дружбу установить при условиях городской жизни трудно. Целыми годами, десятилетиями, всю жизнь продолжают такие полузнакомства: снятие шляп при встречах, пожиманье рук, два-три слова о какой-нибудь зло-

* Свидетельство о бедности (лат.). – В. Т.

бе дня. «Бывать» у такого знакомого так же не принято, как и «принимать» его у себя.

Города переполнены специалистами, а специализм уже по существу своему разобщает людей. Чем инженер может поделиться с литератором или художником? Оба они (в большинстве случаев) – рабы своих профессий, оба замуравлены в своем ремесле и выглядывают из него на мир Божий – как узник сквозь крохотное оконце: ничего интересного из него не видно. Бывают, правда, выдающиеся специалисты, которых духовной жажды хватает и на другие предметы, но это редкость. Круг умственных привязанностей суживается для цивилизованного человека пределами его труда, но и немногие представители этого труда разбросаны по отдаленным углам города, и самая работа их разъединена: медики, например, лечат совершенно различных пациентов, адвокаты защищают различные дела. Это не то, что в деревне, где Сидор вместе с соседом Карпом выезжает на поле и пашет рядом, и сеет рядом, и жнет рядом. Культурные профессии слишком отграничились друг от друга, подразделились, обособились до мелочей. Труд – содержание жизни – теряет свой общественный, союзный характер, а вместе с этим исчезает и сама общественность. Нужна бывает какая-либо искусственная «общая почва» для поддержания общества: на Западе – лихорадочная «политическая жизнь», у нас – «общественные развлечения». Не будь политической борьбы на Западе или у нас журналов да театров – не было бы и той тени единения, которая теперь называется «общественным мнением». Современная цивилизация убивает истинное, живое общество – то, которое создается лишь очевидным, ежедневным общением, общество *органическое*, всегда *небольшое* по числу членов (слишком больших организмов не бывает), – и сбивает мелкие общественные клеточки в массу механически связанных между собою атомов, друг другу чуждых. Современное общество – не организм, а машина, все части которой тесно связаны и всегда одиноки: их не орошает общая кровь из общего сердца, не питает их и не согревает. Чувство *родства* заменяется созна-

нием *зависимости*. Общество из семьи превращается в толпу, где каждый среди чужих. Можно и в толпе чувствовать общие настроения: следя за жизнью мира, как за театральной сценой, вы вместе с партером смеетесь или плачете, но эта радость и эта печаль и общи, и одиноки: справа и слева сидят незнакомцы, которых через час вы забудете, как и они вас.

IV

Слишком сложный, слишком искусственный городской быт затрудняет жизнь даже мельчайшей ячейки общества – семьи, которой иногда одной достаточно для счастья. «Только тот счастлив, кто счастлив дома», – говорит Гете, повторяя мысль Екклезиаста о человеческой доле на земле (Еккл. 9:9). Родное гнездо, жена – как второе сердце свое, милые детки, стихия горячей любви и дружбы – вот основное счастье человека. Кроткий пламень семейного очага – единственный свет, согревающий и не жгущий, около которого душа обретает мир. Но для того, чтобы сложился этот очаг, для того, чтобы не померк этот святой огонь, необходима постоянная трудовая и житейская близость всей семьи, необходим непрерывный обмен всех впечатлений и мыслей, интересов и надежд. Такая семья возможна лишь в патриархальном быту деревни (где деревня не расстроена вмешательством города). В современных городских, культурных условиях искренняя семья невозможна. В городе глава семьи, погруженный в свою специальность, не понятную ни жене, ни детям, органически не связан с ежедневной домашней жизнью, такой глава семьи – часто гость у себя дома. Он целый день где-то на службе или сидит, запершись в кабинете, оторванный для какой-то далекой и психически не нужной семье жизни: через тридцать, сорок лет этого совместного житья жена ровно ничего не понимает в работе мужа. Подумать вслух о своем жизненном труде у «домашнего очага» человек уже не может, как думает мужик и ремесленник. У этих бедняков в тесной избе, около себя – все орудия ремесла и вся работа; у них жена всегда в состоянии заменить

мужа за сохой, бороной или косой; у них пятилетний сынишка уже ведет лошадь на водопой или сидит на возу, а такая же девчонка пасет гусей, загоняет корову в хлев, носит отцу хлеб в поле и с этих ранних весенних дней своими ясными глазами впивает в себя все подробности отцовской работы, всю картину его жизни. В деревне на маленьком, разнообразном, но в то же время простом и всегда естественном деле сосредоточивается внимание всех домочадцев, и все в равной степени специалисты, все непосредственные участники одного, полного жизни дела. Такая *общая* с незапамятных времен трудовая жизнь сплачивает хорошую крестьянскую семью в духовно крепкий, несокрушимый организм, и только горькая нужда да неволя могут разрушить это благодатное человеческое гнездо – к гибели его отдельных членов. Нет ничего выше и чище подобного семейного счастья, когда душа каждого члена семьи обогащается всем духовным богатством прочих членов, вырастает и живет в широком единении, всегда находя себе участие и утешение. Совсем не то – заурядная городская семья, где отдельные члены живут совершенно отдельными интересами. Домашняя жизнь, не имея общего трудового начала, теряет свою серьезность и содержание, обращается в какой-то *table d'hôte**, в условленные встречи за завтраком и обедом, после которых все спешат разойтись по своим уголкам. Труд каждого теряет свой семейный характер, перестает освящаться вниманием самых близких и дорогих людей. В городской семье обыкновенно нет общего психического центра, нет общего сотрудничества, объединяющего все отдельные способности и потребности. Муж жене не товарищ: он не может интересоваться ее туалетами, французскими романами, благотворительностью да сплетнями, – как и жена мужу, так как его канцелярия для нее – китайская грамота. Отец в такой семье уже не товарищ сыну, потому что у Вани специальность – греческий синтаксис, а у папы – уголовное право. Семье не на чем сойтись и поговорить, для общего разговора, как это бывает и среди совершенно чужих людей, приходится брать что-нибудь оди-

* Обед в постоянные часы для узкого круга людей (избранных персон). – В. Т.

наково для всех чужое: скандал у знакомых, театр, выставка, газетные новости. Корни дружбы на столь неглубокой почве коротки и поминутно обрываются. Отец считает праздником очутиться в клубе, в среде хоть сколько-нибудь понимающих его сослуживцев. Мать психически отдыхает у старой подруги по институту, сын-гимназист – у товарища, понимающего его душевные интересы и входящего в его положение так, как не входят ни отец, ни мать. Все смутно чувствуют этот внутренний, немой разрыв, и та привязанность, которая естественно создается долгим сожительством, не всегда удерживает семью от распада. Расходящиеся ежедневно родители невольно приобретают интересы вне семьи; даже дети, дающие столько восторгов, начинают тяготить; их сдают на руки мамкам, нянькам, боннам, гувернанткам, а чуть подрастут – стараются сбить в школы, то есть вынести весь жизненный интерес детей за стены родного дома и душевно выселить их из семьи. Разброд семейный совершенно уничтожает всю поэзию «домашнего очага»; из дома, превращенного в гостиницу с номерами, как бы отлетают лары и пенаты, гении дружбы, веяние которых чувствуешь во всякой патриархально-трудовой семье. Холодно и пусто в городской семье, и даже при хороших характерах являются обостренные, натянутые отношения. Глава семьи с ужасом чувствует, что жена и дети – холодные, присосавшиеся к нему паразиты, которым от него нужно только содержание, только еда, одежда, квартира – и больше ничего. Легко ли ему все это достается – они никогда не поймут, так как совсем не знают его жизненного дела и равнодушны к нему. Он не видит ни благодарности, ни симпатии – достаточно теплой, чтобы вознаградить его за каторгу службы. Раз является вопрос о «благодарности» в семье – верный признак, что родство нарушено, что у самого главы семейства уже нет истинной любви к жене и детям. Душевно отошедший от семьи, потерявший самую цель иметь ее, отец начинает считать себя жертвой, пересчитывает свои «погубленные годы» и т. д. И действительно, он *жертва*: без горячей любви, без душевного слияния с домочадцами семейная жизнь – тяжкая и ненуж-

ная обуза, томительное рабство у кучки каких-то посторонних и равнодушных людей, имеющих на нас права. Сознвая все это, папенька начинает попрекать детей в дармоедстве, понукавать их к занятиям – хотя бы самым ненужным и неестественным, но выгодным; определяет сыновей на службу, презирает засидевшуюся в невестах дочь. «Паразиты» глубоко этим оскорбляются – тем глубже, что сознают свой паразитизм, но не видят выхода. Они чувствуют, что в хорошей, счастливой семье не может быть вопроса о куске хлеба: когда любишь, то приятно и для себя необходимо заботиться о любимых существах. Значит, отец их не любит, значит, он не прав. Но они чувствуют, что и они его недостаточно любят, значит, и они не правы. Да притом они действительно ведь сидят на его шее! Такие размышления приводят к душевному аду и страстному желанию всех членов семьи развязаться с домашним очагом, несмотря на пленительные воспоминания детства, несмотря на очарование невозвратной, долго прожитой вместе жизни...

V

Не насытив свое сердце любовью из чистейшего родника – домашнего очага, городской человек напрасно пытается утолить свои симпатии на стороне. Он отправляется в клуб, к знакомым. Родившиеся за тридевять земель, выросшие врозь, съехавшиеся из-за тысяч верст и ничего не знающие друг о друге, кроме темных сплетен, люди являются как бы упавшими с луны один для другого; устанавливаются чаще всего официальные отношения: служебные, корпорационные, ничего не значащие визиты, условные разговоры, беседы обо всем, кроме того, что обоим собеседникам дорого и заветно. Затаив в себе лучшие мечты, привыкнув не выносить их на свет из боязни холодного приема, человек и сам облекается в броню неприступной светскости, той лицемерной любезности, которая для искреннего сердца несноснее прямой вражды. По-немногу человек и сам делается отталкивающим; он и хочет привлечь к себе людей, но уже не может. Борьба с пси-

хическим разобщением, вносимым искусственной жизнью, трудно. Люди будничные терпят обыкновенно до самой смерти это «одинокое заключение» души. Они стараются во что бы то ни стало, как толстовский Иван Ильич, жить вне себя, посторонними интересами; они зарываются в службу с головою, отдаются наживе или шляются по театрам, клубам, вечерам, довольствуясь отдаленными намеками на дружбу. Люди порочные ищут в грязи объединяющую почву для дружбы: приобретают собутыльников, соразвратников, пускаются в азартную игру. Все же получается хоть уродливое, но общение душ. Возьмите карточную игру; я лично не вижу в ней никакого интереса, но какая-нибудь сила собирает же ежедневно эту миллионную армию взрослых и образованных людей около зеленого стола? Я думаю, что интерес карт не столько в выигрыше, обыкновенно небольшом, не в комбинациях мастей, не в чувстве борьбы или победы, а в удовольствии собраться в кружок, хотя бы из четырех человек. «Винт» искусственно свинчивает души партнеров хотя на несколько часов и хотя бы на очень пустом предмете, удовлетворяя насущную потребность человека в людях. Те же четыре человека без карт не знают, о чем им вместе думать и чем вместе заинтересоваться: нет жизни *общей*, нет необходимых оживленных отношений, вызываемых общею работой, – становится нужным хоть призрак такой общей деятельности, и игра создает этот призрак. Иные игры очень трудны, и в тех слоях, где эти игры распространены, на них затрачиваются лучшие умственные силы и самое дорогое время «досуга». За отсутствием производительной общей работы является бесплодная, но все же дающая психическую связь, общий психический центр, общую душу игрокам. Благородный инстинкт единения удовлетворяется этим противоестественным способом, как другой великий инстинкт ищет себе насыщения в притонах терпимости. Печально это очень, но именно так сложилась жизнь. Притоны терпят как отдушины страсти, из страха, что она найдет себе худший выход. Может быть, и карточная игра представляет собою выход для неистребимого никакими нелепостями

жизни влечения людей собираться воедино; не будь карточной игры, при современном трудовом разобщении людей, при упадке семейной жизни многим нечем было бы жить. Четыре партнера, даже совершенно незнакомые, когда они углублены в свое странное «общее дело», кажутся более дружною семьей, нежели четыре кровных родственника, душевно ничем не связанные. Есть и другие способы для удовлетворения потребности дружбы. Вспомните женщин, окруженных кошками, или старых холостяков, обедающих вдвоем со своею собакою. Эта дружба кажется смешною, но в ней есть глубоко-жалостная черта. Ведь в нашем столь цивилизованном и богатом обществе любовь к собаке – часто единственное возможное помещение своей души. “Plus je connais les hommes, plus j’estime les chiens”*, – говорит m-me Сталь⁵. В самом деле, человек сердечный, искренний, постучавшись в холодные сердца собратьев и оставшийся без приюта, – куда он денется?

Со стыдом мою протянутую руку
Опускаю я, не встретивши пожатья, –

горько шепчет он, идущий «в людном мире, как в глухой пустыне...». Не всякое сердце выдержит:

Бог судья вам, люди-братья!
Не приду с бедой моей
К вам в холодные объятья!..**

И вот, не найдя себе привета среди братьев-полубогов, человек идет в мир более добрых, более *человечных* существ, хотя и безгласных. Среди животных ведь встречаются такие милые, привлекательные создания с превосходными характеристиками, с чувством дружбы и самоотверженности, сильнейшим, чем у иного человека. В единении с таким четвероногим дру-

* Чем больше я узнаю людей, тем более ценю, уважаю собак (фр.). – В. Т.

** Стихотворение С. Я. Надсона «Я пришел к тебе с открытою душою...» (1883). – В. Т.

гом возможен общий психический центр. Пусть вы специалист в различных смыслах, например юрист, дворянин, богатч и т. п., – человек всячески обособленный от людской массы, но для собаки ни ваше дворянство, ни богатство, ни профессия не имеют никакого значения: для нее вы просто живое, ей симпатичное существо, как и она для вас, а на такой почти философской почве, согласитесь, только и возможна истинная, бескорыстная дружба. Собака видит, что вы грустно настроены, и всегда горячо сочувствует вам, не рассуждая, ошибаетесь вы в своей грусти или нет, как это часто делают навязчивые двуногие. Собака замечает малейшие оттенки вашей радости и отражает эту радость сейчас же в виде сочувственного восторга. Вы видите ее сердечное понимание вашего сердца, вы чувствуете, как эта странная, загадочная душа точно из какого-то другого мира отдается вашей душе бескорыстно и безраздельно. Если человек имеет немножко совести, его умиляет эта страстная любовь зверя: любовь даже и в этом творении Божьем есть божественное чувство, и она покоряет человека, будит ответную симпатию, хотя бы и на почве элементарных психоживотных настроений. Создается дружба, которой иное осиротелое человеческое сердце может действительно позавидовать. И хотя это покажется злою шуткой, но, к несчастью, это страшная правда: старая дева с ее мопсами, лижущими ее в губы, представляет более нормальную семью, чем многие человеческие семьи, психически разобщенные, с исчезнушею поэзией семьи – любовью...

VI

«Не добро быть человеку единому» – это первое «не добро», замеченное Богом еще при творении. Люди с крупною душою, с нежными и пылкими инстинктами не выносят долгой оторванности от людей. Они пытаются уйти в работу, и если она имеет гуманный, самоотверженный характер, то еще спасаются иногда от пули. Но представьте службу формальную, какую-нибудь узкую ученую специальность, канцелярское

дело и т. п. Человека постепенно охватывает давящая пустота. Он не понимает большею частью, что с ним происходит. Как-то вдруг жизнь теряет свою цену, выпадает какая-то подставка из-под нее. В темных, недоступных сознанию тайниках духа идет какой-то зловещий процесс. «Что со мной?» – спрашивает в испуге человек. – «Чего мне недостает? Карьера прекрасная, здоров, жена, дети...» И вдруг он с ужасом чувствует, что ему уже не нужно ни карьеры, ни жены, ни детей, что все это что-то пустое, постороннее. Отчего, как это сложилось – человек не знает; но оно сложилось и требует, чтобы этому был положен конец. Представьте себе, что кругом вас исчезло бы все человечество или оно обратилось бы сплошь в деревянных манекенов. Вам страстно захотелось бы не жить дальше. Револьвер вы схватили бы как избавителя, как ключ от тюрьмы, в которой вы задыхаетесь...

Неправда жизни, неправда отношений к людям делает то, что человечество и в самом деле умирает для человека, умирает для него мир Божий, и несчастному, чувствующему себя уже похороненным в этой бездонной могиле, необходимо становится умереть.

Так гибнут прекрасные и чуткие люди в тоске по человеку. А между тем, как в пустыне странник иногда умирает от жажды в ста шагах от найденного им колодца, так и здесь: среди людей прячутся родники, достаточные для утоления самой жадной, самой ненасытной любви. Ведь любовь насыщается не только радостным сочувствием, но и состраданием, а материала для сострадания так много в нашей жизни! Одинок и забытый человек всегда найдет еще более сиротливых, и если он достаточно искренен, то встретит столько благодарности, столько благословений! Пойдите в мир униженных и оскорбленных, в мир простых и чистых сердцем – и вы будете спасены от самого безутешного отчаяния. И я думаю, что это единственный исход против охватывающей верхи культуры душевной немочи. Богачу, пирующему во дворце с тоскою в сердце, придется рано или поздно или убить себя, или спуститься к бедному Лазарю, разделить с ним жизнь. В требова-

нии милосердия заключена тайна счастья не только бедных, но и богатых. Ведь богатство само по себе, как и всякое превосходство материальное, удовлетворяет только грубых людей: для человека совестливого оно превращается в нелепость, в ненужный, часто невыносимый гнет. Нравственное развитие в будущем, я уверен, повлечет богачей в мир обездоленного человечества, как царедворца Иосифа⁶ повлекло в объятия давно забытых, голодных и полудиких, но все же родных братьев. В милосердии только, в океане сострадания может раствориться давящая сердце теперешнего «счастливец» глыба эгоизма.

VII

Мне скажут, тяжело жить одним состраданием: есть же у человека потребность и в *сорадоности* ближним, а для этого нужно общество равных по развитию и знанию – кружок людей, которые могли бы разделить все ваши думы и мечты. А где найдешь общество истинно развитых, истинно умных людей? Конечно, умный человек, будучи самою тонкою роскошью природы, встречается редко, однако достаточное усилие преодолевает природу. В какую бы пустыню общества вы ни попали, как бы ни был беден душевный мир людей вокруг, вы всегда в состоянии устроить хоть маленькое, но цветущее «хозяйство». Поступайте лишь, как заботливый колонист, который в дикой степи выкапывает пруды, разводит сады и рощи, и через несколько лет пустынный, непригодный для жилья уголок превращается в рай земной. Попробуйте взглянуть на кружок людей, среди которых вас забросила судьба, как переселенец на свой надел. Попробуйте возделывать этот кружок так, как вам нужно, вложите в него энергию, капитал сердца и ума, указания опыта и науки, – и вы увидите, что через несколько лет участок ваш зацветет: для вас, по крайней мере, для ваших душевных нужд. Попробуйте ухаживать за вашими знакомыми столь же бережно, как за деревьями сада или цветами: знакомство распухнет в дружбу, даст аромат любви и семена для будущих благоухающих отношений. Люди, среди которых мы

живем, должны сделаться во что бы то ни стало для нас интересными, и мало таких больных, изуродованных организмов, с которыми нельзя было бы ничего сделать. Их нужно терпеть, и как больное, но еще не мертвое дерево в саду, их нужно окружать подпорками: при нравственной поддержке даже слабый, бессильный человек стоит прямо и не нарушает слишком резко порядка окружающей жизни. Наконец, как садовник пересаживает в свой цветник дорогие и редкие растения, ищите и вы самых лучших, прекрасных, талантливых, добрых людей и пересаживайте их к себе поближе, насколько возможно.

Читатель возразит, что это нелегкая задача – изменить общество по своему вкусу. Да, нелегкая, но, однако, и не чрезмерно трудная. Пусть это задача нескольких и даже многих лет жизни: почему не взяться за нее, если вы беретесь за не менее трудные, например, коммерческие и промышленные предприятия? Из ничего устроить хорошее хозяйство, «понемножку» организовать фабрику или завод, основать и упрочить большую газету – все это предприятия многолетние, весьма рискованные и трудные, однако осуществимые. Даже генеральский чин – заветная мечта многих простодушных людей – приобретается не сразу: хоть четверть столетия (в лучшем случае) все-таки необходимо потратить на его достижение, причем приходится (для большинства) поработать и поработать! Так вот если такие сомнительные «блага», как капитал или титул, требуют усилий, так почему же жалеть труда на создание себе «высшего блага жизни» – дружественного мира? Ведь и в этом «предприятии», если его вести настойчиво и умно, вся затраченная вами энергия, весь душевный капитал возвратятся вам с лихвой и останутся в наследство детям – лучшее наследство, о котором нужно заботиться.

VIII

Пересоздание общества, культура окружающих вас нравов вещь нелегкая, но возьмем условия, по-видимому, самые невыгодные. Вообразите, что вы живете в деревне, в каком-

нибудь далеко за холустье. «Людей» там, как говорится, нет вовсе. Заброшенный в эту глушь образованный человек обыкновенно изнывает от тоски. «Слова сказать не с кем, – жалуется он, – лица человеческого не видишь. Какое у нас общество? Оскудевшие недоросли – полуграмотные пьяницы и распутники, – разве порядочный дворянин станет сидеть на пяти десятинах “родовой” земли? Акцизный, землемер, акушерка... Все это неудачники, никакой карьеры в городе не сделавшие и опустившиеся на дно провинции на несколько десятков рублей жалованья. Никто ничего не читает, кроме серых листков; кроме водки и большого шлема на бубнах никто ничем не интересуется». Так жалуется захолустный «интеллигент». «А с народом не сходитесь?» – спросишь такого интеллигента. – «Помилуйте, что же общего, – изумится он: – какие же у нас с мужиком интересы? Что же может дать Петруха-кузнец на запросы ума, знания, прогресса? Я читаю Спенсера⁷, а он еле разбирает часослов, да и то считается отменным грамотеем». Нечто в этом роде я слышал в одном глухом уезде от одного хорошего сельского учителя, человека неглупого, развитого, выписывавшего из своего крошечного жалованья журналы. Он благодаря чтению был человек достаточно образованный, но погибал с тоски целые десятилетия, не зная с кем «слова сказать». К мужикам он относился с тончайшим презрением, не умел даже говорить с ними на их языке и бережно сторонился от деревенских парней и девиц. «Душу отводил» он только с заезжими «интеллигентными людьми», читавшими, как и он, «толстые журналы». А по происхождению он – сын крепостного, местный уроженец. Он страдал решительно, как Робинзон на необитаемом острове. Мне, признаюсь, его надменные жалобы были непонятны и даже жалки. Слушаешь такого «интеллигента» и думаешь: уж будто бы вы настолько выше окружающего вас родного мира, что задыхаетесь в нем? Даже Овидий жил кое-как среди скифов, а вы ведь русский и среди русских, говорящих и думающих на родном вам языке, имеющих ту же историю, культ, предания, те же ближайшие интересы. Раз вы попали в

деревню – зачем делать себе самому какое-то изгнание, притворяться существом иного, нездешнего мира?

Живя в деревне долгие годы, казалось бы, как не подобрать себе из крестьянства кружок друзей! Среди крестьян каждый наблюдал, и не так уж редко, типы удивительно порядочных от природы людей, одаренных и интеллигентных, тонко чувствующих и оригинально мыслящих. Встречаются даже великие люди в крестьянстве, хотя и безграмотные: столько ума и творчества влагается ими в простую речь их, столько величия в характере, столько мужества в жизни. Именно в удаленных от городской цивилизации захолустьях чаще всего попадаются цельные, прекрасные личности с уравновешенной душой. Подобные люди были бы бесценны в любом обществе. «Но они невежественны, они живут еще в тринадцатом столетии, до них не дошли еще открытия Галилея, Колумба и Гуттенберга. Они приносят еще жертвы черным тараканам, бросая хлебные корки под печь. Они еще видят «своими глазами» домовых, оборотней, русалок. Их ясный ум и иногда гениальное вдохновение опутано еще скифскими суевериями. Все это правда: невежество – немалое препятствие для сближения с народом. Но не во *всем* же народ невежественен; в самых важных отношениях – в нравственном развитии, в знании природы и людей, в силе понимания – народ несколько не ниже нас (скорее – выше). Для общения с народом – если есть для этого искреннее желание – существует просторное поле. Народ не знает множества пустых вещей, в которых мы сведущи, народу странны и чужды наши суеверия, но истинно ценные знания наши от него не так далеки, как нам кажется: Христос и апостолы находили же о чем говорить с грубыми рыбаками и блудницами. И чего стоит наше «образование», если оно способно только отдалять нас от людей, вместо того чтобы сближать с ними? Препятствие для сближения – разница в знаниях – есть, но неужели это препятствие неустранимо, особенно для учителя? Неужели, живя в деревне десять, пятнадцать лет подряд, нельзя несколько-таки научить грамоте хоть немногих талантливых, уже от природы жаждущих

знания соседних крестьян? Нет нужды обучать всех, достаточно отобрать немногих, но способных, выдающихся юношей. Друзей нельзя (как учил еще Пифагор) заводить много, как не следует переселенцу в степи сразу заводить огромную запашку. Но на немногих-то талантливых крестьян у учителя должно бы хватить силы; образовать их решительно ничего не стоит, раз они грамотны: достаточно, как дрова в зажженный огонь, подбрасывать им хорошие учебники и книги. Надо видеть неутолимую жажду знания в едва проснувшейся свежей деревенской душе! Она возникает с такою страстью, что, если книги не похожи на кирпичи (как, к сожалению, это часто случается), крестьянин-юноша глотает их, как институтка бульварные романы, – в каждую свободную и даже несвободную минуту: припомните биографию Кольцова. Если книги хоть сколько-нибудь талантливы и содержательны, вы видите воочию, как перед вами совершается чудо, как въявь растет душа варвара, как ширится его умственный горизонт. В три-четыре года из каждого даровитого крестьянского юноши можно сделать достаточно образованного человека, пожалуй, еще с большей зрелостью, нежели средний «окончивший» гимназист. Средний гимназист, не одаренный, равнодушный к знанию, приобретает последнее насильственно, пользуясь всяким случаем, чтобы выбросить из души ненужный ему балласт сведений, тогда как талантливый крестьянский юноша сам хватается знания, откуда только может, порывисто, с тем же лихорадочным напряжением, с каким сгребает сено перед надвигающейся тучей. Такой способный парень очень быстро не только дорастает до учителя, но часто и перерастает его, так что захолустный интеллигент может очутиться в обществе не только равных, но и высших его по развитию образованных людей. Разве это не счастье – окружить себя такой душевной роскошью! Самообразование во все времена было лучшим методом образования, а ведь оно доступно и в деревне: недостает только толчка, инициативы. Неужели не стоит потрудиться даже для этого толчка? Ведь через несколько лет такого всегда приятного труда наш хиреющий от одиночества

учитель имел бы вокруг себя тесный кружок друзей, не только сочувствующих ему во всех движениях умственной жизни, не только понимающих его, но и *благодарных* ему, да еще как благодарных! Как своему творцу, избавителю от вечного мрака! Трудно передать словами восторженное, почти религиозное благоговенье даровитого человека к учителю, впервые просветившему его, открывшему завесу в новый, чудесный мир. Благодарность эта неиссякаемая и всегда радостная. В то время как материальное благодеяние вызывает часто завистливую и горькую благодарность, переходящую иногда в ненависть к благодетелю, – признательность за духовное добро всегда сладка для того, кто ее чувствует, почему он и не устает благодарить своего просветителя.

Неужели такие редкие, никакими иными способами не приобретаемые симпатии не стоят труда, чтобы их добыть? А учителю это так легко. Ведь его и призвание – просвещать, его долг в этом. Он имеет даже и готовое средство для создания вокруг себя образованного общества – школу. Ему не нужно искать материала для будущего общества, этот материал сам идет к нему, и идет в самом нежном, наиболее пригодном для внушения возрасте, с раннею свежестью души и чистотою ее. Наблюдая своих учеников и учениц в течение школьных лет, учитель имеет возможность выбрать из них наиболее способных и направить для дальнейшего развития. Он может готовить себе не только будущих собеседников, товарищей, друзей, но даже и родных: если он молод и не женат, он имеет лучшую возможность найти себе жену, если стар – невест для сыновей своих или женихов для дочерей. Разве эти великие вопросы не требуют внимания? И разве не стоит заняться ими с усердием культурного садовода?

Вы видите, что и живя в деревне, нет нужды задыхаться от одиночества: стоит *захотеть* – и «мертвый» мир кругом вас зацветет и взиграет жизнью, именно тою жизнью, какая вам нужна. И то, что доступно сельскому учителю, не менее доступно средней руки помещику или любому оседлому интеллигенту; еще более оно доступно священнику в силу

его призвания. Поразительно, до какой степени мы не умеем пользоваться своими средствами, до чего привыкли мы искать разрешения наших нужд извне, за тридесять земель. Если бы захолустная интеллигенция попробовала привести в действие свои неподвижные умственные механизмы, она была бы поражена массой плодотворнейших результатов. Но, к несчастью, образование и ум в голове интеллигента, застрявшего в глуши, лежат совершенно без употребления, как хитрые английские плуги и веялки в сарае неумелого помещика: машины есть, а пашут чуть не деревянной сохой. И конечно, последствия от такого «паханья» получаются первобытные и плачевные.

Я говорю здесь о пользе сближения с народом исключительно для самого захолустного интеллигента; но и для народа более современное, общечеловеческое просвещение был бы крайне полезно. Выросшая и остающаяся в деревне простонародная интеллигенция, не имеющая сословного и профессионального отчуждения от народной массы, – разве она не желательна? Некоторые видели в ней прямо спасение России, хотя и неверно полагали, что такая интеллигенция может создаться путем переселения образованных людей «на землю». Переселение из городов едва ли возможно в заметных размерах, и я думаю, если образуется народная интеллигенция, то лишь указанным выше путем: она вырастет из самого крестьянства, около школы или отдельных просветителей. Только таким путем возможен духовный расцвет народа, и разве не счастье чувствовать себя доброю закваской этого народного возрождения?

IX

Итак, даже в дремучем деревенском захолустье есть возможность окружить себя друзьями, небольшим кругом существ, подобных вам и созвучных вашей душе. Я даже думаю, что в деревне это сделать легче, нежели в городе, и раз устроенное общество в глуши несравненно крепче, чем в центрах. В деревне вашим усилиям помогает весь строй сельской жизни,

сближающий людей, вас сплачивает с людьми своего рода атмосферное давление. В городе вам приходится преодолевать противоположную, разъединяющую людей силу, о которой я писал выше. В городе люди являются уже законченными, выработавшимися, и их, как взрослые деревья, очень трудно пересаживать к себе ближе, выпрямлять и прививать нужные настроения. В деревне легко воспитывать нужную вам породу людей, в городе при всеобщей рассыпанности это трудно. В городской сутолоке, как в омуте, невозможна тихая и правильная душевная постройка: ее беспрерывно размывает перекрестными течениями или заносит мусором. Юноша, имеющий несчастье расти в городе, впитывает в себя вместе с нечистыми испарениями помойных ям еще более грязные психические миазмы – на бульварах, в ресторанах, публичных гуляньях, в уличной печати и т. п. Борьба со всеми этими влияниями трудно. Однако если судьба послала вам печальный удел – жить в городе, необходимо и возможно составить себе хорошее общество и здесь. Только не следует предоставлять этот важнейший вопрос счастья слепому случаю, а нужно работать над ним сознательно и неутомимо.

При всех невыгодах городской жизни в ней есть и свои благоприятные условия для выбора друзей. В столицах, по крайней мере, процент талантливых, выдающихся людей больше, чем в деревне. Но эти выдающиеся люди, скажете вы, недоступны – вы хотели бы с ними познакомиться, да не можете: нужно целыми годами ждать случая, чтобы вас «представили», да и затем еще требуется много времени, чтобы сблизиться с таким случайным знакомым. Никто навязчивым быть не желает, и никто не любит чужой навязчивости. Все это правда, но это препятствие, мне кажется, одолимое. Частичка истины, заключающаяся в этикете, безобразно преувеличивается, и, победив в себе ложную скромность (то унижение, которое паче гордости), всегда можно подойти к человеку «прямо» и просить его знакомства. Дурные люди вам откажут в нем, но зачем же вам идти к дурным людям? Ищите хороших, убедитесь, что человек умен и добр, и невероятно,

чтобы он отказал вам во внимании, если вы уж не слишком грубо вторгаетесь в его гнездо. В этом отношении замечательно ведут себя люди нового христианского движения в Европе. Отрешившись от преград происхождения, звания, сословия, богатства, славы, признав в себе высшее из званий – человеческое достоинство, эти люди без всяких рекомендаций идут к человеку, с которым ищут знакомства, все равно, будь это крестьянин или сенатор, светская барышня или знаменитый писатель. Старые квакеры – те еще последовательнее, те обращались со всеми на «ты», как с родными братьями, и не снимали шляпы даже перед королями. Немножко этой возвышенной, патриархальной простоты не мешало бы нашему окитаемшемуся в церемониях обществу. Все мы – дети Великого Отца, благословенные Им в день зачатия; все мы различаемся во второстепенных и третьестепенных отношениях, в верховном же сани мы равны, и никто не должен достоинство своего божественного происхождения ставить ниже человеческих жалких отличий. Ничто так не мешает счастью, как эти прозрачные, условные отличия, и всякая благородная душа должна быть свободна от них. Надо иметь *мужество* признать в себе *человека*, родного брата всем людям, и тогда нетрудно перешагнуть все перегородки, отделяющие вас от хороших людей, которых вы желаете иметь друзьями.

Конечно, для великой задачи создания вокруг себя нужного общества мало одного желания, недостаточно мужества. Необходимо еще иметь в себе достаточно *любви* к людям. Чтобы сосредоточить вокруг себя жизнь и радость, необходимо самому стать привлекательным. Мало пойти к людям и просить дружбы, нужно, чтобы и людей тянуло к вам, и чтобы у вас всегда было, что дать им. Нельзя брать что-нибудь, не давая. Поэтому основное условие пересоздания мира – собственное пересоздание. Будьте совершенны – и к вам, как к солнцу, потянется все живое. Человек возвышенный и светлый духом – явление столь редкое, столь прекрасное, что один вид его покоряет; как идущий в толпе полубог, он всем замечен, и все жаждут к нему прикоснуться. Всякий рожден сыном Божиим и *может*

быть им, если захочет. Всякий может сделаться центром притяжения, а не отталкивания, если только захочет быть добрым, благородным, великодушным. Ведь святым недаром молятся целые тысячелетия после их смерти: даже один мыслимый образ *настоящего* человека имеет непобедимое очарование.

Народ

X

Я говорил о тоске людей одиноких, покинутых в своей семье или в своем обществе. Но есть и другие тягостные отчуждения, делающие жизнь пустою и холодной: отчуждение от великой семьи своего народа, своей цивилизации, от всемирной семьи Природы и Отца ее. Незаметно для себя вы, рожденные для глубоких и нежных отношений со всеми этими родными существованьями, забиваетесь в какие-то ущелья жизни, темные и глухие норы, часто не подозревая близкого присутствия совсем иного, торжественного мира Божьего... «Непомнящий родства» – самое горькое состояние человека; оно внушает ужас и недаром приравнивается к преступлению.

Нет, час не пробил примиренья!
И снова бродим мы с тех пор
Без родины и без прощенья! (Некрасов)*

Потеря родства с народом, разобщенность с ним – историческое несчастье русского общества. Нигде в свете нет интеллигенции более демократической по происхождению и более отошедшей от своего источника. На Западе или в Китае высший класс есть потомство завоевателей, особая раса, и, тем не менее, там нет культурной пропасти между народными верхами и низами, как у нас. Там культура слагалась в самом народе, постепенно, органически, и в течение веков сближала все слои в одно целое, создавала одну *общую* душу; у нас же выс-

* Некрасов Н. А. Сыны народного бича (1870). – В. Т.

ший слой при Петре I был внезапно оторван от народа, и ему была привита чужая, иноземная душа – чахлая и хворая, как все искусственно привитое к живому телу. Что значит *родство* со своим народом – русские образованные люди лишь смутно догадываются, а иные не имеют об этом и понятия. Слово «патриотизм» у нас звучит фальшиво; слова «отечество», «отечественный», «русский обычай» и т. п. произносятся чаще всего иронически. Заслуживает этого отечество или нет, во всяком случае эта холодность к нему – несчастье. Только война, пробуждающая, помимо любви к родине, много азартных чувств, в состоянии расшевелить наш патриотизм. В массе интеллигенции преобладает недовольство своей страной, иногда горячее, но чаще равнодушное, а иногда даже презрительное. Похвалить что-нибудь свое, русское, у образованного русского человека язык не поворачивается; это ему кажется изменой чему-то высшему и более дорогому. Нам как будто нечем гордиться, нечем похвастаться перед соседями; родное, «наше» кажется таким жалким перед тем, чем владеет Европа, «страна святых чудес». И это, я думаю, не от действительной нашей духовной бедности. Возьмите, например, Болгарию, Румынию, Венгрию, даже какую-нибудь Армению – эти крошечные страны вложили в «сокровищницу цивилизации», конечно, не больше России, однако поговорите-ка с болгаринном, румыном, армянином об их родине. Какое-то святое безумие охватывает вашего собеседника, он преображается, он горит на ваших глазах. Все, все решительно в Армении прекрасно: земля, язык, народ, вера, история. Какой-нибудь Тер-Абрамянц в Эрзеруме оказывается великим поэтом, равным Шекспиру, или великим политическим деятелем, до которого куда Гамбетте⁸ или Гладстону⁹. Н. С. Лесков¹⁰ рассказывал мне, как однажды он беседовал с одним чехом. «Скажите, пожалуйста, есть ли в Чехии такие поэты, как, например, у нас Пушкин, Лермонтов? – Чех, не моргнув глазом, отвечает: «О, мноуство» (множество). – «Ну, а музыканты вроде Глинки?» – Чех не задумывается: «Такие, как Глинка? О, мноуство». Убеждение, что их родина – Божье чудо среди народов, до такой степени въелось в эти народы,

что превратилось в спокойное, естественное состояние. Куда бы ни забросила судьба венгра, армянина, грека, они всюду носят в своем сердце дорогие картины милой родины, они видят сны о ней, они грезят ею наяву. Помните разговор Инсарова с Еленой: «Вы сейчас спрашивали, люблю ли я свою родину? – говорил Инсаров. – Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, но что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога? И когда эта родина нуждается в тебе... Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я – мы желаем одного и того же. У всех у нас общая цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость». Вот этой-то *веры* в свой народ «выше всех сомнений», этой «уверенности и крепости» русское общество и не знает. И не только у маленьких народов, не менее прочен этот мирный патриотизм у французов, немцев, англичан, даже американцев, несмотря на крошево их племен и языков. Не чужд этот мирный патриотизм и нашему простому народу и близким к народу слоям, хотя в последнюю четверть века в деревне и совершается какой-то недобрый психический переворот. Народ наш, при всей его забитости и нищенстве, смотрит на себя все же с несравненно большей гордостью, нежели интеллигенция на себя. Народ еще не совсем изверился в себе, не считает себя хуже немцев, англичан, французов, скорее, наоборот, склонен подтрунить над ними, тогда как интеллигенция русская считает и *не может не считать* себя хуже западных интеллигенций, а народ свой – хуже западных народов. Сознать это – большое несчастье, хотя в нем интеллигенция русская не совсем виновата. Она не добровольно разобщилась с народом, не умышленно оторвалась от его сердца.

XI

Отчуждение высшего класса от народа – продукт новейшего петербургского периода и особенно последнего столетия. В прежние века, хотя дворянство и было строго замкнуто в своих преимуществах, духовный склад его был совершенно

народный. Бояре верили одинаково искренно, как и чернь, в того же Господа и Его святых, одинаково молились, чтили те же праздники, посты, обряды и уставы, верили одинаково и в сотворение мира, и в конец его; у бояр и смердов был тот же Потоп в прошлом, тот же Страшный Суд в будущем, бояре говорили тем же самым языком, как и крестьяне, носили ту же одежду (только побогаче), ели ту же пищу и пили те же напитки (только пообильнее), пели те же песни, слушали те же сказки и былины, верили одинаково в домовых, леших, оборотней, заговоры и приметы. И суеверия, и *знания* были одни и те же – как практические, так и книжные, наконец, было одно и то же политическое миросозерцание. Даже в своем жизненном труде дворянство имело с народом много общего. Огромное большинство дворян сидели по поместьям и вотчинам; будучи скудно оделены землею (щедрая раздача земель и крестьян относилась к петербургскому периоду, к концу XVIII столетия), оно вынуждено было не только вникать в хозяйство, но и самолично браться за соху, как это и теперь водится в заглохших углах Белоруссии. Живя в деревне безвыездно, ожидая «третьего указа», чтобы явиться, когда нужно, на службу, дворяне прежнего времени были те же, в сущности, крестьяне, только более зажиточные и властные. Поэтому, приезжая ко двору, выдвигаясь в знать, они несли с собою стихию народности, они являлись хотя и не выборными, но верными представителями народа; если бы они и хотели, они не могли бы думать и говорить иначе, чем думал и говорил народ. Этою *простонародною* стихией строилось государство в самые тяжкие времена; великое чиновничье «средостение» установилось не раньше, чем забрала силу табель о рангах, то есть к концу прошлого и началу нынешнего века. Постоянный приток, хотя и варварского и во многом темного народного миросозерцания, освежал верхи общества доподлинной народной волей, народным здравым пониманием действительности и коренных нужд; он соединял эти верхи и роднил их с землею. И у городов, и у деревень была одна культура. Все, чем жил тогдашний человек в городе, было деревенское; города были теми же, только более

крупными деревнями, где держалась та же простота, простор и первобытность, как и в деревнях. Горожане имели свои сады, огороды, выгоны, поля, усадьбы, они ходили в лес за ягодами и грибами, водили на улицах хороводы, ездили ловить рыбу, катались со снеговых гор и пр., и пр. Вся обстановка быта и этикет жизни были теми же – как у ближнего боярина, так и у простого мужика: все было *общенародно*. Родиться в столь дружной, тесно сжившейся среде, чувствовать себя кровным членом огромной народной семьи представляет большое счастье. Его можно не замечать, как здоровье, но лишение его, как болезнь, сразу дает чувствовать цену того незаменимого блага, когда можешь сказать с поэтом:

Я иду с народом в храм
И с ним молюсь одним богам*.

Нынешняя русская интеллигенция сказать этого уже не может, и даже не одна интеллигенция, а и все подынтеллигентные слои: мелкое чиновничество, духовенство, полубразованное купечество, разночинцы всех сословий, тяготеющие к образованному быту. Насильственное и искусственное введение западной культуры со времен Петра I внесло и продолжает вносить печальнейшее расстройство в народную душу. Этот крутой поворот принес некоторую одностороннюю пользу (безмерно преувеличиваемую), но в то же время психически расчленил Россию, создал чуждые друг другу и органически враждебные классы, враждебные культуры и мирозерцания. Он порвал те пути, по которым народная стихия проникала в правящие классы. Только этим и объясняется совершенный упадок старинного самоуправления и участия земли в делах государственных, пышный расцвет крепостничества и бюрократизма в петербургский период и такие явления, как бирюшчина и аракеевщина. До тех пор пока дворянство составляло лишь высший слой крестьянства, порабощение народное

* Майков А. М. Три смерти (1851) // Библиотека для чтения. – 1857. – № 10. – В. Т.

не могло забрать силы, несмотря на все московское «варварство». Русские историки не без удивления замечают, что старый новгородский и даже московский строй в самых существенных отношениях были впереди последующего и стояли почти на уровне государственной жизни тогдашнего Запада. Бояре и воеводы в старину, насквозь проникнутые народными воззрениями, инстинктивно отстаивали известные начала, отнюдь, конечно, не подозревая, что эти начала потом назовут либеральными. С отчуждением от народа дворянства оно постепенно начало позабывать нравы, обычаи, предания, одежду, пищу, песни, суеверия, народную веру, народное знание и даже самый язык; высший класс то онемечивался, то офранцуживался, пока не выработался какой-то средний тип «русского европейца», представляющий как бы особую национальность – родственную (как, например, поляки, чехи) русскому народу, но и значительно отчужденную.

XII

В самом деле, русский образованный человек – настоящий иностранец у себя дома. Он не связан со своею родиной тем, что соединяло некогда с нею ее «лучших людей» – единством культуры и политической жизни. Современный русский «интеллигент» одевается, как француз, ест, как англичанин, поет, как итальянец, думает и чувствует, как эти иноземцы, взятые вместе. *Своими* он считает быт и нравы далекого Запада; вальс и кадрили, народные танцы французов, – для него родные танцы, тогда как хоровод для него – нечто чуждое, вроде качучу. Последние романы Золя¹¹, Бурже¹², Доде¹³ – для него необходимые книги, тогда как Четьи Минеи¹⁴ он и в глаза не видал. Чуть повеяло весной, русского интеллигента тянет за границу – «отдохнуть», поразвлечься, побыть немножко «дома». За границей он чувствует себя во многих отношениях больше «дома», нежели в России. Ведь даже те русские, которые никогда за границу не ездят, живут больше иностранною жизнью, нежели домашнею. Поглядите на русские газеты: три

четверти содержания их заимствовано из иностранных источников; обширные статьи изо дня в день обсуждают политические дела Запада; перепечатаются парламентские речи, описывается закулисная борьба, даются характеристики и портреты деятелей, даже второстепенных, и вся читающая Россия из дня в день держится в кругу чужих вопросов, толкует о них и рассуждает, так что они и в самом деле становятся *своими* интересами. А много ли места уделяется русским политическим вопросам? И главное, большой ли интерес представляет то, что о них трактуется? Сухие канцелярские доклады, запоздалые рассуждения о том, что уже совершилось и на что повлиять уже нельзя, «намеки тонкие на то, чего не ведает никто...». Даже при искреннем желании быть полезной своей стране, при наличии литературных дарований русская политическая печать все-таки ничтожна, она представляет собою голос, очень робко и фальшиво «вопиющий в пустыне»: мнение департаментского столоначальника значит гораздо больше, нежели талантливого публициста. Зная это и памятуя многое другое, публицист гораздо охотнее толкует об ирландском вопросе или замыслах Криспи, нежели о причинах неурожая. Картину панамского процесса он рисует самыми яркими красками, не опуская ни малейшей характерной черточки, тогда как ближайшие предметы ему приходится изображать в туманных силуэтах с опущением именно всего характерного. Немудрено, что русский образованный человек так невежествен в родной политической жизни; он имеет о ней извращенные представления; самые дорогие сведения доходят до него в виде чудовищных сплетен, залетающих в провинциальные углы через двадцатые руки из петербургских передних и гостиных. Те общественные центры, где кипит решающая работа, где вершатся судьбы отечества, не соединены с сознанием общества никакою связью, никаким, даже невидимым тяготением; свет из этих центров, как от отдаленных звезд, доходит лишь после многих лет до публики в виде бестрепетного, холодного луча: на звезде кипит уже иная жизнь, она горит уже иным пламенем, она меркнет или разгорается, но

это увидит только наше потомство. Как мы живем теперь, мы узнаем из «Русской старины» лет через пятьдесят, не раньше... Оттого нам западная и даже восточная жизнь ближе, нежели собственная. В то время как, например, «Правительственный вестник» печатает подробные и интересные корреспонденции из Японии, рисующие ход новой государственной жизни, ни одна русская газета ни одним словом не обмолвилась о том, что говорится в величественном здании у Синего моста: до публики доходят лишь краткие резолюции – и ни малейших мотивов к ним. Печать может, конечно, *post factum* соглашаться с резолюциями, одобрять их, но сколько-нибудь всесторонний анализ их возможен лишь в министерских комиссиях, облеченных глубокой тайной. Печать поэтому у нас не может сблизить интеллигенцию с самою сокровенною, самою интимною жизнью страны – с ее государственным творчеством. Школа? Но наша школа не в состоянии даже подготавливать к пониманию государственной жизни. Она с юных лет знакомит русского интеллигента не с родным народом, а с жизнью дальних и даже исчезнувших народов, составляющих *подпочву* Запада; в школе гораздо больше времени тратится на изучение четырех западных языков, западных историй и географий, нежели на изучение тех же русских курсов. Да если бы школа и давала подготовку к пониманию русской жизни – разве этого достаточно? Для интереса к этой жизни необходимо еще хоть некоторое участие в ней, в ее теперешней, текущей минуте, участие в основных, всеобщих явлениях. Русский же образованный человек имеет возможность разделять только незначительные, мелочные интересы вокруг себя, лишь в них он призван участвовать. Поэтому интеллигент стремится за границу, справедливо рассуждая, что он там точно такой же гражданин, как и дома. «Право платить налоги мне будет предоставлено и во Франции, и еще в большей мере, чем на родине, точно так же, как и право быть наказанным за преступление, если я его совершу». Собственно, к участию в государственной жизни Запада русский человек, как сказано выше, уже дома подготовлен: он знает ход дел в парламенте, как француз, и, поль-

зуюсь свободой слова, может, если захочет, подавать в печати свое мнение, разъяснять, убеждать и пр.

ХIII

Вольная и невольная отчужденность русской интеллигенции от народа делает ее самую бродячую из всех на свете: англичане обыкновенно путешествуют, немцы переселяются; те и другие устраивают себе маленькую родину, где бы ни поселились, русские же *бродят* по Европе, как герои «Дыма», без всякой определенной цели. И англичанина, и немца, куда бы они ни заехали, не покидает сознание своей национальности, память о родном, прекрасном мире, где только и можно быть вполне англичанином или вполне немцем. И тот, и другой за границу теряют драгоценное право на связь с судьбами родины и без основательной причины не уедут из дому. Русский же человек одинаково далек от родины дома, как и за границей; уехав из дому, он, не теряя прав, освобождается от многих обязанностей, немудрено, что его тянет за границу. Абсентизм помещиков после крестьянской реформы принял страшные размеры. С 1857 по 1877 год не вернулись в Россию более 450 000 русских подданных; ежегодно средним числом проживают за границей свыше 100 000 русских, тратящих по самой меньшей мере ежегодно 47 миллионов рублей, и около 60 000 лиц вновь ежегодно отправляются туда. Таково бродяжничество русской интеллигенции. Пока еще в зачатке, но обнаруживается и другое характерное явление: захват Европою лучшей части русской интеллигенции. Выдающиеся наши профессора, художники, врачи, артисты начинают получать приглашения за границу. Немало даровитой молодежи русской, юношей и девиц, обучающихся в иностранных университетах, навсегда остаются за границей, находя более благодарную почву для приложения таланта. Жестокая конкуренция, давящая на Западе все посредственное, чрезвычайно благоприятствует истинным талантам; интеллигентный труд там имеет огромный спрос и оплачивается с щедростью, в России невозможной.

У нас даже весьма даровитые и заслуженные поэты на склоне лет принуждены *служить*, чтобы существовать. «Поэзия меня не прокормила бы, – говорил мне Я. П. Полонский, – это не то, что Теннисон, которому письма ежедневно носились корзинами от поклонников, который бывал буквально засыпан подарками. Тот напишет небольшую поэму, глядишь – имение; черкнет балладу – каменный дом». На Западе талантливый литератор, артист, техник, врач и пр. в короткий срок наживают себе громадные состояния, и нет сомнения, что в обмен на бездарностей, которых часто шлет к нам Запад и которые рады и нашим нищенским гонорарам, нам придется терять скоро талантливейших своих деятелей, захваченных «мировым рынком». *Ubi bene, ibi patria.*

Если отборная русская интеллигенция тяготеет к Западу, как к духовной родине и лучшему рынку для приложения всякого труда, то интеллигенция средняя стремится к домашней Европе – к городам, к казенным окладам. Крупное дворянство, как описывает князь Васильчиков¹⁵ (в «Землевладении»), еще при Александре I эмигрировало ко двору, среднее ушло на службу. Мелкое же дворянство особенно хлынуло в города после отмены крепостного права. Все тогда бросились на службу, государственную и частную: никогда еще чиновничество не размножалось так сильно, как в последующую эпоху; кроме бюрократии казенной, образовалась вольная целая армия канцеляристов, банковых, железнодорожных, фабричных и т. п. Увеличение наших военных сил, покорение новых и укрепление старых окраин потребовало массу чиновников и втянуло в себя свободный поместный класс, превратив его из сословия сельских хозяев в сословие служащих по найму. Переселившись в города и местечки, интеллигенция окончательно оторвалась от деревенских гнезд, вышла из народной стихии и потеряла остатки кровной связи с народом. С раскрепощением крестьян была разорвана хотя и безобразная, но вековая *политическая* связь народа с высшими классами; всадник сброшен с коня, оба свободны, но оба уже чужды и не нужны друг другу. Крепостное рабство должно было исчезнуть, но на месте

дурного связывавшего начала нужно было бы создать хорошее, выгодное для обеих сторон; следовало выработать новую форму живого сотрудничества и взаимного проникновения сословий, дабы в государстве был один народ, а не два, одна общая душа, а не две.

Если дореформенное дворянство, воспитанное в европейской культуре, уже резко отодвинулось от народа, то все еще, живя подолгу в деревне, среди природы и крестьян, оно не совсем теряло свою народность, оно еще понимало народ и по-своему стояло за него: все горячие поборники освобождения выросли в деревне. Но после реформы, с переселением дворян в города интеллигенция окончательно отошла от деревни. Новейшие поколения уже рождены в городах; они приобрели свое сознание не в тишине природы, а среди шума мостовых, они вспоены не свежей атмосферой лесов и полей, а смрадом многоэтажных домов и узких улиц. Молодые образованные поколения, вступающие в жизнь, уже не росли, как это бывало прежде, вместе с народной молодежью на груди общей матери-природы; они не видели мужика, не переживали его будничных забот и радостей, не знают его труда; мужик им почти столь же чужд, как представитель какого-нибудь редкостного народа в Азии. Может быть, поэтому-то молодежь конца XIX века так грустно отличается от предшествующих, одушевленных и верующих поколений; может быть, в силу этой полной разобщенности с народом и возобладали среди юношества холодный эгоизм, карьеризм и презрение к низшим классам – качества вполне созревшей бюрократии. Нынешние молодые поколения усиленнее, чем когда-либо, стремятся к центрам власти, но они уже не повлекут туда народную стихию; они понесут с собою исключительно свои аппетиты, свое совершенное невежество в народной жизни и полное непонимание народа, они понесут к верхам равнодушие и пренебрежение к своей нации. Высшая школа ничуть не спасает от этого пренебрежения: вспомните протопоповское дело, где только что соскочивший с университетской скамьи кандидат прав кровянил себе руки о «морды» крестьян.

XIV

«Не все же, однако, образованные люди сбежали в города, – скажет читатель, – есть же помещики в усадьбах, есть служащие в земстве, учителя, врачи, акцизные и пр.». Есть, это правда, но их немного, и они обыкновенно не влияют своим знанием народа на правящие классы. Да и эти люди не всегда знают и любят народ. «Я встречал, – говорит покойный Энгельгардт (в “Письмах из деревни”), – помещиков – про барынь уже и не говорю, – которые лет двадцать живут в деревне, а о быте крестьян, о их нравах, обычаях, положении, нуждах никакого понятия не имеют; более скажу, я встретил, может быть, всего только трех человек, которые понимают, что говорят крестьяне, и которые говорят так, что крестьяне их понимают... Сидишь у какого-нибудь богатого помещика, давно уже живущего в деревне, разговор касается мужицкого дела и быта... и вдруг слышишь такие несообразности, такие недействительные представления о народе, его жизни, что удивляешься только... точно эти люди живут не на земле, а в воздухе».

Это незнание народа – плод пренебрежения к нему – отразилось и в нашей литературе; очень долгое время писатели-помещики изображали русских мужиков сентиментальными пейзажами, говорящими языком Бернарден де Сен-Пьера¹⁶, и нужен был гений Пушкина, Тургенева, Л. Толстого, чтобы вывести на свет настоящую народную душу. До Савельича, Хоря и Калиныча, до Платона Каратаева мужика не знали, хотя целыми поколениями жили на теле этих самых Савельичей и Каратаевых. Даже не выезжая из деревень, русские образованные люди ухитрялись эмигрировать из нее. Они закупориваются в усадьбе, окружают себя атмосферою чванства и невнимания к крестьянам, окаменевают в позе идолов, стоящих превыше всех волнений мира, идолов глухонемых, величественных и праздных. Такие полубоги, погруженные в самый водоворот деревенской жизни, остаются мертвыми телами, которые живая среда старается вытеснить. На пренебрежение интеллигенции народ отвечает суровым недоверием, которое, накопляясь

веками, становится безотчетным. В деревне жить тяжело даже тем отдельным образованным людям, которые искренно расположены к народу и желали бы сойтись с ним. Тот же Энгельгардт пишет: «Живя в деревне, хозяйничая, находясь в самых близких отношениях к мужику, вы постоянно чувствуете это затаенное чувство, и вот это-то делает деревенскую жизнь тяжелою до крайности... Согласитесь, что тяжело жить среди общества, все члены которого если не к вам лично, то к вам как к пану относятся неприязненно». С поразительною яркостью та же неприязнь отмечена Достоевским в «Записках из Мертвого дома»: несмотря на все старания автора этих записок сойтись со своими товарищами-каторжниками, они отвечали ему холодной враждою и злорадством. То же недоверие отмечено в «Казаках» Л. Н. Толстого, у Глеба Успенского во множестве мест и т. д. Но с особенною болью и горечью почувствовало образованное общество это холодное недоверие народное в великий голод 1891 года и холеру. Образованные люди с опасностью для жизни ехали кормить и лечить народ, открывали народу горячие объятия – и встречали часто опасливую холодность, а иногда и враждебность. Я говорил в другом месте (см. ст. «Народные заступники») о невыносимой тоске житья в деревне среди презираемого народа, о том, как эта отвергнутая стихия вытесняет образованных людей даже из райской обстановки, душит их одиночеством необитаемого острова. И в бесконечных жалобах помещиков, пишущих в газетах о том, что в деревне жить нельзя, что народ не только не почитает дворян и не любит их, но старается извести их, сжечь усадьбы, разорить, в этих иногда чудовищных воплях есть одна печальная правда – правда о душевной розни интеллигенции с народом, о взаимном недоверии и презрении, о *потере родства* между ними. Неужели возможно счастье, когда чувствуешь этот океан враждебности? Нет, читатель, как бы вы ни устроились прекрасно в своей семье, среди друзей, но если вы совестливы и чутки, вас будет мучить этот вечный холод народный, как зимняя стужа тяготит даже тех, кто прячется от нее в натопленных комнатах. Тепличное существо-

вание несносно. Живой душе хочется благодатного *климата* любви, родственной атмосферы, чего не дает кружок друзей и что может дать лишь большой человеческий мир, вам сочувственный. Безумцы те, кто мечтает о новом крепостном праве, хотя бы «без телесного наказания»! Что же это было бы за счастье? Если не телесное наказание, то телесное *насилие* неизбежно, а на насилие все живое отвечает проклятием. Жить в атмосфере проклятий... Вдыхать в себя ежеминутно народную ненависть...

XV

Как найти потерянное родство с народом? Как из иностранцев русской земли превратиться в ее туземцев? Я думаю, что это хоть и трудно, но возможно. Для этого нужно поступать так, как вы делали бы где-нибудь в Германии, если бы хотели натурализоваться. Вы вышли бы из русской колонии, где жили, поселились бы среди немцев, приняли бы их язык, веру, нравы, привычки, политические обязанности и права. Только тогда немцы признали бы вас за своего. То же самое нужно сделать, если мы хотим породниться со своим народом: нужно возвратиться в его среду, переехать в деревню, войти в нормы ее быта, труда, настроений, идеалов. Нужно онародиться, стать в условия жизненного равенства с мужиком. Я убежден, что для этого вовсе не нужно терять своей образованности, а необходимо сохранить ее, и вовсе не нужно погружаться в мрак и грязь – нужно только свое хорошее приложить к народному хорошему. Ведь и для того, чтобы сделаться немцем, нет нужды приобретать дурные немецкие привычки, заразиться шовинизмом, пить до одури пиво и т. п. Только хорошее истинно национально, и его достаточно во всяком народе, и в нашем. Образованные люди думают, будто их отделяет от простонародья образование, так что сливаться с народом будто бы нельзя, не потеряв «человеческого образа». Это грубое заблуждение. Если образование истинное (а не новое суеверие), оно может только соединить лю-

дей, а не разделять; приблизившись к народу, вы увидите, что и он кроме невежества обладает истинным образованием – и в степени иногда удивительной! Вы встретите здесь утонченную культуру души, характеров, ума, воображения, богатую неписанную литературу, богатую музыку, прекрасно разработанный язык, который не мог бы быть у необразованного народа, вроде дикарей, довольствующихся тремя десятками слов. Вы встретите массу тончайших знаний, заимствованных из наблюдений природы, знаний иногда древних, облеченных в иероглифы суеверий, ключ к которым потерян. Конечно, вы встретите в народе и совершенное незнакомство с вашей европейской культурой, но ведь и вы – круглый невежда в его народной культуре, ведь и вы богаты своими суевериями и иероглифами знаний. В общении с народом, однако, вы сейчас же увидите, что ваши самые дорогие *беспорные* истины, истины нравственные, народу понятны и даже суть как бы *его* беспорные истины; вы увидите, что все великое, благородное, святое, вечное народ только слегка запамятовал, но сейчас же, при малейшем намеке, припоминает во всей ясности и часто яснее вас самих.

«Но народ думает, что земля держится на трех китах...» – возражают обыкновенно образованные люди. Ах, уж эти три кита! Совсе народ не *думает* о нелепых китах, обыкновенно он ничего не думает о том, чего не знает, а лишь отдельные, пылкие головы, поэты среди мужиков, как и в нашем обществе, создают образные, символические объяснения, ни для кого не обязательные. «*Говорят*, что есть три кита», – вот в какой, всегда неуверенной, скептической форме мужик передает эту легенду, но он тотчас же с удовольствием уступит вам всех трех китов, если вы предложите ему более разумное объяснение. Надо прибавить, что отдельные суеверия не мешают общей высокой интеллигентности как отдельного человека, так и народа: древние эллины были суеверны не менее наших крестьян, а это был народ богоподобный по духовному развитию. Аристотель¹⁷ верил, что лягушки рождаются из грязи. Декарт¹⁸ думал, что в сердце у человека – огонь. Ньютон¹⁹ был

убежден, что свет происходит от попадания солнечной материи в наши глаза. Кеплер²⁰ думал, что земля есть исполинское животное из породы ракообразных, и т. д. Был ли хоть один великий ум совсем свободен от ошибок? И народ от них не свободен, что не мешает ему в самых серьезных отношениях быть образованным и интеллигентным. Мы этого не видим потому, что мы иностранцы, не понимающие часто даже языка народа. Вовсе не народное невежество отделяет интеллигенцию от народа, а невежество интеллигенции в народной жизни и наш социальный эгоизм. Мы увесили себя позолоченными цепями привилегий, титулов, богатства, которыми столь гордимся, и от надменности потеряли разум. Нужно – и можно – сбросить с себя эти цепи и хоть до некоторой степени разделить те, которые народ носит: цепи пренебрежения, бедности, тяжелого труда, беззащитности. Только поселившись в деревне и сделавшись крестьянином (насколько это возможно), образованный человек искренно пожалеет народ, только тогда он восчувствует в себе народную душу, найдет родство с ней. Это не будет смертью интеллигенции, совсем напротив! Это будет ее возрождением. Ведь бессильнее того, что она есть теперь, в отчуждении от народа, и быть нельзя. Наша интеллигенция, как свидетельствует вся изящная и не изящная литература, уже долгие десятилетия вырождается; она переполнена «лишними людьми», «гамлетиками», «нытиками», «слабняками» – всею тою дрянью, которую столь мастерски рисовал Тургенев. И это не только русская интеллигенция – закон один и тот же повсюду: как отломленная ветка вянет, отщепившиеся от народа классы увядают, вырождаются; вспомните аристократии древних и средневековых цивилизаций или нынешнюю буржуазию на Западе. Чем дальше сословие от народа, тем ближе его физическая и психическая гибель. Вымирающий класс, пополняющийся свежими народными соками, может веками длить свою агонию; как рак в желудке, он может иногда истощать и вести к смерти все тело народное, но что же это за жизнь! Для возрождения больного тела нужно, чтобы чужая ткань всосалась, растворилась в здоровых тканях; для нынешней интеллиген-

ции необходимо раствориться в народном теле. Как *класс* она, конечно, при этом исчезнет, но возродится как *народ*.

В качестве *сословия* интеллигенция не нужна и, может быть, даже вредна: она способна превращаться в слепое орудие, в механизм, одинаково пригодный для каких угодно целей. Интеллигентного человека (как и все сословие) можно *нанять* для чего угодно: для винокурения, для фальсификации продуктов, для сочинения клевет и клевет, для фабрикации неприличных романов и картин, для выжимания соков из бедняка: ведь все хищные предприятия, фиктивные компании, банки, даже деревенские ростовщики действуют у нас при помощи интеллигенции. Как бедные рыцари в Средние века нанимались у кого угодно и бились с кем укажут, даже с земляками, так и современные образованные люди: кабатчик находит профессора химии для подделки вин, фабрикант – блестящего публициста для отстаиванья «нормировок», темный делец – искусного адвоката и т. д., и т. д. В кипучей социальной борьбе интеллигентные ландскнехты и кондотьеры²¹ к услугам тех, кто щедрее платит, что мы и видим особенно ярко на Западе, например в позорнейшем панамском процессе²². Как и встарь, продажными оказываются не одни мелкие подьячие, а и министры, и это на Западе, где общество тысячами глаз следит за своими деятелями. И тут уже трудно что-нибудь поделывать: такова механическая природа всякой специальности – быть к общим услугам. Другое дело, когда образованность не составляет специальности, когда нет совершенно отделенного от народа просвещенного класса, а народ сам достаточно просвещен. Тогда не может быть массового подкупа (например, печати) или найма одного сословия против другого. Образование и тогда могло бы быть орудием дурных целей, но рассеянное всюду, оно одинаково вооружало бы и добрые цели. Образованное крестьянство имело бы своих адвокатов, публицистов, техников и т. п., которые, будучи сами крестьянами, придерживались бы истинно народных интересов. Интеллигенция не погибла бы, а только превратилась бы из простого, мертвого *орудия* в живой *орган* народа.

XVI

Вселение образованного класса в народ, кроме физического и психического обновления, дало бы этому классу еще одно благо: государственную жизнь, отсутствие которой тягостно теперь. По ходячему мнению, мы, привилегированные классы, еще пользуемся кое-какою политической ролью, тогда как народ будто бы совершенно ее не имеет. Точно плененный каким-то внутренним завоеванием, он лишен своей массовой воли, и все, что ему предоставлено, – это покоряться. Я позволю себе не согласиться с этим мнением. Я думаю, что народ имеет при всей своей приниженности политическую роль, а мы ее не имеем.

Ведь что такое политическая жизнь? Это участие разумом и совестью в нравственных интересах страны, не в будничных мелочах, всегда эгоистических, а в возвышенных всеобщих задачах. Это участие – и долг, и счастье гражданина, единственный смысл народной независимости, ради которой ведется столько войн. Только сливаясь мыслью с судьбой окружающих, человек ощущает полноту души своей, только на высоте сознания общего блага он делается благородным. Политическая жизнь в наш исторический период – необходимое условие счастья человека, этого «общественного существа»; в чем же состоит и общество, как не в участии всех в общем деле? Ну вот и сравните теперь участие в общем деле нашей интеллигенции и народа. Интеллигенция состоит из чиновников, учителей, писателей, техников, врачей, юристов и т. д. Чиновник – передаточный механизм закона к населению. Он действует «согласно §», «по примеру прежних лет», «во исполнение предписания» и т. д. Чем он автоматичнее, чем исполнительнее, тем лучше. Вкусы чиновника, его взгляды, убеждения – излишняя, часто вредная роскошь. На верхах служебной лестницы есть, конечно, значительный простор для инициативы, но эти верхи – несколько десятков их высокопревосходительств – уже не совсем чиновники, а класс особый. Это «правлящие сферы». На остальных же ступенях лестницы работают только *ноги*,

скромные механические орудия для движения «дел» согласно вовсе не своей воле. Участие, бесспорно, необходимое, но чисто *механическое*, тогда как политическая жизнь есть *творческое* участие. Переберите теперь врачей, юристов, педагогов, техников и т. п., обязанных уже по присяге следовать уставам и инструкциям своих профессий. Все они связаны программами, «примерами прежних лет», параграфами, все они – чиновники своего дела. Как чиновник, так и техник, врач, юрист и пр. могут позабыть о существовании государства и быть не менее исправными. В каждой профессии человек свою мысль прилагает к отдельным случаям и к отдельным людям, а не к обществу, не к народу в его целом.

Такова природа каждой специальности. Увлечшись своими маленькими целями науки, искусства, техники, администрации, человек действует независимо от общих интересов, по инерции своего ремесла; он постепенно отвыкает от мысли об обществе и от душевного участия в нем. Он знает, что есть государство, но чем оно живет и куда стремится – это его вовсе не занимает. Этим и объясняется поразительное невежество иногда отлично образованных русских людей в общественных делах, поголовная юридическая беспомощность, полное безучастие всех даже к грозным явлениям общенародной жизни. Народ вымирает от сифилиса, тифа, дифтерита, народ десятками тысяч гибнет в переселенческом потоке и т. п. – в Петербурге образовались общества народного здравия, общества переселенцев и т. д., но до того действуют вяло, что часто не могут устроить даже общего собрания: не является даже и каких-нибудь пятнадцати человек! И это в столице, огромнейшем из скоплений образованных людей. Совершенной отвычкой этого класса от общенародных интересов объясняется и давний взгляд на казну как на дойную корову. Все сословия у нас наперерыв стремятся попасть на казенные хлеба: дворяне (о чиновниках и говорить нечего), крупные промышленники, фабриканты, земледельцы, духовенство, педагоги – все только и ноют о субсидиях да увеличении оклада, причем каждое сословие готово, кажется, пожертвовать «до последней капли

крови)... отечеством ради своих интересов. В бесконечных сетованиях этих «потомственных почетных граждан», как и «благородного передового сословия», не замечается часто и тени истинно гражданского чувства. Гражданские инстинкты у нас совсем слабы; их свойства – самопожертвование, мужество, достоинство – почти вымерли среди интеллигенции. Клянчить о подачках – вот и вся наша «гражданственность». Обреченная на эгоистическое существование, связанная с родиной лишь своекорыстными интересами, «содержанием», – все равно, от казны или богачей, – наша интеллигенция превращается как бы в государственную приживалку со всеми качествами этого типа. Отдельные, блестящие исключения, конечно, есть, но я говорю о средней интеллигентной массе.

XVII

Простой народ – совершенно иное политическое существо. Его государственное бытие солиднее и крепче, чем у интеллигенции. Я уже говорил, с каким уважением смотрит на себя народ, с какою уверенностью в себе даже среди крайних бедствий, и он не обманывается. В нем хранится взгляд древнего, гордого племени, инстинктивно чувствующего себя хозяином в своих пределах. Мужик сознает свое невежество, но сознает и свое знание, нам неведомое, свою внутреннюю культуру, нами отрицаемую. «Мужик сер, но не черт у него ум съел». Мужик себя не презирает: слово «мужик» в его устах не ругательное, как в наших. Видя вокруг себя и куда бы ни пошел необозримое море народное, море деревень, хуторов, поселков, среди которых только вкраплены редкие усадьбы и города с чужим для него населением, крестьянин невольно привыкает считать себя правилом, а все остальное исключением. Хотя и смутно, стихийно, он чувствует свое коренное, первостепенное значение в государстве, чувствует, что он и есть государство, а остальные сословия имеют смысл лишь как служебные механизмы. Живя в природе, у источника таинственных откровений, народ ближе к правде

жизни, к ее вечным нормам. Поэтому народ чувствует свое достоинство; ослепленный иногда мишурными «чудесами прогресса» – железными дорогами, гигантскими сооружениями, он помнит о присутствии неизмеримо более загадочных чудес природы и остается в их наитии. Человек в народе еще не специализировался в машину, он еще не на содержании, он не чужими руками, а сам берет у Бога свой хлеб насущный. Это личное общение с первозданными стихиями кладет печать торжественности и святости на труд мужика, и он это чувствует. Все это сливается в настроение гордое и спокойное, какого никогда не встретите у интеллигента (я не говорю о мужиках, вконец разоренных: то уже рабы). Крестьянин платит подати не за страх только, а и за совесть: он, как государственный корень, сознает, что повинности необходимы, в каком размене – неизвестно, но без них нельзя. И платит. Иначе, одним страхом, нельзя объяснить его удивительной покорности государству. Он может сетовать – и сетует – на недобросовестность тиунов, но в общественном принципе нисколько не сомневается. Ни один народ, формально не обращенный в рабство, не теряет политического сознания: есть нравственные права, которые связаны с обязанностями и потому не отчуждаемы. И как ни скромны эти права, все же они больше, чем у беспочвенной интеллигенции, «служащей по найму». Деревенский житель чувствует себя как бы «штатным» членом общества, гражданином, несущим службу в этом звании и ответственным за все окружающее. Не то в городе, где побыл, да и уехал, где десятками лет или и во всю жизнь не знаешь ни своего судьи, ни своего гласного, ни присяжного заседателя, не нуждаешься в своей больнице или своей школе. Сегодня в Петербурге, завтра в Москве, на даче, за границей: большинство городского образованного населения – кочевое. Нельзя быть гражданином десятка мест, где бываешь по временам. Настоящее гражданство требует оседлости. Только слившись с народом, интеллигенция получила бы оседлость, свое прочное место в мире, где стоит устраиваться надолго и которое стоит отстаивать и защищать.

Только вселяясь в крестьянство, образованный класс мог бы вернуть себе творческое участие в народной жизни. Я не говорю уже о таких вещах, как просвещение народа, оборона от мелких хищников, культурно-техническое его воспитание и т. д. Все это очень нужно и важно; народу до крайности нужны учителя, врачи, агрономы, техники, юристы и т. п. Но интеллигенция, слившаяся с крестьянством, могла бы сослужить и другую великую службу. Она могла бы быть истинным государственным представителем народа. Теперь она на это не имеет нравственного права, так как она не народ, и представителями последнего являются случайные самозванцы. Если бы и была возможность подать иногда голос, народ не сумеет этого сделать: голос выходит не народный, а подьяческий, купеческий, кулацкий, мелкопоместный. Современные «выразители» народных нужд чаще всего извращают желания народные до неузнаваемости. Образованный класс, так, как он есть, отделенный от народа, разрозненный, наемный, разноречивый, – какой же он может иметь голос? Этот голос не имеет ни серьезности, ни веса. Другое дело, если бы интеллигентное сознание принадлежало самому народу. Тут было бы обеспечено должное достоинство.

Я уверен, что и те слабые формы представительства, какие у нас в ходу, бесконечно выиграли бы от слияния образованного класса с народом. И печать, и наши ученые и другие общества, где затрагиваются общественные вопросы (вроде Вольноэкономического²³, Охранения народного здоровья, Помощи переселенцам, Грамотности и т. д.), и все наши съезды профессиональных и ученых деятелей – все это не только не заглохло бы, но расцвело бы. Возьмите печать. Ее права теперь ограничены, но она не пользуется и малою долей этих прав. Значительная часть газет не внушают даже расположенному к гласности человеку никакого к ним уважения. Такая печать представительствует не лучшие, а худшие инстинкты в обществе, компрометируя важнейшие вопросы легковесным отношением к ним. Не умея возбудить добрых чувств, печать этого сорта умышленно разжигает дурные

страсти, потешает читателя жалким шутовством, опорочивает всех и вся, инсинуирует, доносит, клеветает. Никто так не унижает печать, как сама она, и ни одна из форм представительства общественной мысли не нуждается более печати в очищении. Если есть в обществе благородные элементы, – а они должны быть, – их нравственный долг – прихлынуть к печати; сердце народа должно двинуть к ослабленному мозгу свежие волны горячей крови. Решительно необходимо, чтобы из редакций были вытеснены низкие и грубые элементы и заменены другими. И если бы печать из шумной толпы превратилась в группу серьезных и строгих к себе органов, с очевидною авторитетностью знания, совести и таланта, то ради этой авторитетности была бы, может быть, уважена та смелость мысли, которую многие считают теперь опасной в руках полушутовской прессы. Влияние истинного благородства неотразимо; соединяя с талантом и знанием нравственную безупречность, печать могла бы приобрести несравненно более достойное, чем теперь, место в русской жизни. Нынешняя интеллигенция, очевидно, не способна на такое дело; сословию *наемному*, ей не так уж близки к сердцу *хозяйские*, народные интересы; в огромном большинстве она к ним равнодушна. Поэтому в дурной печати группируется больше талантов, нежели в хорошей: серьезные издания чаще всего скучны и недаровиты (об отдельных исключениях и не говорю). Таланты продажны; они приспособляются к требованиям тех, кто может лучше платить. Не то было бы, если бы сам народ обладал *своею* интеллигенцией, – она в печати, я думаю, заговорила бы с достоинством и солидностью, о которых теперь едва имеют понятие. Уже и теперь лучшие наши публицисты – деревенские хозяева. Эти онародившиеся таланты дышат трезвостью и простотой самой природы, от них веет правдой и *убеждением* – тем, чего недостает изболтавшимся около своего ремесла городским писателям. Природа и народ всегда подсказывают гению самые счастливые мысли. Деревня – и только она – могла бы переродить печать, сделать ее из приживалки партий сильным *народным* учреждением.

XVIII

То же самое и с другими видами культурного представительства: *теперь* они хиреют, *тогда* – могли бы расцвести. Возьмите названные ученые и благотворительные общества: они имеют, если хотите, отчасти политический характер, так как занимаются общественными вопросами, и программы их очень широки. Это те же комиссии сведущих людей для предварительной разработки законодательных мер, только комиссии бессменные и доступные для участия каждого. Какую серьезную помощь могли бы получить центральные органы от постоянного притока свежих мнений, полных знания действительности, и как все это могло бы оживить всех тяготящую «канцелярскую мертвечину»! Для самого столичного общества – какое это было бы прекрасное приложение своего досуга и знаний! Вся столичная интеллигенция (а ее считается до сотни тысяч) могла бы, распределившись по обществам, составить род веча, мнения которого, конечно, не обязательны, но *влиять* могли бы несомненно. В действительности ничего подобного нет; все общества отличаются или своею безжизненностью, до того, что *годовые* собрания иногда не могут состояться за неприбытием даже четвертой части всех членов, или поражают своею вздорностью, неописуемыми распрями, перебранками, инсинуациями, скандалами, доходящими до вмешательства полиции и разброда правлений. Чем объяснить такое бессилие и безобразие? Люди, снисходительные к себе, объясняют их малым вниманием, которое обращают министерства на труды и доклады этих обществ. Случалось, что результаты многих лет упорного труда некоторых обществ погребались навсегда в министерских архивах вместе с «трусами» казенных комиссий; обществам обещали принять их труды во внимание – и не принимали. Это невольно расхолаживает солидных деятелей в обществах, и они бросают работать. Допустим это, но несправедливо было бы утверждать, что министерства вовсе не пользуются трудами обществ: если труды серьезные, то канцелярии им очень

рады, и если не всегда применяют к делу, то не от недостатка желания. Ведь и своими собственными изысканиями министерства редко в состоянии пользоваться в полной мере. Наконец, помимо прямых последствий, работа в обществах представляет живое, интересное дело, воспитывающее публику, образующее самих деятелей, вносящее свет и в те сферы, где вершатся большие вопросы. Названные общества при ином отношении к ним могли бы быть узлами новой общественной ткани, школою гражданственности, которой нам недостает. Я думаю, если видные люди не участвуют в обществах, то чаще по иной, более простой причине: потому, что для них дело общественное – не нужное и чужое. Городская интеллигенция – узкие специалисты, они плохо знают народ, втайне презирают его, хотя и бессознательно. Как актер в «Гамлете», они могут с рыданиями продекламировать о «меньшом брате», но, сойдя со сцены, совершенно о нем забывают. Чтобы искренно, нелицемерно тревожиться за народное счастье, нужно быть самому народом, а городская интеллигенция – не народ. Другое дело – деревенская интеллигенция, образованное крестьянство; оно знало бы, что делать в обществах, оно не поленилось бы внести и в общественные вопросы тот же труд, ту же «страду», какие вносит в хозяйство. Почему не участвовать в названных обществах, живя в деревне? Ведь и теперь провинциальные члены их – самые интересные и живые члены, вносящие с собою доподлинное знание дела. Общества собираются теперь раз шесть, десять в год, собираются неподготовленные, на зная, о чем пойдет речь: приходится слушать мертвые доклады комитета и ревизионной комиссии, из которых никогда и ничего полезного не узнаешь. Сравните с этими собраниями «съезды» хотя бы обществ врачей, естествоиспытателей и т. п. Как ни плохо они организованы, все же несравненно живее и содержательнее «общих собраний». По типу съездов должны сложиться и названные общества, если не желают быть призраками. Теперь они хиреют, потому что не имеют связи с землей, непрерывного обновления народною стихией.

XIX

Свежесть и творчество, присущее земле, необходимы не одной печати и «обществам»: в них нуждается и наука, и искусство, и политика в широком смысле. Наука, слишком специализировавшаяся, всегда делается схоластикой; только кровная связь с землей удерживает ее в жизненных пределах. Отданная интеллигенции как *сословию*, наука превращается в какое-то волхование, как религия, отданная одному классу, – в жречество. Этим и объясняется великое множество ненужного в науке, безжизненного, предвзятого. Не имея постоянно-го внушения из народа о том, что нужно естественной жизни, наука, как мозг сонного человека, начинает грезить; само тело с его органами чувств не дает необходимого корректива и не возвращает поминутно к действительности. Сколько энергии, самой благородной, истрачивается напрасно на эти грезы! В какие заблуждения и бедствия они ввергают! То же и с искусством: оторвавшись от народной почвы, оно превращается в ремесленность, педантство, окаменевают в условных манерах. Все наши великие писатели, великие художники, великие композиторы обязаны своими вдохновениями народу, все они учились творчеству у него. То же животворное влияние народ оказывает и на государственную жизнь, пока она не слишком отграничивается от него. Народ – носитель вечной правды, а не случайной, он не партия, не класс, он сама страна. Как органическое существо, берущее жизнь у природы, он уравновешен земною тягой: он истинно консервативен и истинно либерален в одно и то же время. Народ – гений земли; у него инстинкты мировые, на которые государство может прочно положиться. Так и народ себя понимает: «Голос народа – голос Божий». Отступничество от истинно народных начал есть измена природе, она влечет за собою ряд неисчислимых бед в истории. Наоборот: как быстро расцветали страны, когда они возвращались к народным основам!

Возвращение к своему народу должно сделаться заветною мечтою интеллигенции; это взаимное спасение – если не

жизни, то счастья их обоих. Ведь и народ ужасно страдает от этого разобщения; чуть заведется в деревне даровитый, сильный человек, он тотчас же уходит из нее, стремится в купцы, в чиновники и, добившись «благородства» ценою часто страшной подлости, растеривает свою душу, вырождается в ближайшем потомстве; нужен новый и новый приток для обновления чахнувшего сословия. Точно какому-то Молоху приносится в жертву все молодое, свежее, сильное, столь нужное самой деревне. В другом месте я говорил о непрерывной двойной тяге из деревни в город, тяге материального богатства и лучших народных элементов (см. «Народные заступники»*) Все лучшее идет из деревни и назад не возвращается. Это истощение деревни долго длиться не может. Пора установиться обратному течению – из городов в деревни, пора нашей лучшей интеллигенции, если она не «раб лукавый», вернуть вверенные ей народом таланты.

– Неужели вы верите, – воскликнет читатель, – что такое переселение интеллигенции в деревню возможно? Неужели мыслимо, чтобы образованное общество добровольно сделало «образованным крестьянством»?

На это я воскликну, в свою очередь:

– Неужели же навеки установилось неравенство между народом и образованными кассами? Неужели навсегда мы обречены на теперешний культурный раскол, на два разных народа, на два мирозерцания? Нет, это невозможно. Я ничего не предсказываю, но думаю, что все классы, сословия, разделения между людьми – явления несовершенные и временные. Человечество стремится к слиянию, а не к обособлению, и мы, если желаем счастья, то не должны противостоять своею жизнью этому мировому закону. Я не верю, конечно, чтобы вся масса теперешней интеллигенции была способна на возвращение к народу, – большинство образованного общества слишком испорчено для какого-нибудь великого движения. Как евреям, развращенным в Египте, современному поколению пришлось

* *Меньшиков М. О.* Народные заступники и другие нравственно-бытовые очерки. – СПб., 1900. – 308 с.

бы странствовать долгие годы в пустыне, и разве будущая молодежь увидела бы Ханаан. Но есть же, хоть и немного, людей, которые могли бы быть левитами этого исхода. Есть же добрые, есть честные, есть чистые среди интеллигенции, которые то-скуют о народе и, «как олень у потока вод», жаждут освежения жизни. Вот для них этот исход возможен: ведь он так легок! Этот исход, я думаю, уже начался; соглядатаи разного рода и наименования уже проникают в «землю отцов». Пусть многие из них разочаровываются, возвращаются трусливо «на городские заработки» – это явление неизбежное; зато те,

... чьи мысли неподкупны,
Чьи целомудренны мечты*,

– те обретут то, чего ищут, – радость изгнанников, нашедших наконец свою родину, примиренных с нею.

Природа

XX

Верховный закон счастья – равновесие человека с миром. Создание природы – человек – каждое мгновение прикасается к ней всеми своими атомами. В течение тысячелетий он выработался так, чтобы во всех точках уравнивать давление на него мира, и если мы сами не устроим себе иного, искусственного мира с иным давлением или если сами не изменим себя, то сохранить равновесие с миром легко. Существует постоянное, вполне определенное отношение естественного человека к естественной природе, и это отношение не тягостно, а приятно. Оно становится невыносимым, когда или мир, или мы меняемся и когда образуются совсем иные давления. Но мир сам по себе для каждого человека постоянен. Его необъятные колебания не вмещаются не только в ничтожный миг человеческой

* Языков Н. М. Подражание Псалму XIV // Стихотворения 1831 г. (3 сентября 1830 г.) // Языков Н. М. Сочинения. – Л., 1982. – В. Т.

жизни, но даже и в воображение человека. Для нас небо – неподвижная твердь; если на самом деле целые миры и тьмы миров мчатся там с быстротою невыразимой, то вся эта быстрота и жизнь не заметны для нас. Мы глядим на вселенную, как боги из пределов вечности: потоки миров кажутся нам сияющим прахом, вроде пыли, играющей в солнечном луче. Мир в своей неизменности *верен* человеку; даже земная природа сама по себе удивительно постоянна. Наши железные дороги и каналы освещает то же солнце, что светило при постройке пирамид, и тот же «бледнолицый месяц, что таинственно мерцал в садах Семирамиды». От создания мира те же стихии волнуются кругом нас. Таким образом, не природа нарушает свое отношение к человеку, а он к ней, и если бы он хотел сохранить равновесие с миром, то и мог бы. Но, к сожалению, человек наделен не только разумом, но и безумием. Из всех живых существ человек наиболее склонен к сумасшествию, к созданию ложных представлений. Под дурными внушениями, накапливающимися века, человек выходит из естественного мира и создает себе иной, искусственный мир, в непрерывном крушении которого и сам гибнет. Он создает себе смрадную атмосферу городов, вырубает тенистые леса, превращает благоуханную степь в пустыню; он истребляет и рыб морских, и птиц небесных, и всякую живую душу, данную для утешения человека. Если бы можно было, человек, кажется, похитил бы небесные светила, чтобы превратить их в золото. Опустошенный и извращенный мир, мир как бы пересозданный, облекает человека совершенно иным давлением, равновесие исчезает, и человек задыхается под тяжестью, которую сам на себя обрушил.

Всякое существо счастливо в своей стихии: птица – в воздухе, рыба – в воде, черви – в почве. И для человека существует сочетание условий, составляющее его стихию. Эта стихия создана не человеком, а дана природой, иначе человечество не могло бы и появиться. Задолго до нашей образованности выработался в полном совершенстве человеческий тип: теперь уже трудно найти столь могучие, красивые и интеллигентные расы, какими были древние эллины или арийцы. Древние вар-

вары неоспоримо были сильнее и красивее нас; те богатырские характеристики, какими, например, Тацит²⁴ наделил славян, никак уже не подходят к современному их потомству. Но не только тело, а и самый дух человека вполне сложился до начала истории. Беспереывным многовековым упражнением мозга при разнообразнейших столкновениях с природой варвары выработали могучую и утонченную душу, способную не только к военному, но и мирному благородству. На просторе степей, среди лесов и гор или на уединенных островах океана иногда слагались удивительно разумные отношения человека к природе и истинно гуманные отношения его к своим ближним: слагалась высокая и *умственная*, и *нравственная культура*, дававшая здоровое, не оравленное счастье. Затерянное среди природы племя не имело ни науки, ни даже письменности, но обладало множеством сведений, взятых из живой действительности, обладало чуткою интеллигентною душою, которая откликалась радостно на все впечатленья бытия. Свежая, мощная раса отдавалась нетяжелому, живительному труду; люди были свободны, беззаботны и великодушны, их взаимность слагалась в союзы братства и нежного бережения всеми всех.

Редко встречались в истории такие явления, однако встречались, и хотя бы без письменности, но такие уклады жизни мне кажутся высшими культурами, какие возможны. Таким беспорочным народам природа внушала великие познания и без письменности. Ученые, вникая в верования и поэзию древних арийцев, поражаются возвышенности их духа; судя по остаткам их эпоса и культа, им были доступны высочайшие откровения чувства и мысли, до каких только теперешняя многоученая цивилизация едва добирается. Припомните чудесный расцвет древнеэллинской культуры: не имея ни железных дорог, ни телеграфов, ни журналистики, не имея даже понятия об электричестве, не зная не только химии, физики, астрономии, но даже алгебры и геометрии, будучи с современной точки зрения на научном уровне сельской школы и зная лишь своего Гомера, греки дали поколение величайших мыслителей, поэтов и художников, каких только знает история.

Простым умозрением, целомудренным и могучим, древние постигали истины, к которым современная наука приходит ощупью, долгим, кропотливым процессом. Человек, выросший среди стихий и не изувеченный больной культурой, обладает своего рода *ясновидением* природы: как младенец у сосцов матери, он подмечает тайны, которые для посторонних скрыты. Эта природная, не школьная интеллигентность есть высший дар человеку и основной фонд истинной культуры. Делаясь все более учеными и сложными, отходя от земной почвы, все цивилизации начинают изнурять и тело, и дух человека, они делаются анархичными, полными излишеств и ненужностей, расстраивающих нежную ткань счастья.

Нет сомнения, что в самых недрах природы, на заре образованности, человек иногда во всех отношениях достигал совершенства: и физического, и умственного, и нравственного. И даже теперь, если вы хотите встретить образцы человеческой силы, богоподобной красоты, душевного мужества и величия, вам придется искать их не в центрах цивилизации, не на парижских бульварах, а где-нибудь на Востоке: в Сибири, Аравии, в Албании, в наших Донских степях, где встретил такие образцы Уоллес²⁵, или в глухих алтайских колониях, которые описывает Глеб Успенский. В глуши природы, где естественные условия сохранены, где достаточно земли, воды и леса, всюду вы встречаете породу богатырей. Если на лоне природы встречаются жалкие дикари, то, вопреки ходячему взгляду, это породы не первобытные, а вырождающиеся – последние, погасающие остатки когда-то мощных варваров. Загнанные войнами, потопами, землетрясениями и т. п. во вредные для жизни естественные условия – в пояса крайнего жара или холода, в области скудного питания, богатыри изнемогли в борьбе с этими условиями и выродились в жалких эскимосов или папуасов, которые на наших глазах продолжают вырождаться. Ученые напрасно ищут каких-то особенных причин для вырождения дикарей: наша эпоха уже застала их вырождающимися, и в этих местностях, где живут дикари, человек-варвар не может не вырождаться. Даже цивилизованные европейцы с

могучими средствами для умерения крайностей тепла и холода – и те вымирают под тропиками и в арктических областях. Тот факт, что дикари обладают бóльшим черепом, чем требует их крайне бедная психика, а также остатки преданий, говорящих об иной родине, иной, несравненно более богатой культуре, доказывают, что дикари – не первозданный человеческий тип, а вырожденные, декаденты, продукт крайней порчи человеческой породы. Первозданный тип – это варвар, вроде древнего грека, перса, еврея, галла, германца, славянина, которые на заре истории все являются породами исполинскими. Только в отклонении от естественных условий эти породы вырождаются в дикарей, которые вымирают окончательно, как растение умеренного пояса, перенесенное слишком к свету или к югу. В мире животных и растений есть такие же дикари: вспомните уродливых млекопитающих полярных стран или полярные виды березы и сосны. Жизнь, которой принцип – равновесие, мера, достигает своей полноты лишь в умеренных странах и из них там лишь, где естественное равновесие природы не нарушено, где все царства ее, проникая друг друга, взаимно поддерживают и питают огонь жизни.

Для современного человечества не исчезла еще опасность естественного одичания, опасность для некоторых народов зачахнуть в слишком жарком, слишком холодном или слишком сухом климате. Особенно эта опасность близка к русскому племени, оттесненному еще в доисторические времена в самые суровые страны, в соседство полярных дикарей. Но, кроме естественной опасности одичания и вырождения, наша нездоровая цивилизация создает еще и искусственную, еще более грозную. Внутри умеренных стран, среди жизнеобильной природы создаются условия для жизни вредные, куда и загоняются миллионы народа, обреченные на перерождение в дикарей и постепенное вымирание. К удивлению антропологов, занявшихся этим вопросом, в наиболее цивилизованных центрах, в Лондоне, Париже, Берлине, открыты целые расы вырождения – малорослые, длинноухие, узколобые, худосочные заморыши, и одинаково как в рабочем классе, так и среди

кровной аристократии. Здоровые, нормальные люди в больших городах всегда оказываются или провинциалами, или детьми провинциалов; в дальнейших поколениях человеческий тип в этих центрах истощается и мельчает.

<XXI>

Стихия человека – *деревенская* природа. Основное несчастье современных людей – отчуждение их от природы, удаление из естественной стихии, где они могли бы развиваться и жить полной жизнью. Особенно страдают образованные классы: выделив себя из семьи народной, они выселяются и из народного дома – Природы. Жизнь устраивается вне стихий, как бы за пределами мира. У горожан свой особый мир: своя искусственная почва в виде мостовых, своя, хотя и душливая, атмосфера; в каменных домах свой искусственный климат; газ и электричество часто заменяют небесные светила; водопроводные трубы заменяют ручьи и водопады; есть даже свой маленький ветер – вентиляция... Все это механическое и мертвое, мертвящее человека при каждом прикосновении. Над большим городом стоит постоянная мгла, которая издали кажется облаком дыма; еще издали, подъезжая к городу, вы слышите смутный гул, в котором смешивается грохот экипажей со свистком паровых труб, лязгом железа на заводах, звоном колоколов и говором сотен тысяч людей. Теснота, шум и смрад сначала ошеломляют провинциала; но он привозит с собою внушение, что город прекрасен, что в нем сосредоточены чудеса человеческого гения: колоссальные храмы и дворцы, блестящие улицы, монументы, театры, музеи – все, что есть в мире редкого и богатого. В городе живут люди образования и таланта, люди власти, в городе идет вечный праздник и нет фантастического желания, какое вы не могли бы осуществить за деньги. Как же не ехать в город? Там делается карьера, именно там можно добиться богатства, известности, влияния. И вот, как на огонь маяка, летят целые стаи птиц, разбивающихся до смерти об его стекло, на

блеск городов ежегодно стремятся тысячи и десятки тысяч провинциалов, не подозревая об ожидающей их гибели*. С тех пор как от городов протянулись во все углы железные дороги, города-чудовища железными щупальцами втягивают в себя населения целых уездов и губерний. Даже у нас рост городов за последнее пятидесятилетие поразителен: города Юга растут и множатся со сказочно быстротою, на Западе же города втянули в себя до половины, а местами даже до двух третей всего населения, и это обезлюдение деревень все продолжается. Идолопоклонники нынешней культуры радуются этому явлению, на самом же деле оно ужасно. Отчуждение от природы, как это всегда бывало в древности, влечет за собою упадок цивилизации и глубокое расстройство в человечестве. Выселение из мира естественных условий в мир искусственный есть медленное массовое самоубийство: в городах подтачивается физическое и психическое здоровье расы. Человечество выросло в океане свежего воздуха, вспоено кислородом лесов и степей; в городах оно погружается точно в смрадные ямы, наполненные углекислотой и дымом. С каждым вздохом деревенский житель вливает себе в грудь здоровье и силу, городской житель – отраву и бессилье. Изгнав себя добровольно из безграничного храма с лазурным куполом, городские люди забились в тесные норы; скученные в каменных многоэтажных пещерах, пропитанных от подземелья до чердаков общими испарениями, жители даже блестящих столиц захлебываются нечистотами, растворенными в воде и воздухе. Корясть и тщеславие заставили их заключить себя в роскошную тюрьму, лишить себя простора и тишины природы, присутствия милых картин неба, солнца, стелющихся полей, шумящих лесов, серебристых озер и рек – тех впечатлений, которые входили в самый организм души и делали жизнь живой идиллией, живой поэмой. Теперь душа людей, не говоря об изможденном теле, строится из других материалов: из впечатлений канцелярии, фабрики,

* На эту тему см. прекрасный рассказ П. Е. Накрохина²⁶ «Входящий и исходящий». – Примеч. М. О. Меньшикова.

конторы, мостовых и конок, из мертвого шума и вечной суеты. Молодые поколения растут, не зная, откуда появляется и куда исчезает солнце, не видя, кроме узенькой полоски, небесного свода, не подозревая, что существуют леса, долины, реки и горы, волшебные по разнообразию меры живых существ – бегающих, парящих в воздухе, ползающих, лазающих, хоры поющих птиц, царства цветов и весь этот неизъяснимо дивный, огромный мир Божий, полный бесконечного трепета жизни. Для городского жителя мир страшно узок – не шире улицы, он безжизнен и бездушен, лишен всех своих чудесных украшений: горожанин их никогда не видит. Человек в городе точно слепнет в отношении лучшего, что дает жизнь, и в такой слепоте растут целые поколения. Один учитель отобрал недавно у нескольких сот городских школяров сведения о природе: огромное большинство их не видели ни восхода солнца, ни заката, не видели реки, не знали, что такое озеро и лес. Эти школяры могут знать алгебру и историю, но если они не знают таких элементов мира, как солнце и лес, они психически ниже дикарей: ведь картинное представление мира входит в самую ткань сознания, образуя *основу*, на которой затем держатся все настроения и узоры мысли. Отсутствие личного, непосредственного знакомства с природой – грубейшее из всех невежеств; оно нарушает *органические* требования человеческого духа и ведет к душевному вымиранию. Забившись в ущелья своих улиц и переулков, человек нарушил коренные, вечные условия своего типа: вообразите орла, который был бы вынужден вести жизнь крота. Безрассудною рукою человек оборвал свои живые корни, артерии и нервы, связавшие его с недрами природы, и лишил себя источников обновления; добровольный выкидыш из нее, он хиреет и вымирает. Несмотря на тщательные санитарные меры, обилие медицинской помощи, чистоту улиц и отхожих мест, население городов быстро вымерло бы, если бы не было непрерывного притока свежих соков деревни. Города, говорит Макс Нордау²⁷, в гигиеническом отношении те же болота: жители неизбежно вымирают от малярийного отравления.

<XXII>

Поглядите на городскую публику где-нибудь в театре, на бульварах, в вагоне: какие бледные, дряблые, больные лица! Какое малокровие и измятость нервов! Все семь смертных грехов просвечивают сквозь выцветшие глаза; в сети преждевременных морщин, этих рунических надписей жизни, вы читаете длинную повесть пресыщения и переутомления, обвинительный акт природы – а часто и *приговор* ее, скрепленный зловеще красною печатью на щеках. Поразительно, до какой степени разорено тело современного горожанина. Столичные доктора ежегодно отправляют на воды целые армии нейрастеников, напоминающие армии преступников, посылаемых в изгнание. Больницы – те же тюрьмы для людей, нарушивших не нравственные, но столь же святые физические законы природы. Улики ведь налицо: общая слабость, плохой аппетит, плохой сон, плохое самочувствие, катар желудка, катар горла, катар носа, катар мочевого пузыря и камни в печени, и почка блуждает – нет, кажется, ни одной здоровой клеточки, не нуждающейся в специальном лечении. При такой заржавленности организма мудро ли, что жизнь, этот «дар мгновений, дар прекрасный»*, обращается в нечто случайное и напрасное, в медленную «казнь», по словам поэта? И эта казнь заслужена. В первоисточнике всех наших бед лежит преступление против природы, наследственное или личное. Современный пессимизм – а огромное большинство образованных людей тайные пессимисты – сам не знает, отчего он несчастен; он среди роскоши и комфорта изнывает, душевно гниет и разлагается. Стоит, однако, подойти ему к зеркалу, чтобы объяснить себе эти угрызения: он – тревога физической совести человека. Из зеркала выглянет на него с укором заморыш, в растленном теле которого увядает истасканная душа. В тощем, сутуловатом корпусе с впалой грудью, висящих, как плети, конечностях, в пергаментной коже, плохо скрывающей

* Строки поэта пушкинской эпохи Федора Ключникова из стихотворения «Дар мгновенный, дар прекрасный...» <1841>, являющегося переделкой стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» (1829). – В. Т.

череп, в старчески жидких глазах и синих губах – во всех чертах рисуется почти типический портрет выродка, uomo delinquente*, каким его рисует Ломброзо²⁸. Какие же права на счастье имеет этот расхитивший себя безумец? Медленный, бессознательный самоубийца, он превращается часто в сплошную язву; природе из милосердия остается убрать эту живую заразу, и если несчастный имеет хоть немного совести, он благословляет смерть. Часто он сам становится своим палачом...

Городские люди несчастны потому, что орган счастья – тело их – испорчено, и если бы они попали в райскую обстановку, они уже или не чувствовали бы ее, или она была бы им противна, как дорогое вино на больной язык. Блеск солнца резал бы им усталые глаза, ветер не освежал бы их, а простуживал, тишина деревни угнетала бы их нервы, привыкшие к грохоту. Для бесповоротно испорченных организмов, как для слишком разбитых инструментов, лучшая участь – пойти в лом. Но те, кто еще способен к жизни и кто желает счастья детям, должны знать, что первая, верховная заповедь счастья – здоровье, а здоровье вне природы невозможно. Орган счастья – тело – должно обладать совершеннейшими аппаратами: сильными нервами, заряженными электричеством, горячей, насыщенной железом кровью, упругими мускулами. Разве не счастье – обладать отличными, как дорогие механизмы, органами чувств, не требующими ни очков, ни слуховых трубок, ни вставных челюстей – всех этих *костылей* ощущений? Разве не счастье – обладать свежим и деятельным мозгом, могучим желудком, неутомимым сердцем? Вспомните, как умирал от язвы в горле всеми любимый император сильнейшей в свете страны. Не был ли бесконечно счастливее его последний из его подданных, какой-нибудь бедный пастух в живописных горах Тюрингии, повелитель нескольких коз да своей собаки? Фридрих III²⁹ охотно, конечно, уступил бы свою корону, лишь бы иметь возможность, как этот бедняк, перекликнуться с горным эхом здоровой грудью, вздохнуть сладко и беспечно, хотя бы в сумке была всего краюха хлеба. А разве не счастье – телесная

* Человека с отклонениями (отклоняющегося) (лат.). – В. Т.

красота, этот «образ Божий», неотразимый и властный, неизменно сопутствующий здоровью? Высшее благо – спокойная совесть и ясный ум – обитает в низшем, в безупречном теле, как божество в храме, алтари которого не осквернены. Человек непорочный, вооруженный всеми приборами счастья, бывает счастлив бесчисленными способами и во всякое мгновение, смотря по тому, как его объемлет мир. Он счастлив и в ощущении природы, и в общении с людьми; он счастлив и в труде, и в отдыхе, и в мысли, и в чувстве, и наяву, и даже во сне: беспорочность, как ангел света, отгоняет от его ложа самые тени бедствий. А если и нагрянет на такого человека случайная беда, он имеет счастье преодолеть ее, противопоставить ей необоримое нравственное мужество, бесстрашное перед самой смертью: для героя и смерть обращается в счастье. Душа здорового человека – как Эолова арфа³⁰: какой бы и откуда ветер ни подул, она встречает его гармоническими аккордами – буре жизни она отвечает бурей прекрасных звуков. Но если струны души вашей распушены, расстроены, заржавлены и порваны – какие зефиры извлекут для вас хотя бы один звук счастья? И не был ли бы такой одинокий звук слишком печален?

<XXIII>

Нормальная жизнь возможна только в деревне, среди чистых, незагрязненных стихий. Профессор Гильти³¹ говорит, что недалеко время, когда образованные люди побегут из городов, откажутся от растлевающего комфорта, от убийственной механической деятельности в канцеляриях и заводах, пойдут в лесистые, заглохшие места и будут находить счастье расчищать их собственными руками, строить себе бедные жилища и создавать, как это бывало в далекие, счастливые времена заокеанской колонизации, свой маленький «новый мир». Есть что-то невыразимо пленительное в создании такой жизни «в пустыне»: недаром «Робинзон» и особенно «Швейцарский Робинзон»³² читаются детьми, пока они не утратили еще чутья истинной жизни, с таким восторгом. Недаром «прекрасная

мать-пустыня» так влекла к себе лучшую часть народа, создавала странничество, монашество и разбойничество. Недаром, наконец, века переселений у всех народов представляют героическую эпоху, к которой относятся лучшие, заветные воспоминания, целые тысячелетия, передаваемые в сказках и сагах. Я уверен, что в современном переселенческом движении играет роль не один «экономический расчет», а также и внутренний инстинкт великого народа, заставляющий его вырабатывать себе *истинную* культуру. Тоска по природе и ее простору, стремление к идиллии, грезы о широких реках и буйных степях – все это смутные искания жизненной культуры, потребность укрепить расшатанные основы счастья. Народ от природы неотделим: он – часть ее, и она входит в него органической стихией, поэтому всякое покушение на природу есть покушение и на народную жизнь. В прежние века, как ни грубы были социальные отношения, как ни поработан был народ, все же основные стихии – воздух, вода, почва, лес – были за ним обеспечены, и он чувствовал, что жить еще можно. Но в последнее столетие, с возобладанием городской культуры, с перестройкою России по западному, промышленному типу, с сосредоточением огромной площади земли в руках малочисленного класса, в условиях народной жизни совершился глубокий и важный переворот: народ постепенно лишается природы, своего дома. Совершается хищнический, стремительный, нигде в свете небывалый разгром природы, истребление лесов, садов и рощ, истребление степи, засорение и высыхание вод, уничтожение всякой живой твари, населявшей нашу флору. Из прекрасного, кипевшего дикой жизнью мира наша русская природа превратилась местами в мертвую пустыню; нарушено чудесное, веками слагавшееся сочетание стихий и органических царств, отношение растительного покрова к почве и влаге, отношение мира четвероногих и пернатых к насекомым и паразитам. Человек-промышленник вторгся в природу, как разбойник, и обобрал ее, внося глубокое, местами навеки непоправимое расстройство в ее жизнеобмен. Даже там, где на месте лесов и степи явились бесконечные плантации, природа уже не дает прежней

радости: превратившись из «храма» в «мастерскую», по мечте материалистов, природа деревни сделалась огромным заводом, где народ, превращенный в «рабочего», фабрикует «сырые продукты»: хлеб потерял уже прежнее, священное значение дара Божьего, он – хозяйский товар, спешно сбываемый за границу и обмениваемый там на шампанское да резиновые шины. Крестьянские наделы давно не в состоянии вместить в себя народ; нарождающиеся поколения – а они каждые 10 лет дают по 15 миллионов новых душ – уже оказываются вне природы, им нет почвы, нет своей воды, своей атмосферы. Им приходится жить на чужой земле, пришельцами в Божьем мире... Инстинкт великого племени, видимо, встревожен этой долей; он чувствует в будущем неизбежное рабство (работу не на себя, а на других), и вот в массах идет брожение, напоминающее эпоху за полторы тысячи лет назад. Задыхающееся в тесноте население поднимается и стихийным потоком стремится в пустыни, на поиски старого, вечно нового фонда жизни – природы.

<XXIV>

Верен ли этот народный инстинкт? Вместо того, чтобы идти в леса и степи и заводить там те же серые деревни, что и на родине, не лучше ли было бы народу прихлынуть к городам, к фабрикам, заводам, промыслам и поскорее перестроить Россию в сплошной Манчестер? Это сделало бы Россию похожей на самую передовую страну в свете и утвердило бы в ней настоящую, то есть городскую культуру. Это был бы «прогресс», введение «цивилизации». Так обыкновенно и полагают большинство образованных людей. О деревне думают, что она совсем не культурна. Все заботы сосредоточены на том, чтобы «цивиловать» ее на городской лад, внести в нее комфорт, нравы и занятия города. Город – просветитель, именно он дает образцы общественной и личной жизни, он вырабатывает истинную культуру... Тяготение народа к природе – ошибка невежества.

Эта общераспространенная мысль на самом деле есть великая и пагубная ложь. Истинно живая культура выраба-

тывается не в городе, а в деревне; тоска народа по природе и земле, мечты о степном и лесном приволье есть не каприз воображения, а самое серьезное требование жизни. Не прихоть – это жажда свежих, незагрязненных стихий, поиск свободного, самостоятельного труда, хотя бы и малопроизводительного. Народ глубоким инстинктом чувствует, что большой производительности не надо, что истинное счастье человека не требует многих искусственных вещей, но зато требует не многих – естественных. Для истинного счастья не нужно почти все то, что производит город, но необходимо то, что дает деревня: необходима чистая атмосфера, солнце, зелень, мир живых существ, необходима свежая пища, нужен хотя и не легкий, но правильно распределенный труд на себя, труд живой и осмысленный, как источник радости и здоровья. Народ смотрит на счастье, как тысячелетний мудрец, избегая сумасшедших крайностей богатства, ненасытного знания, неукротимого честолюбия: он знает, что каждая здоровая потребность может сделаться тяжелой страстью и что удовлетворение мании невозможно. Народ знает, что после здоровья основное условие счастья – беззаботность, и его дает именно деревня, тогда как городская жизнь есть сплошная, безвыходная забота. Ничто так не разоряет человеческого организма, как нервный страх за свою судьбу, который всегда тревожит людей городской культуры: страх бедности и унижения, страх быть раздавленным в крошечной свалке, называемой *свободной* конкуренцией. Самые богатые, властные, казалось бы, обеспеченные люди изнуряют здоровье и сокращают жизнь мучительным желанием протолкаться вперед, не замечая, что дорога к верхам жизни есть, в сущности, наклонная плоскость, увлекающая человека вниз всем весом достигнутого положения. Гораздо легче удержаться на средней ступени и еще легче на низшей, нежели на верхних, и тем тягостнее усилия достичь конца – обыкновенно воображаемого и потому недостижимого. Забота – истинный бич счастья; какими бы чудесными дарами ни наделили человека добрые феи, достаточно, как в сказке, одного коварного подарка – заботы, чтобы отравить всю радость человека. Забота высших классов

передается средним и даже низшим, где они не уединены; мишурные преимущества, блестящая *поверхность* жизни соблазняют бедняков; они тянутся кверху, хотя бы на недосягаемых высотах царил лишь холод и бесплодие: горные вершины так пленительны издалека. Лишь немногие доходят до вершин, чтобы убедиться в безжизненности их; огромное большинство умирают от усталости, не достигнув и середины пути...

Труд

<XXV>

«Умирают от усталости»... Это не фраза, это ужасный факт, делающийся все более и более объединенным. Целый ряд блестящих деятелей сошел со сцены от переутомления: врачи устанавливают новую болезнь – *усталость* сердца. О переутомлении кричит печать и общество; переутомляются школьники, переутомляются учителя, журналисты, доктора, чиновники, торговцы, офицеры, ученые, министры... Нет профессии, в которой бы честный труженик не был отравлен «ядом усталости» – опаснейшим из ядов. В городах душит людей не только гнилая атмосфера, не только изнуряет гнилая пища и отсутствие жизни природы, но еще и неестественный, крайне напряженный в одном направлении труд, причем сосредоточение мозга на узкой специальности неизбежно принимает истерические, маньяческие формы. В деревне труд – даже умственный, не меньше, а скорее больше, чем в городе; живое общение с природой требует неослабного внимания, но это внимание распределено на большей площади, на всех участках мозга, а не на одной специальной способности, и в силу этого работа переносится легко. Эйфелева башня благодаря широкому основанию давит на каждый квадратный дюйм не тяжелее, чем ножка стула, но если бы всю ее тяжесть сосредоточить на одном квадратном дюйме, ее не выдержала бы никакая почва.

В городской культуре, основанной на специализации труда, такие катастрофы неизбежны: профессиональные тружени-

ки падают, раздавленные одностороннею и напряженной работой; погибая сами, они и потомству предлагают хроническую усталость, истерию, нейрастению. Профессор Эрб³³, авторитет по нервным болезням, заявляет, что «человечество может жестоко пострадать благодаря некоторым влияниям современного культурного развития... Нервность, – говорит он, – чрезмерно увеличилась к концу XIX столетия – вместе с душевными болезнями... *Нужны специальные меры, дабы отстоять нашу культуру и даже самое существование цивилизованных народов*». Эрб спрашивает: «Существуют ли еще народности, обладающие свежими душевными силами и здоровой нервной организацией?» Профессор зовет современное общество и правительство «к борьбе с этим настоящим бичом наших дней» и заканчивает речь* указанием еще раз на «*громадную опасность*», которая в виде усиливающегося нервного расстройства «грозит современному прогрессу и даже *дальнейшему существованию культурных европейских народов*». Другой ученый, известный социолог Летурно³⁴, разбирая основы современного прогресса, находит, что этот прогресс ведет не только к физическому, но и *психическому* вырождению: к страшному развитию эгоизма в обществе и небывалой алчности к наживе. Летурно полагает, что эта темная страсть погубит европейскую цивилизацию; последней угрожает «самая бесславная смерть – смерть от денег...»

«Нас ждет столетие, полное сильнейшей лени, и признаки наступления его уже заметны», – говорит бернский профессор Гильги, намекая на чрезмерную деятельность нашего века, на слишком торопливое пользование своими силами, на удручающую и, в сущности, ненужную суету и как на результат всего этого – *переутомление* – истинный бич «конца века». Макс Нордау в своей известной книге («Вырождение») посвящает переутомлению целую главу; итальянский ученый Моссо³⁵ составил о нем целую книгу («La Fatica»); о переутомлении говорит и Крафт-Эбинг³⁶ в книге «Наш нервный век» и целый ряд других выдающихся авторитетов и ученых. Переутомление сделалось злобой дня в педагогии. Повсюду требуют уменьшить число

* На акте Гейдельбергского университета. – Прим. М. О. Меньшикова.

учебных часов, облегчения занятий, установления отдыха – и не только для школьников, но и для взрослых, занятия которых слишком продолжительны: приказчиков, почтовых чиновников, наборщиков и т. п. Во всем свете лозунгом рабочего движения выставлено ограничение труда для взрослых до 8-часовой нормы. К ученым физиологам, трактующим о вреде чрезмерного труда, присоединяются философы, и еще недавно мы были свидетелями блестящего спора о труде между Золя, Дюма³⁷, Л. Н. Толстым и многими выдающимися мыслителями на Западе³⁸. Теория «неделания» теснейшим образом связана с ограничением труда, с освобождением человека от массы ненужных, несносных и вредных хлопот, столь загромождающих течение жизни. Во всех сферах чувствуется гнет вследствие чрезмерного напряжения человеческой энергии. Выступающая на общественную сцену молодежь с ужасом видит, как предшествующее, слишком заработавшееся поколение умирает от модной болезни – нервного переутомления, едва переступив порог границы зрелого возраста, а иногда и не достигнув его; первая половина жизни является могилой для второй.

«Население Европы, – говорит Макс Нордау, – даже не удвоилось в течение последнего пятидесятилетия, а его труд увеличился в десять, а иногда и в пятьдесят раз». Член цивилизованного общества работает теперь от пяти до двадцати пяти раз больше, чем полвека тому назад*, и параллельно с

* В 1840 г. Европа имела железнодорожную сеть в 3000 верст, а в 1891 г. – 218 тысяч верст, то есть в 33 раза больше. Тогда число пассажиров в Германии, Франции и Англии не превышало $2\frac{1}{5}$ милл., а в 1891 г. их насчитывалось 614 милл. В 1840 г. почта доставляла во Франции 94 милл. писем, в Англии – 277 милл.; в 1881 г. – 595 и 1299 милл. Международная корреспонденция всех стран составляла в 1840 г. 92 милл., в 1889 г. – 2759 милл. В 1840 г. выходило газет в Германии 305, во Франции – 776, в Англии – 551, а в 1891 г. соответственные цифры составляли 6800, 5182 и 2255. Новых книг появилось в Германии в 1840 г. 1100, а в 1891 г. – 18 700. Международные торговые обороты увеличились с 28 до 74 миллиардов марок, вместимость судов, прибывших в английские гавани, – с $9\frac{1}{3}$ до $74\frac{1}{3}$ милл. тонн, и пр., и пр. «Какая-нибудь кухарка (речь идет, конечно, о немецкой кухарке) посылает и получает теперь больше писем, чем в прежнее время профессор, и какой-нибудь мелкий торговец путешествует и видит больше, чем в прежнее время коронованная особа», – говорит Нордау. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

этим быстро умножаются преступления, помешательства, самоубийства, явились новые нервные болезни как прямое последствие новых культурных условий. Западные врачи говорят о специальном «железнодорожном расстройстве» спинного и головного мозга (**railway spine, railway brain**). Утомление организма требует возбуждающих средств – отсюда страшный рост потребления наркотиков, спиртных напитков, табака, что отравляет организм и ведет к вырождению. В четырехлетие с 1859 по 1863 год в Англии умерли от болезней сердца 92 000 человек, а в четырехлетие с 1884 по 1888 год умерли 224 000. От нервных болезней умерли с 1864 по 1868 год 196 000 человек, а с 1884 по 1888 год – 260 500 человек: так выросла смертность от утомления всего за 20–25 лет. Чрезмерный труд прежде всего поражает нервы и сердце. Проф. Кричтон-Браун³⁹ утверждает, что мужчины и женщины стареют теперь раньше времени. Старость захватывает собой часть цветущего возраста. Люди умирают теперь от старческого истощения в возрасте 45–55 лет. Распространяется в страшной прогрессии слабость зрения, порча зубов, плешивость и ранее поседение – признаки утомления и истощения. Переутомление, порождающее истеричность и нейрастению, признается учеными главной причиной вырождения. Истерия есть прямое последствие утомления; в обоих случаях наблюдается одинаковая симметричность движений, раздражительность и т. п. «Утомляя здорового человека, – говорит Фере⁴⁰, – можно превратить его в истеричного. Все причины, вызывающие истерию, могут быть сведены к одному физиологическому процессу: к утомлению, к понижению жизнедеятельности».

<XXVI>

Зарабатываясь, современный человек не только надрывает физические основы организма, но в равной степени и психические. Множество недостатков душевных, отравляющих счастье и самого человека, и его близких, объясняется хронической усталостью. Человек вял, не впечатлителен, ленив;

он не способен ни к чему, он раздражителен и уныл. Можно подумать, что он плохо одарен от природы, но очень часто это не так: стоит человеку хорошенько отдохнуть – и куда девается его лень и умственная спячка! Он делается энергичным, умным, веселым и добрым, то есть как бы нравственно перерождается. Последним результатом нашей суетливой и жадной цивилизации является всеобщая усталость, а усталость, по исследованиям ученых, есть *отравление*. Работа мозга и остальных тканей неизбежно сопровождается тратой их и разрушением; продукты этого разрушения представляют сильнейшие яды (так называемые *лейкомаины*). Организм спасается от них тем, что или сжигает их в кислороде крови, или обезвреживается в особом аппарате – печени – и выводит вон почками. При усиленной работе продукты распада тканей быстро накапливаются в крови, и мы чувствуем утомление, а когда количество их переступает физиологическую норму – мы делаемся больными. Выделения работающих клеток загрязняют кровь и, орошая мозг и нервы, отравляют их. Итальянский ученый Моссо производил систематические наблюдения над мышечную усталостью при помощи так называемого эргографа. Оказалось, что работа, производимая утомленной мышцей, гораздо больше вредит ей, чем более значительная работа, но произведенная мышцей неутомленной. Для каждой мышцы требуется точно определенный промежуток времени для полного отдыха. Если уменьшить время отдыха – мышца соответственно оказывается менее способною к работе. Выяснилась чрезвычайная важность не доводить работающий орган до последнего предела усталости. Мышца утомляется гораздо меньше и способна производить в два с лишним раза большее количество работы в сравнении с тем, как если ее довести до полной усталости, а затем дать более полный отдых; так что необыкновенно важно почаще отдыхать, хотя и понемногу. «При усталости, – говорит Моссо, – даже незначительное количество механической работы уже губительно». Объясняют это тем, что в начале работы мышца питается еще чистой, не зараженной кровью в сравнении с последними ее минутами.

Восстановление силы идет гораздо быстрее, если не доводить усилия до усталости. Умственная работа подчиняется тем же законам. Она есть как бы постоянная смена сна и бодрствования; каждый раз, как обращено внимание на что-нибудь, соответствующие клетки мозга как бы просыпаются, и лишь только они засыпают, внимание обращается в другую сторону. В случаях особенной усталости – все равно, физической или умственной, говорит Моссо, мы становимся раздражительными и даже более того: усталость, по-видимому, уничтожает в нас все благородное, именно те качества, которыми отличается цивилизованный мозг от варварского. Усталый человек теряет способность управлять собою, и здравый рассудок уже не в состоянии регулировать собою страсти. Мы оказываемся как будто спустившимися на несколько ступеней в социальной иерархии. Моссо при помощи эргографа производил наблюдения над собой и товарищами-профессорами и убедился, что источник всякой энергии в человеке общий. Излишняя мышечная работа оставляет мало сил для умственной деятельности и наоборот: мозговое напряжение (например, после экзаменов и лекций) ослабляет мышечную деятельность; при помощи эргографа он даже измерил это ослабление. Недомогание и изнеможение, которые сопровождают умственную усталость, зависят от того, что головной мозг вынуждается посылать более сильные возбуждения мышцам, чтобы действовать ими. Истощение нервной силы бывает и центральное, и периферическое. Примеров гибели множества выдающихся людей, подавленных чрезмерностью работы, приводить не нужно. Замечаемый в последние десятилетия во всей Европе упадок душевной деятельности, понижение литературы, науки, философии и искусства имеет, по-видимому, тесную связь с общим утомлением образованных классов. Даже если из более свежих народных недр и выйдет талантливый человек, то он попадает в омут чрезмерной работы и, невольно усваивая ее приемы, скоро устает; благороднейшие свойства его души утомляются, и он делается живую машиной, ремесленником науки или искусства. Всякое творчество есть продукт накопленной и бе-

режно исстрачиваемой энергии, нынешние же деятели, которые «жить торопятся и чувствовать спешат», открывают своей энергии сразу все выходы, жгут свечу с обоих концов и сгорают, не давая ни спокойного, ни даже яркого света.

<XXVII>

От народного сознания не могла укрыться страшная тягость городской культуры – плод ее искусственности. Городские виды счастья – комфорт, богатство, слава, власть – не только противны нравственному чувству, не только призрачны, но и чрезмерно дороги: за приобретение их приходится отдавать дьяволу, как в народной легенде, свою душу, свою молодость и свежесть, лучшие соки мозга и сердца. Народ чувствует, что «труждающиеся и обремененные» обременены напрасно, что есть иное «иго», которое «благо»; иное бремя, которое легко. У неиспорченной городом массы есть инстинкт, подсказывающий, что истинное счастье всем и легко доступно. Оно в том, чтобы слиться с природой, довольствоваться малым, не насиловать себя и жить играючи, наслаждаясь красотой мира, превзойти которую цивилизация не может. Счастье – в свежести и аппетите нервов, а аппетит этот у всех одинаково насыщается: только пресыщаемся мы различным образом. Никто не может быть счастливее другого, если не говорить о наслаждениях болезненных и безумных, и всякий здоровый человек может быть счастлив в высшей степени: для этого нужны, как говорит Пушкин, лишь две вещи: «покой и воля». Народ бессознательно тянется к природе, чувствуя, что только она может дать покой и волю. Истинная культура та, которая обеспечивает эти блага, – и их обеспечивает только деревенская культура. Жизнь невозможна без труда, но труд дает только тогда радость, когда он есть творчество, то есть свободная, желанная работа. Свобода возможна лишь в том случае, когда человек не задается большими целями, превышающими его силы. Для полноты счастья человек должен быть властным, а таким он может быть лишь около себя, около своей семьи и маленько-

го хозяйства. Творчество, власть, свобода – синонимы по внутреннему значению – возможны лишь в очень тесных пределах и, переходя эти пределы, теряют свою живую сущность, мертвеют; лично можно повелевать, распоряжаться, создавать только около себя, в горизонте зрения: повеление заочное, как и создание по приказу, чужими руками, уже не дают настоящей радости. Участие отдаленное в общем деле есть всегда мертвое участие. Человек – образ и подобие Творца – должен сам быть творцом своего крошечного мирка, вверенного ему Богом, он должен быть около себя безгранично властным хозяином. Этому основному, вечному условию счастья каждого человека противоречит городская культура, вся основанная на порабощении членов общества друг другу, на взаимном рабстве, называемом «разделением труда».

При «разделении труда» (в его теперешней, крайней мере) каждый делает чужое дело и потребляет чужой труд; счастье делать *свое* дело и для *себя* уже неизвестно. Бросая свое бедное, но полное творчества и власти деревенское хозяйство, мужик идет на фабрику, где его инициатива суживается до нуля, где он сам превращается в инструмент или станок для инструмента. То же делает и образованный человек, прикованный к своему письменному столу или служащий на «месте». Для современного общества, конечно, такое разделение труда необходимо; отдельные люди, сословия, классы должны играть роль специальных частей машины для того, чтобы общество представляло машину. Но я думаю, что чересчур омашиненное общество уже враждебно человеческому благу. Огромное живое чудовище живет своей, для нас загадочной и чуждой жизнью, оно насильственно приспособляет нас к своим целям; как клетки в теле, мы специализируемся в нынешнем обществе до уродливости, совершенно теряя первоначальный тип человека. «Человек» просто, сам для себя живущий и себе доверяющий, уже неизвестен: все мы или чиновники, или доктора, или офицеры, писатели, столяры, сапожники и вне ремесла мы – никто. Высшая организация требует крайней степени разделения физиологического труда между органами и тканями, а это воз-

можно лишь при совершенной специализации клеток. «Но чем специализированнее клетка, – говорят ученые, – чем более одно какое-либо свойство развито насчет остальных, тем значительнее она уклоняется от своего прототипа – зародышевой клетки и тем менее сохраняется в ней жизненная деятельность».

Специальная работа поглощает общую жизнеспособность. Простейшее, одноклеточное существо выполняет все основные нужды без посредства особых органов и потому быстро восстанавливает разрушенные части. Такая клетка почти бессмертна: ее можно крошить, и из каждой частички ее вырастает новый организм, совершенно тождественный с первым. У низших *многоклеточных* животных и у растений начинается специализация клеток и способность восстановления понижается, и, наконец, в животном, где разделение труда клеток всего резче, возобновление разрушенных частей совсем ослабевает: отдельные клетки, приспособленные к мельчайшим целям, утрачивают общую цель жизни: творчество их иссякает, они мертвоют, а с ним мертвоет и все тело. Организм умирает, постепенно превращается в механизм, в машину, все отличие которой от живого тела в том, что она состоит из мертвых частичек, не способных восстанавливаться.

Так объясняется старость и смерть организма. Если общество, выработавшееся в организм, продолжает специализироваться, оно должно знать грозящую ему участь: насилуя своих членов, впивая их души, чтобы создать свою, общество подготавливает себе и им гибель. Таково конечное развитие всех городских культур, начиная с древнего Вавилона. Стихия народная сторонится от этой опасной формы общества, она ищет такой культуры, где общество было бы слабо организовано и не душило живой человеческой личности, где каждый человек имел бы свой маленький престол в жизни, свой более или менее независимый удел. Современная общественность, страдая переразвитием в политике и промышленности, явно стремится к механическому идеалу: она слишком подчиняет человека обществу. Человек не только обмашинивается в своей профессии, но и до крайности запутывается в партийных разделени-

ях: зажатый в той или иной толпе, он может не знать и не любить окружающих, но шелохнуться не может. Человек теряет в сложном обществе всякую свободу, сливая свою волю с некоей общей, ему чуждой. Всего резче выражено это в странах Востока, но и Запад, переживающий после переворота свою вторую юность, стремится к восточному типу культуры. Для свободы личности (коренное условие счастья) нужно, чтобы общество было по возможности просто, чтобы личность создавала общество, а не сама им создавалась. Огромное большинство современных «общественных интересов», требующих действительно крайне сложной организации, явилось искусственно, в силу омертвления личности и потери ею собственного творчества. Вообразите идеальное общество, где человек *жив* душою: там становятся излишними многие самые серьезные общественные функции. Идеальному обществу (например, древним христианам) не нужна войска, так как у добрых людей не может быть врагов, не нужен суд, так как каждый человек сам свой неусыпный судья и первый стремится исправить свою ошибку или грех; в идеальном обществе не нужна та насильственная взаимопомощь, которая осуществляется теперь посредством податей и налогов: каждый истинно живой человек сам спешит на помощь туда, где заметит в ней нужду. В такой маленькой общине, в кругу друзей, без участия государства, строятся приюты, больницы, школы, библиотеки, ибо «у всех одно тело и одна душа». Необходимость крайне сложного и тяжелого общественного организма с целыми архивами законов, предусматривающих, точнее, пытающихся предусмотреть каждый шаг личности, с армиями чиновников, сословиями, корпорациями, дорогими учреждениями – эта необходимость явилась лишь тогда, когда отдельная личность оказалась ненадежной, когда ее власть над собой, ее совесть иссякла. Так как без правды жить нельзя, то люди и создали государство в виде посторонней совести, которая принуждала бы каждого делать то, что он обязан делать по доброй воле. Но в итоге исторической жизни оказалось, что совесть – предмет неотделимый от человека, что никакая внешняя организация не может вполне

заменить ее, раз она исчезла в отдельных людях. Современное государство в наиболее развитых странах Запада оказывается бессильным в своих основных функциях. В верховном святилище законов самой передовой и гордой из культурных стран, где употреблено столько усилий, чтобы закон был лучшею совестью народа, явился человек с динамитной бомбой и бросил ее в законодателей. Никакое государство – до сих пор, по крайней мере, – не в силах вполне обеспечить людям безопасность и оградить их от злой воли друг друга. Поводы и способы зла бесчисленны. Современная культура вооружает злую волю всеми средствами знания, и за всяким злым умыслом уследить нельзя. Да и в какую тюрьму обратилась бы жизнь, если бы к каждому члену общества приставить по полицейскому чину (да и где взять такую армию чинов, которые тоже люди, способные на зло). Поэтому все мудрые правители с глубокой древности знали тщету законов, писанных только на бумаге, а не в сердце человека: они не столько заботились о сочинении и кодификации законов, сколько об улучшении нравов, усилении чувства долга, нравственного сознания в гражданах, о восстановлении в каждой отдельной душе ее совести, ее высшей власти над собою. В подъеме личности, в развитии способности ее управлять собою – цель государственного воспитания; идеал закона – упразднение закона за ненадобностью. Но этот идеал отрицается самою природою городской культуры, где живая душа человека поработана механическому идолу – толпе. Только в деревне, на просторе и в тишине природы, при органическом срастании с землею, при культуре бедной и скромной возможно восстановление души человека и ее власти.

<XXVIII>

Я говорю не о современной русской деревне: она далека, конечно, от типа истинной, живой культуры. Нынешняя деревня – уже не та старинная деревня, которая напоминала библейские времена по простоте и строгости жизни. Разве только в глуши, где-нибудь в раскольничьих селах, в дальних

лесных поселках или в степных станицах, можно встретить еще первобытную чистоту нравов, глубокую религиозность, нравственную дисциплину и поэзию, неизменно сопутствующие целомудренной жизни. Нынешняя деревня большею частью уже отравлена проказою городской культуры, разорена и развращена: в ней, как и в старину, нет еще школы и церкви, но уже есть кабаки или несколько кабаков, часто трактир, есть лавочки с помадой и одеколоном, есть гулящие бабы, живущие от мимолетных связей. Деревенский парень, потолкавшийся несколько лет в Питере или Москве, не признает уже ни постов, ни молитвы («ведь господа умнее нас» – не постятся и не молятся); он, как дед его, не заглядывает в Евангелие, но в кармане его найдется колода карт, а то и пачка скабресных «фотографий». С папироскою в зубах деревенская барышня, прошедшая городскую «образованность», завивает себе капучик на лбу и пытается ходить под зонтиком. Воображение ее засорено пошлостью любовных куплетов, чувство стыдливости, семейности, сладкой мечты о домашнем уголке исчезло: вытравливание плода, сифилис, пьянство среди женщин делаются явлениями слишком частыми.

На этом, как ни больно, стоит остановиться, чтобы уразуметь зловещее значение городской культуры для счастья. Нога в ногу с разорением русской природы, с истреблением широкошумных, величественных лесов с их пернатыми хорами шло и разорение души народной: истребление хотя и дремучих, темных, но полных живой поэзии обычаев и настроений. Конечно, в чаще лесной водились дикие звери, иногда огромные и страшные; с истреблением лесов исчезли и эти великаны, но зато невероятно размножились еще более вредные, хотя и мелкие насекомые. С истреблением народных суеверий, то есть, точнее, народной поэзии, до известной степени смягчились нравы: слишком буйные и грозные характеры повыродились – для прежнего разбойничества, например, уже не найдешь натур, но крупно-жестокие нравы сменились мелочно-жестокими. Быть может, если продолжить сравнение, вместе со старинным народным мирозерцанием исчезли не

только крупные пороки, но и крупные добродетели, как вместе с медведями исчезли и крупные мирные животные. Несомненно, в старину водились сильные характеры, самоотверженные, героические, стоит вспомнить раскол или казачество. Нынче о таких характерах что-то мало слышно: при теперешней сравнительной гласности они сейчас же обнаруживались бы. Гораздо заметнее нравственное народное измельчание, может быть, только временное. Уж слишком заметно много в народе слабых, неустойчивых, быстро поддающихся пьянству и распутству, слишком горячий порыв к дешевой городской роскоши, слишком поспешная готовность расстаться с верой прадедов и променять ее на веселенькое безверие. Крестьянская молодежь без сожаления покидает не только древнюю одежду, утварь, тип жилищ и т. п., но и древнюю поэзию, древний язык; уже никто не скажет больше, как при Петре: «Режь мою голову, не дам мою бороду»; современный молодой крестьянин только и мечтает, что о ливрее швейцара или фраке лакея. Вот это, мне кажется, очень печальные признаки: признаки психического вырождения, разваливания характеров. Как бы ни было дико и мрачно свое родное (а в нашем *народе* оно вовсе не было так уж дико и так мрачно), все же сильная душа крепко любит это родное и дешево не продаст его: продаст за что-нибудь великое, а не за лакейскую ливрею. Сильная душа, восчувствовавшая грехи родины – свои грехи, – начинает их страстно ненавидеть, то есть любить униженный грехами идеал, и эта любовь-ненависть выражается в каком-либо новом, могучем явлении. У нас этого незаметно: большая часть крестьянства жадно поддается соблазну; как дикари за бусы и водку, мужики и бабы готовы продать все самое заветное. Есть, конечно, и сильные, устойчивые натуры (даже в большем числе, нежели среди интеллигенции), но и они огажены городским влиянием. Вместо того чтобы «силу всю души великую» направить на какое-нибудь благородное, святое дело, на спасение слабых, на устройство лучшей жизни, деревенские сильные люди почти поголовно превращаются в мироедов, кулаков, доканчивающих гибель погибающих. Все эти сильные, часто с неукроти-

мой энергией, имеют разоренную совесть и уже тянутся к городам, к социальной и политической власти, к суете и порокам горожан. Мироед – потомственный мужик – ненавидит свое мужицкое происхождение и презирает народ; он готов предать его за один палец руки, протянутой городом.

<XXIX>

Разорение старой души народной идет нога в ногу со стремительным ростом городов и развитием сообщений. Просто-народье всюду, вследствие безземелья и воинской повинности, вынуждено или переселяться в города, или проходить через них почти всюю массою молодежи. Целые армии рабочих, плотников, каменщиков, штукатуров, маляров, извозчиков, разносчиков, дворников, лакеев, купцов, приказчиков, кухарок, нянек, горничных, швей и пр., и пр. вынуждены проживать в городах более или менее продолжительный срок. Почти три четверти населения столиц – крестьяне. Свежая кровь народная притекает к городам, неся с собою кислород лесов, и в городских подвалах и чердаках разлагается, насыщается душевной грязью и в виде мутного, венозного потока возвращается в деревню, неся заразу порочных привычек, пьянства, сифилиса в самое сердце природы. Чем встречает город деревенского варвара, патриархального и простодушного? В лучшем случае его ожидает фабрика и казарма – два народных «института», две школы, ужасно дорого обходящихся народу. Еще казарма менее опасна: проникнутый дисциплиной строй казарменной жизни имеет над собою нравственный надзор; самый труд казарменный – непрерывная гимнастика на свежем воздухе – сравнительно безвреден. В общем, на многие неустойчивые натуры правильный солдатский режим действует иногда укрепляюще. Но все же огромное, искусственное скопление молодежи, едва вышедшей из юношеского возраста, в опасном периоде полового созревания, молодежи, не установившейся, не имеющей жизненного опыта, повергает ее всей свободе порока вне казармы. Утомительная монотонная служба, отвычка от производи-

тельной работы, тоска по родине и новизна впечатлений тянут солдата за стены казармы, и тут его, как и рабочего, принимают в объятия кабаки и притоны. Город прикасается к деревенской эмиграции не университетами, не библиотеками, не музеями, а кабаками да публичными домами: до сих пор иных народных развлечений почти не существует. Даже единственные доступные народу нравственные учреждения – храмы – закрыты именно в то время, когда солдат или рабочий гуляют, тогда как десятки и сотни опьяняющих и других вертепов открыты. Через эту школу подонков, последними курсами которой нередко является участок, острог, сифилитическая больница, проходит огромное большинство народной молодежи, стремящейся в город, как в какую-то Колхиду. Для развращения народа сама собою сложилась прочная и стройная система «учреждений», самая могущественная коммерческая организация, дающая обороты на многие сотни миллионов рублей в год (ежедневно русский народ пропивает, по крайней мере, по миллиону рублей), тогда как организация просветительных и нравственных учреждений едва в зародыше и развивается крайне медленно. Но если бы каким-нибудь чудом и появились эти добрые учреждения, они принесли бы немного пользы: в самом существовании городской работы и черной, и интеллигентской лежит разлагающее начало. Отхожие промыслы, о развитии которых так ратуют иные публицисты, явление опасное для народной жизни. Они систематически развращают население, расстраивают ткань семейной, патриархальной культуры, создают бродячий, деморализованный класс, потерявший под собой почву. Фабрики, где пристроился этот класс, давно признаны как центры гниения народа: около фабрик уже и теперь, едва лишь мы вступили в фабричный период, народ начинает вырождаться, давая поколения чахлые, больные, зараженные сифилисом, алкоголизмом, страдающие переутомлением. Несомненно, что мы не застрахованы ни в малой степени от тех социальных затруднений, какие выдвигает на Западе рабочий вопрос; ведь у нас столько приложено труда, начиная с Петра I, для насаждения промышленности и капитализма. Запад несравненно

сильнее нас, но и его жизнь донельзя расстроена торжеством городской культуры, крайней социальной неравномерности, отсутствием общественного равновесия. Города превратились в какие-то чудовищные пирамиды богатства, но, как пирамиды, они требуют египетской работы целых поколений и в конце концов являются могилами своих владельцев.

<XXX>

Нынче столько говорят об анархии, трепещут этого нового дракона, выползающего из городских подземелий. И я думаю, что на Западе нет явления более страшного по своей злобе и безумию. Гордый и роскошный Запад, помешанный на своем величии, вдруг видит под своими ногами разверзающийся ад. Тупые буржуазные публицисты не теряют надежды, что анархия – не больше как секта, временное наваждение, и достаточно против бомбы выставить гильотину, чтобы кошмар скрылся. Но, я думаю, это понимание грядущего ужаса – слишком мелкое. На самом деле явление анархии гораздо серьезнее и гнездится глубже, чем кажется; она – не кожная сыпь, а «конституционная болезнь» всего западного строя, всей городской разошедшейся с природою культурой. Анархия как разрушение элементарных *основ*: свободы, собственности, семьи, общественности, веры в Бога – кроется в *самой формуле* жизни Запада. Человек (в крайнем развитии этой формулы) превращается в машину, в фабричного раба, народ – в стадо бездомных нищих.

В самом деле, какая же у парижского, например, рабочего «семья»? Не выше, чем у обезьян, и даже ниже. Каждая обезьяна у себя в лесу в состоянии иметь детей, ощущать лучшую на свете радость – возиться с крошечными существами, так забавно на нее похожими. Рабочий «конца века» очень часто уже лишен этой радости: вместо жены у него проститутка, детей не полагается, или они забрасываются в воспитательные дома. А если и не забрасываются, то гниют в подвалах замороженные, желтые. Гуляя по тротуару, загляните в низенькие

оконца вровень с мостовой: часто вы увидите там крохотную детскую головку у ваших ног, тянущуюся к свету, как жалкий бледный отросточек; над этой грязной и больной головкой поднимается громада пяти этажей, как бы придавливающая всю тяжестью это маленькое существо. «Семья» в подвале, семья в углу, теснящаяся около одной грязной кровати... «К коечнику, – рассказывает один наблюдатель дома, где ютится голь, – к коечнику зачастую приходит ночевать жена, или женщину, снимающую ничем не отгороженный, не завешенный угол, навещает ее сожитель. Беременная родит тут же, на глазах всех, при самой суровой обстановке. На работу она ходит почти до самых родов; докторская, акушерская помощь ей совершенно недоступна... И в этой трущобе одних детей живет около 240». Возможна ли при таких условиях жизни семья, эта крепчайшая из основ общества?

Не в лучшем положении и другие *основы*, например собственность. Какая у рабочего собственность? То, что он делает, все сплошь чужое, как и то, что он ест. Предок этого раба, крестьянин на земле, хотя бы самый бедный, имел недвижимое хозяйство, имел маленькую территорию, где пользовался самодержавными правами: сам создавал для себя законы труда и добровольно их выполнял, сам решал судьбу своего крохотного царства, и, имея свое поле, хату, колодец, лошадей, скот, бороны, сохи – все *свое* и самим созданное, этот бедняк чувствовал себя владетельной особой, «воеводой на своем огороде», по польской пословице. Не то фабричный, у которого все чужое: огород, где он живет, фабрика, станок, сверло, материал для работы, цель работы, рисунок, план, количество и качество его – все постороннее, не им выбранное, ему лично немилое и ненужное. Он делает, что прикажут и как прикажут, и труд его тотчас же исчезает у него из глаз навсегда. Живет рабочий не «дома» (где он, этот «отчий дом», предание старой поэзии?), а живет на «квартире», то есть в чужом помещении, где он не смеет вбить лишнего гвоздя и откуда его могут завтра выселить. Даже птица имеет *свое* гнездо, зверь – *свою* нору, рабочий же не знает, что такое *свое* жилище; ему и в отдален-

ной степени незнакомо счастье чувствовать себя в *своей* хате, гордость англичанина, говорящего: «My house – my castle»*. Вся обстановка, утварь и одежда рабочего приготовлены не им самим, как бывало когда-то в деревне, и хотя он их потребляет, но уже не чувствует той душевной близости к ним, как человек, сам для себя сотворивший эти вещи или видевший их создание руками милых и близких существ: жены, ткавшей полотно, дочери, прявшей нити для полотна, и т. д. Инстинкт собственности в его чистой, благородной форме доступен только человеку, выделяющему предметы собственности для себя, а не покупающему их за деньги, человеку, который сам задумал бытие вещи, сам собрал нужные элементы ее и вдунул часть своего духа в бесформенный хаос. Кусок хлеба из ржи, которую сам засеял, сжал, сvez, обмолотил, смолотил, испек, кажется совсем не тем, как если купить его в лавочке, и сапоги, сшитые самим, – не то, что купленные в магазине, и книга, написанная самим, – не то, что купленная за деньги, и пьеса, сыгранная самим, – не то, что услышанная из чужих рук. Только та вещь истинно *своя*, в которую вложена часть самого себя, купить же такой вещи нельзя. Городские классы – и рабочие, и иные (в сущности, все рабочие) – сами не производят вещей для себя и не испытывают счастья настоящей собственности. Их чувство владения вещью холодно, не родственно, бессердечно; оно, в сущности, безнравственно, как всякая холодная связь. По этой причине городской человек равнодушно меняет одну износившуюся вещь на другую, меняет квартиру, одежду, мебель и т. п., хотя бы они были роскошны сами по себе, тогда как мужику сердечно жаль своей курной избы, хотя бы и с ее сажей и тараканами; он сам или отец его построил хату, вырубил лавки и полати, сложил печь; он вырос в хате, как *своей*, и она сделалась частью его существования. Вот это чувство собственности настоящее, как одна из *основ* счастья, и его лишен человек городской культуры.

В условиях городской культуры отмирает и сама *общественность*. Истинная общественность есть живое, дружеское,

* Мой дом – моя крепость (англ.). – В. Т.

свободное общение членов данной группы, где каждый – *par inter pares*^{*}, где все основано на внутреннем, ненасильственном согласии. Деревенские культуры, о которых я упомянул, некоторые религиозные общины, колонии и т. п., наконец, наша сельская община, где она не испорчена, давали образцы истинной общественности. Не то в городской культуре с ее общественным переразвитием и порабощением отдельных членов. Живая общественность держится на нравственном единении, а городская жизнь ведет к нравственному разрыву: возможна ли любовь, где все основано на конкуренции, где связью служит кредитный знак? В городе нет взаимного обмена услуг, а есть обмен лишь денег, без всякого признака душевного проникновения в интересы друг друга. Городская жизнь развивает страшный эгоизм, жажду наживы, которая и в отдельных людях, и в целых сословиях, и даже в народах, где город возобладал, – переходит в манию. Так пастушеские племена Ханаана, выселившись к морю, в города, превратились в торговый народ, который, как и все торговые народы, жил недолго.

Не в меньшей мере городская культура истощает и умственную силу расы, как я уже заметил выше. Городские классы потому лишь кажутся умнее деревенских, что они – сливки из народа и доживают остатки своей деревенской интеллигентности. На самом же деле городская мертвая, монотонная суэта убийственно действует на душу и держит горожанина в грубейшем невежестве относительно мировой жизни. Даже дикарь работает мозгом больше, чем фабричный или мелкий конторщик. Дикарю, чтобы обеспечить себе дневное пропитание, необходимо постоянно напрягать все свое внимание, изощрять изобретательность, хитрость, ловкость. То же и земледelec: несмотря на кажущуюся простоту его труда, он вынужден постоянно упражнять свое соображение, причем над ним действует непрерывный контроль природы: каждая неверная мысль тотчас же сказывается очевидною ошибкой, которая непременно должна быть исправлена; огромное преимущество, например, перед «интеллигентной» работой, где не-

* Равный среди равных (лат.). – В. Т.

верная мысль или даже их нагромождение не имеют реальной проверки, так что иногда чудовищный результат трудно опровергнуть: он логичен. Постоянный надзор природы над мыслью варвара заставляет его быть рассудительным и трезвым и приучает употреблять в дело только зрелые, надежные соображения, согласованные с натурою вещей. Вот этого-то разнообразия мозговой деятельности, разносторонней гимнастики духа и нет в условиях городской работы: именно самые-то дорогие, творческие способности и не упражняются, а практикуется какая-либо одна, механическая. Чтобы обтачивать винтик или переписывать бумагу, нужно меньше ума, чем у обезьяны, и весь избыток души за ненужностью отмирает.

Перейдем к высочайшей *основе* счастья: вере в Бога. Я совсем не понимаю полного безверия, которым хвастают на Западе (и у нас) миллионы людей, и хвастают едва ли искренне. Я допускаю сомнение в том или ином культе, в способах богообщения, но навсегда отречься от самой надежды на Мировой Смысл, этого я не могу вместить. Я думаю, что истинная вера, самим человеком из недр души своей созданная, составляет завершение земного счастья, преобразование личной жизни во всеобщую, вечную. Обеспечено ли это высшее благо в городской культуре? Вера в Бога может держаться лишь там, где человек не покидает великого храма Божьего – Природы, где он всегда находится в обаянии неразгаданных чудес, в наитии вечных картин ее; вера крепка лишь там, где в судьбу человека входят воля солнца, неба, воды и ветра, жизнь животных и растений, участие всех стихий и тайн мира. Вера в Бога возможна лишь там, где человек прикасается к Нему ежемгновенно, где человек духовно могуч, свободен и равен окружающим братьям, где он в силу собственности не раб, где он, как библейский патриарх, чувствует себя достойным говорить с Богом. Вера – явление деревенское; все истинные религии зародились в деревне, в пустынях, в недрах простого, неиспорченного народа: в городах процветали только развратные культы и в них даже истинные религии теряли свою первобытную чистоту, мертвели. В деревне живая душа полна веры, как бы льющей-

ся с неба, не то на фабриках, среди городских, пыльных улиц, многоэтажных домов и леса дымовых труб. Рабочий никогда не видит ни солнца, ни звезд, ни молнии, не слышит ветра, не слышит даже громов небесных за грохотом машин. Он видит кругом себя только стены и станки, станки и стены... Религиозное чувство не может воспитываться среди лязга и шума машин, на крошечном однообразном, как смерть, деле, на обтачивании булавочной головки или нарезе винтика. Земледелец – тот окружен бесконечным разнообразием жизни, целыми хорами явлений, сливающихся в общий гимн. Крестьянин у своей сохи каждую минуту может пасть на землю, как во храме, пред голубою, сверкающею вечностью и вознестись душою к Господу. Природа располагает к молитве, не то фабрика, напоминающая ад с его огнем и грохотом. Парижский рабочий живет без Бога: Провидение для него – хозяин завода, молиться приходится старшему мастеру и ставить ему – не свечи, а стаканы водки. Человек на фабрике – весь в руках человека, который весь в руках своего старшего, и т. д., вплоть до главного хозяина, который весь в руках рынка или биржи, существа слепого и жадного и, как все мертвое, – неумолимого. Все поставлены в железную зависимость друг от друга, а не от Высшей воли. Эта крайняя связанность человека с человеком, лишая всех свободы, лишает и веры, делающейся излишней.

Вы видите, что в самом существе городской культуры лежат влияния, подтачивающие «собственность», «семью», «веру», все *основы* истинного общества. Опасны безумцы, вооруженные бомбами, но еще опаснее жизнь, их плодящая; не Равашולי⁴¹ анархизируют западное общество, а оно их анархизирует. Несомненно, сама западная культура – торгашеская, хищническая, помешанная на наживе, подтачивает основы вечного порядка жизни, вводит социальный хаос, ведущий к переутомлению и вырождению целых классов общества – низших и высших одинаково. Сознание гибельности некоторых сторон этой культуры уже пробуждается, и на нее указывают многие серьезные мыслители. Необходимо всем людям вникнуть в этот роковой процесс, который истощает самую почву

счастья. Городская цивилизация еще все растет, но кризис уже недалек: «близятся сроки», дальше которых не может идти разрушительная работа. В острой болезни современного человечества должна наступить реакция. Я глубоко верю в то, что когда-нибудь – и не в отдаленном будущем – в изнуренном человечестве среди каменных стен загорится жгучая тоска по природе, покинутой когда-то матери, вспыхнет влечение к незапятнанному дымом небу, к зеленому приволью полей, к божественной тишине той природы, где когда-то совершилось зачатие человека. Вся суэта человеческого творения мира покажется жалкой перед вечным творчеством Бога. Постепенно, захватывая лучшие умы и сердца, возникает поворот к старой, истинной, *деревенской цивилизации*, конечно, с новым содержанием ее, но на древних началах, которые даны от века. Самые важные и святые права и тела, и души требуют этого поворота, и я думаю, что это грядущее движение как героическое будет полно дивной поэзии. Оно будет предвестием наступления царства правды, нам обещанного.

Цивилизация

<XXXI>

Мысль, что истинная цивилизация возможна только в деревне, многим покажется странной. Какая в деревне цивилизация! В этой «цивилизации» вы потонете среди улицы, а в избе вас заедят насекомые; эта цивилизация накормит вас хлебом из березовой коры и напоит сивухой; она – если нас тиф схватит – вам горшок накинёт на живот и отправит долечиваться *ad patres**. Ехать в деревню – значит не искать цивилизации, а отказаться от нее – отказаться от всего, что с таким трудом и долгими веками завоевано человечеством: от комфорта, где в каждую складку мебели, в каждый рисунок паркета вложен столетиями накопленный вкус, отказаться от теплоты и света, от сытости и досуга, от наслаждения науками и искусствами.

* К праотцам (лат.). – В. Т.

Ехать из городов, где сосредоточены драгоценные галереи, библиотеки, музеи, оперы, театры, школы, где душа человека вооружена всемогущими средствами знания и чувства... Нет! Это было бы изгнанием себя из цивилизации, добровольною ссылкой в пустыню...

Так обыкновенно рассуждают образованные люди, и рассуждают неверно. Ехать в деревню вовсе не значит обречь себя ее теперешней крайней нищете, ее невежеству и грубости. Не только самый скромный достаток, но даже бедность избавляет нас и от грязи среди улицы, и от насекомых в избе, и от пушного хлеба. Нищета есть вовсе не органическое, а случайное явление деревни, она есть следствие нарушения естественного строя деревенской жизни городскими воздействиями. Поглядите, как зажиточны и опрятны немецкие, голландские, швейцарские деревни или хотя бы наши сибирские села, до которых город еще не дошел, или селения колонистов, которые он обошел. Естественное состояние деревни – зажиточность, никогда не переходящая ни в нищету, ни в богатство: богатства и не нужно, чтобы жить вполне комфортабельной жизнью. Я думаю, комфорт – это не только тротуары, мягкие диваны, газ, водопровод и т. п., и если комфорт даже это только, то ведь и в деревнях все это возможно, и даже все это есть в зажиточных заграничных деревнях: там местами вы встретите в деревне и телеграф, и телефон, и электрическое освещение при помощи силы соседнего водопеда, и почтовую контору, и магазины. Есть в Америке деревни даже со своею газетой. Все, что в городе есть ценного, доступно и в деревне, но в деревне, сверх того, есть удобства, недостижимые в городе. Чистый воздух – океан кислорода, льющегося вам в грудь, – разве это не комфорт? Отсутствие шума на улице, ласкающая тишина садов и полей – разве это не комфорт? Простота жизни, возможность одеваться как угодно, не оскорбляя ничьего глаза, – разве это не удобство? Переберите обстановку, одежду, пищу – все основные условия гигиены, и вы увидите, что в деревне несравненно легче их осуществить, а иные в деревне только и возможны.

Необходимейшее из условий комфорта – опрятность – в деревне еще доступнее, нежели в городе; комнату какого-нибудь школьного учителя с его простою мебелью можно освежить в четверть часа так, что в ней не будет и пылинки, а чего стоит выгнать пыль и моль из дорогих квартир, обитых гобеленами или штофом, с их тяжелыми коврами, мягкими диванами, бархатными драпировками, картинами в фигурных рамах, статуями, статуэтками, вазами, цветами! Как ни трудятся лакеи, каждое утро вытирая, метя, выколачивая, проветривая эти жилища, – они, как склепы, полны пыли и затхлого воздуха; дорогие материи и вещи – а в таких квартирах все вещи – художественные произведения – нельзя мыть еженедельно, как ситцевые чехлы в квартире священника: вычистить эти вещи – часто значит их испортить. То же и с пищей: в деревне несравненно легче, чем в городе, иметь свежую, не подделанную пищу, если, конечно, поселиться в деревне оседло и завести правильное хозяйство. Тому, кто приезжает в деревню в качестве *чужого* ей и праздного человека, – тому жить, конечно, труднее.

Деревенская цивилизация отличается тем, что состоит из благ немногих, но необходимых и легко доступных, тогда как городская состоит из множества благ искусственных, условных, ненужных и доступных лишь с большим трудом. Роскошная лампа в городе стоит годового заработка рабочего, но солнце в деревне светит даром (не то в городе с квартирами на «солнечной стороне»). Роскошная картина стоит бюджета всей жизни крестьянина, но крестьянин имеет еще более роскошные картины – в самой природе даром. Утонченный обед с дорогими винами, заморскими фруктами и пр. доступен очень немногим – в деревне же хлеб и вода доступны всем (пока город не вырывает и их у бедняка). Флакон духов с наперсток величиной стоит целой десятины, но все благоухания весны, вся чистота атмосферы даются крестьянину даром. Чего стоит приобрести горожанину такие блага, как богатство, известность, титул и т. п.! Лишь немногие ценою часто жизни достигают этих «благ» – мужику же даром дает-

ся высшее из званий – *человеческое*. Жизнь в деревне – пока ее не коснется город – естественно обеспечена во всем необходимым и свободна от ненужного.

– А красоту обстановки вы ни во что не цените? – возразят мне. – Например, картину Макарта⁴² на стене или какой-нибудь причудливый и драгоценный фонарь, привезенный с Востока?

Я лично, действительно, мало ценю подобную «красоту»: к ней очень быстро привыкаешь и затем уже не замечаешь ее. Но что же нам говорить о красоте обстановки; ведь бедный человек и в городе лишен картин Макарта, а те, кто питает манию к ненужным вещам и имеют средства, – заведут, конечно, их и в деревне. Богатые усадьбы наши хотя и стоят среди гнилых избышек, крытых соломой, но убраны не хуже дворцов. Пусть бы говорили о наслаждениях роскоши, наук и искусств люди наследственно праздные, огромное же большинство интеллигенции и в городе не пользуются этими наслаждениями: не на что и некогда. Опера, театр – многие ли наслаждаются ими? Для этого нужны значительные средства и свободное время; нужно часто посещать театры и сидеть в дорогих местах, нужно изучать искусства и т. д. Те образованные люди, которые имеют непритворную страсть к искусствам, конечно, и при скромных средствах в городе удовлетворяют эту страсть, но таких людей крайне мало, и они могут при тех же средствах и в деревне насыщать себя искусствами.

Разве в деревенской образованной семье и теперь не занимаются музыкой, не рисуют, не устраивают спектаклей? Домашние спектакли нельзя давать часто, но тем они интереснее. При удаче домашний спектакль дает ничуть не меньше удовольствия, чем настоящая сцена. А если вы сами участвуете в игре, то никакой театр не даст вам подобной радости.

– В деревне невозможны великие артисты, – возразят мне.

Правда, но *великие* артисты – крайняя редкость и в городах: даже в столицах они большая редкость, и часто целые десятилетия протекают для сцены в каких-то сумерках, не освещенные ни одним ярким талантом. Надо заметить, что для большинства небогатой интеллигенции великие артисты и в

городах недоступны. Все ли петербуржцы слушали хоть раз Мазини⁴³? Большинство слушали его раз-два, то есть все равно что вовсе его не слушали. Великие артисты мало доступны не только для кармана, но и для души среднеобразованного человека. Смотреть на них гонит не притяжение таланта, а чаще всего любопытство и тщеславие, возможность сказать в обществе: «Мы слушали Мазини».

Огромное большинство городской интеллигенции хотя и толкуют о наслаждениях искусства и науки, говорят неправду: на самом деле большинство совершенно равнодушно к «сокровищам цивилизации», находящимся около них. Начнем с науки: многих ли вы встречали петербуржцев, изучающих, например, химию в часы досуга из любви к ней? А изучать ее очень удобно в Петербурге: здесь живут знаменитые химики, есть прекрасные лаборатории, химические и механические лавки, химическая литература и т. д. Видали ли вы любителей математики, истории, права – любой науки, кроме «науки страсти нежной, которую воспел Назон»? Если и видали, то до такой степени редко, что не стоит и упоминать об этом. Огромное большинство интеллигенции ничего общего не имеют с «наслаждениями науки»; насильственная школа на всю жизнь внушает отвращение к знанию, как к скучной суши, и весь досуг в городах тратится исключительно на игру в винт, на «светские развлечения» и лишь изредка – на чтение дрянной беллетристики. Нигде так мало не читают, как в столицах; кроме специальных книжников, «штудирующих» книжки по обязанности, огромное большинство довольствуются газетами, и преимущественно – бульварными. Толстые журналы, серьезные книги – их обыкновенно только перелистывают или читают уже очень изблюбленных авторов; прочесть журнал или книгу от доски до доски, как бывает часто в провинции, – целое событие для петербуржца. Настоящие, заправские читатели – и теперь деревенские читатели, это вам скажут в любой редакции или книжном складе. Чтобы читать, нужен досуг, уединение, тишина, отсутствие иных развлече-

* Пушкин А. С. Евгений Онегин. – В. Т.

ний – именно то, что есть в деревне и чего нет в городе. Городской человек вечно занят, постоянно окружен обществом и шумом, тысячи новостей раздвигают его внимание и держат в рассеянии: где тут сосредоточиться на серьезной книге! Если и соберешься прочесть ее, чтение выходит болезненное, торопливое, похожее на спешно проглатываемый обед на станции в ожидании третьего звонка. Зайдите в публичную библиотеку, она редко бывает полна, – вы поразитесь, как мало столичная интеллигенция пользуется ее даровыми сокровищами. Сидят здесь все больше провинциалы, студенты, студентки, молодые ученые да писатели, учащиеся офицеры – народ, не «наслаждающийся» наукой, а работающий, «готовящийся». Встретить какого-нибудь купца или чиновника в часы досуга за редкой книгой почти невозможно. Огромные, еще не вполне разобранные драгоценные отделы библиотеки совершенно пустуют; ими решительно никто не пользуется, кроме крайне редких и случайных посетителей из «готовящихся» ученых. Не менее пустуют и богатые специальные библиотеки при некоторых министерствах: если бы злой волшебник перенес потихоньку все эти ученые хранилища в Камчатку, петербургская интеллигенция не хватилась бы их целые годы... Столь же пустуют и музеи, и даже картинные галереи. Еще в Зоологический музей ходят кое-кто (преимущественно кухарки) поглядеть уродов, в специально же научные музеи почти никто не заглядывает, да они так и устроены, что о существовании их мало кто подозревает. Впрочем, какой же интерес и ходить в музеи, раз с науками, которым они служат иллюстрацией, не имеешь ничего общего? Музей – та же заграница, которой языка не понимаешь: это тело, почти лишенное для нас души. Казалось бы, художественные коллекции должны привлекать много зрителей, однако и они пустуют. Вы можете встретить образованных людей, живущих в Петербурге долгие годы и *ни разу* не бывавших в Эрмитаже; большинство были раз-два, то есть хуже, чем если бы вовсе не были там, так как вместо отсутствия всякого понятия об Эрмитаже они вынесли из него неверное понятие. Изучить музей – для этого потребны целые месяцы, если не

годы, а одно-два посещения дают хаос в голове и головную боль. Другой «Эрмитаж» – загородный ресторан – видит в своих стенах в десятки раз больше образованных людей, чем создание Екатерины II. **Вообще, сокровища искусства в городах** являются громкой фразой, самообманом. Жители столиц столь же легко обходятся без наук и искусств, как и жители губернских городов, где нет ни университетов, ни лабораторий, ни музеев. И это не только у нас, а и во всем свете. Провинциал стремится в столицу, воображая встретить невесть какие чудеса; по приезде он быстро их объезжает и успокаивается. На самом деле он ничего не увидел и не узнал, кроме того разве, что и узнавать-то ему было нечего. Чудеса чаруют не всех, а лишь тех, кто способны очаровываться всем и всюду, – тех, кто встречает чудеса и в глухой деревне. Науки и искусства влекут к себе заурядных людей лишь издалека: вблизи для обыденного, внешнего зрения все совершенно просто и неинтересно. Сторож сметает пыль с Венеры Милосской столь же равнодушно, как подметает пол. Горожане – эти своего рода сторожа сокровищ цивилизации – плохо пользуются ими не потому, что добра себе не желают, а потому, что на самом деле сокровища им не нужны; не в силах утолить духовной жажды, так как ее и нет вовсе. Чтобы «наслаждаться» как наукой, так и искусством, нужны не они сами, а потребность в них; и совершенно невежественный человек, раз он имеет эту потребность, наслаждается и наукой, и искусством хотя бы среди лесов, имея в своем распоряжении лишь глаза и уши, – наслаждается более, чем лишенный этой потребности профессор среди библиотек и музеев. Наслаждение умственное требует собственного творчества, и без него невозможно.

XXXII

Обширные музеи, библиотеки, галереи, эти пакгаузы науки и искусства, сами по себе дают столь же ограниченное счастье, как и обширные склады, например пищевых продуктов для человека, чувствующего голод. Громаднейшие запасы

пищи нужны голодному не больше, чем три фунта ее. Тот же самый закон действует и в области психического аппетита: для здорового насыщения в обоих случаях нужно немного пищи, причем пригодна пища самая простая, и даже простая есть самая здоровая. Что-то неестественное и странное чувствуется в этих огромных коллекциях, какою-то чуждою вам волею собранных; вы всегда теряетесь среди них, всегда измучиваетесь в желании овладеть этой массой сокровищ, и всегда они вас одолевают. Один вид этого страшного излишества пресыщает; уже достаточно взглянуть на бесконечную анфиладу комнат, заставленных редкими предметами искусства или книгами, чтобы почувствовать переутомление. Вы идете в склад искусства или науки с творческим вниманием, имеющим ограниченную вместимость, а тут в него вторгается целый вихрь впечатлений, сырых, требующих переработки. Даже медленное, систематическое изучение этих сокровищ не проходит бесследно: большинство библиотекарей, ученых, архивариусов, консерваторов музеев имеют характерный вид людей рутинных, как бы пришибленных; их личное творчество залито потопом чужих знаний, влаги благотворной, но лишь в некотором ограниченном количестве, как вода для семян в почке. Поэтому слишком большие хранилища науки и искусства в столицах вовсе не составляют преимущества культурной жизни. Всякие коллекции только тогда имеют смысл, когда собраны вами самими, и в этом случае даже маленький подбор мыслей, фактов, предметов природы или искусства дает несравненно больше счастья и больше пользы, чем огромное скопище тех же вещей, но не вами собранных. Когда вы собираете коллекцию сами, вы влагаете в нее свое творчество, свой замысел; каждый цветок или минерал напоминают вам счастливый час их находки. Собирая такие маленькие домашние коллекции во время прогулок с детьми или с друзьями, вы учитесь, мыслите и живете с природой и все идейное содержание коллекций внедряете в себя. Каждая деревенская семья может иметь свой небольшой музей как память о своей научной жизни, как повторительную школу для освежения знаний. Эти маленькие музеи связаны с

вами органически и живут с вами, тогда как огромные склады чужих вещей для вас мертвы и чужды. Конечно, живя в деревне, трудно подобрать, например, коллекцию старых монет, почтовых марок всего света или коллекцию мундштуков, но что касается вещей не столь нелепых, действительно научных или художественных, – их не только не трудно собирать в деревне, но даже легче, чем в городе. Попробуйте собрать, живя в городе, гербарий, подбор минералов, насекомых и т. п. Вам придется ехать для этого в деревню. Что касается коллекций искусства, то если у вас есть средства, эти коллекции и в деревне столь же возможны, как и в городе, но, я думаю, они не нужны ни там, ни здесь. Великие произведения дóроги, что касается посредственных картин и статуй, то они – если есть потребность – должны производиться в каждой семье. Мы привыкли думать, что науки и искусства доступны только особым «жрецам» и что только «жрецы» могут нас снабжать своим пониманием природы. Это самое печальное суеверие. Каждый средний человек способен написать недурную картину, вылепить статую и т. п. Если он не умеет, пусть поучится. В ряду поколений могут встретиться и настоящие таланты. Образчики этого семейного мастерства, картины отца или деда, статуэтки сестры или матери имели бы для семьи кроме художественной и иную ценность – как память о жизни милых родных, как образ родной природы, отразившийся в их душе.

Богачи-любители, собирая коллекции лучших образцов искусства и запирая их в недоступные ни для кого галереи, в сущности, похищают эти перлы у общества, извлекают из народного обращения умственный капитал. Заточенные, никем кроме сторожей невидимые, никому не дающие счастья великие произведения заживо похоронены; они реально не существуют для общества. Художники, к сожалению, охотно подвергают своих детищ этой своего рода «политической смерти»: они не только продают свои лучшие вещи коллекционерам, но еще прославляют их как своих меценатов. Немногие из них догадываются, что эти меценаты – сущие истребители искусства. Какой-нибудь архимиллионер в состоянии скупить

работу всех гениев своего века и запереть под замок, как делали когда-то папы в Ватиканском музее. Целые столетия, целые поколения сменяли одни другие, не подозревая о существовании сокровищ, точно засыпанных пеплом Везувия. Только немногие коллекционеры чувствуют жестокость подобного «покровительства» и в конце концов передают свои сокровища в общественное достояние. Но даже и в этих редких случаях искусство продолжает быть в плену: единоличного хозяина галереи сменяет хозяин-город, определенное место, к которому музей привязан. Открытая для публики московская галерея все равно недоступна для всех городов и весей, кроме Москвы. Предположите, что идеал коллекционеров будет достигнут, и все произведения искусства будут собраны в одно место. Весь мир сразу окажется ограбленным в отношении художественных вещей и превратится в пустыню искусства. Толща народная не может протекать через один или несколько центров, так что отворяйте двери музеев и библиотек настежь – все равно в них пойдут только местные жители. Скопления художественных сокровищ подобны скоплениям золота в подвалах капиталистов – весь остальной народ неизбежно беднеет. Галереи – такой же продукт человеческой жадности и тщеславия, как и громадные капиталы, латифундии и т. п. Подобно всякому имуществу, искусства и науки должны распределяться равномерно и обращаться в массах, не застываясь в одних руках. Вместо одной колоссальной библиотеки или галереи было бы полезнее иметь сотню маленьких в разных частях страны. Известный музей в Петербурге обладает, например, богатою коллекцией фламандской школы: картин этой школы так много, что каждый живописец представлен в целом ряде произведений, повторяя самого себя. Скучно глядеть на эти бесчисленные, похожие друг на друга (в манере письма) картины, а между тем в сотнях других городов России не найдется ни одного Рембрандта⁴⁴. То же с новейшими художниками: что бы ни написал Айвазовский⁴⁵ или Репин⁴⁶, тотчас является меценат и закупает вещь еще «на корню», часто неоконченной; глядишь – она исчезла. Что музеи – не в интересах искусства,

доказывает развивающийся обычай передвижных выставок, этих прототипов будущих музеев. Я думаю, в будущем систематические музеи исчезнут: система в искусстве, как и истинной науке, невозможна, она всегда будет условной и спорной, а потому и не нужной. Только великие произведения интересны, и их всегда будет немного. Весь остальной хлам не заслуживает береженья. Я думаю, вместо музеев следовало бы так устроить, чтобы избранные, великие предметы искусства путешествовали по всем странам света беспрерывно, пока не изобретут способа воспроизводить великие картины и статуи так же, как книги – в произвольном числе экземпляров.

XXXIII

Истинное искусство не только возможно в деревне, но даже более возможно, чем в городе. Художник, скульптор, музыкант, беллетрист отлично могут работать в деревне ради красоты природы, столь нужной для всех художников, среди тишины, всем им столь необходимой, среди естественной красоты народа. Хорошие художники так и делают: материалы для работы они ищут в путешествиях, они ищут природы, и догадливые художники не ездят для этого далеко. Природа почти везде *бывает* хороша, смотря по ее настроению и по вдохновению самого художника, – везде, кроме городов, где природа извращена до неузнаваемости. Совершенно непостижимо, почему художественные школы построены на берегах Невы и Мойки, в отдаленной и туманной столице, хотя им естественное место где-нибудь на Военно-Грузинской дороге, или на Жигулях, или на склонах Яйлы – где-нибудь в живописных уголках средней или южной России. Раз выучившись писать, истинный художник не нуждается в городе, в изучении коллекций, школ и т. п. Все это предрассудки рутины, ставящей художественное *образование* выше *таланта*. Мне кажется, грамотный в своем искусстве, овладевший кистью художник должен подальше держаться от коллекций и старых школ, чтобы не заразиться подражанием, он должен прямо отдавать

себя в дальнейшую выучку самой природе, изучая самостоятельно ее вечно открытую пред всеми книгу. Каждый читает эту великую книгу на особенном языке и понимает разное, но это-то именно и драгоценно: искренно высказать, как сам познал природу. Только это и будет ново и неожиданно для всех и как все новое – важно. Но для этого надо смотреть на мир собственными глазами, а не через очки своих наставников. В городе художник весь обвеван чужими внушениями, чужим творчеством: он совершенно невольно впадает в подражания. В деревне он независим и поневоле сам из себя берет и цель, и средства работы, то есть творит самостоятельно. Лучшей студии, чем деревня – трудно и придумать, если вспомнить, что она там убрана, как мир.

Приглашение художников и писателей работать в деревне, конечно, им не понравится. Большинство интеллигентных людей и могут работать только при лихорадочно напряженных нервах, среди шума и рассеяния городской жизни. В деревне, говорят они, умираешь с тоски и останавливаешься, как машина без паров. Человеку умственного труда – писателю, художнику, ученому – нужны постоянные возбуждения, электричество шумных собраний, споров, зрелищ и т. п. Наконец, нужен рынок для сбыта своих вещей. Какой же в деревне рынок?

Я замечу на это, что плох тот художник, который нуждается в болезненных возбуждениях, чтобы работать. Истинные художники и мыслители не только не требуют городского наркотика, но бегут от него: все великие вещи созданы в уединении, в деревнях или в прежних городах, столь походивших на деревни, в отшельничестве от «мира». Лучшие свои вещи Пушкин, Тургенев, Толстой и другие истинные художники писали в деревне. Если многие живописцы, поэты, беллетристы «творят» обыкновенно между кутежом и оргией, во взвинченном, раздраженном состоянии, то, я думаю, это просто дурная привычка, и, вытрезвись они хорошенько, они писали бы не хуже, чем в пьяном виде. Если же хуже, то это доказывало бы лишь то, что эти господа напрасно обрекают себя служению музам. Если лошадь не везет без кнута, если небольшой воз требу-

ет напряжения всех сил ее, то это не рабочий конь. Истинный художник творит с большим трудом, но без искусственных взбадриваний; он вдохновляется изнутри, опьянением благой мысли, подъемом чувства, а не из горлышка бутылки.

Что касается «рынка» для интеллигентных профессий, то еще вопрос: нужен ли он. Это только при теперешней промышленной цивилизации, когда все продажно, на рынок выносятся вместе с капустой и картины, и поэмы, и философские трактаты. Нет святыни, которою бы не торговали, и к этому все привыкли, и кажется, что иначе и нельзя. Чем же существовать художнику, если не продавать картин? Все это так, но всего этого не должно быть: мыслитель или художник должны каким-нибудь иным трудом добывать себе хлеб, например, как апостолы, делавшие черную работу, шившие, как Павел, палатки. В божественном откровении душа должна быть свободна, как в любви: продавать мысль – все равно что продавать любовь. Человек продающий зависит в своем труде от покупателя, он должен приспосабливаться к чужим вкусам. В физическом труде это необходимо, но труд психический должен быть свободен от всякого приспособления и не иметь цены. Он должен быть общим достоянием, а наградой артисту должно быть то чувство счастья, которое дает высокое творчество художнику и публике.

XXXIV

Истинное искусство как источник счастья должно иметь народную форму и возможно только в деревне. Именно в народе искусство не продажно и в силу этого – свободно. Возьмите народную песню, сказку, музыку, народный танец, зачатки живописи, архитектуры и скульптуры в предметах домашнего обихода. Все эти искусства не составляют особых профессий, а суть общее достояние, передаваемое от поколения к поколению, от одного лица к другому даром. В народе есть ремесленники, но нет специалистов художников или ученых; все крестьяне более или менее музыканты, поэты,

архитекторы; натуры гениальные, конечно, и здесь выделяются, они «славятся» как прекрасные рассказчики, певцы, танцоры, музыканты, как люди мудрые и знающие, но они не составляют особых сословий и не торгуют своими достоинствами. Прекрасный певец кормится плотничеством или кладет печи, мудрец или вещун <раз>водит пчел. Каждый в народе имеет доступ к откровениям природы в меру своего дарования, и каждый счастлив искусством столько, сколько вмещает. Человек не может поручать даже великому художнику наблюдать за себя природу, подмечать ее красоту и тайну; именно в самом процессе открытия этой красоты и тайны и заключается счастье, даваемое искусством. И здесь приходится повторить то, что сказано выше об *истинной собственности*: истинная духовная собственность только та, которая *самим* человеком приобретена. Поэтому, чтобы наслаждаться эстетически, нужно *самому* наблюдать мир, иметь не чужие впечатления мира, а свои собственные. Всякий должен быть в меру своих душевных влечений музыкантом, живописцем, скульптором, поэтом – достаточно сильным, чтобы в минуту сближения с природой слиться с ней. Для этого вовсе не нужно быть виртуозом в искусстве: было бы только вдохновение, и оно даст счастье даже в плохом выражении его. Простая песенка, в которой выливается душа, дает больше счастья, нежели «оргия звуков» в какой-нибудь пышной опере, выдуманной, загроможденной эффектами и потому неискренней, в сущности мертвой. Творчество, дающее счастье, часто обходится даже вовсе без техники. Если вы тонко подмечаете красоту природы, если вы носите в душе ее картины, если душа ваша полна музыкой, и где бы вы ни были, вы в состоянии наслаждаться воображением – разве вы не художник? Это внутреннее творчество – высшее, какое человеку нужно; *воображение* дает счастье не меньшее, чем *изображение*. В деревне встречаешь иногда среди крестьян тонких любителей природы, наслаждающихся картинами полей и леса, приходящих в какое-то упоение от соловьев, и т. п. Они не умеют воспроизвести этого очарования, но они полны им, и они ху-

дожники, и даже более счастливые, чем профессиональные артисты. Художник-техник, любующийся природой, невольно критикует ее, ищет в ней того, чего в ней нет: он припоминает лучшие виды, он недоволен избытком или недостатком красок, а если натура хороша – он старается запомнить ее, не проронить ни одной драгоценной черты, он тревожится, что это не удастся, он *жадничает* – и отдаться непосредственному счастью созерцания, как деревенский любитель, он уже не может. Наблюдение у такого художника корыстно, оно осложняется соображением о будущей работе, о вкусах публики, о выставках и продаже, и эта забота отравляет счастье естественного вдохновения. Профессиональный художник, как всякий специалист, чувствует глубже, но никогда не удовлетворен: чувствуя за собой тирана – публику, покупающую его чувство, он требует от себя все большей и большей остроты ощущений и доводит их до боли. В погоне за новизной и совершенством впечатлений художники измучивают себя часто до сумасшествия, и в результате каторжного труда иногда ничего не выходит, как, например, у Иванова с его религиозными картинами. Не то истинное, любительское искусство: не будучи профессией, оно не дает профессионального счастья, всегда одностороннего, но дает счастье человеческое, органическое. Живя в деревне, легче, чем где-нибудь, воспитать в себе любителя природы, ее наблюдателя; а высшая цель искусства и есть понимание природы в жизненной полноте ее. Смотрите на мир как можно внимательнее, говорил Флобер⁴⁷, и вы всегда откроете нечто новое, чего еще никто до нас не открывал. В сущности, творчество есть напряженное внимание. Не нужно только тиранить себя дрессировкой, втягиваться в школу, «штудировать» без конца: и здесь самочувствие – лучший руководитель, когда следует остановиться. Если работа становится скучной, если не хочется преодолевать препятствий, очевидно, вы не талант, и дальнейшие принудительные упражнения пойдут вам не впрок, они привьют вам чужое, механическое воображение, которое не откроет, а заслонит от нас природу, какую она создана для нас.

XXXV

Нынешняя художественная школа дает фабричное, промышленное искусство, готовит специалистов, как и все специалисты, помешанных на технике, на богатстве средств: средств чересчур много, а души в них нет. С ранних лет ребенка заставляют долбить на рояле всевозможные экзерциции и пассажи, выламывают пальцы и достигают того, что он действительно играет безукоризненно, почти как Рубинштейн; маменьки кричат о мальчишке как о будущем великом музыканте, не замечая, что он часто вовсе не музыкант и никогда им не будет, что он только акробат рояля, простая музыкальная машина, механически отчетливо исполняющая все, что подложат под глаза. Та лишь и разница, что в музыкальный ящик вставляют пластинку с зубцами, а перед таким музыкантом ставят ноты. Техника огромная, а музыки нет. Небольшое дарование не развивается, а губится избытком «образования», бесконечным исполнением чужих вещей. Рутинная школа подавляет в человеке непосредственное чутье природы, разобщает с действительностью. В целых поколениях художников укореняются предрассудки учителей: у живописцев – неестественные ракурсы, избыток тела или недостаток его, голубая зелень, красный воздух и т. п. Заурядный живописец рисует всех лошадей, как рисовали в школе, все глаза и все носы – такими, как показывал учитель. Сущность всякой специальности – в подражании, а подражание убивает творчество. Искусство, чтобы соединять человека с природой, а не разобщать, должно быть не специальной школой, не сословным знанием, а предметом общего образования, которое возможно только в деревне.

Художественная школа должна научить лишь механизму писания, тем секретам, которые по преданию передаются в каждом ремесле: как держать карандаш, как готовить краски, как располагать освещение, строить перспективу и т. п. Школа должна дать лишь средства для таланта, но не указывать ему цели: их найдет сам ученик. Школа не должна внушать готовых стилей, чужих вдохновений, чужой души; с первых же дней шко-

лы ученик должен копировать не предметы искусства, а живую природу: великие образцы чужого творчества должны служить не для подражания, а лишь для сравнения своего слабого труда с возможным совершенством. Художественное внушение, конечно, неизбежно; влияние великих мастеров облагораживает вкус. Оно раскрывает в нас лучшие, дотоле дремавшие стороны таланта. Но внушение тем опасно, что оно всегда односторонне и делает душу неподвижной, лишая ее личности. Можно приобрести манеру Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и т. п. и писать в их стиле, но все же это будет не ваша собственная манера – не раскрытие вашей собственной природы, а отречение от нее. Еще хуже, конечно, влияют невеликие мастера, заражающие своими недостатками, подобно тому как великие заражают достоинствами.

Кроме подражательности, органический недостаток теперешней школы – ее жадность в обучении. Городское «эстетическое» воспитание, с ранних лет вливая впечатления в душу ребенка целым потоком, расстраивает эту душу: или пресыщает ее, или делает ненасытной, приучая к эстетическому распутству. Школа сообразована не с живою психикой ученика, а с отвлеченною программю, всегда сочиненною и предвзятою. Школа безлична: она не дает условий для развития каждой души сообразно ее особенностям, а душит эти особенности, подгоняя все дарования под одну мерку. Разные школы внедряют всевозможные искусственные манеры, так что человек потом является перед природой как перевоспитанный ребенок пред матерью, которой он все детство не видал, но о которой много слышал и приучен «обожать» ее: он чужд матери, далек от нее, хотя и прodelывает жесты заученной почтительности. Не то истинно художественное счастье: оно требует, чтобы человек прильнул к природе, как ребенок к матери, без всяких условных приемов и чужой помощи, а так, как он сам умеет и хочет.

XXXVI

Счастье истинного искусства нуждается в свежих, неизнеженных нервах, в аппетите чувств – в том, что дает бедная

деревенская культура. Городские жители, которым «доступны все сокровища» художеств, часто именно от избытка их и страдают, как физически страдают от избытка материального богатства. Подобно тому как для физического счастья необходимо испытывать некоторые лишения – некоторый голод, холодусталость и т. п., так и для психического счастья нужно лишь самое умеренное его удовлетворение. Лишения, не переходящие меры, дают отдых изнеженным, пресыщенным органам, освежают их, закаляют, делают энергичными. Энергия воспитывается работою: устранять личную работу в психике – значит уничтожать самый источник ее. В этом смысле нет ничего опаснее именно городских «сокровищ», в том числе художественных и научных. Окружая человека комфортом, при котором «миг желанья – миг осуществленья», лишая человека необходимости самому добыть или создать нужное, богатство лишает человека самого существа счастья – чувства *достижения*. *Живет* собственно не богач, а его слуги, его деньги: живет роскошное платье, защищающее его от жизненных отношений к атмосфере, живут его лошади, упраздняющие жизнь его ног, лакеи, упраздняющие жизнь его рук, десятки рабочих, ученых, художников, артистов, готовых каждое мгновение к его услугам и упраздняющих жизнь его собственного мозга и сердца. Богач уже не знает счастья проснуться рано на заре и сразу войти в жизнь природы в качестве деятельного, полного движения члена ее, не знает счастья самому набрать топлива, развести огонь, приготовить себе пищу, самому принести воды, чтобы умыться, выехать в поле, чтобы самому воссеять себе хлеба, самому снять его и смолоть. *Деятельное* физическое счастье богачу незнакомо: у него нет энергических импульсов к работе, нет в ней необходимости. Отвратительное зрелище представляют гимнастические залы, где ожиревшие или, наоборот, исхудавшие богачи кувыркаются и подвешиваются в расчете дать немножко жизни отмирающим тканям. Эта «жизнь» с помощью трапедий и гирь похожа на микстуры, заменяющие желудочный сок, или вливаемую в вены телячью кровь. Страшно смотреть на это штопанье живого человека,

на жалкую борьбу с природой, казнящей праздность. Обычно цель не достигается: гимнастика, массаж, спорт и т. п. временно облегчают человека, освежают его, но в них есть нечто общее с «тайным пороком юности»: неестественность удовлетворения природы, сознание бесцельности, безрезультатности и тоска как продукт всякой бездельной работы. Гимнастика не помогает: малокровие, бледная немочь, атония и т. п. – обычный удел физически пресыщенных и праздных. То же и в мире психической жизни. Бедняк, как философ, говоривший *omnia mea mecum porto*^{*}, в себе самом носит удовлетворение своим художественным инстинктам. Он поет сам, как умеет, сам пляшет, сам играет и т. п. Богач, конечно, тоже сам может и петь, и танцевать, но праздное, увядшее тело не дает его воле достаточного напряжения; утомленные чувства не поднимают душу до восторга, до творчества. *Сам* богач часто уже не испытывает счастья союза с природой; как пресыщенному сладострастнику, ему приходится прибегать к *картинам* чужой любви к ней. Театральные сцены, картинные галереи, статуи, музыка – все эти чужие вдохновения в некоторой мере дразнят его собственное усталое воображение. К услугам такого человека великие артисты, поющие превосходно, с тем совершенством, которое уже убивает песню и делает ее не живым голосом души, а музыкальной пьесой, исполненной человеческим голосом. За счастьем песни богач едет в оперу. Иногда он испытывает удовольствие, но какое-то вялое и поверхностное, так как источник его внешний, а не внутренний. Не то бедняк, который хоть редко и несовершенно, но *сам* поет под влиянием внутренней, переполнившей его потребности. Его музыкальное счастье, как и всякое истинное счастье, испытывается не от половины 8-го до 12 вечера, как в опере, не четыре часа подряд, а в самые неожиданные часы и длится всего несколько минут; и в то время как из оперы чаще всего уезжают с головной болью и апатией, обожравшись, так сказать, музыкой, – бедняк насыщается всегда в меру. «Но нельзя же сравнить оперную музыку с гармоникой или песней,

* Все мое ношу с собой (лат.)⁴⁸. – В. Т.

которую поет дворник», – скажут мне. Правда, оперная музыка богаче, как роскошный стол в сравнении с дворницким обедом, но что здоровее и нужнее человеку – это еще большой вопрос. Как и современная кухня, современная музыка доходит часто до распутства. В ней есть несомненно что-то опьяняющее, наркотическое, высасывающее ваши нервы, а разврат уха, я думаю, так же вреден, как разврат желудка или других органов. Недаром композиторы говорят об «оргии звуков». Как и оргия световых эффектов – какая-нибудь феерия, современная музыка несомненно истощает душу в каком-то важном отношении. Артисту-музыканту с огромным запасом этой душевной силы еще ничего, хотя и великие музыканты носят печать узкости и пришибленности в других отношениях, кроме музыкального, – на среднего же человека звуковое распутство действует несомненно вредно. Оно ведет или к слуховому переутомлению (вид нейрастении), или к слуховому обжорству. В последнем случае все забывается, кроме рояля, и бедный – больной в сущности – любитель целыми часами и днями просиживает, погруженный в мир для него божественных, а в сущности странных и диких звуков несомненно психопатической природы. Это уже мания, и заслуживает не удивления, а лечения. Чаще всего только в такой порочной форме городскому жителю доступно наслаждение музыкой. Не то народная музыка: сложившись тысячелетиями, она достаточно богата красотой звуков, достаточно питательна для души и не имеет способности опьянять, развращать душу. Народная песня похожа на легкое вино, тогда как опера – на ликер или *fine-champagne**.

То же и другие искусства: живопись, архитектура, литература – все они склонны к переразвитию, которое напоминает переспелый плод, начинающий разлагаться. Современный декаданс во всех сферах искусств есть именно переразвитие их, переспелость и своего рода «сахарное брожение». Специализм, доведенный до конца, ведет к распадению духа на его элементы, – предел, к которому стремится культура в период ее старческой жадности, перед своим упадком.

* Коньяк из шампанских сортов (фр.). – В. Т.

XXXVII

В то время как молодое, общенародное искусство в деревенской его стадии есть слияние человека с душой природы, – искусство старое, сословное стремится заслонить от человека мир, окружить людей подобиями природы, ее идолами, превращая непосредственную жизнь в подобие жизни. Городская культура, полная излишеств в ненужном и недостатка в необходимом, держится лишь искусством: только искусство скрашивает страшную нищету жизни вне природы. Отвергнув в глубине души первую заповедь, гений человека всю свою энергию устремил, чтобы нарушить вторую, и вместо мира естественного, данного Богом, создал мир искусственный, в котором среди мертвой роскоши задыхается. Одежду называют искусственным климатом, – еще с большим правом можно назвать им культурное жилище. Пусть на дворе трещат 30-градусные морозы и воет метель; начиная с парадной лестницы, вы как бы мгновенно переселяетесь в иной, субтропический мир, где постоянно царствует температура Азорских или Гавайских островов, где под Крещенье цветут азалии и бананы, душно и влажно, как на южном берегу морском. Масса растений и даже целые зимние сады довершают *подобие* иного климата. Но нет пейзажа, нет перспективы вдаль, нет природы с ее солнечным блеском, с ее живительными бурями, с ее мерцанием звезд в небе. Для этого развешаны картины искусных мастеров, дающих как бы видения природы, ее подобия. Художники-жанристы дают призраки и людской жизни; в аристократическом дворе, среди мрамора и шелка не редкость встретить глядящее из золотой рамы лицо изнеможенной нищенки с больным ребенком, протягивающей руку за подающим. Модель этой картины, «натура» не была бы допущена не только в салон, но даже на подъезд палатца, но «подобие» этой природы допущено: оно напоминает обладателю этого эдема о действительной жизни. Удобство в том, что как бы ни была голодна несчастная нищенка, она не выйдет из золотой рамы и не станет назойливо просить помощи, как это делают иногда

живые «натуры». Точно так же скульптор окружает счастливица статуями богинь и граций, сатиров и вакханок, призраками красоты и сладострастия. Эти подобиа холодны и мертвы, как и все подобиа, но именно это смешение жизни и смерти в произведениях искусств представляет что-то острое и утонченное, действующее на нездоровую душу волнующе. Нездоровая душа, окруженная подобиаи, живет ощущениями какого-то «второго, третьего и т. д. порядка», как выражаются математики, она начинает поклоняться этим кумирам больше, нежели тому, что они мертвенно изображают: такой же пейзаж в натуре, такая же нищенка на улице не обращают на себя ни малейшего внимания.

То же и изящная литература, дающая картины жизни человеческой. Чрезмерное чтение насильственное в школе или добровольное в виде нередко встречающейся мании заслоняет от человека действительную жизнь, мешает ему самому мыслить, предупреждает его собственное творчество. В естественном быту человек лично переживает разыгрывающиеся кругом него сцены, поэмы, романы, комедии, драмы, он сам в них участвует. Из этой жизни, если она содержательна и здорова, он извлекает художественное развитие гораздо большее, нежели из чтения книг, – развитие органическое в меру своего душевного запроса. Невозможность иметь в деревне громадные библиотеки – в сотни тысяч томов – большая выгода; так как приходится довольствоваться немногими книгами, то остается приобретать только лучшие из них, и лучших так немного, что почти все они доступны средней зажиточной семье. Про Эмерсона⁴⁹ рассказывают, что, осмотрев огромную Британскую библиотеку в Лондоне, он заметил: «Я уже владею почти всем, что тут есть».

Современное искусство, как экран, отражает картины жизни и сосредоточивает ее эффекты, делая их более выразительными, жгучими и острыми. Искусство старое, переразвившееся, извлекает из жизни все совершенное, концентрируя ее отдельные качества до степени яда, до густоты, действующей на нервы поражающе, как наркоз. В самой природе все ее со-

вершенства перемешаны и растворены друг в друге, все они нейтрализованы и возбуждают нервы в средней, живительной степени. Ночь в самой природе, конечно, величественнее, чудеснее *картины* той же ночи, как Бог в сравнении с идолом, – но ночь эта живет, и каждое мгновение не то, что прежде; она сменяется утром, полднем, вечером, туманом или ненастьем, тогда как «Ночь» Куинджи⁵⁰ на стене гостиной всегда одна и та же; она гнетет нас одним и тем же впечатлением, вбивает его, как гвоздь, в вашу душу. Точно так же действует красивая статуя или хороший роман. Таково свойство мертвого идола в сравнении с живым божеством – природой. Среди природы нормальному человеку не нужно отдельное от жизни искусство, если же оно отграничивается – это признак начинающегося идолопоклонства, признак психоза, перераздражения чувственных участков мозга. Для городского населения, оторванного от природы, лишённого естественных возбуждений, которые она дает, предметы искусства полезны и нужны, как чай, поднимающий деятельность сердца. Люди с расстроенными нервами любят крепкий чай и пряное, пересыщенное эссенциями жизни искусство. Искусство народное, классическое кажется пресным и бедным; его заменяет сладострастный натурализм, импрессионизм, мистическая психология, музыка форм и элементов, лишённых связи.

XXXVIII

Подобно искусству и современная наука, благодаря рутинной школе, чаще разобщает человека с миром, нежели соединяет. Ученику, не выдавшему ни природы, ни жизни людской собственными глазами, преподносятся все готовые сведения о них, сообщаются все тайны, делающие уже личное наблюдение для ребенка мало интересным. Нынешняя школа предупреждает появление пытливости и уничтожает самую возможность ее. Представьте, что вы играете в шахматы, и вам назойливо подсказывают все ходы и объясняют, почему их нужно сделать. Все счастье игры – самому догадаться – от-

нято. То же делает и современная школа, предупреждающая всякую догадку, не позволяющая вам, как слишком нежная маменька младенцу, ничего ни выбрать самому, ни разжевать – извольте глотать уже пережеванное и положенное в рот. Даже младенцы отворачиваются от такого противного кормления. Не заинтересовав ученика картиной природы, не приучив его к непосредственному созерцанию, школа сообщает ему все секреты мира, не имеющие ни малейшего смысла для человека, лично не знакомого с миром. В университетах профессора ботаники рисуют мелом на доске цветы, которых слушатели не видали, профессора химии говорят о соединениях веществ, для аудитории совершенно незнакомых; по крайней мере, так было принято в известном мне столичном университете. Профессор в мое время *писал* на доске формулу явления, которого никто из толпы студентов не видел. На лекциях кристаллографии натуральных кристаллов не видели и в глаза; учились по деревянным моделям. Пройдя общий курс физики и химии, никто из студентов лично не проделал ни одного опыта и не видал даже его вблизи, а все приходилось принимать на веру, памятью, воображеньем. Почтенный профессор физики, стряпавший что-то у стола, неизменно каждую лекцию заявлял, что «к сожалению, на этот раз опыт почему-то не удастся». Немудрено, что при такой системе огромное большинство студентов смотрят на занятия, как на тяжкую повинность, и всеми мерами, не исключая бесчестных, стараются облегчить себе это ярмо. «А счастье так возможно, так близко!» Природа ведь не такая же редкость, ведь все мы в ней поглощены; какие-нибудь характерные растения и минералы можно бы целыми возами иметь при университете (если же нельзя их иметь, то нельзя и учиться, незачем и университету быть). То же и соли, кислоты, кристаллы – все это дешево и обильно и ранее всякого курса должно бы быть нащупано, осмотрено, попробовано на вкус, на запах и т. д., ко всему этому ученик должен был бы *привыкнуть*, как к деревьям или воде, чтобы иметь реальное представление о них. Курс школы должен быть поставлен так, чтобы ученик

сам наталкивался на явления и сам их по возможности разгадывал. Как в утробе матери зародыш переживает все стадии развития позвоночного, так и в духовном отношении каждый человек должен переживать историю открытий, должен сам изобретать, и тогда только наука сблизит его с природой, а не разъединит. Школа должна только приближать ученика к явлению, только помогать в разгадке его, но отнюдь не освобождать от творческой личной работы. В этой работе вся ценность и вся радость знания, и не избытком работы, а именно отсутствием ее следует объяснить переутомление учеников. Изнемогают не от количества работы, а от *безжизненности* ее: человек может страшно много трудиться, если труд интересный и живой, если он требует творческих сил человека. Но самый легкий труд, например толочь воду, бывает невыносим и употребляется как смирительное наказание для закоренелых каторжников. К несчастью, деятельность и не каторжников, а совершенно невинных людей и чуть не младенцев превращается часто в тягостное толчение воды. Вспомните, как легко и охотно изучали древние языки, например, в эпоху Возрождения: никто не переутомлялся, и языкам хорошо выучивались. И все оттого, что орех начинали есть не со скорлупы, а с ядра, – начинали учиться не с грамматики, а с непосредственного чтения авторов. Живое дело давало живую радость и живой успех; ученье было жизнью, а не чем-то отдельным от нее. Ученых сословий по каждой отрасли знания не было, но великих людей было больше, чем теперь. Истинная школа – *самообразование*. Ученым, исследующим знания, должен быть сам ученик, а учитель обязан играть роль помощника. Величайший из учителей Сократ называл себя акушеркою, помогающею слушателям *рожать* их мысли.

XXXIX

Если истинная наука требует непосредственного общения с природой, то в деревне она возможна более, нежели в городе. Такая наука не может быть достоянием одного сосло-

вия, она не может иметь обязательной системы, она должна соответствовать индивидуальности каждого и давать счастье в меру душевного запроса. Каждая деревенская семья может быть центром образованности в самом живом значении этого слова. Что значит иметь образованность, дающую счастье? Я полагаю, это значит – хорошо знать, до картинного представления ясно, все *лучшее* в природе, все ее великие законы, всю здоровую красоту ее. Нет нужды знать худшие явления, достаточно знать только лучшие: это в сто раз облегчает задачу, позволяя отбрасывать то, что составляет черновую работу знания. Если у вас есть страсть к какой-либо отдельной области явлений, вы изучите с наслаждением и весь процесс их, со всею черною работой, но в обыкновенных случаях, когда душа концентрична с миром, не вдается в него острым углом, тогда достаточно знать только лучшее в каждой области. Но это лучшее знать необходимо уже осязательно, лицом к лицу. Цивилизация не в технических открытиях и изобретениях, а во внутреннем богатстве человеческого духа, в облагорожении его, в изяществе его мысли и чувства. Надо запастись рано сокровищами знаний, чтобы потом они освещали вам всю жизнь и особенно старость, когда в утешение человеку за потухшими страстями остается одна память, одно воображение. Вспомните, как утешала образованность декабристов в рудниках Сибири. Старость – та же ссылка, и если кто в молодости сжился с великими откровениями природы, с чудесами мысли, вся жизнь того будет полна счастливых видений. Образованность создает родство с человечеством и миром. Это проникновение истинною цивилизацией должно начинаться, как все благо, еще с колыбели; хорошая интеллигентная семья в деревне должна быть лучшею школой для подрастающего поколения, и вместе с тем – просветительным учреждением для самих взрослых. Возьмите современную среднюю интеллигентную семью – как она мало культурна! Какой бедный запас образования, а если иногда богатый, то какой узкий, односторонний! Развитость нашей образованной публики, как справедливо замечает один герой у Чехова (в «Палате № 6»), ничуть не выше

крестьянской. Человек непросвещенный похож на дом с закрытыми окнами: какая бы ни была роскошь внутри, она не видна самому обитателю дома. Огромное большинство скучающих, киснувших интеллигентов, ютящихся около водки да зеленого стола, и не подозревают, что источник их скуки – тьма, которой они себя обрекли, что если бы впустить в окна солнечный свет, они подивились бы собственному душевному богатству. Тупое равнодушие к жизни сменилось бы живым и нежным интересом к ней, сильнее забилося бы сердце, заблестели бы глаза, зажглась бы честная мысль в голове. Оказалось бы, что жить еще можно на свете, и хорошо жить.

Истинная цивилизация должна иметь своей колыбелью *деревенскую семью* – не нынешнего помещичьего, а иного типа. Нынешнее поместье – уголок города со всеми его излишествами и недостатками; ведь именно город создает для усадьбы все до последней мелочи: одежду, пищу, мебель, утварь, самые нравы и обычаи. Усадьбы напоминают английские форты в пустынях Канады. Самый воздух усадеб как бы напоен грезами о городах, о театрах, операх, балах, парадах; души помещичьих семей витают на Невском или на парижских бульварах, и тела, принужденные жить в Чухломском уезде, невольно недоумевают и грустят. Деревенская интеллигенция находится в большинстве под внушением городской культуры и стремится к ней; в деревне она не замечает естественного счастья и старается устроить себе искусственное, городское. С великими иногда жертвами заводятся, как в городе, те же приемы и выезды, та же роскошь при том же отсутствии истинно необходимого. В редкой помещичьей семье не найдете своры собак, но в редкой встретите порядочную библиотеку. На содержание лошадей для выезда тратится иногда не меньше, чем стоило бы содержать домашнего профессора. К вашим услугам в деревне крокет, бильярд, кегли, карты, ружья и т. п., а на тысячу верст кругом не найдете ни одного микроскопа, как бы он ни был необходим, ни одной энциклопедии. Нынешняя деревенская семья сама себя лишает счастья истинной цивилизации и несет казнь за ложную.

XI

Роль деревенской семьи огромна: в ее власти судьбы будущего. Каждая семья должна сделаться культурным центром для создания новой общественной души, и так как в будущем здании придется жить многим поколениям, элементы для постройки должны быть взяты самые драгоценные, самые чистые. Каждый дом в деревне может быть не только жилищем, не только мастерской, но и школой, библиотекой, музеем, лабораторией и прежде всего – храмом. И в зародыше такова патриархальная крестьянская семья. Она – общая мастерская, так как весь труд семьи сосредоточивается около дома и семейного гнезда. Она – школа, так как грамоте ребятишек учит мать, или старики, или старшие сестры. Она – библиотека, так как в ней, в божнице или в сундуках, всегда найдете старинные, дониконовские книги, Библию, жития святых, то есть то, что считается стоящим вечного чтения. Наконец, такая изба и храм, так как лучший передний угол занят божницею, маленьким алтарем, к которому возносится молитва всей семьи много раз ежедневно. Такова истинно культурная, хотя и первобытная семья. Такова же должна быть культурная и образованная семья. Во все не необходимо учиться в академии и университете, заниматься в Британском музее, рыться в архивах и арсеналах науки, чтобы извлечь из природы всю доступную вам мудрость. Огромные пособия не необходимы даже для специалистов и двигателей науки: вспомните, какими грошовыми средствами пользовались для великих открытий Галилей⁵¹, Лавуазье⁵², Фарадей⁵³, в новейшее время Дарвин, не выезжавший из деревни, или Пастер⁵⁴, работавший на чердаке. Лучшие химики учились и делали открытия при самодельных приборах, устраивая недостающую химическую посуду из кирпичиков, блюдец, стаканов, чугунок. А нынче и хорошие приборы дешевы, как дешевы и книги. Есть великие, вечные книги, которые всегда будут неиссякаемым источником самого святого счастья, но их немного, и каждая такая книга стоит не более чем бутылка водки или фунт дурного табаку. Не увлекайтесь только корыстью

и тщеславием, не собирайте вещей ненужных, и тогда даже самых скромных средств хватит на необходимые. Впрочем, если бы устроить вполне культурный дом стоило и не так дешево, так вспомним же, как охотно мы тратим большие средства на пустые потребности, на излишества в обстановке, пище, одежде, утвари и т. п. Если вы заводите беседки в саду, охотничьи домики, погреба с винами, дорогие картины на стенах, дорогую мебель, почему вам не устроить научного кабинета, библиотеки, маленькой обсерватории, маленького музея? Все это не дороже выездной четверки, стоящей без употребления, не дороже оранжереи или охотничьего ружья. Если вы сами человек нормальный, постоянно продолжающий свое образование, не утративший интереса к природе, все эти просветительные учреждения у себя в доме нужны прежде всего для нас самих, но они нужны и для детей. Я думаю, что настоящая интеллигентная семья в деревне должна быть достаточно школою для образования, и нет нужды посылать детей за несколько десятков или сотен верст в чужой мир за тем, что должно быть дано дома. Ведь готовите же вы пищу, строите дом в деревне для детей и т. п., – отчего же не приготовить им запаса и умственной пищи? Отец и мать – лучшие учителя и руководители ребенка для начального обучения, а для дальнейшего образования лучший учитель – сам ребенок. Если ребенок здоровый и неглупый, он уже рождается с потребностью в образовании, и вы с радостью допустите его в кабинет или библиотеку и охотно покажете ему то, чего он не понимает сам. А ведь в этом и образование. Не долбя этрусского и пеласгического языков, не засоривая головы ненужным хламом, ваш ребенок, если он от природы нуждается в образовании, непременно образуется, – если же он невосприимчив и туп, то тем более оснований оставить его в покое. Может быть, он образуется в другом, некнижном направлении. Ведь и теперь книжно образованных людей так мало, и даже те так мало полезны. Из тупого, имеющего отвращение к отвлеченным наукам ребенка может выйти прекрасный хозяин или ремесленник. Разве это не карьера? Если он будет здоров и силен, если он будет успешно защищаться от

голода и холода и любить людей – разве это не будет означать, что он сделал прекрасную карьеру? Ведь вся задача жизни – в здоровье духа и тела, а это здоровье не требует сдачи шестидесяти шести экзаменов. Если же ребенок талантлив и нуждается в широком образовании, порядочная деревенская семья должна дать ему и это образование в своих стенах, и это вовсе не дорого – во много раз дешевле расходов на содержание детей вдали от себя, в гимназии и университете.

XLI

Но зато не будет «прав», чина X класса в 20 лет и пр., и пр. Да, но с этим уж конечно нужно примириться; одно из двух: или естественное счастье, или искусственное. Я говорю лишь о естественном счастье, а не о том, как приспособиться к химерам. Нельзя желать отрицающих друг друга вещей: свободы – сохраняя рабство, здоровья – оставаясь среди заразы, богатства и знатности – желая быть независимым от того и другого. Совершенно невозможно и деревенскую невинность соблюсти, и городские капиталы приобрести. Чем-нибудь нужно пожертвовать, и я все к тому веду речь, что нужно пожертвовать городскими благами в пользу деревенских. Для счастья нужно отказаться от постройки вавилонской башни из своей жизни, отказаться от стремления к так называемым «вершинам общества»: небольшое размышление покажет, что эти вершины холодны, безжизненны, скучны, что истинное счастье на средней зоне – между пропастью нищеты и линией вечного богатства. Не отдаляйтесь слишком далеко от нормы, и вы будете счастливы, а норма человека – кусок хлеба и стакан воды, чистый воздух, легкий труд, любовь и свобода.

Непонимание жизни, стремление к ложному счастью – карьере, чинам и пр., как и всякий грех, тотчас же влечет за собою и казнь, хотя и несознаваемую. В старину человек рос и жил там, где родились и жили его предки; он составлял органическое явление своей местности и своего общества; родители были счастливы знать, что дети их – лучшая радость жизни –

никогда не будут оторваны от дома, что они дождутся внуков и даже правнуков, которые будут жить в этом же старом доме, среди этих же рощ, около той же реки. Мне кажется, и смерть не так была страшна, когда кругом видели свое продолжение, свой род, прочно укоренившийся, свое размноженное «я». И дети в старину были счастливы: им не отравляли детства и юности изгнанием из родного дома, тем более горьким, чем ребенок нежнее сердцем. Деревенская цивилизация обеспечивает это органическое родство между родными, городская – до крайности расстраивает его. Бесконечная специализация труда и кипучий обмен его требуют непрерывной перекочевки людей, причем постоянно обрываются все родственные и общественные связи: едва успеет человек привыкнуть к месту и войти в состав общества, карьера гонит его к лучшим условиям труда, причем ради лишнего десятка рублей в соседнем полушарии иногда бросается все дорогое, что есть на свете: родина, друзья, родные, родители и дети; как часто дети воспитываются за тысячу верст от родителей. Отправляя детей в города «учиться», страдают самыми горькими муками и старые, и малые, пустеет гнездо, созданное долгими годами; старики уже теряют цель жизни, весь закат их омрачен точно свинцовой тучей. В нормальных семьях бабушка качает на своих коленях внука и переживает еще раз блаженство молодости, а в особенно счастливых семьях люди праведные имеют счастье дожидаться и правнуков. Несколько поколений, связанных в одну непрерывную цепь любви, создают атмосферу нежности, в которой, когда придет черед, хорошо и умереть. А ведь как умирают у нас старики: одинокие, сиротливые, за тысячу верст от детей, которые в этот страшный миг, может быть, танцуют или бесятся. Итак, отправляя детей в город, не утешайтесь тем, что это только *разлука*, – нет, это всегда *разрыв* семьи, всегда распадение ее. Разорванные и разбросанные члены семьи еще долго чувствуют боль разрыва, родители – иногда до самой смерти; что касается детей, то молодые раны быстро затягиваются, и по окончании курса, всего через восемь – двенадцать лет, юноша уже совершенно чужд семье – к своему тайному

стыду и горю родителей. Если юноша заурядный, он заявляет только права на наследство и совершенно не чувствует на себе обязанностей. Семья распалась, отцовское гнездо разорено, дети рассыпались по разным губерниям и почти затерялись. «Что-то долго не пишет Ваня» – вечный припев стариков. Дети не пишут, они тяготятся даже этою легкою повинностью, и старики перед гробом чувствуют себя более одинокими, чем тогда, когда пришли в мир.

Городская культура, беспрерывно ломая семью и совершенно не давая сложиться роду, в сущности крошит всякое органическое строение в обществе, она дробит состояния, как морские волны прибрежные породы, превращая общее богатство в сыпучий и подвижный вид: как дюны на берегу, состояния то отлагаются в целые холмы и горы, то быстро исчезают. В этой крошечной свалке карьер и профессий, построенных не на семье, не на земле, гибнут лучшие силы. Только деревня, хозяйство среди природы, дает наследственный труд, и только здесь возможно настоящее человеческое гнездо. Раз вы поселились в деревне, сочли деревенский быт *для себя* наилучшим, вы по совести обязаны сохранить этот быт и для потомства. Раз вы считаете сожителство с детьми великим счастьем для себя и для них, не разрушайте же сами этого счастья, пожалейте свое сердце...

Прогресс

XLII

Предание говорит, что светоносный ангел, созданный для блага, отделившись от Бога, сделался носителем зла. Так и разум в человеческой жизни: отделяясь от совести, он делается орудием лжи. Чем держится ложная культура? Ее кажущейся *разумностью*. Заблуждение не существовало бы, если бы не защищалось разумом, – таков трагический закон психологии. Источник истины – разум – является охотно и защитником души, столь же сильным и красноречивым.

Может ли быть *ложною* городская цивилизация, в которой видно так много *разума*? – спрашивает варвар, знакомящийся с чудесами комфорта. И действительно, в городскую жизнь вложен огромный умственный капитал. Взгляните на эти громады роскошных зданий, на бесчисленные переплетающиеся системы водопроводов, водостоков, газовых, электрических и иных проводов, на сети телеграфных и телефонных проволок, на лабиринты улиц с их железными, воздушными, подземными и даже подводными путями, взгляните на гранитные набережные, изящные бульвары, тротуары, мостовые. Даже грубые камни мостовых – как много вложено в них внимания и расчета! Каждый из миллиардов этих камней или кирпичей зданий обделан, привезен и прилажен рукою человека, множество раз взвешен его мускульною и умственною силою. Внутри зданий, куда бы вы ни обратились, нас встречают чудесные изобретения – в украшениях, утвари, мебели и т. п. Вся жизнь городского человека предусмотрена из минуты в минуту и обставлена заранее обдуманном удовлетворением. Даже самые потайные потребности совершаются при помощи машин и специальных снадобий. Чуть ли не каждый ноготь имеет по несколько особых инструментов для своей холи; даже для вырывания волосиков из носа существует особый электрический прибор. Молнию, пред которой дрожали древние народы, как пред блеском очей Божиих, городской человек сделал почтальоном, заставил откупоривать бутылки и наигрывать веселые песенки. До мельчайших клеток своих городская культура насыщена и даже пересыщена разумом, и, встречаясь с этим бьющим в глаза избытком разума, человек невольно думает, что культура эта разумна, что она самая истинная и совершенная из возможных. Уж если в устройство клозета вложено столько гения, рассуждает простодушный варвар, то в основные, великие уставы общества и подавно! При этом варвар со стыдом вспоминает свою деревенскую культуру, столь бедную человеческими изобретениями.

В жизнь деревни, действительно, вложено не много человеческого разума, не много знания. В то время как городская

культура как бы сплошь соткана из умственных напряжений, деревенская слагается сама, из естественных, вечных явлений природы, в которых как бы нет ничего придуманного. Деревня полна жизни движения, волшебных красок и звуков, но все это не сочинено, не изобретено людьми и потому «неразумно». Когда движется паровоз – это удивляет, как чудо, а когда движется лошадь или птица, это кажется совершенно простым. Солнечное освещение в деревне естественное и не возбуждает внимания. Другое дело – электрический фонарь: в городе фонарю изумляются, им гордятся. Пусть в фонаре все украдено из природы: вещество, силы и законы, дающие свет; человеку принадлежит лишь механическое сближение этих сил, – тем не менее, вся честь электрического освещения присваивается человеку, его разуму. Возьмите другое явление деревни – развите растения из семени. Оно поразительно и беспредельно по глубине, но оно кажется «неразумным». Ветка дерева с тончайшим, невидимым строением начинает изумлять, только превращаясь в тросточку хлыща с какою-нибудь скабрзною ручкой. Удивляются голубой материи, зеленому цвету крыши, тогда как голубая лазурь неба или зелень лугов слишком просты. Хитер водяной душ в купальном шкафу, и совершенно прост естественный дождь, орошающий поля. Воздушный шар – хотя бы ему предстояла неизбежная участь завязнуть где-нибудь в болоте и перекалечить воздухоплателей – приводит в гордый восторг культурного человека, он не находит слов для выражения величия своего гения, с презрением глядя на деревню. Деревня ничего столь «разумного» не изобрела: правда, в деревенском небе каждый день поднимаются и реют не менее величественные, чем шар, облака и по тем же законам, как и шары, – но кто же станет гордиться облаками!

Вы видите, что деревенская культура хотя и сложена из необходимых, благодетельных, животворных явлений – *изобретений Бога*, непостижимо загадочных, – но беда в том, что они *естественны* и в силу этого в глазах заурядного человека кажутся лишенными разума в сравнении с *искусственными* городскими хитростями. Хотя все эти маленькие хитрости со-

ставляют не что иное, как микроскопические, часто уродливые подражания природе, но в них видна выдумка, тогда как в природе будто бы ее нет – до такой степени нет, что человек не прочь иногда исправить промахи творения. Садовники в Китае различными ухищрениями выгоняют карликовые деревца с миниатюрными плодами. Чтобы достичь этой нелепой цели, затрачивается множество внимания, времени и знания, – и все ахают перед садиками-уродцами, как перед торжеством садоводства, тогда как обыкновенные роскошные леса, созданные природой, не вызывают никакого удивления. Потеряв чутье к божественному Разуму, вложенному в природу, человек чувствует только свой ограниченный ум и только то считает истинным и разумным, в чем видит участие этого разума, столь маленького и условного, столь способного на безумие.

XLIII

Разумность городской цивилизации, основанной на изобретении, проникнута изменой истине. Эта разумность только внешняя: она заключается в *средствах* культуры, а не в *целях* ее. В основных задачах культуры сколько ни вложено в них ума, заметно мало разума. Система общественности груба и нецелесообразна, она крайне не уравновешена и не выгодна людям. Основы нынешней цивилизации продолжают быть языческими, как бы ни развивались и ни украшались гением человека. Цивилизация эта похожа на допотопную телегу на каменных колесах, покрытую роскошными инкрустациями: колесница драгоценна, в нее вложена бездна искусства, а ехать в ней мученье. Как ни отделяйте комнаты неудачно построенного дома, все же в нем не будет достаточно ни простора, ни воздуха, ни света. Разум в современной цивилизации является простым коэффициентом явлений, он усиливает добрые явления и усиливает злые, вооружает совесть и одинаково бессовестность, он развивает положительные начала жизни, но в той же мере и отрицательные, и даже мнимые, создавая, как коэффициент при иррациональном выражении,

иногда чудовищные по объему и нелепости результаты. Мы ослеплены поверхностною разумностью европейской жизни, а разумна ли глубина ее? Разве разумны, в самом деле, такие явления, как капитализм, милитаризм, пролетариат, вырождение т. п.? А ведь эти страшные явления вытекают из самого плана современной культуры. Разве разумна промышленная *bellum omnia contra omnes**, этот крошечный хаос «свободной конкуренции» с торговыми шайками, облавами, засадами, заговорами и мятежами, слывущими под невинными названиями акционерных компаний, синдикатов, стачек, биржевых крахов и т. п.? В Средние века, в эпоху кулачного права, было не больше произвола и взаимного грабежа, чем нынче в промышленной области. Нас возмущает, что древний барон облагал податью проезжих по его землям, а разве нас не облагают совершенно произвольно податью разные ситцевые, сахарные, угольные, нефтяные, хлебные и другие бароны? Разве разумно, что все великие державы в неоплатных долгах и переживают дни в ожидании войны, которая для всех гибельна, что они, не сделав выстрела, уже платят в мирное время громадную ежегодную контрибуцию кучке банкиров? Примеры вопиющей неразумности в самых устоях европейского склада жизни бесчисленны. И неразумность эта опять-таки держится излишнею верою в разум, в его способность устроить истинную норму жизни без помощи совести. Милитаризм с верховной точки зрения безумен, но он весь вышел из разума, как вооруженная Паллада из головы Зевса. Разум говорит, что побеждает сильный и, следовательно, нужно вооружаться без конца. Только совесть может подсказать, что борьбы не нужно, и что если бы хоть сотая часть тех средств, которые отнимает война, были употреблены на проповедь мира, – войны не было бы и все были бы в выигрыше. Точно так же капитализм: он явно губителен, но вытек из разумных соображений и гениальных расчетов. Только совесть может доказать ненужность и вред сосредоточения колоссальных богатств – вред не только для бедняков, но и для богачей. Разумность – орудие могу-

* Война всех против всех (лат.) – В. Т.

чее в сфере мертвой, механической деятельности человека – теряет свою силу в области живых общественных отношений. Привыкнув в технике к симметрическим формам как признаку разумности, мы склонны добиваться той же симметрии и в человеческих отношениях, но здесь-то ее и быть не может. Тут истиною заправляет не логика, а *любовь*, нечто такое, что вопреки всем ухищрениям утилитаристов всегда останется независимым от человеческого ума. Любовь – разум божественный – с человеческой точки зрения бывает безумна, однако «безумная любовь» есть истинное начало жизни, тогда как «умный расчет» есть часто ложь: любовь устраивает расчет – расстраивает счастье. Любовь побуждает с радостью поддерживать ближнего и помогать ему в достижении счастья, – человеческий же расчет иногда подсказывает придавить его, как соперника. Совесть гнушается победой, ум о ней мечтает, и в обществах, устроенных на уме, неизбежна та адская свалка эгоизмов, которую мы теперь видим. В этом коренная ошибка утопистов, пишущих о золотом веке; они основывают его на *уме*, тогда как истинное общество может быть основано на *совести*, которая есть тоже ум, но не человеческий, а божественный, и потому не всегда объяснимый. Сущность современной цивилизованной жизни не только не разумна, но и не может быть разумной, пока основана только на *уме*.

Для оправдания городской цивилизации ум придумал, конечно, самые изощренные аргументы и теории. Как пьяница утешает себя тем, что «вино греет и дает силу», что “*in vino veritas*”^{*} и т. п., так и порочным цивилизациям для оправдания очевидного, грызущего ее зла выдвигает доводы рассудка, науки, поэзии, философии и даже морали. И подобно тому как пьяница, сколько бы ни воспевал вино, сколько бы ни философствовал о его благотворном значении для здоровья, для ясности духа и для дружбы, все же обречен на перерождение печени, на катар желудка и алкогольное помешательство, – так точно и пьяная в различных отношениях городская культура: она разлагается на наших глазах в язвах пресыщения и истоще-

* Истина в вине (лат.). – В. Т.

няя. Эта культура еще ослепляет близоруких идолопоклонников; вся в косметиках, как опытная кокотка, она может иметь еще более цветущий вид, чем скромная деревенская культура с ее естественным загаром; кокотка еще гордится своими румянами, как «последним словом химии», по червонцу за золотник, но дни красоты ее сочтены. Она хоть и нарождается еще, но уже и гибнет, и если бы рядом с ней не было питающей ее деревни, она не продержалась бы и трех дней.

XLIV

Для оправдания ложной цивилизации существует теория вечного развития, прогресса, эволюции. Эта теория отличается замечательной стройностью, как все мертвые, механические построения. Кристаллизовавшийся, остановившийся в теории ум красивее ума живого, подвижного, как морозные узоры на окне красивее пара, из которого они произошли. Теория прогресса навязывает природе вечное развитие – то с целью воплощения Всемирного Духа, который в течение всей прошлой вечности все еще будто бы не успел воплотиться, то без всякой цели. Цель развития – идеал – признается бесконечно далеким и недостижимым, и в этом будто бы заключается вечный импульс жизни, залог непрерывного развития. Теория вечного прогресса всеми принята теперь и считается почти бесспорной. Меня же она вовсе не увлекает. Бесконечное развитие мне кажется какою-то кощунственной бессмыслицей; оно отрицает одно из основных свойств Бога – неизменность. Вечное развитие, от века предустановленное, делает Бога излишним. Раз машина пущена в ход на целую вечность – что делать механику? Вечное развитие вполне отвечает материалистической философии, которая ничего не знает, кроме атомов и их комбинаций, кроме механического отслаивания явлений при бесконечной встряске. Иной природы в мире, иной души материалисты не допускают, и чтобы прикрыть хаос, неизбежный по их теории, они выдумали «вечное развитие». Но эта теория, упраздняя Бога, упраздняет и совесть челове-

ка, и разум. К чему они, раз мы захвачены в великий мировой поток и в нем барахтаемся. Как инфузории в Гольфстриме, мы не можем отклонить всемирного течения ни на ширину волоска. Как бы ни было гадко на свете, мы должны утешиться, что это – неизбежная стадия развития, и как бы ясно ни указывала нам совесть лучшие порядки, спешить не следует: мы бессильны подойти к цели ранее, чем нас донесет до нее общий прогресс. А что непременно донесет, в этом правоверные поклонники прогресса не сомневаются. Когда им указывают на то, что не все идет к лучшему, что и отдельные люди, целые государства, целые цивилизации, целые материки со всей природой их вымирали и гибли, и даже небесные тела распадаются на части, – какой же это прогресс? – правоверные отвечают на это, что «стало быть, так нужно для высшего мирового развития, прогресс идет спиралью, и на смену худшего мира явится когда-нибудь лучший». Явится ли, однако? – Непременно явится, добродушно заверяют прогрессисты, читающие в бесконечности, точно у себя в записочной книжке. Признаюсь, перспектива лучшего мира, хотя бы «по спирали», этак через миллион лет, меня мало соблазняет, и толки о нем мне кажутся пустословием. «Бесконечного развития» в мире я не вижу, и не вижу никаких оснований для него. Если бы у мира были какие-нибудь цели, он имел уже время их достигнуть: в прошлом протекли ведь неизмеримые бездны веков (если допускать существование времени вообще: новейшие философы, как известно, для самого мира отрицают время, как и пространство, считая эти понятия лишь формами *человеческого* сознания). К миру нельзя прилагать меры и нормы нашего ограниченного понимания. «Стремиться», «достигать целей» могут только конечные, мгновенные существования, – мир же в целом неподвижен, неизменен, и каждое мгновение достигает всех своих целей.

Каждое явление есть и идеал (для схожих явлений), и отступление от идеала, подобно тому как любая фигура может быть и типом для смежных фигур, и разновидностью каждой из них. Идеал возможен только для отдельных существований,

и каждое из них имеет свой особый. Идеал есть момент, когда вещь приходит в равновесие с остальным *миром* и с самой собою. Капля воды принимает бесконечное число форм, но все они стремятся к форме шара, которая и есть для капли идеал: приближаясь к этой форме, капля всего прочнее и уравновешеннее; слишком отдаляясь от нее, она разрушается. Нельзя утверждать, что идеал (для какой угодно подвижной системы) недостижим или бесконечно далек: напротив, он бесконечно близок и каждую минуту достигим, лишь бы явились вполне определенные для этого условия. Человек, как и всякое явление, имеет *свой*, человеческий идеал, и не вне себя, а внутри, не в бесконечно далеком будущем, а теперь, каждое мгновение. И этот идеал достигим совершенно одинаково теперь, как и через миллионы лет, смотря по тому, когда явятся подходящие условия. Эти условия слагаются не каждый момент, но иногда все-таки слагаются: на мгновение мы достигаем идеал, как и капля на мгновение бывает паром. Мне кажется, когда мы истинно добры, а это случается же, когда нас восхищает улыбка милой женщины или лепет ребенка, – мы у идеала; когда, взволнованные до слез красотой природы, мы обращаемся к Богу, – мы у идеала; когда охватывает нас чувство долга, героизма, умиления, счастья высокой мысли, – мы у идеала. В эти счастливые минуты мы совершенны, как боги. Не каждый испытывает эти мгновения одинаково часто, но каждый способен их испытывать во всякое мгновение: стоит явиться нужным для этого условиям. Случается, что эти условия слагаются сами собой – и тем истинная (деревенская) цивилизация и хороша, что дает *естественные* условия счастья: вы рождаетесь в ней уже готовым для идеала и входите в среду, благоприятную для него. Поэтому жизнь в природе, не загаженной и не истощенной хищничеством, без особых усилий приближает человека к совершенству. В тех редких райских уголках, где слагалась иногда чистая деревенская цивилизация, человек *естественно* перерождался в красивое, сильное, интеллигентное и доброе существо, которому было легко доступно счастье осуществленного идеала.

XLV

Мысль о бесконечной эволюции, о недостижимости идеала – не только праздная, ни на чем не основанная, но и вредная мысль: она, подобно мусульманскому предопределению, связывает живое творчество человека, примиряет его со злом и парализует стремление к благу. По теории прогресса ничто ни достаточно хорошо, ни достаточно плохо. Если вам хорошо, прогрессист говорит с кислой миной: «Это еще что за “хорошо”! Впереди гораздо лучше». «Лучше всего?» – спрашиваете вы. – «Нет, – отвечает прогрессист. – Самое лучшее недоступно». Этим внушением он в бочку меда вашего самочувствия всегда вливает каплю дегтя. Если идеал недостижим, то человек всегда немного недоволен, сколько бы ни совершенствовался, и жизнь его всегда немного отравлена. Для чего достигать лучшего, если и лучшее не удовлетворит? Я очень хорошо помню изречение Лессинга⁵⁵ об истине в одной руке Божией и о достижении ее в другой руке, я знаю необходимость вечного стремления к идеалу, но думаю, что именно для этого-то вечного стремления идеал хоть на мгновение должен быть достижим, чтобы человек имел *реальное* о нем представление, и только такое вполне живое представление способно увлекать человека. Как стремиться к тому, чего никогда не испытал, не прочувствовал и о чем не имеешь понятия? Если бы идеал был недостижим, разговоры о нем были бы бессмысленны, как о вещи небывалой и несуществующей. Схемой стремления к идеалу берут обыкновенно асимптоту (параболу, стремящуюся на бесконечном расстоянии коснуться линии, параллельной ее оси) или многоугольник, при бесконечном увеличении числа его сторон стремящийся к кругу и т. п. Эти схемы не отвечают идеалу живого, реального существования: для него схемой может служить какая-нибудь колеблющаяся система, например маятник. Под влиянием тяжести и инерции маятник вечно колеблется, но на мгновение в каждом взмахе совпадает с вертикалом. В этом жизнь маятника, в этом и вообще земная жизнь: успокоение в идеале было бы *бессмертием*, как остано-

ка маятника на вертикале, но не *жизнью*. Счастье жизни в том, чтобы колебания делались быстрее и чтобы мы возможно чаще совпадали с идеалом. Совершенная жизнь подобна лучу света, где эфирные колебания непостижимо быстры, но не сливаются сплошь с направлением луча, а ежемгновенно его пересекают. Инстинктивно зная, что идеал достижим и что он внутри, а не вне нас, человек естественно жаждет этого достижения, чтобы снова и снова прожить хорошие минуты. Мне скажут: «Достаточно испытать любое счастье, чтобы оно потеряло свою прелесть; заманчиво только недоступное». На это я замечу, что теряет прелесть лишь то, чего вы, достигнув, остановились: являются пресыщение и скука. Но если вы достигли чего-либо и тотчас же утратили, ваша жажда никогда не насыщается: достижение идеала на одно мгновение лишь подтверждает прелесть надежды и усиливает желание. Наоборот, совершенная недостижимость парализует всякое желание стремиться к цели: каждый нагнется поднять красивый цветок, но никто не протягивает руки к звездам, не менее прекрасным, чем цветы. И я думаю, идеалами нужно считать цветы, а не звезды. «Ваш идеал достижим, – возразит мне прогрессист, – но это потому лишь, что он не высок: вы несовершенны, и удовлетворить вас нетрудно. Но вы попробуйте вообразить себя иным, более совершенным, например бесплотным существом, и попробуйте достичь его идеала». На это я отвечу, что зачем же мне воображать себя тем, что я не есть? Я человек и не могу воображать себя ни птицей, парящей в воздухе, ни растением, ни духом. Вот когда я превращусь в иное существо, тогда, разумеется, и идеал мой изменится, пока же я человек, мой идеал может быть только *человеческий*, и раз он такой – он для меня достижим. У каждого человека свой особый идеал, отвечающий его индивидуальности, и если бы порок давал здоровое, не отравленное счастье, допустимы были бы и порочные идеалы. Они невозможны потому лишь, что зло как начало разрушительное не может быть выражением жизни, и за преступлением всегда следует та или иная казнь: в виде ли противодействия среды или в виде неутешного горя совести. Человек искренно злым бывает

лишь в минуты временного помешательства. Чаще всего зло происходит не от злобы, а от ошибки – от заблуждения разума, разобщенного с совестью; это не «злая воля», а плохо направленная воля. Говоря о достижимости идеала, я имею в виду, конечно, *естественный* идеал, а не сочиненный; вот сочиненные, предвзятые идеалы – те действительно бывают недостижимы. Стоит вам вообразить, что ваш идеал – быть миллионером или великим визирем, чтобы обречь себя на вечное и вполне бесполезное стремление. Но ведь это уже вид помешательства, а не здоровое состояние. Современное, полное бреда, общественное сознание поминутно заменяет естественные, доступные идеалы искусственными, недостижимыми, – и в этом, мне кажется, и заключается коренное зло жизни.

XLVI

Обессиливая стремление к естественному и близкому совершенству, теория прогресса делает как бы ненужною и борьбу со злом. Если всякое зло есть лишь «стадия развития», то уничтожать его – не значит ли бороться против самого прогресса? Правда, желание бороться со злом я могу назвать тоже стадией развития и этим оправдать себя перед прогрессистами, но я также буду прав, если и откажусь от борьбы под предлогом, что это тоже особая «стадия развития». Я буду прав, если сниму у нищего рубище: ведь все это «стадии развития», и этим фиговым листком уже многие прикрывают срамоту своей совести. Теория прогресса устанавливает совершенствование жизни помимо воли людей: только садитесь в карету времени, и она уж довезет нас до ворот рая, хотя и через 100 000 лет после вашей смерти. Людей, по теории прогресса, как бы нет, а есть какие-то пешки, с которыми прогресс творит что хочет. Особенно пыльные защитники эволюции полагают, что сделаться порядочным человеком нельзя вовсе: «Надо, говорят они, родиться таким человеком, получить от предков и других условий жизни своего рода аристократическую привилегию на нравственное совершенство и зависящее от него счастье, и есть тысячи, миллио-

ны людей, привилегии этой не имеющие и потому злым роком *предопределенные* быть нравственными уродами... и неуклонно стремиться к несчастью и гибели». Прогрессисты договариваются буквально до предопределения – до полной бесполезности борьбы со злом, до полной неменяемости всех гадостей. Для негодяев это просто скрижали Моисея⁵⁶: не получил, дескать, от предков и других условий нравственного совершенства – вините не меня, а злой рок.

Из всех красивых по внешности предрассудков теория неизбежного прогресса – один из самых вредных. Эта теория освобождает человека от нравственного долга, от обязанности быть самому «кузнецом своего счастья», по латинской пословице. Я же думаю, что вечного предопределенного прогресса не существует, и ничто заранее обеспеченное не ждет нас в будущем. Человечество впереди может быть и блаженно, и несчастно, смотря по тому, чего оно добьется. Счастье как отдельной личности, так и народу не дается даром: его нужно заслужить полною мерой, иначе оно не будет достигнуто никогда. «Царство Божие внутри вас»: оно всегда доступно, для каждого человека и для каждого поколения в полной мере, но «Царство Божие с усилием дается, и употребляющий усилие восхищает его» <Мф. 11:12>. Надо всегда помнить, что не только можно, но и нужно быть счастливым именно *теперь*, в данную минуту жизни, не ожидая бесконечно отдаленного, химерического «золотого века». Для этого нужно быть уверенным, что счастье доступно, что оно близко, в нас самих. Зная это, мы меньше внимания обращали бы на «наследство предков», на «другие условия» и вообще на внешний мир, и более – на внутренний, на мир души своей, всегда требующей к себе внимания. Ведь стоит только возвратиться к своей душе, чтобы увидеть, что она уже рождена счастливой, что она довольна Богом и не желает бесконечной тревоги для достижения такого-то будущего блаженства: она может и хочет быть блаженной *теперь*. Ошибочное внушение, что счастье вне нас, заставляет современного человека весь капитал души своей вкладывать в переустройство внешнего мира, в создание комфорта, путей,

зданий, утвари, одежды, украшений, жилищ, – и души у человека не остается для него самого. Человек как бы хочет пре-
взойти природу, исправить ее законы и своею младенческой
кистью пройти по великой картине мироздания. Для счастья
же человека вернее думать, что мир никуда не стремится, что
он так же хорош, как в дни творения, и что дурны только люди,
и даже люди не так дурны, чтобы нельзя уж быть счастливы-
ми. В жизни, как иногда в математической выкладке, полезно
бывает предположить, что «задача решена», что вы уже счаст-
ливы, и тогда задача счастья выяснится легко и просто.

XLVII

Мысль о бесконечном прогрессе, я думаю, навеяна не
наблюдением над миром, а просто жадностью нынешней ци-
визации, признаком старости ее. Кто может удостоверить
бесконечность какого-нибудь явления, когда и вся-то жизнь
человечества – один миг в бездне времени? Идея эволюции
явилась обобщением ничтожного факта – временного прогрес-
са европейского общества. Свое лихорадочное возбуждение,
страсть к карьере наше поколение переносит и на природу,
всегда величественную, спокойную, никуда не стремящуюся и
довлеющую себе. Столь красивый и звучный лозунг «вперед!»
понимается толпою как призыв к захвату, как вихрь перемен,
открытий, изобретений, ухищрений, причем и вопроса не ста-
вится, в какой мере все это нужно. «Вперед без страха и со-
мнения!» – приглашал Плещеев в своей юности, не подозревая,
что впереди, даже на склоне его собственной жизни, даже *в*
самом себе и среди новой молодежи он встретит не «подвиг
доблестный», а полную неспособность к подвигу. Этот лозунг
прогресса «Вперед!» (“Go ahead!”) сделался *idée fixe** нашей
эпохи, и, как всякая мания, он ведет ее к гибели. В начале ны-
нешнего века Европа стояла на путях развития политической
свободы, промышленности, капитализма, обезземеления наро-
да, развития городов, колониального хищничества, развития

* Идея-фикс, навязчивая идея (фр.). – В. Т.

гуманных идей и жестоких дел, правосудия и милитаризма, просвещения и национальной ненависти и т. п. Некоторые пути были прекрасны и вели к счастью, но другие пути – и большинство их – были таковы, что подвигаться по ним «вперед» лучше было бы «со страхом и сомнением», нежели без них. В конце этих путей оказались пропасти, в которых уже скрываются авангарды армии прогресса: поколения оторванного от земли народа, пресыщенной буржуазии, переутомленной интеллигенции, разблагороженной аристократии. Не «вперед без страха и сомнения» следовало бы внушать толпе, а скорее – «остановитесь и осмотритесь», одумайтесь, разглядите дорогу и вспомните, куда вам нужно идти, да и нужно ли. Вы спешите от деревенской сохи к городским машинам, вы стремитесь в города; но, может быть, вы не устроились в деревне не потому, что она не пригодна для естественной жизни, а только оттого, что вы стали не пригодны для такой жизни; но ведь если это так, то вы всюду понесете с собою свою негодность и отравите ею всякие условия. Так оно и вышло: как ни спешила, как далеко ни отошла теперешняя Европа от патриархальной эпохи, она переносит с собою в XX век все язвы прошлого и теперь находится перед теми же самыми и еще более усложнившимися задачами, как и в начале «прогресса».

XLVIII

Идея прогресса, обращающая мир в один гигантский ипподром с бешеною скачкою всех и каждого, вносит много зла в жизнь людей, захваченных этим сумасшедшим внушением. Для достижения карьеры, которой нет границ, люди тратят самое дорогое, что есть на свете: *время* жизни, данное всего один раз для каждого. Теперешняя трудовая жизнь очень похожа на нынешнее путешествие: путник, спеша в местность, ничуть не лучшую той, которую он оставил, не останавливается на развертывающихся картинах, не замечает ни быта, ни нравов, ни обычаев попутных стран. Сев в Петербурге, он через сутки уже в Польше, еще через сутки – в Австрии, на третьи сутки –

во Франции и т. д. Такая дорога страшно скучна и утомительна при всей своей волшебной для прежнего времени быстроте и скучна именно по причине этой быстроты. Не то бывало в старину, когда приходилось несколько раз в день останавливаться, «кормить», дневать, ночевать, разводить костры при дороге, купаться в речках, строить палатки или селиться в избах на время отдыха, то есть приходилось хоть понемногу *жить* с природою и людьми тех мест, через которые ехали. Путешествие было медленное, но интересное; в каждую минуту его влагалось что-нибудь новое и живое. Такова была вся жизнь в старину: неспешная, обстоятельная и потому интересная. Современный человек мчится опрометью по своей жизненной дороге, усталый и скучный. Весь живя ожиданием какой-то отдаленной цели, он боится потерять минуту и теряет жизнь, имея удовольствие увидеть, что в конце «карьеры» нас ничего не ждет, кроме смерти. Все великие цели оказываются позади, и цели пренебреженные, уже невозвратные. От рождения была у меня великая цель – быть подобным Богу, а я был подобен животному. Была великая цель – быть добрым, мудрым, ценящим счастье и дающим его, а я был зол и неразумен, недоволен пучиной счастья, которою окружен был, и сам разливал кругом яд злобы и скорби... Вместо жизни назади – ряд тусклых, ничем не украшенных дней, дней бесплодных, как неудобренное поле. Человек догадывается – увы, слишком поздно, – что не один конец жизни имеет право на счастье: такое же право имеют и начало, и середина, и каждый день, каждое мгновение, и в каждое мгновение нужно было влагать свою радость, чтобы жизнь была сплошным счастьем. В этом глубокий смысл великого предостережения: «не заботьтесь о завтрашнем дне». Единственное, что нужно каждую минуту – теперешняя любовь теперешняя мысль, теперешняя радость – и все это нужно найти теперь же во что бы то ни стало как отдельному человеку, так и народу. В следующее мгновение это будет уже поздно: у того свои заботы. Истинный прогресс состоит не в том, чтобы достигать идеала в отдаленном и даже бесконечном будущем, а в том, чтобы *достигать его теперь*.

Тяжело умирать с сознанием, что еще не жил, а мы ведь каждую минуту умираем для прошлого. Весь вопрос счастья в том, чтобы *теперь же* жить полной, совершенной жизнью, и для этого нужно *теперь же* устраиваться так, как будто вы уже достигли отдаленной цели: если вы теперь не готовы для счастья, вы не будете готовы и через десятки лет.

XLIX

Идея постепенного прогресса заставляет и отдельного человека, и общество откладывать самые важные условия счастья на неопределенное будущее, а в настоящем пробавляться кое-какими и даже вредными условиями. Ребенку, например, необходим теперь же, в годы детства, свой досуг, своя свобода, чистый воздух, игра – все это *безусловно необходимо*, – ведь это самые торжественные дни жизни; едва распустившийся, благоуханный цветок природы не завтра, а сейчас требует солнца и росы, свежего дуновения полей; не запирайте его в пыльный ящик со стеклянными отверстиями, не заслоняйте от него природы. Он ведь еще питается и растет – не отрывайте его от сосцов его матери, иначе он выйдет заморышем. Но родители рассуждают: «Ну, что же делать, пусть, бедный, теперь потрудится. Правда, он утомлен после классных занятий, но пусть еще приналяжет и выучит немножко финикийских неправильных спряжений. Кончит курс – гуляй себе на здоровье!» Так изо дня в день, в течение десяти лет, в течение всей юности – драгоценнейшей, невозвратимой поры жизни. Но вот гимназист «кончил курс»; желто-зеленое лицо школьника становится изжелта-синим. Ему, как и прежде, нужен досуг, чистый воздух, друзья и т. д. Как и в детстве, все это всегда близко и доступно, но его самого уже душит жадность. С одной стороны, тянет на улицу, за город, в рощу, на реку; как хорошо было бы взять лодку и одному или с друзьями поехать куда глаза глядят, высадиться где-нибудь в диком месте, разложить огонь, побегать, подурачиться, – как хорошо было бы провести всю летнюю ночь где-нибудь в таком берегу или среди леса,

вслушиваясь в таинственные голоса ночной природы, впивая в себя аромат и свежесть, чувствуя над собою голубую бесконечность. В такую ночь, да когда еще соловьи поют, да когда чувствуешь вблизи дружеское сердце – можно изнемогать от счастья – и как не доставить себе такой доступной радости? – Да, но с другой стороны – некогда рассуждает студент: надо бежать на урок, на другой, третий, надо репетировать, поправлять ученические тетради, переписывать по двугривенному за лист – иначе денег не хватит. Надо одеться почище, купить то, заказать это... И вот мелькают золотые дни и ночи, проходят годы поэзии и восторга души – студент ничего не видал и не слышал, кроме учебников. В лучшем случае губит молодежь нелепое желание вместить в четыре года университета развитие четырех веков европейской мысли. Студент соображает: «Гулять уж некогда! Налягу-ка я хорошенько, запрусь, постригусь в науку... А там, кончу курс, схвачу место – отдышусь, нагуляюсь». Кончит курс – наука забыта; та же жадность сейчас же заточает молодого человека в пыльную канцелярию, бесконечно далекую от науки, погружает в вороха бумаги, среди которых приходится корпеть лучшую половину дня, тратить на них лучшую свежесть мозга, возвращаться домой усталым и ни к чему не способным. И так изо дня в день, из года в год, до беспорочной пряжки, до подагры и пенсии. «Вот получу пенсию – поживу, наконец, на себя», – думает чиновник. О пенсии мечтают с большим пылом, нежели о женской любви, но вот и пенсия. – Свобода! Жизнь! Вот, наконец, и ты! Но пенсия всегда оказывается мало, и даже отставные генералы ищут «письменных занятий» – и это даже лучший исход. Если пенсия достаточно и работать нет нужды, то начинается последний акт драмы. Отставной человек, к изумлению своему, видит, что он решительно не знает, что с собою делать; он начинает себя чувствовать в страшной пустоте. Оказывается, что он уже научился пользоваться свободой и жизнью, что вне своих входящих и исходящих он ничего не умеет и ничего не знает. «Боже, да я безграмотен! – восклицает он в минуту сознания. – Я все позабыл и ничему не научился, тридцать лет я ничего не читал

и оборвал все связи с мировой и общественной жизнью!» Даже по «Петербургской газете»⁵⁷ отставной человек замечает, что где-то волнуется живое человеческое море, кипят страсти, трепещут сердца от радости или боли, а он далек от всего этого, и все это ему чуждо. Чем украсить ему немногие оставшиеся годы? Нечем. Из своей юности он не вынес благородных и светлых впечатлений, ни в малом, ни в великом он никогда не был героем, он не видел и малой доли роскоши природы, не причастился и в малой мере сокровищ знания, таланта, вдохновения. Говорят, жили на свет мудрецы и поэты, но для отставного человека они не жили: он их не читал и так и сойдет в могилу, не подозревая наслаждений, какие дает Шекспир или Ньютон. Зачем, спрашивается, я жил? – думает горько уже давно в сущности мертвый, только не похороненный человек.

Я знал чиновников, которые до того тосковали в отставке, что приходили в канцелярию и бродили там без дела, как могильные тени около покинутых жилищ...

XL

Еще печальнее примеры загубленных лет и целых столетий в жизни народов, следующих теории прогресса. Возьмите хотя бы нашу соседку Персию. Огромная благословенная Богом страна с неисчерпаемыми естественными богатствами, – она еле в состоянии прокормить несколько миллионов полунищего населения. И население это по своей расе талантливое и сильное – все условия налицо для самого быстрого прогресса. Ни персидской природе не нужно развиваться еще сто тысяч лет, ни персидскому народу, чтобы он мог усвоить при первом же прикосновении все истины современного развития; образованный перс ничуть не ниже просвещенного англичанина. Что же держит благодатный край в его жалком упадке? Неужели этот упадок сколько-нибудь вяжется с эволюцией? Упадок понятен для тех, кто знает порчу персидских нравов, в особенности – верхних слоев, держащих свое отечество, точно покоренную страну, и немилосердно выжимающих из нее

все соки. Народное тело живет еще, но не растет и чахнет, как организм, в который внедрились паразиты. Персия могла бы цвести здоровьем и счастьем; уже сотни и тысячи лет назад здесь поместилось бы в десять раз большее население, просвещенное, зажиточное, довольное: условия для этого были и остались налицо, как в умирающем от чахотки организме все условия для здоровой жизни. Стоит придти англичанам – как это, вероятно, и случится, – стоит удалить паразитов и ввести здоровые порядки, как Персия воспрянет и начнет развиваться; пример Египта и Индии налицо. При этом нужно заметить, что английская администрация далеко не образцовая, иначе примеры ее возрождающего Восток влияния были бы еще разительнее. Я беру пришествие англичан, но могут быть и иные случайности для народного возрождения, как это было в Аравии во времена Магомета, или в Западной Европе в прошлые века, или у нас в недавнее время. Народ может возродиться, но может и погибнуть, как зараженный организм, и плохо устроенные страны дают достаточно примеров этой гибели. Население может не уменьшаться, а даже увеличиваться, и все-таки народ гибнет: поколения сходят в могилу молодыми, едва дав приплод, сходят несчастными, униженными, забитыми, умирая насильственной смертью – не от естественной старости, а от голодного и трудового истощения, от всевозможных болезней – спутниц нищеты и грязи. Преждевременная смерть есть гибель; она может подготавливаться постепенно, но равносильна внезапной катастрофе, обрывающей вашу жизнь в половине пути. Но и не только смерть: несчастная жизнь есть та же гибель, и еще более горькая. Вместо того чтобы быть ясной, любовной, радостной, жизнь поработанных народов уныла, темна и отравлена враждою: тело живо, но душа уже томится в могиле. И так сходит со сцены одно поколение за другим; история такого народа есть повесть о бесконечной насильственной смерти его. Какой же это прогресс? Какие тут «стадии развития»? Нет, не надеясь нисколько на прогресс, следует каждому, у кого бьется живое сердце, тотчас же приходиться к такому народу на помощь, как к утопающему, и не постепенно,

а возможно быстрее спасти его из вредных условий. Всякому народу и во всякое время необходимы гуманные порядки, просвещение, свобода и т. п., и все это необходимо не в низшей, не в средней, а *в полной мере*, как чистый воздух для груди одинаково нужен и для лорда, и для мужика. Все это жизнетворные, естественные и самые важные условия счастья, и они нужны теперь же, не откладывая ни на минуту. Но попробуйте заявить об этом, вам сейчас же отвечает хор прогрессистов: «Мы еще не созрели! Нужны постепенные стадии развития... Подождите, все придет в свое время». Так рассуждали прежде о крепостном праве, задержав его отмену на целое столетие, – так иногда рассуждают и теперь. По теории прогресса, если вы задыхаетесь в смрадном подземелье, вас нельзя прямо выпустить на свежий воздух, а необходимо протащить предварительно по хлевам и отхожим местам, дабы вы *постепенно* приучились к здоровой стихии, – или если вы пили отравленную воду из лужи, вам нельзя прямо перейти к чистой воде, а необходимо попить помой. Прогрессисты со своей надуманной, вымученной теорией являются, в сущности, самыми закоренелыми врагами общественного развития, которое, как и всякое развитие, зависит вовсе не от времени, а исключительно от подходящих условий. В декабре не цветут розы, но не потому, что это время – декабрь, а потому что холодно. Устройте тепло и свет – и в том же декабре для вас зацветет весна. В целые тысячелетия народ может не двинуться ни на вершок, и в десятки лет он может достичь вершин культуры. «Раз народ не развивается, значит, нет для этого условий», – возражают прогрессисты. – «А почему нет условий?» – «Потому, что народ не развивается». Все, как видите, очень просто и почти благополучно. *Circulus vitiosus** – самая удобная логическая фигура для тупой и не совсем честной мысли. Она дает возможность все виды сложить на кого угодно, только не на вас самих. Огромное большинство верящих в прогресс – а кто же в него не верит? – думают, что современное общество отнюдь неповинно в неустройстве жизни: виновато «прошлое», вино-

* Порочный круг (лат.). – В. Т.

вата «наша несчастная история», виноваты «там, в Петербурге». Все виноваты, только не мы...

II

Отрицая теорию вечного, непрерывного прогресса, я, разумеется, не думаю отрицать прогресса конечного. Общество и люди могут быть и лучше, и хуже, и в настоящее время они далеки не только от невозможного совершенства прогрессистов, но и от вполне возможного. Люди должны идти вперед, но они не подвинутся ни на вершок, если не *захотят* этого. Надо *захотеть* жить лучше – в этом весь вопрос. Скажут: захотеть без причины нельзя, воля не свободна и т. д., но все это праздная, бесплодная болтовня. Теория несвободной воли, подобно теориям вечного прогресса и недостижимого идеала, наследственности и т. п., придумана для оправдания зла. Если все мои поступки и мысли не свободны, я невеняем, и всякая гадость мне прощительна. Этот взгляд низводит человека до уровня мертвых вещей, управляемых внешними силами; роли бильярдных шаров, катящихся, куда их толкают, и даже по низшей роли шары толкает все же разумная воля, а нас по названной теории двигает одна слепая, механическая причинность. Где *начало* этой причинности, мудрецы теории не говорят, а оно должно же быть. И я думаю, начало это не только *было*, но и есть и всегда будет, и проявляется беспрерывно – иначе мир бесконечные века тому назад остановился бы (как предсказывают в будущем математики, не верящие в живое начало мира). В сознании человека это свободное начало проявляется в совести, в высшем разумении. Не у всех совесть сильна, но у всех свободна, если душа не омрачена сумасшествием. Истинный прогресс и состоит в развитии свободы воли, то есть все большем и большем подчинении человека совести. В тот момент, когда мы поступаем благородно, мы свободны, мы на вершине прогресса, для нас возможного, и этот, для каждого отдельный, личный прогресс есть истинный – единственный, о котором стоит заботиться и говорить. Только он – живой

прогресс, совпадающий с сознанием и счастьем; всякий другой прогресс: общества, народа, человечества – есть механический результат единичных развитий: характер его зависит от преобладания положительных или отрицательных составных частей, как сумма алгебраического многочлена. Главнейшее внимание человека должно быть обращено на развитие своего живого, личного прогресса; всякий иной приложится к нему. Для личного же совершенствования нужно верить, что оно возможно, что оно доступно, что идеал близок, и от нас зависит достичь его или нет.

Невозможность постоянного пребывания в идеале или постоянного, сплошного счастья не должна нас смущать: беспрерывные отклонения требуются, как я сказал выше, самую природу живого счастья. Чтобы быть живым и свежим, счастье должно быть подвижным. Остановка на счастье опасна, как остановка махового колеса на мертвой точке. Истинное, здоровое счастье есть не экстаз, не неиспорченное блаженство истеричных маньяков, а некоторая средняя мера; это – мгновение идеала, растворенное в усилении достижения. Сплошной ряд этих мгновений – экстаз – насилует нервы, истощает их, так что после экстаза требуется уж слишком долгий отдых и даже реакция в виде чрезмерного страдания. Наш нервный механизм, как и всякая система, приспособлен для средней работы, и хотя может выдерживать крайние напряжения страдания и блаженства, но лишь ненадолго. Подобно всякой машине, от форсированной работы он ломается. Поэтому счастье следует расходовать осторожно: избегая страданий, не следует вдаваться в эксцессы счастья, а нужно вино жизни мешать с ее «водою трезвой» и пить не спеша. Только тогда *вся* жизнь будет использована, без мертвых промежутков, без реакций душевного сна или душевного похмелья. Пессимисты ошибаются, утверждая, что счастье невозможно потому уже, что оно переплетается с лишениями, болезнями, смертью, отравляющими блаженство. Наоборот: земное счастье только и возможно благодаря отступлениям от него, если они не переходят меры. Как сплошная солнечная погода надоедает и хочется туч, дождя,

ненастья, так и сплошное довольство: оно иссякает от недостатка противоположных ощущений. Вот почему, например, богатство с его роскошью не может быть условием счастья: оно лишает человека полезных лишений. Чтобы быть счастливым, нужно по временам заводить пружину счастья, несколько томиться, жаждать, претерпевать, накапливать в себе нервный аппетит, ту впечатлительность, в которой весь секрет жизни. Сознавая необходимость лишений, человек не только должен мириться с ними, но и искать их, как условий счастья: жизнь умышленно должна быть обставлена известными ограничениями, освежающими дом ваш, как тень деревьев в летний зной. В деревенской трудовой жизни лишения являются сами собой, но пресыщенным и тонущим в избытке людям нужно сознательно искать бедности: задача нетрудная, если есть совесть, и страшно трудная, если нет ее.

ЛП

Искать лишений не значит искать страданий, то есть крайней степени лишений. Во всем нужно знать меру. Голод и холод – зло, но в средней их степени они – благо. Чрезмерный труд – зло, но среднее напряжение – благо. Полное одиночество – зло, но временное уединение – благо. И наоборот: средняя сытость – благо, пресыщение – зло. Средняя теплота – благо, крайняя – зло. Небольшое общество друзей – благо, но необходимость жить в толпе – зло и т. д., и т. д. Благо составляет не правую и не левую сторону явлений, а середину их; зло сосредоточивается не на одном конце, а, как темные цвета спектра, на обоих концах счастья. Средняя степень удовлетворения сливается со среднюю степенью лишений, взаимно обуславливая одно другое. Я говорю здесь о *естественных* лишениях и удовлетворениях. И те, и другие даны для счастья. Естественные лишения немногочисленны и легко удовлетворимы: голод, жажда, потребность в тепле, сне, расположении людей и т. п. не нуждаются в чрезмерных усилиях, чтобы успокоить их, и если бы существовали только естественные лише-

ния, на земле был бы рай. Все несчастье – от воображаемых, искусственных лишений, безграничных и трудно удовлетворимых. Род людской, подобно сомнамбуле, грезит, ужасается несуществующих опасностей, стремится к несуществующим благам. Отдельные народы, сословия и люди гипнотизируют друг друга, внушают ложные представления о счастье и несчастье. Внушение действует повелительно, как реальная сила: ложные потребности политического влияния, почета, богатства и т. п. увлекают не только отдельных людей, но и народы на безумные предприятия, ведущие к гибели, – вспомните эпоху великих войн. Воображаемые потребности ненасытны и безграничны: каждая мера богатства, славы, чувственного наслаждения кажется не крайней, во всем хочется «прогресса», прогресса без конца, пока мания не приведет человека или народ к столкновению с природой и к гибели. Поэтому и отдельный человек, и народ должны помнить, что естественное счастье не впереди: оно здесь, оно осуществимо каждую минуту, если держаться естественной меры счастья, соответствующей объему душевной впечатлительности. Не желать многого можно; разум и совесть должны снять гипноз жадности. Раз вы поняли, что нужно лишь то, что необходимо, остальное покажется излишним: вы постепенно потеряете влечение к ненужному и освободите себя от *порабощения вещам* – самого опасного рабства, в котором пребывает современное общество. Однажды Сократа пригласили на выставку всевозможных произведений роскоши в Пирейской гавани. Тут было все, что могла придумать тогдашняя цивилизация. Друзья ждали изумления мудреца. «Изумляюсь, – сказал он, наконец. – Изумляюсь тому, до какой степени все эти вещи мне не нужны».

Современный прогресс есть по преимуществу служение телу, тогда как истинный прогресс есть служение душ. Древние христиане достигали блаженства, «спасая *душу*», то есть ведя внешнюю и внутреннюю жизнь так, как требовал их душевный идеал. Мне кажется, спасение души должно быть целью каждого поколения, и даже способы спасения до известной степени схожи, то есть всегда требуется некоторое удаление

от мирской суеты, отказ от корысти, проникновение чувством вечности и «борьба с дьяволом», – то есть с влияниями, отклоняющими от идеала. Во все века человеку, гибнущему в мире, приходится возвращаться к природе, обречать себя труду, поддержанию и смирению. Средством счастья всегда будет *непорочность* человека, физическая и душевная. Пусть, согласно древнему взгляду, душа есть бесплотное духовное существо, пусть, согласно взгляду материалистов, она – лишь явление, исчезающее вместе со своею материальною основой, – в обоих случаях душа нуждается в самом строгом бережении. Если она только форма энергии, а не бессмертное существо, то эта форма до такой степени нежная, что поддерживать ее чудесный строй нелегко. Как поднимающееся к небу кольцо дыма, как волшебно-красивое отражение в заснувшем море, – существование прекрасных и хрупких явлений требует соблюдения очень тонких условий. На непорочность жизни нужно смотреть с тем же трепетом, с каким вы смотрите на пугливую птичку, к которой незаметно подошли в лесу: неосторожный вздох – и она исчезнет.

В подобном бережении своего идеала должно быть высокое счастье, огромному большинству неизвестное. Мы желаем счастья, но не ценим свое совершенство ни во что. Мы бережем свои жилища, земли, деньги, свои вещи и украшения несравненно больше, чем самих себя. Посмотрите, например, как оберегаются какие-нибудь сложные инструменты. Для хронометров, например, устраиваются особые помещения, ставят их на мягкие ложа, переносят на упругих подушках, заводят их с величайшими предосторожностями, ежедневно слушают их «пульс» и отмечают погрешности в десятых долях секунды; каждому хронометру ведется дневник его жизни, где записано время, место и виновник его происхождения, все события с инструментом, его привычки при разных условиях температуры. Только при таком щепетильном уходе капризное существо соглашается показать долготу. Или посмотрите, сколько тратится внимания, чтобы устроить хороший телескоп. Это сложное чудовище везут в пустыню, в горы, строят для него

особый скит, устанавливают каменный фундамент ниже колеблющейся почвы, дорывшись до первозданной гранитной породы. Требуя для своей опоры всей земной твердыни, телескоп требует в поле зрения тончайших паутинных нитей, разрушимых нечаянным дуновением. Только при соблюдении всех этих бесконечно грубых и бесконечно тонких условий медный исполин получает право устремить к небу открытое око и способность иметь мировые тайны. Но разве человек не бесконечно сложнее хронометра и телескопа? Разве душа его не тоньше их мертвых, бессознательных показаний?

Люди современной городской культуры похожи на дурно содержимые механизмы. Инструмент сам по себе может быть превосходным, сильным, точным, но если он заржавлен, если масло в его скреплениях сгустилось и напиталось пылью, если рычаги и связи погнуты, – механизм работает вяло, неточно; он требует все большей и большей двигательной силы, начинает скрипеть, стучать и, наконец, останавливается. Несчастливые люди – именно такие нечистые механизмы: как дурно содержимые часы, душа их дает неверные показания, отстают или спешит вперед, не умея уловить точную меру времени, истинное значение жизни. Надо беречь душу, надо спасать ее.

Бог

<III>

Древние думали, что спасает *вера*. И я думаю, это условие осталось не менее нужным и теперь. Вера есть сознание идеала, она есть горячая надежда, напряженная до любви. Я думаю, это прекрасное настроение необходимо и теперь, как ясная погода духа, как здоровый климат его. Но наш век верует только в коротенькие, мгновенные вещи: в «факт» – научный или политический, все равно, – несмотря на то, что все философии, основанные на факте, рвутся, как паутина. Древние поступали правильнее, связывая свою веру с вечностью. Я думаю, вечность осталась и до сих пор, и ее хватит на все поколения.

Кроме мгновенных фактов существует еще факт бесконечный, безбрежный и не только не менее реальный, чем все остальные мгновенные факты, но *единственно* реальный, единственно неизменный, тогда как все остальное исчезает, как дым. Отрицать Вечность нельзя, она *есть*, стало быть, следует вводить ее в состав своей жизни, или, если нельзя вместить необъятное в ничтожное, то следует поступить обратно: свою ничтожность следует вместить в вечное.

Вечное кажется непостижимым, но мы чувствуем, что оно не ниже наших способностей постижения, а выше, и что коренная сущность его связана с природою нашего разума; мы знаем, что эта сущность проникает в нас, и мы сами для себя загадка, как и все, что нас окружает. Страшная интересность этой загадки, глубочайшее ее значение чувствуется всеми, кто только думает о них, и не признавать этого нельзя. Человек не замечает воздуха, рыба – воды: слишком объемлющая и проникающая стихия неприметна, хотя она – все. Но не замечая воздуха, мы *знаем* о нем, как знаем об эфире, об электричестве. Не замечая Вечности, мы ощущаем ее присутствие; и если бы мы не были столь раздерганы, рассеянны, растленны, мы, как целомудренные варвары, дети пустынь, вдумчиво глядели бы на небо и вслушивались бы в его мысль. Знать и ежеминутно чувствовать, что есть великая тайна, которая должна же когда-нибудь раскрыться, – знать это и не верить – нельзя.

Как земное тяготение удерживает почву, воду, атмосферу, мир растительный и животный, так духовная жизнь людей поддерживается тяготением к вечности, отовсюду окружающей и стерегущей нас. Как только присутствие этого величайшего из явлений, факта фактов, ускользает от внимания, человек начинает заблуждаться. Как бы убедившись, что он не понимает ни вселенной, ни атома, ни движения, ни силы, ни материи, ни сознания, – убедившись, что все первоначальные стихии необъяснимы, человек обращается разумом к миру условному, окружающему его маленькое существо в природе. Здесь разум вступает в свои права и одерживает блестящие победы. Не понимая *элементов*, он удовлетворительно разбирает *отношения*

между ними и способен мысленно поставить их во всевозможные отношения. Как с алгебраическими знаками x , y , z и т. д. можно производить какие угодно выкладки, подставляя условные значения, так и с вечными «неизвестными» стихиями: допустив те или иные свойства, можно сочетать их всевозможным образом. Получаются результаты самые несхожие, иногда мыслимые, иногда мнимые, иррациональные. Эти результаты называются философскими системами и теологиями.

Чаще всего результаты эти – не что иное, как «бред души больной» и «пленной мысли раздраженье». Но нельзя эти грезы души считать праздными. Они представляют собою самую возвышенную работу духа. Увлекая на время одно или несколько поколений, метафизические системы дают им иллюзию откровения, высокое счастье верить, что они совпадают с душою мира, сливаются с вечностью. Пусть пройдут века очарования, и то, что пленяло предков, покажется ложным и скучным для потомства, – система мысли сделала свое дело: ошастливила свою эпоху, и потомство повторит по-своему это творчество веры. Когда галлюцинация старого верования исчезнет, и на ее месте останется пустота, обычный мир вещей, мир призрачный, постоянно исчезающий и нарождающийся, человек видит, что это та же иллюзия, та же «маяя» буддистов, где душа тщетно ищет себе опоры. Отказавшись от философской иллюзии, где все казалось понятным, человек погружается в действительность, основы которой, безусловно, непонятны. Стремление *понять* их снова заставляет человека обратиться от мелочей и отношений к основаниям все более общим и постепенно доводит его до новой метафизической системы. Снова вечность входит в душу человека, и душа вырастает снова до пределов вселенной. Каковы бы ни были символы и внешние средства культа Вечности (эти символы зависят от местных условий времени и народа), под символами, пока они живы для народного воображения, скрывается великое, безмерно радостное настроение – *вера*. Умирает народ, умирает язык его – не только язык понятий, но и язык представлений, образов, – и вместе со смертью символов гибнет и

древняя религия, как гибнет картина, когда выцветают ее краски. Полотно осталось, но на нем уже ничего не видно. У нового поколения – новые средства сознания, новый язык идей и чувств, новые, только ему понятные символы – и вот на том же полотне потомство создает новую картину Вечности и картину эту признает за действительность. Этот момент искренней молодой веры – самый прекрасный в жизни человечества. Как птица, свившая себе наконец гнездо, дух человека водворяется во вселенной и отдыхает от давящей тесноты эфемерных, земных явлений. Только в Вечности простор и свобода...

LIV

Культ веры составляет продукт утонченной душевной работы целого народа, эпохи, культуры. Это общая душа огромной массы людей. Слияние с этойю общею душой вашего отдельного сознания, раз оно искренне, дает стихийное счастье, руководящее всею жизнью, до гроба, и продолжающее еще при жизни существование ваше до пределов вечности. Стихия не умирает, человечество живет без конца, мир бессмертен – и отлившийся в его формы дух чувствует себя частью этого бессмертного существа. Одно уже предположение, что жизнь не только в нас, но и кругом нас, что все живет, все сливается в мирообъемлющей силе, дает утешение. Человек мирится с тленностью своего личного существования: он начинает чувствовать, что с его смертью исчезнет только *случай*, а *явление* будет продолжаться. На смену человеку явятся бесчисленные поколения, которые повторят каждый момент его жизни бесконечное число раз; на земле не исчезнет сознание, не исчезнет любовь, воля, радость и стремление к Вечности. Все то, что человеку в себе истинно дорого, – останется; исчезнет в сущности чуждое и постороннее человеку – его тело, которое он так мало знает при жизни. В свободном состоянии наше сознание выражается понятием не «я», а каким-то вневременным, миропроникающим ощущением бытия, независимо от меня или вас. На самом деле душа у всех и всего одна, и мы,

наши тела, как более или менее тусклые рефракторы, лишь сосредоточиваем в отдельных фокусах лучи одного великого мирового Света. Нам кажется, что это мы – творцы своей искорки, в нас горящей, а в сущности эта искорка – только часть мировой души, которая не умирает. Пусть не сохранится память о нас, пусть мы заснем, перестанем чувствовать, но наше чувство, наше сознание будут продолжать жить в своем вечном источнике. Мир, нас произведший, не может не производить совершенно таких же, как мы; раз мы чувствуем свое тожество с производящей силой мира, мы вместе с нею будем жить вечно во всех ее изменениях. Слышит ли нас Вседержитель? Надо верить, что Он слышит, потому что Он во всем и в нас, и мы в нем. Если капля влаги подернута пылью земною, она уже не отражает солнца, или отражение получается тусклое. Если человек физически развращен, поработан дурным, болезненным инстинктам, сознание вечности в нем бледно, в душе его, как в тусклом стекле, мировой свет не сосредоточивается в фокус, не дает пламени.

Отмирание религий и философских систем не доказывает недостижимости их исканий. Обыкновенно утверждают, что верховная тайна мира безусловно недоступна, но если бы это было так, не стоило бы и тревожиться о такой тайне: она никого бы не привлекала. Но она влечет к себе, и влечет только потому, что она не вполне тайна: как идеал, она хоть на мгновения открывается людям – в меру их душевной силы и чистоты. Первоисточник жизни не может быть недоступен существу, проникнутому Его волей; если не разумом, то совестью или непосредственным внутренним созерцанием в минуты душевного подъема мы постигаем мировое сознание не менее реально, чем отдельные явления мира. Но подобно тому как для физического зрения нужно иметь здоровые глаза, так для психического – здоровую душу. Только «чистые сердцем... Бога узрят» <Мф. 5:8>. Счастье человека было бы слишком неполно, если бы он навсегда был отчужден сознанием от Верховной Сущности. Нужно верить, согласно великому завету, что общение с этой Сущностью возможно, что оно каждо-

му и во всякое время доступно: будьте только истинно чисты сердцем. Великие подвижники, спасавшие чистоту сердца, ощущали Бога. Каждый из нас, простых смертных, переживал минуты, о которых говорит поэт:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога*.

Для того чтобы жизнь превратилась в волшебную поэму, необходима органическая связь ее с Богом. Попробуйте внимательно смотреть на ночное небо с тонущими в нем созвездиями и мерцающими туманностями. Попробуйте вообразить беспредельные пространства, до которых даже свету с его сверхъестественною быстротою приходится достигать через миллионы лет, попробуйте продолжить эти пространства еще и еще, повторить тысячи, миллионы и миллиарды раз, попробуйте по любому направлению найти конец пространству и подумайте, что это значит. То же о времени, неизмеримом, неисчислимом, безначальном, бесконечном. Подумайте о материи с ее вечностью, о движении, и наконец, вспомните, что такое ваше собственное сознание. Это чудо из чудес доказывает, что и мир сознателен: трудно допустить, чтобы только ничтожное количество вещества, составляющее человеческое тело, имело привилегию на сознание, а весь остальной, бесконечно разнообразный, сверкающий, гремящий мир был мертв и *не знал бы* вовсе, что он существует. «Я есмь: конечно, есть и Ты»**. Куда бы вы ни углубились взором, вы всюду исчезаете в Вечности. Разве это – Ничто? Разве это не поражает, не влечет себе?

Жизнь принимает прекрасный, волшебный вид тотчас же, как вы внимательно, то есть религиозно к ней отнесетесь. Все кажется странным, загадочным, нездешним, и мелкие привычные явления жизни оживают: из механических и

* Лермонтов М. Ю. Когда волнуется желтеющая нива... (1837 г.). – В. Т.

** Державин Г. Р. Ода «Бог» (1784). – В. Т.

мертвых превращаются в яркие, полные интереса бытия. Все интересно, если во всем видишь раскрывающуюся тайну, – все теряет интерес, когда тайна непроницаема. Начало мира близко и доступно: сознание этого навеивает на человека возвышенное, подернутое благой Воле настроение, полное жажды слиться с нею.

«Не <...> как Я хочу, <но> как <...> Ты». <Мф. 26:39>. Вот когда человеку захочется молиться, он обретет счастье. Молитвенное настроение открывает то, что не в силах открыть иные виды сознания, и человек начинает верить в невидимое так же убежденно, как если бы он видел его. Таково это внутреннее откровение, составляющее благороднейшее счастье сердца.

Чем же должна быть жизнь? Она должна быть *богослужением*, непрерываемым священнодействием перед лицом Создателя. Как богослужение, жизнь должна быть торжественна, серьезна, полна вдохновенной радости общения с Богом, полна поэзии и мысли, направленной к вечности. В этом священнодействии жрецом должен быть каждый из людей-братьев; молитвою их должна быть любовь, которая «исправится», как кадило благовонное. Жизнь с Богом – величайшее счастье и завершение счастья.

О ЛЮБВИ

От автора

Предмет этой небольшой книжки – любовь, то движение сердца, которое превращает жизнь из скучной прозы в пленительный роман*, в поэму, а иногда и трагедию.

Любовь в алхимии счастья есть тот философский камень, прикосновение которого к самым презренным вещам дает им цену золота. Как жизненный эликсир, любовь возвра-

* Статьи, вошедшие в эту книжку, печатались под заглавием «Элементы романа» в «Книжках “Недели”». Здесь они являются просмотренными и значительно дополненными. – *Примеч. М. О. Меньшикова.*

щает омертвевшему отношению нашему к вещам огонь молодости. Это не просто очаровательное состояние жизни – это сама жизнь в ее творческом порыве, в благоухании ее расцвета. Но я решительно против предрассудка, будто любовь исчерпывается любовной *страстью*, будто вне плотской влюбленности нет блаженства. Я делаю попытку разъяснить, что страсть любви, как всякая страсть, есть *болезнь*, процесс естественный, но от которого следует беречься и с которым нужно бороться, раз он охватил вас. Я глубоко убежден, что супружеская любовь со всеми ее радостями не только не нуждается в плотской страсти, но искажается ею и обезображивается. Во имя самого чистого счастья, какое дает влюбленность, необходимо охранять ее от животного безумия, и я думаю, нравственная культура дает достаточно сил для предупреждения или для встречи этого недуга. Я отмечаю традиционную ложь, которою и в литературе, и в общественном мнении омрачен вопрос о любви. Я указываю, что не только для высшего совершенства, которое не нуждается в счастье пола, но и для стремления к этому совершенству, выражающегося в святом союзе супружеском, необходима вся доступная человеку чистота тела и духа, необходима строгая воспитанность в целомудрии и долге ненарушимой верности друг другу. К великому таинству, продолжающему жизнь, нужно готовить незапятнанные алтари, необходима жертва безупречная, нужна благоговейно сохраненная сила жизни у обоих супругов, так как в ней источник бессмертия их рода. Нужно помнить, что и в наши дни, как тысячелетия назад, могущество расы, красота и сила человеческого типа зависят весьма существенно от достойного или недостойного отношения к жизнетворческому инстинкту. Мудрость всех народов и опыт цивилизаций говорят, что не только отдельные люди, но и народы гибнут от потери религиозного взгляда на этот инстинкт.

Утверждая, что любовная страсть есть болезнь духа, я счел нужным напомнить картину его здоровья, безумию любви противопоставить разум ее. Этот разум любви я называю святой любовью («любовь небесная» по Платону), причем де-

лаю попытку связать с нею все явления духа: сознание не только блага, но и истины, и красоты.

О любовной страсти

Il n'y a guère de gens qui ne
soient honteux de s'être aimés quand
ils ne s'aiment plus.

*La Rochefoucauld. Réflexions**

I

Помните ли вы жалобный, как смертельный стон, напев романса:

Я из рода бедных Азров:
Полюбив, мы умираем...

Красавец стоял перед царевной бледный, сжигаемый роковой страстью, сестрою смерти...

Я знал одного беспечного юношу, всегда веселого, который наивно – как ребенок – смотрел на мир Божий. Точно в розовом тумане зари жил, пел, мечтал... И в один душный летний день пришли сказать, что он убит в саду. Я видел бледное лицо его, черную рану на лбу и устремленный в небо потухший взгляд. Он оставил свою юность и мечты, родных, друзей и цветущий мир, который ему так благоухал, он проклял все... А она, кто была причиной его изгнания из жизни, осталась равнодушной – с лицом херувима и куском льда в груди.

Помните ли вы ту историю, которой «нет... печальнее на свете», историю Ромео и Джульетты? Еще почти дети, свежие, невинные, они стремились соединиться навеки; на них

* Вовсе нет людей, которые бы не постыдились

Быть влюбленными, когда

Они больше не любят друг друга.

Ларошфуко. Размышления, или максимы и сентенции на темы морали. – В. Т.

обрушились тысячи преград, и никто не мог помочь им в их мечте, кроме смерти...

Помните ли вы страдания молодого Вертера, эту великую и нежную душу, истекшую кровью любви, изнемогшую, ушедшую из мира с горькою, невозместимою обидой?..

Помните ли вы мучения бедной Тани у Пушкина, ее жалкие, безутешные слезы, ее навсегда разбитую жизнь? Мучения задумчивой княжны Мери? Бесконечно горькие муки Лизы и Лаврецкого, суровую печаль Базарова, жгучую тоску Веры из «Обрыва», сатанинские терзания Дмитрия Карамазова, страдания Анны Карениной? Заставьте пройти перед вашим умственным взором вереницу влюбленных героев и героинь всех великих писателей – какое горестное, глубоко печальное это будет зрелище! От трагических мук Медеи и ярости Отелло, от безумной скорби нимфы Эхо до умирающей в тюрьме Гретхен – сколько невыразимых, беспредельных страданий сердца, сколько ужасов в этой блаженно-безумной, древней, как мир, поэме любви!

Возьмите самые счастливые, сказочные условия любви, возьмите цветущий остров среди голубого моря, поселите на нем невинных и прекрасных влюбленных, Дафниса и Хлою; пусть они любят друг друга с колыбели, пусть любовь плотская загорается у них на очаге дружбы, в тишине природы, среди вечной весны. Возьмите этот невероятно счастливый случай, и все-таки какую отравой напоена любовь обоих в самые даже невинные дни ее:

«...Душа ее томилась, взоры были рассеяны; часто она произносила имя Дафниса; почти не ела, проводила бессонные ночи и забывала стада. То смеялась, то плакала. Засыпала и пробуждалась внезапно. Лицо ее то сразу покрывалось бледностью, то вспыхивало румянцем; кажется, меньшею тревогой объята телка, ужаленная оводом. Нередко, оставшись одна, говорила она себе: “Я больна. Но не знаю, чем. Я страдаю, а на теле моем нет раны. Я тоскую, но ни одна из овец моих не потерялась. Я вся пылаю, даже в прохладной тени. Сколько раз царапал меня колючий терновник – я не плакала. Сколько раз пчелы жалили

меня – я от того не теряла охоты к пище. Значит, сильнее, чем все это – боль, которая теперь пожирала мое сердце”...».

Так вздыхала и томилась Хлоя, не умея назвать любовь по имени, так вздыхал и томился бедный Дафнис: «...Поднося пищу ко рту, он едва отведывал, если пил, едва касался губами краев чаши. Он был тих и мрачен, некогда более говорливый, чем полевые цикады. Он был неподвижен, некогда более резвый, чем козы. Стадо было забыто, флейта лежала беззвучная. И лицо его побледнело, как травы на полях во время летнего зноя... О злая победа! О страшная болезнь, которую я и назвать не умею!...»*

Так мучительна любовь даже в райской обстановке невинности, юности и красоты, в самых счастливых, грезоподобных условиях. А сколько боли и безобразия вносит в эту страсть еще и жестокая наша житейская проза. Невежды кричат о «блаженстве» любви плотской, разумея под нею сладострастие, то, что единственно им знакомо в любви, невежды готовы соблазнить этим сладострастием весь мир. Но те, кто в своей жизни испытал тяжелую болезнь любви и кто освободился от ее гнета, согласятся, какое опасное, какое безумное, какое горькое это «блаженство», и сколько души отнимает оно напрасно!

II

Что такое любовь? Как пение птиц в природе – сплошной, бесконечный хор половой любви, так изящная литература – непрерывная, многовековая легенда любви, где героем является все человечество. Это огромное явление нашей жизни, невыдуманное, реальное, дающее и радости, и мучений больше, чем все остальное в природе. Что же такое любовь? Мы все-таки не знаем этого, мы едва догадываемся о сущности любви, и ходячее представление о ней у нас суеверно до крайней степени – суеверно и безнравственно. Все мы смутно сознаем любовь

* <Лонг.> Дафнис и Хлоя, XII–XVII // Пер. Д. С. Мережковского. – СПб., 1896. – Примеч. М. О. Меньшикова.

как великую и сладостную тайну, мы жаждем ее, но жаждем грубо и материально, мы не влагаем разума в отношении к этой страсти, и оттого она бывает так безумна и вместо райских упоений всего чаще измучивает хуже ада. Если вспомнить, какое бесчисленное множество людей – все молодое человечество – страдает явно, и еще более тайно – от этой страсти, если вспомнить глубокое расстройство всех жизненных отношений влюбленных, расстройство дел, полное забвение ими нравственного долга, забвение всего на свете ради столь мимолетного счастья, которое почти всегда оказывается призраком, если вспомнить все эти жгучие страдания, невольно охватит глубокая жалость к жертвам и вырвется вопрос: да что же такое любовь? И отчего она так жестока? И неужели нельзя облегчить никакими средствами – если не теперешнему, то хоть будущим поколениям – эту страшную тиранию?

Задача эта нелегкая, но тем необходимее решить ее. В истории человека накопился достаточный опыт страстей, любви достаточно уделено внимания гениальных умов, и наконец, мы имеем в *нравственном откровении* ключ к раскрытию и этой загадки, как и всех остальных. Правда половой любви могла бы быть разъяснена без больших усилий, если бы не господствовал в нашем мирозерцании неподвижный, многовековый культ этой любви, унаследованный еще от старинного рыцарства, – если бы не та мгла, которою заволакивают любовь бездарные и безнравственные писатели, поэты, хранители дурных преданий, – все те, кто утверждают в человечестве мирозерцание в данное время. Если не подходить к любви плотской предвзято, с заранее внушенным ложным представлением о ней, ее секрет оказался бы гораздо проще, чем думают, и возможность ослабить мучительные стороны этой страсти была бы осуществимее.

Любовь, говорит Ларошфуко, подобна привидениям: «tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu»*. Да, *немногие* люди знают, что такое настоящая любовь, простая, не осложненная посторонними раздражениями. В современном обществе труд-

* Все об этом говорят, но мало кто это видел (фр.). Ларошфуко. – В. Т.

но встретить плотскую любовь естественную, не преувеличенную специально культурой, как трудно по махровым розам наших цветников составить себе понятие о диком шиповнике. Из всех явлений жизни половая любовь в современном обществе культивируется всего настойчивее и давно приобрела ультрамахровые формы. Наша теперешняя цивилизация по преимуществу сладострастная, и совершенно искренне многие высокоодаренные люди, вроде Мопассана, не видят в жизни никакой высшей цели, никакого лучшего счастья, кроме половой любви, хотя иллюзорность ее ими уже хорошо чувствуется. Самый вдохновенный гений человека – в поэзии, романе, театре, живописи, музыке, скульптуре – еще почти всецело посвящает себя изображению любви; половую любовью пересыщены наши нравы, она входит так или иначе во все наши игры и развлечения, ее тонкое веяние чувствуется всюду. Но как ни всемогуща эта страсть, она не всегда имела теперешнее значение. Существовали иные времена, иные цивилизации и – как я уверен – и в будущем возможны иные, когда плотская любовь вовсе не стоит в центре жизни, когда она на заднем плане.

III

В доисторической семье, когда, по мнению большинства ученых, господствовал коммунальный брак, любовь – как страсть – едва ли была возможна. Все мужчины были мужьями всех жен. Не могло быть места любовной страсти и в эпоху полигинии и полиандрии, во времена гинайкократии и вообще при разнообразных формах семьи до начала истории. (Женщина, по Гесиоду, вовсе отсутствовала в Золотом веке; она появляется только в Серебряном, когда устанавливается матриархат.) Первоначальный исторический период был, как известно, культурой *насилия*, эпохой бесконечных войн и охоты, где не любовь, а *победа* была центральным мотивом всякой деятельности. Женщина в те времена еще не существовала как предмет любви. В Австралии, по словам Летурно, «женщина и до сих пор является домашним животным, служащим для полового

удовольствия, для размножения рода, а в случае нужды – и пищей. Единственные занятия мужчины у дикарей до сих пор – охота и война. За ним в охотничьих экскурсиях следует его жена, неся на себе и детей, и движимое имущество семейства. Ест она лишь тогда, когда насытится ее господин; на ее долю приходятся остатки, которые он бросает ей, как собаке... Ее дикий обладатель, по-видимому, не питает к ней ни малейшего чувства привязанности. Австралийские женщины очень редко умирают естественной смертью; большею частью их убивают раньше, чем они состарятся и успеют похудеть, из боязни упустить такую хорошую пищу... » Собака, как более деятельный помощник в охоте, ценится больше жены. Женщина не имеет права есть вместе с мужем и даже жарить себе пищу на одном костре с его пищей, она живет в особой пристройке, на нее налагаются все самые тяжкие работы. Даже там (как у кафров), где дикарь переходит к земледелию, женщина «строит жилища, плетет циновки, prepares глиняную посуду... Она вскапывает землю, сеет и жнет. Мужчине никогда и в голову не приходит помочь ей... Повсюду в Африке мужчина занимается войной и охотой. В течение долгих часов своего досуга он лениво лежит где-нибудь в тени, курит или болтает». То же крайнее унижение женщины замечается и в Патагонии, – словом, всюду в первобытном варварстве.

Естественно, что в этом периоде половая любовь является тем, что она есть в своем источнике – половою похотью. Душевное брожение, вызываемое этой похотью, совершенно аналогично с опьянением, сопровождающим всякую страсть. Дикарь влюблялся в женщину не более чем в собаку на охоте, в копые свое во время войны, во вкусную пищу во время голода. Женщина как предмет любви была орудием сладострастия, и только. Необходимы были многие тысячелетия исключительно счастливых условий, чтобы в наиболее одаренных расах изменился взгляд на женщину и отношения к ней приобрели некоторый нравственный оттенок. Грубая похоть, впрочем, со стороны женщин очень рано осложнилась животным страхом, благоговением перед хозяином, обоготворением его, так что первичная

форма половой любви, вероятно, была односторонняя, то есть только со стороны женщин, без взаимности или с тою слабою степенью взаимности, которую хозяин питает к своей собаке.

Но культ борьбы с течением веков перерождается в культ труда, охота и ее частный вид – война – уступают скотоводству и земледелию. Воевать беспрестанно, имея стада скота, о которых нужна забота, нельзя. Прирученные животные превратили постепенно самого человека в домашнее животное, приучили его к оседлой жизни. Вол и лошадь сделали земледелие возможным как главный вид труда и тем окончательно поставили человека на истинный, достойный его путь в природе – отвлекли его от *борьбы* и приучили к *труду*. Но как бы для облегчения этого важного для всего мира перехода человека от борьбы к труду развилась постепенно страсть, которая столь же чувственна, как охота, и не менее сладостна, чем победа: развилась половая влюбленность, новый центр жизни и мысли для мужчин на целые тысячелетия. У дикарей любви не было, у варваров Троянской эпохи она уже была, хотя и в грубо-чувственной форме. Сын царя в споре трех богинь отдает предпочтение Афродите. Этот сын царя – пастух; другие сыновья, например Гектор, ни за что не сделали бы такого выбора; они, конечно, предпочли бы дары Паллады. Женщина в этом периоде уже ценится высоко, но почти исключительно телесно. Парису доставлено обладание только телом Елены, а не душой ее; ни он, ни она не скрывают взаимного презрения – и все-таки отдаются друг другу. Гибель Ахиллеса можно рассматривать как глубокую историческую аллегория. Он умирает от стрелы Париса, направленной рукою Афродиты. Герой любви является невольным победителем самого мощного из героев насилия. Вместе с Ахиллом и весь древний культ борьбы уступает новому культу – сладострастия. За пять столетий до Р. Х., еще до расцвета эллинского искусства и философии, Анакреон Теоский¹ объявляет себя певцом любви, говоря о женщинах:

Краса их побеждает
И пламя, и железо.

IV

Раз доспехи были сняты, меч повешен на гвоздь, не приходилось больше скакать по полю в азарте за диким вепрем или бороться грудь с грудью с врагом – куда девать было древнему человеку его неукротимую энергию, его ярость, его привычку к бешеному напряжению нервов? Конечно, часть всего этого поглощал труд, поэтому трудовые классы, рабы, народ были всегда самыми целомудренными. Но каста древних победителей? Им не на что было истратить безмерной физической силы, накопленной в период войн, кроме сладострастия, и сам собою возникает новый *культ* – культ чувственной любви.

Надо заметить, что всякая потребность в человеке, физическая и психическая, стремится безгранично расширяться, возобладать над другими страстями; каждая потребность при благоприятных условиях выливается в особый культ, то есть в сложную систему чувств и действий, внушенных верой в известный предмет. Как на простой мелодии нарастают гармонические припевы и мало-помалу образуется хор, так первичная потребность усложняется, захватывает в свою область другие страсти, заставляя их служить себе. Вокруг каждой страсти стремится образоваться свой мир жизни, как около срединного солнца, дающего теплоту и свет. Но удел всякой жизни – увядание; исчерпав все возможности свои, всякая система омертвеет. Культы войны, наживы (у торговых народов), чувственной любви, всякий культ ведет в конце концов к *психозу*, к некоторому помешательству на одной определенной идее, многовековой гипноз которой становится непреодолимым. Таково необоримое внушение Талмуда или Корана в религии, таковы инстинкты войны у дикарей или торговый инстинкт у евреев. Половая любовь тоже развилась в особую культуру со всеми выгодами и невыгодами всякого культа: со страшным накоплением силы этой потребности и нравственным омертвением ее.

Развивался этот гипноз любви постепенно. Простое удовлетворение похоти, как у дикарей, было слишком мимолет-

но, чтобы наполнить жизнь варвара. Подобно тому как в период войн велись атлетические упражнения, *игры*, в период любви потребовалось ухаживание за женщиной, поклонение ей. Чтобы утончить и продлить наслаждение, сделать его, по возможности, психическим, потребовалась любовная игра: свидания, игрища, умыкание невест, очень сложные брачные обряды и т. п. Потребовалось участие поэзии, музыки и всех других искусств.

Задолго до возникновения письменности существовал уже поэтический культ половой страсти – в бесчисленных любовных песнях, легендах, сказках, гаданьях, заговорах, наконец в самом языке. Любовная терминология у простого народа, лишенного письменности, выработана изумительно и, может быть, богаче всякой иной. Литература, являясь завершением цивилизаций, застаёт все культуры сложившимися; она не столько движет их вперед, сколько дает им могущественную поддержку; известно значение героических поэм Гомера. Но особенно огромную роль литература сыграла в любовном культе. Половая влюбленность в течение веков составляет почти единственное содержание художественной литературы. Романисты всех времен и народов, начиная с глубокой древности, описывают любовь в бесконечно разнообразных условиях времени, места, обстановки, возраста, ума, красоты, здоровья, социального положения любящих; груды романов появляются на свете с регулярностью растительного царства; на смену одним бесчисленным печатным листам идут другие, вянущие с быстротою осенних листьев. Только великие романы живут долго, но зато они и крайне редки. Они описывают самую страсть, тогда как мелкие – преимущественно обстановку ее.

V

Вот в этой-то *обстановке* половой любви и заключается тот обман, который изящная литература вносит в общее сознание. Тысячи плохих поэтов «воспевают» половую любовь крайне преувеличенно – как божественное чувство, как незем-

ное блаженство, как светлое преображение жизни, ставящее ее выше разума, выше совести и всех святынь души. Половое очарование описывается как одна невыразимая сладость, один неомрачаемый восторг. Незначительные поэты напрягают всю свою посредственность, чтобы изобразить любовь в самых пленительных формах; тайные сладострастники, они рисуют соблазнительные, невероятные картины, которыми успевают раздражить и свое воображение, и тех читателей, кто не свободен от половой похоти, а кто свободен от нее совершенно? Только люди с большим вкусом или с большою совестью отворачиваются от этой тонкой порнографии; масса же читателей бросается на нее с жадностью. Действуя в течение веков на неустойчивые мозги средних людей, любовный роман развращает половое чувство более, чем какое-нибудь другое влияние.

Любви не женщина нас учит,
А первый пакостный роман...

– говорит Пушкин². В заурядной семье, где бабушка читала Грандинсона³, маменька увлекалась Понсон дю Террайлем, дочь упивается Марселем Прево⁴, – в такой семье из поколения в поколение передается мечта о половой любви как некая религия, священная и прекрасная, и все поколения дышат одной атмосферой – постоянного полового восторга, постоянной жажды «влюбиться». Великие авторы, описывающие любовь во всей ее трезвой, ужасной правде, до большинства не доходят, да большинству они и не по плечу; средней публике доступнее маленькие писатели и писательницы, которые, как и публика, не знают природы и не умеют быть верными ей, которые не знают, что такое любовь, но тем более стараются изобразить ее обольстительной. И вот тысячами голосов, исходящих «свыше», в каждом молодом поколении создается ложное внушение о любви, делающее эту страсть одною из самых губельных для человечества. Литературное внушение из читающих классов проникает в нечитающие и ослабляет способы борьбы с этою страстью, вырабатываемые

всякой естественной, патриархальной культурой. В деревенской среде, где народ не испорчен (у староверов, например), там молодежь воспитывается целомудренно и религиозно, половое влечение презирается вне брака, и вообще никаких «романов» и «драм» не полагается; всякие попытки к ним гаснут в общем внушении, что это грех и позор. Поэтому здоровое влечение обоих полов здесь крайне редко развивается в страсть, регулируясь ранними и крайне строгими браками. Не то видим в средних, нетрудовых классах с утраченную религиозностью, с ослабленным представлением о добре и зле. Здесь понятие «грех» вообще очень смутно и не играет повелительной роли в жизни. Менее всего «грехом» считается половая страсть, которая, подобно войне и охоте, признается занятием рыцарским, то есть «благородным». В противоположность трудовым классам городские культивируют влюбленность как добродетель, как некоторый даже подвиг. Не только поэты, но и иные философы воспевают ее божественность, как начала мира. Вспомните пламенное обращение к Венере в начале поэмы Лукреция. Половой любви он приписывает даже космические силы, движение ветра и облаков. «Ты одна управляешь природою вещей, и без тебя ничто не появляется на божественный край света». Как ни забавно подобное преувеличение, но, высказываемое с высоты, оно действует. Половая похоть по самой природе своей дает самое острое из наслаждений; будучи же *воспитана* в течение тысячелетий как основная радость жизни, она разрастается, мне кажется, в особый *психоз*, который был неизвестен древнему человечеству и, вероятно, исчезнет в будущем. В разгар этого культа половой любви люди рождаются уже с особо настроенными нервами, с предрасположением к любовной страсти, как прежде рождались с предрасположением к войне. Современный юноша не опоясывается мечом, не мечтает о первом походе на врагов, но с самого детства только и слышит, что о любви, о неизбежной встрече с женщиной и половых восторгах. Еще в колыбели он слышит песни няnek о поцелуях и объятиях, о тайных свиданиях, клятвах и изменах; едва он подрастает —

его охватывает сладострастная поэзия, искусство, литература, наука, которые говорят о тех же тайнах. Сама юность есть уже брожение, напряженный рост всех сторон духа, слепые поиски окончательного счастья. А тут подходят годы полового созревания, нарождается смутная, но могущественная потребность, кажущаяся безграничной. Юноша бросается в пропасть собственных страстей, наполненную волшебными видениями, – еще задолго до способности любить физически, он жаждет любви и томится по ней, он считает ее сплошным, бесконечным упоением... Но это горькая, – увы, слишком горькая ошибка, стоящая часто страшно дорого...

VI

Конечно, если бы половая любовь вовсе не заключала в себе счастья, то ни поэтам, ни философам не удалось бы развить почти религиозное поклонение этой страсти. Влюбленность заключает в себе действительное очарование, и даже большее, чем удовлетворение всякой другой потребности. Я говорю не о блаженстве плотского соединения: ставить слишком высоко эту радость *осязания* предостерегал еще архангел первого человека, как говорится в поэме Мильтона: «И скотам доступна та же радость». Это чувство не было бы общим с ними и обыкновенным, «если бы в нем заключалось что-либо достойное подчинить человеческий дух» (Песнь VIII). Но помимо сладострастия, которое есть скорее средство, чем цель любви, – влюбленность дает особое духовное блаженство, таинственную и непостижимую радость любви бесплотной. Это счастье начинается еще до первой встречи; склонный влюбиться юноша, как герой «Первой любви» у Тургенева, начинает томиться сладкими ожиданиями, он грезит о небывалых возлюбленных, он, как Клопшток⁵, способен писать сонеты *будущей* своей избраннице. При первой же встрече с нею он только находит центр для готовой уже сферы чувств; у него точно пелена спадает с глаз, и избранница его, будто по волшебству, превращает-

ся из человека в совсем особое, как бы божественное существо. Пусть это иллюзия, оптический обман под внушением страсти, но как бы ни было, эта иллюзия пленительна. Как сумасшедший скряга оловянные пуговицы принимает за золото, как одержимый манией величия – свой колпак за корону, так влюбленный искренно и страстно принимает предмет любви своей за существо совершенное, за какого-то светлого посланника небес. Кто знает, может быть, страсть, подобно гашишу, до такой степени напрягает душу влюбленного, что она начинает видеть в любимом существе не тело только, а самый дух, божественный и бессмертный, который только и прекрасен, который только и заслуживает любви. Человек кажется бесконечно милым, привлекательным, дивным; ему хочется поклоняться, созерцать его, отдать ему душу. Восторг несказанный наполняет сердце при одной мысли о нем; он – все, он как бы сошедший на землю бог. Чувствуется, что найдена цель жизни, идеал человека осуществлен и вот он. В этот ранний период влюбленности она прекрасна; она еще не половая страсть, а просто любовь, и по природе ощущение ее невозможно отличить от пылкой дружбы, от матерней любви и т. п. Эту влюбленность можно бы назвать святою, если бы она не была обманом чувств, который в отличие от подлинной любви – материнской, братской, дружеской – гаснет быстро или переходит в половую страсть, в состояние бредовое, о котором собственно и пойдет речь в этой книге. В сравнении с первым периодом влюбленности этот второй – то же самое, что знойный полдень после свежего утра или гроза после затишья. Восхищение уступает место желанию; идеальное *Vorstellung* сменяет слепая и жестокая *Wille*. Все святое, нежное, невинное исчезает...

VII

«Помилуйте, – думает юноша. – Как же любовь – не святое чувство? Ведь ее воспевают поэты!» – Но, милый юноша! Мало ли каких вещей поэты не воспевают! Нет смертного гре-

ха, который не нашел бы своего Гомера. Вспомните у нас эпоху Языкова⁶, культ попок, разгула, картежной игры и всевозможных предосудительных дурачеств. Талантливейшие поэты, не исключая Пушкина и Лермонтова, прославляли пьянство и разврат – правда, утонченное пьянство, изысканный, анакреонтический разврат, которому предаваться тогда считалось признаком хорошего тона. В тайных великосветских кружках, в которых участвовал Пушкин, разыгрывались, например, такие «живые картины», как гибель Содома, и наш величайший поэт едва не умер от этих оргий. Нет сомнения, что в более поздний, трезвый возраст и Пушкин, и Лермонтов отказались бы от своих эротических писаний, устыдились бы их, но плохие поэты – вроде Баркова⁷ – прославляли сладострастие и в поздний возраст. А современные поэты вроде Бодлера⁸ и Верлена⁹ воспели не только вообще разврат, но и все сумасшедшие, противоестественные его виды. И у русских молодых поэтов были попытки опозитизировать некоторые из этих грехов, печатные попытки! Воровство грошовое поэтами, быть может, не воспето, но en gros в виде апофеоза бисмарковской политики до сих пор вдохновляет немецкую музу. Убийство тоже, и даже не только массовое, а и всяких иных родов, не исключая разбойничьего – разве разбойники не «воспеты»? Богохульство, «гордое отрицание» всего святого, глумление над Вечностью, восторг перед «демонической красотой», апология дьявола как источника зла – все это имеет своих и мелких, и довольно крупных поэтов. Как же не иметь их сладострастной чувственности, «любви»! Именно потому, что в этом явлении всего менее участвует разум и всего более – растительный инстинкт, здесь – богатое поле для раздражающих описаний, для игры на струнах, которые наверно у всякого найдутся. И поэты этим пользуются особенно охотно.

Если бы половая любовь была действительно так возвышенна, как описывают плохие поэты, – то они ее и не описывали бы: она не вместилась бы в их кругозор, слишком ограниченный. Если плохие писатели видят особенно отчетливо половую любовь, то это доказательство, что любовь – явление

не столь уж высокое, немного выше пьянства, которое воспе-то не с меньшим старанием, немного выше борьбы, воспетой с особенною напыщенностью.

Между половой страстью, борьбой и пьянством есть внутренняя, психологическая связь. **Все эти состояния пред-**ставляют потерю душевного равновесия, затмение разума и радость зверя, сбросившего с себя узду. Короче всего достигают этой животной свободы пьяницы, и замечательно, что их опьянение чаще всего принимает буйный и сладострастный характер. Наоборот, даже трезвая борьба и трезвая половая любовь доходят до опьянения; случалось, раздраженные битвой рыцари, не находя врагов, в исступлении бросались на неодушевленные предметы, рубили скалы и деревья (так называемые берсекеры). В случаях отчаянной храбрости, в разгаре боя людьми руководит уже не сознание долга, не страх ответственности, а чисто животное сладострастие борьбы, жажда уничтожить противника. В рукопашной дерутся не только оружием, но часто вцепляются во врага зубами и ногтями, грызут его мясо. Ясно, что чувство, руководящее в этом, есть страсть, то есть маниакальное развитие потребности, в обыкновенное время не замечаемой по ее незначительности. В такую же страсть развивается и половая любовь, где происходит часто то же осложнение, что и в минуты боя, то есть любящие готовы кусать друг друга и (в исключительных случаях) кусают в каком-то упоении. Так называемый «садизм» есть лишь крайнее развитие сладострастного пароксизма. Во всех трех явлениях, в борьбе, половой любви и пьянстве, весь строй душевный выводится из своего равновесия, и, как в нитроклетчатке, происходит нечто вроде взрыва: все способности, развязанные от воли разума, устремляются по направлению страсти и производят бред. Анакреон не отделяет любовь от вина, Эрота от Диониса. Тесная связь между пьянством и сладострастием замечена апостолом. «Вино и женщины» всегда сопутствовали ремеслу ландскнехтов¹⁰, как пьянство – необходимый спутник проституции (которая, в сущности, есть первоначальная форма половой любви, брак дикарей). Поэты

и не скрывают, что половая любовь есть «страсть», не замечая, как они плохо ее этим рекомендуют.

VIII

Любовь плотскую поэты называют «святою». Но если так, то почему в сколько-нибудь порядочных семьях ее прячут от детей, не дают им, например, читать любовные романы? Ничего другого *хорошего* не прячут, ни описаний дружбы, ни радостей, ни святых учений, а это будто бы «святое» чувство тщательно скрывают до совершеннолетия детей. Да и после совершеннолетия ни один отец, ни одна сколько-нибудь совестливая мать не станут учить детей любовному искусству, не станут прививать им эту страсть нарочно. Но если она «святая», то следовало бы спешить заразить ею каждую девушку и юношу. Напротив, от такой заразы оберегают, считают ее чем-то вроде неизбежной болезни: «придет пора – полюбишь», – говорят с тяжелым вздохом. Взрослые, пережив любовь, хорошо знают, что бы ни болтали развратные поэты, что влюбленность – явление телесное и ведет к телесным результатам; как в других похотях и болезнях, в половой любви не душа владеет телом, а тело душой. Взрослые люди знают, что при малейшей неосторожности эта сладкая болезнь делается опасной и может повести к серьезным увечьям сердца, а иногда и к гибели. Они знают, что ни в каком ином процессе, ни в еде, ни в питье, ни сне, не проявляется столько животности, столько самозабвения, как в любовном акте, и никогда близость тел не сопровождается таким отдалением душ, как в момент этого соединения. Если любовь – «святое» чувство, почему выливается оно в сладострастный, то есть чисто животный акт?

Любовь, говорят, святое чувство, так как следствием его является новая жизнь. Но правда ли это? Деторождение требует соединения, но нуждается ли оно в любви? Всем известно, что дети рождаются от союза как любящих, так и ненавидящих друг друга лиц. Во всем органическом царстве насильственное соединение ведет к тому же. Там дети рождаются даже от ис-

кусственного оплодотворения, когда особи не знают даже друг друга и никогда не видались. Не существует ни малейшего доказательства, чтобы любовь входила в творческий процесс жизни. От самых грубых насилий, от соединения в сонном, бессознательном состоянии, от людей, отвратительных друг другу, все-таки совершаются зачатия, тогда как очень часто самая пылкая любовь оказывается бесплодной.

«Любовь – святое чувство, оно влечет друг к другу родственные души». Но все же знают, что влекутся в данном случае тела, а не души; слишком часто половая любовь соединяет души глубоко чуждые, что тотчас и обнаруживается по удовлетворении тел. Большинство браков оказываются несчастными именно потому, что половая любовь вводит обе стороны в *обман* и дает лишь призрак требуемого сродства душ. Наконец, если любовь – «святое» чувство, почему она сопровождается таким упадком совести, забвением нравственного долга? Ведь известно, что влюбленные часто ни перед чем не останавливаются для достижения своих целей: обман и ложь, измена, ненависть, клевета, воровство, иногда даже убийство (соперников) – обычные средства. Жена легко изменяет мужу, девушка бросает родную семью – хотя бы с риском убить этим родителей, мать бросает родных детей. Влюбленный человек, если нужно, изменяет родине, религии, лучшим верованиям собственной души. Семирамида¹¹, чтобы избежать укоров за свои увлечения, издала закон: «Все позволено, что приятно». По преданию, она кончила тем, что влюбилась в своего коня...

Почему же, ответьте мне по совести, половая любовь – «святое» чувство? И почему она обыкновенно так скоро исчезает? Ведь ни одно из истинно святых чувств никогда не прекращается. Дружба, материнская любовь, религиозное сознание, вкус к изящному, доброта, гений, ум – им нет конца, они или растут вместе со временем, или не ослабевают вовсе, если же разрушаются, то вместе с телом. А влюбленность – по наблюдениям одного мыслителя – продолжается много два года, чаще же не выдерживает и медового месяца. Самый тер-

мин «медовый» месяц показывает, что далее этого срока начинаются отношения уже не сладкие...

О половой любви не говорят при детях, юношах, девушках; неприлично говорить о ней в обществе почтенных дам или стариков. Среди взрослых допускается говорить о любви, но чаще всего в ироническом тоне – серьезный тон кажется неловким. И я думаю, будет время, когда о половой любви говорить публично будет стыдно, как о других телесных отправлениях. Да не только публично: может быть, и тайно признаться в этой страсти даже любящим людям будет стыдно; ведь и теперь только наглые, развращенные люди легко говорят: «Я люблю вас». Чем девственнее влюбленные, чем совестливее они, тем труднее им в первый раз выговорить это роковое слово. Нужен целый пожар страсти, чтобы вынудить его у них. Чистая душа идет на это, как на какой-то позор, смутно чувствуя, что тут есть что-то недостойное, смешное, странное, ненужное. Признаться в любви можно лишь в затмении разума, ибо в своей глубокой сущности половая любовь, как и всякая «страсть», есть измена душе, свержение ее с престола жизни, воцарение плоти. Мы все теперь упиваемся любовными романами, но, повторяю я, будет время, когда самый чистый рассказ об ощущениях влюбленного, даже такой изящный, как «Вертер», будет казаться столь же неуместным, как рассказ о пищеварении и расстройстве его. Любовные романы будут описываться в клинических журналах, как теперь описываются болезни, потому что любовь половая – типическая «болезнь роста», где вместо острой физической боли в пароксизмах – острое наслаждение. Я не сомневаюсь, что ученый медик мог бы, тщательно изучив влюбленность, собрать достаточно материала для интересной диссертации. Влюбленность, наверное, имеет свои кривые температуры, пульса, дыхания и т. п., свои рефлексы и стигматы, свой диагноз и предсказание, а может быть, и свою терапию... Опыты над животными показали, что период половой любви у них сопровождается выделением ядовитых веществ в крови (*Рибо*¹². Психология чувств). Недаром Пушкин любовь называл отравой, а Байрон – чумой.

IX

Половая любовь в Ветхом Завете указана не как святое чувство, а как *кара* за грехопадение. «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое <курсив М. О. Меньшикова. – В. Т.>, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16). Затем в Библии о половой любви не говорится ни слова до эпохи разворачивания человеческого рода: Адам *познал* жену и пр. Когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они *красивы*, и стали брать их себе в жены, пошел такой разврат, что «раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем», «ибо всякая плоть извратила путь свой на земле», – и воздвиг потоп. Это древнее предание важно как опыт тогдашнего человечества в оценке любовной страсти и ее роли на земле. Апокрифы передают, что первородный грех, ввергший человеческий род в пучину зла, был актом половой любви. Но пусть это свидетельство слишком древнее; те, которые воспевают половую любовь как святое, «божественное» чувство, ставя его «выше долга», могли бы заглянуть в Евангелие, в Завет Новый, где указаны все истинно святые чувства. Христос, как известно, об этой форме любви (как и обо всем важном) выразился категорически, так что невозможны никакие кривотолки. «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28). Этими словами всякое *вожделение* признается *блудом*, то есть одним из смертных грехов, поставленных у Моисея между убийством и воровством. Христос не отменил, а усугубил древний закон о половой любви, отнесшись к ней безусловно отрицательно. Никогда и никем женщина не была столь вознесена в своем человеческом достоинстве, как этою заповедью Христа. Даже втайне вождельть считается грехом, нарушением святости межлических отношений. Эти отношения указаны в одном лишь виде для *всех* обязательной любви: «любите друг друга», то есть женщины и мужчины, как братья и сестры, не более и не менее этого. Не сделано

оговорки относительно «вожделения» даже для мужа в отношении жены; сказано: «всякий», следовательно, и муж, и для супругов предложена любовь только братская.

Мне кажется, что этот закон вовсе не исключает продолжения человеческого рода, как и не менее повелительные заповеди – не убий, не укради и пр. «Кто может вместить, да вместит». Нравственный закон обращается к свободной воле человека и не касается деяний невольных. Мы все убиваем *неволью* тысячи существ, видимых и невидимых – насекомых, бактерий и т. п. Мы все крадем в тысячах случаев – те или иные выгоды или условия, при обмене вещей и услуг; невозможно совершенно точно отделить чужое от своего. Точно так же неволью мы беспрерывно «послушествуем на друга своего свидетельство ложно», клеветаем (хотя бы в малой доле неправды), за невозможностью безусловно точно отделить истину от лжи. Неволью творим себе кумиры, неволью завидуем и т. д. Быть вполне безгрешными – это идеал, недостижимый на сколько-нибудь продолжительное время. Сейчас вы безгрешны против второй заповеди, но грешите против восьмой, далее безгрешны против восьмой, но нарушаете четвертую и т. д. Вопрос нравственной жизни не в том, чтобы ни в чем не погрешить, – это невозможно, а в том лишь, чтобы не переводить греха из невольного состояния в вольное, не расширять его ограниченных пределов в безграничные. Я думаю, то же и с «вожделением»: когда оно охватывает душу чистую, внезапно помрачая сознание, бросая два существа неудержимо в объятия друг другу – это грех невольный, нужный для материальной жизни и для нее достаточный. Вспомните гончаровскую Веру в «Обрыве», когда она после долгой, мучительной борьбы с собою, без памяти, наконец, отдается Марку. Ее прощаешь от всего сердца, она остается незапятнанной, и если бы и у Марка был такой же порыв, их соединение было бы только невольною ошибкой, такую же, как если вы по дороге раздавите нечаянно живое существо. Это грех во *всяком случае*, так как во всяком случае это – отступление от идеала, и это нужно помнить, чтобы всеми мерами избегать зла, ограничивать его

до предела неодолимости. Половая любовь, сведенная к такому пределу, понятна, как то, что она и есть на самом деле, телесная нужда (впрочем, наименьшая из всех, так как требуется не для жизни человека, а лишь для продолжения жизни вне его). Грехом *вольным* и потому не имеющим оправдания страсть становится лишь тогда, когда к ней сознательно готовятся, раздражают ею себя и делают предметом соблазна для других. Такая любовь превращается в то же самое, как если бы вы, идя по дороге, сознательно разыскивали под ногами всякое живое существо, чтобы раздавить его, или готовились бы к краже всего, что чужое. И воспевание свободной половой любви то же самое, что воспевание кражи или убийства. Идеал дан один: все люди – братья, мужчины и женщины; указано, что в мире совершенном не женятся и не выходят замуж, а живут, как ангелы. Указано, что не только половая, но вообще родственная физическая любовь уступает духовной. Помните: «Кто Матерь Моя и кто братья Мои?.. Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать» (Мф. 12:48, 50).

В оправдание любовной страсти часто говорят: Христос простил блудницу. Да, но Он этим не оправдал ее: «Иди и впредь не греши». Простил после горького ее раскаяния, после очевидной решимости не отдаваться греху. Христос спас ее от побиения камнями, но не разрешил этим блуда, как полагают многие дамы, желающие, чтобы само Небо благословило их грешные увлечения. У блудницы первый ее грех, может быть, был невольный, а остальные – из-за куска хлеба, но и ей Христос не разрешил греха. Многие образованные женщины заповеди Христа не считают для себя «обязательными»; это «архаическая мораль». У них своя, усовершенствованная мораль: «любовь – выше долга». Увлеклась – и сейчас же цитата из Гете: «Если бы Бог меня хотел видеть иною, он сотворил бы меня иной», – цитата из Ларошфуко: «Кто не безумствовал, не должен считать себя слишком умным». На этом основании дама великодушно разрешает себе «увлечься». Пусть это будет третий, может быть, тринадцатый любимый человек, но в «тех» она, видите ли, «ошиблась», те были «не то, не то».

В конце-то концов, если бы здравый смысл не был отуманен похотью, то сама героиня или герой таких романов убедились бы, что эта свободная мораль не дает им счастья, и лучше было бы не только тринадцать раз, но и одного раза не «ошибаться». Они убедились бы, что в законе Христа были бы ограждены не только безукоризненная чистота их и достоинство и святость, но и покой их, и счастье. Они убедились бы, что в законе этом скрыта не только нравственная красота, но и глубокая мудрость, основанная на знании человеческой природы, всех возможностей ее, злых и добрых.

Х

Все плотские потребности суть следствия нашего коренного несовершенства, следствия материальности, то есть ответного упадка духа. Дух совершенный бесплотен, то есть свободен от внешней среды; у него нет потребностей, он все любит, все созерцает и ничего не хочет. Поэтому еда, питье, сон, половое чувство нравственно допустимы лишь в физически необходимой мере их удовлетворения, то есть ровно настолько, сколько нужно для поддержания жизни. Так как неудовлетворение потребности мучит, то есть отвлекает от высшей жизни, а переудовлетворение тоже мучит и отвлекает от нее, то долг наш – принижать телесные потребности до низшего уровня, долг – вырабатывать способность удовлетворяться очень малым, что не требует больших усилий и наименее отвлекает от Бога. Каждая плотская потребность имеет свой определенный минимум и неопределенный максимум, каждая может быть или необходимым – и потому не мешающим жизни злом, или злом обходимым, но подавляющим жизнь. То же и нормальная половая потребность. «Естественная, но не необходимая», как заметил еще Эпикур, она может быть сведена почти на нет (как это и удается людям строгой жизни) и может разрастись в чудовищную страсть, хуже всякой другой похоти заслоняющую Бога. Вовсе не метафора, когда влюбленный называет возлюбленную своим «кумиром»: она – действитель-

но кумир, грубый идол, а он – искренний идолопоклонник, но только что же тут хорошего и достойного восторга? Напротив, идолопоклонство есть жалкий упадок духа, отступничество его от высшего своего начала. Свести бесконечное содержание мировой жизни к прикосновению двух тел – разве это не обнищание души? Сузить свой горизонт до размеров женской или мужской фигуры, свои желанья – до одной, хотя бы и жгучей точки – разве это не принижение жизни? Может быть, в любовном акте человек переживает жизнь атома, то элементарное стремление, из материала которого создается сознание. Может быть, передавать плотскую жизнь нельзя, не принизившись до элементов плоти. Когда чувство это совершенно неодолимо, приходится ему отдаваться, как всему неодолимому, но *добровольно* падать со своей высоты, искусственно культивировать – как у нас делается – страсть, возводить ее в пафос жизни – безумие. Это значит во что бы то ни стало добиваться в себе минеральной жизни – один из видов убийства того высшего существа, которое с таким трудом в течение тысячелетий творилось в нашей плоти и живет в ней, и которое следовало бы беречь с бесконечной заботливостью, как святыню.

Половая любовь, говорят, обогащает жизнь, дает ей новое содержание. Но правда ли это? Если вы взрослый человек, вспомните все возрасты вашей жизни и скажите по совести: когда жилось вам всего радостнее, разнообразнее? Вы не скажете, что в период любви. Мы все вспоминаем, как о лучшей поре жизни, о *детстве*, то есть о том возрасте, который, безусловно, свободен от половой любви и не отравляется даже воспоминаниями о ней, как иногда в старости. Юность – возраст чудесный, но половая ли любовь дает ему лучшее украшение? Нет, юность счастлива сама собою, избытком рвущихся сил, впечатлительностью, способностью интересоваться всем на свете. Откиньте из вашей юности такую радость, как дружба с товарищами, игры с ними и труды, задушевные беседы о всем великом, откиньте ваши наслаждения за книгами и собственными дневниками, забудьте все ваши прогулки, путешествия, мечты и песни, забудьте любовь семейную, религиозное чув-

ство, в юности иногда столь пылкое, откиньте юношескую свежесть и чистоту, – оставьте только половую любовь. Много ли, скажите по совести, эта любовь дала вам счастья? И наоборот, напоив вас отравленным медом, не омрачила ли она лучших дней ваших, не загубила ли времени более бесплодно, чем всякое иное увлечение? Ведь каждая «любовь», – а вы пережили их, конечно, не одну, – отнимает более сил и досуга, чем нужно, например, на курс любой науки или любого искусства. Любовь «обогащает» жизнь? Нет, она страшно разоряет ее. Подобно выпуклому стеклу, она собирает все лучи жизни в одну светящуюся, жгучую точку. Получается крайнее обеднение света и тепла на всем пространстве жизни, кроме фокуса, где чувствуется ненужный избыток этого сияния и жара. Половая любовь опустошает человека подобно скупцу, который, чтобы наполнить свои сундуки, обкрадывает свой же дом, распродает мебель, картины, платье, отказывает себе в обеде, лишь бы положить в сундук лишнюю горсть золота. Половая любовь суживает смысл жизни, из *организма* превращает человека в *орган*. В самом деле, что такое влюбленная особа, бредящая об одном – об удовлетворении своей страсти, – что такое она, как не орган этой страсти? Ведь у такой особы все тело, мозг, нервы и сама душа представляются простыми прибавочными аппаратами к одному главному, который возобладав, поработил себе все другие. Как обжора из организма превращается в движущийся желудок, как меломан – в движущееся огромное ухо, так влюбленный – в специальный инстинкт, который, занимая в нормальном состоянии крошечное место, теперь распространяется как бы на все тело, поглощает его в себе. Что тут святого и возвышенного в этой ликвидации человека в пользу одной из его функций, да и то наименее сознательной, наименее духовной? Суетность этой тяжелой страсти особенно понятна старикам, если это люди хоть сколько-нибудь богатой души. «Раз кто-то спросил поэта Софокла: “Каков ты теперь, Софокл, в отношении к удовольствиям любви? Можешь ли еще иметь связь с женщиной?” А он отвечал: “Говори лучше, добрый человек! Я ушел от этого

с величайшею радостью, как бегают от бешеного и жестокого господина»» (Платон¹³. Политика. I. 329).

XI

Принято думать, что половая страсть включает в себя любовь человеческую, *дружбу*, но это неверно. Действительно, иногда влюбляются друг в друга люди, *способные* к взаимной дружбе, но чаще этого не бывает. Проходит чувственный пыл – и вдруг, к изумлению самих влюбленных, они становятся не только не интересными, но презренными друг для друга. Ничего общего, ни одного предмета, ни одной мысли, ни одного влечения. Оказывается, что люди идут совершенно разными дорогами, совершенно чужие, несхожие. И это замечают, часто уже нарожав детей, когда отступать уже поздно. Сознание, что жизнь испорчена, что «он заедает мне век», или наоборот, отравляет и без того кислое сожитительство. А отчего все произошло? Оттого, что некогда оба безумно преувеличенно взглянули на любовь, на половое опьянение свое и безумно пренебрегли истинно серьезными условиями – соответствием развития, характеров, убеждений, привычек, вкусов, склонностью уважать *человека*, а не самку или самца, ибо второстепенное отходит быстро, основное остается. Большинство счастливых браков заключаются именно при отсутствии типической влюбленности, когда явились налицо серьезные условия, возможность дружбы. Нет любовного сумасшествия, зато сколько достоинства и истинной красоты в отношениях, сколько ясности и разума.

Любовь плотская, как и всякая похоть, есть в значительной степени предмет обычая, моды, даже спорта. Греки не знали или стыдились нравственной любви к женщине; Анакреон насчитывает целые тысячи своих любовниц: ясно, что он разумел под «любовью». Насколько нравственное влечение к женщинам было слабо, показывает закон в Афинах, принуждавший не только к женитьбе, но и к исполнению минимума так называемых «супружеских обязанностей». Греческий Эрос относился исключительно к отрокам; Платон («Федр», «Пир»)

в философском анализе половой любви разумеет под нею именно эту любовь. Этот вид половой страсти имел самое широкое, публичное распространение в Древнем мире; в некоторых странах (Беотии, Элиде) он поощрялся законом, он входил в некоторые священные обряды и даже приписывался богам (см. мифы о Ганимеди и Гиацинте). Та же «любовь» издревле и до сих пор широко практикуется на всем Востоке, у китайцев, индусов и особенно у магометан, поэзия которых, например книга «О любви» в «Гюлистане» Саади¹⁴, говорит исключительно о любви к мальчикам. И в современной Европе, даже там, где эта «любовь» преследуется как уголовное преступление, она все-таки не выводится. И как уверяют клиницисты, этот противоестественный грех имеет картину, общую с половой «любовью». Одержимые этим пороком чувствуют типическую влюбленность к известным лицам своего пола, со всеми муками ревности, ожидания, жаждою обладания и пр., и пр. Здесь, в этой темной области, разыгрываются такие же романы и драмы, ухаживания, объяснения в любви, измены, отчаяния и восторги. Значительно реже, но такая же страсть возникает и между женщинами. Все это считается *извращением* полового инстинкта. Но способность половой «любовь» возникать и на такой безумной почве доказывает, что эта «любовь» сама по себе не так уж свята, как кричат плохие поэты, и не так необходима для блага рода, как говорят некоторые философы. Современная половая страсть может быть столь же противоестественна, как греческая – к отрокам, или как вошедшая в обычай в средневековой Италии любовь к некоторым животным. Если чувственный акт не имеет цели деторождения – единственной, его оправдывающей, то не все ли равно, какой предмет изберет человек для насыщения своей страсти. Во всех случаях это будет противоестественный акт, то есть разврат.

ХП

Влюбленность – не только не святое чувство, но требует самого усиленного внешнего освящения, чтобы получить

право на уважение. Необходимо связывать с половую страстью деторождение, дружбу, поэзию юности – и без любви прекрасной, необходимо благословение Неба через особый торжественный, напоминающий коронавание, обряд. Подобно тому как мясо нельзя есть, если оно не приправлено овощами, так и влюбленность нельзя чтить, если она не приправлена тем, что действительно свято и поэтично. Отвлеченная от своих приправ в голом виде, половая любовь делается отвратительной; представьте себе не молодых и не красивых, а старых и безобразных влюбленных, не связанных ни дружбою, ни детьми, ни брачным обрядом, а только страстью друг к другу. Один смех и жалость. Филемон и Бавкида¹⁵ – пример не любви супружеской, а дружбы, непорочной, как братские отношения. Вообразите этих стариков влюбленными – как они станут противными. А ведь нельзя отрицать, что чувственная любовь, хоть и не часто, встречается и у стариков. Тут «любовь» отзывается не только не святым, а чем-то поганым, так как единственный смысл ее – деторождение – исчезает.

Чувственная любовь возбуждается, говорят, физической красотой. Но это далеко не всегда. Влюбляются и в некрасивых и часто самую болезненную, мучительную страстью. «Любовь зла, полюбишь и козла», – говорит русская пословица; «не по-хорошу мил, а по-милу хорош». Вспомните Титанию, влюбившуюся в осла*. Самый безобразный из богов – Вулкан¹⁶, хромой на обе ноги, был мужем Аглаи, младшей из Харит¹⁷, мужем Майи¹⁸, богини весны, и, наконец, мужем самой Афродиты. Решающий мотив в любви принадлежит не красоте. Еще менее он принадлежит истине или добру. Влюбленные охотно признаются, что они увлеклись *безумно*, и даже гордятся этим. «Я наделал глупостей» – эту фразу произносят с величайшим одобрением себе. Участие разума в половой любви считается чуть не грехом. «Это уже не любовь, если действует рассудок». Совершенно верно, но если вспомнить, в каких случаях человек отрывается от рассудка, – вывод будет не в пользу любви.

* Титания – персонаж комической пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». – В. Т.

Мы заглушаем разум в делах, где не можем ожидать поддержки его; и влюбленные хорошо знают, что и разум, и совесть всегда против чувственных увлечений. Совершенно не входит в половую любовь и доброта: влюбляются в злых и добрых безразлично. В слабых степенях половой любви, когда разум и совесть еще не совсем подавлены, в выборе предмета любви участвуют и они, но чем сильнее, типичнее страсть, тем она безумнее и бессовестнее.

Таким образом, ни одно из *духовных* начал не участвует в явлении любви. Ученые объясняют это положением полового центра в организме – первоначального источника половой эмоции. Этот центр находится на высоте четвертого поясничного позвонка. «Психологическая роль его, – говорит Рибо*, – мала, или же он совсем не играет никакой роли; он представляет собою инстинктивный центр, *на действие которого не имеет влияния уничтожение мозговых полушарий и мозжечка*»... Вот до какой степени мало голова участвует в половом чувстве: головной мозг может вовсе отсутствовать или не действовать, как у идиотов, и половая жизнь останется неприкосновенной. Высший орган души не рождает любовное чувство, а лишь отражает его: свод черепа служит, так сказать, для простого резонанса музыки, разыгрываемой глубоко внизу, в поясничной области, на струнах наиболее животных и даже растительных (так как половая жизнь у нас – явление, общее с растениями). В процессе половой любви господствует плоть – не форма ее, а материя, химизм крови. Чаще всего побеждает здоровье тела, чувствуемая в любимом человеке физиологическая исправность всех важнейших и особенно генитативных органов**. К сожалению, и в этом, чисто физическом смысле, бывают исключения, так как и больные, и уроды не освобождены от этой – для них особенно жестокой – повинности. Вспомните бедного Квазимодо. Если можно со стороны

* Рибо Т. Психология чувств. – Примеч. М. Меньшикова.

** «Здоровье нравится в человеке более всего, будучи основанием чувства любви. Оно и праздность производит на пламя любви действие масла и пороха». – Байрон. Дон Жуан, CLXIX. – Примеч. М. Меньшикова.

сколько-нибудь переносить любовь красивой, здоровой, юной четы, то как противно зрелище любви людей, «обиженных природой»! Может быть, это самое жалкое зрелище, какое есть в природе. Но и отборные красавцы и красавицы хорошо делают, если прячут свои тайны: чем они интимнее, тем неприятнее наблюдать их со стороны.

ХIII

Половая любовь только безукоризненных людей бывает не противна для постороннего взгляда, да и то потому, что у них она безмолвна. Люди чистые и добрые, охваченные этой страстью, таят ее как не совсем приличную болезнь души, как слабость, выставлять которую перед другими стыдно. Не сознанием, а целомудренным чувством они понимают, что влюбленность вовсе не есть достоинство, что, во всяком случае, это отступление от нормы, забвение великого в пользу малого, творение себе кумира, который заслоняет Бога. Все это смутно чувствуется, если не сознается. Но для этого нужно иметь, конечно, очень чуткую совесть и врожденное благородство. Люди попорченные, каковы почти все, в любви делаются неспособными, как и животные в половой период. Вспомните, как безобразны в это время собаки: в другое время столь милые, изящные, великодушные, приветливые, в любовном раже они делаются грубыми, обозленными – похотливыми, и прикоснуться к ним противно. Влюбленные люди не составляют исключения: в их глазах

...сияет пламень томный,
Наслаждений знак нескромный,

знак или наслаждений, или предчувствия их, или страстной жажды их, а человек, наслаждающийся плотски, всегда некрасив, будь это еда, питье или другие физиологические виды счастья. Влюбленный человек делается беспокойным и нетерпимым, как все маньяки; он сохраняет способность

думать и говорить только об одном предмете, причем этот предмет преувеличивает до размеров, смешных всем, кроме него самого. Если это друг ваш, он надоедает вам признаниями, которых вы разделить не можете; он несносно ломается перед вами (и перед собою, конечно), охорашивается и топорщится, принимает то блаженный, то героический, то трагический вид; к сумасшествию искреннему он прибавляет умышленное, хвастаясь своим счастьем перед всеми и стараясь возбудить зависть.

Подъем в теле этой могущественной, самой страстной похоти приводит в движение весь хор темных сил души: тщеславие, самолюбие, себялюбие, жажду власти, поклонения и пр., и пр. Приглашаю честных людей, которые любили когда-нибудь пылкою влюбленностью, вспомнить свои *побочные* чувства. Какие это дурные чувства и как они отравляли блаженство любви. Вспомните, как вы бывали ревнивы, щепетильны, обидчивы, как вы домогались безумного, божеского поклонения себе и как мало ценили, добившись его. Как вы, ваша мысль, воображение, все чувства были напоены одною жаждой тела любимого существа, и как вам лгали ваши чувства относительно необходимости для вас этого тела, как позорно вы подчинялись всему, чтобы добиться какого-нибудь прикосновения к любимому существу. Любовь поистине, как Цирцея, превращает богатырей в свиней¹⁹.

Наслаждение быть влюбленным действительно жгучее всех других, но зато и больнее. У Анакреона (XI) Киприда говорит ужаленному пчелой Эроту: «Если пчела жалит так больно, – посуди же, как больно, когда, Эрот, ты ранишь». Как пьянство, влюбленность постоянно сопровождается своего рода Katzenjammer'ом, подозрениями, пресыщениями, недоверием, желанием помучить любимого человека и быть помученным. Недаром потребность крови столь часто переплетается с эротизмом; в каждом влюбленном есть частичка маркиза de-Sad'a. Частые самоубийства вместе и порознь от любви, убийства из ревности недаром сопровождают эту страсть. В уголовной антропологии уже установлена связь вообще всякого убий-

ства и самоубийства с эротическим расстройством*. Половая функция, обеспечивающая жизнь более чем личности – жизнь *рода*, – настолько могущественна, что возмущение ее спутывает весь нравственный строй человека. Подобно потопу, половая любовь, наводняя душу, ломает все психические, столь нежные, столь трудно образуемые преграды.

Вопреки мнению сладострастных, но слишком невежественных поэтов, половая страсть, как и все иные, есть не благо, а по самой сущности своей несчастье. До такой степени в жизни преобладает несчастная любовь, что счастливые ее случаи кажутся неестественными, не верными действительности. На Ромео и Джульетту было бы досадно смотреть, если бы это была счастливая, не трагическая любовь. Только мучения молодого Вертера, только гибель Маргариты (в «Фаусте»), только безумное горе Офелии или Медеи, – словом, только *несчастье* любви придает ей серьезный интерес. Необходимо вызвать в зрителе великое сострадание, чтобы он простил любовному роману присущую его природе недостойность. Только буржуазная, тупая публика может без скуки смотреть на сцены счастливой влюбленности, на банальные беседы под кустами сирени при луне, со вздохами и поцелуями. Но даже и такая публика заснула бы во втором же действии, если бы к любовной фабуле авторы не примешивали посторонних пряностей – измены, ревности, семейных ссор, которые суть те же страдания, только пониже сортом, чем в трагедиях, и как все нечистые страдания вызывают не доброе, а **скорее злое чувство в зрителе**, чувство удовлетворенного эгоизма. И половая любовь дает неисчерпаемую почву для сатиры, комедии и эпиграммы. Любовных идиллий, буколик, пасторалей больше не пишут: Феокрит²⁰ показался бы теперь слишком ребячливым, и в нем для современного читателя, как в «Песне Песней», интересен только эротический оттенок. Как трагическое в великой литературе, так скабрезное в мелкой играют роль необходимых пряностей любви, без которых она сама по себе непереварима.

* См. главу об убийцах в прекрасной книге С. Дриля «Преступность и преступники». – *Примеч. М. Меньшикова.*

<XIV>

Половая любовь в типической ее форме имеет все признаки мании, иногда тихой, но нередко и буйной. Эта страсть делает человека нравственно слепым и умственно как бы ошеломленным. Человек теряет способность различать добро и зло, красивое и безобразное: все в предмете его страсти ему кажется прекрасным. Он лишается лучшего человеческого дара – дара понимания; совесть и разум его как бы парализованы. И не только в отношении любимого человека, во всем, что так или иначе прикасается к его любовной истории (а с нею прикасается ведь весь мир, по понятиям влюбленного) – во всем все отношения перестраиваются на главный мотив: способствует данная вещь его любви или нет. Если способствует – она прекрасна, если нет – отвратительна. До влюбленности, например, вы глубоко любили брата, сестру, мать, друзей, любили законы нравственности и Бога, давшего эти законы. Но влюбились вы – и если эти брат, сестра, друзья, мать говорят против вашей страсти – вы чувствуете к ним враждебность; вам они начинают казаться врагами. Законы нравственности кажутся сомнительными, Бог – чем-то холодным и чуждым; вы стараетесь забыть Его и, может быть, станете доказывать, что Он не существует. Нравственно слабый человек, если он влюблен, совершает любую низость для осуществления своей страсти – ворует, изменяет долгу супружескому, бросает детей, убивает, клеветает, извивается, как гад, – лишь бы достигнуть заветной цели... Разве это не напоминает сумасшествия с его иногда поразительной, всегда злой энергией?

Половая любовь порабощает – вот одно из ее жестоких свойств, отравляющих радость обладания. Любовь требует *всего* человека, а взамен этого не может дать и половины. Мы хотим, чтобы та, которая нас любит, *только нас* любила бы, только о нас неизменно думала бы... и горевала бы. Да, наносить страдание любимому существу – почти неперемное условие этого рода любви. Если любящая вас особа безусловно счастлива этой любовью, вы не вполне этим удовлетворены

(вообще человек не любит чужого счастья, завидует ему), и вам захочется хоть на время лишиться своего друга этой радости, отнять кубок от его рта, чтобы он тем острее ощутил жажду. Бессознательно мы чувствуем, что удовлетворение граничит с пресыщением, и спешим предупредить его. Если же друг не испытывает больших страданий от нашей холодности, мы сами начинаем страдать. В этой игре двух самолюбий, двух жажд повелевать проходит вся поэма половой связи. Каждый хочет быть господином в этом союзе, и отсюда столь печальная грызня супругов, часто состарившихся в общей спальней кровати. Ни тот, ни другой все еще «не хочет покориться», то есть оба, значит, все еще хотят покорять один другого.

Ни одна страсть – кроме разве скупости – не возбуждает столько ненависти к людям, как влюбленность. Кто не испытал мучений ревности, не знает, что такое нравственные страдания. Сравните Гамлета и Отелло. Бедному мавру нечего притворяться безумным: он уже безумен от горя, и трагизм его безумия в том, что он собственноручно убивает ту, которая для него милее собственной жизни. В какой страсти это еще возможно? Малейшее подозрение – и весь душевный мир влюбленного настраивается на месть и злобу: к ней, изменившей, к ее сообщнику, ко всему человеческому роду. Бывают жестоки дуэли из ревности (и из всех страстей чаще всего половая любовь ведет к кровавой развязке), но надо поглядеть на ярость деревенских Отелло, чтобы получить понятие об остервенении, к какому приводит «любовь», причем как бы для верха низости и окончательного торжества зла женщина, как самка у дерущихся львов, иногда охотно отдается победителю. Вспомните Лауру из «Каменного гостя». Половая подлость поистине неизмерима.

Никогда человек – если он не исключительно порядочный человек – не лжет себе и людям столько, как когда он влюблен. Ах, я влюблен, поглядите на меня, я влюблен! Как я нежен и задумчив, как я пылок и интересен! И вот, едва увлекшись, молодой человек или женщина стараются всеми силами размазать как можно шире крупницу этого чувства, взвинтить его всемерно и прокричать о нем где только возможно, пококетни-

чать, порисоваться. Потому-то в каждом романе каждой стороне бывают необходимы конфиданты, на груди которых можно было бы излить слезы блаженства или горя, похвастать тем или другим. Влюбленность замечательно нескромна, хотя касается самого запретного из плодов. Только решительное отвращение всех к этой нескромности (когда она не наша) сдерживает ее в границах приличия, иначе влюбленный готов был бы весь мир сделать партером для своей сцены. Ни в одной похоти эгоизм не кричит так фальшиво и так громко, как в половой любви. Ни одна страсть столько не похожа на психоз, как эта «любовь».

<XV>

Половая любовь тотчас принижает обоих влюбленных: из существ свободных, отзывчивых на все впечатления мира, способных всем интересоваться, любовь делает каких-то маньяков, связанных половой *idée fixe*, вне которой уже нет жизни. Влюбленный ведь только о *ней* и думает, *она* одна перед его духовным взором, он к ней только и тянется. Влюбленному герою не до подвигов, не до человечества, не до друзей, не до Бога и своей судьбы. Как запойный пьяница, он жаждет одного, и все остальное ему не нужно. Укажите мне пример, где бы половая любовь, как лгут поэты, вдохновляла на великие дела, где бы она вызывала подъем благородных чувств? Я наблюдал обратное: половая страсть всегда только удваивает эгоизм и возбуждает не добрую, а злую энергию человека. Влюбленные рыцари, как самцы в борьбе за самку, совершали чудеса храбрости, то есть способности драться и истреблять, но не делались уступчивее и великодушнее. Богатыри даже физической силы, как Самсон²¹ и Геркулес, гибли жертвой этой страсти. Сколько героев пало за Елену Аргивскую, за порицание которой был ослеплен Гомер! Сколько царей, начиная с Соломона, теряли мудрость и долг свой в сетях этой страсти! Сколько пророков – кончая Иоанном Крестителем, сколько царей мысли были погублены из-за женщин. Вспомним, наконец, близкие к нам ужасные жертвы в лице величайших наших поэтов.

Переберите всех великих людей и назовите хоть одного, которого бы не талант, а любовь сделала великим, – а маленькими, по крайней мере меньшими себя, она делала многих. Ни в биографии древних мудрецов, в жизни Будды, Конфуция, Сократа, Платона и т. д., ни в жизни апостолов и святых, ни в жизни гениев нашей новейшей цивилизации мы не видим сколько-нибудь благотворного участия той формы любви, о которой здесь речь. Ни одному ученому, философу, художнику половая любовь не подсказала ничего доброго, и я думаю, вопреки ходячему мнению, даже поэты всего менее способны работать, когда влюблены. Они хорошо описывают любовь, – но уже *после* нее, когда она остынет, так как в период самой любви дух настолько встревожен, что творчество невозможно. Любовь Данте, Петрарки? Но их любовь грех назвать «половою» – до такой степени она была бесплотной. Про них можно только сказать, что влюбленность, как она ни жестоко измучила их, все же не одолела огромного таланта их, который без любви нашел бы, вероятно, еще более блестящее приложение. Великие поэты – самое великое падение, какое они могли вообразить, приписывали любви плотской. Именно этою любовью Мильтон объясняет падение первого человека, а Томас Мур²² – падение ангелов (“The loves of Angels”).

В Евангелии, где дана мера нравственной жизни, нет и намека о возможности в совершенном человеке той человеческой страсти, которую поэты воспевают как «божественную». В беседах Христа с самарянкой, Марией, сестрой Марфы, с блудницей и другими дан высокий образец святого отношения к женщинам как к сестрам, кто бы они ни были. И это безусловное отсутствие «божественной» страсти особенно пленительно. Наоборот, Моисей очень теряет от эпизода с эфиоплячкой. Индийский Кришна, кроме своих жестокостей, крайне роняет земную миссию свою любовными похождениями с пастушками. В числе других грубых черт Магомета особенно принижает его связь с женщинами после Хадиджи*. В истории

* В Коране – первая жена пророка Мухаммеда, мать правоверных мусульман. – В. Т.

Лютера факт, что он поспешил жениться, сняв с себя монашество, делает фигуру этого «пророка» совсем прозаической. До какой степени высоты поднимается Сократ в глазах даже развратного Алкивиада²³, отказавшийся от половой страсти (см. «Пир»), и какую лишнюю, совсем ненужную чертою его жизни является сварливая Ксантиппа²⁴. Никто не скажет, что и ближайшие к нам великие люди, вроде Байрона, Гете, Пушкина и пр., что-нибудь выиграли от связей с женщинами, тогда как отсутствие этих связей украшает биографии Канта, Ньютона, Спинозы и многих других мудрецов. Верный инстинкт подсказал молодому Будде бросить свою жену, как и подвижники всех стран, веков и религий не без основания отказываются не только от «божественной» страсти, но и самой возможности иметь ее. Неужели многовековой опыт этих богатырей нравственного подвига так-таки ничего не значит в вопросе о достоинстве половой любви?

<XVI>

Половая страсть сближает тела, но иногда поразительно разъединяет души. Бывает так, что муж и жена – оба порядочные, умные, милые люди и могли бы быть превосходными друзьями, если бы не плотская связь, которая, как оковы, которыми приклепаны друг к другу два арестанта, обоим мешают и обоих раздражают. Тот же муж и та же жена в чужом обществе так приветливы, любезны, даже задушевы со всеми, только не друг с другом. Оставаясь наедине, они молчат, точно вычерпали друг друга до дна, и, безусловно, ничего интересного уже не ожидают найти один в другом. Но так как пустота давит иногда больше, чем материальное тело, то эта пустота раздражает; каждому хочется выйти из нее, вызвать в сожителе хоть искру жизни. И вызывают эту искру грубо, как бы высекая ее из кремня, – не куском железа, а железными ударами слова. Вспыхивают осколки сердца, оно чувствует боль, завязывается сцена со взаимными укорами и клеветой, каких ни муж, ни жена не сделали бы никому из совершенно

чужих людей. Потом половая похоть опять их тянет друг к другу, идут объяснения, слезы, наступает надорванный, неискренний мир, затем опять чувство пустоты, опять ссора и т. д. Удивительно, до чего такая «любовь» мешает дружбе, вместо того чтобы создавать ее.

Половая любовь – страсть столь тяжелая, что даже для непорочных душ нуждается в поддержке иного, величайшего интереса – деторождения. Хотя эта любовь вовсе не нужна для появления потомства, хотя цель этой страсти, как всякой другой, – она сама, а не последствия ее, но нравственные люди чувствуют, что стыдно отдаваться половой любви ради нее самой и стараются оправдать себя желанием детей. Породив существо, ради которого будто бы пережита буря чувств, с волнениями, напряжениями, страхами и надеждами, достигнув физиологической цели, любящая чета значительно успокаивается, переносит свое внимание с себя на третье существо, и, как всегда в подобных случаях, чувствует облегчение. Гора эгоизма спадает с плеч. Есть, наконец, отвлекающее от мании средство, есть нравственная цель дальнейшего сожительства. И, я думаю, это самый счастливый момент всего романа, самый спокойный и осмысленный. Дело сделано, и работники воли Божией чувствуют гордость отдыхающих от труда людей. В этом периоде меньше огня и восторга, чем в эпоху зарождающейся любви, меньше упоительных и смутных предчувствий, но больше нежной радости, умиления и уважения друг к другу. «Только утро любви хорошо»*, – говорит поэт. Да, утро и не слишком поздний вечер, тот час, когда еще достаточно света и теплоты, но палящий зной уже схлынул, повеяло живой прохладой. В любви, как и во всем прочем, гораздо лучше некоторый недостаток, чем преувеличение, ведущее к пресыщению. Ослабевает страстная любовь – и из-под гнета ее начинает выпрямляться придавленная было дружба, уважение, доверие – хорошие человеческие отношения, единственные хорошие, какими держится всякий союз.

* Строчка из стихотворения С. Я. Надсона. – В. Т.

<XVII>

Что же такое половая страсть? Я думаю, она есть простой психоз, развивающийся на почве половой потребности, болезнь вовсе не нужная ни для акта зачатия, ни для восполнения типа, ни для сохранения его, ни для усовершенствования, как фантазируют некоторые философы. Для всех перечисленных целей достаточно простого полового влечения, управляемого совестью и вкусом. Даже там, где ни совесть, ни вкус не принимают участия в соединении особей, например в культурном животноводстве, жизнь рода не только не прекращается, но даже выигрывает в сравнении с дикими условиями полового подбора, где допустима «страсть». Хозяева не дожидаются того, чтобы самец сам выбрал самку по своему вкусу и соединился с ней; напротив, они этого боятся и не допускают. Они сами подбирают пары, и этим только приемом тип восполняется и совершенствуется. То же и среди людей: в тех племенах, где жен добывают насильственно, где берут в плен самых молодых, сильных и красивых, где мужчины соединяются с ними, не добиваясь любви ни их, ни своей, довольствуясь лишь удовлетворением плоти, – там расы не ниже, а физически даже выше, чем у народов, где в браке участвует половая страсть и где влюбляются далеко не в самых здоровых, красивых и сильных. То же видим у народов, где брак решается выбором родителей: физический тип там несколько не хуже, чем у нас, – стоит сравнить поколения наших прадедов с нами самими.

Я, конечно, отнюдь не сочувствую насильственному сближению полов; выбор жениха и невесты должен быть, безусловно, предоставлен им самим (хотя и при самом живом участии родителей). Но я думаю, что нынешний порядок, когда ищут половой страсти, а не дружбы, есть вовсе не добровольный выбор. Половая любовь является часто величайшим насилием над обеими сторонами, заставляя сходиться людей, совершенно не подходящих друг к другу, глубоко чуждых. Половая любовь – не только не самый верный инстинкт для

наилучшего подбора расы, но скорее самый неверный. Как психоз, как помрачение разума, любовь парализует все соображающие и взвешивающие способности, лишает человека возможности сделать правильный выбор. Будучи гипнозом, развивающимся на половой почве, любовь, подобно всякому гипнозу, заставляет пораженного субъекта принимать одно существо за другое, мел – за сахар, дерево – за медведя. Поглядите на любовную историю великих людей. Казалось бы, все женщины, знавшие Шекспира, Гете, Данте, Мольера, Гейне и др., должны бы были именно в них влюбляться, их выбирать для продолжения рода, – и что же: эти лучшие из лучших встречали или отказ в любви, или самую черную измену. Шарлотта Буфф²⁵ отвергает Гете и влюбляется в ничтожного Гестнера; возлюбленная Шекспира, которой посвящены дивные сонеты, отвергает великого человека и отдается какому-то мальчишке; Беатриче отвергает Данте и выходит замуж за какого-то буржуа. Наоборот: великие люди, ослепленные страстью, женились часто на ничтожных женщинах (например, тот же Данте, женившийся на Джемме Донати, или Милтон, не говоря уже о жене Сократа). Такие ошибки бесчисленны, и всякий их может наблюдать; сами влюбленные, когда спадет гипноз, поражаются, до какой степени они были слепы, и говорят, что их «черт свел». Дарвинисты кричат упорно о «подборе» породы, об усовершенствовании ее, закрывая глаза на непрерывную *порчу* породы тем же половым подбором. Смешайте два табуна, породистый и дикий, и вы увидите, что половой вкус не оградит лучшую породу от смешения, и тип непременно будет испорчен, если не вмешается хозяин стада. И в человеческом обществе разве мы не видим постоянного искажения типа под влиянием страсти, соединяющей сильных и слабых, умных и глупых, красивых и некрасивых?

Если бы половая любовь была нужна для деторождения, она возникала бы в период наибольшей половой зрелости, то есть от 25 до 35 лет. На деле же она несравненно чаще является в юношеском возрасте, начиная от 16 лет и даже раньше. Данте (*Vita Nuova*) говорит, что, когда он страстно влюбился в Беа-

триче, она начинала свой девятый год, тогда как он его «уже оканчивал». Лермонтов чувствовал себя глубоко влюбленным в 10 лет. И эта первая любовь бывает не только серьезной, но иногда трагической. Тут всего возможнее самоубийства от любви. Вспомните, что Ромео и Джульетта были почти дети, ей не было и 14 лет, а у Ромео это была уже не первая любовь. Таким образом, половая страсть возникает иногда задолго до половой зрелости; она является как бы психозом созревания, смутным отзвуком того нервного брожения, которое в человеке только что начинает слагаться. Любовь в зрелом возрасте, от 25 лет, возникает редко с юношескою пылкостью; она здесь гораздо уравновешеннее. Сближение полов в этом возрасте чаще всего решает телесная потребность и душевная симпатия: соответствие вкусов, характеров, привычек и т. п. Это эпоха браков «по расчету», какими и должны быть браки, если слово «расчет» понимать в нравственном смысле. В этом возрасте разум принимает значительное участие в сближении полов, и потому такое сближение не столь легко и безоглядно. Настоящая типическая любовь снова становится возможной при начале полового увядания, лет около 40, в эпоху «второй молодости», когда «седина – в бороду, а бес – в ребро», по наблюдениям народной мудрости. В предчувствии климактерического кризиса женщина снова ищет увлечений, мужчина снова способен на безумие. И, как известно, эта старческая любовь самая тяжелая и трагическая. Помешательство от любви здесь всего возможнее.

Таким образом, половая любовь в острой ее форме вовсе не совпадает с половою зрелостью; она возникает преимущественно или когда половая сила слагается, или когда она разлагается. Это подтверждает мою догадку о том, что любовь есть психоз на почве неуравновешенной функции.

<XVIII>

Я уверен, что, как ни стараюсь выразаться ясно, – меня непременно обвинят в «отрицании» половой страсти. Но я этой страсти ни отрицать, ни утверждать не могу, она – явле-

ние природное, в своем корне от нас не зависящее. От нас зависит лишь то или иное *отношение* ко всякому явлению, и мне кажется, к половой любви у нас установилось отношение ложное и недостойное. Половая любовь существует, как все другие страсти, но, как они, она должна быть развенчана; с этого идола должны быть сняты драгоценные украшения и пышные краски, чтобы всякий видел, что это не бог, а простое дерево. Как идолу придает способность обманывать людей его человекоподобие, подобие жизни, так и половой любви – ее некоторая аналогия с настоящей любовью. Следует убедиться, что это лишь формальное сходство, и подобно тому как идеально красивая мраморная статуя – все же не человек, так и идеальная половая любовь все же не есть нравственное чувство. Всякое *нравственное* чувство бескорыстно и нематериально, оно – вне тела и не для тела, а половая любовь – вся в теле и для него одного. Надо убедиться, что при всей сладостности этой страсти и при всей остроте ее печалей это не *подъем* души, а упадок ее, не здоровье, а болезнь: особая психопатия и даже мания, возникшая на физиологической почве, подобно душевным болезням, развивающимся вследствие голода, жажды, алкогольного отравления и т. п. Половая любовь имеет ту же нравственную природу, что и сластолюбие, обжорство, тщеславие, или как скупость, жажда наживы, когда человек охватывается безумным влечением к вещам или деньгам, ему совсем не нужным. Скупость тоже, если хотите, «божественная» любовь, ибо дает ощущения скупцам столь же сладостные, как и влюбленным, и столько же мучений, конечно...

Я чувствую, что говорю для многих неприятные вещи, но надо же каждому юноше и девушке, вступающим в жизнь, ясно знать не только об ожидающих их волшебных снах, но и о горьких разочарованиях после них, о тяжелой драме, которую почти каждая любовь сопровождается с такою же неизбежностью, как сладкие грезы опиофага – последующим похмельем. Половая любовь есть страсть столь тяжелая, что нужен большой запас нравственных сил, чтобы достойно встретить и перенести ее благополучно. К этому периоду жизни нужно готовиться со

страхом, как к великому испытанию. Родители обязаны дать детям элементы здоровой любви – физическое здоровье, невинность, нравственную крепость, конечно, сколько это во власти родителей. Но и сами юноши должны серьезно, очень серьезно вдумываться в то, что им предстоит, и собираться с силами. Как спартанские и римские юноши задолго до битвы укрепляли свое тело, развивали в нем ловкость и искусство владеть оружием, так и современные – в числе жизненных битв, которые должны предвидеть, должны готовиться особенно серьезно к первой, решающей всю судьбу рода встрече с женщиной. От того, каким образом поведут себя обе стороны, поступят ли они благородно или низко, зависит счастье не только их, но и бесчисленных возможных поколений от них. Ведь именно для них только и необходимо соединение полов, для их вызова к жизни. Какой торжественный, таинственный момент! Какую священную ответственность берут на себя молодые влюбленные, сколько интересов – и каких бесконечных – им вручено судьбой! Единственные представители *своего* рода в этом мире – они призываются к соединению как бы бесчисленным сонмом невидимых, родных им душ, жаждущих бытия, осуществления своего в материи. Каждая пара человеческая венчается как бы на царство среди народа, который пойдет от нее в глубь времен, каждая пара стоит в начале нового человеческого мира, на который наложит свою печать их душа и тело, их совесть и пороки. К великому таинству, творящему жизнь, следует приступать со страхом и трепетом, с молитвенным настроением совести, дабы ничем не замутить источника жизни, не отравить его потока, бегущего в вечность. Величайшая чистота здесь требуется, вся доступная человеку святость. Писатели, поэтизирующие половую страсть, внушающие людям легкомысленное отношение к ней, совершают грех соблазна, которому нет и имени.

<XIX>

К половой жизни надо готовить юношей не так, как теперь готовят их безнравственные поэты и беллетристы, – не

соблазнительными, тонко-порнографическими картинами упоений, будто бы божественных, а в сущности животных, а так, как их готовили в старину в хороших семьях. Тогда берегли не только физическую, но и психическую невинность юношей, как зеницу ока, старались им не давать *никакого* понятия об этой стороне жизни, скрывали половую любовь, как нечто постыдное, в глубокой тайне. Тогда инстинктивно понимали, что «придет пора» – и все откроется, но лучше, чтобы это открылось людям взрослым, с созревшей волею и разумом, с укрепившимися понятиями чести, с привычкою относиться к лицам другого пола безукоризненно и бестелесно. Охраненный от всяких половых раздражений юноша вырастал свежим, чистым и сильным, как молодой бог, во всем достоинстве красоты своей, во всей святости воображения. Он вступал в жизнь *во всеоружии* для встречи с тою, которая нужна для его жизни; если его охватывала страсть, он не знал, что это такое, и потому она была у него искренней; как Дафнис и Хлоя, влюбленная пара мучилась – и не догадывалась, что им нужно, влечение имело время созреть, обуздываемое всеми силами души, и, наконец, разрешиться *естественно*, как падает созревший плод, готовый для новой жизни. Только такая страсть – как все *невольное*, превозмогшее все преграды, имеет правильное течение, наименее опасное для остальной жизни. Только при условиях, когда эта страсть обуздывается неведением, стыдом, убеждением в ее недостойности для человека и привычкою чистоты, только при таких преградах разлившаяся похоть может быть удержана в узком русле, не затопляя собою всей области духа.

Скажите по совести, сознается ли все это достаточно ясно всеми родителями, и сильна ли у нас та дисциплина, нравственная и гигиеническая, которая обеспечила бы детям счастье пола?

В любви плотской – пафос животной жизни, как в мысли – пафос духовной. Оба эти полярные сияния души крайне редко озаряют жизнь во всей роскоши своих красок. Как полярное сияние для жителей умеренных стран, счастье люб-

ви и мысли почти неизвестно людям испорченным – с оборванными, так сказать, электродами: их внутренняя энергия не доходит до степени свечения, не дает искры. Грустно и странно видеть большинство теперешней молодежи хилой, с землистыми, впавшими лицами, с потухшим взором, с хриплым голосом. Они надорваны во всех отношениях – и, может быть, особенно в том нежном и тонком, которое называется половой функцией. В пугливых и вместе наглых взглядах, которые они бросают на женщин, можно прочесть повесть тайных грехов, повесть скверного опыта и поругания всех святынь, какие есть на свете, потому что нет глубже кощунства, как грязный взгляд на половую жизнь. Любовь плотская оказывается счастьем слишком сильным для испорченной теперешней расы. Дафнис и Хлоя – оба прекрасные и невинные, полные свежих, питательных – сказал бы я – соков молодости, ничем не отравленных, – Дафнис и Хлоя могли пережить томление этой страсти безнаказанно, для них эта болезнь роста была не опасна, как прорезание зубов для здорового ребенка. Естественная плотская любовь, подобно бурному предчувствию двух туч, заряженных противоположным электричеством, есть немое и тягостное напряжение, она есть темный физиологический и – вернее – даже химический процесс. Но овладеть химическим процессом не так-то легко: тут нужно величайшее внимание, соблюдение множества самых деликатных условий. Соблюдайте их – получите драгоценный продукт, энергию *укрощенную*, введенную в живую систему. Иначе – взрыв, катастрофа или, что чаще, длительное, гнойное разложение...

<XX>

Высшее благо человека требует, чтобы тело было *средством* духа, и когда какая-нибудь телесная потребность вдруг становится *целью* существования, это уже предвестие гибели. Всем потребностям тела должен быть обеспечен необходимый минимум, но все сверх этого минимума есть уже ущерб

для духа. Когда какая-нибудь потребность разрастается, все другие должны вступить в коалицию против нее и дружным сопротивлением удержать *нужное* в границах *необходимого*. Из всех потребностей, кроме, может быть, голода, самая могущественная – половая страсть, и для обуздания ее нужно особенное напряжение остальных сфер духа; здесь особенно необходима нравственная подготовка. Нужно заранее, со дня рождения, сделать все, чтобы юноша в половой любви оказался хозяином этой страсти, а не рабом ее, – а ведь у нас именно проповедуются рабство, добровольное и безоглядное подчинение «любви». К половым утехам мы готовим детей наших с ранних дней, вводя их в тот «культ любви», которым живем мы сами. Родители при детях целуются и обнимаются, говорят нежности о глазках и губках, ссорясь, при детях упрекают друг друга в любовных изменах, при детях завязывают любовные интриги, ухаживают или принимают ухаживанья, при детях сами любят себя сладострастными картинками, статуями, романсами, читают сами и дают читать детям любовные романы, заставляют их заучивать любовные стихотворения как «образцы словесности». С ранней юности при детях оценивают их наружность, украшают их и наряжают, учат танцам, говорят о будущей свадьбе. Сами тонко развращенные, мы втягиваем в свою нравственную грязь едва вышедшие из иного мира чистые души... Немудрено, что уже десятилетние гимназисты пишут любовные записки знакомым девочкам, – не твердые в половом чувстве еще более, чем в грамматике. Так называемый «тайный порок юности», губящий бесчисленное множество детей, вызывается наследственным сладострастием, воспитываемым в ряду поколений, а также тем культом любви, которым окружены дети. Надорванное в самой завязи своей, раздраженное половое чувство и сумасшедшее представление, будто любовь есть цель жизни, – вот с чем вступает юноша в свой критический возраст. Природа, наконец, посылает ему половую зрелость, и он распоряжается ею, как молодой мот, в руки которого попали большие средства...

<XXI>

Самые высокие интересы человечества требуют, чтобы половой культуре был положен конец или, если хотите, чтобы теперешняя дикая половая культура, столь похожая на распутство, сменилась культурой разумною. Необходимо, чтобы были уничтожены те условия, которые извращают половую потребность в похоть, в страшную болезнь, которая, при всей жестокости, в значительной мере искусственна, как психоз, вызванный древним и достаточно отжившим культом. Для брака, для семьи, для нравственного счастья нужна не половая страсть, а целомудрие, необходимы совесть, разум, любовь братская – все то, что нужно вообще для жизни.

«Брак – любви могила», говорит ходячая, но глубокая пословица. Влюбленность, перестав быть невинной, умирает. Она сменяется часто равнодушием, нередко отвращением или же животным половым аппетитом, переходящим столь часто в обжорство со всеми последствиями обжорства – пресыщением, расстройством органов и т. п. И только в том случае, если оба супруга – нравственные люди, их сожительство, как всякое сожительство хороших людей, превращается в дружбу, в бескорыстную привязанность, подобную дружбе матери к сыну или сестры к брату. Устанавливается любовь духовная, которая возникла бы и без полового участия (которое чаще препятствует такой чистой любви). Романисты делают грубую ошибку, продолжая невинную, «первую любовь» долее брака. Потребность такой влюбленности со стороны иных пожилых мужчин и дам, испытавших уже «все», есть вид разврата: разврат ведь и состоит в желании повторять неповторимое, возобновлять жгучие ощущения уже тогда, когда огонь погас, растягивать то, что по природе своей мгновенно. Физический развратник, вычерпавший себя до дна, прибегает к воспоминаниям: он воскрешает в своей памяти картины прошлого, если же память и воображение изменяют, он обращается к особому рода секретной живописи или секретной литературе. Совершенно то же делают

более тонкие, психические развратники, если к старости не могут уgomониться и все еще мечтают о нежных объятиях, страстном шепоте под трель соловья, о горячих поцелуях и т. п. – они обращаются к сладострастным романам плохого разбора или заводят себе умышленно такие же «романы». Не настоящие, конечно, а, так сказать, маргариновые, но все же романы, хотя от них, как от маргарина, не остается ничего, кроме душевной изжоги.

Когда человек созревает для брака, ему – если он не весь поглощен высшими интересами – сойтись с женщиной нужно, но не для половой любви, а для того, чтобы уже навсегда отказаться от любовных передраг, отвлекающих от правильной жизни. Любимая женщина для мужчины (как и обратно) должна служить громоотводом, спасительным щитом от беспоконной страсти. Он и она призваны непрерывно погашать разгар животности друг друга, чтобы тем беспрепятственнее светил иной, духовный свет их жизни. Брак безукоризнен и свят, если между мужем и женой при физической симпатии возникает искренняя дружба, как между равными (какая желательна и между «чужими», так как все родные, нет чужих). Дружба, если она серьезна, вполне достаточна; требовать еще какой-то особой *половой* любви – значит требовать животного чувства, ставить его выше человеческого. Требовать разрыва одной связи вследствие другой возникшей любви – это значит притягивать к себе молнии, а не отвлекать их. Для большинства людей, по слабости их, брак нужен, но не для половой похоти, а для ослабления ее до возможного предела. «Брак – любви могила» – да, и это одна из лучших целей брака, его нравственное оправдание.

Суеверия и правда любви

I

Что думают о любовной страсти образованные люди?
Что думали о ней выдающиеся философы, ученые, поэты?

Древние мудрецы, пророки, вероучители едва достаивали половую любовь своего презрения; они не останавливались даже на выяснении этой страсти, не отличая ее от порока. Древняя мудрость, более близкая к природе, чем наша, как бы стыдилась заниматься этой бурной похотью, не жалея громов на нее и ее источник – женщину. Читайте Библию – и вы поразитесь, до какой степени еще в глубочайшей древности половая страсть расстраивала жизнь и сколько требовалось напряженного внимания, чтобы обуздать ее и обезвредить. В разные эпохи и цивилизации, у всех почти народов наряду со сладострастным культом раздавалась проповедь полного отрицания половой жизни, проповедь сурового аскетизма, доходившего в некоторых случаях даже до окончательного разделения человеческого рода на два как бы враждебных лагеря. В общинах, стремящихся к совершенству жизни, к божественности ее, оба пола навеки разделены, и никакое общение между ними не допускается во избежание «соблазна». Этот трагический культ подавления страсти вызван высокою потребностью души, но свидетельствует скорее о поражении духа, нежели о победе его над плотью, как и обратный, сладострастный культ. Достоинство жизни – не в разделении, а в союзе людей, не в принудительной святости, а в искренней, невинной чистоте, как у детей, для которых целомудрие легко и естественно. По нравственной слабости человечество до сих пор не достигло этого идеала, колеблясь между отрицающими его крайностями. Но аскетически культ захватывал собою лишь ничтожную часть общества, людей избранных, тогда как противоположный, сладострастный культ господствует над массами; именно он повинен в общепринятом, глубоко ложном взгляде на любовь, в суевериях, которыми окутана эта страсть. Современная мысль оказалась здесь даже сильнее древней. Как всякий предмет культа, половая любовь наименее освещена сознанием: чем больше уделялось внимания ей, тем она делалась все священнее и неприкосновеннее. Дошло до того, что критический взгляд на половую страсть, как и на всякий предмет культа, считается кощунством; раз

установившийся, неподвижный канон любви принимается навеки бесспорным, для всех обязательным. Как и во всяком идолопоклонстве, здесь допустимо одно: поклонение, и в формах этого поклонения разрешается всякое преувеличение. В эту сторону обыкновенно и устремляется ум: стесненный в критике, направленный исключительно на похвалу, он в восторгах перед любовной страстью не знает уже меры. Как во всяком устаревшем культе, получается понимание предмета до такой степени одностороннее, что в нем не осталось и тени правды. Кончается тем, что столь жизненное и яркое явление обволакивается туманом самого пошлого суеверия; живой дух явления замирает в «букве», в книжной формуле, которой гипноз на целые века делается неодолимым. О половой любви редкие люди в состоянии говорить спокойно; как магометане при слове Мекка, мы при слове «любовь» испытываем потребность проделать все то, что требует вековой культ любви: вздохнуть, принять нежный, задумчивый вид, произнести что-нибудь напыщенное или слащавое. Нам кажется, что это наше собственное, искреннее отношение к любви, а на самом деле это только обряд, машинально проделываемый нами по раз принятому образцу. Поэтому очень трудно услышать о половой любви что-нибудь искреннее и свежее. Даже иные серьезные моралисты, как Эмерсон в «Опытах»²⁶ или Адам Смит в «Теории нравственных чувств»²⁷, заговорив о любви, начинают как-то приторно сюсюкать и пускать слюнки... Правда о любовной страсти доступна не образованному обществу – и не его умственным вождям, а или людям высокого нравственного развития, или художественному гению, или грубому цинизму людей, освободившихся от всякой морали.

Что думают о любовной страсти образованные люди? Недавно издана небольшая книжка на русском языке: «Любовь конца века». Составители ее приглашали многих писателей, художников, ученых и артистов высказаться о любви*.

* Любовь конца века: Современники о современной любви: статьи и мнения Андреевского, Билибина, Буа, Бурже, Варламова, Василевского, Гарина и др.». – Спб., 1895. – 188 с. – В. Т.

Составился любопытный хор, где целая толпа пожилых господ и дам рассматривают слепого бога, будучи в большинстве сами с завязанными глазами. Позвольте познакомить вас с их взглядами.

II

«Любовь так же велика и таинственна, как смерть», – заявляет один поэт, адвокат и критик. «Любовь – царица мира! Она *все*», – восклицает один актер. «На свете одна любовь сама по себе, *an und fur sich*, – все остальное только для нее», – пишет один редактор и беллетрист. «Любовь – это тот центр, то солнце, вокруг которого теснятся все побуждения человеческой души, *все* проявления человеческой воли», – заявляет другой писатель. «Что такое любовь?» – захлебывается от восторга один автор исторических романов, седой и древний старец: «Для полноты этого ответа недостаточно исчерпать все лексикальное богатство всех языков, наречий, подречий и говорюв всего мира. Любовь – это мировой закон, такой же неизменный и непостижимый, как закон мирового тяготения... Любовь – это основной закон жизни, дыхания всего живущего» и пр., и пр. Один старый газетный критик коротко, но внушительно заявляет: «Я признаю любовь *силою*, равную теплу, свету, электричеству». Видите ли, даже не *подобною* силою, а равною! – «Любовь как инстинкт – единственный фактор жизни», – кричит одна пожилая беллетристка, а один старый профессор истории и публицист впадает просто в какие-то конвульсии восторга, в какой-то бред о любви, который я даже и разобрать не в состоянии.

Некоторые писатели, впрочем, взглянули серьезнее на вопрос. Любовь, по мнению одного знаменитого романиста (Э. Золя), «наблюдается в двух формах: пассивизма и садизма. Любовь первого рода – любовь подчинения, рабства, поклонения. Пассивист готов переносить с радостью все пытки и истязания от любимой руки. Это любовная кротость и покорность, доведенные до апогея. Садист сам должен истязать

и тиранить любимое существо. Он может любить и обожать только то, что поддается его любовному самодурству. Это – любовный деспотизм и насилие... Такова современная патологическая любовь. Нормальная любовь имеет характер смешанный, пассивно-садический... По другому автору (Мавр Иокай²⁸), любовь есть сила, торжествующая над умом; она – «победоносный враг логики, она тиранически подавляет царей и народы, созидает и разрушает жизнь, управляет невинностью и пороком, не делая различия между ними».

«Любовь – творческая сила всегда и везде, – говорит одна писательница. – Любовь окрыляет мысль, иннервирует падающие силы, дает подъем утомленному духу. А то, что *принято* называть любовью в современном обществе, не только не *творит*, а напротив, – *разрушает, губит, развращает*». Ergo – это не любовь, а прямая противоположность любви, и об этом не стоит ни спорить, ни толковать, так как даже сам «св. Аввакум не советует говорить о таких мерзостях».

Известный немецкий романист Шпильгаген²⁹ называет современную любовь «*воровскою* любовью; она порхает с цветка на цветок, оскверняя их лепестки, не доходя до сокрытой сердцевины цветка».

«Все любовные драмы настоящего времени, – говорит один французский писатель, – не более как продукт плоти и самого грубого инстинкта. Такого направления любви следует опасаться. К истинной любви могло бы подготовить нас воспитание. Необходимо развивать в ребенке чувства красоты, идеала, известную мягкость и нежность. Современное воспитание этому совершенно не удовлетворяет. И юноша, и девушка выходят на арену жизни эгоистичными, совершенно неподготовленными к *священному культу* любви».

Французы – этот античный народ современности – открыто признают культ половой любви «*священным*», как это было и в греко-римские времена. И признают это почти все – от покойного Ренана до юнейшего декадента...

Один русский журналист думает, что несчастья любви происходят от современного государственного и обществен-

ного строя. «В современном обществе с его государственными законами и культурными потребностями, искушениями, приличиями и т. п. *идеальная любовь – величайшее страдание*. Истинная любовь редко совпадает с *законностью*, с общественными формами и обычаями; вследствие постоянной борьбы с этими препятствиями она часто перерождается в нечто совсем уродливое, смешиваясь с самыми грубыми инстинктами... Любовь стала страданием уже с появлением первых зачатков культуры в человеческом обществе».

Всех правильнее отнесся к любви один талантливый русский фельетонист: «В жизни каждого из нас, – говорит он, – любовь играет самую незначительную роль, и то в ранней молодости. Но в разговорах, в условной лжи нашего существования, в области “нас возвышающего обмана” это по-прежнему великое, значительное и чуть-чуть не святое дело. Для того чтобы поддерживать обман и сгущать туман нашего сознания, существуют целые и многочисленные организации. Одни этот отживший вздор, который едва ли тысячного из нас сбил с пути или на путь направил, перелагают в стихи и прозу; другие облачают его в яркие краски; третьи – в музыкальные звуки; четвертые изображают на сцене; пятые разжигают критическим анализом и пр., пр. Все это искусства, которые кормятся около любви, а все они в общей сложности не составляют для нас того, чем была любовь в доброе старое время, – искусства жизни...»

III

Целый ряд писателей и дам высказались в пользу «свободной» любви (то есть прелюбодейной) и в пользу извращения ее в стиле *fin de siècle*.

«Извращение любви, – говорит г. Жюль Буа³⁰, – является вследствие желания рельефнее выразить любовь. Если для низменных натур извращение любви является предметом грубого разврата, то для возвышенной души оно представляет неиссякаемый источник мечтаний. Из всех форм совре-

менного брака я предпочитаю свободный брак, дающий нам громадные преимущества».

Всю жизнь мы не в силах провести с одной женщиной. Мы ищем новых ощущений, новых встреч. Если бы мы ограничились одной женщиной, это было бы лицемерием. Альфред Мюссе³¹ подарил Жорж Занд свою меланхолическую музу, но явилась любовь Пьера Леру³² – и Жорж Занд узнала социальные идеи. Так и мы из каждой «связи, из каждого брака, из каждого увлечения выносим нечто новое, возвышающее и дополняющее наши мысли и чувства».

Не подумайте назвать это распутством; это есть не что иное, как «священный культ любви», к которому современные юноши и девушки, к сожалению для автора, недостаточно «подготовлены». Чем больше связей («браков»), тем оказывается превосходнее, и менять любовников для женщины и есть настоящая школа развития, своего рода «высшие женские курсы». Жорж Занд, видите ли, не могла иначе познакомиться со стихотворениями Мюссе, с социальными идеями Леру и пр., и пр., как вступив в половую связь с этими авторами. *Avis aux dames...**

«Можно любить человека, вовсе не зная его, – заявляет г-жа Иветт Гильбер³³. – Это любовь воображения. Так я в семнадцать лет полюбила Пьера Лоти, ни разу не видав его. Я думаю, что можно любить несколько раз с одинаковой силой; предыдущая любовь несколько не ослабляет последующей... Долговечной любви я не признаю, особенно в нашей среде, среди артистов».

«...Извращенной любви, – говорит г-жа Отеро³⁴, – вовсе нет. Раз я люблю человека и он любит меня, то вполне естественно, что мы оба стараемся выразить наши ласки возможно ярче, необычайнее, разнообразнее... Единственное извращение любви – платонизм... Я полюбила, когда мне было 18 лет, и более недели не могла заниматься вздохами, клятвами, флиртом. Спустя неделю я уже лежала в объятиях милого и принадлежала ему *вполне*».

* То, что предназначено для дам; объявления для дам, обращение к дамам (фр.). – В. Т.

К этим же откровенным взглядам присоединяется и одна старая русская писательница. «При существующей выработанности натур, – говорит она, – когда душа человека становится более чуткой и восприимчивой, ни женщина, ни мужчина не могут вполне удовлетворяться чувством к одному. Можно одновременно испытывать искреннюю любовь к двоим, все равно будет ли этот второй женщина или мужчиной...». «Друзья дома» – необходимейший элемент семейного счастья конца века. Умело пользуясь присутствием друга дома, женщина имеет в руках рычаг, могущий доставлять ей все, начиная от возможности мести до... ложи в итальянскую оперу».

«Можно ли изменить, любя? – спрашивает писательница и отвечает, не колеблясь: – Можно и, пожалуй, должно, особенно в наше время... Самая здоровая и вкусно приготовленная пища надоедает... После легкого флирта, с последствиями или без них, женщина делается нежнее к своему мужу... “Ешь белый хлеб, захочется черного...”».

«Говорить мужу или не говорить, если жена полюбила другого?» Русская писательница утверждает, что *умные* женщины конца века решают двояко; если любовник беден или не свободен, то мужу не говорят, если же богат и «скандал разрыва, даже разлука с детьми, будут хорошо вознаграждены, и ее ожидает роскошное гнездышко, пара гнедых и другие атрибуты женского счастья, тогда умная женщина смело сознается в своем поступке».

Вот какие взгляды существуют в образованном обществе, в среде писателей и артистов на эту «святую страсть». Пусть старомодные, плохие поэты идеализируют «любовь», окружают ее нимбом небесного сияния и чистоты. Современные люди откровеннее; они не считают нужным прикрываться даже фиговым листком. Любовь теперь сводится к половой гастрономии, к возможно разнообразному и тонкому удовлетворению полового вкуса. Все старинные, нравственные элементы любви: верность долгу, стыдливость, дружба и пр. – здесь признаются столь же неуместными, как за вкусным обе-

дом. И как это ни страшно вымолвить, *правда* половой любви на стороне этих утонченных циников. Если признать половую страсть достойной культа, то, как всякий телесный культ, он ведет непременно к освобождению от совести, то есть к разврату. Высшая степень разврата – когда душа начинает служить страсти, когда чувственность из *телесной* становится *психической*. Такова она у латинской расы, некоторые слои которой явно страдают эротическим помешательством.

Я не исчерпал и малой доли любопытных идей «Любви конца века», но и этого достаточно, чтобы убедиться, какой тон господствует в мнениях о половой любви. Казалось бы, для всех этот предмет священен, но когда пришлось высказаться определенно, не многие обнаружили святые чувства. Всякий продолжительный культ обессиливает мысль и совесть, и не только не увеличивает познания предмета, а усугубляет невежество в нем. Но есть и хорошая сторона в этом: в дряхлеющем культе омертвевает постепенно стороны, скрывающие его сущность, она обнажается, и для людей, не принадлежащих к этому культу, легко видеть подлинную его правду. Как некоторые религии Востока, постепенно старея, впадали в грубое идолопоклонство и раскрывался источник их – эгоизм, так и культ любовной страсти: он обветшал до того, что сквозь рубище когда-то пышных одежд сквозит уже его тело, его животный эгоизм.

IV

При всем отвращении к цитатам позволю себе привести в *pendant* изложенным выше взгляды на любовную страсть некоторых старых мыслителей. Свидетельство их на протяжении тысячелетий ценно как доказательство, что эта страсть нисколько не изменилась в своей природе.

Будда говорит: «Любовь к женщине острее крюка, которыми укрощают диких слонов, горячее пламени; она подобна стреле, вонзающейся в душу человека». В книге «Путь к истине» (*Dhammapada*) говорится: «Из любви возникает горе,

из любви возникает страх; кто свободен от любви, для того уже нет печали, для того не бывает страха»³⁵. На 29 году жизни Будда покинул свою жену Язодару: тринадцать лет он жил с нею и пришел к необходимости подавить в себе эту страсть. Сущность его великого учения – умерщвление похотей. Буддийские жрецы отказываются, как и католическое духовенство, от всякой половой жизни. Отношение буддизма к любовной страсти всего лучше высказано в легенде о Визадатте. Красавица влюбилась в юношу и умоляет посетить его. Благочестивый юноша отказывается. За какое-то преступление царь обезображивает Визадатту, и тогда юноша приходит к ней, чтобы утешить ее и обратиться к Будде. В другой легенде – о Купале, сыне царя Асоки, этот царевич не отдается влюбленной в него мачехе даже под страхом смерти. – «При виде твоего пленительного взора, – говорит женщина, – при виде твоего прекрасного тела и твоих восхитительных глаз я сгораю, как стебель соломы при лесном пожаре». – «Откажись от преступной страсти, – отвечает царевич, эта любовь – дорога в ад». Она приказывает ослепить его, и он спасает ее от разгневанного отца. В законах Ману³⁶ говорится: «Только те женщины находятся в безопасности, которые охраняют себя от собственного вожделения».

Столь же возвышенное отношение к любовной страсти – в религии *Зороастра*³⁷. «Будьте непорочны, как Ормузд, который сама непорочность, – вот весь закон». Основой закона Зороастра служит чистота слова, мысли и действия. Ему молятся: «Ты, Зороастр, дарованный нам в этом мире как защита против злых духов, непорочный царь непорочности, если я оскорбил тебя мысленно, словом или действием, вольно или невольно, воспеваю тебе этот гимн...».

Нравственное учение *Конфуция*³⁸, выраженное в «непреклонности середины», отрицает страсти как крайности. Считая брак первой обязанностью человека, мудрец считает основами его не любовную страсть, а взаимное доверие, честность, уважение, правила справедливости, приличия и чести. Брак должен заключаться не по влечению, а по строгому расчету, при-

чем приводятся пять оснований, по которым нельзя вступать в брак; отсутствие любви не упоминается.

Екклесиаст говорит, что «горше смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею... Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел» <Еккл. 7:26, 28>. В богатырские времена, когда порода человеческая цвела молодостью, страсти были ярче и могучее.

«Подкрепите меня вином... ибо я изнемогаю от любви...», – кричит в сладострастном иступлении Суламита (Песнь Песней³⁹). Молодой царь и пастушка истощают свою душу в желании выразить томленье тела и блаженство встреч своих и объятий, но среди этих восторгов вырывается у них трагическое признание: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо *крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее – стрелы огненные, она – пламень весьма сильный*».

Тот ли мудрец (в «Притчах»⁴⁰) предостерегает сына самыми страшными заклетами от сетей любви всякой женщины, кроме жены своей. «Не пожелай красоты ее в сердце твоём, [да не уловлен будешь очами твоими,] и да не увлечет она тебя ресницами своими... Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего...» <Притч. 6:25, 27–29>. Как бы повторяя слова Будды, Соломон так описывает картину обольщения женщиной мужчины: «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, *как вол идет на убой*, и как пес на цепь, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки и не знает, что они – на погибель ее». Столь же энергические предостережения встречаются у Иисуса сына Сирахова: «Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту: многие совратились с пути чрез красоту женскую; от нее, как огонь, загорается любовь» <Сир. 9:8, 9>.

У еврейских пророков любимое сравнение народа павшего – с блудницей, причем блуд понимался не в смысле проституции или любострастия, а в смысле прельщения, любовного очарования, которое ведет к измене Тому, кому дочь Израиля была обручена по синайскому договору. Любовное увлечение у евреев, как и у других народов, служит завязкою трагедий, разрешавшихся гибелью героев и целых народов. От обольщения жены пал Адам и с ним весь род человеческий, из-за любовного растления человечества был воздвигнут всемирный потоп (Быт. 4), от него же гибли целые страны (Содом и Гоморра), от него же возникли губительные раздоры в доме Иакова и Давида и пр.

Мудрость *первонародов*, племен Востока, основателей цивилизации, сводится к одному закону – нравственного совершенства, и в этом совершенстве свобода от любовной страсти считается одним из главных условий.

V

Но этот взгляд на любовную страсть не есть принадлежность только Азии, тех народов, кровь которых как бы воспламенена южным солнцем. Опыт европейских рас приводит к тому же выводу.

Гесиод о происхождении любви повествует следующее. В первоначальном, *золотом* веке люди жили без женщин в неомрачаемом блаженстве. Когда Прометей принес людям похищенный с неба огонь, «ему озлобленный сказал Зевестучегонитель: “Радуешься ты, огонь похитив и мой ум обманувши, но к великому страданию и для тебя, и для грядущих поколений поистине за огонь дам зло, которому все душевно радоваться будут, зло свое любовно обнимая”». В виде особенно утонченной казни людям Зевес приказал Гефесту слепить из земли красивую девицу, Афина научила ее работать, а «Афродита золотая окружила головку ее прелестями и желаниями, возбуждающими страдание, и заботою об украшении членов, одарить же ее бесстыдным (в подлиннике – *собачьим*) умом

и плутовскими наклонностями Гермесу приказал». Эту *первую* женщину, одаренную дарами богов («на горе мужей работающих»), назвали Пандорой. Боги послали ее к Эпиметею* с известным ящиком, символизирующим (как мне кажется) женскую невинность. Забыв предостережение Прометея, его непредусмотрительный брат открыл роковой ящик, и оттуда выпорхнули все бедствия, которые с тех пор угнетают род людской. С первой женщиной оканчивается золотой век. Эрос (любовь), по Гесиоду, – один из первобогов, прекраснейший, разрешающий печали, «одолевающий в груди и разум, и благоразумный совет». Афродита (что значит «родившаяся из пены» – намек на эфемерность любви, вскипающей, как пена на волнах страсти) – богиня любви – произошла из брошенных в море отрезанных Кроносом⁴¹ гениталий его отца, Урана⁴². В числе имен ее (Цитерея, Киприда) было – Филоммедея (*atque amantem genitalia, quod e genitalibus emersit***). Греки, как все народы, близкие к природе, были далеки от лицемерия дряхлых культур, когда любовной страсти приписывается не половая, а какая-то иная основа. На явление животное они смотрели, как на животное, не имея причин стыдиться этого.

Через 300 лет после Гесиода *Сократ* советует любви женской бояться больше, нежели ненависти мужчины. Это яд тем более опасный, что он приятен. Мудрец (говорит Ксенофонт⁴³) советовал всячески удаляться от красивых людей.

«Жалкий человек! – говорил он влюбленному. – Чего же ты ждешь от поцелуя? Не того ли, чтобы из свободного сделаться рабом? Делать большие издержки на губительные удовольствия? Иметь полный недосуг на заботы о чем-либо хорошем? Быть в необходимости думать о том, о чем не подумает даже сумасшедший?» Красивое лицо Сократ считал опаснее ядовитого паука. «Советую тебе, Ксенофонт, как только увидишь красивое лицо, скорее бежать...» Человека невоздержанного от чувственной любви Сократ не отличал от безрассудного животного.

* Планета Солнечной системы, спутник Сатурна. – В. Т.

** И любящую гениталии, которые из гениталий возникли (лат.) – В. Т.

Платон признавал два рода любви – любовь небесную и любовь плотскую. Венера-Уrania относится к душе, а не к телу, она ищет не личного наслаждения, но счастья любимого человека. Ее задача – совершенствовать его в знании и добродетели. Вместо плотского, мимолетного соединения любовь небесная создает гармонию душ. Любовь плотская, наоборот, чувственна и возбуждает только низменные действия, она исходит из тела, а не из души, и владычествует над грубыми людьми, рабами материи. В «Пире» Платона пышные восхваления любви со стороны Федра⁴⁴ и Агатона Сократ охлаждает трезвым исследованием этого явления. Мудрец находит, что любовь нельзя назвать божеством (вопреки ходячим понятиям того времени), так как она не обладает ни красотой, ни благом (иначе она к ним не стремилась бы). Не обладая же этими свойствами, она не может быть блаженной, то есть не иметь основного свойства божественности. В объяснение любви Сократ приводит миф, рассказанный ему Диотимой. Когда родилась Афродита, боги сделали пир, на котором между прочими был Пор (богатство). К дверям пирующих пришла за милостыней Пеня (бедность). Опьяненный нектаром Пор вышел в сад Зевса и заснул от излишества. Пеня, задумав в помощь бедности получить от него дитя, прилегла к нему и зачала Эроса. От родителей бог любви получил и свои свойства. «Во-первых, Эрос, – говорит Сократ, – всегда беден и далеко не нежен и не прекрасен, каким почитают его многие; напротив – сух, не опрятен, не обут, бездомен, всегда валяется на земле без постели, ложится на открытом воздухе, пред дверьми, на дорогах и, имея природу матери, всегда терпит нужду. Но по своему отцу он коварен по отношению к прекрасным и добрым, мужествен, дерзок и стремителен, искусный стрелок, всегда строит какое-нибудь лукавство, любит благоразумие (?), изобретателен, во всю жизнь философствует, страшный чародей, отравитель и софист. Он обыкновенно ни смертен, ни бессмертен, но в один и тот же день он цветет и живет, когда у него изобилие, то умирает, и вдруг по природе своего отца оживает. Между тем богатство

его всегда уплывает, и он никогда не бывает ни беден, ни богат. То же в середине он между мудростью и невежеством...».

Эта характеристика любви плотской превосходна: наши психиатры назвали бы такой характер неуравновешенным, неустойчивым, психопатическим. Какая же цель любви? С величайшей правдивостью Сократ указывает на эту цель – деторождение. Любовь есть избыток. «Все люди бременеют... – и по телу, и по душе, и как скоро природа наша достигает известного возраста, тотчас желает родить»... чтобы упрочить свое бессмертие. Люди, беременные избытком плоти, подобно животным, влекутся к плотскому соединению, это любовь половая, «народная», – беременные же избытком духа влекутся к соединению духовному, ищут прекрасную, благородную и даровитую душу, чтобы в гармонии с нею родить детей духа: создания мудрости, добродетели и искусства.

Таков был взгляд Платона на половую страсть. Ходячее мнение о «платонической любви» доказывает невежественность этого – как и многих ходячих мнений. Любовь «небесная», по Платону, не имела ничего общего с половой жизнью, а любовь половая никогда не считалась небесной, хотя бы и отказывалась от удовлетворения.

VI

Великая стоическая школа философов относилась к любовной страсти отрицательно, как и ко всем страстям. *Эпиктет*⁴⁵ сравнивает любовника с лъстецом и нахлебником. «Воздерживайся от половых сношений, а если они тебе уже знакомы, то пользуйся ими лишь законным образом. Не спеши осуждать тех, кто ими пользуется, и не хвастай, что ты от них воздерживаешься» (то есть требуется целомудрие, доведенное до естественности). «Страсти, – говорит *Сенека*, – нечто низкое и мелкое и не имеют никакой цены, они у нас общи с бессловесными животными и доставляют ничтожное удовлетворение». Философ негодовал на тех лжестоиков, которые доказывали, что только мудрец и ученый может быть хорошим любовником, и считал

это греческой заразой. «Благодарю богов, – писал *Марк Аврелий*, – за то, что я сохранил свое тело здоровым в течение столь долгой жизни, не вступил в связь с Бенедиктой и Феодотом и впоследствии, заболевая любовными страстями, скоро выздоравливал»... То же высказывается и Цицероном («О старости»).

Эпикурейская школа в лице основателя ее также отрицала страсти, как явления болезненные. Условием счастья *Эпикур* считал воздержание, и изысканность в наслаждении презирал. *Лукреций* в своей поэме описывает чрезвычайно верно картину любовной страсти. «Лучше всего, – говорит философ, – бодрствовать над собою и остерегаться, как бы не быть заманенным, так как избежать сетей любви легче, чем, попав в них, вырваться». Лукреций, описав горести любви, дает практические советы, как бороться со страстью: главное – рассмотреть строго недостатки тела и души существа, которое любишь. В ярких стихах описывается безумное ослепление любви. «Если (возлюбленная) черна, влюбленный называет ее подобной меду; грязна и вонюча – “она не любит кокетства”, глаза, как у кошки – “маленькая Минерва”, если она жилистая и сухая, как дерево – “газель”, крошечная – “цыпленочек”, огромная – “величаява”. Если заикается – “у ней нежное произношение”; немая – “стыдлива”, бесстыдная и болтливая – “настоящий огонь” и пр., и пр. Эту главу (кн. IV) можно особенно посоветовать влюбленным для отрезвления их.

Я мог бы привести множество цитат из Еврипида, Софокла и особенно Аристофана⁴⁶, доказывающих, насколько страдали древние от любовной страсти. Вергилий⁴⁷ (в «Энеиде») и особенно Овидий дают прекрасные характеристики этой страсти. «Метаморфозы» – целая энциклопедия картин этого чувства, картин, часто клинических... Вспомните мифы о Мирре и Кинире, Билибде и Кавне и пр.

VII

В Средние века мораль имела аскетический характер: этого достаточно, чтобы не распространяться о взглядах того

времени на любовную страсть. «Не имей близких отношений ни с какой женщиной, но молись Богу о всех добрых женах», – говорит Фома Кемпийский⁴⁸; «девственников» он ставил наряду с апостолами. Грубая же практика жизни выработала иной взгляд на любовь: именно в те века любовная страсть разгорается в особый культ. По справедливому замечанию Ф. Энгельса («Происхождение семьи»), первая выступающая в истории форма половой любви как страсти – «рыцарская средневековая любовь – нисколько не была любовью супружеской. Наоборот, в классической ее форме, у провансалов, она вся направлена на прелюбодеяние, воспеваемое их поэтами. Венец провансальской любовной поэзии составляют альбы, утренние песни. В них яркими красками описывается, как рыцарь покоится в объятиях своей красавицы, жены другого, а снаружи стоит сторож, при первом наступлении рассвета (alba) подающий ему знак, чтобы он мог незамеченным удалиться; в заключение – сцена расставания». С юга Франции эта рыцарская любовь распространилась по всей Европе. Она явилась отчасти как протест слишком строгой моногамии в эпоху, переходную от языческого многоженства. Вначале рыцарская любовь, поклонение женщинам, вытекала из идеальных представлений, затем делалась все грубее и чувственнее и, наконец, разрешилась диким развратом XIV и XV веков, «когда женщина уже не председательствовала на празднествах и турнирах, а робко пряталась от света и своего одичавшего супруга». Вот к чему повел культ половой похоти, преданиями которого мы живем.

Из мыслителей эпохи Возрождения приведу мнения о любовной страсти Бакона⁴⁹, Монтаня⁵⁰ и Паскаля⁵¹.

Основатель новой философии ставит любовь наряду с самой гнусной страстью – завистью, говоря, что, подобно зависти, «любовь повергает человека в бессилие». Любовь «представляет самый обыкновенный предмет комедий, а иногда даже и трагедий, но она причиняет много бедствий в обыкновенной жизни, в которой играет роль то сирены, то фурии. Следует заметить, что между великими людьми, как древними, так и

новыми, о которых память сохранила история, нет ни одного, который бы чрезмерно предался увлечениям безумной любви, что служит, по-видимому, доказательством, что великие души и великие дела несовместны с этою слабостью...». «Как будто человеку, созданному для созерцания неба и возвышенных предметов, нечего больше делать, как находиться у ног бренного кумира и быть рабом, не говорю, своих ненасытных желаний, подобно зверю, но рабом наслаждений глаз, глаз, предназначенных к более благородному употреблению. Чтобы составить себе понятие, до каких излишеств может довести человека эта безумная страсть и до какой степени она может побудить его, так сказать, к презрению природы и сущности оцениваемых явлений, достаточно припомнить, что постоянное употребление гиперболы – почти всегда неуместной фигуры речи – применительно к одной только любви. И такое преувеличение существует не только в выражениях влюбленных, но и в их представлениях. В самом деле, хотя и основательно говорят, что настоящий льстец, охотнее всего выслушивающий расточаемые похвалы, это наше самолюбие, но влюбленный есть льстец, во сто раз худший, ибо какого бы великого понятия ни был о себе самый тщеславный человек, все же это ничто в сравнении с тем, что думает влюбленный человек о любимой особе. Вот почему невозможно быть в одно и то же время влюбленным и благоразумным. Слабость эта кажется смешной не только тому, кто видит следствия ее, не будучи сам заинтересован в ней и свободен от нее в настоящую минуту, но представляется еще более смешной в глазах любимой особы, не чувствующей взаимной склонности, ибо не менее справедливо то, что любовь требует ответа, который состоит или в такой же любви, или в тайном презрении; это служит новой причиной беречься этой страсти, отнимающей у нас самые желательные блага... Человек, отдающийся любви, отказывается тем самым от счастья и мудрости. Эпоха, в которую эта страсть действует с удвоенною силой и совершает, так сказать, свой прилив, есть время расслабления, что ясно подтверждает, что она есть дочь безумия. Поэтому если нет

возможности оградить себя вполне от этой страсти, то следует, по крайней мере, стараться об ее обуздании и тщательном отстранении ее от всех известных занятий и важных дел, ибо как только она вмешается в них, то все будет перепутано и вы не достигнете цели... Супружеская любовь порождает род человеческий, дружба совершенствует его, а нечестивая и незаконная любовь оскверняет и уничтожает его».

Из французских мыслителей и мудрецов первое место принадлежит Монтаню, книгу которого такой тонкий ценитель, как Байрон, считал лучшею из всех. *Монтань* говорит, что любовную страсть нельзя и сравнивать с такими высокими чувствами, как, например, дружба. Ссылаясь на слова Катуллы⁵², что богиня любви к заботам примешивает сладкую горечь, французский мыслитель сознается, что «пламя любви более жгуче, мучительно и жестоко (чем чувство дружбы), но это пламя непостоянно и безрассудно, переменчиво, разно-образно, огонь лихорадочный, который то появляется, то пропадает и не разливается повсюду... В любви лишь бешеная погоня за тем, что бежит от нас... Как только она изменяется в дружбу, то есть достигнет единства воли, то начинает ослабевать и пропадать; обладание губит ее, так как наступило физическое удовлетворение, подверженное пресыщению» (*De l'amitié*)*.

Паскаль делает (в «*Pensées*»)** лишь одно маленькое замечание о половой любви: «Кто захочет узнать вполне суетность человека, тому достаточно изучить причины и действия любви. Причины ее <--> “un je ne sais quoi”***» (Корнель⁵³), а действия ее ужасны».

VIII

Из множества новейших философов, что-нибудь говоривших о любви, я подробно остановлюсь на Шопенгауэре.

* По дружбе (фр.). – В. Т.

** О сочинении «Размышления г. Паскаля о религии и о некоторых других предметах» (1969 г.) – В. Т.

*** Единственное я не знаю что. – В. Т.

В начале своего знаменитого трактата («Метафизика половой любви») этот автор справедливо удивляется, что со времен Платона этот столь важный предмет не подвергался до его времени серьезному философскому обсуждению; встречаются лишь случайные заметки о половой любви у разных мыслителей. Спиноза⁵⁴, например, посвятил этому вопросу всего одно странное замечание, где любовь называет «щекотанием» (titilatio), сопровождаемым идеей внешней причины. Впрочем, у Спинозы есть обстоятельная геометрическая теория страстей вообще, куда входит и любовь (см. III и IV части «Этики»). Кроме названных мыслителей можно найти остроумные афоризмы о любви у Ларошфуко⁵⁵, Шамфора⁵⁶, Вовенарга⁵⁷, особенно – Стендаля⁵⁸ (“De l’Amour”), но сколько-нибудь глубоких исследований этого предмета до Шопенгауэра не было. Но и после Шопенгауэра их не было; хотя половой любви посвящены целые книги (например, Мишле, Мантегаццы⁵⁹, Бурже и пр.), но мне неизвестно ни одного истинно серьезного труда, ни одной теории, которая дала бы половой любви серьезное объяснение. В этом отношении «Метафизика половой любви» является до сих пор единственным сочинением своего рода; недаром Шопенгауэр называл ее «лучшею жемчужиной своей философской короны». Небольшой трактат этот – всего около двух печатных листов – написан с художественным блеском и оригинальностью; в этом у Шопенгауэра между мыслителями нет соперников.

Но даже и эта интересная работа, как мне кажется, далека от истины. Наряду с бесспорными положениями она заключает в себе, как всегда у Шопенгауэра, предвзятую основную мысль; последняя превосходно обставлена литературным аппаратом, который и маскирует ее внутреннюю пустоту.

Шопенгауэр начинает с утверждения, что «любовь, как бы ни казалась она возвышенной, кроется единственно в половом инстинкте; она есть лишь более определенное, частное и в строгом смысле индивидуализированное половое стремление». Верно очерчена и опасная роль любви в практической жизни: «Она захватывает в свои сети всю молодую часть чело-

веческого рода, составляет часто последнюю цель всех человеческих стремлений, вредно влияет на важнейшие дела, прерывает самые серьезные занятия, вводит иногда в заблуждение величайшие умы, смело и бесцеремонно вторгается со своими мелочами в советы государственных людей и кабинеты ученых, пробирается в виде локонов и любовных записочек в министерские портфели и рукописи философов, служит ежедневно причиной мерзких и запутанных тяжб, разрушает самые дорогие отношения, разрывает самые прочные связи, нередко губит целые состояния и карьеры, делает честных и добрых людей бессовестными и жестокими, одним словом, она всюду является демоном, производящим гибель и разрушение».

Как видите, это настоящий обвинительный акт против половой страсти, и вполне справедливый. Но, сумев *разглядеть* любовь как она есть, Шопенгауэр дает ей крайне неверную оценку. Спросив себя, из-за чего этот шум любви, и страх, и тревога, философ заключает, что тут есть очень важная причина, вполне соответствующая глубине описанной драмы. Не подтверждая ни малейшим доказательством, философ сразу высказывает как догмат, что половая любовь имеет целью *рождение* будущего человека, и потому цель всех любовных историй, как бы они ни были пошлы и жестоки, «важнее всех других целей...». «От этих, по-видимому, фривольных историй зависит бытие и свойство будущего поколения... Как существование (*existentia*), так и сущность (*essentia*) этого поколения обуславливается тем индивидуальным выбором, который называется любовью». «Все любовные усилия настоящего поколения – не что иное, как серьезное размышление человеческого рода о появлении на свет будущего поколения». Половое влечение вообще, по Шопенгауэру, есть *воля* к жизни, а половая *любовь* к определенной личности есть воля жить в качестве определенной личности; это *обман*, употребляемый природой для своих целей, для продолжения рода в его чистоте. Вопреки сентиментальным поэтам вроде Шиллера, рассматривающим иногда половую любовь совершенно независимо от полового чувства, Шопенгауэр утверждает не только

зависимость, но и тождество этих понятий. «Во всякой любви, – говорит он, – последнею целью является не взаимность, а только обладание, то есть физическое удовольствие. Взаимность в любви нисколько не утешительна при невозможности обладания; люди не раз уже лишали себя жизни в подобном состоянии. Наоборот, случается, что страстно влюбленный, не встречая взаимности, довольствуется лишь обладанием». Цель всякого романа – рождение человека, – «и есть ли более важная и возвышенная цель жизни?»

«Только ввиду *этой* цели понятны и разумны все церемонии, усилия и страдания, предшествующие обладанию любимой особой. Все эти муки испытываются влюбленными исключительно ради будущего существа, так как индивидуальные качества его находятся в тесной связи с тем осторожным, своеобразным выбором, который принято называть любовью. Возрастающая симпатия двух влюбленных есть не что иное, как жажда бытия того существа, которое они могут произвести».

<IX>

Такова главная мысль Шопенгауэра; она является в разных вариациях, которыми наполнен весь трактат. Второй тезис, поддерживающий первый, состоит в том, что «каждый любит в личности другого пола то, чего нет у него самого... Две особы иногда уравнивают друг друга, как кислота и щелочь нейтрализуются в средней соли... Каждая отдельная личность стремится сгладить собственные недостатки и уклонения от первоначального типа противоположными качествами другой с тою целью, чтобы эти недостатки не усиливались в будущем ребенке». По Шопенгауэру, малорослые мужчины должны любить высоких женщин, блондины – брюнеток и т. д. Оба положения множество раз высказывались и до Шопенгауэра; первое всегда было почти ходячим, второе встречается еще у Эмпедокла⁶⁰ и в известном мифе об андрогинах. Но выставить их с глубиной и силою убедительности мог только Шопенгауэр. Этими двумя положениями исчерпывается вся метафизика

любви у этого философа. Все остальное – развитие и повторение тех же двух основных идей. Трудно подыскать пример более вероподобной и остроумной теории, столь мало в то же время согласной с фактами. В самом деле, есть ли в природе сколько-нибудь серьезные подтверждения столь категорически высказанной гипотезе?

Прежде всего, правда ли, что половая *любовь* имеет целью рождение человека? Что половая *потребность* имеет эту цель – это несомненно. Но следует ли отсюда, что и половая *любовь*, явление психическое, имеет ту же цель? Я думаю, никак не следует, и, смешивая эти два чувства – половую потребность и половую любовь, Шопенгауэр делает грубую ошибку. Эти два явления родственны, как причина и следствие, но все же не следует причину отождествлять со следствием. Корень половой любви – половая потребность, но нельзя смешивать корень растения со стволом его или цветами. Говорить, что цель любви – *деторождение*, это все равно что утверждать, что цель сластолюбия – насыщение, или цель пьянства – утоление жажды. Влюбленный, правда, ищет обладания телом, но ведь и гастроном ищет непременно обеда, хотя цель его – в удовлетворении не голода, а чувства пищевого вкуса, и это чувство хотя зависимо от голода, но вовсе не тождественно с ним. Если бы речь шла *только о рождении* человека, то, как я уже говорил выше, это рождение легко осуществляется без всякой любви. Если бы любовь была необходима для рождения, то все не любящие оставались бы бесплодными. В ослеплении предвзятою идеей Шопенгауэр упустил из виду факт, на который сам же в другом месте указывает, что целые исторические эпохи обходились без участия половой *любви* в деле брака, и, тем не менее, род людской не прекращался. Дикарь, бродящий в лесах, повергает дубиной встречную женщину и соединяется с ней; кажется, тут нет «любви», однако деторождение бывает. Шопенгауэр мимоходом, совершенно голословно утверждает, что «решительная антипатия между мужчиной и женщиной указывает, что в случае брака от них могло бы родиться болезненное и несчастное существо». Чем

же, однако, это доказано? Разве мы не видим болезненных и несчастных детей иногда от влюбленной пары, и наоборот – здоровых детей от супругов, равнодушных друг к другу? Возьмите человеческие расы, получившиеся от насильственного полового подбора, например в высших классах Турции и Персии, где гаремы наполняются покупкою жен из невольниц. Нельзя предположить половой любви ни у хозяина такого гарема к целой сотне жен сразу, ни у них к нему, и, однако, потомство получается красивое и сильное, во всяком случае, не худшее, чем в условиях европейского брака «по любви». Шопенгауэр, не желая видеть фактов, заявляет, что «физическое, нравственное и умственное убожество большинства людей отчасти зависит от того, что браки обыкновенно заключаются не по любви, а по разным расчетам и случайностям». Но такое убожество расы встречается чаще в тех слоях, где именно любовь служит решающим условием. Что половая любовь не нужна для продолжения рода, который обеспечивается просто половой потребностью, доказывает существование тех династий, где (как у инков или древних персов) цари могли быть женатыми только на своих родных сестрах или на ближайших родственницах. Вопреки ходячему мнению, эти династии не были плохою расой, – а тут, конечно, не было места для *любви*. От Авраама, женатого на родной сестре, и от Лота, которого дочери обманом заставили соединиться с ними, пошли, по преданию, могучие народы; почти все дети Иакова были от нелюбимой им Лии или от наложниц. У евреев, чрезвычайно чутких к чистоте своего типа, был закон, по которому если умирал один брат, то жена его переходила к другому брату, а в случае смерти его – к третьему и т. д., и от этих браков без любви не было замечено порчи породы. При завоевании Ханаана евреи истребляли всех мужчин и старух, красивых же молодых женщин брали в наложницы; этот же обычай был и в Сирии, чем и объясняется поразительная красота тамошнего населения до сих пор. В течение веков там совершался насильственный половой подбор, и результаты являлись те же, что в культурном животноводстве: увеличение роста, силы и кра-

соты типа, – и все это без участия половой *любви* как условия брачного выбора. Конечно, если при отсутствии любви браки заключаются по *дурному* расчету, то дети выходят убогие. Например, если старик берет девушку за ее молодость, а она выходит за его титул, или если юноша берет больную женщину за ее богатство, то потомство получается жалкое. Но не менее жалкое оно получается и от влюбленных супругов, если они, например, алкоголики, чахоточные и т. п. Любовь не спасает от вырождения, как это видно на примерах великих людей: они женятся обыкновенно по любви, и дети их чаще всего неудачные. Хороший же расчет, подбор здоровых и красивых особей быстро поднимает породу людей. Гете утверждал, что в результате трех-четырех здоровых поколений непременно является выдающийся человек. Карлейль объясняет гений Мирабо⁶¹ традицией его рода – выбирать хороших жен.

<X>

Совершенно неверен также и второй тезис Шопенгауэра, будто при половой любви является органическое *дополнение* влюбленных, нейтрализация их, как кислоты и щелочи. В действительной жизни совсем этого не видно. Случается, конечно, что малорослый мужчина влюбляется в высокую девушку, тонкий – в толстую, белокурый – в черноволосую и т. д., но это именно *случай*, а не явление, не закон. Переберите все известные вам примеры типической влюбленности, и вы увидите, что тут нет и признака такого закона. Как у каждого гастронома – свой вкус и у всех их есть общие черты, так и у каждого влюбленного – свой вкус к любимой особе, иногда чудовищный, часто зависящий от моды. Гастрономы европейские любят червивый сыр, подгнившую дичь; китайские – гнилые яйца и кошачьи глаза; африканские едят живых глистов и т. п. И если нельзя сказать, что гастрономами руководит в этом какой-нибудь особенный метафизический принцип, то не следует приписывать его и «половой любви». И здесь, как известно, одни предпочитают молодых, другие – несовершеннолет-

них, трети – дам бальзаковского возраста, а Федор Карамазов восхищался и «вьельками». В одно десятилетие влюбляются преимущественно в рыжих – такова мода; в следующее идеалом красоты считаются черные глаза и черные волосы, затем их сменяет мода на блондинок и т. д. Влюбляются и в безобразных, которые никак не могут совершенствовать породу, – влюбляются, наконец, в лиц своего же пола, доходят, как гастрономы, до полного извращения вкуса.

Если допустить, что любовь есть выбор наилучшей личности для восполнения типа, то чем объяснить столь частое отсутствие взаимности при любви? Ведь если Марья есть дополнение Ивана, то должно же быть и наоборот, то есть и Иван для нее должен быть органическим дополнением, а между тем она любит Петра. Но и Петр, в свою очередь, может любить Агафью, и т. д. Никакого восполнения нет, а любовь с одной стороны – несомненна. По теории Шопенгауэра, этот случай необъясним: это все равно что влечение кислоты к щелочи, которая знать не хочет этой кислоты. А половая страсть чаще всего бывает только с одной стороны.

Затем, как вы свяжете с гипотезой Шопенгауэра охлаждение иногда самой пылкой любви? Ведь если сегодня Иван дополняет Марью, то это должно бы стать и через год, и через десять лет, а как часто видишь равнодушие и даже отвращение между недавно еще влюбленными лицами. Далее: чем вы объясните влюбленность между лицами разных рас?

Если любовь есть выбор дополнения своего типа, то как объяснить, что человек в течение жизни влюбляется иногда не раз, и в особ, совершенно не схожих? Которая же из них была *настоящим* дополнением влюбленного? В любви Дездемоны к Отелло сомневаться нельзя, но неужели в Венеции не было кавалера, более восполняющего тип Дездемоны, чем этот пожилой мавр? Неужели нужна была примесь негритянской крови, чтобы «сохранить в чистоте тип расы»? А влюбленность такая – не редкость; сколько людей влюбляются у нас, например, в евреек, цыганок, армянок, хотя нет недостатка в женщинах своего племени. Как связать это с теорией Шопенгауэра?

Весьма часто случается, что в каком-нибудь городе есть красавица, в которую одновременно влюблены несколько кавалеров (как княжна Нина из «Первой любви» Тургенева), или один мужчина, за которым охотится целая стая дам. И заметьте важную черту: пока обо «льве» или «львице» не говорят, они не имеют поклонников, но стоит им найти одно поклонение, как скоро присоединяется другое, и затем третье, четвертое. Развивается настоящая эпидемия, а если городок небольшой, то и пандемия любви (доказательство, что половая любовь – психоз: как все психозы, она заразительна). Неужели же *все* мужчины нашли в модной красавице общее «дополнение своего типа» или *все* дамы городка оказались такими дополнениями для героя?!

Хоть и очень редко, но любовь бывает одновременно и к двум, а может быть, и более особам в разной или даже одинаковой степени. Если хоть сколько-нибудь верить «поэтам любви», вроде сладострастного Фета, то придется заключить, что эти поэты одновременно «любили» по нескольку особ. Там, где в обычае полигамия и полиандрия, подобные случаи бывают чаще. *Menages en trois** во Франции не всегда устраиваются из материальных видов. В феодальные времена был обычай, что каждая благородная дама с ведома мужа имела еще и «друга сердца», а в наше время в известных кругах, кроме жены, принято еще иметь любовь на стороне. И тут не всегда подделка под любовь, а иногда и настоящее увлечение. Милый Стива Облонский, русский Дон-Жуан, любил свою Долли и поминутно увлекался другими «юбками»; и любовь к жене, и эти увлечения были, конечно, не глубокими, но все-таки искренними. Он не мог отдаться одной пожирающей страсти, как Анна, но способен был одновременно на несколько мелких увлечений. Как объяснил бы Шопенгауэр этот случай?

<XI>

Если половая любовь имеет целью рождение человека, и любящий выбирает дополнение своего родового типа, то как

* Брак втроем (фр.). – В. Т.

объяснить греческую или «восточную» любовь, столь широко распространенную, и там, где она господствует, даже вытесняющую любовь к женщине? Шопенгауэр не мог обойти этого уж очень крупного факта и придумал особую, чудовищную по предвзятости теорию. По его мнению, это вовсе не извращение полового чувства, а **явление нормальное, один из способов**, которым природа достигает чистоты рода. Эти уклонения будто бы бывают преимущественно или в юношеском возрасте, или под старость, когда производительные силы или незрелы, или уже перезрелы, то есть не годятся для зарождения сильных особей. Чтобы предохранить от такого зарождения, природа, видите ли, и устроила безвредный способ насыщения полового инстинкта «без последствий».

Как вам нравится это объяснение? Совершенно с такою же серьезностью Шопенгауэр трактует и вообще о половой любви. Ум парадоксальный – и как часто бывает при этом – блестящий, Шопенгауэр совершенно не заботится, чтобы хоть сколько-нибудь связать концы с концами в своих теориях; он выставит яркий софизм, подкупающий своим остроумием, и затем аргументирует с великою серьезностью и с трезвым реализмом. Все второстепенные мысли у него бесспорны и ясны, и читатель невольно переносит свою удовлетворенность ими и на главный тезис. Приведу другой пример поразительной предвзятости нашего автора. Он серьезно утверждает, что «супружеская верность со стороны мужчины есть нечто искусственное, а со стороны женщины вполне естественна» на том только основании, что мужчина может быть отцом более ста детей ежегодно (если у него будет столько же жен), тогда как женщина может быть матерью только одного ребенка. Но спрашивается: может ли *каждый* мужчина быть отцом более ста детей? Ведь при почти одинаковой численности обоих полов, если бы нашелся *один* такой мужчина, то он лишил бы жен около ста мужчин, и если бы восторжествовал полигамический закон, указанный Шопенгауэром, то девяносто девять из ста мужчин были бы вынуждены оставаться бездетными. Но, установив наскоро закон, Шопенгауэр фантазирует дальше:

«В любви мужчина склонен к непостоянству, а женщина – наоборот. Любовь мужчины заметно начинает ослабевать с того момента, когда она получила удовлетворение; с этого времени почти каждая молодая женщина нравится ему больше той, которою он обладает. Любовь женщины, напротив, усиливается с этого самого момента, особенно после зачатия».

Скажите, читатель, правда ли все это? Что это так иногда случается – я не спорю, но *всегда ли* так бывает, общий ли это закон? Я думаю, оба пола склонны к непостоянству, если руководятся только половую похотью. Я думаю, только распутному мужчине «почти каждая» молодая женщина нравится больше, чем возлюбленная, которою он только что овладел, и любовь женщины вовсе не всегда усиливается после полового сближения. Зачатие, наоборот, почти всегда охлаждает половой элемент любви. Женщина привязывается к мужу иному, человеческою, дружескою любовью, сладострастная же (у чистых женщин) отходит на второй план. Шопенгауэр не замечает, как он противоречит самому себе: зачем бы, кажется, половой любви разгораться в женщине *после* зачатия? Цели рода ведь достигнуты, и здесь естественнее всего половое охлаждение, что и случается всего чаще. Шаткие парадоксы Шопенгауэра о половой любви до того кажутся странными, если углубишься в них, что начинаешь понимать довольно жесткий отзыв сведущего человека – Крафт-Эбинга⁶², считающего все умозаключения великого философа по этому предмету «пошлыми и нелепыми». Профессор С. Риббинг вполне присоединяется к этому суровому мнению. И это тем досаднее, что бесспорный гений Шопенгауэра давал ему, казалось бы, возможность осветить эту темную область не только красивою гипотезой, сотканною из воображения, но и реальною, основанною на фактах мыслью.

<XII>

Шопенгауэр совершенно прав, когда приписывает половой инстинкт не личности, а роду. Что половая любовь не

есть, однако, *всеобщий* закон природы, как кричат наши эротофилы, доказывается тем, что существуют целые виды животных, у которых огромное большинство особей *вовсе* не имеют половой потребности. У пчел, например, этот инстинкт предоставлен на каждую колонию одной самке и нескольким самцам, вся остальная масса – рабочие пчелы – бесполы. У высших человеческих рас, особенно – англо-американской, уже существует разновидность людей, лишенных полового чувства (т. н. *naturae frigidae*). **Женщины этого типа**, говорит английский врач Актон, во всех остальных отношениях могут служить образцом супруги и хозяйки, – но *вовсе* не скрывают своего отвращения к половому сближению, от которого иногда наотрез отказываются. После того как вошло в моду говорить о правах женщин, многие мужчины стали жаловаться Актону, что «жены считают себя мученицами, когда от них требуют исполнения супружеских обязанностей». Шекспир отметил этот тип женщин в своей прелестной Имогене («Цимбелина»⁶³). Масса женщин и мужчин рождаются малоспособными к половой жизни, будучи во всех иных отношениях нормальными. Не только любовная страсть, но даже сама половая функция до такой степени не составляет *общего* закона природы, что даже искусственное отнятие генитальных желез не отражается существенно на остальном организме, тогда как незначительное расстройство других органов – почек, печени, легких, сердца и др. – уже ведет человека к гибели. Полный отказ от половой жизни, как показывают бесчисленные примеры, не препятствует людям достигать глубокой старости; кратковременный же отказ от других физиологических потребностей: дыхания, еды, движения, сна и пр. – ведет к смерти. Ясно, что из всех жизненных функций половая занимает не первое место, как кричат эротофилы, а *последнее*. Для нашего личного существования половая потребность не нужна – это потребность рода. Но большая ошибка думать, как Шопенгауэр, будто и половая любовь – *родовое* чувство. Если бы она была таким, то была бы всеобщим и неизбежным явлением; все влюблялись бы

непрерывно и продолжали бы оставаться влюбленными в течение всей половой зрелости, десятки лет. На деле этого нет. Сам Шопенгауэр признает, что настоящая, типическая любовь случается «крайне редко», а чаще бывают промежуточные, бесчисленные степени любви, от любви пошлой (Αφροδίτη πάυτημος) до небесной (Αφροδίτη ούρανια). Но любовь «пошлая» – самая распространенная – и, по Платону, ничем не отличается от простой половой похоти, которая, очевидно, совершенно достаточна для удовлетворения нужд *рода*. Большинство женятся и прекрасно живут, связанные простой симпатией, никогда не пережив ни острых мучений, ни блаженства любви. Ясно, что для интересов рода половая страсть не нужна. Но и для интересов личности она вовсе не нужна, иначе не была бы такою случайностью. Это не голод, не жажда, не сон, не труд, не потребность дружбы, не такая необходимость, без которой жить нельзя. Это род той дурной *роскоши*, без которой легко обходится большинство человеческого рода. Вы скажете, что и гений – роскошь, и высокая совесть – роскошь, но, я думаю, параллель эта неуместна. Гений и совесть – вовсе не роскошь, а сам дух в своей интимной сущности, полнота его здоровья. Совсем без гения, совсем без совести никто не живет, как вовсе без здоровья, а без половой любви – живут. Гений и совесть дают счастье, половая же любовь дает «за летучее мгновение радости двадцать тяжелых, бесконечных, бессонных ночей», как говорит Шекспир. Половая любовь – роскошь опьянения, которая приподнимает на минуту все силы организма, чтобы тем глубже уронить их. Половая страсть – роскошь сумасшествия. Хорошо чувствовать себя испанским королем, но чего это стоит, однако, для бедного Поприщина!

Шопенгауэр – слишком тонкий ум, чтобы не заметить суетной и жестокой природы любви; вот только предвзято пользуется этою жестокостью для подкрепления главной идеи своей философии – о ненужности бытия вообще. По его мнению, наш коренной враг – природа – вызывает нас к жизни на страдание, обманывает нас иллюзиями счастья и раздав-

ливаает без сожаления, если это в интересах бытия. Поэтому мы часто видим, говорит Шопенгауэр, что «между молодыми и здоровыми людьми разного пола вследствие одинакового образа мыслей, сходства характеров и духовного склада возникает дружба, но не любовь; напротив, в этом отношении иногда замечается даже некоторое отвращение». Случается часто и наоборот: «при всем различии образа мыслей, характеров и духовного склада, даже враждебности друг к другу лиц разного пола, у них все-таки является страстная половая любовь, заставляющая их вступить в брак, *который в таких случаях всегда бывает несчастным*». Слепо поработанный интересам рода, влюбленный человек «так усердно преследует свою цель, что пренебрегает доводами рассудка и, вступая в безумную связь, нередко теряет через это состояние, честь и даже жизнь». Это почти единственный инстинкт у человека, по своему упорству напоминающий животных и насекомых. «При отсутствии полового инстинкта человек, будучи разумным существом, не захотел бы следовать чужим целям в ущерб собственной личности», но тут природа является со своим обманом, посылает очарование; человеку кажется, что любовь нужна, *ему лично бесконечно нужна*, тогда как она нужна роду. «Каждый влюбленный, – говорит Шопенгауэр, – по достижении желанного испытывает какое-то обидное разочарование... он чувствует, будто его обманули».

<XIII>

Оправдывая половую любовь целями рода, Шопенгауэр не скрывает, до какой степени пагубна эта страсть для интересов личности. Любовь даже и по этой столь парадоксальной апологии любви оказывается самым обманчивым элементом счастья. Половая любовь выбирает нам не наилучших, а часто наихудших спутников жизни. По Шопенгауэру, женщина совсем не ценит в мужчине умственных качеств, а мужчина в женщине – нравственных. «Необыкновенный ум или гениальность действует (на любовь) отрицательно. Этим объясня-

ется, почему у женщин пользуются успехом преимущественно грубые, пошлые и глупые мужчины», что замечено еще древними поэтами. Но если это так, то неужели для интересов рода предпочтительнее грубые, пошлые и глупые мужчины? Неужели предпочтительнее безнравственные женщины? И неужели только такие мужчины и женщины в состоянии усовершенствовать породу?

Шопенгауэр много говорит о «крайне осторожном выборе», который будто бы половая любовь делает в интересах рода, но тут же, себе противореча, соглашается с Шекспиром, что никакого, в сущности, выбора нет, что глубокая страсть обыкновенно возникает *с первого взгляда*, как у Ромео и Юлии. Результат столь безоглядного «выбора» получается плачевный. «Нигде так мало добросовестности, – говорит он, – как в деле любви; даже честные и справедливые люди поступают бессовестно в этом отношении». Немудрено, что вместе с любовью в жизнь вносится какое-то безумие. «Химера (любви) так привлекательна, что в случае неудачи сама жизнь теряет всякую прелесть; она делается до того безотрадней, пустой и ничтожной, что исчезает всякий страх и ужас смерти, и человек добровольно идет к ней навстречу... В этом случае исходом бывает или самоубийство одного из влюбленных, или самоубийство обоих. Впрочем, природа иногда, как бы для спасения жизни, вызывает временное умопомешательство, которым затемняется мысль о безвыходности положения»... Шопенгауэр не признает половой любви за вид счастья: «Трагический исход, – говорит он, – бывает не только в случаях неудовлетворенной любви, но и при любви взаимной, потому что требования любви так противоположны индивидуальным отношениям, что личное счастье, основанное преимущественно на этих отношениях, становится невозможным. Любовь враждебна не только внешним условиям, но и самой индивидуальности любящих».

Безумие половой любви ясно из того, что, как говорит Шопенгауэр, она часто бывает сопряжена с крайнею ненавистью к тому, кого мы любим, и Платон вполне прав, на-

зывая такое смешанное чувство «любовью волка к ягненку». Эта ненависть особенно усиливается, когда предмет любви остается глухим к мольбам и страданиям любящего: «I love and hate her»*, – говорит Шекспир. Ненависть эта доходит до того, что оканчивается иногда насильственной смертью одного или обоих любящих. Таким образом, половая любовь почти всегда влечет несчастье; недаром бог любви у греков и римлян, несмотря на свою детскую наружность, слыл жестоким и капризным демоном: “Tu deorum hominumque tyranne, Amor!”** Убийственные стрелы, повязка на глазах и крылья – вот его принадлежности: крылья обозначали непостоянство и разочарование, которые наступают после удовлетворения.

Окончательный вывод у Шопенгауэра тот, что «браки по любви большею частью несчастны: “Quien se casa por amores, ha de vivir por dolores”», то есть кто женится по любви, тот будет страдать всю жизнь, как гласит испанская поговорка.

Таков в общих чертах взгляд на половую любовь у Шопенгауэра – единственного философа, сколько-нибудь серьезно исследовавшего этот вопрос. Если отбросить совершенно произвольные гипотезы о целях рода, о восполнении типа, то в положительной части останется крайне мрачная картина этой страсти, самой сладкой, самой тягостной и обманчивой из всех.

<XIV>

Если философы сделали не много для выяснения природы половой любви, то не более посчастливилось последней и среди ученых, представителей точной науки. Великие ученые любили останавливаться на этом предмете, считая его как бы вне своей области. Дарвин, Спенсер и др., если касались половой любви, то по преимуществу ее низшей стихии – полового инстинкта. Тем приятнее было встретить этюд о половой любви, подписанный серьезным ученым име-

* Я люблю и ненавижу ее (англ.). – В. Т.

** Ты богов и людей тиран, Любовь! – В. Т.

нем, – я говорю о появившемся недавно небольшом трактате г. Шарля Рише⁶⁴ “L’Amour”^{*}.

Г-н Шарль Рише – далеко не гений, однако ученый, пользующийся европейской известностью. Он натуралист, представитель точной науки. Он и начинает свой труд о половой любви с желания восстановить правду в этом вопросе. «Романисты, – говорит он, – психологи, драматические писатели, любители доискиваться до неуловимых тонкостей, которых порода не выводилась со времен отеля Рамбулье до нашего времени, настолько исказили, усложнили и сделали непонятною любовь, что, может быть, уместно напомнить им всем наше скромное происхождение...».

Намерение благое; к сожалению, отсутствие таланта и хоть искры оригинальности не дало г. Рише возможности сказать что-нибудь, хоть на четверть скрупула более веское, чем справедливо осужденные им взгляды романистов, психологов и драматургов. Напротив, подобно огромному большинству ученых, явившись представителем столь богатой области, как наука, г. Рише оказался совершенным нищим; аргументация его слаба до крайности, положения поспешные и предвзятые. Тема его работы – психология любви у человека, а начинает он с физиологии полового акта у одноклеточных, слизняков, червей, насекомых и пр., будто бы проливая этим свет на человеческие чувства. Правоверный дарвинист и материалист г. Рише рассуждает не как мыслитель, сам кое-что видевший на своем веку, переживший, перечувствовавший, а как автомат, по раз принятому у дарвинистов шаблону, нанизывая ничтожные фактики из животной жизни и давая им чудовищно предвзятое обобщение.

Хочется, например, г. Рише доказать, что любовный акт – самый важный в жизни, что цель природы – не отдельная личность, а потомство, и он ссылается на примеры, где самец умирает после оплодотворения, а самка – после кладки яиц. «У некоторых пауков... самец, который гораздо меньше и

^{*} Любовь: психологический этюд (Charles Rishet – “L’Amour”). – Русск. изд.: СПб., 1898. – В. Т.

слабее самки, застигает ее врасплох, но раз он удовлетворил свою половую потребность, самка, уже оплодотворенная, и, следовательно, больше не имея в нем надобности, пользуется своей силой, чтобы пожрать его». Отсюда стремительный вывод: «Молодым место! Таков закон природы!»

«Но позвольте, господин ученый, позвольте! – взмолился иной читатель. – Ведь приведенный вами факт замечен лишь “у некоторых пауков”. Неужели весь мир состоит из “некоторых пауков”? Неужели ваша супруга съедает вас каждый раз после того, как не имеет в вас надобности? Можно ли обобщать в “закон природы” то, что вовсе не закон, а, может быть, беззаконие даже у “некоторых пауков”?»

Покопавшись немного в слизняках и пауках, г. Рише решает, что между ними нет любви, так как нет сознания; любовь, видите ли, начинается вместе с разумом. «Любовью нужно называть сознательное и намеренное отыскивание одного пола другим». Этот вывод г. Рише нужен для затаенной цели – убедить читателя, что любовь растет вместе с разумом, и что чем разумнее существо, тем обязательнее для него отдаваться половой страсти. Но и тут наш ученый извращает факты. Любовь начинается, конечно, вместе с разумом, но в том же смысле, как и каждое сумасшествие. Нельзя сойти с ума, вовсе не обладая им. Поэтому, как это ни противно, половую любовь следует допустить у всех животных, способных подвергаться психозу. Психоз половой потребности требует, конечно, хоть некоторой психики. Но если ссылаться на животных в исследовании половой любви, то вывод получится далеко не в пользу развития этой страсти у человека. Чем ниже животные по типу, тем, как известно, любовная страстность в них сильнее. Обезьяны, например, сладострастнее человека, птицы – сладострастнее млекопитающих, а самые сладострастные в отделе позвоночных – это гады. Картина «любви» змеев, лягушек и жаб омерзительна по своей пылкости; гипноз половой похоти здесь так глубок, что можно резать и жечь «влюбленных», и они не отпустят друг друга из объятий. Не менее

сладострастны насекомые, как заметил еще Шиллер в своем «Гимне к радости»:

«Нам (то есть людям) друзья даны в несчастья,
.....
Насекомым – сладострастье,
Ангел – Богу предстоит...»

Еще неодолимее и безумнее половая страсть у слизняков; устрицы (гермафродиты) особенно пылки. Наконец, на самой низшей ступени жизни, у одноклеточных, вся собственно жизнь сведена к половой функции: одноклеточные питаются исключительно для того, чтобы размножаться, у них нет иного инстинкта, иного желания. Они как бы вечно разлагаются от генитального напряжения, которое не ограничено здесь даже разделением на два пола. Человек из всех творений является самым холодным, самым бесстрастным в половом отношении существом. И среди людей наблюдаются те же градации: всего похотливее – идиоты, за ними следуют низшие, цветные расы, и всего холоднее люди высокой умственной культуры. Напряженная умственная жизнь, как известно, сильно понижает половую потребность, часто до полного подавления ее. Люди такого уровня, как Кант, Ньютон, Спиноза, Декарт и пр., были совсем свободны от любовной страсти.

Но возвратимся к г. Рише. Только что отказав в чувстве «любви» низшим организмам, он на следующей странице опять возвращается к моллюскам, насекомым и пр. Он оделяет их любовной страстью, ссылается на стихи Аккерман и, видимо, приходит в любовный раж. С умилением он созерцает картины «любви» у кур и других птиц. И сейчас же готова теория а la Дарвин: «У большинства птиц одного самца достаточно на несколько самок. Но так как число самцов приблизительно одинаково с числом самок, то необходим *подбор*. Отсюда происходит борьба между самцами, которые стараются затмить своих соперников чудной гармонией своего пения (это у петухов-то!) или красотой своих перьев: в споре судьбою

является самка, которая и выбирает в супруги того из самцов, который показался ей самым блестящим». Г-н Рише не настолько слеп, чтобы не заметить, кроме чудного, гармонического пения петухов и блестящих перьев – еще и петушиной драки, и он с величайшей поспешностью хватается за этот факт и доказывает, что это третий – необходимый фактор подбора. «Торжествуют самые красивые и самые сильные; они одни имеют право (!) воспроизводить, и порода... в силу борьбы... постоянно стремится к улучшению».

Далее идут несколько пошлых страниц, совершенно во французском стиле, где описывается, как самцы «ухаживают» за самками, стараются «перещеголять друг друга в ловкости и красоте», как стараются «прельстить» самок. Вся психология человека, и специально француза, переносится на петухов и тетеревов, которым только что не влагаются в уста сонеты и мадригалы. «Вывод из этих фактов, – спешит заключить г. Рише, – прост и ясен. Все разнообразие, какое проявляется в блестящих перьях птиц или в гармонии их пения, есть результат (!) любви. Самцы, победители на состязаниях в красоте и храбрости, будучи призваны продолжать род, передают птенцам красоту и свою храбрость. Итак, *любовь есть непременно условие не только продолжения рода, но еще и его усовершенствования*».

<XV>

Но опять-таки читатель имеет право спросить г. ученого: не слишком ли он поспешил со своею теорией? Ведь указанные г. Рише факты взяты только из семейства кур, нравы которых и темперамент действительно похожи на французские. Но ведь не из одних же кур состоит животное царство! Даже среди птиц есть и певчие между ними, но есть и не певчие, и неужели, например, воронье карканье тоже имеет целью «прельстить» ворон? Есть красивые птицы, есть и безобразные, и почему же самка кукушки не требует блестящих перьев от своего супруга, а довольствуется, какими

Бог послал? И вовсе не у всех птиц самцы дерутся, как петухи, и даже петухи не все дерутся, и не всегда из-за самок. Сам же г. Рише говорит, что большинство птиц единобрачны, и что многоженство даже у петухов зависит, может быть, от их домашнего состояния. Если так, то ради чего же самцам особенно драться, и может ли эта драка возводиться в закон, будто бы совершенствующий породу? Ведь если подсчитать «исключения», противоречащие такому «закону», то их окажется гораздо больше, чем правил. А главное, какая пошлая привычка, чисто латинская, говоря о половой потребности, поэтизировать ее непременно как любовь!

Нет сомнения, что половое чувство влияет на наружность многих (хотя далеко не всех) животных, на их душевное состояние, но что все это нужно для *усовершенствования* породы, это крайне сомнительно. Ни красивое пение, ни красивые перья, ни даже мускульная сила (для иных видов) вовсе еще не суть виды *совершенства* породы, иначе все законченные породы – воробьи, гуси, журавли, утки и пр., и пр. – отличались бы и яркостью перьев, и гармоническим голосом. Яркая окраска или резкий крик сами по себе не суть достоинства, иначе г. Рише следовало бы восхититься и сине-багровою окраской ягодиц у некоторых обезьян, и ржаньем жеребцов в их эротический период. Все эти резкие и яркие изменения голоса и наружности у некоторых животных под влиянием половой потребности, иногда красивые, иногда безобразные, являются не для усовершенствования породы, а просто как *язык* полового чувства, один из аппаратов его. Пение, окраска и пр. служат или сигналами для облегчения отыскивания самцов, или средствами гипнотизирующими, возбуждающими похоть, или, может быть, явлениями, древняя цель которых забыта в природе. Но переносить произвольно человеческую психологию на животных и обратно – это верх легкомыслия. Г-н Рише договаривается до того, что серьезно говорит о «трогательном обычае некоторых певчих птиц, старающихся рассеять скуку (!) бедной самки, терпеливо высиживающей яйца, надежду будущего потомства. Так, в весенние ночи можно слышать со-

ловья, заливающегося звонкими трелями, между тем как возле него самка молча высиживает свои драгоценные яйца и слушает его с восхищением». Совершенно, видите ли, как в добропорядочной буржуазной французской семье, где, если жена на сносях, муж остается по вечерам дома и развлекает ее чтением романа. Установив на нескольких анекдотах из жизни животных «всеобщий, мировой закон полового подбора», наш правоверный дарвинист сетует, что в человеческом обществе этот подбор не достаточно строг. «С помощью нашего разума мы опускаемся ниже животных, которые благодаря половому подбору совершенствуются с каждым днем (!)». Люди, видите ли, слишком мало обращают внимания на красоту: «самка (зебра), более щепетильная, требует, раньше чем отдаться, известной наружной привлекательности».

Нечего и говорить, что «суть любви» г. Рише считает и у человека, и у животных одинаковой. Если у животных «любовь» совершенствует их, то и у людей: «Молодой человек, когда его охватит любовная горячка, становится горд, заносчив, раздражителен, обидчив, подозрителен – словом, ревнив. Ревность, которая у иных субъектов является одною из самых упорных страстей, ревность, которая заставляет совершать столько преступлений и столько глупостей, ревность, которая... захватывает и тело, и душу и превращает его в настоящее животное, – ревность может быть сочтена за признаки того соперничества между самцами, какое существует у животных, наших предков». И если «у животных, наших предков», соперничество между самцами столь благотельно, то, конечно, то же и у нас... Любящая женщина, по Рише, испытывает «почти такой же пыл, как и мужчина, но с большим самоотвержением, с большим презрением к общественному мнению, с большим бескорытием. Женщина, которая любит, – я говорю о женщине, которая знает наслаждения любви (?), – не знает другой заботы, другого кумира, кроме предмета своей любви. Погубить себя, скомпрометировать, разориться – все это ей нипочем; даже великие общечеловеческие обязанности – жертва ради общественного блага, ради отечества, ради человечества – сло-

вом, все то, что честный человек никогда не покинет для женщины, – все это не примется в расчет женщиной, если только она может ценою этих отвлеченных идей доставить некоторое удовольствие тому, кого она любит».

<XVI>

Вот какое «совершенствование» человека производит любовь, по мнению г. Рише. Неужели оно так заманчиво, чтобы соблазнить к любви? В самом деле, что это за высокая страсть, раз она делает человека злее и бессовестнее, чем он был? Но г. Рише как язычник и француз все-таки считает долгом публично вздохнуть о любви: «Скоро, – грустит он, – наступает старость: морщины, седина, заботы и вместе с тем, увы! – грустная неспособность быть влюбленным безумно, искренно, с полным отречением от самого себя, углубляясь в страсть, как в счастливое время молодости». Видите ли, почтенный, пожилой ученый, кажется, даже один из «бессмертных», все-таки вздыхает на мотив *si vieillesse pouvait...** Но хочется спросить его: если бы вы, милостивый государь, всю жизнь провели в «безумной» любви, когда же бы вы работали, например, для науки? Или и наука – вздор в сравнении с половой любовью? Конечно, вздор. «Любовь, – восклицает г. Рише, – занимает в жизни первенствующее место. Дожив до известного возраста, когда имеется одна надежда – не слишком скоро спуститься по наклонной плоскости, ведущей к старости, убеждаешься, что *все на свете тщета, кроме любви*. Несмотря на разочарования, огорчения, заблуждения, отказы, которые почти всегда за собою влечет любовь, – она все-таки из всех страстей человеческих более всего волнует нас, более всего захватывает нас целиком, душу и тело, так что невозможно, да *и не желаешь* от нее избавиться».

Вот совершенно откровенное обожествление половой любви, преклонение перед нею как перед верховным смыслом жизни. Рише, как почти всякий современный француз,

* Если бы старость могла... (фр.). – В. Т.

как большинство европейцев – агностик, искренний язычник и материалист; свободный от всякой религии, он свое тело считает богом, а в теле самую острую, наиболее плотскую страсть – божественной по преимуществу. Он и держится за нее со страхом и трепетом перед неминуемой старостью. Вне половой утехы у язычника нет счастья (прежде была война, теперь невозможная для огромного большинства). Очарование красотой природы, радость познания и созерцания, любовь к людям – все это, видите ли, *тщета*, «все на свете тщета, кроме любви». Проходит мимолетное опьянение любви, и язычник видит себя разоренным навсегда и жизнь бессмысленной. Но неужели это правда, неужели вне половой любви нет уже *никакого* человеческого счастья? Я считаю такое ограничение безумием. Если вы дожили до того возраста, когда уже испытывали все радости жизни и ни одной из них еще не утратили, если вы имеете возможность добросовестно взвешивать их разумом и совестью, то вы должны же видеть, что и кроме половой любви существует множество видов счастья – менее острого, но и менее отравленного и, во всяком случае, более тонкого, более возвышенного и достойного. В то время как половая любовь, как психоз, помучив человека, оставляет его, при нем всегда остаются, если он захочет, утешения более чистой любви – к той же жене как другу, к своим детям, к друзьям и товарищам, остается увлечение любимым трудом, остаются неисчерпаемые откровения искусства и точного знания, остается наслаждение собственной мыслью и красотой природы, остается долг служения человечеству и Богу, дающий жизни безграничное содержание. Неужели этот сверкающий, бездонный мир со всеми своими вечностями, неужели это небо, где мы уже живем, не в состоянии утешить нас в утрате половой страсти? Неужели *все тщета*, кроме этого самого неверного из удовольствий? Мне – искренно говорю – было бы стыдно так думать, просто стыдно перед Богом и своей совестью. Я всюду чувствую неизведанное, неизглаголанное, таинственное, новое, вижу кругом безмерные богатства, и малой долей которых я не воспользовался. И вдруг мне объявляют,

что если я не влюблен в женщину, то я нищий, и мне жить не стоит. Жалкая ошибка! Это искреннее ослепление есть неизбежный результат языческого, чувственного культа, который всегда ведет к банкротству духа. Бедные язычники не замечают, что их уныние есть кара за их же грубое преступление против природы. Природа бесконечно богаче нашего тела, как и каждой отдельной страсти, и если язычники выбрали только одну страсть, на ней сосредоточились и ее обожествили, то тем самым сузили себя до ничтожества и похоронили себя в нем. Сказано: «не сотвори себе кумира», – а они преклонились пред чем-то очень мелким и эфемерным даже в нашем-то ограниченном существе. И идол не дает им счастья, оставляет их тотчас после самых жарких поклонений...

<XVII>

Г-н Рише как француз, сладострастный по природе, конечно, не признает иной любви, кроме плотской. “...Des aimables Français, qui n’ont que de la vainté et des désirs physiques”*, как заметил еще Стендаль. Нефизическую любовь г. Рише отрицает. «Нелепо, – говорит он, – если любовь взаимна и любовники, имея возможность быть счастливыми, отказываются от этого для того, чтобы предаваться наслаждению платонической любви, витающей над земной действительностью». Говоря о проституции и лицемерно ужасаясь этому злу, г. Рише спешит заявить, что «зло непоправимо». Косвенно он даже защищает проституцию, и с большой горячностью. Главная причина проституции, говорит он, та, что мужчины вследствие разных условий женятся слишком поздно; по статистике, в среднем не ранее 27-летнего возраста. «Не знаю, каким образом законодатель мог бы помочь этому, но несомненно, что 27-летний возраст нимало не совпадает с наступлением половой зрелости. Нельзя требовать, чтобы от 20 до 27 лет молодые люди вели целомудренную жизнь – это безусловно не

* Любезные французы, у которых нет ничего, кроме суеты и плотских желаний (фр.). – В. Т.

согласно с их физической и психической организацией, до такой степени не согласно, что никогда любовные чувства не бывают так сильны, как в 25 лет. И хотя, чтобы в этом возрасте и еще в течение двух, трех, пяти, десяти лет человек, который даже уже не особенно молод, сохранил свою целомудренность. Это значит требовать невозможного, это значит насиловать природу, которая не допускает, чтобы ее насильовали безнаказанно, и всегда возвращает свои права, стоящие выше всех наших административных условий».

Видите, как взволновался почтенный ученый, когда речь коснулась столь чувствительной для каждого француза струны. Хотя и никто не *требует*, чтобы молодые люди оставались целомудренными, хотя *пожелания* этого высказываются крайне робко, да и то не во Франции, но одна мысль о такой целомудренности ужасает г. Рише, кажется ему нарушением законов божеских, если не человеческих. Надо заметить, что целый ряд почтенных ученых, физиологов и врачей отрицают всякий вред от полового воздержания, а такой авторитет, как Крафт-Эбинг, категорически заявляет, что «огромное множество нормально сложенных людей в состоянии отказать от своих влечений, *нисколько не страдая* от этой вынужденной воздержности» («Половая психопатия»). В Европе кое-где, как известно, возникло довольно заметное движение половой воздержности, проповедниками которой считаются Л. Н. Толстой, норвежский поэт Бьернсон, профессора Корниг, Риббинг и многие другие. Вот против этого-то очень робкого еще движения и мечут громы ученые вроде г. Рише. Мысль, что мужчина должен и может быть таким же чистым до брака, как девушка, кажется этим господам опасною ересью. Все они втайне разделяют мнение названной выше актрисы, что «единственное извращение – это платонизм». А так как французы расчетливы и скупы и до 27 лет не женятся, то необходима проституция как суррогат брака. «Зло непоправимо!» – кричит г. Рише. – Мы не смеем даже сказать, что найдут средство против проституции. Мы не намерены брать на себя исправление общества... Оставим этот вопрос». Пусть сотни тысяч девушек гниют в

публичных домах, но нельзя же мужчинам оставаться целомудренными до 27 лет!

У француза, если он откровенен, вопрос о «любви» всегда сводится к священному праву проституции. Мы видели выше, как некоторые французы громко требуют свободного, многократного брака. Г-н Рише – француз ученый. Он осторожнее в своих выражениях. Он, пожалуй, даже одобряет брак. Но все же не воздерживается, чтобы не сделать следующей оговорки: «Мы скажем, рискуя быть обвиненными в богохульстве, что брак и любовь происхождения совершенно различного. Любовь – это чувство, глубокое, инстинктивное, захватывающее душу и тело, овладевающее всем существом нашим. Брак же есть *измышление людское*, без коего не было бы общества. Посягнуть на брак – значило бы нарушить законы страны и законы самые почтенные, самые необходимые; но это не значило бы нарушить законы естественные». Видите, какой осторожный человек г. Рише. И не слишком напугал читателей, и все-таки провел идейку, что любовь, как хотите, выше брака, что брак – «людское измышление», поддерживаемое только «законами страны», то есть зависящее от случайного большинства в палате; высший же, естественный закон – вне брака... О, конечно, г. Рише настолько умен, чтобы видеть и другую крайность, он хорошо знает, что любовь вовсе не всегда счастье, – вот он и топчется на месте, хватаясь за аргументы и за, и против, не зная, на чем остановиться. «Любовь, – говорит он, – может существовать без уважения, без доверия; она не всегда далека от ненависти... Многочисленные примеры подтверждают, что можно быть влюбленным до безумия в женщину, которую презираешь, и что женщина часто влюбляется в человека, который, как она сама отлично сознает, недостойн ее. Любовь длится несколько недель, несколько дней; иногда даже она потухает по прошествии нескольких часов. Какая пропасть между этим странным чувством и супружеской нежностью, основание которой – взаимное доверие и долгая, законная верность!» Так, но с другой стороны «все на свете тщета, кроме любви...».

Эта жалкая двойственность отнимает даже тень серьезного значения от брошюры г. Рише. В ней чувствуется ученый, ошеломленный, с одной стороны, дарвиновской теорией, а с другой – банальным, по преимуществу французским взглядом на любовь. Природный ум француза, ясный и трезвый, никак не может высвободиться из этих двойных пут и взглянуть на предмет с надлежащей точки зрения. Единственный правильный взгляд на половую любовь – как и на другие запутанные явления жизни – дает *нравственное откровение*, но оно совершенно чуждо язычникам Запада. Они погрязли в своей телесности, с которою носятся, как невесть с чем, погрязли в материализме и механических теориях, затаенная цель которых – приравнять человека к слизняку и для обоих вывести один обязательный закон. Я думаю, однако, что в этих усилиях, как бы они ни были кропотливы, нет не только нравственной правды, но немного и ума. Да, даже и ума немного в этих материалистических брошюрках вроде книжечки г. Шарля Рише.

<XVIII>

Правду о любви следует искать не в науке, не в философии, а в поэзии или, точнее, у великих поэтов, да и то не у всех. Из несметного множества поэтов и романистов, писавших о любви, лишь у немногих можно найти сравнительно верное, искреннее и сколько-нибудь трезвое отношение к этой страсти. Казалось бы, нетрудно нарисовать правдивую картину явления, столь распространенного, – однако нужен весь гений великих художников, вся присущая гению жажда правды, чтобы не налгать в этом соблазнительном случае, не прикрасить, не преувеличить. Даже и великие художники далеко не все обладали достаточною для этого совестью. Но уже со времен Данте правда любовной страсти стала находить своих выразителей. Прочтите блаженную и мрачную историю первой любви Данте в «Vita Nuova»: она до сих пор годится для изучения психиатров. Когда Беатриче делала поклон влюб-

ленному, он чувствовал «счастье, которое часто было слишком велико, чтобы он мог его переносить и наслаждаться им». Оно измучивало своею чрезмерностью. Любовь к Беатриче была невинной (ему было девять лет, ей девятый год), и эта чистая любовь «освобождала ум от всех гнусных вещей», но, замечает поэт, «господство любви не хорошо: чем кто вернее ей, тем более испытывает горя и скорби». «Если бы Беатриче знала состояние, в котором я нахожусь, она не стала бы смеяться; напротив, я возбудил бы в ней сильную жалость!» Любовь, говорит он, «подавляла меня так сильно и резко, что из жизни мне не оставалось ничего иного, как мысль об этой женщине. Когда любовь объявляла мне такую борьбу, то я бледный, помертвевший, отдавался, чтобы видеть эту женщину, думая, что ее вид поддержит меня, но ее вид не только не защищал меня, но, напротив, уничтожил и последний мерцавший во мне остаток жизни». Пылкая скорбь после смерти Беатриче, однако, не удержала Данте от мимолетной измены ей и затем от брака. Но, может быть, потому, что любовь к Беатриче была невинной, то есть не была осквернена половым сближением, она осталась на всю жизнь священной для Данте. «Божественная комедия» – грандиозный памятник этой чистой влюбленности. Тайный смысл поэмы, как мне кажется, тот, что земная, плотская любовь не удовлетворяет души возвышенной, и что под руководством поэзии (Вергилий) эта любовь может очиститься, пройти благополучно все бездны зла, все ступени совершенствования и достичь престола Любви небесной. «Божественная комедия» – поэтическая символизация философской доктрины Платона. Любовная страсть является у Данте, как порок; во втором кругу ада Данте помещает Семирамиду, Дидону, Клеопатру, Елену Троянскую, «великого Ахилла, погибшего в своей последней битве с Любовью», Париса, Тристана «и тысячи других теней, погибших из-за любви». Даже такая трогательная любовь, как Паоло и Франчески, не спасла их от мучений адских. В XXX песне «Чистилища» при первом свидании на небесах Беатриче горько упрекает Данте за плотские увлечения. «Некоторое время, – говорит она, – я поддержи-

вала его своим лицом, и, показывая ему свои глаза молодой девушки, я вела его по прямой дороге, но... когда я поднялась от плоти к духу и когда я выросла в красоте и добродетели, я сделалась для него менее дорогой и менее приятной. Он обратил свои взоры на ложную дорогу...» Эта выросшая «из плоти в дух» любовь тратит величайшие усилия, чтобы спасти «низко павшего» Данте, и только мольбы ее и слезы перед Богом спасают его. Беатриче говорит, что никогда еще ни природа, ни искусство не предлагало ему такого наслаждения, как ее прекрасное тело, и если это великое наслаждение ускользнуло от него, если это тело рассыпалось в прах, то как он мог и потом любить такое же тело, столь обманчивое, бренное? Беатриче при помощи святых объясняет Данте природу Любви, которая лишь тогда чиста, когда обращена на чистое и благое.

После Данте Боккаччо своими фривольными новеллами и Сервантес «Дон Кихотом» вносят много ясности в ходячие представления о любовной страсти. Первый показывает ее плотскую природу, низкую, как у всякой страсти, второй осмеивает моду на любовь, столь же нелепую, как и рыцарский романтизм. Помещик из Ламанчи вообразил себя не только рыцарем, но и влюбленным, так как эта страсть считалась не отделимой от звания странствующего воина. В тот век не иметь «дамы сердца» для дворянина казалось столь же неприличным, как не иметь шпаги. Любовные приключения Дон Кихота еще плачевнее рыцарских; особенно зло осмеян выработанный тогдашнею культурой ритуал любви, ее законы и обычаи. Вспомните, например, страстные монологи Дон Кихота, обращенные к воображаемой красавице, его гиперболы в восхвалении ее красоты, его терзания (в горах Сиерра Невады) и пр. Сервантес заставил своего героя проделать всю комедию любви, которая тогда считалась обязательной. Нет сомнения, что если Дон Кихот был искренним рыцарем, то столь же непритворной была и его влюбленность; оба представления были манией, и связать тщеславие и любовь с помешательством в веке, когда их считали добродетелями, мог только великий художник, видящий вещи самостоятельно, как они есть.

Для изучения любви не нужно обращаться ко многим поэтам: достаточно остановиться на одном великом. Я остановлюсь на Шекспире, который, по выражению Пушкина, один «дал нам целое человечество».

Надо заметить, что Шекспир взял свое понятие о любви не из чужих рук, как делают многие поэты, а из самой природы, из окровавленного этою страстью собственного сердца. Между множеством увлечений у него, говорит Тэн, «была одна... – страсть несчастная, слепая, деспотическая, гнет и позор которой он сам чувствовал, и от которой все-таки не мог и не хотел освободиться. Нет ничего грустнее его признания, ничего более характеризующего безумие любви и чувство человеческой слабости: “Когда моя возлюбленная, – говорит Шекспир, – клянется, что ее любовь истинна, я ей верю, хотя знаю, что она лжет”». Что за грязная Селимена⁶⁵, – говорит Тэн, – эта развратница, перед которой он преклоняет колени с таким же презрением, как и любовью!.. Вот опьянение, разврат и бред, в который впадают самые изящные художники... Они стоят больше принцев и опускаются меж тем до уличных женщин. Добро и зло теряет для них свое различие, все предметы перепутываются... К чему служат очевидность, воля, разум, даже честь, если страсть так всепоглощающая?» Сильная любовь, говорит далее Тэн, «точно потоп затопляет всякое отвращение и деликатность души, все выработанные убеждения и усвоенные принципы. Отныне сердце умерло для всех обыкновенных удовольствий; оно может чувствовать и жить только одной стороной... Безумные искры ослепительной поэзии вспыхивают в нем, как только он подумает об этих черных, блестящих глазах. Она была не молода, не хороша и пользовалась дурною славой. Он был женат, имел детей, семью, которую навещал раз в год. Он уже не молод, она любит другого, красивого юношу, которого он представил ей и которого она хочет соблазнить. Что может остановить его пылкую страсть? Совесть? – “Любовь слишком молода, чтобы иметь понятие о совести”. Ревность и гнев? “Если ты мне изменяешь (говорит Шекспир), то и я сам изменяю себе, когда отдаю бла-

городнейшую часть самого себя своему грубому желанию». Когда эта отвратительная женщина изменила Шекспиру, он покорно переносит это, как раб, как Мольер», – замечает Тэн: «Невольно хочется поставить рядом с Шекспиром этого великого несчастного поэта, тоже философа по инстинкту, но шутника по ремеслу, издававшего над страстными стариками, бича обманутых мужей... Мольер по выходе из театра, где шла его популярнейшая трагедия, сказал вслух кому-то: “Мой друг, я в отчаянии: моя жена меня не любит!”».

Всем свойственно страдать от любви, но великие поэты, по нежности и чуткости их сердца, были изранены этой страстью особенно жестоко. Шекспир *знал* любовь, он считал ее своим проклятием, своим *грехом* (Love is my sin), и грех этот мучил его не один раз в жизни. Тем драгоценнее свидетельство такого гения, и поэтому, минуя других поэтов, я позволю себе остановиться здесь на Шекспире.

<XIX>

Беру лучшую из любовных пьес Шекспира «Ромео и Юлия». Это классическая трагедия любви; в ней сосредоточены, правда, не все моменты любовной драмы; в ней нет ужасов покинутой любви, любви недоступной, нет мучений измены, ревности, охлаждения, разочарования, переходящего иногда в ненависть. В «Ромео и Юлии» дана любовь исключительно счастливая, и препятствия любви выдвинуты исключительно внешние, чисто физические. Поэт как бы преднамеренно не хотел отягощать драмы самыми горькими, внутренними терзаниями, которыми так богата эта страсть. Быть может, *все* терзания любви и не могут быть вмещены в одно человеческое сердце, в одну трагедию, так что поэту пришлось, например, ревности посвящать особую драму, покинутой любви – особую и т. д. Следовало бы рассмотреть поэту весь цикл любовной драмы у Шекспира, чтобы изучить все перипетии любви. Но и одна трагедия его проливает много света на эту страсть.

В начале пьесы мы видим юного Ромео безнадежно влюбленным в красавицу Розалину. Он предается отчаянию, бродит по ночам одинокий, «свежей утренней росе он прибавляет слезы, так же, как прибавляет к облакам небес он облака своих тяжелых вздохов». Он видимо вянет, изнемогает от любви, так что отец и родственники в большой тревоге. Ромео признается другу, в чем причина его тоски: он любит и не встречает взаимности.

Увы, зачем любовь, столь милая на вид,
Такой тиран и грубиян на деле!* –

замечает друг Ромео, Бенволио. Ромео открывает ему душу и высказывает свой взгляд на любовь, конечно, устами Шекспира:

И с ненавистью много дела: только
С любовью больше; – да, – о забияка
Любовь! О любящая ненависть! О нечто,
Из ничего создавшееся прежде
Всех век! О суета несуетная! Легкость
Тяжеловесная! О безобразный хаос
Прелестных образов! Свинцовая пушинка,
Огонь холодный, ясный дым, большое
Здоровье, сон, во все глаза глядящий.
Какой-то сон не сон! Вот та любовь,
Которую я чувствую, в которой
Любви не вижу...

Вот исповедь героя, изнемогающего от любви, юного и прелестного, в лучшую пору его жизни. Он чувствует в себе любовь как столкновение всевозможных противоречий, всевозможных крайностей, друг друга связывающих и делающих бессмысленными.

* <Пер.> П. А. Кускова⁶⁶. – Примеч. М. О. Меньшикова.

Любовь есть курево из дыма вздохов,
Прояснена, она – огонь, горящий
В глазах любовников; омрачена
Она есть море, что питают слезы
Влюбленных: что она еще такое?
Какое-то смышленное безумье.
Смертельной горечь и какой-то
Живительный бальзам...

В любви все очарованья в жизни, но все отравленные, неотделимые от яда, которым они насыщены. Естественно, что за иллюзию счастья приходится платить самыми реальными страданиями. Розалина дала обет не знать любви, и Ромео – «жив настолько, чтоб лишь сказать, что он уж умер». Друг настойчиво советует ему забыть красавицу и с этой целью влюбиться в другую какую-нибудь: «Схвати себе в глаза теперь какой-нибудь заразы новой, и смертельный яд заразы прежней пропадет бесследно».

Ромео с негодованием отвергает это средство как невозможное, хотя признает, что он «не то чтобы сошел с ума, но весь опутан хуже, чем сумасшедший; заключен в тюрьму; там голодом морят меня, бичуют, мучат...»

<XX>

Такова природа *неудовлетворенной* любви. Несчастливые влюбленные, не встречая взаимности, часто пробуют себя утешить тем, что любовь сама по себе есть счастье: «Раз я люблю – этого и довольно». Жалкая ложь, в которую спасается отравленная душа, как в последнее убежище. Нет, любовь без взаимности – одно отчаяние, одна длящаяся смерть сердца... Никакие софизмы не скроют сосущей боли, пока ее не залечит время. Но и удовлетворенная любовь не теряет яда, ей присущего. Судьба улыбается Ромео, посылает ему новую, «счастливую» любовь. У их соседей и злейших врагов Капулетти дается бал, на котором будет и Розалина. Бенволио снова, в третий

раз, пристает к Ромео с советом «беспристрастным оком» сравнить Розалину с другими красавицами, и тогда он увидит, что она «не лебедь вовсе, а ворона».

Ромео раздражается бурными клятвами:

Когда святая вера глаз моих
Подобное допустит вероломство,
Тогда в огни мои пусть обратятся слезы,
И эти, часто так тонувшие, и все
Не утопавшие, прозрачные мои
Еретики, пускай горят огнем,
Приготовленным лжецам. Чтоб кто мог быть
Прелестней, чем она! Всевидящее солнце
Не видело с тех пор, как создан мир,
Подобной ей...

Кажется, достаточно сильная и искренняя любовь. Но вот совершенно неожиданно судьба посылает ей испытание. Признаваясь, что любовь вещь грубая, «неуч, невежа и буян, колет, как терновник», Ромео все-таки отправляется на бал, чтобы увидеть источник своих страданий – Розалину; его сопровождают друзья, которые снова пробуют извлечь его «из петли этой, с позволения сказать, любви, которая (ему) свернула голову». Совершается чудо: первый же взгляд на Юлию – и Розалина забыта. Ромео ошеломлен... Он начинает бормотать бессвязно:

О, у нее должны ночного неба очи
Учиться, как сиять. Она на лике ночи
Горит, как дорогой в ушах горит алмаз
У эфиопки. Красота для глаз
Невероятная и слишком неземная.
Все эти барышни с ней рядом – галок стая
С голубкой белоснежной...
... Любило ль, сердце, ты
До сей поры? – О, нет, клянись, очи, зреньем:
Я истинной досель не видел красоты...

Так стремительно, в один день, в один час одна страсть сменяется другой: верьте после этого божбе плохих поэтов, что любовь – вечное родство душ, неразрывное до гроба и за гробом. И покорен Ромео не какой-нибудь необычайной красавицей: Юлии нет еще 14 лет; все кавалеры к ней – кроме графа Париса – пока равнодушны; отец, браня, называет ее «ходячей немочью, гнилью, маской из свечного сала». Следите теперь за развитием этой новой страсти. Пылкий Ромео сейчас же приближается к незнакомой девушке, сейчас же просит поцелуя:

Святая, дай губам исполнить дело рук,
Иначе я погиб, отчаяньем палимый.

Ромео – хоть он был и в маске – Юлии тоже понравился, она охотно его целует и повторяет поцелуй; после минутной встречи их разлучают, и оба к ужасу своему узнают, что они числятся злейшими врагами: он – Монтекки, она – Капулетти.

Она, еще не видя его лица, уже влюблена смертельно: «Поди, узнай, – говорит она кормилице, – коль только он женат, чего избави Боже, то брачным ложем мне могилы будет ложе». И когда узнает, что это Ромео, она в отчаянии восклицает:

Чудовищно любви моей рождение:
Люблю того, к кому так много лет
Одной вражды я знала озлобленье.

Вы видите, что даже родовая ненависть – одна из злейших, какие есть, не в силах остановить этой страсти. Так начинается и всякая половая любовь: внезапно, безрассудно, без всякого участия разума и совести, как все низшие влечения человека. Точно семя растения, отдавшись ветру, любовь слепо падает на любую почву – и всего чаще встречается неодолимые препятствия для жизни, условия, совершенно не подготовленные и потому часто крайне неблагоприят-

ные. Начинается судорожная, трагическая борьба с преградами, начинается изнурительное страдание, и как довольно обычный конец – гибель влюбленных. Любовь, начинаясь безумно, вне всякого контроля рассудка, не вносит разума и в дальнейшее свое течение; часто с самыми тяжелыми помехами борьба была бы возможна, и борьба успешная, если бы вооружиться хладнокровием, терпением, осмотрительностью, расчетом, – но у любви именно нет и тени этих трезвых качеств, она вся – пыль, вся – нетерпение, безрассудство. Узнав, что они принадлежат к враждебным домам, Ромео и Юлии следовало бы исчерпать все средства примирить старших родственников, на что те и склонны, или, если бы это не удалось, – им следовало бы бежать из Вероны хотя бы в ту же Мантую и там соединиться. Нет, это было бы слишком просто и рассудительно; любовь обоим подсказывает из всех выходов самый нелепый. Ромео, недолго думая, перелезает в сад Капулетти, где его могут каждую минуту заколоть как вора. Он ждет свиданья хотя бы ценою смерти. Многим такая отважность кажется благородной, и я назвал бы ее такою, если бы она была обнаружена для более высокой цели. Но рисковать всею жизнью за миг свиданья, да еще и не обеспеченного, разве это не безрассудство? Ромео перед окном Юлии сыплет восторги ее красоте (сц. II), и заметьте, как эти восторги бессодержательны, бедны мыслью. Просто набор гипербол, одна вычурнее другой, одна другой невероятнее. У великого поэта со столь блестящим умом хватило бы средств и на умные монологи Ромео, но это была бы ложь, ум здесь был бы совсем некстати. Никогда человек не бывает так глуп, как когда он влюблен; в первое время страсти влюбленным решительно нечего сказать друг другу; – из их грамматики могли бы смело быть вычеркнуты все части речи, кроме междометий. Это и естественно: полая любовь – чувство телесное, глухонемое, как все страсти, и разум, делающийся свидетелем этого безумия, играет самую жалкую роль. Отсюда крайняя бледность не только любовных диалогов, но и любовных писем, стихотворений и т. п.

Только величайшим гениям удавалось выразить их любовь интересно, да и то лишь *после* бурных припадков ее и лишь в немногих строчках. Ромео, подобно всем влюбленным, кривляется и говорит глупости перед окном возлюбленной; он не замечает, сколько лжи во всех его преувеличениях и как похожа любовная исповедь его на бред. Юлия, наконец, слышит его голос (до того он неосторожен; она пугается его храбрости, он же хвастливо замечает, что

Ограде каменной не удержать любви,
Любовь все смеет, было бы возможно).

Дальнейшая история, однако, грустно опровергает это хвастовство.

<XXI>

Следует прелестная сцена, где Юлия наивно и откровенно признается, что и она любит Ромео; она чувствует, что нужно бы соблюсти формы приличия, высказать сдержанность, обдуманность, строго взвесить свои чувства и т. д. Все же понимают, что любовь не шутка и нельзя стремительно решать этот роковой вопрос. Нельзя, но вопрос уже решен: «Я тебе скажу всю правду, прелестный Монтегию, я слишком влюблена, и оттого ты можешь находить, что я легко веду себя, но верь мне», и пр. Всякая любовная страсть нескромна: ни женская стыдливость, ни робость, ни даже самолюбие не в силах удержать от признания... Нежная и кроткая Дездемона, отказавшая стольким женихам, сама первая открывается мавру в любви и бежит с ним. Татьяна у Пушкина – образец скромности и чистоты – первая пишет Онегину о любви. Тургеневские героини первые говорили: «Возьми меня». Пылкая любовь иногда делает самых милых, невинных девушек столь же циничными, как продажные; все сдерживающие, накопленные культурой и воспитанием качества – разум, стыд и совесть – спадают, как рубаха с плеч;

девицы просят и требуют того, что ужаснуло бы их до и после страсти. Вспомните:

Милый мой, возлюбленный, желанный,
Где, скажи, твой одр благоуханный?..*

Любовная страсть освобождает человека от всех святынь – и все-таки поэты называют ее святою!

Объяснение Ромео и Юлии, конечно, очень трогательно; чувствуешь блаженство их сознания, что они взаимно любимы, и внутренне благословляешь их на счастье. Но уввы, это один лишь миг не отравленной любви. И Ромео, и Юлия сейчас же начинают тревожиться: «Сегодняшнему нашему сближенью я все еще не радуюсь: оно так непредвиденно, стремительно, внезапно, совсем как молния, что не успеешь сказать: сверкнет, как ее и нет уж», – говорит Юлия. «Боюсь одного: теперь ночное время, – не сон ли это все, сон слишком сладостный, чтоб быть действительностью», – говорит Ромео.

Как серебристо-сладки голоса
Влюбленных ночью: точно вдалеке
Чуть слышимая музыка...

Да, но зато «так сладостно-горька разлука, что нет мочи расстаться». А расстаться необходимо – и это первое тяжелое страдание в суетной драме любви. Как капли дождя в пустыне только дразнят истомленного зноем путника, так редкие свидания влюбленных только раздражают их; их жажда усиливается, они стремятся соединиться, они блаженны лишь, пока впивают друг друга, но затем является новое страдание – охлаждение одного или обоих, равнодушие путника,

* Мей Л. А. Строка из цикла 13 стихотворений «Еврейские песни» (поэтическое переложение «Песни Песней», ок. 960–935 гг. до н. э.). Цикл печатался с 1856 по 1860 г. Цитируемая строка взята из первого стихотворения цикла, датированного 25 июля 1856 г. – В. Т.

утолившего свою жажду. У Ромео и Юлии до этого не дошло, любовь их осталась ненасыщенной и потому до конца сильной; они погибли, не исчерпав и малой доли всех мук этой страсти. В этот первый, самый сладкий и чистый момент половой любви зритель готов простить ей все ее грехи, все ужасы; искренно любишь этих бедных детей, обвороженных страстью. Но если вы видите красивый огонек, разведенный под углом жилого дома, вы недолго будете любоваться его коротким пламенем. Вы вспомните, во что обратится этот огонек через полчаса... Проклятие половой страсти – в ее безграничности, в постоянной склонности вырываться из общего строя жизни и разрушать его. Грустным пророчеством звучит философское размышление отца Лаврентия (в III сцене), собирающего на заре целебные травы:

Нет ничего на земле такого ничтожного, чтобы
Земле не служило какой-нибудь особенной службы.
И ничего нет такого хорошего, чтобы,
Выйдя за грани свои, не восстало бы против
Самой природы своей, превысив свое назначенье...
В этих незрелых
Листиках хилого цветика
Яд пребыванье имеет и сила врачебная:
Если понюхать его, от него оживится все тело.
А взять его в рот, так, начавши с сердца,
Убьет он все чувства.
Лагерем вечно стоят в человеке, как в травке,
Два супротивных царя: *благость и буйная воля.*
И там, где худший из них верх одержит,
Червь смерти поест все растение...

Так говорит мудрость, как бы предостерегая любовь от потери меры, как бы предчувствуя безудержье, которое приведет ее к гибели. Ромео объявляет старцу, что он влюблен в Юлию, и просит повенчать их. «Божий святитель Франциск! – восклицает Лаврентий. – Откуда сия перемена?»

Ужли ж Розалина, которую так мы любили,
Так скоро забыта? Должно быть, любовь молодая
И точно не в сердце лежит, а в одних лишь во взглядах!
Jesu Maria! Какие потоки лилися
По бледным щекам твоим – все от любви к Розалине,
Сколько соленой воды совершенно потрачено даром
В приправу к любви, от которой теперь уж ничем
и не пахнет!

Солнце от вздохов твоих еще не очистило неба;
Твои старые стоны звучат у меня еще в дряхлых ушах.
Смотри, у тебя на щеке не прошли еще пятна
От старой слезы! Ты и смыть еще их не успел!
Если когда-нибудь ты самим был собой, и эти
Муки были твоими, и сам ты, и эти мученья
Принадлежали одной Розалине, то ты ли
Переменился?

Добрый старец от избытка доброты соединяет руки влюбленных, но именно потому, что видит слишком пылкую любовь их, не скрывает еще раз своих дурных предчувствий:

Все эти буйственные радости имеют
И буйственный конец, и погибают
В своем разгаре, как огонь и порох:
Они уничтожаются при первом
Прикосновении друг к другу. Самый
Сладчайший мед уж самую свою
Противен сладостью и, портя вкус,
Не утоляет голода: так ты
Люби со сдержанностью, долгая любовь
Так любит...

Благословив перед алтарем эту «легковесную суету», как он выражается, отец Лаврентий изменяет своей же мудрости – и несет за это, может быть, более жестокое наказание, чем сами влюбленные.

<XXII>

Следите дальше за драмой: много ли половая любовь дает благородных моментов? Ни одного.

В уличном столкновении с Тибальтом Ромео вспоминает, конечно, что это двоюродный брат Юлии, и драться с ним было бы особенно нелепо, он старается избежать ссоры, но в конце концов все-таки убивает Тибальта: пылкая любовь не охранила его от преступления. В это время Юлия (сц. II, акт III) ждет не дождется возлюбленного для объятий первой ночи, и тут откровенно высказывается затаенная цель половой любви, чем бы она ни маскировалась. Невинная Юлия мечтает, как о венце любви, о телесном соединении; она просит ночь научить ее, как проиграть в игру, которая идет на безупречные две девственности. Она томится, и томление ее становится просто противным по своей откровенности. Тут ей докладывают, что Ромео убил ее двоюродного брата и изгнан из Вероны.

Тибальт был не только братом, но и «лучшим другом», какого имела Юлия, по ее же признанию. Юлия вспыхивает, бранит Ромео, но стоит кормилице присоединиться к ней и сказать: «Позор на Ромео», Юлия кричит:

....Распухни твой язык!
Не для позора он рожден; позору
Неловко будет на его челе;
Затем что это трон, где честь могла бы
Быть коронована единственным царем
Над всей вселенной...
Ей-Богу, бедный:
Кто приголубит имечко твое?

Она уже простила Ромео от всего сердца, успокоилась: «Отлично все; чего ж я плачу?» Ее мучит не смерть брата, а то, что Ромео изгнан. «Тибальт умер, а Ромео изгнан, – говорит она. – О, это *изгнан*, это слово *изгнан* одно убило полтора

тысяч Тибальтов». Видите, сколько безжалостности, сколько жестокости в этой молодой влюбленной:

Отчего ж, когда (кормилица) сказала,
Что Тибальт умер, отчего за этим
Не шло: и твой отец, и мать, ну оба вместе?
Я их почтила бы обычною печалью.
Нет, по следам за смертью Тибальта
Шло: а Ромео изгнан! Да ведь в этом
Ромео изгнан – мать, отец, Тибальт,
Ромео, Юлия, все мертвы, все убиты.
Ромео изгнан! Нет конца, нет меры,
Нет границы, ни пределов смерти,
Каковая в этом слове! Нету звуков,
Чтоб выразить его весь ужас..!

Заметьте, какой чудовищный эгоизм развивает полая любовь: пусть, видите ли, умирают полтора-два тысяч друзей и братьев, пусть умирают отец и мать – только подайте ей любовника, которого она ждет для первых объятий. Великий автор не случайно отметил эту нравственную низость влюбленной души; что бы ни кричали маленькие авторы о благородстве любовной страсти, ужасное падение совести – ее характерная черта. Особенно убивает Юлию то, что она остается после Ромео девицей: она обращается к веревочной лестнице, по которой должен был влезть Ромео, с горькой жалобой: «Он тебя готовил к ложу моему быть лестницей, а теперь, девица, я умираю в девственном вдовстве... Иду к постели: не Ромео, смерть там примет от меня девичество». Это девичество так томит благородную сеньору, что кормилица обещает, наконец, ей привести Ромео...

Не меньше эгоизма проявляет и Ромео. Он ошеломлен тем, что изгнан. «Изгнание? Будь милосерд, скажи – смерть. Изгнание хуже смерти, гораздо хуже: не хочу изгнания». Напрасно отец Лаврентий убеждает его, что за стенами Вероны еще много места в Божьем мире, и что он должен радоваться

мягкой каре. Но Ромео заявляет, что вне Вероны «нету никакого света, там истязания, чистилище, сам ад», там нет и неба: небо лишь там, где живет Джульетта, где можно целовать ее губы и пр. Отец Лаврентий пробует поделиться с безумцем тем, что составляло утешение жизни старца: свою философию, которую называет «сладчайшим млеком несчастья». Ромео отвечает грубо:

Провалиться с ней,
С твоею философией: она
Джульетты мне не сделает? Она
Решенье герцога не переменит?
Так что мне в ней? Она не стоит ничего.
Не говори мне больше...

<XXIII>

Конечно, эта попытка доброго монаха – утешить влюбленного мудростью – просто смешна. Разум столько же чужд страсти, как и совесть: эти средства хороши во всех несчастьях, но не при мании, которая по существу есть выпадение из разума. Тут *idée fixe*, неотвязчивая, неподвижная мысль, – *мысль-сила*, по выражению Гюйо, влекущая маньяка с тою же неумолимостью, с какою мясник влечет быка на бойню. Полупомешанный Ромео, подобно Юлии, хочет покончить с собой. Отец Лаврентий рисует состояние Ромео с правдивостью психиатра:

.... Ты мужчина, только плачешь ты,
Как женщина, а дикие твои
Деянья обнаруживают ярость
Какого-то бессмысленного зверя...
Ты
Убил Тибальта? А теперь ты хочешь
Убить себя?
И, совершивши дело

Проклятой злобы над самим собою,
Убить жену свою, которая живет
Твоею жизнью? Что за поруганье
Над жизнью, над небом и землей!

И это называется любовью. Добрый старец доказывает Ромео все его безумие: у него все есть, все в избытке, но ничто не служит на пользу, ничто не украшает жизни. «Джульетта жива – разве это не счастье? Тибальт хотел убить тебя и не убил – разве это не счастье? Закон смягчил смертную казнь на изгнание – это не счастье? На тебя дождем идут благословенья, за тобой ухаживает счастье и надевает лучшие свои наряды, – и ты все это обращаешь в свой позор». Трудно придумать более мудрое увещание, но Ромео едва ли выслушал его; его возвращает к жизни только обещание устроить свидание с Юлией. Еще раз, вдвойне рискуя жизнью, он перелезает <через> стену. Ночь влюбленные проводят в объятиях; на заре они уже несколько раздражены (сц. V). Происходит страшно горестная разлука: «Все мрачнее и мрачнее наше горе...». «О Господи, душа болит предчувствием; мне кажется, тебя, как ты теперь стоишь внизу, я вижу каким-то мертвецом на дне могилы... Ты очень бледен. – Но, душа моя, ведь на мои глаза, ты – также точно. Горе пьет нашу кровь...»

Известны те вполне безумные средства, на которые решаются при участии отца Лаврентия Ромео и Юлия: благочестивый монах, только что учивший Ромео мудрости, сам как бы заразился его безрассудством. Составляется план чудовищного подлога, сложная и длинная цепь лжи, чтобы обмануть графа Париса, родителей Юлии и всю Верону. Нежная Юлия лжет перед матерью, не краснея, притворяется, что оплакивает убитого Тибальта, притворяется, что ненавидит Ромео и хотела бы подослать ему яду, притворно соглашается выйти за графа Париса, притворно раскаивается перед родителями, притворно умирает (при помощи сонного напитка), чтобы быть вынесенной в склеп и оттуда бежать к Ромео... Нагромождается колоссальная пирамида лжи, которая и раздавливает обоих

влюбленных. Страдания, в которых запутывается бедная, пойманная страстью душа Джульетты, невероятны:

Ужели где-нибудь
На небесах не обитает жалость,
Которой бы была открыта глубина
Моей печали?

Этот искренний вопль бедной девушки хватается за сердце, но в то же время вы сознаете, что ее печаль не чистая, что она вся на подкладке полового влечения и вся насыщена злобой и ложью. Не высока и цель этой страсти, не высоки и средства. Страдания, вы это чувствуете, выходят заслуженными. Если половая любовь – «святое» чувство, почему оно не предохраняет от безнравственных средств, а именно ими и пользуется?

<XXIV>

Известен конец драмы. Одна, как всегда, непредвиденная мелочь расстраиивает весь план подлога: Ромео ошибкой передают, что Юлия умерла, и что ж ему остается? На что решится он? Уж конечно, на самое худшее и самое жестокое из всего, что возможно. Конечно, он убьет себя, – ведь оба влюбленные уже столько раз порывались с собой покончить. Вся история их любви – какое-то балансированье над пропастью, куда их страшно тянет. Ромео покупает яд, отправляется в Верону, проникает тайно в склеп Юлии, убивает пришедшего сюда же графа Париса и выпивает яд у тела Юлии. Она просыпается, видит труп Ромео... На предложение подоспевшего отца Лаврентия бежать из склепа и посвятить себя новой жизни, служению Богу – она отвечает кинжалом себе в сердце. Еще раз и окончательно, перед лицом всей Вечности она свидетельствует, что для влюбленной души нет ни Бога, ни вечности, ни человеческого мира, никаких святынь, кроме единой – своей половой страсти, которая должна быть удовлетворена, хотя бы погасло солнце и вселенная обратилась в прах.

Неужели все это не похоже на безумие?

Все мы выросли в культе любви и привыкли считать половую страсть чем-то прекрасным; история Ромео и Джульетты нас особенно волнует; их самоубийство кажется трагическим, то есть не только ужасным, но и величественным, достойным подражания. Да, подражания, и нет сомнения, что немало молодых пар, покончивших с собою, обязаны этим внушению шекспировской трагедии. Вся любовь этой истории кажется крайне бедственной, но необыкновенно красивой, а исход ее – возвышенным. Между тем, что же тут красивого, в этом разгаре почти животной чувственности, в помешательстве двух юных – почти детских душ, в нагромождении лжи и потоках крови? Что тут возвышенного – убить себя на трупе человека, у которого даже не знал души, а любил только тело?

Шекспир с величайшей правдивостью изобразил историю любви, «которой нет печальнее на свете». В любви, говорит он, чудовищно то, что «*воля безгранична, а осуществление ограничено, желание беспредельно, а действие – раб предела*». Шекспир не дает метафизического принципа любви, но, разглядев эту страсть в картинах ее, вы убеждаетесь, что какова бы ни была ее природа – она *не может* быть высокой.

Что со времен Шекспира половая любовь осталась тою же опасною страстью, вы можете убедиться на каком-нибудь современном хорошем романе: “*Madame Bovary*”, например, или «*Анне Карениной*». Проследите, как сразу, точно чума, эта страсть захватывает иногда сильных и чистых людей, как она истомляет их, нравственно обезображивает – даже в случаях взаимной любви, как ни красота, ни молодость, ни здоровье не обеспечивают от охлаждения, от ревности, от измен, от знойной тоски, от которой иногда нет спасенья, кроме смерти.

<XXV>

Такова грубая *правда* половой любви. Я понимаю, как трудно согласиться, что половая любовь есть психоз, до того все привыкли считать это явление *естественным* и *здоровым*

чувством. Может ли быть психозом, то есть некоторым душевным расстройством, состояние, столь часто встречающееся? Ведь «увлекаются» более или менее почти все люди. На это я замечу, что ведь и болеют почти все люди. Оспа, корь и пр. поражают все население, но никто еще не решался утверждать, что это здоровые, нормальные состояния. Есть некоторые душевные болезни, гораздо более частые, чем любовь, – всякого рода наркозы. Пьяниц несравненно больше, чем влюбленных, но нельзя же из этого выводить, что пьянство есть нормальное явление. Половая любовь, конечно, естественна, но только в том смысле, в каком все в природе естественно: и жизнь, и смерть, и здоровье, и болезнь, и творчество, и разложение. Человеческий организм – аппарат столь нежный, что, подобно дорогому музыкальному инструменту, некоторые расстройства для него неизбежны. Нервы, как струны рояля, постоянно сдают, их приходится – если вы следите за собою – всегда подстраивать, причем чем лучше, духовнее человек, тем строй души его – как у дорогого рояля – держится дольше. Влюбленный человек, чувствуя, что нервы его страшно натянуты, думает, что это не только не болезнь, **а скорее прилив здоровья; ему кажется, что он горы может сдвинуть с места.** Но то же чувствует и пьяница в известной степени опьянения, и еще более – куритель опия, – тот ощущает прямо-таки райское блаженство. Все это иллюзии расстроенных чувств; горькое похмелье ощутительно доказывает призрачность счастья и присутствие яда, который заключался в волшебном напитке. Половая любовь потому так и влечет многих к себе, что она *опьяняет*. Если в крови животных, как я говорил, в течение любовного периода развивается особый яд, то, вероятно, он развивается и у человека, и это блаженно-тягостное, бредовое состояние, может быть, есть просто следствие отравления. В натурах неустойчивых, истеричных есть неодолимое тяготение к наркозу; одних тянет к вину, других к эфиру, третьих к половой страсти – словом, к какому-нибудь забвению. Таким людям нужна телесная буря, в которой заглушена была бы хоть на время ноющая слабость души. Большинство влюбленных заведомо истеричны,

и кто-то доказывал, что это один из психозов так называемой *grande hystérie*. Сущность половой страсти – потеря равновесия, взрыв всех сил души в одном желании. Но если вспомнить, что самая *природа* организма есть равновесие, что жизнь есть результат бесчисленных усилий сохранить это равновесие, то понятна будет болезненная роль этой страсти.

Я отлично знаю, что многие мои читатели будут опечалены и даже возмущены столь непривычным для них взглядом на половую любовь. Подобно Шопенгауэру, я мог бы сказать: «Само собою разумеется, что меньше всего одобрения я могу ожидать от тех, которые одержимы страстною любовью. Эти люди до того привыкли облекать свои чувства в красноречивые фразы и воздушные образы, что найдут мое воззрение слишком материалистическим... Но не мешает заметить по адресу влюбленных, что если бы предмет их страсти, которому они теперь посвящают мадригалы и сонеты, родился, положим, 18-ю годами раньше, то, наверно, потерял бы для них всякую привлекательность». Влюбленные, как и больные, прибавлю я, всего менее могут быть судьями своего состояния, они – слишком заинтересованная сторона. Пока человек опьянен – он всегда радуется своему опьянению и желает его усилить. «Когда страстное состояние овладело мною, – говорит Гете, – я ни за что на свете не желал бы отделаться от него, теперь же ни за какую цену не пожелал бы, чтобы оно снова овладело мною». Влюбленные не могут не только судить, но даже и *рассуждать* о любви, как откровенно заметил влюбленный Фет:

...Умоляю,
Не шепчи про осторожность!
Где владеть собой, коль глазки
Влагой светятся туманной...
Размышлять – не время, видно.
Как в ушах и сердце шумно:
Рассуждать сегодня – стыдно,
А безумствовать – разумно.*

* Фет А. Завтра – я не понимаю, жизнь – запутанность и сложность. – В. Т.

Это сказано, по крайней мере, честно, хотя от 70-летнего старца, каким был Фет, когда писал эти строки, можно бы было ждать и иного поведения. Но он сказал только то, что чувствуют все влюбленные, не желающие лицемерить. Лицемеры – те непременно станут доказывать, что в любви нет никаких безумств, что никто, кроме них, влюбленных, не может правильно рассуждать о половой страсти. Но с лицемерами не может быть и спора.

<XXVI>

Я не спорю также и с очень юною молодежью. Большинство молодых людей, не пережив сами любовной страсти, берутся охотно судить о ней. Начитавшись плохих романов и вспоминая свои ухаживания, они считают себя чрезвычайно опытными в этом вопросе. Девушка, например, думает, что она влюблена и находит это чувство таким прекрасным, таким пленительным. Она кончает гимназию, он на среднем курсе университета. Оба очень молоды, красивы, оба часто выросли вместе, как брат с сестрой. Я с удовольствием гляжу на такие парочки и желаю им всякого счастья. Искренно желаю, но ничего не предсказываю. Они тронулись в путь, длинный и утомительный, и на первой версте испытывают только радость, но что будет дальше – я не знаю. Любовь ваша, говорю я юной парочке, еще в завязи, не судите о ней, пока она еще не распустилась. То, что вы описываете как любовь, может быть вовсе не половая страсть, а просто горячая, братская дружба. Она кажется вам святою потому, что она и есть святая. Она кажется вам чистою потому, что и на самом деле чиста. Вы, сверх того, нравитесь друг другу просто как молодые и чистые, физически красивые люди. Вам хочется быть вместе, говорить друг с другом, глядеть один на другого, передавать друг другу все тайны и интересы. Но это еще не половая страсть. Это просто дружба, просто любовь, какая бывает и между двумя девушками-подругами, и между двумя юношами-товарищами. *Половая* любовь – совсем не то. Она

может и не возникнуть, а вы, обвенчавшись и оставаясь горячими друзьями до гроба, будете искренно думать, что вы все время влюблены. Но этого совсем нет и не было. Половая любовь – совсем другое состояние. Это *страсть*, то есть по этимологии этого слова – *страдание*. Редкие испытывают эту страсть в типической форме и потому не знают, что такое она, как она чувствуется, и за половую любовь принимают или простую физическую симпатию, или братскую привязанность, или горячую дружбу. Половая страсть – совсем не то... Она своего рода бешенство. Она чаще всего начинается внезапно, поражая людей, как молния – с первого взгляда, с первого дня знакомства. И самочувствие здесь другое. Вам, если вы действительно влюблены, начинает не только *нравиться* тот или иной человек, вас не только тянет к нему, но он становится для вас необходим, как воздух. Если его нет около вас, он у вас стоит в воображении, как живой; прикованная мысль не может оторваться от него ни на минуту, вы внутренне обнимаете его и целуете, ласкаете, молитесь объятий, поцелуев. В голове у вас туман; внезапное появление любимого человека вызывает в вас сладкое головокружение, близкое к обмороку. Вам хочется быть ближе к нему, возможно ближе, – созерцая его, вы захлебываетесь от алчного восхищения, грудь ваша волнуется сладостным и тяжким желаньем, хоть вы иногда и не знаете, что собственно вам нужно. Половой голод часто во все не сознается при этом, как физический голод в голодном тифе. Психика угнетена, и человек не может дать себе отчета: он подавлен одним неодолимым влечением к любимому человеку без определенной цели, и потому ему кажется, что это чистое, святое чувство. Пароксизм разрешается известно чем. Известно также, насколько психология любви до и после полового соединения различна и какие бывают приливы и отливы чувства сообразно с чисто физиологическою насыщенностью обоих. Безумно влюбленные *сейчас*, могут через *полчаса* серьезно поссориться, до слез, до ненависти, которая, конечно, скоро сменяется новой любовью вместе с подъемом нового желанья. На этой здоровой и простой физиологической канве

болезнь любви рисует иногда самые прихотливые психические узоры – ревности, охлаждения, разочарования, пламенного обожания и т. д. Любовная страсть в отличие от дружбы представляет не светлое чувство, а нравственный хаос. Граф Л. Н. Толстой замечает в одном месте: «Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девице и наоборот, я боюсь этих нежностей, был так несчастлив в жизни, что никогда не видал в этом роде любви ни одной искры правды, а только ложь, в которой чувственность, супружеские отношения, деньги, желания связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было».

<XXVII>

Влюбленным *не о чем говорить*; потребность же обмена мыслей (сколько-нибудь серьезного) есть верный признак дружбы. Вспомните свое детство, свою сердечную, иногда пламенную привязанность к брату, сестре, товарищу; вспомните вашу жгучую тоску при долгой разлуке с ними и радость при свидании. Вспомните ваши тайные разговоры, неисчерпаемые и всегда приятные, желание всем поделиться, вместе жить, вместе заниматься и играть. Не *половая* же это любовь, и если она повторится в более позднем возрасте между вами и лицом другого пола, почему же называть эту простую, человеческую любовь половой? Если она иногда совпадает с любовной страстью, то почему именно страсти приписывать все хорошее в этом союзе, а не дружбе? Разберитесь хорошенько в себе, и вы увидите, что все благородное, святое в вашей любви явилось бы и без страсти и осталось бы и тогда, когда она исчезла бы. Не называйте *святой* любовью так называемую платоническую любовь, вроде той, которою пылал рыцарь Тогенбург. Ведь такая «идеальная» любовь есть все же *половая* страсть, только неудовлетворенная. Это все равно что быть платоническим пьяницей и, не имея водки, вздыхать по ней. Вы скажете, что при платонической любви к женщине вовсе не бывает желания тела. Любишь и жаждешь просто человека,

всего его существа, но без тени мысли о физическом соединении. Ну, если нет «и тени мысли» о соединении, то такая любовь – святая. Но какой же смысл называть ее в таком случае *половою*? Это просто любовь, просто дружба. При сближении молодых целомудренных людей вначале обыкновенно нет чувственного влечения, и потому-то:

Только утро любви хорошо,
Хороши только первые встречи...

как говорит поэт*. Но лишь только начинается не просто любовь, а *половая* страсть – начинается с нею и все гадкое, что безобразит дружбу. Половая любовь по существу своему не может быть платонической, потому что ее основа – деторождение: платоническая «половая» любовь – бессмыслица или извращение, психический «тайный порок». Если любовь между мужчиной и женщиной держится долго, не возбуждая полового влечения, то ясно, что это не любовная страсть, а самая простая, человеческая дружба, которую следует считать идеалом как вообще человеческих отношений, так и отношений между мужчиной и женщиной. Строго говоря «половой любви» не существует вовсе; раз она *половая*, то уже не любовь, если же *любовь*, то не *половая*. Нельзя смешивать эти два состояния, совершенно независимые, хотя иногда и совпадающие. Дружба обыкновенно предшествует половой страсти или еще чаще следует за нею, если молодые люди – люди чистые и добрые.

Большинство юношей и девиц, дам и мужчин, которым правда о половой любви кажется грубой и которые считают любовь эту возвышенным чувством, – или не имеют о *половой* страсти ни малейшего понятия, или лгут себе и другим, стараясь оправдать перед совестью то, что смутно чувствуется ими как грех. Или они никогда не любили, хоть и клялись в любви, и значит, они невежды в этом вопросе, или это люди с шаткой совестью, которым нравственная оценка этой страсти невыгодна. Эта оценка оскорбляет культ похоти, слишком им до-

* Надсон. – В. Т.

рогой. Они знают хорошо животную основу полового чувства, им нечего доказывать, что в нем ничего нет священного, что все священное привносится со стороны. Но именно потому-то, что они это прекрасно знают, они стараются обмануть себя и других, задрапировать эту похоть поторжественнее, украсить эмблемами и обрядами, пытаются опозитизировать ее, то есть изящной ложью извратить представление о половой любви до того, чтобы она напоминала какое-то другое, совсем хорошее чувство. Эти хитрецы прибегают иногда к чудовищным софизмам, чтобы оправдать нравственный недуг, которому они порабошены. Они подтасовывают под физиологическое явление психический, совершенно независимый процесс дружбы, они доказывают, что половая любовь – не то же самое, что половая страсть, и не то же, что дружба, а какое-то еще особое состояние, не нуждающееся в половом общении. Они говорят, что эта половая любовь *освящает* животную страсть, то есть каким-то чудом делает ее из позорной святою. Для оправдания столь дорогой им похоти даже нигилисты впадают в мистику и толкуют о благородстве, а люди, считающие себя верующими, привлекают библейские, евангельские тексты, объясняя их с фантастической бесцеремонностью. Влюбленные дамы, когда речь заходит о любви, с торжествующим видом указывают <на> слова Христа: «Прощаются ей многие грехи, ибо возлюбила много». «Видите, – заявляют дамы, – значит половая любовь одобрена Христом». Дамы не разбирают, что в слове «возлюбила» речь идет отнюдь не о *половой* любви, а о том раскаянии в ней, о той чистой любви к Христу, которая заставила блудницу омыть ноги его своими слезами. Грех половой страсти, если он признан, – прощается, как все грехи, но никогда, ни на одно мгновение не *оправдывается*: пред вечным идеалом он всегда остается грехом, отступлением от закона или преступлением его. Самая святая, искренняя человеческая любовь не может ни освятить половой страсти, ни оправдать ее. Сам Бог не может освятить того, что не свято по своей природе.

Сама по себе любовная страсть не заслуживала бы большого внимания: «Весь вопрос любви, – говорит Карлейль, – до

того ничтожен, что в героическую эпоху никто не дал бы себе труда даже думать о нем – не то что говорить». Нравственное содержание половой любви ничтожно, но как *страсть* и самая жадная из страстей она слишком расстраивает счастье, чтобы не бороться с нею со всею энергиею, на какую способна совесть.

Любовь супружеская

Брак есть мужеви и жен сочетание и сбытие во всей жизни, божественные же и человеческие правды общение.

Книга Кормчая

I

«Что лучше: жениться или не жениться?» – спросил некто мудреца. «Поступай, как знаешь, – ответил тот, – все равно будешь каяться». Перед мудрецом стоял, вероятно, человек обыкновенный, то есть испорченный, который недостаточно нравствен ни для безбрачия, ни для брака. Если бы тот же вопрос задал мудрецу человек безукоризненный, то, мне кажется, ответ был бы такой: «Поступай, как знаешь, – в обоих случаях будешь счастлив». К сожалению, огромное большинство человеческого рода состоит из обыкновенных, то есть сильно поврежденных людей, и вот на склоне тысячелетий нашей истории, в конце цивилизаций, сменявших одна другую, все еще для великого множества людей стоит проклятое сомнение, что лучше: иметь семью или нет? Остановить поток жизни в своей личности или продолжать ее в своем роде? Этот горестный вопрос напоминает и другой, для многих не решенный – что лучше: жить или не жить? To be or not to be?

Мне кажется, что только душе глубоко встревоженной и несчастной, душе, поколебавшейся в Твердыне мира, могут являться эти трагические сомнения. На вопрос о браке не только старые эгоисты и молодые развратники, – многие великие умы давали уклончивый ответ. “Heirathen ist seine Rechte halbiren und seine Pflichte verdoppeln”, – говорил Шопенгауэр («Женить-

ся – это значит уменьшить вдвое свои права и удвоить обязанности). «Кто завелся женою и детьми, – говорит Бакон, – тот отдал в залог свое счастье, так как жена и дети представляют стеснение и преграду для великих предприятий». С другой стороны, припомните глубоко верное изречение сына Сирахова: «У кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь» <Сир. 36:27> и полный мрачного отчаяния завет Екклезиаста: «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем... потому что это – твоя доля в жизни...» <Еккл. 9:9>.

Нравственный опыт человечества в области брака высказалась в великом слове: «Не хорошо быть человеку одному» <Быт. 2:18>. Но плод не менее высокого сознания и другое слово: «Кто может вместить, да вместит» <Мф. 19:12>. И мне кажется, что же тут терзаться сомнениями. Если вмещаешь в себе бесстрастную, божественную чистоту, если она дает удовлетворение искреннее – жениться не нужно. Но если вы под предлогом достижения чистоты «вздыхаете, скитаясь», если природа ваша требует плотского проникновения другою плотью и душа жаждет любви родительской и супружеской, – что же тут колебаться? Не на радость ли мы сотворены?

II

Любовь супружеская, вопреки ходячему мнению, основана не на страсти, а на потребности, и не только телесной, но и духовной. Одна половина человечества служит предметом вечного и ненасытного внимания для другой. Существуют как бы два человеческих рода, два особых мира людей, тяготеющих и переплетающихся между собою, как *основа и уток* на ткацком станке, образуя общую живую ткань. Неслияемые и неразделимые начала, роли почти одинаковые, но и бесконечно разные, безусловно неспособные заменить одна другую и безусловно друг для друга необходимые... «Тайна сия велика», – говорит апостол <Еф. 5:32>. О, если бы мы в состоянии были отрешаться хоть временами от забытия обыденности, от того странного

сна сознания, когда все кажется простым, все естественным и потому – ничтожным. Если бы мы в состоянии были входить в мир этот как дети, с их незагрязненным, ясным вниманием – этот мир показался бы нам не только очаровательным, но и очарованным, где все таинственно, все почти волшебно. И явление *двух* существ в *одном* типе, как бы *раздвоение единого*, показалось бы одною из особенно дивных загадок, и восхищающих разум, и поражающих его до тревоги. Кто же человек? Кто единица жизни? Мужчина или женщина? И если ни тот, ни другая, то существует ли человек? Зачем это тягостное раздвоение? Не для того ли, чтобы разошедшиеся части вечно стремились слиться, восстановить некую нарушенную полноту бытия, и не жажду ли этой полноты отчасти выражает та могучая страсть, мучительная и блаженная, о которой я говорил выше?

Мы, образованные европейцы, вышедшие из культа Вечности, оторвавшиеся от духа народного, мы потеряли тайну *религиозного отношения* к человеку, оттого и наш взгляд на половой союз почти так же груб, как у дикарей. Для нас человек *сам по себе*, вне его рабочей функции в обществе, есть ничто, он – простое животное, и самих себя вне социальной роли нашей мы чувствуем как животных. Даже менее того: животные загадочны не менее человека, мы же не видим в себе ничего таинственного и святого, не знаем никакого сверхчувственного призвания за собой, никакой вечной задачи. Мужчина видит в женщине, как и она в нем, не воплощенного духа, не ниспосланного свыше спутника и хранителя в этой жизни, а простой предмет для наслаждения, почти вещь. Эта мертвящая материальность отношений, непризнание в человеке иной, высокой природы есть источник великой драмы супружества с ее изменами и безумствами.

III

Что такое брак? Чем он должен быть?

Современный брак – вещь очень сложная и очень грустная. Оба пола начинают свою половую жизнь уродливо и рано, еще

детьми. Вырастая в сладострастном культе, наблюдая кругом себя так называемую «любовь» как нечто секретное и соблазнительное, дети обыкновенно психически развращены даже раньше, чем есть для этого телесная возможность. Они еще ангелы по виду, от них веет нездешней святостью, но на душу их уже пала грязь – именно в самый глубокий, самый таинственный родник жизни. Существа прелестные, бесполое, как духи, все братья, все сестры, – дети с годами начинают засматриваться друг на друга как-то странно и нечисто... Грустный момент этой райской поэмы детства! Весь грех этого первого падения – на совести взрослых, заражающих своим смрадом эту голубиную невинность. Капля яда, упавшая на свежее изображение, – и вот уже настоящий ужас, тот «тайный порок», в котором в самой завязи, на утренней заре жизни, вянет молодое сердце... Все это ведь войдет в историю супружества, всего этого не вычеркнешь из нее! За долгие годы подготовки к браку оба пола учатся раздражать один другого особыми манерами, танцами, салонной музыкой, салонной поэзией.

При этом юноши, даже лучших семейств, поминутно меняют общество кузин и их подруг на запретные объятия горничных и модисток. В ином очень строгом и важном доме шумит целый цветник девочек-подростков; в светлых платьицах по вечерам они ждут своих братьев – **не дождутся**. Девочки еще чисты, и даже ум их едва тронут дыханием греха. Являются братья-кузены... Никто не подозревает, откуда. Коко, изящно сгибаясь, целует матери руку – теми самыми губами, которыми полчаса назад целовал прелести какой-нибудь *Ni-niche*. Он целует сестер, оставляя на их щеках следы румян, снятых с других чьих-то щек. В его влажных глазах, в кривой улыбке, в сочном поцелуе девичье сердце подмечает что-то новое, смущающее, странное. От Коко пахнет душною атмосферой, чем-то терпким. Коко, впрочем, так мил, так блестящ! Он так изящно грассирует, когда поет, он так ловко танцует... Но девичье сердце или внимательный глаз матери замечают, что и в романах Коко, и в жесте, с каким он обнимает талию дамы, и в самой речи его прорывается что-то наглое, обна-

женное... Опытные дамы давно знают, в чем дело, и начинают ловить юношу в свои сети. «Он имеет успех у женщин». Юноша насыщает свое любопытство, переходит от одной пожилой психопатки к другой, но постоянная его «оседлость» не у них. Как ни стараются дамы отбить молодежь у кокоток, им удается это лишь в малой доле: увядшие тела их не могут соперничать с тренированными телами «падших созданий», и последние, сверх того, не душат лицемерием, игрою в холодную любовь. Хотя иная мать, как тетка в «Детстве и отрочестве», ничего лучшего не желает для сына, как связи с дамою из общества – связи, дающей будто бы последний лоск воспитанности молодого человека, – но сами сыновья, пока они юноши, – иного мнения, и получают последний лоск в будуарах продажных женщин. Знакомят молодежь с этими женщинами часто взрослые родственники. Я знаю случаи, где три очень почтенные матери платили вскладчину жалование одной вдове с целью спасти своих «мальчиков» от заразы при-тонов... Многие матери с наступлением возраста сыновей начинают выдавать им карманные деньги главным образом на этот предмет, который, по гибельному суевию, считается «необходимым» для молодого человека, хотя дочерей оберегают от этой «необходимости», как от чумы. И посмотрите, какая разница между юношами и девицами, как развращены одни и как сравнительно чисты другие! Прислушайтесь, каков жаргон у многих юношей из золотой молодежи. В очень почтенной семье, с преданиями, с длинным рядом предков, глядящих со стены, среди изящных девиц и дам, вы часто услышите иногда такую двусмысленность, такое хлесткое словцо, что диву даетесь: откуда сие? Очень милые барышни лепечут, часто не понимая, рефрен из какой-нибудь позорной по смыслу шансонетки, кидают термин из секретного лексикона кокоток и даже делают иной раз жест, которого смысл сжег бы им щеки от стыда, если бы кто-нибудь объяснил им его. Откуда сие? А от Коко, от Поля, от всех этих раззолоченных юношей, впитывающих в себя, как губка, все, что встречаются у Ivette и Ninon. То, что вдыхают они у этих созданий, выдыхают дома,

и атмосфера устанавливается общая. Невидимые, необъяснимые влияния без слов действуют и на девушек совсем невинных, исподволь заражая их, вводя *помимо сознания* привычное и нехорошее отношение к тайне полового союза. Из этой тайны незаметно исчезают стыд и святость, элемент загадочности, почти чуда. Необыкновенное, невероятное становится достоверным и простым, что «со всеми бывает». Девушку начинает тянуть к этой загадке уже не волшебное ее значение, а механизм ее; ее не удивляет уже «это», но хочется испытать, как же «это» бывает. И раз она знает про какие-то похождения Коко – не вполне знает, но это-то особенно и заманчиво, – раз все мужчины, все без исключения позволяют себе «это»... Ведь мужчины, как пол господствующий, сильный, ученый, умный – они бесспорный авторитет для женщины, особенно для чистой девушки, еще не успевшей убедиться в мишуре мужского величия. И раз мужчины «так» делают, то...

IV

Падения девушек, конечно, реже, чем молодых людей, но они случаются несравненно чаще, чем обыкновенно думают. Только у девушек еще не принято, как у юношей, афишировать этот «инцидент», как некое молодечество, и он остается глубоким секретом. К тому возрасту, когда заключаются законные браки, – огромное большинство молодежи проходят через школу падений, отрицающих самый корень брака. Сорвавшие яблоко познания уже недостойны плодов древа жизни, у большинства уже исчезла психическая возможность счастливого брака, но обе стороны все-таки подыскивают себе «партию». Я уверен, что не будь с браком связаны юридические, и главное – экономические выгоды, «законные» браки в теперешнем обществе заключались бы очень редко. Но брак есть «партия», имущественная афера, и тут шутить уже нельзя. – «Сколько приданого?» – основной вопрос брака у «умных», как у глупых – «хороша ли она?» – то есть обещает ли возбуждать «любовь». Один или оба эти мотива решают

вопрос. Выгода и наслаждение – вот цели современного брака, но несчетное количество неудачных пар показывает, до какой степени обе эти цели ложны. Соединившееся ради денег, титула, положения любят именно деньги, титул, положение и не любят человека, через которого все это получили. Как забывают о лопате, которою вырыли клад, муж забывает о жене, принесшей ему миллионы, жена – о муже, давшем ей титул. Цель достигнута – средство более не нужно, и в браках «по расчету» поражает эта странная ненужность супругов друг для друга. Чаще всего оба заводятся привязанностями на стороне, влача цепи союза, который обоих тяготит. Если же это люди нервные, злые, то они тягость своей взаимной ненужности вымещают друг на друге, семья обращается в тиранию, в ад, где сильный «вгоняет в гроб» более слабого. Дети – если они есть – истинные мученики в такой семье: они страдают, озлобляются, заражаются ненавистью и выходят из родного дома, как из какого-то зверинца, где грызутся звери. Эти браки «по расчету» оказываются расчетом не разума, а безумия; итог здесь получается такой же, как в арифметической задаче, где заданные пуды вы заменили бы аршинами. Раз опущено основное условие брака: соответствие душ, любовь дружеская, – брак неизбежно становится бессмысленным. И так как жизнь по природе своей есть воплощенный разум, то подчинение ее бессмыслице тягостно, как смерть.

Столь же несчастны браки, основанные на половой «любви», на наслажденье. Ведь и здесь соответствие душ пренебрежено, пожертвовано жажде тела. Эта страсть, как и всякая, ненасытна. Как пьяница переходит от бутылки к бутылке, изменяя каждой, как скупец вожделеет лишь той горсти денег, которая не приобретена, так и любовник, отведав одной связи, непременно ищет другой, подобной же. Те, кто говорит о *верности* в чувственной любви, не понимают самой природы последней: она по существу своему есть измена. В половой любви ведь любят не человека, а то раздражение, какое он возбуждает, как и в вине, в золоте любят не их самих, а свое вызванное ими состояние. Предмет страсти есть всегда *сред-*

ство, и раз оно не нужно, он теряет всякий интерес. Половая любовь длится лишь до взаимного удовлетворения, и затем «любимый» человек превращается в то же, что пустой графин для пьяницы. Становится желанным лишь новый, непочатый графин... Типические любовники – Дон-Жуан, Манон Леско⁶⁷. Хотя браки, основанные на половой страсти, многочисленны, но они разрушались бы поминутно, если бы, кроме этой зыбкой почвы, не было в душе людей иного, твердого основания – любви духовной, дружбы. Когда она возникает между супругами, то соединяет их помимо – и даже вопреки – страсти. Только этой, внеполовой привязанности обязаны столь редкие «счастливые» браки своею прочностью.

Что такое супружество, основанное на расчете или страсти, – мы все знаем или горьким личным опытом, или на бесчисленных живых примерах. Литература такого супружества беспредельна, и как ни лгут большинство писателей, все же они не в состоянии скрыть печальнейшего расстройтва брака в нашем обществе. Если вы, читатель, – человек пожилой, переберите своих сверстников, которых когда-то знали детьми. Припомните их романы, их семейную жизнь. Как в большинстве случаев эта жизнь неудачна! Сколько горя, тревоги, обмана, безумия она дала вашим друзьям, сколько нравственной грязи – даже той, которую при всех стараниях не удастся скрыть от ближних...

V

Ясно, что обе основы современного брака – расчет и наслаждение – ложны. Ясно, что должен быть иной, более естественный, более чистый принцип супружества, который один обеспечивает его счастье. Мне кажется, принцип этот – не имущественный и не чувственный, а, как и все великие законы жизни, – нравственный. Не расчет, не половое наслаждение должны быть основой брака, а то самое, для чего вообще люди посланы в мир, – а они посланы для дружбы, для взаимного духовного удовлетворения, для *помощи* друг

другу. Единственным средством брака должна служить искренняя симпатия душ, единственной целью – взаимное *сотрудничество* в деле жизни.

Супружество должно быть самой интимной формой человеческой взаимопомощи, ее молекулой. Из всех возможных человеческих союзов брак – самый основной и может быть единственный – необходимый. В удивительной Книге, где передается легенда творения, только этот союз и указан. «Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Иные союзы – человеческие учреждения, это – Божье. Раз есть супружество, семья, – возможны все иные формы общества; последнее начинается не с человека, а с семьи, как вещество в химии начинается не с атома, а с молекулы. Не для наслаждений страсти, не для каких-либо материальных выгод создана *жена*, а исключительно для *помощи* своему мужу, помощи в великом повелении Божьем «возделывать и хранить» рай, в котором человек поселен (Быт. 2:15). Как ни понимайте это место, в нем раскрывается глубочайший смысл и разрешение загадки брака. Истинное супружество есть не что иное, как *сотрудничество* в выполнении всех целей – и животных, и духовных, из которых слагается рай жизни. Что именно такова задача истинного брака – доказательство дает и животный мир, и нравственное сознание.

В живой природе нет строго выраженных индивидуальностей; тут все существа составляют как бы продолжение друг друга. Каждый из нас продолжает свой род, то есть длинный, безначальный ряд предков, точно так же как мы будем продолжены в бесконечном ряду потомков. Но, кроме того, каждое живое существо составляет не *целое*, а всего лишь *половину* чего-то целого; так, ни самец, ни самка в отдельности не составляют одного животного, а образуют его вместе. Каждое существо не вполне закончено в своей личности и видит живое дополнение себя в особи другого пола. Этим природа как бы хотела навсегда разрушить сепаратизм индивидуального существования и связать особи органически, то есть сделать их органами друг друга. В самом деле, что такое женщина, как

не орган мужчины, разросшийся и отделившийся, живущий особо, но не имеющий никакого смысла, кроме специального служения мужскому организму? И что такое, наоборот, мужчина, как не подобный же специальный орган женщины? Все другие органы человека связаны не только физиологически, но и физически, тогда как производительные органы, подобно звеньям цепи, утратили физическую связь, но сохранили органическую. Звенья цепи входят друг в друга, и одно без другого не имеют смысла: они *отдельны*, но не могут быть *отделены*. Половое разъединение, может быть, есть только начало распада индивидуальности, и я не вижу ничего невероятного в том, что где-нибудь, на иных планетах могут быть существа *многополые*, то есть с расхождением не двух, а многих органов, где особи представляют не *половины*, как у нас, а трети, четверти, пятые части. Одна особь специализирует, например, в себе зрение, другая – слух, третья – обоняние и т. д. и, лишь соединяясь вместе, образуют целый организм. У нас все эти функции связаны одним скелетом, нервами, кожей, но мне кажется, это не безусловно необходимо. В мире надорганического, социального мы уже имеем такие сложные организмы: человеческие или животные общества. В них отдельные органы не соединены физически, они остаются особями, но роль их, безусловно, служебная и часто никакою иной быть не может. Важнейшая из растительных функций в человеке – продолжение жизни – как бы слишком тяжела для одной особи, и природа разлагает ее на две, специализируя одно явление в двух процессах. Это все равно как в известный момент брожения вина необходимо перелить его в свежий сосуд, где оно доканчивается. Мужской организм приготовляет *начало* жизни, для *развития же* ее нужен другой, особый организм. Вторая половина одного и того же явления не может быть совмещена с первой: развитие подавило бы зарождение, как, например, в закрытом котле чрезмерное давление пара останавливает его развитие. В жизни низших животных существуют чудесные превращения половой функции: там есть виды, где, например, самец живет в качестве паразита на теле самки, лишенный

всех органов, кроме полового; есть и такие, где самка убивает самца тотчас, как только роль его окончена; и такие, где самка проглатывает самца, и он оплодотворяет ее внутри, и такие (у сепий), где самец после первого же соития умирает. Бабочка, выпархивающая на свет из кокона на несколько часов для того только, чтобы положить яйца и умереть (она не ест, у нее нет органов питания), – что она такое, как не летающий по воздуху орган размножения какого-то существа? У пчел и ос половая функция составляет повинность известного сословия, которое ничем иным и не занимается, кроме продолжения рода, тогда как остальное население ведет рабочую жизнь, совершенно свободное от половой обязанности.

VI

Супружество в животном мире есть, как видите, не что иное, как *сотрудничество*, то самое, какое существует между органами одного и того же тела. *Общее тело* в данном случае будет пара, входящая как орган в еще более великое тело – *род*. Род есть некоторое безначальное, неоформленное существо, не слитое вместе, существо отвлеченное и вместе реальное. Отвлеченное потому, что существуют в каждый момент лишь личности, представители рода, невидимые же его продолжения в прошлом и будущем только мыслимы. Род есть как бы бесконечное существо с рассеянными звеньями, вроде гигантской змеи, непрерывно распадающейся и растущей. Во всем животном царстве, *кроме человека*, личность является простым органом этого бесконечного существа, органом продолжения его, и никакой иной роли, по-видимому, не имеет. Поглядите на бесконечную смену поколений в каждом роде, вдумайтесь в призрачность личного существования какого-нибудь насекомого или инфузории. Личная жизнь их по продолжительности до того мгновенна, что почти не существует: живет лишь род. Мы не в состоянии были бы даже уловить ничего индивидуального, если бы оно не заключалось в роде, подобно тому как в неорганическом мире мы не замечали бы фактов, если бы

они не сливались в явления. В органической природе живые существа *бывают*, но непрерывно *живут* лишь породы их. В сущности мир населен не особями, а как бы бесплотными, огромными, бесконечными существами – породами. Во всем подчеловеческом мире личность бессмысленна вне рода; личность выполняет работу рода, а сама по себе ничто.

Человек, поскольку он животное, подчиняется этому закону сотрудничества. Он – как тело – есть тоже орган своей породы и выполняет ненужную ему, непостижимую для него роль. Он звено беспредельной, до него еще не разорванной цепи рода и живет лишь для того, чтобы какая-то сила могла создать из него следующее звено. Иной *бесконечной* задачи наше тело не имеет. Но человеку дана власть оборвать эту цепь, закончить собою, как последним членом, великий процесс телесной жизни. В человеке, кроме таинственной для нас силы рода, возросло и созревает иное существо, которое мы ощущаем как разум. Для его питания нужно то же тело, которое необходимо и для продолжения рода. Возникает борьба двух начал, и если восторжествует разум, – тело отдается ему всецело, оно освобождается от бремени подвигать дальше телесную жизнь. Половое сотрудничество на этой высоте духа исчезает, оно не нужно. Супружество плотское для существ, вся жизнь которых в разуме, невозможно. Безусловное целомудрие, безбрачие не есть аскетический *идеал*; идеал – разум, а исчезновение половой жизни само является, как естественное следствие вполне духовной жизни, и есть простой показатель достижения этой высоты.

VII

Чем же должен быть человек, чтобы быть наилучшим сотрудником один другого?

Потребность деторождения, неодолимая для массы людей, требует, чтобы помогающее лицо было другого пола и чтобы оно обладало физическими, необходимыми для этой цели данными. Как я уже говорил ранее, для этой коренной

помощи лиц разного пола – продолжения рода – не требуется плотской любви; половая страсть скорее опоганивает, нежели освящает этот акт: именно она влечет к излишествам и извращениям и, становясь из средства целью, – заслоняет высокую цель брака. Влюбленные всего менее думают о детях и, слишком занятые друг другом, даже забывают иногда о них – как Анна Каренина, увлеченная Вронским. Постоянно слышишь: такая-то пожилая дама бросила детей и убежала к любовнику. Такие-то влюбленные, породив дитя, отдали его на воспитание. Такой-то любовник отказался от плода своей любви. Такая-то любовница не хочет иметь детей и пр., и пр. Ясно, что половая страсть не только не обеспечивает судьбы рода, но расстраивает эту судьбу, иногда губит ее. Дети всего счастливее в той семье, где отец и мать любят друг друга чистою, дружескою любовью, но не влюблены один в другого. Половая влюбленность – по природе своей – исключает другие привязанности, тогда как дружеской любви всегда хватает на всех: достанет ее у матери и на мужа, и на детей. Если родители не влюблены – дети свободны от пошлых сцен ревности, отчаяния, дикого восторга, бешеного раздражения и прочих аксессуаров половой страсти. Дети созерцают с колыбели родителей спокойных, ровных, нежных, дружных, любящих без безумия, поддерживающих друг друга с неизменной верностью и преданностью. Созерцание таких отношений воспитывает ребенка, населяет его память примерами благородными, тогда как быть свидетелями: жизни влюбленных родителей (или связанных только половым актом) – вещь не только тягостная, но и развращающая. Слишком раздраженные любовной страстью родители, вероятно, передают свою похотливость и детям (психозы передаются при зачатии), и сверх того, заражают ею подрастающих детей. Таинствен процесс образования молодой души – и именно жизнь родителей служит образцом для бессознательного подражания. Если иметь в виду этот столь неизмеримо важный интерес детей, то лучшею помощницею для отца явится та мать, которая будет связана с ним любовью дружеской – по возможности бесстрастной и бескорыст-

ной. Любовная страсть, может быть, потому и проходит после свадьбы, что она не нужна для рождения и воспитания детей; она атрофируется, как все излишнее.

VIII

Кроме физиологического сотрудничества, оба пола обречены служить друг другу и психически. Мужчина и женщина – два крайних предела, между которыми колеблется человеческий тип. Как маятник, уклонившийся в сторону, неудержимо влечется обратно, так человеческий тип в *мужчине* тяготеет к женственному его выражению, в *женщине* – к мужскому. Мужчине и женщине необходимы не только тела друг друга, но и *особенные* души их, и нравственное супружество есть соединение не только тел, но и душ. В нравственном браке является непостижимое взаимодействие, обмен каких-то важных влияний. Любящие мужчина и женщина видят друг в друге как бы воплощение мечты своей о *человеке*, как бы осуществившийся идеал своей породы. Любовь невинная, я думаю, оттого так и пленительна, что она есть *видение* волшебное; вы видите воочию как бы дух жизни, выступивший из тьмы, своего гения, обыкновенно невидимого. Не то чтобы этот самый человек *был* таким гением, но он *напомнил* вам его до иллюзии. В сумерках иной раз пятно на стене вдруг покажется человеческим лицом, ярким, почти живым, а подойдете ближе и вы увидите простое пятно – так точно и влюбленный видит в любимом не то, что он есть, а то, что создает его воображение по нескольким штрихам. Иллюзия и здесь рассеивается от приближения, но она тем дольше держится, чем более любимый человек действительно подходит к представшему образу. Вызывать эту иллюзию, напоминать собою нечто божественное, неизреченное, когда-то виденное в иных мирах, – задача духовного сотрудничества обоих полов. Задача важная, столь же органическая, как и телесное общение. Для людей же высокого духа она единственно нужная. Посмотрите на супругов, живущих «душа в душу». Действительно, ведь их души переплелись своими свойствами,

срослись вместе. Жена не спрашивает мужа и уже знает, что он думает, даже не видя его лица, по каким-то неуловимым признакам. Муж отлично чувствует, чем волнуется жена. Начинают говорить и постоянно сталкиваются на одной и той же мысли, на том же выражении. Одному что-нибудь захочется, и другой хочет. От долгого сожительства такие супруги делаются нравственно как бы близнецами, из которых один совершенно так же отвечает на все впечатления, как и другой. Устанавливается как бы общая душа – единство, которого никогда не достигает животная, плотская «любовь». Как бы ни стремились люди к слиянию тел, все же выйдет только прикосновение их, – а души соединяются действительно в нечто одно, почти неразделимое. Такое соединение душ *удваивает* личность человека, дает математическую устойчивость двух точек опоры вместо одной, дает определенность как бы некоей линии в пространстве. В достижении этой определенности состоит цель супружеского взаиморазвития. И он, и она чувствуют себя *человеком* (а не мужчиной и женщиной) не ранее, чем насытились противоположными влияниями друг друга. Вы видите, что союз супружеский – не совсем то же, что дружба. Возможно (и необходимо) единение людей и одного пола, но оно только усиливает личность, но не *дополняет*, и мужчина среди мужчин всегда остается только мужчиной, развивая лишь свое мужское начало, – как и женщина среди женщин, для образования же *человека* нужно взаимодействие *разных* начал. Даже помимо половой связи супружество нужно как некий симбиоз, ничем незаменимое органическое сожительство душ.

В психическом сожительстве особенно важна главная цель здешней жизни – нравственное развитие. Поэтому помощник требуется возможно большего душевного благородства. Супруги друг для друга – ближайшие представители человека и влияют один на другого своею личностью, внушением, иногда невидимым, неуследимым. Необходимо, чтобы это внушение было возвышающее. В помощники себе нужно выбирать человека, которому хотел бы нравственно подражать: мужчина всегда нуждается в подражании – несравненной нежности

женской, кротости и доброте; женщина – в подражании мужественности и серьезности мужчины, более твердому сознанию его. Брак есть тогда лишь нравственный союз, когда каждый видит в своей человеческой половине нечто нравственно ему недостающее, нечто для себя идеальное. Только тогда, при совместной жизни, супруги, как бы прирастая корнями своего сердца друг к другу, питаются из них нужными для их роста влияниями. Один пересоздает другого по образу своему и подобию: необходимо, чтобы этот «образ» и «подобие» были достаточно высокого типа. Вот это *нравственное* сотрудничество – первая из основных целей брака.

Идеал отношений мужчины и женщины – любовь братская. Когда Христа спросили, чьей женой будет в Царствии Небесном та, которая здесь была по очереди женой нескольких братьев, Учитель отвечал, что в Царствии Божиим не женятся, не выходят замуж, а живут, как ангелы. Если Царствие Божие есть тот уклад жизни, к которому нравственные люди должны стремиться, то ясно, что здесь, на земле, сегодня, сейчас мы должны осуществлять указанную чистоту отношений, не откладывая в будущее, которого мы *никогда* не достигнем, если не будем достигать возможного совершенства *теперь*. Брат и сестра – пусть подсмеиваются над этим нечистые люди – самый ясный, невинный, прелестный союз, какой возможен между людьми разного пола. Из этого идеала нельзя уступить ни йоты. Хоть на мгновение допустить «немножко страсти» будет изменой Богу. Добровольно, сознательно понизить идеал – это именно та *хула* на Духа святого, грех которой не простится. В идеале полное, безусловное целомудрие – и это до такой степени утверждено тысячелетиями нравственного развития людей, что странно оспаривать столь основную истину. Но жизнь, вы скажете, отступает от идеала; не всякий и не всегда может «вместить». Пусть так, но всякий обязан помнить, что это невмещение – грех, что оно – слабость, что *истинное* – выше действительного. И нравственное супружество должно быть взаимной помощью в достижении этой высоты, в возможном ограничении иных хотений, кроме божественных. Пусть, по

слабости, будут супруги, но пусть они стремятся быть братом и сестрой, и это стремление вдвоем – одно из самых прекрасных усилий в нравственном подвиге жизни...

IX

Если брак есть *органическое* сотрудничество тел и душ, и сотрудничество душ по преимуществу, то ясно, что истинный брак нерасторжим. Органически слитое не может быть разделено без гибели или тяжкого ущерба обеих половин. Величайший грех – вступать в брак опрометчиво, для наслаждения тел или иных расчетов, без твердой уверенности, что возникает органическая, нерасторжимая связь. Надо заключать телесный брак (если нельзя обойтись без него) не иначе как убедившись, что само собою, без особых стараний, уже возникло нравственное супружество, что начался уже жизнотворный обмен влияний, что души уже сблизилась и срослись. Такой *нравственный* брак возникает сам собою, умышленно заключать его нельзя. Но раз он явился, он навеки нерасторжим, и даже вопроса о *разводе* не могло бы возникнуть, если бы все браки были истинными. Какой развод возможен между правою и левою рукою, между одним вашим глазом и другим? Никому и в голову не пришла бы самая мысль об измене. Если же современные браки разрываются, как гнилая ветошь, то потому только, что они в большинстве случаев суть вовсе не браки. Если *изменою* насквозь проедено современное супружество, то потому только, что оно вовсе и не есть супружество. С упадком религиозного отношения человека к человеку, с тех пор как позабыт священный смысл брака, – осталось чаще всего лишь *слово*, древний термин, покрывающий совсем иное содержание. Нынешний «брак», устраиваемый на либеральных (будто бы) началах, потому и расторгим, что в самую основу его кладется начало расторжения – половая страсть или расчет. Странно было бы дому не развалиться, когда вместо цемента берут простой песок. Половая любовь выветривается в ближайшие месяцы супружества, расчет дает трещины еще

до свадьбы. Странно было бы подобному супружеству стоять крепко! Оно и падает, и раздавливает обоих «супругов» или увечит их, губя и ни в чем не повинных детей при этом. Ни физиологическому, ни еще более важному – психическому сотрудничеству невозможно установиться на этих двух началах, на половом наслаждении и расчете, – и *органической* связи не возникает вовсе. Расторжим ли современный брак? Смешной вопрос: все мы знаем, до какой степени он расторжим. Трудно найти интеллигентное семейство, где не было бы в нем самом или в родне той или иной формы развода. Доходит дело до того, что иные матери, готовя дочерей замуж, еще до свадьбы откладывают «две тысячи на развод». Особая статья приданого! Я как-то встретил очень молоденькую барышню, всего 16 лет, красавицу, уже собирающуюся выйти замуж. – «Подумайте, – говорю ей, – серьезно! Ведь брак – не шутка, ведь отступить уж поздно будет». – «А развод?» – заметила барышня до того просто, что мои увещания мне самому показались наивными... Формальный развод, впрочем, еще не так част у нас. Зато как заурядны супружеские измены, разъезды или сожития, напоминающие кошку с собакой! Если посчитать кругом все эти виды разрыва, то расторжимость браков покажется правилом, а верность их – исключением.

Могучую поддержку той анархии, которая царит теперь в супружестве, оказали модные литературные теории, считаемые – по едкой иронии судьбы – «либеральными». В древнем культе, как известно, брак признавался нерасторжимым, супружеская измена считалась прелюбодеянием, грехом столь же тяжким, как воровство и убийство. Пусть, подобно воровству и убийству, во все времена случалась и супружеская измена, но в старину она была у нас большою редкостью, по крайней мере в отстоявшихся культурных слоях – народе, духовенстве, купечестве. Есть счастливые страны, где и теперь *почти не бывает* убийств и воровства, страны с ничтожною преступностью. Несомненно, есть или возможны страны, где *почти не бывает* супружеской измены. Строгий религиозный патриархальный быт, чистота нравов, укоренившееся в обществе презрение к

неверности – все это сдерживает оба пола в границах долга. И что же? Люди живут, и живут недурно, без супружеских трагедий, и выводят сильные, крепкие поколения. Но доказанная возможность – и даже преимущества – такого быта не помещали возникнуть постепенно теориям, где нерасторжимость брака признается злом, а измена не только допускается, но и рекомендуется. Вспомните нигилистическую беллетристику шестидесятых годов. Авторы не только мелкие, но и крупные – вроде Чернышевского – легко разрубали Гордиев узел: есть половая любовь – значит, есть брак; нет любви – нет и брака. Никакого «долга» нравственного, кроме того, чтобы «не мешать счастью», нет. Под «счастьем» разумелось обладание телом любимого человека.

Х

«Честность» в деле брака заключалась в том, что, если ваша жена полюбила вашего приятеля, вы обязаны были уступить ему честь и место, нимало не прекословя, а чуть ли даже не с оттенком почтительности. У одних беллетристов муж целует в последний раз неверную жену и исчезает куда-нибудь, в Америку что ли, у других муж доводит великодушные до того, что соединяет руки своей жены и любовника, у третьих муж с первого дня брака твердит жене, что она во всякую минуту свободна, и наконец, добившись ее измены, чуть не с торжеством выдает ей отдельный вид или развод и даже снабжает деньгами, если любовник жены – какой-нибудь интеллигентный пролетарий. На эту тему со всевозможными вариациями написано множество плохих романов и повестей, которые читались (а вероятно, и до сих пор кое-где читаются) с восхищением. – Свобода брака! Свобода любви! Вот лозунг, наиболее понятный из всех для распущенных дам и кавалеров. Положим, они и до нигилизма пользовались этой свободой, но прежде она считалась мерзостью, а тут вдруг ее возвели в достоинство, в добродетель! Немудрено, что десятки и сотни тысяч дам и мужчин – несколько поколений подряд – под бла-

гословением этой доктрины пускались во все тяжкие и меняли свои привязанности чуть ли не одновременно с бельем.

Материалисты до сих пор не кривят душой: они прямо утверждают, что никакой супружеской верности нет, что ее и не должно быть «в интересах породы». Подобно тому как идеалисты ссылаются на Христа, материалисты на своего мессию – Дарвина. Как прежде указывали на мир святых, так теперь – на животный мир. «Среди животных не замечается *института* супружеской верности», собаки меняют своих жен, – следовательно... поведение собак, лягушек, насекомых считается решающим в этом вопросе. Некоторые добродушные ученые, которые хотели бы верить в Бога и в старый, поэтический брак, пробуют возражать: «Позвольте! И среди животных есть однодомные, единобрачные! Вид такой-то... Семейство такое-то... Стало быть...» Наивные идеалисты крайне рады, что вопрос о супружестве «среди животных» еще не ясен, и есть надежда, что закон брака для людей будет взят и не от собаки. Надежда, однако, плохая. В «новом Евангелии», у Дарвина, ясно сказано, что кроме борьбы за существование совершенствует людей еще *половой подбор*, который состоит в том, что самые сильные самцы отбивают самок у слабых, а самки отдаются самым здоровым и красивым самцам. «Стало быть... – с грустью вздыхает ученый идеалист, – стало быть, они правы... Моя Лида права, сбежав к своему Дмитрию, бросив меня, старика. Половой подбор... собаки... кошки...».

На эту тему разыгрываются тяжелые трагедии во многих интеллигентных семьях, и люди бессовестные или ограниченные буквально ссылаются на Дарвина. *Нравственная* оценка супружества сменяется физиологической. С тех пор как наше общество позабыло о мире существ совершенных, о мире праведников, авторитетом для нас стали животные. Для многих покажется гадким этот авторитет, но для большинства, для толпы он неотразим. Как «борьба за существование», так и «половой подбор» явились истинным откровением для чувственных и страстных натур с расшатанными нервами, с наследственной похотливостью. Они грешили,

конечно, и до этой теории, но должны были признавать грех грехом, стесняться, прятаться от людей, угрызаться совестью, у кого она была. Теперь же – какой комфорт! Всякая низость, всякое распутство не только очищены, но возведены в долг, почти в подвиг.

– Я вас больше не люблю, я полюбила Валерия. Он моложе, сильнее, красивее вас, я хочу иметь от него детей.

– А с этими-то детьми как же? – возражает муж.

– С этими – как вам угодно, вы – отец.

– Но это низость, – говорит муж.

– Фу, какой вы отсталый! – возражает жена. – Неужели вы ничего не слышали о половом подборе? Закон природы, друг мой, – не могу же я нарушать закон природы? Есть ли что священнее законов природы?..

– А закон Христа...

– Фи, – опять вы с архаической моралью...

Разговор кончается, конечно, тем, что передовая дама бежит к своему Валерию, требует у мужа развода («И если ты благороден, то, конечно, возьмешь вину на себя», – пишет она), – и затем... года через три муж узнает, что жена уже в объятиях Аркадия, затем идут Вольдемар, Юрий... Сорвавшаяся с цепи супружества дама часто буквально бросается на прохожих кавалеров и совершает «половой подбор» с такою поспешностью, точно «великому закону» Дарвина грозит отмена. Не думайте, что эти дамы не искренни, что они в душе признают свое поведение гадким, но стараются обелить себя теорией. Конечно, есть и не искренние – кто поумнее, которые в душе смотрят на закон Дарвина, как на фиговый лист, не более. Но есть и искренние, нравственно ограниченные натуры, которые всерьез верят в половой подбор, в право и даже долг измены.

XI

Материалистический нигилизм, как низкий уровень души, есть явление вечное, он и теперь держится, только под другой кличкой. Нигилисты новейшей формации на словах

не отрицают Бога и даже любят подтверждать свои софизмы текстами из Священного Писания. Они очень ловко приспособили свое учение о свободе любви к современным обстоятельствам. В то время как прежние, более честные нигилисты прямо говорили, как умирающий Базаров Одинцовой: «Пользуйтесь, пока время», – нынешние подыскивают этой разнузданности мистическое начало. «Что такое любовь? – восклицают они. – Ведь это и есть голос Божий. Раз я разлюбил свою жену и полюбил другую, я имею не только право, но и *обязанность* бросить жену, хотя бы и с кучею прижитых детей. Полюбил – значит почувствовал голос Бога в себе, который ведет меня к другой женщине. Разлюблю эту, приглянется третья – опять же это будет голос Бога, и я нравственно буду обязан следовать ему. Грех противиться воле Божией – и я свяжусь с третьей. И так далее, и так далее. Это, видите ли, вовсе не моя воля, не мой выбор: сам Бог меня соединяет с новыми женщинами, и никто не смей вмешиваться в это дело: “что Бог сочел, человек да не разлучает”».

Этот остроумный софизм высказывают с величайшею серьезностью все современные Ловеласы, а нервные дамы слушают эту теорию с восторгом, как некое новое откровение. «Ах, так вот оно что! Это, оказывается, не грех, а совсем напротив! Это, вы говорите, даже нравственный долг?.. Ах, как это хорошо!» И нервные дамы спешат, конечно, провести эту чудную теорию в жизнь, – нельзя же противиться «воле Божией».

Я не стану, конечно, оспаривать эту теорию. Замечу лишь одно: хорошо еще, что она вдохновляет только дамских любезников и нервных женщин, но что будет, если эту теорию подслушают, например, воры и убийцы? Она для них ведь сущий клад. В самом деле, если желание «жены ближнего твоего», запрещенное Христовою заповедью, счесть, наоборот, за голос Бога, то почему не счесть за тот же голос желание «дома», «осла», «вола» и вообще всего «елика суть» ближнего твоего? И вор с тем же апломбом скажет: «Почувствовал желание иметь ваш кошелек. Считаю это не иначе как за указание свыше. Не могу противиться воле Бога, подавайте ваш кошелек!»

И убийца скажет: «Пожелал убить – значит должен убить: кто мне подсказал это желание, если не сам Господь?»

Вообще, если *желание* свое счастье за *закон*, то можно пойти далеко. И мудрецы этой превосходной теории и в самом деле идут далеко: теряют даже счет небесным велениям – в кругу влюбленных дам. «Моя воля – воля Божья» – в этом и есть существо нигилизма, отрицающего все на свете, кроме собственного хотения. Вспомните Раскольникова, Кириллова из «Бесов», вспомните современных ницшеанцев и декадентов. Декаденты, сами не подозревая, повторили нигилистическую мораль:

«Если хочешь – иди, согреши», –

категорически разрешает г. Мережковский*.

ХП

Один из модных аргументов, на который опираются порочные современные женщины, дает так называемый «женский вопрос». «Женщина равноправна мужчине – и баста! Почему мужчины разрешают себе любить, кого хотят, а мы этого не можем? Почему они волочатся, имеют содержанок, ходят в дома терпимости, любезничают с горничными, а мы должны быть верными им? Вздор! Мы имеем те же права, и было бы унижением от них отказываться!» На основании этого иная *épancîrée* заводит себе – даже без особой нужды – любовника или сходится с лакеем. В одном романе 70-х годов автор-нигилист вывел такую героиню. Девушка, вдохновившись «правами женщин», отправилась на улицу. Идет здоровый студент в косоворотке, видимо, радикал и честных убеждений. «Вы мне нравитесь, – объявляет ему девушка, – пойдемте ко мне». На другое утро, проснувшись около студента, девушка возвела

* Строка из стихотворения Д. С. Мережковского «Смех» («Эту запоешь в сердце своем напиши...») (1894, г. Палланца, бухта Лаго-Маджоре, Италия)⁶⁸ – В. Т.

очи к портретам Писарева и Добролюбова, висевшим на стене, и воскликнула: «Учители! Довольны ли вы мною?»

Я лично точь-в-точь таких девиц не встречал, но знал образованных, приличных барышень, которые серьезно считали хождение мужчин в публичные дома какою-то *пре-рогатиной* сильного пола, оскорбляющею равноправность. Сами притоны эти их не возмущали или, по крайней мере, не вызывали протестов, а оскорбляло, то, что «мужчины могут ходить, куда им угодно, а женщины не могут». Напрасно вы стали бы доказывать таким девицам, что все *хорошие* места одинаково открыты и для женщин – церкви, библиотеки, театры и т. п., – это только возбуждает гнев их. Знал я когда-то барышню, еще гимназистку, хорошенькую, как херувим, которая обрезала свою пышную косу и, переодевшись в платье брата, ходила с товарищами его по трактирам и притонам. Чем все это кончилось – не спрашивайте... Вдумайтесь в жизненный роман одного, другого, третьего из ваших знакомых (если себя казнить больно) – какая беспорядочная и неустроенная семья, если есть она. А часто и нет вовсе ее, или сразу три семьи. Поколение 60–70-х годов донельзя расстроено в семейном своем быту, и мудрено ли, что юноши, учащаяся молодежь, выходят из подобных семей какими-то дикарями в сравнении с прежней одушевленной молодежью. Та выходила из семей, религиозно сплоченных, строгих, с понятиями о долге, – теперь же выходит из омута всяких измен и драм, насыщенная мыслью, что «все позволено»...

Мужчинам, конечно, нечего прибегать к дамским аргументам для оправдания супружеской измены. У них есть свои, подобные же. – «Почему я должен быть верен жене? Это рабство, крепостное право! Я человек свободный. Было бы подлостью стеснять себя в священнейшем праве человека – распорядиться собою, как он хочет». На основании этого муж думает, что поступает *по праву*, обманывая жену, изменяя ей, и ее протесты считает покушением на свои права. «Права» в наш век – один из пунктов всеобщего нравственного помешательства; все кричат о правах, подразумевая под ними свои жела-

ния, все хотят, чтобы эти желания были сочтены священными. «Я хочу» сменило древнее понятие «я обязан», которое совсем почти вышло из употребления, и раз нет солдата с палкой, который бы указал, что «запрещается», – современный человек сам не в состоянии разобраться в этом вопросе. Он идет к чужой жене с таким же легким сердцем, как к своей, – пока не увидит направленного на него дула револьвера. – А-а, – Значит, нельзя! – сконфуженно решает он и поворачивает спину.

ХIII

Брак расторгимый, супружество с допущением измены есть не высшая, а низшая форма полового союза. Такой брак ничем не отличается от проституции, кроме лицемерия, которым замаскирован. Ведь что такое проституция по существу своему? Это такое половое соединение, где допущена измена. Если бы «падшая женщина» всю жизнь была верна одному мужчине, то ведь ее нельзя было бы назвать проституткой. Она только потому презренна, что изменяет беспрерывно и сходится с мужчиной не как *помощница* ему, по слову Божию, а как предмет полового наслажденья. В основе мимолетного союза с проституткой лежит *сладострастие* (с его стороны) и *расчет* – с ее стороны. Но половая страсть и расчет служат, как сказано, основами и большинства браков, так что чем же они будут отличаться от проституции, если допустить еще и измену? Ничем. Дело не в числе измен, не в характере расчета и половой страсти: раз эти элементы *допущены* – брака уже нет, есть проституция. На проституцию следует смотреть, как на древнюю, еще доязыческую форму брака, оставшуюся доселе для тех слоев, где держатся еще дикие, доязыческие инстинкты. Наряду с облагороженными, нравственными супружествами существует и этот безнравственный брак, господство которого гораздо шире, чем принято думать. Нельзя называть проституцией только регламентированную полицией продажу женского тела. Даже этот класс – профессиональный – составляет по многочисленности целое сословие – сотни тысяч душ

в каждой стране, а если прибавить и мужчин, пользующихся проституцией, – то это сословие вырастет до миллионов. Но оно еще более вырастет, если прибавить те бесчисленные связи в обществе, которые, как и проституция, основаны на расчете и половой страсти и где допущена измена. В сущности, не проституция «исключение», а скорее – чистый, христианский брак, – до такой степени удачные случаи его редки.

К проституции принято относиться с притворным состраданием, как к чему-то униженному и оскорбленному. Принято ужасаться участи проституток, как самой будто бы горькой на свете. Действительно, с нравственной точки зрения, судьба этих женщин ужасна, но забавно лицемерие, с каким мы страдаем этим несчастным. Я заметил, что, когда хотят изобразить проститутку на краю бедствий, выводят обыкновенно голодную девчонку, которая пристаёт к прохожим ради куска хлеба. В ненастный зимний вечер худенькое, посинелое от холода лицо, молящие глаза действительно вызывают жалость. Но я не понимаю, что имеет общего проституция с голодом и холодом? В каждой профессии не менее голодных, а во многих – гораздо более. На той же улице, где голодная девчонка ловит «гостя», к вам – если бы разрешила полиция – потянулись бы сотни и тысячи окоченевших рабочих рук за тою же милостыней. Очевидно, положение проституток вовсе не так печально, раз приходится выдвигать прежде всего голод и холод. Очевидно, иных ужасов мы не замечаем в их положении, или они не бросаются в глаза. В действительности *материальные* беды проституток вовсе не так велики. Голод и холод между ними исключение; общее правило – роскошь, сравнительная, конечно. Беднее всего живут те женщины, которые не совсем отдались проституции – швеи, папиросницы и т. п. Как побочный промысел, проституция не выгодна, но если женщина, заглушив остатки совести, решается сделаться профессиональной «жрицей любви», – будьте, уверены, что масса мужчин устроит ей хорошую материальную обстановку. То помещение, то обилие и роскошь пищи, праздность, туалеты, развлечения, которые

имеют проститутки, составляют недоступную мечту большинства женщин на земле. Самая дешевая уличная девица одета, как барыня, у нее есть золотые кольца, серьги, браслеты. Она пьет кофе со сливками, ест котлеты, пьет пиво и вино. Иной матери семейства нужно работать две-три недели, чтобы получить столько, сколько девица получит за полчаса – без всякой работы. Девица средней рыночной цены живет материально гораздо богаче иной курсистки и гувернантки, – и даже горничная ее живет лучше, чем иная народная учительница. Проститутки же высокой «марки», как известно, живут роскошнее иных принцесс, имеют свои отели, рысаков, они осыпаны бриллиантами и под старость в классической стране таких кокоток, во Франции, они делаются капиталистками и помещицами, перед которыми снимают шапку тысячи народа. А сколько кокоток выходят замуж за титулованных, блестящих кавалеров! О, что касается карьеры в проституции, она ничуть не хуже, чем в большинстве честных ремесел, и несравненно легче очень многих. Позор общественный? Полноте лицемерить! Ведь мужчины только при своих женах и матерях делают вид, что презирают эти «подлые создания», – на деле же эти «создания» видят у себя в салонах, у своих ног совершенно то же общество, что и наши жены, а иногда и лучшее. Сельская учительница, бедная чиновница, жена священника – они в жизнь свою не встретят князя или графа, а если встретят, то в таком недоступном отдалении, что смешно и мечтать о какой-нибудь близости. А «падшие создания» видят, проводят вечера, танцуют и любезничают с этими господами, заключают их в свои супружеские объятия хотя бы на одну или несколько ночей. Честной высокообразованной труженице иной писатель или ученый не протянет и пальца руки (нет повода), а «падшие создания», случается, видят и эти известности у своих ног. А молодежь – студенты, офицеры, начинающие художники и пр.? Ведь страшно сказать: лучшие соки своей ранней весны, самую первую свежесть юности молодежь эта дарит не своим невестам, а «падшим созданиям»; именно им достается очарование красоты и рас-

пускающей силы, самая жгучая страсть мужчин; для своих законных жен мужчины уже ослабленные, полинявшие приносят, так сказать, объедки, оставшиеся от роскошного пира «падших созданий». *Tarde venientibus – ossa**. Скажите, если вы язычник, не лицемеря: в чем особенное страдание проституток? Чем они несчастнее законных жен и матерей? Они, как древние гетеры, гораздо счастливее их. Пусть гетер – как образованных – уважали больше, чем теперешних кокоток, но последние и теперь едва ли в общем менее уважаемы, чем многие «честные» женщины в иных кругах. О почти каждой «честной» женщине слышишь за глаза столько грязи и часто столь вероподобной, что начинаешь большинство женщин считать нравственными... *malgré elles***.

XIV

Весь позор проституции должны бы, конечно, разделять те мужчины, которые ее поддерживают, но они этого позора не несут – доказательство лицемерия, с каким мы относимся к этому вопросу. Если считают проституткой женщину, «продающую» свои ласки, то следует считать проститутцем и мужчину, покупающего эти ласки. Почему продавать в этом случае безнравственнее, чем покупать? Ведь если я подкупаю убийцу, то считаюсь таким же убийцей, как и он, продавший мне себя. В обоих случаях грех не в купле и продаже, а в совершении акта, который сам по себе позорен. Проститутка, не извлекая выгоды из своего соединения со случайным мужчиной, как и этот последний, не заплативший ничего, все-таки остаются преступниками друг перед другом и перед Богом. Даже если бы соединение их произошло по их влечению – от этого дело не меняется: влечение к греху не освящает его нисколько. Все это была бы проституция, так как тут в принципе допущено, что влечение к одной особе может смениться таким же влечением к другой, третьей и т. д.

* Кто поздно приходит, тому кости (лат.). – В. Т.

** Вопреки им самим (фр.). – В. Т.

Совершенно то же и в обществе. Как бы ни была таинственно и пристойно обставлена половая связь, как бы ни любили пылко мужчина и женщина, но если они допускают возможность разрыва и новой связи, – их союз есть проституция, безусловно, ничем не отличающаяся от самого зловонного разврата. Половая связь только тогда делается *браком*, когда она признается *вечной*, когда соединение тел введено в границы неодолимого минимума, то есть когда грех стеснен до пределов всей возможности, какая доступна человеку. В таком браке люди, немощные и слабые, делают все-таки попытку отстоять свою чистоту, и уж если не в силах отказаться от физической связи, то ограничивают ее самими собой. И это усилие к совершенству оценивается в Вечном Разуме как заслуга. Обручение друг другу, обречение их навеки придает священный характер связи: в нее входит божеский элемент вечности. Напротив, когда связи меняются, каждая из них основана на эфемерном начале *случая*, в каждую входит элемент безумный, по природе своей безнравственный. Случайность безнравственна, как отрицание разума в мире и ответственной души человеческой. Возьмите какой хотите роман, каких хотите чистых людей, но если связь и начинается изменой и оканчивается ею – может ли она давать удовлетворение именно чистым-то людям?

От одной дамы, считающей себя религиозной, я слышал такое замечание: «Ну что ж такое, что такая-то бросила мужа и живет с любовником? Раз они любят друг друга, значит, она нашла своего истинного мужа, значит, их Бог соединил». Значит ли? – Позволю я себе усомниться. Если во взаимной половой любви любящих соединяет сам Бог, то спрашивается, почему же эта любовь столь преходяща? Воля Божия тем отличается от человеческой, что она *вечна*, – таковы законы природы и законы нравственные. Они одни и те же на все времена и сроки. И почему половая любовь бывает так часто только с одной стороны? Если бы эта любовь выражала волю Божью, она всегда была бы взаимною и не была бы иногда столь безумною, ревнивою, злобною, жадною, лживою, вероломною.

Бог не устраивает наших земных дел, не принуждает ни к чему; человеку дан разум, чтобы проникать в вечные законы, и предоставлена свобода подчиняться им добровольно. Наши человеческие отношения устанавливаются счастливо, если мы сами хороши, и счастье дается в меру доброты нашей. Можно ли приписывать Богу устройство романа каждой дамы? Неужели Бог подсказал ей изменить мужу, хотя бы пожилому и нелюбимому? То, что она живет с любовником *пока* благополучно, уже несколько лет, – ни она ему, ни он ей не изменяет (хотя кто знает тайны людей, уже раз изменивших!), – это не обеспечивает им взаимной верности до гроба. Предположим даже, что эти любовники – по тем или иным причинам – не изменяли друг другу до конца, – все же связь их еще не будет истинным супружеством. Мы часто видим, что какой-нибудь крупный вор, похитив изрядный куш, всю остальную жизнь ведет безмятежно, без всякого видимого наказания свыше. Но благополучный результат воровства нельзя же приписывать тому, что сам Бог благословил его совершить (как именно и думают воры, благодаря Господа за свои успехи). Возмездие когда-нибудь, здесь или в иной жизни, непременно настигнет преступника – в этом сущность веры в волю Божию как *закон* жизни. И вор, и изменивший супруг иногда могут выиграть в наслаждении или ином расчете, но всегда проигрывают в высшем интересе – нравственной чистоте. Ничто не в силах изгладить из истории душ их гадкого поступка; этот поступок перейдет с ними в вечность, как несмываемое пятно. И кто знает, какими горькими слезами пытается омыть себя в ином мире запятнанная здесь душа?

Жена, полюбившая другого, должна оставаться верною мужу – таково древнее нравственное правило. Любовь не создает супружества и не разрывает его. Если жена полюбила другого любовью дружеской, то тут нет измены мужу: любить святой любовью мы должны всех. Измена начинается лишь тогда, когда к чистой любви примешивается полая страсть. Пока одержимый этой страстью человек борется с нею и не пользуется случаем, чтобы изменить, – измены нет.

Но если он не вступает в новую связь только по отсутствию взаимности или по другим препятствиям, если он оправдывает воздержание – он изменник, совершенно такой же, как если бы соединение с предметом любви произошло на самом деле. Изменник и человеку, и Богу.

XV

Один из лозунгов лжелиберального движения – свобода брака, сведение его к гражданской сделке, которая может быть нарушена *ad libitum** тою или другою стороною. Развод облекается этим до того, что всем доступен, и местами разводы стали почти столь же обычны, как и сам брак. В некоторых государствах Германии, в некоторых штатах Северной Америки брак сделался почти срочною сделкой: сходятся на три-четыре года и расходятся, чтобы попытать нового счастья. Такая «свобода» отношений служит предметом самой горячей зависти католических (где нет гражданского брака) и многих православных дам и кавалеров; всюду идет агитация в пользу введения этой «свободы».

Мне кажется, что это очень грустное явление, опасное для самых жизненных интересов общества. Я не стою, конечно, за насильственный брак: насилие – всегда зло, но насильственных браков и не бывает, по крайней мере, ни гражданский закон, ни Церковь никого не принуждают к браку. Если в грубых слоях общества держался (почти исчезнувший теперь) обычай принуждения в деле брака, то Церковь всегда считала это беззаконием. Для венчания необходимо добровольное согласие брачующихся, «произволение благое и непринужденное, и крепкая мысль», как гласит чин венчания. Церковь не тянет насильно к аналою, и все могут жить невенчанными, – но раз мужчина и женщина обращаются к Церкви, она не может уступить ни йоты из своего вечного нравственного закона и может ставить только его в основу брака. Если вы требуете от «общества верующих» призна-

* По желанию (лат.). – В. Т.

ния брака, то это общество должно напомнить вам его *нравственные* условия – не имущественные, не эстетические, не физиологические, а духовные. Нравственный закон, признанный обществом, состоит в том, что раз сошедшиеся плотски мужчина и женщина должны быть верными друг другу до смерти. Никаких исключений и послаблений совесть здесь не разрешает; как не вправе Церковь понизить требования заповедей «не убий», «не укради» и пр. и разрешить «немножко», «в виде исключения» убить или украсть, так и в деле брака. Общество, желающее быть хранителем нравственного закона, не может разрешить измены, хотя бы легонькой, хотя бы «по уважительным причинам». «Но мы не любим друг друга, – заявляют супруги, – душевно мы – чужие. Разрешите нам не именоваться супругами и соединиться с другими, любимыми существами». На это Церковь может сказать: «Общество верующих вас не насилует; от вас зависит жить или не жить вместе, но *разрешить* вам этого Церковь не может. Это было бы отрицанием вечной правды, за выражением которой вы когда-то обратились к Церкви. Закон был, и остался, и останется навсегда нерушимым; вы – если у вас нет уважения к закону – можете от него отступить, – *вы*, но не *мы*. Разрешая супругам измену, Церковь отменяла бы тем самым вечное свое начало, отменяла бы самое себя».

Так, мне кажется, могла бы ответить Церковь на бесчисленные вопли мужей и жен, соскучившихся друг с другом и желающих освежить свою половую жизнь. Этим дамам и кавалерам мало изменить: им хочется еще общественной санкции измены, им хочется, чтобы измена была признана делом хорошим, чтобы и сам Бог благословил ее для полного комфорта души. Тут даже совсем неверующие люди, даже презирующие Церковь, обращаются к ней, не жалеют денег на подкуп лже-свидетелей и устраивают фиктивное прелюбодеяние или ложно берут его на себя, – словом, не стыдятся самой гадкой лжи, чтобы удовлетворить требования Церкви и вынудить ее дать развод. У нас жалуются на трудность разводов, а я желал бы видеть их совсем невозможными – со стороны Церкви.

XVI

Что ж, по-вашему, муж имеет право насильственно удерживать жену? – спросит меня читатель. – Любишь – не любишь, а изволь жить со мной?

Конечно, нет, отвечу я. Насилие и в этом случае, как во всяком, я считаю и грехом, и ошибкой. Пусть будут сняты все юридические принуждения, пусть супруги расходятся и изменяют, если это люди слишком слабые, дурные, – но на это не должно быть дано даже и тени разрешения нравственного. Тогда бы все знали, что есть в жизни хоть одно требование абсолютное, несговорчивое, неизвиняющее, есть некий вечный суд неумолимый, для всех одинаково равный, неизменный. Я считаю, что общество верующих не может принуждать к браку никакими иными средствами, кроме нравственного мнения; поэтому юридическое деление браков на законные и незаконные с ограничением прав супругов и детей, прав по наследованию и пр., юридическое подчинение жены мужу – все это мне кажется заслуживающим отмены. «Незаконные», например, дети, – чем они виновны в грехе родителей? Они не должны быть унижены; обида их не нужна обществу и составляет грех. Точно так же законные супруги не должны быть принуждаемы жить друг с другом. Ничего нельзя иметь и против полного *гражданского* равенства невенчаных супругов с венчанными, – но *нравственного* равенства супругов верных и неверных друг другу не может быть допущено. Тут я желал бы со стороны общества верующих в нравственный закон неумолимой строгости, так как, повторяю, не только человеку не дано, но даже и с Божьей властью несовместимо изменить нравственный идеал. А все дело Церкви – в бережении этого идеала, в торжественном его провозглашении, в утверждении его среди людей как некоей неподвижной твердыни, на которой могла бы строиться жизнь человека.

Часто слышишь: «Он должен дать ей развод», «она так великодушна, что дала ему развод». Считается нравственным освободить супруга от его обязанностей. Но мне кажется, тут

большая и странная ошибка. В совершенно той же мере, в какой супруги не имеют нравственного права принуждать друг друга к чему-либо, они не могут и освободить один другого от обязанностей, которые не ими созданы, а предустановлены вечно, на все роды и века, как всякий Божий закон. Муж не смеет разрешить жене измену, как и жена мужу, так как ни земная, ни небесная власть не может разрешать греха. Муж, конечно, должен помиловать неверную жену, пожалеть ее, простить, но только простить: *оправдать же* ее он не может. Простить – это значит привести себя в такое состояние, когда обиды не чувствуешь, не сердиться за нее, а по-прежнему любишь человека (и даже больше любишь, жалея его грех). Простить не только должно, но и можно, то есть это вовсе нетрудно для доброго человека. Но как можно *оправдать* дурной поступок, разрешить его, если у вас есть совесть? Ничто в мире не может сделать правым неправое, – и в этом-то и заключается абсолютное значение всякого поступка, хорошего и дурного. Это самая первоначальная из основных аксиом: всякая вещь есть то, что она есть, и не может быть одновременно иною. Грех прощенный все же есть грех, и ничто не может сделать его как бы добродетелью.

Супруг изменяет супругу – нигилисты, как и большинство псевдохристиан, считали это вздором, нарушением частной сделки. Но в этой измене затронута и третье лицо – Бог, необходимый член всех наших союзов и отношений. Брак, как и всякая иная связь, есть в то же время и соединение с Богом (если союз свят) или разрыв с Ним. Измена человека человеку есть в то же время измена Богу. И напрасно думают, что Бог – «долготерпеливый и многомилостивый» – равнодушно относится к отступничеству от Него. Высочайший закон жизни не карает и не казнит никаким иным способом, кроме того, который заключается в самом грехе: вы отступили от закона и сразу очутились в условиях незаконных, внежизненных и потому мучительных, а иногда и гибельных. Если вы, стоя на вершине башни, вздумаете пренебречь законом тяготения и броситесь в пространство, то в самом этом поступке будет

и наказание ваше. Закон жизни, благодетельный, жизнетворный, тотчас обращается в смертный приговор, раз вы не подчинились ему. Он-то, закон, исполнится: «Скорее небо и земля прейдут, нежели нарушена будет йота из закона» <Лук. 16:17>. Воля Божия исполняется ненарушимо, хотим мы этого или нет, и если хотим, то мы живы, если нет – мы страдаем и умираем. Изменивший человек напрасно думает, что он избегнет кары: в том или ином виде она его настигнет. Мы видим, что в брачных отношениях всего счастливее супружества целомудренные, не связанные похотью (например, хорошие влюбленные *до* венца или хорошие старики на склоне дней). Менее счастливы супруги, верные друг другу, но живущие только плотским союзом: ссоры между ними неизбежны. Но все же раз зло физических вожелений ограничено до минимума, до границ *одной* пары людей, оно еще выносимо и представляет даже предмет зависти для других семей. Несравненно несчастнее браки нецеломудренные и нечестные, где жена изменяет мужу, или он ей, или оба вместе. Такое супружество ужасно, оно – сплошная драма, часто безмолвная, с проглатываемыми слезами, с невидимыми терзаниями... но тем она ужаснее.

XVII

Но что делать, если одна или обе стороны ошиблись в выборе, и брак вышел неудачным? Неужели оставаться весь век прикованными друг к другу, ненавидящими, презирующими один другого? Не разумнее ли попытаться снова выбрать, с большим тщанием, с меньшим риском ошибки? «Семь раз примерь и один отрежь», – говорит мудрая пословица...

Я согласился бы с этой мудрой пословицей, если бы не видел, что на основании ее большинство «примеривают» к себе возлюбленных слишком заботливо – и даже больше, чем по семи раз... Иные весь век занимаются этой примеркой под предлогом, что их возвышенная душа не может, видите ли, найти совершенного, вполне достойного их человека. До седых волос, до фальшивых зубов примеривают... Но я не знаю,

зачем таким дамам и кавалерам прибегать к софизмам, зачем оправдываться? Вы скажете: но если одна сторона опротивела другой, неужели она имеет право требовать продолжения плотской связи? Не превратится ли такая связь в нечто крайне безнравственное и гадкое? Не явится ли подобный брак худшим из возможных рабств, не будет ли он ложью и перед Богом, и перед людьми?

На эти вопросы я отвечаю: да, да, подобный брак будет развратом, рабством, ложью, и *требовать* продолжения плотской связи не может нелюбимая сторона. Я замечу только, что *требовать* соблюдения этой связи не может даже и любимая сторона. В самом счастливом браке при взаимном влечении связь ни для одной стороны необязательна; напротив: даже в таком браке соединение плотское есть некоторый грех, простимый лишь в мере его невольности. Но если каждый из супругов имеет нравственное право отказаться от продолжения плотского союза, то это не значит, что тем самым он дает или получает право на новую плотскую связь. Брак есть взаимный и вечный долг сотрудничества с обоюдно порукой, и отказаться от него честные люди могут только при безусловной невозможности выполнить его когда-нибудь. Неуплата одного долга не дает человеку права заключать другой. Доказанное банкротство в одном случае, наоборот, лишает всякого кредита и в будущем. Я думаю, что если супруги сходились без отвращения, то и в дальнейшей жизни не может возникнуть идиосинкразии, того неодолимого физического отвращения, при котором брак был бы невозможен. Если отвращение является, то как гипноз очень дурной совести. Дурной муж искусственно старается уверить себя, что жена его состарилась, сделалась безобразной, и добивается того, что, наконец, и действительно она ему делается противной. А если вступать в брак честно – по искренней симпатии, – и честно оберегать его, воспитывая взаимную любовь, то отвращенье никогда не явится. И ничто так не способствует охлаждению физическому, как мысль, что можно переменить человека; в любовных связях вне брака люди охладевают друг к другу гораздо

быстрее, чем в браке, а если брак нерасторжим не только по закону, но и по обычаю, как в религиозных общинах, то о физическом отвращении между супругами и вовсе не слышно. Все дело в окружающем соблазне и внутренней способности сопротивления ему. Опасность физического охлаждения в самом счастливом браке не только возможна, но и неизбежна, но следует, готовясь к ней, охранять свою любовь духовную с величайшим тщанием, избегая соблазнов, а не ища их. Если же влюблены души, то и тела охотно мирятся с отсутствием страсти; некоторое физическое равнодушие для людей нравственных – не тягость, а облегчение.

Что же делать, если брак вышел неудачным? Да что же делать, – нужно, я думаю, посмотреть, отчего он неудачен, и устранить причины раздора. «Но я его не люблю, он мне противен!» – восклицает жена. – «Не любить человека грех, – отвечаю я. – Постарайтесь усовестить себя, взглянуть на нелюбимого мужа, как на человека, как на существо такое же, как и все, слабое, несовершенное, но нуждающееся в любви, и как все достойное любви. – «Я люблю другого, я стремлюсь к нему всем существом моим, только с ним я могу быть счастлива». На это можно заметить: «Если вы любите другого любовью страстной, то она преходяща, и на ней нельзя основывать брака, если же любите его любовью чистой, как брата, то это не мешает вам оставаться при муже. Именно потому, что вы мужа не любите, ваш нравственный долг остаться при нем до тех пор, пока не будет восстановлена любовь. Вашею жизненной задачей должно сделаться примирение с человеком, который стал противен вам». «Заставить себя любить противного человека нельзя. Насильно мил не будешь. Любовь от человека не зависит». – Да, дурная любовь – плотская – от него не зависит, но она и не нужна для брака. Нужна любовь дружеская, святая, и сознание долга. Святая любовь упраздняет грешную, и она в меру усилий зависит от человека. Не для телесного наслаждения вы заключали союз супружеский, и если оно исчезло, союзу еще нет основания рушиться. Если же вы вступали в союз для наслаждения, то проституировали оба, и брак ваш опога-

нен в его корне; нужно возвратиться к тем условиям, которые делают брак чистым. А чист брак бывает лишь тогда, когда жена, по слову Божию, есть *помощник* мужу во всем, что составляет жизнь их. *Помогать* нельзя в наслаждении; помогать можно только в страдании, при недостатке сил ближнего. Как в трогательной молитве Товия, когда в первый раз он остался с молодою женой, в которую был влюблен демон: «И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как *жену*: благоволи же помиловать меня, и *дай* мне состариться с нею! И она сказала с ним: аминь» <Тов. 8:7, 8>. Вот если бы все браки заключались при таком чистом взгляде на брак, не было бы, я думаю, «неудачных» союзов, настолько неудачных, чтобы захотелось повторить опыт. И муж, и жена, глядя друг на друга не как на предмет наслаждения, а как на помощника в жизни, были бы легко удовлетворены, так как в качестве помощников все люди – если захотят – бывают удовлетворительными, тогда как давать наслаждение или давать выгоду не зависит от воли человека и обусловлено случайностью крайне шаткой. Способность давать наслаждение дается половою страстью – чувством крайне обманчивым, мимолетным, почему и браки, основанные на этой страсти, рвутся, как платье, сшитое гнилыми нитками. Способность же быть хорошим *помощником* в жизненном пути дается сердечной дружбой, уважением, согласием мирозерцаний, вкусов. И браки, основанные на такой любви, единственно прочные; они одни не ведут к изменам, так как истинная дружба постоянна; на нее не действует ни потеря красоты и молодости (как в половой любви), ни потеря здоровья, ни разлука, ни новое «увлечение». Если бы брак ваш, отвечу я на предложенный выше вопрос, был основан на святом чувстве, то оно не обмануло бы вас и не было бы никакой измены, никакой неудачи, никаких загадок: «что делать, если» и пр. Половая страсть, как и расчет – одинаково *mésalliance* души, союз неестественный и потому неизбежно несчастный.

Но что же делать, однако, если люди все-таки впали в ошибку, по недостатку ли нравственности или... – *Всегда* по

этому последнему недостатку, прерву я. Только по недостатку совести подобные ошибки возможны. И раз у людей не достает этого «Духа Святого», никакие решения невозможны. Если от недостатка совести у вас первый брак вышел дурным, то будьте уверены, что то же самое повторится и при следующих связях. Во все свои «пробы» вы внесете ту же свою бессовестность, ту же способность идти на компромисс, тот же злой и вздорный характер и пр. – «Не я виновата в нашем неудачном браке; муж виноват. Он меня не понимает, мучит» и пр., и пр. Вот именно то, что вам кажется, что не вы виноваты, доказывает более всего, что виноваты именно *вы* – целиком или в значительной мере. Правые люди (справедливые) склонны всегда винить себя и всегда найдут достаточно для этого оснований.

Конечно, брак немислим при физическом отвращении супругов: при нем немислима даже проституция. Но это не значит, что брак должен быть основан и на физической любви. Предлогом для брака не может быть ни половая любовь, ни даже любовь братская. Половая любовь слишком непрочна: она длится не долее двух-трех лет, а чаще и того менее, на нее влияют здоровье, возраст, появление соперников и т. п. Брать *основою* брака столь зыбкую почву – все равно что строить здание на песке. И какой же это нравственный союз, раз основа симпатии – физиологическая? Стоило Абельяру⁶⁹ потерпеть увечье – и он охладел к Элоизе⁷⁰. А сколько Абельяров охладевают даже без этой, даже без всякой причины к своим женам и те к ним!

Не может быть поводом к браку и дружеская любовь; любить такую любовь можно многих, если не всех. Нельзя же на основании этого вступать в брак со многими. Дружеская любовь необходима для хорошего брака, но не как повод, а как одно из коренных условий – вроде того, как для брака необходимо иметь и рассудок, и некоторое физическое здоровье. Без них нельзя, но поводом к браку они служить не могут; точно так же и дружба. Поводом и основою брака может служить только цель, указанная при творении: необходимость человеку иметь *помощника*, помощника не только в

жизненном труде, но и в нравственном подвиге, для которого человек посылается в мир, и для деторождения, необходимо-го для совершенствования тех душ, которые еще слишком далеки от идеала. И если встречаются мужчина и женщина, которые из всех пригоднее для помощи друг другу, – это есть и повод, и основа брака, а вовсе не любовь.

<XVIII>

Закон ненарушимой супружеской верности, конечно, труден для людей безнравственных. Он может показаться им даже губительным законом, отравляющим всю радость жизни. Для человека с издерганными нервами, с раздраженной похотью целомудрие столь же тяжело, как для запойного пьяницы – воздержанность от водки. Чахоточная грудь не выносит свежего воздуха, больные глаза не выносят света. Но до сих пор еще никто не признавал свет и чистый воздух ошибкою природы, тогда как супружескую чистоту многие считают заблуждением. Нравственный закон дан не для больной совести, а для здоровой, и для той он не труден; здоровый дух не только не губится этим законом, но извлекает именно из него силу жизни, как здоровая грудь из чистого воздуха. Для людей нормальных супружеская верность есть не только не трудное, но *естественное* состояние, самое приятное и полезное. Поэтому это и закон, что он указывает на лучшее состояние, отступая от которого вы впадаете в болезнь. – Прекрасно, решит иной читатель: если я человек порочный, то, значит, для меня нужен другой закон. Если мои больные глаза режет свет, то не должен ли я заслониться от света? Если изменять жене – моя потребность, то не должен ли я удовлетворить ее? Ведь иначе я буду страдать, как пьяница без водки. Пусть для здоровых, нравственных людей пригоден один закон, – позвольте нам, больным и безнравственным, иметь другой!

На это я замечу, что если вы *хотите оставаться* больными и безнравственными, то, конечно, для вас нужны иные условия: не греша, нельзя быть грешником. Вопрос в том толь-

ко, хорошо ли, имея больные глаза, не лечить их, или, будучи пьяницей, не вытрезвиться?

К болезни и пороку человек иногда так привыкает, что эти состояния делаются для него второю природой: несчастному трудно отстать от того, что составляет его радость. Дошедшие до такого перерождения почти безнадежны. Не верьте пьянице, когда он раскаивается в пьянстве, не верьте развратнику, который бранит этот порок. Оба неискренни; в глубине сердца оба любят эти свои язвы и стараются растравить их. У них уже нет воли, чтобы захотеть здорового, чистого счастья. Им хочется поганого. Они почти безнадежны, но именно потому-то им и нужно собирать в себе все остатки духа, чтобы стряхнуть с себя этот кошмар и хоть медленно прийти в себя. Если они не сделают этого спасительного усилия, они погибнут нравственно, если не физически; по наклонной плоскости греха они дойдут до его пределов. Но спасительное усилие доступно не всем: для этого нужно все-таки сознавать себя больным, порочным. Всякий возврат начинается в сознании, и только тут, где человек свободен, он может начать эту необходимую борьбу. Ни в какой иной области, кроме сознания, в таинственном первоисточнике наших действий. Но, как бы чувствуя, что именно в сознании возможен поворот к лучшему, дамы и кавалеры, стоящие за свободу брака, стараются всячески затемнить свое сознание, смутить его теориями и софизмами, направить подальше от совести. Оба пола – особенно в лице своих литературных представителей – беллетристов и беллетристок, поэтов и поэтесс – ухищряются измену выставить как право, прелюбодеяние – как любовь, половую страсть – как самый разум жизни. Поразительна горячность, с которою нечистая совесть хочет оправдать себя, когда не чувствует сил отказаться от грязи.

Нравственное требование нерасторжимости брака непонятно тем людям, которые не знают пределов нравственности вообще. Большинство людей признают лишь один предел – верхний, так называемый идеал, который, по ложному современному учению, будто бы недостижим, и достигать который

поэтому необязательно. Поэтому верхний предел нравственной жизни реально не существует для людей. О том же, что кроме верхнего предела поведения есть еще и нижний, большинство даже не догадываются. Допускают, что по слабости своей человек может творить любую мерзость, и нет разницы между большим и малым грехом. Но нравственное сознание устанавливает предел для падения человека, ниже чего он спускаться не должен, если не желает гибели своей. Кроме *идеала*, достижимого лишь при крайнем напряжении духа, существует *заповедь*, соблюдать которую доступно даже малым силам, если не развеивать их в распутстве. Для каждого порядка отношений человека – к Богу, людям и себе – установлены заповеди; в отношении супружества такую заповедью служит *верность* брачная. Падать ниже этой ступени не только опасно (опасность начинается уже в нарушении целомудрия), – но прямо губительно, что и доказывается тысячами примеров.

<XIX>

В правильно устроенном, нравственном обществе люди должны вырастать в сознании, что брак нерасторжим, что это не шутка, не «инцидент» в жизни мужчины и женщины, а великое таинство, как бы второе рождение в мире, начало новой жизни. На брак должны глядеть с трепетом, как на священный и роковой союз, из которого нет выхода и к которому приступать нужно не с легким сердцем, а в сосредоточении духа своего, приняв великое решение, как бы заклатье. До брака человек ответствен только за себя, – вступая в брак, он возлагает на себя царственный венец забот за жену и детей и внуков, за нравственную судьбу всего рода. Вступая в брак плотский, человек падает со своей духовной высоты, как бы теряет «ангельский чин», состояние невинной свободы и чистоты. До этого ничем не связанный телесно, кроме самого себя, вступающий в брак погрязает в чужой плоти и начинает какую-то новую животную жизнь рядом со своею. Великое испытание – и нужна большая сила, чтобы выдержать его. Раз человек оказывается не в си-

лах *удержаться* от этого падения, он должен найти в себе силы *остановиться* на пределе греха невольного, и неразрывный супружеский союз именно представляет такой предел. Ниже этой ступени начинается вольный грех, нарушение закона жизни, разврат. Человек, один лишь раз изменивший человеку, изменит и второй, и третий раз, как справедливо говорит Ларошфуко: «On peut trouver des femmes qui n'ont jamais eu de galanterie; mais il est rare d'en trouver qui n'en aient jamais eu qu'une»*.

Мы видим счастливые браки только в том случае, когда перед ними не было измены. «Бери жену не богатую, бери непочатую», говорит народная мудрость. Ни с мужчиной, изменившим своей жене, ни с женщиной, изменившей мужу, невозможны новые прочные союзы; новый брак всегда оказывается повторением старого. Оттого браки на «разведенных» столь неудачны; изменив одному мужчине, женщина изменяет всем мужчинам – дело только в очереди, в подходящих условиях, в удобстве измены. Явятся благоприятные условия – и будьте уверены, что женщина вам изменит, как бы ни любила вас, как бы ни клялась в верности. Что такое клятва в устах человека, сердце которого уже однажды доказало свою лживость? То же и мужчина: обманувший одну, он непременно обманет многих, и если не обманет, то не по своей добродетели, а вследствие каких-нибудь препятствий. В том и состоит проклятие всякого греха, что раз допущенный, он неистребим и живет в душе, как семя, ждущее благоприятных условий для своего роста. Раз согрешил – и ничем не вычеркнешь доказательства, что способен согрешить: открывается вечная опасность и необходимость вечной борьбы с нею. Поэтому именно и важно, в высочайшей степени важно, чтобы предупрежден был первый грех, первая измена, и в супружестве поэтому-то и необходим абсолютный закон верности. Этот закон оберегает лучшую часть супругов – еще верных друг другу: подобно тяготению в физическом законе, он сплачивает, привязывает друг к другу тех, которые, по слабости души, недостаточно связаны святой любовью. Нерас-

* Можно найти женщин, которые никогда не имели любовной связи, но редко найдутся те, которые имели только одну (Ларошфуко). – В. Т.

торжимый брак представляет как бы искусственные плотины для удержания растекающейся драгоценной влаги, для сосредоточения жизни супругов по определенному направлению их семейного долга. Это союз дисциплинирующий, воспитывающий, скрепляющий основы общества. Естественное следствие супружества – дети, но для них естественная колыбель – нерасторжимый родительский союз. Бесконечно жалка участь детей покинутых, а свобода брака немислима без измены детям, без отречения от них отца или матери.

<XX>

В трогательных молитвах Церкви, благословляющей жениха и невесту, особенно часто испрашивается «единомыслие душ и телес», «единомудрие», «нескверное ложе», «непорочное сожителство», «сочетание нерастерзаемое», «любовь совершенная, мирная и помощь», «целомудрие», «святое соединение», «обручение в вере, истине и любви» и пр., и пр. Присутствуя при этом торжественном, полном строгой поэзии, обряде, ясно видишь, насколько древнее «общество верующих» глубже и серьезнее относилось к тайне жизни, насколько чище ставились тогда цели ее. Признавая, что брак должен быть нерасторжимым, по слову Божию, Церковь допускает второй брак лишь как великую крайность и о второбрачных молится, как о людях падших, которые не в силах были удержаться от падения. «...Ведый немощное человеческого естества, создателю и содетелю: иже Рааву блудницу простивый и мытарево покаяние приемый, не помяни грехов наших неведения от юности. Аще бо беззакония назриши Господи, Господи, кто постоит Тебе или кая плоть оправдаться пред тобою... Дай им (брачующимся) мытарево обращение, блудницы слезы, разбойниче исповедание, да покаянием от всего сердца своего, в единомыслии и мире заповеди Твоя делающе, сподобятся и небеснаго Твоего царствия». В следующей молитве еще выразительнее объясняется взгляд Церкви на второй брак: «...Очисти беззакония рабов Твоих: зане зноя и тяготы дневные и плотского раж-

жения не могут понести во второе брака общение сходятся, яко же... апостолом Павлом рекий нас смиренных: лучше есть о Господе посягати, нежели разжизатися... помилуй, прости, очисти, ослаби, остави долги наша... Токмо Ты еси плоть носяй безгрешно и вечное нам даровавый бесстрастие».

В то время как первобрачные, не нарушившие долга верности, вызывают в молитвах воспоминание о библейских супругах – Аврааме и Сарре, Исааке и Ревекке, Иоакиме и Анне и пр., – второбрачные напоминают Церкви блудницу Раав, мытаря и разбойника, спасшихся, правда, но лишь чрез слезное раскаяние. Дальнейших же нарушений супружеского союза Церковь не признает вовсе, то есть отказывается даже молиться за такой грех, не надеясь вымолить Божеского снисхождения.

Нерасторжимость христианского брака кажется многим излишнею строгостью, но эта строгость объясняется лишь более глубоким пониманием истинного закона брака. Все языческие виды брака, от гетеризма до полиандрии и полигинии, суть крайне грубые, отдаленные, неверные догадки об этом законе, это как бы окружности, начерченные шаткою рукой ребенка. Только Христианство дало своего рода математически точное изображение этого закона, обведя его как бы циркулем. Только в христианской нравственности есть идея *центра*, дающая возможность определить точную сферу всех жизненных вопросов, в том числе и супружеского.

Современное учение о свободе брака, я уверен, будет когда-нибудь отброшено как очень скудное, очень грубое. Поймут же когда-нибудь, как мало благородства в измене, как мало поэзии и святой радости в многобрачии. Людям порочным нерасторжимый брак кажется смертельно скучным, они стремятся менять связи, увлекаться – до самой старости. Это будто бы дает «содержание жизни», обогащает ее. Но это очень грустная ошибка. Жизнь бывает прожита, и после многих увлечений не оказывается ни одной дружбы, ни одной горячей, родственной привязанности. Одиночество – обыкновенный удел изменников; презрение обманутых – единственная память о них. Как мот, проживший свое состояние, видит себя нищим под ста-

рость, так человек неверный с унынием вспоминает, как много разбросал он чувств на людей, которых нет вблизи, которые не могут вспомнить с ним прошлые годы, годы общей жизни. Какая бедная, прозаическая история – история какого-нибудь селадона. Она вся из завязок и развязок, между которыми нет чего-то самого важного – жизни. Жизни некогда сложиться, когда одна «любовь» сменяет другую, одни впечатления вытесняются другими, одно лицо – рядом других. Роман такого селадона похож не на жилой дом с его семейною историей, а на проходной двор, где много людей и нет между ними никакой связи. Только неразрывный брак, заключенный между чистыми людьми, дает ценное содержание жизни. Только долгое сожителство сплавляет души супругов в нечто одно, углубляет взаимные впечатления, дает возможность накапливаться воспоминаниям, делает из жизни поэму. Поэзия жизни невозможна без некоторой дали, без теряющихся, то вновь возникающих в памяти силуэтов, без накопления многих событий, многих радостей и многотой скорби. Надо долгое время, чтобы составилось «прошлое», и только у тех супругов, у которых в молодости было одно будущее, в старости является одно прошлое. Постоянное присутствие в нашей жизни того же самого неизменного, верного друга и его участие в лучших мгновениях делают его фигуру не только родною, но почти божественной. Верные, любящие друг друга супруги глядят один на другого с тем же религиозным чувством, с каким ребенок на любящую мать, – смотрят, как на земное Провидение свое, как на существо, посланное свыше. В то время как рассеявший свое сердце селадон под старость похож на одинокий, засохший ствол, – верная супружеская чета обыкновенно обрастает, как кипучие жизнью праотцы-деревья, целыми поколениями родных существ, детей, внуков, правнуков, с которыми поддерживается союз общей радостной жизни. Если ранняя смерть и разорвет этот благословенный союз, память об исполненном долге, о непоколебимой верности украсит даже минуты смерти, тогда как умирающий изменник тяжело вздохнет о своей низости: тяжело уходить в вечность нечистым.

<XXI>

Чистота (тела и духа) – вот единственная тайна счастья в супружестве, как во всех иных состояниях человека. Совершенно напрасно рассуждать о прочности или непрочности брака, о его легкости или тяжести и т. п. Следует рассуждать не о состояниях человека, а о нем самом. Если оба супруга вполне безупречны, то и брак будет таким же. При обратном условии и результат будет обратный. И раз самый счастливый брак перестает давать счастье – верный признак, что один из супругов или оба нравственно понизились. Единственное спасение – вовремя заметить это падение и постараться исправиться. Если это удастся, то брак снова делается счастливым, если же нет, то он рушится, как рушится все прекрасное, не сумевшее отстоять своей первобытной свежести. Здесь мы снова подходим к основному нравственному закону: соблюдайте совершенство свое – *остальное все приложится вам*. Истинно хорошие люди не могут вступать в иные отношения, как только истинно хорошие, а такие отношения ничего не дают, кроме радости. Жизнь же, сложенная из болезней и уродств, непременно будет несчастна. Если вы заключаете союз двух жизней для образования одной, для продолжения жизни в вечности, то и смотрите же на этот союз, как на святую, и оберегайте же его с благоговением религиозным. Оберегайте спутника вашего, как себя, – и брак будет тем, чем он должен быть, – *полнотою жизни*.

Любовь святая

Заповедь новую даю вам...

Ин.:13:34

I

Санскритский глагол “lubhati” значит «иметь желание» (lubha – желание). Возможно, что в самой глубокой древности любовь чувствовалась только как желание. «Желанный

мой» – в народе до сих пор заменяет слово «любимый». Но собственно в *желании* ничего нет ни возвышенного, ни чистого. Желать можно с одинаковой силой и хорошее, и дурное, и в последнем случае желание есть источник зла. Любовь как желание дает пищу всем привязанностям и страстям, как бы последние ни были чудовищны. Мне кажется, что любовь только тогда делается святою, когда из *желания* переходит в *жаление*, когда воля человека обращена не к себе, а от себя. В народе «я люблю» говорят о вещах, потребностях или любви плотской, но когда говорят о близких людях, то глагол «любить» заменяется глаголом «жалеть». Еще говорят: «я люблю жену», но о родителях, детях, родных и друзьях отзываются чаще, что жалеют их, как и обо всех чужих людях в минуту сострадания к ним или благоволения. *Жалеть* значит не только *сожалеть*, но и *жаловать*, то есть благоволить, желать блага в то время, когда любовь-желание эгоистична, и ей нет собственно дела до счастья любимого существа, – любовь-жаление вся как бы перевоплощается в него. Жалеть можно не только в страдании, но и в радости любимого существа, это не только сострадание, но и радость.

Эти два типа любви соответствуют двум периодам нравственного сознания человечества. Любовь-желание характеризует язычество, любовь-жаление – Христианство. Первый период – господство страстей, второй – господство разума. Оба периода еще делятся, оспаривая свою власть в мире. И соответственно тому, который вид любви торжествует, меняется отношение человека к себе, к людям и к Богу.

II

История человеческого духа, как и душевная жизнь каждого из нас, есть борьба двух начал: многобожия и единобожия. Первое начало – хаотическое, рассеянное, косное, второе – творческое, организующее, животворящее. До сих пор длится в каждом человеке эта борьба, и, может быть, только дикари да праведники сколько-нибудь свободны от нее. Ди-

карь – как эгоист, воля которого не обуздана разумом, склонен обожать всякую вещь в природе, на всякой сосредоточивать все силы духа. Каждое желание его – отдельная религия, в каждом он доходит до страсти, до опьянения, до экстаза. В древности каждое желание имело своего бога: у греков, например, половая любовь – Эроса и Афродиту, борьба – Палладу и Арея, нажива – Меркурия (он же бог воровства), пьяное веселье – Дионисия и пр., и пр. Великое учение о Едином смело вместе с идолами и самое представление об отдельных богах; но боги исчезли, а их стихии – страсти – остались, и до сих пор огромное большинство христиан, на словах *исповедующие* Единого, *поклоняется* на самом деле *многому*. Каждое желание, которому дан простор, превращается в особый культ, в *обожание*, хотя бы и не было произнесено имя какого-нибудь бога. Мы не считаем священным *fallus'a*, не ставим золотых тельцов, но многие из нас внутренне чтят всем сердцем все то, что олицетворялось некогда этими идолами. Несмотря на тысячелетнее господство Евангелия, мы – в огромном большинстве – более искренние идолопоклонники, нежели христиане, – конечно, сами не подозревая того. Особенно в последние два века обострилась эта незримая борьба между Единым и многим в нашей душе. Вместе с полным отрицанием Мирового Духа как источника жизни вновь возникло признание страстей, восстановление древнего язычества как обожания плоти. Никто не называет себя, за исключением немногих декадентов, язычником, но очень многие живут исключительно языческими стихиями, искренне поклоняясь каждому своему хотению как божественному. Обезбоженное, оязыченное современное поколение признает и как несомненный закон, что развитие человека состоит в увеличении числа потребностей и в утончении каждой из них до степени культа. Разве это не новое многобожие и идолопоклонство?

Великое откровение дохристианской древности заключалось в том, что Бог *один* (что вслед за Моисеем и совершенно независимо от него признали и самые искренние мудрецы язычества). Новый завет углубил это древнее откровение

благою вестью, что Бог не только один, но что он есть Отец, источник жизни, податель блага, что он – Любовь. Вот что с того времени стало достойно обожания – одно это и ничто больше. Или примите, что Бог один, или отвергните это, и если приняли, то и обожайте Одного, а не многое. Или примите, что Бог есть Любовь, или отвергните, и если приняли это, то и обожайте же одну эту Любовь, а не несколько любвей животных, именуемых страстями.

Влюбленная женщина говорит: «Хоть *он* меня не любит, но я счастлива. Я приобрела то, что мне давно было нужно: мне есть, кого любить, на кого молиться». Это *обожание*, нашедшее себе удовлетворение на земле, обожание человека вместо Бога. Иные обожают вещи или деньги, как скупцы, другие – пищу, как сластолюбцы, третьи – славу, почет и т. п. Во всех случаях это обожание есть идолопоклонство и как таковое есть самая тяжелая ошибка, какую может сделать человек. Богопочтение «всем сердцем своим, всею крепостью, всем разумением» должно принадлежать единственному существу в природе – Душе ее, источнику всякой жизни. Кроме всего, нет в мире ничего нравственно достойного для принятия всей человеческой души. Всякая иная страсть поэтому есть отрицание Бога, попытка подменить его каким-нибудь идолом. Поэтому любовь к себе и ближнему всегда должна проверяться любовью к Богу, и если она последней противоречит, ясно, что она не чистая. Нельзя изменить Богу ни ради себя, ни ради ближнего, потому что в Боге – величайший интерес и свой, и всех людей. Величайшая забота человека должна заключаться в бережении в себе высшего нравственного начала, в котором жизнь вечная и отступничество от которого ведет к смерти.

III

Как искренние язычники, поклоняющиеся многим богам, мы испытываем все последствия многобожия в своей жизни. Вместо одного принципа, у нас их несколько, взаимно теснящих друг друга и отрицающих. В результате по-

лучается анархия духа, страшная растерянность его и подавленность. Мы подчинены страстям, которые по очереди или вместе томят нас в течение всей жизни. То нас грызет тщеславие, то жажда собственности, то половая страсть, то злоба, то эгоистическая любовь, то все эти лжебоги вместе. Душевный мир наш, высшее благо жизни, всегда нарушен. Желания, как языческие боги, ведут между собою ожесточенные битвы, всю боль которых испытывает их носитель – человек. Борьба и горе, суета, ничтожество, разрушение – вот психическая жизнь современная язычника. Упадок духа, «убыль души», – на них жалуются всюду в просвещенном свете. Скептицизм, опоганивающий все поэтическое, все святое, – пессимизм, убивающий всякую надежду, – вот окончательный результат анархии духа, вызванной заменой веры в Единого многобожием страстей. Если есть еще великие, сильные люди, они – остаток прошлого, так как в народных массах прошлое еще продолжает жить. Современное поколение движется еще энергией старой силы, той могучей, сосредоточенной, до творчества сжатой энергии, которую выковали в человеке прежние века единобожия. Все сколько-нибудь выдающиеся люди вырастают еще в христианской семье, от родителей и дедов единобожников, но подождем поколений, выросших вне всякого нравственного культа. Эти поколения покажут себя! Они повторят в себе то поразительное бездушные, которым были охвачены обезбоженные классы Греции и Рима времен упадка. Они дойдут – как уже и доходят кое-где – до оргий, описанных у Петрония, до извращения всех страстей, до полного одичания души. Может быть, дойдут и до каннибальства, как предрекает Достоевский, или, по крайней мере, до Тибериевых ночей, после которых из капрейской виллы выбрасывали кучами трупы оскверненных детей. Обожание желаний ведет к страшному развитию эгоизма, к жестокости чисто дьявольской. Пышная, гордая цивилизация, плод долгих усилий человечества, может дойти на этом пути до безумия, в котором и заглохнет жизнь. «Мне отмщение – и Аз воздам...» <Рим. 12:19; Евр. 10:30>.

IV

Мы все множество раз слышали о нравственной любви; понятие о ней входило в курс нашего воспитания; наконец, в самой жизни и литературе слово «любовь» не чуждо слуху. Но что такое в своей сущности эта новая, грядущая любовь, это почти тайна; чтобы проникнуть в нее, требуются долговременные и страстные усилия и, может быть, особая воля Отца, дающего нам жизнь. Едва ли хоть один мудрец в силах вместить в себя всю истину небесной любви, всю поэзию ее, все блаженство. Большинство в состоянии лишь ощупью подойти к этому святому чувству, восстанавливая в памяти те мимолетные видения этой любви, которые изредка встречали кругом себя и в себе. Что же такое любовь святая?

Это высшее душевное состояние – не ум, беспрерывно колеблющийся и по природе своей составляющий орудие, это не какая-нибудь из страстей человека, неустойчивых и бурных. Это любовь не к чему-нибудь *одному*, а *ко всему*, как блаженное стремление все счастье прекрасным, милым, дорогим, все обнять собою, все вместить в себя. Человек, напоенный такою любовью, – как розовый куст в цвету: он наполняет ароматом своего счастливого сердца всю природу. Это – благо, равномерно разлившееся на весь мир. Припомните по очереди всех, самых хороших, самых добрых людей, которых вы когда-либо встречали, тех «милых спутников, которые наш свет своим присутствием для нас животворили». Припомните лучшие мгновения своего чувства к ним и их чувства к вам – это и будет любовь святая. Кто в состоянии припомнить умиленную улыбку матери над своей детской кроваткой, и свой лепет на ее груди, кто не забыл нежную ласку бабушки или тетки, кому до сих пор дóроги восторги детских игр, упоение юношеской чистой дружбы, – тот знает, что такое святая любовь. На жизненной дороге каждый не раз встречал своего ангела-хранителя – в образе матери или доброго гувернера, в лице брата или любимой девушки, в лице старика-дворового, какого-нибудь гимназического сторожа или уличной нищенки – не все ли люди?

Часто этот ангел-хранитель отходил от нас униженный, оскорбленный, но когда мы, как бы вспомнив свою высокую природу, раскрывали объятия для доброго человека – какое чудное состояние нас охватывало! Это прекрасное состояние, доступное нам лишь изредка, может быть, мне кажется, постоянным настроением натур избранных, как результат коренного перерождения воли – из желания в *жаление*.

Позвольте напомнить вам некоторые истины, которые наверняка вы встречали в жизни.

По захолустным усадьбам иногда путешествует какой-нибудь безместный человек, из привилегированных, но обнищавший. Скромный, добрый, плохо одетый, с небольшим узелком, как странствующий философ. Все, кто имеет собственность, едва скрывают к нему презрение, но любят его, и он этим не тяготится. Где бы он ни показался – его обступают дети, и начинается праздник. Иван Иванович пришел! Иван Иванович сделает волчок, расскажет сказку. Взрослые тоже рады Ивану Ивановичу: он так мил и вежлив, он всегда расскажет что-нибудь новое, хорошее, он книжку принесет интересную. Что-то теплое и уютное входит с Иваном Ивановичем в семью; его почти не слышно, он сидит в уголку со своею доброю улыбочкой, возится с детьми, а всем спокойнее. Вечная грызня супругов затихает, муж становится веселее, жена – ласковее. Гостит Иван Иванович день, другой – и как будто живет целые годы, совсем свой человек – свой, но и какой-то особенный, хороший. Когда он уходит, все сразу чувствуют, что уходит не только человек в пожелтевшем пиджаке, но с ним уходит какая-то приятная атмосфера, как будто климат меняется. Становится пусто и скучно. И дивится помещичья семья: что такое в этом «праздношатающемся» Иване Ивановиче? От него никакой пользы, а без него скучно. В чем же секрет? А просто в том, что Иван Иванович *добрый* человек, чистый и любящий. Ничего, казалось бы, он не сделает и не скажет великого, но и ничего ничтожного, а может быть, все величие человека в том, чтобы не быть ничтожным. Иван Иванович никого не обидит и к каждому относится просто, ласково, хо-

рошо. Дети страшно любят таких, потому что чувствуют искренность их, – а светских любезников боятся. Дети – знатоки сердца человеческого; иной раз они вдруг одобряют грубого, угрюмого человека, – и можете быть спокойны: этот человек, несмотря на суровую наружность, – прекрасный.

V

Удивительные примеры святой любви дают иногда отшельники, особенно русские, так называемые старцы. Представьте себе седенького старичка где-нибудь в лесной глуши, живущего в своей келейке наедине с Богом. Живет себе одинешенек, совсем ушел от мира, от всех страстей его. Но только что он могучим усилием оборвал это притяжение свое к миру, как образовалось другое притяжение – мира к нему. К старичку тянутся отовсюду люди, несчастные, больные сердцем, женщины, дети – и уходят от него успокоенные. Нищий и хилый, он всем дает что-то, что всем нужно до крайности, – он всех утоляет кроткою благодатью своею, тихим словом веры, милосердием брата, способного взять ваше горе к себе в сердце, поплакать с ним перед Богом. Несчастные люди не только бывают исцелены духом, они проникаются восторгом к этому старичку, благоговением к нему. Женщины дарят ему самые нежные и святые выражения своего лица, самые молитвенные улыбки, невинные детки тянутся к старцу со своим лепетом и смехом. К тому же старику прибегают брошенные собаки, иногда волки и медведи, слетается разная птица. Всякая тварь нуждается в ласке и любви и инстинктивно чувствует, где их встретит. Добрый старец с умилением встречает все живое, со всеми делится, что есть у него, всех делает радостными и добрыми. Поглядите, как у добрых людей добры животные. Около дряхлого, одинокого старика образуется творчеством любви его счастливая, родная семья, где есть место и человеку, и хворой собаке, и лесной птице: даже букашки жаль обидеть доброму старичку, и он бережно, как свое дитя, отстраняет ее от себя, если она кусается: «Живи, милая, благо-

словляй Творца!» Любви у него так много, что ее хватает и на спящий мир: старец ухаживает за деревьями, за цветами, как за родными, близкими сердцу существами. Без всякой корысти он поливает их, рассаживает, удобряет землю. И они отвечают на его любовь любовью, они цветут ему и благоухают. Достает святой любви и на остальную природу: на поля и нивы, на голубое небо с его зорями и неугасаемыми огнями ночи, хватает восторга на созерцание всего дивного мира Божиего, среди которого мы живем. И на восторг этот мир отвечает доброму сердцу красотой, то есть немым и вечным призывом любви своей. Душа старца, чистая и ясная, как небо, куда она устремлена, ведет непрерывные, таинственные беседы с Богом, который разум не пытается расслышать: он верит чувству. Вы видите в этой чудной жизни полное отсутствие страстей и океан кроткой любви вокруг него и в нем. Неужели эта святая любовь хуже полового увлечения, «тщета» в сравнении с ним, как говорит Рише? Неужели старичку следовало бы, как 70-летнему Фегу, мечтать еще о связях с барынями, о сладострастной влаге на их «глазках»?

Возьмем еще пример. Вот женщина, чистая, добрая, кроткая. Она жена и мать, на ней лежит много забот и обязанностей – дом, дети, хозяйство. Она одна, и поглядите, как легко и радостно она несет это бремя. С утра до ночи она в движении, она, как добрый гений, как дух света, носится в этом детском шуме, укрощает ссоры и обиды, развлекает, дает занятия, учит, кормит, играет, укладывает спать и будит, она наблюдает за общим порядком, за кухней, за жизнью мужа, за счастьем многочисленной родни и подруг – ее на всех хватает. Со стороны поглядеть – кажется, она должна бы быть каждый день раздавленной: всякая иная женщина дошла бы до острого переутомления в неделю такой жизни. Но наша кроткая всегда свежа, всегда светла и готова вникнуть в каждую радость или каждое ваше горе, как будто в первое, о котором слышит. Откуда берется такая сила? А из святой любви, источника не иссякающего, не глохнущего, как эгоистические страсти. Для доброй женщины нашей все легко, потому что

она все любит, а любимое легко. Эту неизменную доброту, этим теплом и светом, которым она дышит, она всем делается бесконечно милою и родною. Детишки обожают ее всем трепетом своей еще небесной природы, муж благоговеет, считает своим гением-хранителем и вторым сердцем своим, родня, подруги тянутся к ней, как в лечебницу для душевных ран: она словами и улыбками точно накладывает пластыри на язвы ваши, перевязывает их. Бывают такие чудные женщины; хоть изредка Господь посылает их, как вестников иной жизни. И не стыдно ли подумать даже, что любовь такой женщины, которая творит на ваших глазах Царство Божие, – что такая любовь... *плотская*? Что все это чудо произошло от культивируемой любовной страсти, от ее удовлетворения? Что не только муж, но и дети, прислуга, родня, знакомые озарены лишь половым чувством этой женщины? Часто бывает, что это будто бы центральное чувство вовсе подавлено; среди старых девушек, чистых от природы и нисколько не страдающих от своего девичества (страдают нечистые, больные), – среди них попадаются идеальные «тетеньки», которые живут в чужой семье именно в той роли, как описанная кроткая мать. Эти тетеньки и сами любят, и возбуждают к себе самую пылкую любовь всех близких – нимало не помышляя о каких-нибудь половых утехах, стыдясь даже мысли о них. *Жаление* убило в них *желание* и дало мир и радость.

VI

Позвольте привести еще картинку. Вот скромный учитель народной школы. Когда-то он был молод и машинально проделывал «карьеру», учился, добывал дипломы. И вдруг случайность натолкнула его на деревню, на школу. Что, казалось бы, за редкость: «обыкновенная школа». Но добрый человек раскрыл глаза и пришел в восторг, – он нашел что-то особенное в этих «паршивых ребятишках», что не всем видно, нашел красоту и прелесть и сейчас же полюбил эту красоту, приник к ней. Дипломы спрятаны, карьера брошена:

добрый человек погружается в смрад крестьянский, делается деревенским учителем. Пасмурный зимний день, на небольших окнах школы намерзло на два пальца льда, мальчишки сидят в шубенках, и сам учитель в овчине. Пар столбом идет у всех изо рта. Но все рады и довольны, все заняты. Занятия шумные, точно праздник. Худенький учитель в очках среди малышей ходит гоголем, одному расскажет, другого рассмешит, третьему загнет задачу интересную, четвертого спросит урок. Все помогают, все хотят сразу. «Ты, Николай Петрович, меня давно не спрашивал. Ты меня спроси, – что ж все Сеньку да Сеньку...» – плачется один ребенок. «Ну, маху ты дал, Петрович, что задал нам эту задачу. Ни в жисть не решить!» – перебивает другой малыш, лукаво улыбаясь, сам победоносно помахивая грифельной доской. «А я домой не пойду, – басит сбоку третий малыш, – я тут останусь. Слышь, Николай Петрович, право, останусь...» – Что бы ни рассказал «Петрович», слушают жадно, впивают, как молодые губки воду. Работа идет одушевленная – и чем же иным объяснить то чудо, что Петрович справляется с двойным комплектом учеников? Класс кончился – ребята виснут на своего Петровича, тормозят его, не хотят расходиться, да хоть что хочешь делай! Хоть гони их. Петрович радостен, но все же устал, ему прилечь хочется, а тут какой-нибудь Ефремка басит снизу: «И не думай завалиться, – ужо, сбегая домой, похлебаю щей и опять прыскачу. Ты должен сказку дочитать, что опомнясь начали». «А мне коня починить!...» Дети – тираны; влюбленные, они присасываются к вам, как пиявки. И Петрович добросовестно говорит сказки, чинит деревянных лошадок, клеит змеев и сам с ребятишками запускает их летом. Совсем бы не отрывался от детей, если бы не взрослые: и те не хуже детей тянутся к доброму человеку. Старуха-солдатка прибежит поплакаться на мир – надо выслушать ее, погоревать с ней. Придет староста, мужик умственный, спросит насчет Эфиопии – надо и его удовлетворить и, кстати, замолвить словечко о солдатке. «Она такая-сякая», – начнет бурлить староста, а Петрович кротко и мягко докажет, что все помирать будем и нехорошо

очень уж обижать вдову. И староста уйдет мягче и добрее от него. Зайдет Захариха, письмо прочесть от сына, зайдет древний глухой старичок Парфен. «Что тебе, дедушка?» – спрашивает Петрович. – «Да ничего, родной, ничего, – шамкает дед. – Просто пришел поглядеть на тебя, давно не видел». И с делом, и без дела идут к Петровичу, хоть все знают, что ни в чем он не может помочь: он сам едва сыт пустыми щами, он беднее мужика. И все-таки идут, как холодной ночью на огонек, погреться, поговорить, пожаловаться, послушать доброго человека, и всем найдется у него дружеское слово, родное внимание, ласка, все уходят освеженные, приподнятые. – «И добряга же этот Петрович! – говорят мужики: – Живет себе весь век за перегородкой, повернуться негде, всего зипунишка на плечах, а душа-человек! Ни кола, ни двора, ни роду, ни племени – а живет себе и Бога радует!»

У такого Петровича за долгие годы его любви и жизни накапливается столько друзей, самых искренних, близких, что, наконец, весь околоток превращается для него в одну родную семью. Он незаметно делается всем необходимым и желанным: потеряв все, он приобретает все, и все светится, все светится любовью и блаженством любви до самой смерти. Да, скажет на это иная дама, но жаль, что учитель ваш не влюблен в какую-нибудь барышню. Завязалась бы любовная переписка, он мог бы сочинять ей стихи...

VII

Что же такое любовь святая? Она, как мне кажется, есть утонченнейший продукт человеческой души, нечто выше гения, что встречается реже его. Одаренные этим блаженством люди, как крупные алмазы, все наперечет в нравственной истории человечества. Но кроме открытых алмазов, в толще земной есть гораздо больше скрытых; и в нашем обществе, и в толще народной есть никому неведомые праведники, носители любви небесной. Они очень редки, но их надо разыскивать, чтобы увидеть воочию это столь нежное явление природы.

У обыкновенных людей любовь-желание отравлена эгоизмом, она всегда более или менее корыстна. Мать любит сына не потому, что это ребенок, а потому, что он *ее* ребенок, ее собственность, и она готова иногда горло разорвать каждому, кто тронет ее дитя. Для того чтобы оставить детям побольше наследства, обеспечить им карьеру, иная мать способна на любую низость, как Матрена из «Власти тьмы». Иной «любящий» родитель готов заколотить сына, принуждая его учиться и добиваться карьеры, готов разбить ему сердце, если найдет, что женщина, которая ему нравится, не подходяща. Ясно, что такая любовь к детям ничуть не свята; она так же дурна, как половая страсть. То же и любовь детей к родителям, когда она полна корыстного расчета. То же иная дружба, требующая часто полного порабощения одной личности другой. Все эти виды любви, подобно половой страсти – самой сильной – не далеки от ненависти. «Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus á la haine qu' á l'amitié»*, – говорит Ларошфуко. Но существует чистая, святая любовь между людьми, которая лишена этого яда. Безусловно, добрые, искренне благородные люди любят *без эгоизма*. Такие благоволят ко всему, жалеют все, одинаково желают счастья всем и всем дают его, как солнце, которое светит, не разбирая, праведным и грешным. Истинно добрая «святая» мать едва делает различие между своими и чужими детьми, для нее все дети одинаково милы и дороги. Истинно добрый, «святой» друг – друг всех людей, едва отличающий их в своей симпатии.

Вы скажете: это невозможно, таких людей нет, – но я уверен, что они существуют. Мы живем в слишком эгоистическом обществе, в слое людей, поднявшихся над народной массой благодаря силе, хитрости, уму, алчности. Мы сами скрытые (а иногда и открытые) хищники, и, судя по себе, не можем представить себе иной породы душ. Мы слишком злы, чтобы вообразить доброту божественную; в наше представление о любви мы прибавляем хоть немного желчи. Но если

* Если судить о любви по всем ее проявлениям, она больше напоминает ненависть, чем дружбу (Ларошфуко). – В. Т.

спуститься в океан народный и тщательно искать на дне его, как ищут жемчужины, вы найдете, что ищете. И вот, я думаю, нет под солнцем зрелища более дивного, чем такое живое, истинно доброе существо. Это как бы воплотившийся ангел света, выходец из иного мира. О, если бы мы не были слепы, если бы умели увидеть и оценить этих праведников! Романисты и поэты, описывающие развратных красавиц и кавалеров, как вы не догадаетесь поискать, изучить, и увековечить хотя одного богоподобного человека?

VIII

При невежестве или неспособности различать вещи или при умышленном нежелании различать их половую страсть называют «любовью» и думают, что это-то и есть самое чистое и яркое выражение любви в природе. Но это, как уже замечено выше, грубая, а при настойчивости – даже глупая ошибка. Половая «любовь», как всякая страсть, есть в существе своем *воля*, тогда как святая, истинная любовь есть *представление*, выражаясь Шопенгауэровским языком, то есть воля, уравновешенная до гармонии, до разума, до сознания блага жизни. Страсть всегда есть *желание*, тогда как святая любовь – *удовлетворенность*. Разница диаметральная. Полюбить свято – значит быть довольным, влюбиться же (как и возненавидеть) – значит почувствовать недостаток в чем-то и жажду удовлетворения. Страсть как чистая воля всегда обоюдоостра: желание легко переходит в нежелание, влечение к чему-нибудь – в отвращение. Святая же любовь как высшее разумение есть абсолютная удовлетворенность и потому постоянна. Половая (как и всякая) страсть дает только иллюзию любви: в ней «любят» человека так же, как гастроном любит пищу, как скупец – деньги, как честолюбец – ордена и т. п. Это не любовь, а желание; желание же, как бы оно ни было сильно, нельзя смешивать с отсутствием всяких желаний. Святая любовь есть созерцание, чувство бескорыстное и бесстрастное, в отличие от страстей, выражающих собою волю.

Святая любовь – это как любят все прекрасное, чем овладеть нельзя. Темный мир ночи с едва намеченною огнем беспредельностью, капля утренней росы на трилистнике, очарованные песни соловья в глубине сада – подслушайте свой тихий восторг от них: в нем то и дорого, что нет желаний. Вы любите свою мать, сестру; вы счастливы видеть их, вмещать в себя их душу, милую и родную, но у вас нет для себя никаких желаний. В наслаждении искусством, мудростью, знанием только то истинно прекрасно, что не возбуждает желаний, что само удовлетворяет вас без остатка. Святая любовь как удовлетворенность без остатка в своей божественной полноте есть блаженство и дает только счастье в отличие от страстей, всегда отягощенных страданьем. Святая любовь, состояние бескорыстное, бесстрастное, может показаться *бессильною*, до такой степени она свободна от грубой физической природы. В ней *сила* укрощена до начала всякой силы, до разума, и потому в сравнении с бурным процессом страстей святая любовь кажется безжизненной. Между тем она-то и есть источник жизни, как первостихия духа. Подобно тому как распадение пороха производит взрыв, так распадение святой любви дает страсть, устремление развязанной воли по какому-нибудь одному направлению. Любовь святая не материальна, она по настроению своему похожа на гимн божеству. Если мы что-нибудь любим чисто, умилением небесным, нам всегда хочется молиться, и молиться, как ангелы, – не прося, а благословляя. Восхищены ли вы сияющею свежестью природы, ее тайной мыслью, растроганы ли чьим-нибудь благородным поступком или непритворным участием друга, вы невольно обращаетесь в душе к Создателю, благодарите Его, вы возвращаете Ему любовь, которую сейчас получили. Святая любовь не только религиозна: она есть естественная религия, самая реальная и чистая связь с Богом. Может быть, эта любовь есть исходящая от Него на весь мир благодать, отражающаяся в нашем сердце (как в зеркале – лучи света) и идущая к Нему же. Ее высочайшая природа как основной первостихии духа несомненна.

IX

Любовь святая есть высшее *внимание* к любимому существу. Напряженнейшее внимание есть тем самым и любовь. Чтобы любить, надо душою войти в любимый предмет и стать как бы его душой. Любовь святая есть отречение от *своей* личности, готовность всегда воплотиться в иное существо. Вспомните те редкие мгновения, когда вы *чисто* любите кого-нибудь, например двухлетнего ребенка. Вот он лепечет перед вами милым, ломаным голоском. Сияет глазками и улыбками, умиляет вас и приводит в восторг. Не потому он мил вам, что он ваш: можно восхищаться и чужими детьми и любить их. Потому он так мил, что ваше внимание приковано к нему, поражено крайне интересным, всегда радостным зрелищем – свежей жизни, близкой к своему первоисточнику, к идеалу. Никогда мы так не сосредоточены, как когда *любимся* чем-нибудь, то есть устремляем на что-нибудь все внимание, всю душу свою. Вам нравится красивая девушка, красивая природа, красота вообще. Она потому пленяет, что близость ее к идеалу поражает ваше внимание. Как утренняя заря будит в живом царстве предчувствие солнца, так всякая красота будит в душе предчувствие идеала, и мы не можем оторваться от этого вестника света, мы обращены душою, как магнитной стрелкой, к приблизившемуся к нам в красоте нам родственному Духу. Мы любим во всех существах не их самих, а лишь выражение, более или менее приближенное, их первоначального идеала. Сами по себе все вещи на свете незначительны, ничтожны, но они приобретают бесконечное значение, если рассматривать их в их источнике, их «архетипе», как говорили неоплатоники.

Люди не любят от недостатка воображения, от неспособности перейти в другое существо, пожить его радостями и страданиями. Любовь святая есть высшая отвлеченность, забвение себя в ином существовании. Любовь – общение, единение; страстная любовь (половая и иная) есть общение тел, любовь святая – слияние душ. Это внутреннее слияние

есть как бы первая догадка об абсолютном Единстве всего сущего, о тождестве душ в их предвечном источнике. Радость любви, может быть, есть радость этого признания, радость возвращения в общее родное лоно. Есть ли что пленительнее на свете искренней дружбы! Люди до такой степени начинают жить друг в друге, что понимают один другого с полуслова, знают, не спрашивая, что они думают о чем угодно, каждую мысль своего друга встречают как свою, каждое желание его – как родное. Человек, приобретший друга, как бы удваивает свою душевную жизнь; он живет и в себе, и вне себя. Приобретший двух друзей – утраивает себя и т. д. По мере расширения любви вашей вы растете в мире, как духовное существо; если вы полюбите все человечество (то есть достигнете любви, готовой открыться каждому), то душа ваша будет вселенскою душою. Если вы полюбите весь мир тою же святою любовью, то душа ваша сольется с Богом, который есть Любовь. Таков естественный рост души; к сожалению, у огромного большинства людей души остаются в зародышевом состоянии. Они напоминают микробов, не сливающихся в колонии, не способных соединиться, как клеточки нашего тела, в один великий организм. Люди злые, жестокие, лишенные любви, – как хищные микробы – живут только для себя, для своей резко отделенной личности, но зато сфера их жизни так же неизмеримо узка, как у микробов.

Х

Святая любовь упраздняет все низшие, отдельные виды любви. Между святыми невозможно ни половое общение, ни дружба к кому-нибудь одному или немногим, ни любовь исключительно к своим детям. Все эти эгоистические, ограниченные формы любви становятся ненужными, как не нужны свечи и люстры, когда взошло солнце. Это именно и страшит тех, которые иных явлений любви, кроме корыстных, не знают. Но страх этот напрасный. Совершенная любовь не уничтожает ничего, что в низших видах любви было истинно достойного и

святого. Все хорошее включается в святую любовь, – в нее не входит только то, что принижало, уродовало душу. В половой любви, если самое дорогое составляет чистая привязанность, восторг сосуществования с любимым человеком, то это всецело входит в любовь святую, усиленное разумом, очищенное от похоти. В дружбе святая любовь есть высшая дружба ко всему. В любви кровной святая любовь делает всех родными. «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зѐмли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Мк. 10: 29, 30). Святая любовь самым реальным образом раздвигает границы человека до человечества и все благородные виды счастья расширяет беспредельно. Тем, которым страшно любви божественной, жаль утратить в грешной любви не добрые ее начала, а порочные, – жаль эгоизма, с потерей которого, по-видимому, исчезает и сама *личность* человека. Действительно, наша личность основана на эгоизме, на обособленности, отграничении, и потому в существе своем греховна. Маленькое «целое» есть всегда некоторое отрицание Великого Целого, отклонение от Единой воли. Поэтому следует всеми силами души превозмогать свою любовь к личности. Нужно убедить себя, что нечего жалеть потери личности, – следует стремиться к такой потере. Ведь человек, душа его, вовсе не в личности его, и с утратою ее не только не исчезает, а, в сущности, только рождается. Человек, сведенный к личности, совсем ничтожен: в физическом смысле это три-четыре пуда всякой смеси, в психическом – вечное желание есть, пить, спать, удовлетворять сладострастие и т. п. и вечный страх лишиться всего этого. Психика крайне ограниченная. Собственно *дух* начинается вне всего этого, вне еды, питья, сна и т. д. Когда мы что-нибудь любим, о чем-нибудь мыслим, когда живем в сфере знания, искусства, совести, – мы всегда вне своей личности, мы выходим из нее в мир и сливаемся с миром. Да, даже теперь, при теперешнем несовершенстве, мы лишь постольку

люди, поскольку не личности. Это все равно что улитка: она до тех пор и похожа на живое существо, пока не прячется в свою раковину. Стоит человеку скрыться в эгоизме своем, он омертвевает, психические волны, исходившие из этого едва видимого тела и обтекавшие мир, мгновенно втягиваются в это «я», и все существо делается крохотным, близким к нулю. Наоборот, посмотрите, как растет дух человека, отрешившийся от личных целей. Двенадцать галилейских рыбаков, нищих и безоружных, покоряют мир.

XI

Святая любовь осуществляет истинные блага жизни в полноте их, тогда так страсти при крайнем напряжении дают лишь какое-нибудь одно, ограниченное благо, не насыщающее, а только дразнящее волю. Возьмите любой вид счастья: довольство жизнью, мир, свободу, любовь ближних, сознание своей нужности для людей, сознание бессмертия. Ни одна из низших форм любви, «восьми страстей» (по счету пустынников) не дает довольства *жизнью*. Сластолюбие стремится удовлетворить желудок, но и только, сладострастие насыщает половое чувство – и только, и т. д. Все вместе страсти не дают удовлетворения жизнью, потому что они только *стремятся* насытить похоти, но не насыщают их, а лишь раздражают. Только в любви святой, где нет похотей и нет стремления погасить их, является полное довольство жизнью. Когда ничего особенно не хочешь, то все одинаково любишь, все нравится, всем доволен. Вы скажете, что, когда нет желаний, является отвлечение к жизни. Но это неверно. При отвращении к жизни, действительно, исчезают все желания, но кроме одного: *желания желаний*, самого мучительного, потому что оно по природе своей неудовлетворимо. Вы не хотите ни женской любви, ни вкусной пищи, ни почета, ни денег и пр., но когда-то вы слишком привыкли к хотению всего этого, и неспособность хотеть теперь вас мучит. Это своего рода *impotentia*, *распространенная* на все похоти: желание желаний не исчезает. Другое дело,

если и прежде все желания у вас были обузданы, если они не развивались в страсти. При полном подавлении их вам их не жаль, и если вам ничего не хочется, то устанавливается сама собою полная удовлетворенность, то есть довольство жизнью. Отношения к миру, основанные на *хотении*, меняются на отношения, которых принцип – *любованье*, то есть любовь.

Возьмите величайшее благо – мир душевный. Ни одна из страстей: ни чревоугодие, ни сладострастие, ни тщеславие, ни сребролюбие, ни гнев, ни печаль, ни уныние, ни гордость – ни одна из этих низших, уродливых форм любви *к себе* не дают *мира*, того блаженного, внутреннего покоя, который дает любовь святая, любовь *не к себе*. Напротив, все эти виды эгоизма по существу своему уже суть раздор, нарушение мира, война одной стороны воли против всех ее сторон. Какой тут мир! Тут вечная тревога, стремление и страх. Пока страсть не удовлетворена, она не дает покоя, как больной зуб; удовлетворили ее на время – выступают иные страсти, иные терзания. Надо заметить, что раз одна страсть возобладала – следует непременно ждать взрыва и другой, третьей и т. д. Присутствие одной страсти доказывает расщепление воли: один ствол духа как бы дробится на свои волокна, на отдельные, не связанные стихии. Все они, разошедшись, начинают жить отдельной жизнью, выхватывая из общей экономии все, что возможно, жадно обкрадывая друг друга. Не бывает периода *страсти*, а бывает период *страстей*, и общий мир души нарушается не одним способом, а множеством их. Припомните типические случаи людей, подавленных какою-нибудь страстью: гнев Нерона или Ивана Грозного шел не один, а в сопровождении сладострастия, тщеславия, уныния, сластолюбия, скупости и пр. В душе таких людей идет даже не война, а «междоусобная брань». Сравните с этим состоянием тот мир, ту счастливую тишину духа, которую дает любовь святая. Тут не может быть борьбы, раздора, тревоги, сомнения, колебаний, заблуждений и раскаяний, не может быть страданий, потому что любовь святая есть чувство всего как блага и отсутствия хотения. И потому она – мир. «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам»

<Ин. 14:27>, – говорил Тот, Кто сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга...» <Ин. 13:34>.

Возьмем еще великое благо – свободу. Без рассуждений ясно, что все низшие, эгоистические формы любви страшно связывают человека; выработалось даже ходячее выражение – «раб страстей». Ни одно внешнее рабство не доходит до такого деспотизма, как это, внутреннее. Подчинившись любовной страсти, граф Мюффа бежит на четвереньках по приказанию Нана и ведет себя по-собачьи. Захваченный другою страстью Плюшкин обкрадывает себя, морит голодом и холодом, не имеет сна. Это не свободное их решение, потому что они страдают от него, хотя изменить не могут. Не то в царстве святой любви. Так как там нет хотений, а лишь довольство, то и вопроса не может быть о рабстве. Любовь есть полнота свободы как состояние неистощимого удовлетворения. Человек, любящий святой любовью, ничего отдельного не требует, ничего особенного не желает и *всему* радуется как желанному, потому что все для него – желанное, все – воля Отца, которая «да будет» как она есть. То, что отдельно хочет, этим самым хотением связано и страдает; любовь святая – выше этого: она не хочет и, значит, со всем согласна.

ХII

Мне могут сказать: значит, святая любовь одинаково любит и ребенка, и разбойника, который выкалывает ему глаза? Значит, для святой любви нет ни добра, ни зла, ни нравственного долга бороться со злом? На это я отвечу, что действительно, святая любовь любит одинаково и ребенка, и разбойника. Если это психически невероятно и невозможно для огромного большинства, то это лишь по нашему нравственному несовершенству, для высшей же праведности, я думаю, это возможно. Видя жизнь с ее низшими формами любви, с ее эгоизмом и неизбежными для него страданиями, святая любовь прозревает как бы в глубь природы, далее поверхности вещей, и в глубине, может быть, видит совсем не те картины, какие видим мы. То,

что для нашего зрения кажется бессмысленным, ужасным, то, может быть, само в себе, в своем вечном значении полно благого смысла. Мы смотрим на жизнь сквозь наше искривленное сознание; подобно тому как сквозь кривые стекла дома можно подумать с улицы, что отец душит ребенка, тогда как он его щекочет, так и сквозь иллюзорное сознание наше все факты жизни могут быть извращены относительно их абсолютной сущности. Может быть, разбойник, замучивая ребенка, то есть его временное, мгновенное тело, – тем самым спасает его душу. Может быть, это мучение необходимо для спасения самого разбойника, для пробуждения в нем искры совести. Может быть, это злодейство нужно для того, чтобы потрясти слишком неподвижные души других людей. Я не решаю вопроса, мотивы Высшей воли мне неизвестны, но если верите в эту Волю, то нужно верить также, что она *Благо*, что страдания наши суть только дурно понятые нами блага. Если признавать только *этот* мир и никакого иного, от которого этот зависел бы, то страдания и наслаждения, как и вся духовная жизнь, представлятся бессмысленными. Все тогда случайно, и добро и зло, и нет меры ужасу души, сознавшей затерянность жизни в безднах смерти, беспомощность ее. Но многое заставляет думать, что наш мир, чувствуемый телесно, не исчерпывает природы, что он только *видение*, сансара, а корни его таятся в иной, сверхчувственной области, и там окончательная разгадка того, что здесь кажется непостижимым, нелепым.

По мере движения человечества оно все более и более входит в область непостижимого. Для дикаря все естественно, все просто, так как самое нелепое объяснение его удовлетворяет. Дикарь без колебания думает, что облака – живые существа и гром – их голос. На этом он совершенно успокаивается. Варвар с некоторым уже сомнением считает облака студенистым веществом, а гром – шумом колесницы пророка. Образованные люди знают, что облака – пар, молния – электричество, но смутно сознают, что назвать явления «паром», «электричеством» еще не значит объяснить их, и что в названных явлениях что-то кроется загадочное, неизвестное. Ученые люди

знают, что облака состоят из бесконечного множества водяных шаров, а вода состоит из двух простых тел, а что такое простые тела – они не постигают. Все тела и воздух проникнуты эфиром, свойства которого известны, а что такое эфир – вопрос неразрешимый. Заметьте: чем дальше развивается человечество, тем ближе и ближе оно подвигается к абсолютному незнанию, к непостижимости, к чуду. По мере развития человека в этой узкой области внешнего миропонимания он все углубляется и углубляется, ощупью следит за выющимися в бездну корнями явлений, пока не наталкивается на неодолимую преграду, на чудо. С физической стороны давно ясно, что мир, каким он кажется, не есть такой сам по себе, что мы улавливаем лишь момент в его бесконечной жизни, что целые пучины явлений для нас неведомы, так как у нас нет даже органов, которые воспринимали бы, например, известные эфирные колебания. То же и в жизни нравственной: становится ясным, что эта жизнь есть лишь *продолжение* иной, не только начавшейся в «потустороннем мире», но что и теперь здешняя жизнь имеет какую-то роковую, таинственную связь с нездешней, получая от нее мотивы, и может быть, самое питание духа. Начинает быть ясным, что жизнь, начатая не здесь, не здесь и кончится, и что живому, существу, нет конца. Отсюда разница во взглядах на страдания жизни: мы, несовершенные, которым открыто лишь одно мгновение жизни, не в состоянии объяснить себе его разумно, как зритель, которого среди комедии ввели бы в залу и через минуту увели. Во всей своей *полноте* и потому *разумности* жизнь открыта лишь совершенным людям, тем, что отрелись от своей личности и связанных с нею условий ограничения (места, времени, причины), тем, которых сердце познало тайну блага, тайну любви Божией, творящей и поддерживающей жизнь. Этим совершенным людям зло открывается как добро, как выполнение нужного и благого. Даже при теперешней душевной грубости мы в состоянии верить, что страдания (зло) даются нам для преодоления их, для движения нашего к благу, что страдания необходимы для нравственной жизни, которая по самой природе своей есть сознательная по-

беда над злом. Мы в состоянии верить, что страдания будят человека, очищают его, выжигают в нем нагар и грязь жизни, влекут его на истинный путь, с которого он сошел. Для зрения же просветленного святой любовью эта роль зла еще яснее. И потому святая любовь должна, мне кажется, любить злых людей, как завещал Христос.

ХIII

Отсюда, конечно, не следует вовсе, что не надо бороться со страданиями, не надо препятствовать злу. Непременно надо, так как, повторяю, они даны для преодоления их, в борьбе с ними и заключается даваемое ими благо, то есть то, за что они заслуживают любви. Воздух – препятствие для полета, вода – для плавания, но непременно нужно преодолеть это препятствие, чтобы полететь или поплыть. Только тогда зло начинает – как воздух и вода – обнаруживать свою благотворность, когда мы начали его преодолевать. Поймите, что самый смысл зла – в борьбе с ним. Но преодолевать зло – как лететь и плыть – нет *многих* способов, а есть только *один*, единственный, достигающий цели. Этот способ – противопоставить препятствию обратную ему силу, энергии зла противопоставить энергию добра. Раз это понимаешь, то борешься со злом без злобы, а с любовью, как плывущий человек не проклинает поддерживающую его воду, а благословляет ее. И уже мы, несовершенные, иногда в состоянии любить зло, преодолевая его, – люди же святые не знают иных чувств, кроме святых, где злобе нет места. Я себе так представляю, что любовь святая, увидев в жизни глубокое страдание и зная, для какого блага оно дано, принимает двоякое участие в этом деле. Она притекает к страждущему и внушает ему силу для преодоления зла, то есть облегчает ему достижение таящегося в зле блага. С другой стороны, та же любовь притекает к источнику зла, например к сердцу разбойника, режущего ребенка, и, заражая его собою, дает силы преодолеть в себе злобу. Ведь разбойник в этот момент тоже жертва, он гибнет, более чем ребенок в его

руках. Разбойник нуждается в спасении – и любовь спасает его в меру воли Божией, в меру готовности его к спасению.

Нет сомнения, что совершенство святой любви нам недоступно, но нам всем доступно стремление к такому совершенству и успехи на этом пути. Пока мы стремимся, любовь наша отравлена примесью эгоизма и неразрывного с ним страдания, – но чем дальше, тем эта примесь меньше. Поэтому совершенного счастья доступная нам любовь дать не может, однако от нас зависит приближать это счастье путем увеличения любви. Важно иметь ясное сознание, куда идти. Идти ли в ту или иную страсть или в омут их, или стремиться в сферу, где страсти очищены, обезврежены, где из них извлечены одни живые и радостные начала, – в сферу святой любви. Пусть вы никогда не достигнете центра этой сферы, но всякое усилие ваше оплачивается, каждый шаг обогащает.

Недоверие к мысли, что такое блаженное состояние души возможно, происходит от чрезмерного порабощения низшим, эгоистическим видам любви. Как эскимосы смеются над туристами, рассказывающими им о южных странах, мы склонны считать утопией, праздным измышлением все толки о святой любви, о вечном братстве людей, о вечном мире и благоволении. Неужели возможны области, где нет льда и снега, нет колючих морозов, где можно ходить в одной рубашке и рвать плоды с дерева? Вспомните, как часто мы считаем утопией то, что не только потом сбывалось, но случалось и раньше, даже с нами самими. Ничего нет печальнее веры в настоящее, на ней жизнь нравственная прекращается.

XIV

По черствости своей, по нравственному варварству мы привыкли представлять себе добро – дело любви – в очень грубой, прозаической форме. Добро – это непременно что-нибудь материальное: хлеб, одежда, деньги, вещи и т. п. «Делать добро» – синоним «благотворить», а благотворительность у нас исключительно материальна. А между тем главная нужда че-

ловеческая – **вовсе не в материальном добре**: это только минимум любви, какую обязан оказать человек человеку. Голодного накорми, нагого одень и пр., – это заповеди, но еще не идеал. В идеале любовь не материальна и бескорыстна, она *сама по себе* есть величайшая милостыня, и самая нужная, в какой все нуждаются. «Голодного накорми», конечно. Но он сердцем-то, может быть, голоднее, чем желудком. Он, быть может, умирает от одиночества, от потерянности в этом «людном мире, как в глухой пустыне», от страшной заброшенности своего существования. Голод – **вещь ужасная, но фунт хлеба в любой лавочке** – и голода нет. А что делать, если вы вдруг видите, что вы забыты всеми, так-таки всеми на свете, ни одного около вас близкого, ни одного родного человека. Некуда деться, некуда сунуться, приютиться – все чужие, холодные люди. То есть все свои, все братья, но позабывшие, что они свои и братья. Не думайте, что такие брошенные люди только в трущобах, – нет! В трущобах гораздо больше истинной дружбы, чем в богатых хороммах. Обездоленные любовью встречаются и среди избранной интеллигенции, и сколько их! В самом центре столицы, среди писателей, среди тех, кого имя и душу знают сотни тысяч народа, есть горькие сироты, которым не только «руку пожать», а и протянуть-то руку некому «в минуту душевной невзгоды». Знакомых много, *друга* нет. Тысячи друзей-читателей где-то там, в пространстве, иногда пишут горячие письма, выражают сочувствие, – но кто они такие? Какие у них лица, какие глаза, какой голос? Не миф ли они, не алгебраические ли знаки? Когда читают «горячую статью», сочувствуют, а чувствуют ли они теперь, в этот момент, что «глубокоуважаемый автор» – один, как в могиле, один со всеми своими личными терзаниями, брошенный, одинокий?

Такие же затерянные есть и среди артистов, художников, ученых. Сейчас артиста провожали громом рукоплесканий, тысячи глаз сияли ему из партера, – а занавес спущен, едет артист куда-нибудь в глухой переулок, в одинокую, холостую квартиру, его встречает деревянная мебель, письменный стол, кровать... неподвижная, молчаливая «семья», среди которой он

бродит такой же безмолвный. Есть одинокие и среди блестящих дам, красавиц, окруженных сворой не менее блестящих кавалеров. Иной красавице расточаются высокопарные комплименты, перед нею готовы ползать от восторга, но в глазах кавалеров, сколько бы красавица ни всматривалась в них, она ничего не подметит, кроме самого скверного желания: ни искорки жалости, простого, человеческого сочувствия. «Богиня» может переживать в душе целый ад тоски и горя, и никто этого не заметит. Есть такие одинокие и среди ученых, государственных людей, осиротелые, пережившие всех старики или не нажившие себе близких сердцу. Вот истинные нищие, которые изнывают в жажде любви, душа которых кричит в эту темную пустыню мира: милости хочу, не жертвы!

«Они сами виноваты, если у них нет друзей». О, да – всего вероятнее, что сами виноваты, но от того им не легче. И уличный попрошайка сам, вероятно, виноват, что у него нет гроша на хлеб. Не все ль равно? И что же нужно для таких несчастных? А вот все той же любви, сердечного рукопожатия, доброй улыбки, немного родного сочувствия. Поглядите, как растеряется такое заброшенное существо от радости, просто до смешного! Сколько благодарности и волнения – и все за один звук дружбы...

Но кроме таких, уж очень голодных любовью людей, есть бесчисленное множество, так сказать, недоедающих, недокормленных в этом отношении душ. Да все мы! Кто страдает от избытка искренней дружбы, от избытка любви? Возьмите какого-нибудь великого человека, возбуждающего пожар мысли, управляющего настроением миллионов людей. К нему, как к богу, тянутся из пространства благоговеющие души. Он для них родной... но они для него незнакомые, чужие, самое существование которых для него не ясно. Можно было подумать, что Гете под старость окружен был всем Олимпом германской интеллигенции, что все избранное теснилось к его старческому креслу. На диване он проводил дни одиноко и рад был какому-нибудь Эккерману, усаживал его обедать, отводил душу... Лейбница⁷¹, когда он умер, провожал в могилу один лишь старый слуга. Все мы, говорю я, не богаты дружбой, если

понимать это святое слово в святом значении. И потому культ дружбы необходим, культ благожелательства, чистой любви к человеку. Надо, чтобы все были окружены атмосферой симпатии неистощимою, неисчерпаемой, чтобы на всех хватило добрых улыбок, горячих рукопожатий, милого блеска глаз. Вот и милостыня, и хлеб, спасающий от смерти. Хорошее, доброе слово? Конечно, но любовь истинная и без слов хороша, точнее – она все слова делает хорошими. О чем бы ни шла речь, все пойдет к сердцу, если пошло из сердца. Что значит материальная милостыня в сравнении с такою, бескорыстной? И если бы была такая, бескорыстная, то материальная уж и подавно была бы для всех обеспечена.

XV

Недоверие к божественной любви, недостаточное уважение к ней происходит от невежества большинства людей в этой области. Крайняя моральная неразвитость не позволяет связать нравственные явления в систему и найти их высший принцип. За такой принцип поэтому принимают часто третьестепенное явление. Одни, например, верховным началом ставят ум, другие – красоту, третьи – даже физическую энергию. Это как человек, запутавшийся в рукавах реки, принимает иногда незначительный проток за главное русло. Настанет, однако, время, когда все поймут, что не ум, не красота, не сила составляют Душу жизни, а Любовь, из которой все эти явления истекают и в которую возвращаются.

Ум светит тысячами глаз,
Любовь глядит одним,
Но нет любви – и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым...*

Гений человеческий в какой бы то ни было области есть разновидность любви. Нельзя проявить творчества, нельзя

* Я. Полонский. – В. Т.

узнать глубоких тайн природы или души, не устремив на них напряженного внимания, а это уже есть любовь. *Tout comprendre – tout pardonner**; я сказал бы: все увидеть – значит все полюбить. Обыкновенно мы потому не любим вещей, что не знаем их, а не знаем потому, что не любим их, не разглядываем, как следует, видим в них не все, а лишь нечто. И это нечто, оторванное от своего целого, является нелепым и противным. Вместите в себя все, и вы поймете все и полюбите. Ибо все в мире, вышедшее из Всеблаготворительной любви, достойно любви, и погрешают не вещи, а наше отношение к ним. Когда мы чем-нибудь любимся, мы угадываем самое прекрасное, самое сокровенное в предмете, ощущаем невидимое присутствие чего-то самого дорогого, высокого. И смотря по степени любованья, перед вами раскрываются все тайники, все мельчайшие подробности данного существа. И все они кажутся милыми, так как уже заранее признан дивным источник этих тайн. Любовь – это та высота сознания, где оно делается как бы беспредельным, выходит за все условия, ограничивающие вещи и придающие им реальность. Как *безграничное* сознание, любовь неопределима, она не может в терминах ума (который весь основан на ограничении) выразить, почему она любит, откуда в ней это сладостное, блаженное состоит. Разум любви не вмещается в язык обыкновенного знания, но не потому, что он *ниже* ума, а потому, что несравненно выше. В любви сознание как бы выступает из берегов и затопляет собою мир. Все в нее входит, она все чувствует и в себе содержит.

Любовь заканчивает собою душевное развитие и есть высший разум; при ней разгадываются даже те загадки, которые непосильны уму. В любви несчетное число познаний перебрало, сочеталось, слилось в одно ясновидение, в один внутренний свет, который все знает и потому *не может* чувствовать себя иначе, как любовь ко всему. Такой разум нельзя приобрести произвольно. Для появления его на свет необходимы, как мне кажется, великие нравственные усилия целых поколений, необходима долгая, тщательная культура души,

* Все понимать – значит все прощать (фр.). – В. Т.

подбор добра. Необходима героическая решимость идти к совершенству и во что бы ни стало добиваться света. И сверх того нужно, может быть, особое соизволение Высшей Любви, делающей те или иные существа выразителями своими. Но кто знает, далек он или близок от этого блаженного состояния. Все должны стремиться к нему, и всякий приближается к нему в меру стремления. Пусть, по слабости своей, вы лично не заслужите преображения, но ваши усилия, слившиеся с другими, создадут ту школу, ту культуру любви, в которой легче будет достигать тех же целей будущим поколениям, то есть нам же самим, если мы верим в неумирающую жизнь. Нужна культура, – правильнее, культ этой святой любви, который сменил бы собою все прежние, варварские культы, основанные на обожествлении плоти.

XVI

Я чувствую, что многим не ясна связь между разумом и любовью, между любовью и красотой. Мы привыкли встречать эти стихии отдельно. Преломляясь в нашей сложной и потому ограниченной душе, подобно лучу света в призме, творческая сила жизни доходит до сознания в различных цветах, в различных категориях блага, одинаково пленительных и таинственных. Цвета различны, но нужно твердо помнить, что между этими различными откровениями блага – добром, истиной и красотой – нет нравственного противоречия, что все они – как бы три ипостаси одной любви. Не может быть добра без любви, но не может быть и разума, и красоты без нее. Разум в своей первоначальной сущности есть повторение природы в нашем сознании; он ничего не творит сверх сотворенного, он только улавливает. Разум есть внимание, глубочайшее прислушивание души к миру. Но для этого необходима страстная *заинтересованность*, то есть влечение к миру, то есть *любовь* к нему. Гений, талант есть не что иное, как повышенная любовь к тому или иному предмету, любовь, заставляющая вперять взоры в неизведанное, затаив дыхание, внимать ему,

подмечать малейшие изменения, исследовать с величайшим тщанием самые мелкие, едва видимые подробности. Гений, подобно орлу, вечно насторожен, вечно прислушивается через свое тело к миру, все силы духа тратя на то, чтобы *все* услышать, все узнать. Из самых темных глубин, из бездонных родников духа гений достает иногда с тяжкими усилиями тайны природы. Он неустанный работник – и что же заставляет его трудиться, если не любовь? Что тянет его к вещам и явлениям, заставляет всего себя отдавать созерцанию, жажде вобрать в себя и претворить в себе все видимое? Возьмите холодного педанта, посредственность, не идущую дальше подражания. Почему эта посредственность не идет дальше заимствования уже известного? Да потому, что ей и этого довольно и даже много (почему подражание никогда не достигает силы подлинников). Посредственность мало любит, она удовлетворяется своим «я», ее не тянет в глубь природы. Она потому только не замечает нового, что ничто для нее не интересно, ничего она достаточно не любит. Не говорите о «мучениках искусства», которые, несмотря на каторжные усилия, не добиваются успеха. Я думаю, они мучатся не от любви к природе, а от любви к себе. Эгоизм заставляет их неудержимо поворачиваться к самим себе, заслоня мир собственной особой. Работая из расчета и тщеславия, они стремятся не к выражению милого облика природы, не к воплощению красоты, а к внешним выгодам, которые дает искусство. Поэтому, как и во всякой страсти, им достаточно одной внешности: душа вещей им не нужна. Как скупцу не нужна покупная сила денег, а лишь сами деньги, как сладострастнику не нужна душа женщины, а лишь ее тело, так и посредственный человек удовлетворяется в мире материей, – дух же, самое существо материи, он не замечает: на это не хватает у него жажды любви. Так называемая глупость есть равнодушие ко всему; где равнодушие оканчивается, начинается ум. Посмотрите, какие успехи делают заведомо глупые люди в том, к чему открывается у них влечение. В этом узком направлении из души глупца, как из щели электрического на-

глухо закрытого фонаря, вырывается луч яркого света, освещающий далекое пространство, тогда как со всех иных сторон продолжает стоять иногда полная тьма.

На ум как механизм души я смотрю, как на несовершенную любовь. В этой стадии развития любовь еще не разобралась в вещах, не взвесила их в себе, а только взвешивает: прежде чем проникнуть в них, она ощупывает их, узнает извне. Поэтому понимание, свойственное этой степени любви, так изменчиво, так безумно. К одной и той же вещи ум в разное время и у разных лиц может отнести крайне различно; это любовь бредящая, блуждающая, ищущая дороги. Но что это все-таки любовь, а не какая-то самостоятельная сила, доказывает то, что ум действует лишь в пределах интересного. Переставая интересоваться, то есть любить что-нибудь, ум исчезает.

XVII

В точно таком же отношении к любви находится и *красота*. Это не есть какая-нибудь особая стихия – это лишь один из лучей душевного спектра. Красота для нас есть то, что нам нравится, то есть то, что мы любим, а любим мы то, что интересно, то есть что дает какое-то удовлетворение, какое-то благо. Красота есть найденное нами в природе выражение ее любви к нам. Так как начало жизни – Любовь, то и жизнь – сплошная красота, и если мы этого не ощущаем, то лишь вследствие эгоизма и ограниченности нашей.

Красота потому лишь и пленяет нас, что она – любовь; это чувствует безотчетно всякий. Вам кажется прекрасным голубое небо с серебристыми облаками, но именно такое небо – самое благодетельное, самое доброе для вас, оно обвеивает вас лучшим воздухом и умеренною полнотою света и тепла. Вам нравится тело Аполлона – но именно потому, что оно есть выражение высшего блага тела: высшей соразмерности, свежести и здоровья. Вы пленены лицом Мадонны, но потому именно, что в нем видите образец богорождающей кротости и чистоты, воплощение самого нужного, самого бла-

гого для вас. Вы растроганы музыкой великого композитора, но это потому, что она извлекла из души вашей те высокие, благородные настроения, в которых вы только и чувствуете себя любящим духом. Во всем прекрасном вы встречаетесь с тем, что дает самое нужное для жизни, самое благое, то есть доброе. Красота, льющаяся вам в душу, все равно – от заоблачной ли грани гор, с поверхности ли пустынного океана, из дорогих вам глаз друга или распутившейся незабудки – она всегда добро, всегда есть то, что привлекает вашу любовь; она сама в источнике своем есть любовь. По мере расцвета святой любви в душе человека растет и красота мира, он преображается, делается божественным.

Красота, как и истина, заключается не в вещах, а в *отношении* нашем к ним. Прекрасное есть то, к чему мы относимся *благородно*, с любовным вниманием. Как для великого мыслителя нет незначительной вещи, так для тонкого художника нет вещи некрасивой, для человека доброго – неприятной. Гений любви облакает все жизнью и значением, дает ключ к откровению прекрасной тайны, скрытой во всех вещах. В существе природы нет ничего безобразного (как и злого) – есть лишь открытая красота, видимая, или красота скрытая, еще не рассмотренная, для которой, как для спящей царевны, еще не явилась любовь, которая бы сделала усилия найти ее и разбудить. Для великого сердца нет ничего недостойного любви. Оно своими биениями совпадает с сердцем мира, оно откликается и на вибрации атомов, и на течение миров, движимых любовью Вечного.

КОММЕНТАРИИ

РАЗДЕЛ I РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Чего забывать нельзя

Впервые опубли.: Новое время. – 1907. – 4 (17) января. – № 11068. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1915) – русский флотоводец, адмирал (1905), член Государственного Совета, правый государственный деятель. Происходил из дворян Тверской губернии. Службу начал на Балтийском флоте. Дважды бывал в кругосветных плаваниях. Будучи командиром крейсера «Минин», совершил на нем плавания к берегам Центральной Америки и в Средиземное море. В 1900 г. Бирилев получил чин вице-адмирала и в 1904 г., после отъезда вице-адмирала С. О. Макарова на дальневосточный театр военных действий, был назначен командующим Балтийским флотом и военным губернатором г. Кронштадта. В июне 1905 г. Бирилев был также назначен морским министром, стал членом Государственного Совета.

² Макаров Степан Осипович (1848/49–1904) – российский флотоводец, океанограф, вице-адмирал (1896). Под руководством Макарова осуществлены две кругосветные экспедиции (1886–1889 и 1894–1896), а также два арктических плавания (1899 и 1901 гг.). Им разработана тактика броненосного флота, адмирал исследовал проблемы непотопляемости и долговечности кораблей. Являлся автором идеи и руководителем строительства ледокола «Ермак»

и др. В начале русско-японской войны командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшимся на mine.

³ Чухнин Григорий Павлович (1848–1906) – русский флотоводец, вице-адмирал. Являлся начальником Морской академии и кадетского корпуса (1902–1904). С 1904 г. – главнокомандующий Черноморским флотом. Был убит эсером матросом Я. С. Акимовым.

⁴ Строчка из баллады Иоганна Фридриха Шиллера «Торжество победителей» (*Das Siegesfest. – 1803*) в переводе В. А. Жуковского (1829): «Сколькох бодрых жизнь поблекла! / Сколькох низких рок щадит! / Нет великого Патрокла! / Жив презрительный Терсит!» Патрокл – один из героев «Илиады», погиб от руки Гектора под Троей. Терсит – один из участников Троянской войны, физический и нравственный урод. Эпитет «презрительный» употреблен в значении «ничтожный». Иносказательное выражение сожаления об ушедших из жизни достойных людях, о несправедливости судьбы.

⁵ Дубасов Федор Васильевич (1845–1912) – русский флотоводец и политический деятель, адмирал (1906). Командовал Тихоокеанской эскадрой (1897–1899). Являлся в 1905–1906 гг. московским генерал-губернатором. Участвовал в подавлении крестьянских восстаний в Черниговской, Полтавской и Курской губерниях и вооруженного восстания в декабре 1905 г.

⁶ Алексеев Евгений Иванович (1843–1918) – русский военный и государственный деятель, адмирал (1903). Главный начальник и командующий войсками Квантунской области и русскими морскими силами на Тихом океане (с 1899). Участвовал в подавлении Ихэтуаньского восстания. Наместник на Дальнем Востоке в 1903–1905 гг. Во время русско-японской войны являлся главнокомандующим сухопутными и морскими силами (по октябрь 1904 г.). С 1905 г. назначен членом Государственного Совета.

⁷ Небогатов Николай Иванович (1849–1922) – русский флотоводец, контр-адмирал, участник Цусимского сражения. С 1888 г. – командир канонерских лодок «Гроза» и «Град»; в 1894 г. – капитан 2-го ранга и командующий крейсером. В 1896 г. окончил Николаевскую морскую академию. С 1895 г. – флаг-капитан штаба командующего Практической эскадрой Балтийского моря, флаг-капитан берегового штаба старшего флагмана 2-й флотской дивизии, командовал 4 и 16 флотскими экипажами. С 1896 г. – командир броненосного крейсера «Адмирал Нахимов». В 1900–1901 гг. – командир броненосного крейсера

«Минин». С 1900 г. – помощник начальника Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. С 1901 г. – контр-адмирал. С 1903 г. назначен начальником Учебного отряда Черноморского флота. В январе 1905 г. занимал должность командира Первым отдельным отрядом судов Тихого океана. В мае 1905 г. участвовал в Цусимском сражении в качестве младшего флагмана на эскадренном броненосце «Император Николай I», после выхода из строя флагмана принял командование эскадрой. 15 мая 1905 г. сдал японскому флоту эскадренные броненосцы «Николай I», «Орел», броненосцы береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» и «Адмирал Синявин». В августе 1905 г. за сдачу в плен исключен со службы с лишением чинов и «с последствиями». В декабре 1906 г. приговорен судом к смертной казни, замененной 10 годами крепости. В 1909 г. был помилован после 25 месяцев тюремного заключения.

⁸ Нахимов Павел Степанович (1802–1855) – русский флотоводец, адмирал (1855). Участвовал в Наварринском сражении 1827 г., являлся ближайшим сподвижником адмирала М. Р. Лазарева. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. командовал эскадрой Черноморского флота. Благодаря решительным действиям Нахимова главные силы турецкого флота были заблокированы в Синопе, а затем разгромлены во время Синопского сражения 1853 г. Возглавлял героическую оборону Севастополя 1854–1855 гг., был смертельно ранен на Малаховом кургане.

⁹ Диков Иван Михайлович (1833–1914) – российский флотоводец, вице-адмирал, председатель Морского технического комитета, главный инспектор минного дела. С 1906 г. – морской министр. Оказывал содействие изобретателю А. Попову в его экспериментальной работе.

Великорусская партия I

Впервые опубл.: Новое время. – 1907. – 8 (21) мая. – № 11189. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Дмовский Роман Валентинович (1864 – после 1917) – польский политический деятель, публицист. Выпускник Императорского Варшавского университета. В 1892–1893 гг. подвергался преследованиям по политическому делу, был посажен в тюрьму. В 1895 г.

эмигрировал в Австрию. Возвратившись в русскую часть Польши, стал лидером народно-демократической партии. В 1907 г. был избран во Вторую, а затем и в Третью Государственную Думу, где являлся председателем политического коло. В 1909 г. отказался от полномочий депутата. Автор книги «Германия, Россия и польский вопрос» (1909).

² Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – русский историк, этнограф, писатель, профессор Императорского Киевского, а затем Императорского Санкт-Петербургского университетов. Один из руководителей Кирилло-Мефодиевского общества. Создал труды по социально-политической и экономической истории России. Его труды изданы в собрании сочинений (Спб. – 1903–1906. – Т. 1–21). Опубликовал также сборники стихов «Украинские баллады» (1839), «Ветка» (1840), пьесы «Савва Чалый» (1838), «Переяславская ночь» (1841).

Великорусская партия IV

Впервые опубликовано: Новое время. – 1907. – 21 июня (04 июля). – № 11232. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Снарский Антон Теофилович (р. в 1866) – историк, политический деятель.

² Крушеван (Крошеван) Павел Александрович (1860–1909) – писатель, журналист, депутат II Государственной Думы, организатор Союза Русского Народа в Бессарабии. Дворянин, происходил из обедневшего, но знатного рода. Чиновник Кишиневской городской думы. Беллетрист, начал публиковаться в 1882 г. Первый роман «Счастливее всех» опубликован в «Книжках “Недели”», затем роман «Разоренные гнезда». Крушеван рассматривал в литературных произведениях темы семейной драмы и родового упадка. Наиболее известные романы – «Дело Артабанова» (1896) и «Призраки» (1897), а также путевые очерки «Что такое Россия» (1896). Сотрудничал как публицист в газетах «Минский листок», «Виленский вестник» (1887–1895) и «Бессарабском вестнике» (1896). Основал газету «Бессарабец», принесшую ему известность, но впоследствии отнятую за долги, а затем газету «Друг», которую издавал до конца жизни. В них вел непримиримую борьбу против еврейского гнета.

Выступал по поводу убийства отрока Миши Рыбаченко из г. Дубосары: усмотрел в нем ритуальное убийство евреями с целью жертвоприношения. За это заявление его обвинили в способствовании еврейским погромам в Кишиневе. В 1903 г. в газете «Друг» опубликованы впервые «Протоколы сионских мудрецов» под заглавием «План еврейского захвата России». В конце 1903 г. переехал в Санкт-Петербург, где основал газету «Знамя», на страницах которой продолжал отстаивать православно-монархические идеалы. Принял участие в организации Союза Русского Народа, организовал его отделение в Бессарабии. Избран гласным Кишиневской городской думы (1906–1909 гг.), а в 1907 г. был избран депутатом II Государственной Думы от Кишинева. Сделал знаменитый доклад в Русском собрании на тему о вреде евреев «Слушай, Россия». Неоднократно печатался в монархических изданиях. Принимал участие в работах 4-го Всероссийского съезда Русских Людей в Москве 26 апреля – 1 мая 1907 г. (Всероссийский съезд Объединенного Русского Народа), где выступил с докладом «О нашей жизни». Избран членом правления Всероссийского Национального фонда, куда помимо него вошли пять видных деятелей патриотического движения: протоиерей И. И. Восторгов, В. А. Грингмут, А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич, кн. А. Г. Щербатов. На проходившем в рамках 4-го съезда Союза правой русской печати Крушеван был избран членом правления этой организации. Скоропостижно скончался от паралича сердца в Кишиневе в 1909 г. В 1912 г. стараниями бессарабских черносотенцев Крушевану был заложен памятник в Кишиневе.

³ Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – русский политический деятель, один из организаторов и лидеров Союза Русского Народа, в дальнейшем основатель и лидер Союза Михаила Архангела. Дворянин, крупный помещик, статский советник, врач. Лидер крайне правой партии в Государственной Думе II и IV созывов. Под редакцией Пуришкевича выходило многотомное издание – мартиролог жертв русской революции «Книга русской скорби». В годы Первой мировой войны вышел из фракции крайне правых и вошел в Прогрессивный блок. Участвовал в убийстве Г. Распутина. После 1917 г. – участник Белого движения, эмигрировал во Францию. Был участником монархических эмигрантских организаций.

⁴ Царь Федор Иоаннович (1557–1598) – русский царь с 1584 г., последний из династии Рюриковичей, сын Ивана IV. Болезненный и

не способный к государственной деятельности, Федор Иоаннович передал управление страной шурина Борису Годунову.

⁵ Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584) – русский великий князь с 1533 г., с 1547 г. – первый русский царь из династии Рюриковичей, сын и наследник Василия III, до 1547 г. правила его мать, Елена Глинская. После смерти Ивана IV власть перешла к его сыну Федору Иоанновичу.

Великорусская партия V

Впервые опубл.: Новое время. – 1907. – 23 июня (06 июля). – № 11234. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Феофан Прокопович (1681–1736) – российский и мало-российский государственный и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I, глава Ученой дружины. Среди основных произведений писателя «трагедокомедия» «Владимир» (1705), ода «Епиникион» (1709), «Слово о власти и чести царской» (1718), а также церковно-публицистический труд «Духовный регламент» (1721), проповеди и лирические стихотворения на русском, латинском и польском языках.

² Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898) – германский государственный деятель, осуществивший объединение Германии (1871), князь, дипломат, первый рейхсканцлер Германской империи в 1871–1890 гг. В 1860-е годы провел военные реформы, повышающие военный потенциал Пруссии. По его инициативе был введен исключительный закон против социалистов. При нем Германия одержала победу во франко-прусской войне (1870–1871 гг.). Содействовал заключению «Союза трех императоров» (1873), австро-германского договора (1879), Тройственного союза (1882). Выступал против начала каких-либо военных действий с Россией, считая войну с ней крайне опасной для Германии.

³ Гриппенберг Казимир Казимирович – генерал-лейтенант. В октябре 1904 г. сухопутные войска были разделены на 3 армии, 2-й армией командовал генерал Гриппенберг. 12–16 января 1905 г. армия Гриппенберга атаковала японцев у деревни Сандепу, но была отбита, потеряв 12 тыс. убитыми и ранеными и 2 тыс. пленными. Генерал Гриппенберг обвинил генерала Куропаткина в

неоказании ему помощи в решительный момент, отказался от командования и покинул армию.

⁴ Эквист Оскар Адольфович (1849–1912) – русский флотоводец, вице-адмирал (1907), участник Цусимского сражения. В 1871–1884 гг. служил на Балтийском флоте. Совершил два плавания на Дальний Восток. С 1888 г. – старший офицер броненосного фрегата «Память Азова». С 1893 г. – командир 1-го ранга мореходной канонерской лодки «Бобр», выполнял гидрографические работы у побережья Кореи. С 1895 по 1899 г. – командир учебного крейсера «Герцог Эдинбургский». В 1896–1900 гг. командовал 10, 12 и 9 флотскими экипажами. С 1901 г. – контр-адмирал. С 1902 г. – командир Николаевского порта и градоначальник г. Николаева. До 1904 г. оставался на берегу. С 1904 г. назначен младшим флагманом Второй Тихоокеанской эскадры и командиром крейсерского отряда. В Цусимском сражении пошел на поводу у командира крейсера «Олег» Добротворского и увел остатки крейсерского отряда («Олег», «Аврора», «Жемчуг») с места сражения, бросив вверенные ему транспорты. В 1905 г. интернировался в Маниле. По окончании войны вернулся в Россию. В 1907 г. уволен со службы с производством в вице-адмиралы.

⁵ Остерман-Толстой Александр Иванович (1770–1857) – граф (1796 г.), генерал от инфантерии (1817 г.), в 1812–1814 гг. – участник Отечественной войны и заграничных походов русской армии. Командовал пехотным корпусом, отличившимся во многих сражениях, особенно при Бородине и Кульме.

⁶ Ламздорф Владимир Николаевич (1844/45–1907) – русский государственный деятель, граф, министр иностранных дел (1900–1904 гг., октябрь 1905–1906 гг.). Являлся сторонником сближения с Францией. После революции 1917 года – в эмиграции. Автор «Дневника» (в 2 т., 1926–1934).

⁷ Миних Бурхардт Христофор (1683–1767) – граф, русский военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Уроженец Ольденбурга, на русской службе с 1721 г. При императрице Анне Иоанновне был президентом Военной коллегии. Командовал русскими войсками в русско-турецкой войне в 1735–1739 гг. В 1741 г. отправлен в ссылку Императрицей Елизаветой Петровной. Возвращен из ссылки Императором Петром III в 1762 г.

⁸ Стессель Анатолий Михайлович (1848–1915) – русский военный деятель, генерал-лейтенант, генерал-адъютант свиты Его

Императорского Величества, помещик. В 1886 г. окончил Павловское военное училище. Командовал полком в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Командовал 16-м пехотным Ладужским полком и 44-м пехотным камчатским полком. С 1899 г. был командиром 3-й Восточносибирской стрелковой бригады, участвовал в подавлении Ихтуаньского восстания в Китае (1899–1901 гг.). Во время русско-китайской войны не брезговал мародерством, нажился на грабежах китайских дворцов. Был произведен в генерал-лейтенанты (1901 г.) за «оказанные заслуги» в ходе этой войны. С августа 1903 г. являлся комендантом Порт-Артура, с августа 1904 г. – также командир 3-го Сибирского корпуса. Курировал строительство фортов Порт-Артура, обвинялся в получении взяток с подрядчиков. Во время русско-японской войны временно занимал пост начальника Артуро-Цзиньжоуского (Квантунского) укрепрайона с подчинением ему коменданта крепости. Сумел снискать благоволение царя и правительственной прессы, прославлявшей его как героя обороны крепости. Принял решение о сдаче Порт-Артура противнику. Был приговорен военным судом к смертной казни, но помилован Николаем II.

⁹ Грейг Алексей Самуилович (1775–1845) – русский адмирал (1828), выходец из семьи шотландского морского офицера Сэмюэля Грейга, перешедшего на русскую службу из английского флота, ставшего командиром Кронштадтского порта. Крестник императрицы Екатерины II и графа Орлова-Чесменского. В 1785–1788 гг. изучал морское дело в Англии, по возвращении в Россию командовал в чине капитана-лейтенанта кораблем «Мстислав». По завещанию отца отправился в Англию и до 1796 г. проходил там морскую службу. Имея отличные рекомендации командиров британского флота, вернувшись в Россию, назначается Павлом I капитаном 2-го ранга. В 1798–1800 гг. участвовал в войне России против Франции, командуя кораблем «Ретвизан». В 1799 г. участвовал в высадке десанта в Голландии, во взятии крепости Гельден и захвате голландских кораблей. Произведен в капитаны 1-го ранга. В 1802 г. за проведение 18 полугодовых морских кампаний был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В этом же году Александр I привлекает его к работе Комитета по исправлению флота. Командовал отрядом кораблей и участвовал во всех действиях русского флота в Архипелагской экспедиции Д. Н. Синявина (1806–1807 гг.). В 1805–1807 гг. участвовал в русско-турецкой войне, в это же

время участвовал в блокаде Дарданелл. Командовал отрядом кораблей в войне со Швецией 1808–1809 гг. Принимал участие в русско-турецкой войне 1828–1833 гг. В 1816–1833 гг. – командующий Черноморским флотом.

Великорусская партия VI

Впервые опубли.: Новое время. – 1907. – 2 июля (15 июля). – № 11243. – С. 1.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Костюшко Тадеуш (1746–1817) – польский политический и военный деятель. В чине полковника, а затем бригадного генерала участвовал в войне за независимость в Северной Америке 1775–1783 гг. Главнокомандующий национальными силами польского восстания 1794 г. Издал в 1794 г. Поланецкий универсал, в котором было обещано личное освобождение крестьянам. В бою под Мацеёвицами (1794 г.) был тяжело ранен и взят в плен царскими войсками. В 1796 г. освобожден из Петропавловской крепости. Умер в Швейцарии, похоронен в Кракове. В честь Костюшко в штате Миссисипи (США) был назван город, а также одна из самых высоких гор в Австралии.

² Сенкевич Генрик (польск. – Sienkewicz; 1846–1916) – польский писатель, автор исторических романов, проникнутых национально-патриотическими идеями. Романы были стилизованы в духе изображаемой эпохи. Лауреат Нобелевской премии (1905 г.). Создавал образы сильных, запоминающихся героев. Основные романы: «Огнем и мечом» (1883–1884), «Потоп» (1884–1886), «Пан Володыевский» (1887–1888), «Камо грядеши» (1894–1896), «Крестоносцы» (1897–1900).

³ Паскевич Иван Федорович (1782–1856) – князь, русский военачальник, государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Участник русско-турецкой войны 1806–1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813–1815 гг. С 1827 г. – военный наместник России на Кавказе, был главнокомандующим русскими войсками на Кавказе во время русско-персидской (1826–1828 гг.) и русско-турецкой (1828–1829 гг.) войн. С 1831 г. командовал русскими войсками при подавлении польского восстания 1830–1831 гг. Затем был наместником Царства Поль-

ского. Стоял во главе русской армии в Венгерском походе 1848 г. и в начале Крымской войны 1853–1856 гг.

⁴ «Минское слово» – газета русского националистического направления, издававшаяся в Минске с 3 января 1906 г. по 15 июня 1912 г. Редактором газеты был Д. В. Скрынченко, одновременно бывший редактором «Минских епархиальных ведомостей». До 2 ноября 1906 г. газета называлась «Минская речь». Газета стала выходить в условиях усиления влияния русских националистических настроений в Белоруссии, вела антипольскую и антиеврейскую агитацию, поддерживала идеи западнорусизма. Большое содействие в основании и издании «Минского слова» оказал епископ Минский и Туровский Михаил. Вскоре после его смерти в конце мая 1911 г. Д. В. Скрынченко закрыл газету из-за разногласий с новыми духовными и светскими властями. В своих воспоминаниях Д. В. Скрынченко писал: «С открытием “Минского слова” началась, я бы сказал, новая эпоха в общественной жизни Белоруссии, дотоле небывалая по своей национально-русской энергии; никогда еще тут не была таким ключом русская национальная мысль».

⁵ «Gazeta War.» – одна из старейших польских газет, выходила в Варшаве с 1774 по 1919 г.

Великорусская партия VII

Впервые опубли.: Новое время. – 1907. – 18 сентября (1 октября). – № 11321. – С. 3.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Гессен Иосиф Владимирович (1866–1943) – адвокат, публицист, русский политический деятель, один из лидеров кадетской партии во II Государственной Думе. Редактор либеральной газеты «Речь». В 1919 г. эмигрировал в Германию, где играл видную роль в политической жизни русской эмиграции, входил в редакционный совет берлинской эмигрантской газеты «Руль». С 1921 г. издавал в Берлине многотомный сборник документальных материалов «Архив русской революции».

² Булацель Павел Федорович (1867–1919) – юрист, писатель, русский общественный деятель. Член Русского собрания с 1904 г., один из основателей Союза Русского Народа. Редактировал православно-монархические газеты «Русское знамя» (1906–1907)

и «Российский гражданин» (1914–1916), автор книги «Борьба за правду».

Великорусская партия VIII

Впервые опубл.: Новое время. – 1907. – 20 сентября (3 октября). – № 11323. – С. 3.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Кауфман Петр Михайлович (1857–1926) – русский государственный деятель. Окончил Александровский лицей. С 1886 г. – помощник статс-секретаря. С 1892 г. – управляющий делами Собственной Ее Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии, в 1896–1903 гг. – товарищ главноуправляющего Ведомством учреждений императрицы Марии, одновременно являлся членом Главного управления Российского общества Красного Креста. С 1899 г. – сенатор, с 1903 г. присутствовал в Первом департаменте Сената. С 1906 г. – член Государственного Совета. С 24 апреля 1906 г. по 1 января 1908 г. – министр народного просвещения. После 1908 г. работал в Госсовете, в комиссиях по народному образованию, по вопросам вероисповедания, а также о порядке издания касающихся Великого княжества Финляндского законов и постановлений общегосударственного значения. В 1915 г. был назначен главноуполномоченным Красно-го Креста при Верховном главнокомандующем. После 1917 г. жил в эмиграции в Париже.

² Боргман Иван Иванович (1849–1914) – русский физик, глава петербургской физической школы, один из организаторов Русского физического общества. Являлся первым выборным ректором Санкт-Петербургского университета (1905–1910). Основные труды Боргмана посвящены электричеству, электротехнике и магнетизму.

³ Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909) – российский флотоводец, вице-адмирал (1904), генерал-адъютант (1904). Начинал службу на Балтийском флоте. Опубл. в газете «Биржевые ведомости» статью с критикой технической отсталости русского флота. Во время русско-турецкой войны произведен в капитан-лейтенанты и награжден орденами Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Св. Георгия 4-й степени. В 1883–1885 гг. исполнял обязанности начальника Флотилии и морской

части Княжества Болгарского и командира княжеской болгарской яхты «Александр I». В 1886–1893 г. – капитан первого ранга и военно-морской атташе в Лондоне. С 1894 г. являлся командиром крейсера «Владимир Мономах», входившего в Средиземно-морскую эскадру под командованием адмирала С. О. Макарова. С 1898 г. – контр-адмирал, командир Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. В 1902–1903 г. – начальник Главного морского штаба. В апреле 1904 г. – командир Второй Тихоокеанской флотилии. В Цусимском сражении японский флот атаковал эскадру Рождественского в Цусимском проливе. В ходе сражения эскадра была разгромлена, а миноносец «Бедовый», на котором находился адмирал, тяжело раненный в голову, сдался в плен. После подписания Портсмутского мира адмирал вернулся в Россию, где подвергся общественной критике. В 1906 г. подал в отставку с поста начальника Главного военно-морского штаба, настоял на привлечении себя к суду, требовал для себя смертной казни. Был оправдан военно-морским судом.

⁴ Куропаткин Александр Николаевич (1848–1925) – русский военачальник, генерал от инфантерии (1901 г.), военный министр (1898–1904 гг.). Участник русско-японской и Первой мировой войн, автор ряда военно-исторических и военно-географических работ. В годы русско-японской войны был командующим Маньчжурской армией, главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке (1904–1905 гг.). В годы Первой мировой войны командовал армией и Северным фронтом (1916 г.). В 1916–1917 гг. являлся туркестанским генерал-губернатором, руководил подавлением Среднеазиатского восстания 1916 г.

⁵ Ойяма Ивао (1842–1916) – японский военный и государственный деятель, маршал (1898 г.), принц (1905 г.). С 1885 по 1896 г. занимал пост военного министра, а с 1899 по 1904 г. – начальника Генерального штаба. В период русско-японской войны 1904–1905 гг. был главнокомандующим японской сухопутной армией, в 1912–1916 гг. – гэнро.

⁶ Того Хэйхатио (1847–1936) – японский военачальник, адмирал флота (1913 г.), маркиз (1904 г.). Того сыграл важную роль в усовершенствовании японской армии. Во время русско-японской войны командовал Соединенным флотом Японии под Порт-Артуром (1904–1905 гг.). Участвовал в качестве командующего в Цусимском сражении (1905 г.) и в сражении при мест. Желтом (1905 г.).

⁷ Гучков Александр Иванович (1862–1936) – русский политический деятель и предприниматель, лидер партии октябристов, депутат и председатель с 1910 г. III Государственной Думы, член Государственного Совета (1907 г. и с 1915 г.). В 1915–1917 гг. занимал должность председателя Центрального военно-промышленного комитета. В 1917 г. занимал пост военного и морского министра Временного правительства, являлся одним из организаторов Корниловского мятежа в Петрограде. С 1920-х годов находился в эмиграции во Франции.

I. Дружина храбрых

Впервые опубли.: Новое время. – 1907. – 19 мая (1 июня). – № 11230. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Вильгельм I Гогенцоллерн (1797–1888) – прусский король (с 1861 г.) и германский император (с 1871 г.) из династии Гогенцоллернов, отец императора Фридриха III, президент Северогерманского союза с 1867 г. Вильгельм поддерживал политику кабинета О. Бисмарка, в руках которого фактически находилось управление страной.

II. Дружина храбрых

Впервые опубли.: Новое время. – 1907. – 7 (20) июля. – № 11248. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Преторианцы (лат. *praetoriani* от *praetor* – идущий впереди) – в Древнем Риме – личная охрана полководца, императорская гвардия, игравшая большую роль в дворцовых переворотах. В переносном значении подразумеваются наемные войска, служащие опорой власти, основанной на грубой силе.

² Янычары (в переводе с тур. – новая армия) – в султанской Турции XIV–XIX веков название солдат регулярных пехотных частей. Использовались обычно в качестве карательных войск, комплектовались из пленных юношей, а позднее – путем насильственного набора христианских мальчиков. Янычары были упразднены в 1826 г. Махмудом II.

Власть как право

Впервые опубликовано: Новое время. – 1907. – 21 августа (3 сентября). – № 11293. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Столыпин Александр Аркадьевич [1863–1925(?)] – русский публицист, поэт, брат П. А. Столыпина. В 1899 г. в «Русском вестнике» опубликовал поэму «Санделло» и ряд лирических стихотворений. В 1902 г. покинул деревню, где занимался сельским хозяйством, и начал сотрудничать в «Санкт-Петербургских ведомостях», затем стал редактором этой газеты. По требованию В. К. Плеве был отстранен от редактирования этой газеты «за вредное направление». С 1904 г. – постоянный сотрудник газеты «Новое время».

² Кутлер Николай Николаевич (1859–1924) – русский политический деятель, юрист, главноуправляющий землеустройством и земледелием Российской империи (1905–1906 гг.). Кутлер являлся автором либерального проекта по земельному вопросу, один из лидеров партии кадетов (1906–1917 гг.). После Октябрьской революции сотрудничал с большевиками, находился на хозяйственной работе.

³ Фридрих II (нем. Friedrich) (1712–1786) – с 1740 г. прусский король из династии Гогенцоллернов, полководец. В результате его завоевательной политики (Силезские войны 1740–1742 и 1744–1745 гг., участие в Семилетней войне 1756–1763 гг., в первом разделе Польши в 1772 г.) территория Пруссии почти удвоилась.

Россия – прежде всего

Впервые опубликовано: Новое время. – 1907. – 1 (14) ноября. – № 11365. – С. 3.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Дравиды (дравидский) – группа народов, говорящих на дравидийских языках – семействе языков, распространенных в основном в Индии. К ней относятся такие народы, как телугу, тамилы, малаяли, каннара, гонды, ораоны и другие в южной части Азии, главным образом, в Южной Индии, а также Пакистане и соседних районах Ирана и Афганистана (брагуи). Дравиды относятся к юж-

ноиндийской расе. Хананеи – выходцы из Ханаана – в древности название территории Палестины, Сирии и Финикии.

Чье государство Россия?

Впервые опубли.: Новое время. – 1908. – 1 (14) марта. – № 11483. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Всероссийский Национальный союз (ВНС) был создан на базе фракции националистов III Государственной Думы, отделившейся от крайне правых в конце января 1908 г. Первый устав зарегистрирован 3 июня 1908 г. Идейным вдохновителем партии стал М. О. Меньшиков, придумавший и само название партии. Главные учредители – профессор государственного права Харьковско-го университета Н. О. Куплеваский и член Госсовета тайный советник С. В. Рухлов. На учредительном собрании 18 июня 1908 г. (ок. 200 чел.) был избран Совет ВНС в количестве 18 человек. Председателем Совета собрание избрало А. П. Урусова. Однако на первом же заседании его сменил Рухлов, а Урусов стал товарищем председателя. В 1909 г. в связи с назначением Рухлова министром путей сообщения исполняющим обязанности председателя стал Урусов. Членами ВНС по уставу 1908 года могли быть лица, «принадлежащие к коренному русскому населению или органически слившиеся с русским народом». Слияние это рассматривалось не в культурной, а в политической плоскости, т. е. членом партии мог стать и инородец, руководствующийся в своей деятельности интересами Российской империи. Основной электорат партии составляли крупные землевладельцы, высокопоставленные чиновники, цензовая интеллигенция, высшее духовенство. Многие отечественные историки указывают на причастность к образованию и деятельности партии националистов П. А. Столыпина. Однако другие исследователи говорят о том, что ВНС создавался без участия премьера и первоначально находился даже в некоторой оппозиции ему, так как ориентировался на С. Ю. Витте. Г. П. Сазонов, являясь одним из доверенных лиц Витте, был в числе учредителей ВНС и вошел в Главный совет, где впоследствии стал активным противником слияния с умеренно правыми. Влияние Столыпина просматривается при объединении умеренно правых с ВНС. Это

объединение во многом было обусловлено изменением политической ситуации, связанным с известным министерским кризисом марта 1909 г., в результате которого премьеру пришлось перейти на более правые позиции, а следовательно, искать себе новую опору в Думе взамен октябристов. Самыми подходящими для совместной с правительством работы оказались фракции националистов и умеренно правых.

² Владимир I (ум. в 1015 г.) – князь новгородский (с 869 г.), великий князь Киевский (с 980 г.), младший сын Святослава I и Малуши – рабыни, ключницы княгини Ольги.

Письма к ближним. Как воскреснет Россия?

Впервые опубли.: Новое время. – 1908. – 13 (26) апреля. – № 11526. – С. 4. Статья входила в большой цикл статей под рубрикой «Письма к ближним». В дальнейшем многие из них были опубликованы в ежегодных периодических сборниках М. О. Меньшикова «Письма к ближним» 1902–1916 гг.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – русский религиозный философ, поэт, публицист.

² Илия (древнеевр. – Элийяху; Элийя) – «Бог мой Яхве», в исламе (араб. – Ильяс) – библейский пророк в Израильском Царстве, в XI в. до н. э.

³ Елисей (древнеевр. – Элиша). Был сыном Сафата (3 Цар. 19:16), зажиточного пахаря. По призыву Илии-пророка сначала стал его помощником (Там же. 19:21) в год воцарения Ииуя, а затем, после смерти Илии, – самостоятельным пророком (4 Цар. 2:15).

⁴ Кекуле Август (1829–1896) – немецкий химик-аналитик.

⁵ Джиббс (Гиббс) Джозайя Уиллард (англ. Josiah Willard Gibbs) (1839–1903) – великий американский физик-теоретик, один из основоположников статистической механики.

⁶ Де Фриз Хуго (голл. Hugo De Vries) (1848–1935) – голландский ботаник, генетик. Работал в научных учреждениях Вюрцбурга и Галле в Германии (1875–1878). Де Фриз – профессор Амстердамского университета и директор Ботанического сада.

⁷ Коржинский Сергей Иванович (1861–1900) – выдающийся русский ботаник, академик.

⁸ Овидий Публий Назон (лат. Publius Ovidius Naso; 43 до н. э. – ок. 18 до н. э.) – римский поэт, автор любовных элегий и поэм.

⁹ Мольер Жан Батист (фр. Molière, наст. фамилия Поклен; 1622–1673) – французский драматург, театральный деятель, актер, реформатор сценического искусства.

Национальный союз

Впервые опубл.: Новое время. – 1908. – 5 июня. – № 11576. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Куплеваский Николай Осипович (1847–1917) – русский юрист, ординарный профессор по кафедре государственного права Харьковского университета, один из основателей Всероссийского Национального союза, учредитель и член Русского окраинного общества, профессор государственного права в Императорском Училище правоведения. Состоял членом ученого комитета Министерства народного просвещения, консультантом при министре юстиции. Подготовил и издал магистерскую диссертацию «Административная юстиция в Западной Европе» (Харьков, 1879) (Т. 1. «Административная юстиция во Франции») и докторскую диссертацию «Государственная служба в теории и в иностранном действующем праве» (Харьков, 1888). Отдельно изданные труды: «Состояние сельской общины в XVII в. на дворцовых землях и землях духовных и светских владельцев» (Киев, 1877), «Русское государственное право» (Т. 1. Харьков, 1896; Т. 2. Харьков, 1902), «Вопрос об организации студенчества университетов» (Харьков, 1901), «Манифест Императора Александра I 9 (21) февраля 1816 года о переименовании Финляндского правительственного совета в Императорский Финляндский сенат» (СПб., 1910), «Справка о мнениях 25 русских ученых, специалистов права по вопросу о юридическом положении Финляндии в составе Русской Империи» (СПб., 1910), «Исторический очерк преобразования государственного строя в царствование Императора Николая II» Вып. I. «Преобразование высших государственных учреждений» (1904–1907) (СПб., 1912.). Публикации Куплеваского в периодических изданиях: «Государственные конкурсы во Франции» (Вестник Европы. – 1890), «Принцип разделения властей в строе современного государства»

(Юридический Вестник. – 1882. – № 11 и 12), «О пределах повиновения незаконным распоряжениям и действиям должностных лиц» (Там же. – 1886 – № 9).

² Кареев Николай Иванович (1850–1931) – русский историк, профессор Императорского Варшавского, а затем Императорского Санкт-Петербургского университетов. Автор книг «Основные вопросы философии истории» и «История Западной Европы в новое время» (1892–1917. Т. 1–7).

³ Винавер Михаил Моисеевич (1863–1926) – еврейский общественный деятель, адвокат. Один из организаторов и лидеров кадетской партии. Деятель Союза для достижения равноправия евреев. После Февральской революции – один из членов Временного правительства, сенатор. В 1919 г. являлся министром внешних сношений кадетского Краевого правительства в Крыму. Затем эмигрировал во Францию. В Париже играл заметную роль в политической жизни эмиграции, являлся одним из ведущих публицистов парижской эмигрантской газеты «Последние новости», организованной лидерами кадетов в эмиграции.

Национальное движение

Впервые опубл.: Новое время. – 1908. – 18 июня. – № 11589. – С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

Древние документы (по еврейскому вопросу)

Впервые опубл.: Письма к ближним. 1908. – Спб., 1908.

Повторно опубл.: Меньшиков М. О. Древние документы (по еврейскому вопросу). – Харьков: Изд. Харьковск. союза рус. народа, 1908. – 9 с.

Печатается по тексту второй публикации.

¹ Мартынов Евгений Иванович (1864–1937) – русский военачальник, военный теоретик и историк, генерал-лейтенант (1910 г.), был репрессирован, посмертно реабилитирован. Участник русско-японской и Первой мировой войн, служил в Красной Армии (1918–1928). Мартынов преподавал в Академии Генерального штаба. Опубл. труды по военной истории и стратегии.

² Авраам – в Библии – родоначальник еврейского народа, сын Фары из рода Сима, отец Исаака. По повелению Бога должен был принести сына в жертву, но в момент жертвоприношения был остановлен ангелом.

³ Ездра (V в. до н. э.) – еврейский священник, книжник из Вавилона. Был послан по указу персидского царя реформировать религию в Иерусалиме. Около 458 г. до н. э. начал очищение еврейской веры и насаждение Торы в качестве основного руководства в жизни евреев. Книга Ездры является частью Ветхого Завета.

⁴ В Библии – младший сын из двух сыновей-близнецов Исаака, родоначальник двенадцати колен Израилевых. Купил у брата право первородства за чечевичную похлебку и получил благословение Исаака. Второе имя – Израиль (Исраэль), что означает Богоборец.

⁵ Саул – библейский юноша-пастух, основатель Израильско-иудейского царства (II в. до н. э.). Саул победил соседнее племя, но в войне с филистимлянами потерпел поражение, покончил с собой.

⁶ Давид – царь Израильско-иудейского государства в конце II в. до н. э. – ок. 950 г. до н. э., провозглашен царем Иудеи после гибели своего тестя Саула. Давид присоединил к Иудее территории израильских племен, захватил хананейский город Иерусалим и сделал его столицей, создал иудейское государство. Давид одержал победу в единоборстве с великаном-филистимлянином Голиафом и отсек ему голову. Давиду приписывается авторство псалмов.

⁷ Есфирь – в Ветхом Завете – героиня, спасшая свой народ в эпоху владычества персидского царя Ксеркса, главный персонаж книги Эсфирь, вошедшей в иудейский (ветхозаветный) канон. Вариант – Есфирь.

⁸ Пурим – в иудаизме – один из наиболее популярных весенних праздников в память спасения евреев в Персии от истребления их царским визирем Аманом в V в. до н. э. **По-древнееврейски** буквально «Пурим» – «освобождение».

⁹ Ксеркс I (ум. в 465 г. до н. э.) – царь государства Ахеменидов (с 486 г. до н. э.), сын Дария I Гистаспа. Подавил восстание в Египте (484 г.) и Вавилоне (484 и 482–481 гг.), потерпел неудачу в морском сражении с греками при Саламине, вернулся с частью армии еще до окончательного поражения. Постепенно грекам удалось изгнать персидские гарнизоны из Фракии и Македонии, а военные действия были перенесены на территорию противника в Малую Азию. Война

продолжалась до 449 г. до н. э. Ксеркс был убит начальником стражи Артабаном. Ксеркс издал манифест, предписывающий изгонять и избивать евреев в Персии. Политик Мардохей с помощью интриг добился отмены манифеста.

¹⁰ Аман – визирь Ксеркса, выступал против Мардохея. Был казнен по приказанию Ксеркса.

¹¹ Птоломей IV Филопатор – царь Египта (222–205 гг. до н. э.) из династии Птолемеев. При нем могущество Египта ослабело, в столкновениях с Сирией Египет потерял города Тир и Птолемаиду.

¹² Лагиды – второе название Птолемеи по имени основателя династии Лага, отца-основателя династии Птолемея I Сотера.

¹³ Моисей в иудаизме, Христианстве и исламе – пророк, предводитель израильских племен, призванный Богом вывести израильтян из египетского рабства в Землю обетованную. Вел евреев через пустыню в течение 40 лет. Получил от Бога закон в виде десяти заповедей, начертанных на каменных досках.

¹⁴ Птолемеи – царская династия в эллинистическом Египте, правившая в 305–282 гг. до н. э.

¹⁵ Иосиф Флавий – (37 – после 100) – древнееврейский историк.

¹⁶ Содом и Гоморра в Ветхом Завете – два города, которые были уничтожены землетрясением и огненным дождем, посланным с небес, за ужасающее беззаконие и распутство их жителей.

Права на Кавказ

Впервые опубли.: Новое время. – 1909. – 7 (20) февраля. – № 11821. – С. 3.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Мищенко Павел Иванович (1853 – после 1917) – русский военный деятель, генерал-адъютант, генерал от артиллерии. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., кампаний в Средней Азии в 1880–1881 гг., Китае в 1900–1901 гг., русско-японской войны. В 1908–1909 гг. командовал войсками Туркестанского военного округа, а также являлся наказным атаманом Войска Донского. Во время Первой мировой войны командовал Вторым Кавказским корпусом (1914 г.), 31-м армейским корпусом (1915–1917 гг.).

² Барятинский Александр Иванович (1815–1879) – русский военачальник, князь, генерал-фельдмаршал (1859 г.). В 1856–

1862 г. – главнокомандующий русскими войсками и наместник на Кавказе. Взял в плен имама Шамиля 25 августа 1859 г.

³ Джунковский Владимир Федорович (1865–1938) – русский государственный деятель, с 1905 г. – губернатор Москвы. В начале Первой мировой войны организовал службу контрразведки Департамента полиции. Репрессирован, расстрелян по обвинению в контрреволюционной агитации и пропаганде. Реабилитирован в 1989 г.

⁴ Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837–1916) – российский государственный деятель, граф, генерал от кавалерии (1890 г.), генерал-адъютант (1875 г.). С 1881 по 1897 г. занимал пост министра двора и уделов, один из организаторов «Священной дружины». В 1905–1915 гг. являлся русским наместником на Кавказе, во время Первой мировой войны был главнокомандующим Кавказским фронтом (1914–1915 гг.).

⁵ Бобринский Владимир Александрович (1867–1927) – граф, русский общественный деятель. Член Государственной Думы II и IV созывов. Во время Первой мировой войны возглавлял группу «прогрессивных националистов», входивших в прогрессивный блок.

⁶ Рузвельт Теодор (1858–1919) – американский государственный и политический деятель, 26-й президент США (1901–1909) от республиканской партии. В 1906 г. стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Русское пробуждение

Впервые опубл.: Новое время. – 1910. – 23 янв. (5 февр.) – № 12165. – С. 3.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Ягве, Иегова; варианты древних имен – Адонай, Саваоф; в иудаизме – непризнанное имя Бога.

² Ашшур (Ассур) – древний город в Месопотамии (IV тыс. – 614 г. до н. э.), форпост шумеро-аккадской культуры, важный торговый центр (конец III – начало II тыс. до н. э.). Столица Ассирии (с середины II тыс. до н. э.). В 614 г. до н. э. разрушен мидянами, в последние века до н. э. принадлежал парфянам. Развалины города были открыты в 1821 г. В настоящее время руины Кальят-Шаргат (город Ассур) находятся на территории Ирака.

³ Лот – единственный из родственников, сопутствовавший Аврааму при переселении в Ханаан. Во время исхода жена Лота

нарушила запрет Яхве жалеть город, оглянулась и превратилась в соляной столб.

Быть ли России великой?

Впервые опубл.: Новое время. – 1911. – 26 февраля (11 марта). – № 12557. – С. 4.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Мазепа Иван Степанович (1644–1709) – гетман Малороссии, предательски перешел на сторону шведов во время Северной войны (1700–1721). После поражения шведов в Полтавской битве (1709 г.) бежал в турецкую крепость Бендеры вместе с Карлом XII.

² Мицкевич Адам Бернард (1798–1855) – польский поэт. До 1929 г. жил в Российской Империи. Являлся активным участником польских тайных обществ. Среди его произведений – получившие широкую известность поэмы «Дзяды» (1824–1832), «Конрад Валленрод» (1828), «Пан Тадеуш» (1834) и др.

³ Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) – ученый-историк, один из главных идеологов украинского сепаратизма, публицист, историк, придерживался крайне антирусских позиций. Сотрудничал с германской разведкой, состоял в масонской ложе. С 1894 г. возглавлял кафедру всеобщей истории Львовского университета. Явился организатором национально-демократической партии в Галиции (1899 г.). В 1917 г. возглавил Центральную Раду Украины. В начале 1919 г. эмигрировал в Австрию. В 1924 г. стал репатриантом, получив разрешение советского правительства вернуться на Украину. Заведовал сектором истории Украины исторического отделения Академии наук СССР, а в 1929 г. стал академиком АН СССР. Среди основных работ Грушевского – «История Украины-Руси» (1898–1936), «История украинской литературы» (1923–1927).

⁴ Духинский Франциск (1817–1880) – писатель, происходил из малороссов, тяготел к польской культуре. После польского восстания 1830–1831 гг. эмигрировал во Францию. Являлся профессором польской школы в Париже. Создал лженаучную этнографическую теорию, по которой «москали» принадлежали не к арийской расе, а к туранской. Согласно этой теории Духинский предлагал политикам Западной Европы создать из Польши «буфер» между Западной Европой и Россией в лице Польши.

⁵ Нестор – монах Киево-Печерского монастыря, древнерусский писатель, летописец XI – начала XII в., традиционно считается одним из крупнейших историков Древней Руси. Являлся первым редактором «Повести временных лет», а также житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского.

⁶ Левицкий Орест Иванович (1848–1922) – украинский историк, археограф, этнограф, писатель народнического направления. В 1919–1921 гг. – вице-президент Академии наук Украины.

⁷ Квитка-Основьяненко Григорий Федорович (подлинная фамилия Квитка) (1778–1843) – украинский писатель. В 1817–1828 гг. был уездным предводителем дворянства, затем председателем харьковской палаты уголовного суда. Автор двухтомных «Малороссийских рассказов» (1834–1837 гг.), а также романа «Пан Халявский» (1840 г.).

⁸ Яковенко Валентин Иванович (1859–?) – земский статистик и литератор. Начал заниматься статистикой в московском земстве с исследований фабрик и заводов. Затем работал в Твери, составил IV том «Сборника материалов для истории тверского земства» (Тверь, 1884). Сотрудничал в «Русских ведомостях», «Отечественных записках», «Северном вестнике». С 1888 г. – в Петербурге, становится постоянным сотрудником журнала «Северный вестник», где в течение 11 лет вел «Хронику провинциальной жизни». В 1893 г. был приглашен заведовать статистическими работами в московском земстве. С 1894 по 1901 г. заведовал статистическими работами санкт-петербургского губернского земства, под его руководством выходят издания: «Сборник материалов по начальному образованию» и «Нищета Санкт-Петербургской губернии». Будучи душеприказчиком Ф. Ф. Павленкова, занимался продолжением издательской деятельности и устройством бесплатных народных библиотек. Написал ряд биографий в издательстве Ф. Ф. Павленкова в серии «Жизнь замечательных людей»; среди них – Т. Шевченко, Б. Хмельницкого, Н. В. Голя, Т. Мора, Т. Карлейля, О. Конта, А. Смита.

⁹ Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович (наст. фамилия Афанасьев) (1816/17–1875) – русский писатель, этнограф. В 1835 г. окончил гимназию высших наук кн. Безбородко, поступил юнкером в Белгородский уланский полк. В 1843 г. вышел в отставку. Выступил в печати со стихотворением «Кольцо» (Т. 11. – Современник. – 1838.) за подписью «Чужбинский». Под псевдонимом появлялись его произведения до 1851 г. В 1847 г. Афанасьев-Чужбинский был назначен редактором «Воронежских губернских ведомостей».

Среди его сочинений – «Галерея польских писателей» (в 5 ч.) и «Русский солдат», рассказы в стихах под настоящим именем. С 1853 г. он подписывался «Афанасьев-Чужбинский». Сотрудничал во многих журналах: «Литературное прибавление к “Русскому инвалиду”», «Галатее», «Иллюстрации», «Сын Отечества», «Пантеон», «Санкт-Петербургские ведомости», «Современник», «Русский вестник», «Морской сборник», «Русское слово», «Основа». Редактировал журналы «Заграничный вестник», «Искра» (1873 г.). В 1856 г. по предложению вел. кн. Константина Николаевича был послан изучать быт приречных и приморских областей России. Изучил Приднепровье как более знакомый ему край, результаты исследования опубликованы в труде «Поездка в южную Россию» (Т. 1, 2. – СПб., 1861). Является автором трудов «Словарь малорусского наречия, составленный А. Афанасьевым-Чужбинским» ([Т.] Театр. 1. [А–З(зять)]. – СПб.: Второе отд. Имп. Академии наук, 1855), «Воспоминание о Т. Г. Шевченко» (СПб., 1861), а также произведений из столичного, провинциального и военного быта: «Очерки прошлого» (Ч. 1–4. – СПб., 1863), «Очерки прошлого. Город Смуров» (Заря. – 1871), «Очерки прошлого. Фаня» (СПб., 1872), роман «Петербургские игроки» (Ч. 1, 2. – СПб., 1871–1872). В 1864 г. основал «Петербургский листок». В 1870-х годах редактировал «Магазин иностранной литературы», «Новости». Писал стихи на малороссийском наречии. Переводил с польского и французского языков. В последние годы жизни состоял смотрителем Петропавловского музея.

Великороссийская идея

Впервые опубл.: Новое время. – 1913. – 5 (18) сентября. – № 13464. – С. 4.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Долгоруков Яков Федорович (1659–1720) – князь, русский государственный деятель, сенатор. Один из сподвижников Петра I. Участник Азовского похода. Во время войны со Швецией попал в плен, где находился с 1700 по 1711 г. В 1712 г. стал сенатором, а в 1717 г. возглавил Ревизионную коллегию.

² Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) – русский государственный и военный деятель, адмирал. С 1802 г. назначен морским министром Российской империи.

³ Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) – граф, русский государственный и военный деятель. В 1835 г. назначен членом Секретного комитета по крестьянскому вопросу. В 1837–1856 гг. являлся министром государственного имущества; с его именем связана реформа управления государственными крестьянами.

⁴ Пален Петр Алексеевич (1745–1826) – русский государственный деятель, с 1798 г. – генерал от кавалерии с 1799 г. – граф. С 1760 г. служил в конной гвардии, участвовал в русско-турецких войнах 1768–1774 и 1787–1791 гг. С 1792 г. – правитель Рижского наместничества, с 1795 г. – генерал-губернатор Курляндской губернии, в 1798–1801 гг. – Петербургский военный губернатор; пользовался большим доверием Павла I, был великим канцлером Мальтийского ордена, членом Коллегии иностранных дел. Один из организаторов заговора против Павла I и участник его убийства 11 марта 1801 г. С марта 1801 г. , оставаясь Петербургским военным губернатором, был назначен главным директором почт, а в июне 1801 г. уволен в отставку и удален в прибалтийские имения.

⁵ Гермоген (Ермоген; в миру Ермолай) (1530–1612) – Патриарх Московский и всея Руси, чудотворец. Родился в Казани, являлся автором тропаря и истории обретения новоявленной иконы Божией Матери Казанской. Принял постриг в московском Чудовом монастыре, затем возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Спасо-Преображенского монастыря. В 1589 г. назначен митрополитом на Казанскую кафедру. Во время патриаршества Гермоген восстановил в Москве сгоревшую книгопечатню, начал исправление богослужебных книг и перевод их с греческого языка. Им написаны история канонизации митрополита Московского Алексия и «Сказание о явлении и чудесах иконы Казанской Богоматери», ему принадлежала также редакция памятника древнерусской литературы «Повести о Петре и Февронии». В 1611 г. во время оккупации Москвы польскими войсками под предводительством Лжедмитрия II **возглавил народное движение за освобождение России**. Был заточен поляками в темницу Чудова монастыря. Переданное из заточения послание Гермогена вызвало знаменитое народное движение под предводительством Козьмы Минина и кн. Пожарского. В темнице поляки уморили Гермогена голодом. Обретенные в 1652 г. нетленные мощи Гермогена были перенесены в Успенский собор Кремля. В 1914 г. Гермоген был причислен к лику святых.

⁶ Никон (в миру Никита Минов; 1605–1681) – патриарх Московский и всея Руси (1652–1667 гг.). Был сельским священником, в 30 лет удалился в Анзерский скит Соловецкого монастыря, где постригся в монахи. В 1643 г. был избран игуменом Кожеозерского Богоявленского монастыря. С царем Алексеем Михайловичем Никона связывала личная дружба, который назначил Никона архимандритом Московского Новоспасского монастыря, где находилась родовая усыпальница Романовых. В 1648 г. Никон стал митрополитом Новгородским, остановил силой убеждения и личной веры бунт черни в Новгороде. Никон проводил реформы, состоявшие в исправлении церковных обрядовых книг по южнославянским образцам, унаследованным от Византии, и установлении единства культа. Однако церковная реформа, которая должна была способствовать церковному и государственному сближению славянских народов, вызвала раскол в Русской Православной Церкви. Патриарх Никон сыграл важную роль в деле присоединения Малороссии к Руси, благословил царя на поход против Польши за воссоединение русских земель. В политике Никона бояре усмотрели опасность ограничения светской власти, в результате многочисленных интриг боярам удалось посорить патриарха с царем. В 1658 г. на Никона была подана жалоба царю, в которой патриарх обвинялся в недопустимых нововведениях. Боярство заявляло об усилении влияния государства в церковной жизни, одновременно стараясь сократить воздействие Церкви на светскую власть. Никон оставил кафедру патриарха и удалился в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. В защиту своей позиции Никон написал обширное сочинение «Разорение». В 1666 г. судом Собора русских пастырей Никон был лишен патриаршества и священства и сослан в Ферапонтов монастырь. При царе Федоре Михайловиче Никону было разрешено возвратиться из ссылки в подмосковный Воскресенский монастырь. На обратном пути из ссылки Никон скончался. Царь Федор Михайлович восстановил Никона в патриаршем достоинстве и признал его заслуги перед Церковью.

Письма к ближним. Крайности сходятся

Впервые опубли.: Новое время. – 1916. – 17(30) января. – № 14317. – С. 5.

Вторая публикация в сборнике «Письма к ближним». – Пг., 1916. – С. 29–33.

Печатается по тексту первой публикации.

¹ Маковский Константин Евгеньевич (1839–1915) – русский живописец, член Артели художников, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. С середины 1870-х годов вновь перешел к академизму.

² Евпатриды (*eupatridai*) – в Древней Греции родовая земельческая знать в Афинах, в Римской республике в конце II–I в. до н. э.; идейно-политическое течение, отражавшее интересы нобилитета и противостоявшее популярам.

³ Оптиматы (*optimates*) – буквально – знатные.

⁴ Писистрат (Пизистрат; древнегреч. Πεῖσιστράτος; ок. 600 до н. э., Афины – весна 527, там же) – афинский правитель, тиран (560–527 гг. до н. э., с перерывами). Провел реформы (раздача сельской бедноте земель, конфискованных у евпатридов, чеканка государственной монеты и др). Создал наемное войско, организовал общественное строительство (рынок, водопровод, порт Пирей, храмы и др.). При нем были записаны тексты поэм Гомера.

⁵ Ипполит Тэн (1828–1893) – французский социолог искусства, литературовед, историк. Автор книг «Критические опыты» (1858), «Философия искусства» (1865–1869).

⁶ Нерон (лат. Nero) Тиберий Клавдий (37–68) – с 54 г. римский император из династии Юлиев-Клавдиев, известный крайне жестокими преследованиями христиан. В 64 г. сжег большую часть Рима, репрессиями и конфискациями восстановил против себя разные слои римского общества. Опасаясь восстаний, бежал из Рима и покончил жизнь самоубийством.

⁷ Омар I (ок. 591/581–644) – второй халиф с 634 г. в Арабском халифате, один из ближайших сподвижников Мухаммеда; при нем арабские войска одержали победы над Византией и Сасанидами и завоевали многие территории в Азии и Африке.

⁸ Олег Вещий (ум. в 912 г.) – древнерусский князь, с 879 г. княжил в Новгороде, с 882 г., убив князей Аскольда и Дира, – в Киеве. Совершил поход в Византию (907 г.) и заключил с ней договоры в 907 и 911 гг.

⁹ Игорь (ум. в 945 г.) – русский князь, великий князь Киевский с 912 г., совершивший походы в Византию в 941 и 944 гг., заключивший с ней договор. Убит древлянами, восставшими под руководством князя Мала во время сбора дани.

¹⁰ Святослав Игоревич (ум. в 972 г.) – древнерусский князь, великий князь Киевский с 945 г., полководец, укрепивший внешнеполитическое положение Киевской Руси. Убит печенегами у днепровских порогов.

¹¹ Крум (ум. в 814 г.) – хан Первого Болгарского царства (с 803 г.), в борьбе с аварами и Византией расширил его территорию, кодифицировал обычное право.

¹² Филипп (в миру Колычев Федор Степанович; 1507–1569) – митрополит, происходил из знатного боярского рода Колычевых, приближен ко двору великим князем Василием III. Стал иноком Соловецкого монастыря, в 1546 г. поставлен игуменом этого монастыря. По настоянию Ивана Грозного был посвящен в сан митрополита в 1566 г. Публично выступал против опричных казней Ивана IV. Филипп пал жертвой клеветы и заговора, организованного духовником Ивана Грозного – благовещенским протопопом Ефстафием и многими влиятельными церковными иерархами. В 1568 г. был низложен, предан суду, приговорен к пожизненному заключению, год находился в заточении в Тверском Отрочь Успенском монастыре, где был задушен опричником Малютой Скуратовым.

¹³ Баторий Стефан (польск. *Batory*; 1533–1586) – польский король с 1576 г., избранный на престол по настоянию среднепоместной шляхты, полководец, участник Ливонской войны 1558–1583 гг. Оказывал поддержку иезуитам и католическому духовенству в борьбе с Реформацией.

¹⁴ Крамской Иван Николаевич (1837–1887) – русский живописец-портретист, рисовальщик, педагог, художественный критик, общественный деятель, организатор Артели художников, один из идейных руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

¹⁵ Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) – русский живописец-баталист, разделял взгляды передвижников. Участвовал в туркестанской, русско-турецкой и русско-японской войнах. Погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск». Автор художественной и мемуарной прозы.

«Пророки» и держиморды

Впервые опубл.: Новое время. – 1916. – 7(20) мая. – № 14427. – С. 4–13.

Повторно опубли.: Письма к ближним. – Пг., 1916. – С. 278–283.
Печатается по тексту первой публикации.

¹ Газета «Земщина» – ежедневная монархическая газета, одно из самых влиятельных и популярных патриотических изданий накануне революции 1917 г. Выходила с 3 июня 1909 г., первым издателем являлся депутат III Государственной Думы С. А. Володимеров, практически бессменным редактором – выдающийся публицист С. К. Глинка-Янчевский. Только в 1912 г. несколько номеров газеты вышли под редакцией Н. П. Тихменева. С осени 1915 г., после назначения Володимерова Томским вице-губернатором и прекращения выхода «Вестника Союза Русского Народа», издателем газеты стал Н. Е. Марков, и она превратилась фактически в орган Союза Русского Народа, хотя формально таковой не была. В газете печатались многие видные правые публицисты, в том числе Г. В. Бутми-де-Кацман, Н. П. Тихменев, Н. А. Энгельгардт, Л. Т. Злотников, Г. Г. Замысловский, но подлинным украшением газеты были статьи редактора, которые публиковались практически в каждом номере. Жесткую полемику «Земщина» вела с «Новым временем», которое после смерти А. С. Суворина все более и более склонялось к сотрудничеству с прогрессистами; особенно остро полемизировал С. К. Глинка-Янчевский с М. А. Сувориным и М. О. Меньшиковым. (Святая Русь: Большая энциклопедия русского народа. «Русский патриотизм». – М., 2003. – С. 270).

² Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) – русский военный и государственный деятель, генерал от кавалерии (1906 г.). В 1908–1909 гг. являлся начальником Генерального штаба, с 1909 по 1915 г. – военный министр. В 1916 г. был арестован по обвинению в злоупотреблениях и измене, в 1917 г. приговорен к пожизненному заключению. В 1918 г. был освобожден из заключения по причине преклонного возраста, затем находился в эмиграции.

³ Тема и цикл статей М. О. Меньшикова под названием «Должны победить» в газете «Новое время» 1914–1916 годов.

⁴ Суворин Михаил Алексеевич – сын А. С. Суворина, его наследник, редактор и председатель паевого товарищества «Нового времени».

⁵ «Русский инвалид» – русская военная газета, издавалась в Санкт-Петербурге (Петрограде) с 1813 по 1917 г. С 1862 г. являлась органом Военного министерства, с 1869 г. – Генерального штаба.

⁶ Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) – публицист, философ, идеолог западничества, философско-исторические взгляды которого сложились под влиянием католичества, масонских идей и социального христианства. Автор «Философических писем».

⁷ Герцен Александр Иванович (1812–1870) – писатель, публицист, философ-западник, один из основоположников народничества. Основал Вольную русскую типографию в Лондоне. Вместе с Н. П. Огаревым издавал в Лондоне газету «Колокол». Среди его философских произведений – «Дилетантизм в науке» (1843), «Письма об изучении природы» (1845–1846), а также автобиографическая проза «Былое и думы», роман «Кто виноват?» (1841–1846), повести «Доктор Крупов» (1847), «Сорока-воровка» (1848).

⁸ Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – русский публицист и общественный деятель, дворянин из рода Аксаковых, сын С. Т. Аксакова, идеолог славянофильства. Редактировал газеты «День», «Москва», «Русь», журнал «Русская беседа». В 1840–1850-х годах выступал за отмену крепостного права, в годы русско-турецкой войны 1877–1878 г. – организатор кампании за освобождение славян от турецкого ига.

⁹ Газета «Русское знамя» – ежедневная газета, орган Союза Русского Народа (СРН), Всероссийского Дубровинского союза Русского Народа (ВДСРН), в последний период – орган Союзов Русского Народа. Выходила в Петербурге (Петрограде) с 27 ноября 1905 г. по 26 февраля 1917 г., издатель – А. И. Дубровин. Издатель газеты вспоминал в 1910 г.: «Вскоре по образовании Союза всеми первыми его членами была признана необходимость в собственной газете. Мысль эту я решил осуществить во что бы то ни стало. Не имея ровно никакого понятия о газетном деле, я обратился к Ив. Серг. Дурново с просьбой помочь осуществить нашу мысль. Ив. Серг. изъявил согласие принять на себя редактирование газеты... Получив разрешение на издание “Русского знамени”, мы тотчас приступили к осуществлению заветной мысли – выпуску 1-го номера газеты. Откровенно сознаюсь, я с особым трепетом относился к делу, смотрел на него как на нечто священное...» Действительно, в первом номере, в котором было опубликовано Обращение СРН «К русской армии», издатель осторожно сообщил, что газета будет выходить еженедельно или по мере накопления материала. Однако успех превзошел все ожидания,

и уже с 1906 г. газета начала выходить ежедневно. В объявлении о подписке на газету указывалось, что «Русское знамя» является «органом, стоящим исключительно на народной почве в смысле внутреннего и внешнего единства всех ветвей великого русского племени, равноправие с которым в государстве может быть даровано инородцам лишь под условием их внутреннего единения с русским народом и полного проникновения интересами нашей государственности». Скоро «Русское знамя» стало самой популярной монархической газетой, ее тираж в разное время колебался от 3 тыс. до 14,5 тыс. экз. Газета выходила под девизом «За Веру Православную, Царя Самодержавного, Отечество нераздельное и Россию для русских». После И. С. Дурново редакторами газеты были видные деятели Союза: А. И. Дубровин, А. И. Тришатный и П. Ф. Булацель, затем «Русское знамя» редактировали секретарь СРН М. Н. Зеленский, А. В. Ососов, Е. А. Полубояринова, Е. Д. Хоменков, С. С. Потапочкин, Ф. Д. Клюев, В. А. Богданов. Самое продолжительное время во главе газеты стояли А. И. Дубровин, неоднократно совмещавший обязанности издателя и редактора, Н. И. Еремченко (1910–1912) и последний редактор «Русского знамени» М. П. Петров (1912–1913, 1915–1917). Газета издавалась в основном на личные средства Е. А. Полубояриновой, которая как-то заявила, что, пока она жива, газета выходить будет, и от слова своего не отступила. (Святая Русь: Большая энциклопедия русского народа. «Русский патриотизм». – С. 680).

¹⁰ Меньшиков говорит о публикации в газете «Русское знамя»: Люцилий. Опасные фантазии // Русское знамя. – 1916. – Май. – № 100. – С. 2.

Упрекая Мигулина в необоснованных домыслах и Меньшикова в невольной популяризации этих домыслов, Люцилий писал: «В отношении излишней болтовни, просачивающейся контрабандой сквозь сито цензуры, очень любопытна полемика глубоко штатского стратега, слишком известного Меньшикова, с просто штатским стратегом, входящим в известность благодаря Меньшикову, профессором Мигулиным <...> Можно понять военную цензуру, пропустившую фантазии г. Мигулина: для военного человека несостоятельность догадок штатского стратега и вздорность его оценок вопиюще очевидны, и потому пропечатание их безвредно. Так оно и было бы, не вмешайся в это дело г. Меньшиков, возведший г. Мигулина чуть не в гении. Не вмешайся Меньшиков, о статье Мигулина

не знал бы никто за пределами экономического журнала с ограниченным числом подписчиков. Ныне же фантазии г. Мигулина пошли колесить по России, да и по загранице. Положим, Меньшиков легко разбивает слабую логику г. Мигулина, но нелегально пробившихся сообщений и неблагоприятной оценки наших боевых операций не оспаривает, а что касается совета быть осторожнее и воздерживаться от наступления на германцев, к нему он горячо присоединяется. А главная опасность всей этой праздной болтовни в том, что она очень заразительна и что за Мигулиным с Меньшиковым, выбалтывающими по несообразительности секреты, чего доброго, потянутся пейсатые стратеги, которые под покровом фантазии примутся открыто осведомлять неприятеля».

¹¹ Мигулин Петр Петрович (1870–1948) – русский ученый-экономист, юрист и публицист, профессор, доктор финансового права Санкт-Петербургского императорского университета. Окончил курс в Харьковском университете по юридическому факультету. С 1897 г. читал в том же университете сначала торговое, потом финансовое право. Получил степень магистра за диссертацию «Русский государственный кредит» (Т. I. – Харьков, 1899), степень доктора за продолжение этого труда: «Русский государственный кредит» (Т. II. – Харьков, 1900). В 1907 г. назначен членом совета главноуправляющего землеустройством и земледелием при князе Б. А. Васильчикове. С образованием особой Высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России под председательством члена Государственного Совета инженер-генерала Н. П. Петрова был назначен ее членом и принимал участие в обследовании на местах нашей рельсовой сети. С 1914 г. – член совета министра финансов. Принимал участие в комиссии статс-секретаря П. А. Харитонова по обсуждению условий сведения государственной росписи доходов и расходов. С 1909 по 1912 г. издавал и редактировал в Петербурге журнал «Экономист России». С 1913 г. издавал в Петрограде журнал «Новый Экономист». Автор книг: «Регулирование бумажной валюты в России» (Харьков, 1896); «Реформа денежного обращения и промышленный кризис» (1902); «Наша новейшая железнодорожная политика» (1903); «Русский Сельскохозяйственный Банк» (1902); «Наша банковая политика» (1904); «Выкупные платежи» (1904); «Война и наши финансы» (1905); «Аграрный вопрос» (1906); «Государственный независимый центральный эмиссионный банк, проект» (1906);

«Настоящее и будущее русских финансов» (1907); «Возрождение России, экономические этюды и новые проекты» (1910); «Русская внешняя торговля и наш торговый флот» (1911); «К вопросу о частном железнодорожном строительстве» (1912); «Экономический рост русского государства за 300 лет» (1913). Основная его монография – «Реформа денежного обращения в России и промышленный кризис (1893–1902)», которая была издана в 1902 г. и получила очень высокую оценку современников.

Письма к ближним. Золотое сердце

Впервые опубл.: Новое время. – 1916. – 8 (21) мая. – № 14428. – С. 4.

Повторно опубл.: Письма к ближним. – Пг., 1916. – С. 283–287. Печатается по тексту первой публикации.

¹ Ришпен Жан (фр. Jean Richerpin, 1849–1926) – французский поэт-романтик школы В. Гюго, автор стихотворений, стихотворных драм и романов. Учился в Ecole Normale (высшее учебное заведение), участвовал во франко-прусской войне, затем вел жизнь богемы, скитался по Франции с цыганским табором, жил среди наездников и клоунов, был актером; в Англии нанимался в солдаты. В 1876 г. вышел первый сборник песен Ришпена “Chansons des Gueux” («Песни нищих»), а в 1884 г. – “Les Blasphèmes” («Богохульства»), принесшие ему известность. Поэтика Ришпена соединяла мятежность духа и любовь к свободе с риторичностью и театральностью. Дух поэзии Ришпена – восстание против буржуазности и условности; форма – подчинение академическим традициям, строгость стиха, утонченность и книжность вкуса. В первых произведениях Ришпен – враг общественности и цивилизации, друг свободных скитальцев, противник предрассудков и иллюзий человечества; но это скорее риторика разгневанного оратора и аффектированное актерское красноречие, чем поэзия. В поэтическом сборнике “Mop paradis” (1894) Ришпен демонстрирует углубление психологического содержания: борьбу инстинктов и чувств, множественность «я» в душе человека. Романтическая фантазия и реализм деталей, наблюдательность и любовь к природе, поэзия полей и простых чувств, культ свободы инстинктов, враждебность к культуре проявлялись не только в романах, но и в романтизированных драмах Ришпена,

показывающих идиллические картины сельской действительности. Его исторические драмы и драмы из жизни моряков и крестьян также были очень популярны во Франции. В ряде стихотворений Ришпен утверждал романтическую концепцию творчества. Если тип человека-художника или музыканта в традиционной романтической эстетике воплощал в себе идеал романтической личности вообще, то и у Ришпена «лунатик» – это не столько собственно «поэт», сколько идеальное состояние человеческой души, идеальный тип творческого отношения к жизни.

² Культуртрегеры – носители и распространители цивилизации. Слово заимствовано из немецкого языка.

³ Гюйо (Guyau) Жан Мари (1854–1888) – французский философ-позитивист, сторонник утилитаризма. Профессор лицея Кондорсе (Париж). Основные работы посвящены эстетике, морали и религии. Особое внимание сосредоточивал на социальном содержании искусства, понимаемом в своей основе как биологическое. Искусство есть одновременно и результат избытка жизненных сил, и деятельность, требующая напряженного труда («Задачи современной эстетики», 1884, русский перевод 1899, «Искусство с точки зрения социологии», 1889, русский перевод 1891). Рассматривая духовные явления с точки зрения пользы для биологического функционирования, Гюйо характеризует нравственность как необходимость, обеспечивающую равновесие жизненных сил. Общество будущего представлялось Гюйо в виде гармонической солидарности умов, воли и эмоций. По его мнению, с эволюцией человека традиционные религиозные представления должны уйти в прошлое, эта точка зрения выражена в работе «Безверие будущего» (1887, русский перевод 1908). Придерживаясь элитарной позиции, Гюйо разделял человечество на творцов – носителей высшей «жизненной интенсивности» и на пассивную массу.

⁴ Мечников Илья Ильич [3 (15) мая] 1845, Ивановка Харьковской губернии, ныне Купянский район Харьковской области Украины – 2 (15 июля) 1916, Париж] – русский и французский биолог (зоолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог).

⁵ Ковалевский Павел Иванович (1849–1923) – русский психиатр, психолог, политический публицист, профессор, идеолог русского национализма. Основатель первого русского психиатрического журнала. Член Русского Собрания. Один из основателей Всероссийского Национального союза.

⁶ Вероятно, Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) – русский историк, профессор кафедры всеобщей истории Московского университета. Выехал в 1901 г. в Англию. Стал профессором Оксфордского университета. Сочувствовал партии октябристов.

Америка и Россия

Впервые опубли.: Новое время. – 1916. – 6 (19) сентября. – № 14549. – С. 4.

Повторно опубли.: Письма к ближним. – Пг., 1916. – С. 513–518.

Печатается по тексту первой публикации.

Выделения курсивом в тексте принадлежат М. О. Меньшикову.

Мрачные предсказания г. Милюкова

Впервые опубли.: Новое время. – 1916. – 20 декабря. – № 14654. – С. 6.

Повторно опубли.: Письма к ближним. – Пг., 1916. – С. 720–723.

Печатается по тексту первой публикации.

Выделения курсивом принадлежат М. Меньшикову.

¹ Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский государственный деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства первого состава – до 2 (15) мая 1917 г. После Октябрьской революции находился в эмиграции. Милюков – автор трудов по истории России XVIII–XIX веков, Февральской и Октябрьской революций, а также публицистических работ по истории интеллигенции в России.

² Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – русский государственный деятель, граф (1905 г.), министр путей сообщения (1892 г.), инициатор введения винной монополии (1894 г.), а также проведения денежной реформы (1897 г.), строительства Сибирской железной дороги. С 1903 г. – председатель Комитета министров, а с 1905 по 1906 г. – Совета министров. Им был подписан Портсмутский мир (1905 г.). С. Ю. Витте – автор Манифеста 17 октября 1905 г. Им разработаны основные положения столыпинской аграрной реформы. Витте стремился привлечь предпринимателей к сотрудничеству с правительством. Автор «Воспоминаний» (Т. 1–3, 1960).

³ Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) – русский священник, организовал и возглавил «Собрание русских фабрично-

заводских рабочих Санкт-Петербурга» (1904 г.), инициатор петиции петербургских рабочих Николаю II, **шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г.** Гапон подозревался в связях с охранным отделением Департамента полиции. Одновременно сотрудничал и получал деньги от революционеров. Был связан с Пинхусом Моисеевичем Рутенбергом, по приказу которого был повешен.

⁴ Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – еврейский политический деятель, один из основателей и лидеров партии эсеров, ее Боевой организации, руководитель ряда террористических актов, провокатор, с 1893 г. – секретный сотрудник Департамента полиции: в 1901–1908 гг. выдал полиции много эсеров. В 1908 г. был разоблачен В. Л. Бурцевым и скрылся за границу.

⁵ Илиодор, иеромонах (в миру Сергей Михайлович Труфанов; 1880, станица Мариинская, Российская империя – 1952, США) – из донских казаков, в 1905 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию и поступил в Почаевскую лавру. Один из активных создателей и членов Союза Русского Народа. В 1908 г. был переведен в Царицын, а в 1911 г. – в один из монастырей Тульской епархии. Илиодор не подчинился этому распоряжению. В проповедях, речах, статьях в монархических изданиях выступал против интеллигенции, евреев. В 1912 г. состоялось постановление Синода о заточении его во Флорищеву пустынь. По прошению Илиодор был расстрижен, уехал на Дон, женился, стал проповедником новой религии «разуму и солнцу». В одной из проповедей непочтительно отозвался о царской семье, за что был привлечен к дознанию, бежал за границу. В 1917 г. вышла его книга о Распутине, в которой он, используя свои фантазии и выдумки, злобно критиковал Г. Е. Распутина. После 1917 г. Труфанов некоторое время работал в ВЧК, а затем бежал за границу, где работал швейцаром нью-йоркской гостиницы.

⁶ Виталий архимандрит – в период с 1906 по 1907 г. многие видные деятели Союза Русского народа и рядовые его члены пострадали от революционного террора. Среди жертв покушений оказались руководитель Одесского отдела граф А. И. Коновницын, председатель Почаевского отдела, настоятель Почаевской Лавры архимандрит Виталий (Максименко) и многие другие.

⁷ Казанцев А. Е. – член Союза Русского народа, о котором в еврейских кругах говорили, что по его наущению некто рабочий Федоров убил редактора газеты «Русские ведомости» Г. Б. Иоллоса.

РАЗДЕЛ II
КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ
И «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАВДА»

Совесть и знание

Впервые опубликовано: Русская мысль. – 1895. – Кн. 8. – С. 90–103.

Повторно опубликовано: Совесть и знание // Меньшиков М. О. Народные заступники и другие нравственно-бытовые очерки. – СПб., 1900. – С. 130–153.

¹ Г. О. Т. В. – Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) – русский журналист, публицист и литературный критик, ученый и общественный деятель, доцент Московского университета. Являлся ведущим публицистом журнала «Русская мысль», где работал со времени основания журнала (1880). Гольцев вел в «Русской мысли» ежемесячное «Политическое обозрение», а с 1885 г. стал фактическим редактором этого журнала. В 1879 г. был выбран доцентом Новороссийского университета (по кафедре энциклопедии права), но лекций, по независящим от него обстоятельствам, не читал. Избранный доцентом Московского университета, читал там лекции в 1881–1882 гг. В 1884 г. провел несколько месяцев в тюрьме. Был несколько лет товарищем председателя московского юридического общества, секретарем общества любителей российской словесности. Был редактором «Юридического вестника», «Русского курьера». Писал статьи в изданиях «Русские ведомости», «Русская правда», «Голос» (в этой газете фельетоны под заглавием «Накануне»), «Вестник Европы», «Русское богатство», «Дело», «Артист», «Вопросы философии и психологии». Гольцев активно работал в «Московском телеграфе» и «Светоче» (Москва). Отдельно изданы труды «Государственное хозяйство во Франции XVII в.» (1878 г.); «Очерк развития педагогических идей в новое время» (1880 г.); «Законодательство и нравы в России XVIII веке» (1885 г.); «Воспитание, нравственность, право» (Сборник статей, 1889 г.); «Об искусстве» (критические заметки, 1890 г.); «Вопросы дня и жизни» (1893 г.). В сборнике «Памяти В. А. Гольцева» под ред. А. А. Кизеветтера (М., 1910) перепечатано письмо Гольцева к П. Л. Лаврову 1875 г. (из газеты «Вперед», где оно появилось вместе с ответом Лавро-

ва), в котором Гольцев выступал с умеренной конституционно-демократической программой.

² Эпиграф к статье: «Нужно очень немного таких, чтобы спасти мир – до того они сильны» (Достоевский. «Дневник писателя»). «Основной вопрос, который ставил Меньшиков в этой статье: Так что же делать? В чем настоящий долг, непререкаемый идеал, к которому нужно стремиться? Отчего несчастны добрые? Отчего нет утешенья честным? Я попробовал разрешить этот вопрос по совести, я исследовал собственные разочарования и пришел к выводу, который многим покажется жестоким. Добрые не были бы несчастными, если бы были *вполне* добры. Честные не тосковали бы, если бы были до *конца* честными» (С. 237). «Меньшиков образно сравнивает проверку задач жизни с работой математика, проверяющего ход работы и выявляющего грубую ошибку в самом задании. Наш долг в помощи ближним: “Ближний, которому мы помогаем материально, всегда при этом нравственно *выздоровливает* в меру любви, вложенной в помощь”. Меньшиков решил поставленную проблему так: “Высшая цель – апостольство любви. Высшее средство для этого – подвижничество любви. И то, и другое доступно самым заурядным, скромным людям, лишь бы они захотели быть истинно добрыми до конца”» (С. 266).

³ Тверской Питер Деменс (Дементьев Петр Алексеевич; 1849–1919) – основатель г. Санкт-Петербурга, штат Флорида США, русский дворянин, председатель земской управы и предводитель дворянства Весьегонского уезда Тверской губернии (1873–1878). Учился в 3-й гимназии в Петербурге и Первом реальном училище в 1866–1867 гг. В 17 лет поступил на военную службу в лейб-гвардии Гатчинский полк. В 1870 г. вышел в отставку в чине капитана и занялся хозяйством. В 1873 г. избирался председателем земской управы и предводителем дворянства Весьегонского уезда, в 1875 г. – почетным мировым судьей и председателем мировых судей. В 1878 г. вышел в отставку, а в 1881 г. разорился, продал свои имения и переехал в Петербург. В 1881 г. после убийства Александра II был обвинен в связях с народовольцами и принял решение уехать в США. Живя во Флориде, занялся лесозаготовками. Вскоре начал заниматься и железнодорожными подрядами: решился на прокладку железнодорожной линии в 150 милях от реки Сен-Джонс до Мексиканского залива. Железные дороги должны были пересечь Флориду с востока на запад. Рядом со станциями дороги возникали новые поселения.

Одно из них было названо Дементьевым Одессой. 8 июня 1888 г. первый поезд достиг берега полуострова Пинеллас в бухте Тампа в Мексиканском заливе. Здесь Дементьев основал новый город – Сен-Питерсберг. В 1889 г. покидает США из-за болезни. Прожив три года в Эшвилле (Северная Каролина), Дементьев с семьей переехал в Лос-Анджелес. Дементьев оставил богатое литературное наследие. В 1897 г. на свои средства начал издавать журнал «Современник» (Лондон), где в трех номерах этого журнала публиковал свои обращения «К русским недовольным», «К русскому царю», «К русским либералам». Перевел на английский язык много произведений М. Ю. Лермонтова, являлся постоянным автором журнала «Вестник Европы», где публиковал под псевдонимом «Тверской» свои очерки «Десять лет в Америке» и «Моя жизнь в Америке». В 1895 г. он издал в России свой труд «Очерки истории Североамериканских Соединенных Штатов», в 1904 г. – книгу «Очерки истории Соединенных Штатов Америки». Два раза он посещал Россию – в 1896 и 1906 гг. В 1906 г. Дементьев встречался с П. А. Столыпиным. Вел дружескую переписку с К. П. Победоносцевым. Последние годы жизни прожил в своем доме на ранчо Альта-Лома недалеко от Лос-Анджелеса. Умер в 1919 г. В 1979 г. в Сен-Питерсберге был установлен гранитный монумент в честь П. А. Дементьева.

⁴ Энгельгардт Александр Николаевич (1832–1893) – русский публицист, агроном. В 1866–1870 гг. занимал должность профессора Земледельческого института в Санкт-Петербурге. В 1871 г. за участие в революционно-пропагандистской работе сослан в Смоленскую губернию. Автор «Писем из деревни» (1882).

⁵ Дюринг Евгений (нем. Dühring; 1833, Берлин, – 1921, Новавес, близ Потсдама) – немецкий философ и экономист, профессор механики; занимался вопросами политэкономии и права. Сын прусского чиновника, юрист по образованию. В 1863–1877 гг. был приват-доцентом Берлинского университета. Основные работы: «Курс философии» (1875), «Критическая история национальной экономики и социализма» (1875), «Логика и теория науки» (1878), «Еврейский вопрос» (1881), «Философия действительности» (1895). Дюринг предпринял попытку построить собственную систему «философии действительности», которая утверждала новый способ мышления. Однако его построения оказались смешением элементов метафизического материализма, позитивизма и кантианства. Социологическая концепция Дюринга основана на

идеалистическом воззрении, согласно которому причиной социального неравенства, эксплуатации и нищеты является насилие. Дюринг полагал, что социалистическое преобразование общества должно исключать революционный переворот и идти в духе мелкобуржуазного социализма Прудона, через кооперирование мелких производителей. Дюринг являлся сторонником учения американского экономиста Г. Ч. Кэри. Он выступал против политической экономии марксизма, материалистической диалектики и научного социализма. Идеи Дюринга получили распространение в среде немецкой социал-демократии. Энгельс полемизировал с Дюрингом в книге «Анти-Дюринг» (1878), что сыграло значительную роль в падении распространенности упрощенных материалистических версий трактовки природы и общества.

Думы о счастье

Впервые опубли.: Книжки Недели. – 1894. – Ч. I–VIII. – № 3. – С. 198–228; Ч. IX–XVIII. – № 4. – С. 199–231; Ч. XIX–XXIX. – № 5. – С. 169–202; XXX–XLI. – № 6. – С. 228–262; Ч. XLII–LV. – № 7. – С. 181–216.

Повторно опубли. отд. изд.: Меньшиков М. О. Думы о счастье. – Спб., 1898. – 176 с.;

Меньшиков М.О. Думы о счастье. – 2-е изд. – Спб., 1901. – 176 с.

Печатается по тексту повторной публикации. – Спб., 1898.

¹ Сократ (древнегреч. Σωκράτης, 470–399 до н. э.) – древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики (так называемого сократического метода), принимал участие в общественной жизни Афин. Был приговорен к смерти, выпил чашу с ядом.

² Цицерон Марк Туллий (лат. Cicero Marcus Tullius; 106–43 до н. э.) – римский политический деятель, оратор, писатель. Сочинения Цицерона являются источником сведений об эпохе гражданских войн в Риме. Из сочинений Цицерона сохранились не менее 25 судебных и политических речей, 14 филиппик (жанр публичной речи, восходящий к Демосфену) против Марка Антония, трактаты по риторике, политике, философии и более 800 писем.

³ Сципионы – в Древнем Риме одна из ветвей рода Корнелиев – крупных полководцев и политических деятелей.

⁴ Сенека Луций Аней (лат. *Seneca*; ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – римский политический деятель, воспитатель Нерона, философ и писатель, представитель стоицизма. В его произведениях – презрение к смерти, проповедь свободы от страстей. Философско-этические сочинения «Письма к Луцилию»; трактаты «О благодеяниях», «О милосердии», «О спокойствии духа»; трагедии «Эдип», «Медея».

⁵ Анна Луиза баронесса де Сталь-Гольштейн (фр. *Germaine barone de Stel-Holstein*; 1766–1817) – знаменитая французская писательница, представитель зародившегося в то время направления романтизма, дочь государственного деятеля Жака Неккера. Автор книг «О литературе» (1796–1799 гг.), в которой рассматривала взаимоотношения общества и литературы; «О Германии» (1800 г.); романов «Дельфина» и «Коринна, или Италия» и др. Роман «Коринна, или Италия» – о судьбе гениальной женщины, о противоречии между славой, всеобщим признанием и любовью.

⁶ Царедворец Иосиф – начало XVI – XV в. до н. э., младший из 11 сыновей Иакова и Рахили. Был продан братьями в рабство.

⁷ Спенсер Чарльз Герберт (англ. *Spencer Herbert*; 1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, основатель органической школы в социологии, идеолог либерализма, развивавший механистическое учение о всеобщей эволюции. В этике являлся сторонником утилитаризма. Основное сочинение – «Система синтетической философии» (1862–1896 гг.).

⁸ Гамбетта Леон Мишель (фр. *Gambetta léon*; 1838–1882) – французский политический деятель. В 1879–1881 гг. – председатель палаты депутатов. В 1881–1882 гг. – премьер-министр и министр иностранных дел.

⁹ Гладстон Уильям Юарт (англ. *Gladstone William Ewart*; 1809–1898) – государственный и политический деятель Великобритании, лидер либеральной партии (с 1868 г.), с его именем связан ряд преобразований 1870-х годов: реформа начального образования, легализация профсоюзов, введение тайного голосования на выборах.

¹⁰ Лесков Николай Семенович (1831–1895) – русский писатель-реалист, причислялся к консервативному направлению; исследовал духовно-нравственные основы русского характера, национальной русской праведности и грешности.

¹¹ Золя Эмиль (фр. *Zola Émile*; 1840–1902) – французский писатель, сторонник направления натурализма.

¹² Бурже Поль (фр. Bourget Paul; 1852–1935) – французский критик, романист, поэт, прославился психологическими романами. Автор этюдов «Критические эссе о современной психологии» (1883 г.), «Новые эссе» (1885 г.). В стихах был близок поэтам-декадентам, основные настроения и мотивы: разочарованный скепсис, пессимизм, пристрастие ко всему искусственному – дендизм. В «Критических эссе» разобрал те литературные течения, которые отразились в его собственном творчестве (Бодлер, Ренан, Тэн, Дюма-сын, Флобер, братья Гонкуры, Леконт де Лиль, Стендаль). Бурже отвергал гуманность разума и противопоставлял религии мораль.

¹³ Доде Альфонс (фр. Daudet Alphonse; 1840–1897) – французский писатель, род. в Провансе, причислялся к французским натуралистам. Автор книг «Приключения Тартарена из Тараскона», «Арлезианка» и др.

¹⁴ Четы-Миней – сборники, в которых жития святых располагаются по календарному принципу в соответствии с днями праздников.

¹⁵ Васильчиков Александр Илларионович (1818–1881) – русский экономист, публицист, земский деятель, близкий к славянофилам.

¹⁶ Де Бернарден Сен-Пьер Жак Анри (фр. Bernardin de Saint-Pierre; 1737–1814) – французский натуралист и писатель; последователь Ж.-Ж. Руссо; представитель сентиментализма; его имя связывают также с предромантизмом. Бернардена называют еще «отцом экзотизма». В течение трех лет жил на острове Иль-де-Франс (в Индийском океане, ныне остров Маврикий), где проникся культом девственной природы в духе Руссо. Впечатления отразил в сочинении «Путешествие на Иль-де-Франс» (1773) и в четвертом томе «Этюдов о природе» (1784–1787), в которые вошел роман «Поль и Виржиния» (1787 г.), а также философский роман «Индийская хижина» (1790). Среди его произведений – прозаическая пастораль «Ardadie» (1781), популярная у современников, но впоследствии забытая. Также он являлся автором философской новеллы «Суратская хижина» (1791), драмы «Смерть Сократа» (1808). Вошел в историю литературы как автор «Поля и Виржинии» (1787). Стиль романа – декоративно-живописный, сочетает прекрасные описания природы с чувствительностью диалогов героев. Оказал большое влияние на стиль Ф. Р. де Шатобриана и других романтиков. Л. Н. Толстой перевел и переработал его новеллу «Суратская хижина». Толстой находил в новелле созвучные своему учению мотивы. Произведения Бернардена получили высокую оценку К. Н. Батюшкова и И. С. Тургенева.

¹⁷ Аристотель (древнегреч. Ἀριστοτέλης; 384–322 до н. э.) – древнегреческий философ, сочинения которого охватывают все области современных ему знаний. Учился у Платона, основал в 335 г. свою философскую школу – Ликей, которая вошла в историю как перипатетическая школа. Аристотель являлся основателем формальной логики и силлогистики. Аристотель был воспитателем Александра Македонского. Основные сочинения: логический свод «Органон» («Категории», «Об истолковании», «Аналитики» 1-я и 2-я, «Топика»), «Метафизика», «Физика», «О возникновении животных», «О душе», «Этика», «Политика», «Риторика», «Поэтика».

¹⁸ Декарт Рене (фр. René Descartes; лат. Renatus Cartesius — Картезий; 1596–1650) – французский ученый, философ, родоначальник европейского рационализма.

¹⁹ Ньютон Исаак (англ. Newton Isaac; 1643–1727) – английский математик, механик, астроном, физик.

²⁰ Иоганн Кеплер (нем. Kepler Johannes; 1571–1630) – немецкий астроном, один из создателей современной астрономии.

²¹ Ландскнехты и кондотьеры – в Италии в XIV–XVI веках – предводители наемного военного отряда, находившегося на службе у государя или римского папы.

²² Панамский скандал – судебное дело во Франции 1889–1893 гг., связанное со злоупотреблениями и коррупцией при строительстве Панамского канала.

²³ Вольное экономическое общество (1765–1915) – первое российское научное общество.

²⁴ Тацит Публий или Гай Корнелий Тацит (лат. Tacitus Publius Cornelius или Tacitus Gaius Cornelius (ок. 58–117) – древнеримский государственный деятель, оратор, претор (88 г.), проконсул римской провинции (112/113 г.).

²⁵ Альфред Рассел Уоллес (англ. Alfred Russel Wallace; 1823–1913) – английский естествоиспытатель.

²⁶ Накрохин Прокофий Егорович (1850–1903) – талантливый беллетрист. Учился в гимназии в Архангельске, вышел из шестого класса по бедности. Переехав в Петербург, был репортером, писал статьи и заметки на современные темы. С 1868 г. помещал мелкие рассказы в еженедельниках и газетах. В «Книжках «Недели»» с 1888 по 1899 г. напечатаны его наиболее выдающиеся произведения: «Вор», «Входящий и исходящий», «Греза», «Талисман», «Стихия», «Сказка и правда». Перечисленные произведения посвящены пре-

имущественно миру маленьких, скромных людей; их страдания, их будничную, серую жизнь он описывает просто, безыскусственно, с полным доверием к человеку, с верой в нравственное возрождение тех, кто попал на путь порока. Непоколебимая, глубокая любовь к человечеству красной нитью проходит через произведения Накрохина, чуждые сентиментальности, согретые задушевным настроением. Добродушный юмор скрашивает некоторую их монотонность. В 1899 г. вышел сборник его рассказов «Идиллия в прозе». Накрохин умер в больнице для душевнобольных. Меньшиков посвятил Накрохину большой очерк в книге «Критические очерки» (СПб., 1899).

²⁷ Макс Нордау (Simon Maximilian Südfeld, Симха Меер (Симон Максимилиан) Зюдфельд; 1849, Пешт (Венгрия) – 1923, Париж) – врач, писатель, политик, соучредитель Всемирной сионистской организации. Его отец – Габриэль бэн Ассэр Зюдфельд – был раввином. После традиционного еврейского воспитания он с 18 года жизни воспринял научное мировоззрение, став натуралистом и эволюционистом. В 1874 г. он изменил свою фамилию на Нордау (Nordau). В 1875 г. становится врачом, закончив университет, в 1880 г. переезжает в Париж. Параллельно делает карьеру журналиста, став в результате корреспондентом ведущих европейских газет. После знакомства с Теодором Герцлем в 1895 г. стал пламенным сторонником идеи сионизма, ангажируясь в сионистском движении. Один из ранних лидеров еврейского национального движения. Принимал активное участие в первых десяти Сионистских всемирных конгрессах. Неоднократно избирался вице-президентом, а затем и президентом нескольких сионистских конгрессов. Всемирную известность Нордау принесли его труды по политическим и экономическим прогнозам развития общества на следующие 100 лет. Пожалуй, самым известным его произведением является «Вырождение», в котором он предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». После смерти его останки в 1926 г. были перевезены в Тель-Авив.

²⁸ Ломброзо Чезаре (итал. Lombroso; 1835–1909) – итальянский судебный психиатр и криминалист еврейского происхождения, родоначальник антропологического направления (ломброзианства) в криминологии и уголовном праве.

²⁹ Фридрих III (нем. Friedrich; 1415–1493) – германский король (с 1440 г.), император Священной Римской империи (с 1452 г.), австрийский эрцгерцог (с 1453 г.) из династии Габсбургов. В 1480-х го-

дах в результате борьбы с венгерским королем Матьяшем Хуньяди потерял почти все австрийские владения.

³⁰ Эолова арфа – древний музыкальный инструмент в виде узкого деревянного ящика, внутри которого натянута от 9 до 13 жильных струн, настроенных в унисон и приводимых в колебание движением ветра. По названию арфы древнегреческого мифологического повелителя ветров Эола.

³¹ Гилти Карл (нем. Hilty; 1833–1909) – бернский историк права.

³² Бехштейн Людвиг (нем. Bchstein Ludwig; 1801–?). Новый швейцарский Робинзон: По Бехштейну / Пер. с нем. В. П. Андреевская. – Спб., 1889.

³³ Эрб Вильгельм (нем. Erb Wilhelm; 1840–1921) – немецкий невропатолог, автор трудов по нервным болезням.

³⁴ Летурно Шарль (фр. Letourneau; 1831–1907) – французский этнограф-социолог, профессор антропологической школы в Париже, автор многочисленных трудов по истории развития общественных учреждений и человеческой культуры вообще. Решающее значение в изучении этого развития Летурно придает данным этнографии, при помощи которой, по его мнению, можно изобразить последовательный и непрерывный рост человеческой культуры гораздо точнее, чем при помощи обычного исторического метода. Главные его труды были переведены на русский язык: «Эволюция собственности», «Эволюция брака и семьи».

³⁵ Моссо Анджело (итал. Mosso Angelo; 30 мая 1846, Турин – 24 ноября 1910, Турин) – итальянский физиолог, изучал медицину в Турине, Флоренции, Лейпциге и Париже, в 1876 г. в Турине – профессор фармакологии, в 1880 г. – физиологии. Главные его заслуги касаются экспериментальной физиологии. При помощи своего плетизмографа он исследовал движения кровеносных сосудов, происходящие под влиянием психического возбуждения. Гидросфигмограф его показывал колебания пульса при умственной деятельности; эргограф описывает кривую утомления мышц человеческого предплечья и измеряет производимую этими мускулами работу; при помощи тонометра измерял другие явления утомления. Моссо также на особых весах демонстрировал изменения в кровообращении, происходящие во сне, при мозговой деятельности. Из многочисленных работ большое количество напечатал в «Archives italiennes de biologie», основанных Моссо в 1882 г. Отдельные работы Моссо касались диагностики пульса, кровообращения

в человеческом мозге, страха, усталости, температуры мозга и т. п. Его мемуары "Su la circolazione del sangue nel cervello de l'uomo" получили премию Академии *de Lincei*. Из других следует назвать: "La paura" (1886), "L'espressione del dolore" (1889) и др. На русском языке: «Страх» (пер. Розальон-Сошальской. – Полтава, 1888) и «Усталость» (СПб., 1893).

³⁶ Барон фон Крафт-Эбинг Рихард (нем. Richard Freiherr von Krafft-Ebing; 1840, Мангейм – 1902, Грац) – австрийский и немецкий психиатр, сексолог, исследователь человеческой сексуальности, директор Фельдхофского приюта для умалишенных. Автор одного из первых опубликованных исследований сексуальных девиаций, знаменитой книги «Половые психопатии» (1886), а также трехтомного «Учебника по психиатрии». Автор термина «садизм» (по имени маркиза де Сада), ввел в оборот термин «мазохизм», используя при этом имя австрийского писателя, Леопольда фон Захер-Мазоха, еврея по происхождению, чья частично автобиографическая новелла «Венера в мехах» повествует о желании главного героя быть поротым, мучимым и обращенным в рабство прекрасной женщиной. Эбинг также считал гомосексуализм признаком деградации человека, болезнью.

³⁷ Дюма Александр младший (Дюма-сын; фр. Alexandre Dumas, Dumas-fils, 1824–1895) – сын писателя Александра Дюма старшего (Дюма-отца). Начал свою литературную деятельность сборником стихов "Peches de jeunesse" («Грехи юности»; 1847). Автор ряда романов: "Histoire de quatre femmes et d'un perroquet" («История четырех женщин и попугая»; 1847), "Le roman d'une femme" («Роман одной женщины»; 1848), "Cesarine" («Сезарин»; 1848), "Le docteur Servans" («Доктор Серван»; 1848), "Antonine" («Антонин»; 1849), "Trois hommes forts" («Трое крепких мужчин»; 1851), "Tristan le Roux" («Тристан Леру»; 1849), "Diane de Lys" («Диана де Ли»; 1853), "La boite d'argent" («Копилка для денег»; 1855) и др., появлявшихся быстро один за другим с конца 40-х до середины 50-х годов XIX столетия. Прославился Дюма, когда на сцене парижского театра «Водевиль» в 1852 г. была поставлена пьеса «Дама с камелиями», переделанная им из своего же одноименного романа "La dame aux Camélias". Этой пьесой была предопределена дальнейшая карьера Дюма как драматурга. За «Дамой с камелиями» выходит ряд пьес: "Diane de Lys" («Диана де Ли»; 1853), "Demi-Monde" («Полусвет»; 1855), "Question d'Argent" («Денежный

вопрос»; 1857), "Le Fils naturel" («Незаконный сын»; 1858), "Le Pere prodigue" («Блудный отец»; 1859), "L'ami des ifemmes" («Друг женщин»; 1864), "L'Affaire Clemenceau" («Процесс Клемансо»; 1866), "Les idées de Madame Aubray" («Взгляды г-жи Обрэй»; 1867), "Une visite de nocе" («Свадебный визит»; 1871), "La princesse Georges" («Принцесса Жорж»; 1871), "La femme de Claude" («Жена Клода»; 1873), "Monsieur Alphonse" («Альфонс»; 1874), "L'etrangere" («Иностранка»; 1876), "La princesse de Bagdad" («Багдадская принцесса»; 1881), "Denise" («Дениза»; 1885), "Francillon" («Франсийон»; 1887). Большая часть сюжетов пьес Дюма затрагивает тему о женщине: проблемы ее положения в обществе, брака, семьи, проституции и т. д. Этому вопросу посвящены и его общественные выступления-брошюры: "Lettres sur les choses du jour" («Письма на злобу дня»; 1871), "L'homme – femme" («Мужчина – женщина»; 1872), "Tue-la" («Убей ее»; 1872), "Les femmes qui tuent et les femmes qui votent" («Женщины, которые убивают, и женщины, которые голосуют»), "Recherches de la paternité" («Установление отцовства; 1883) и памфлет "Le divorce" («Развод»; 1880).

³⁸ См. статью М. О. Меньшикова «Работа совести» (по поводу статьи «Неделание» гр. Л. Н. Толстого).

³⁹ Кричтон-Браун Джеймс (англ. Crichton-Browne James; 1886–1938) – американский психиатр, доктор медицины, член Нью-Йоркской медицинской академии. Изучал выражение лица у душевнобольных, занимался любительской фотосъемкой. В 1869 г. послал Ч. Дарвину первую из множества своих фотографий душевнобольных. Его фотографии вошли в книгу Ч. Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных» (1872).

⁴⁰ Фере Шарль (фр. **Féré Charl; 1852– ?**) – французский психиатр, невропатолог. Исследовал гипноз, заболевания нервной системы, патологии эмоциональной сферы, их связь с другими заболеваниями, а также вопросы патологической наследственности, усталости и вырождения. Основные сочинения в переводе на русский язык: «Нейропатическая семья. Тератологическая теория патологической наследственности, предрасположения и вырождения» (пер. с фр. П. П. Тутышкина. – М., 1895. – 143 с.); Бине Альфред, Фере Шарль «Животный магнетизм» ("La magnetisme animal", par Binet et Féré. – СПб., 1890. – 408 с.). Сочинения на французском языке: "La pathologie des émotions" ([Paris], 1892); «La fatigue et l'histérie expérimentale: théorie physiologique de la fatigue» (C. R. Soc. de Biol.,

1890). Связь истерии и усталости Ш. Фере подтверждает в книге «Нейропатическая семья», а также ссылками в ее тексте на французские издания: «Одним словом, нейрастения создает удобную почву для заболеваний нервной системы. Нет сомнения, что она может быть наследственной; это удостоверяют ежедневные наблюдения. Тяжелые формы нейрастении не встречаются вообще без сильно выраженной патологической наследственности (*neurasthénie d'évolution*). Но и помимо наследственных влияний, не может ли вызываться это состояние раздражительной слабости многочисленными возбуждениями, которым подвергается нервная система? По-видимому, это возможно. В особенности чрезмерная умственная работа, умственное переутомление, а главным образом, нравственные потрясения, непрерывное озабоченное состояние в борьбе за существование – все это условия, необыкновенно способствующие тому, чтобы вызвать функциональные расстройства в нервных элементах. Нейрастению можно рассматривать с тем же правом, как и истерию, как хроническое утомление... Впрочем, утомление благоприятствует появлению целого ряда душевных расстройств, свойственных нейрастении, и эти расстройства, хотя бы они были только кратковременными, могут иметь самые печальные последствия на детей, рожденных при подобных условиях. Сюда применимо упомянутое нами раньше влияние на плод того состояния, в котором производители находятся в момент зачатия. Относительная частота нейрастении и нервных болезней у цивилизованных народов, в больших городах и у лиц с напряженной умственной деятельностью представляет доказательство в пользу высказанного взгляда».

⁴¹ Равашоль Франсуа Клодиус Коенигстен (Кёнигштайн; фр. François Claudius Koënicgstein; 1859–1892) – анархист-боевик и террорист, известен как Равашоль по фамилии матери, был прозван «Рокамболь анархизма». Казнен на гильотине в Монтбризоне.

⁴² Макарт Ганс (нем. Makart Hans; 1840–1884) – немецкий художник, представитель академизма, современник Г. Курбе, Г. Семирадского. Учился в Венской академии и Мюнхене у живописца-академиста Карла Пилоти. Создал картины на исторические и мифологические сюжеты. Наиболее известны «Смерть Клеопатры», аллегорический цикл «Пять чувств», графическая сюита «Пьесы Шекспира».

⁴³ Мазини Анджело (итал. Masini Angelo; 1844–1926) – итальянский оперный певец (тенор). Дебютировал в 1869 г., пел с большим успехом в Лондоне, Вене, Мадриде, Лиссабоне, Южной Аме-

рике, Москве, Варшаве. В Петербурге Мазини выступил в 1877 г. в Императорской итальянской опере и пел в ней до ее закрытия. После этого многократно посещал Петербург, принимая участие в спектаклях итальянской оперы Панаевского театра, Малого театра, «Аквариума». Богатый голос позволял ему братья за самые разнообразные партии: от графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике» до Рауля в «Гугенотах». Позже голос Мазини стал ненадежным на самых высоких нотах, но на остальных сохранил всю свою прелесть. Осмотрительно выбирая партии, подходящие к его голосу, Мазини покорял публику вплоть до начала XX века. Джузеппе Верди покровительствовал Мазини.

⁴⁴ Рембрандт Харменс ван Рейн (нидерл. Rembrandt Harmenszoon van Rijn; 1606–1669) – голландский живописец, рисовальщик, офортист, крупнейший мастер голландского искусства.

⁴⁵ Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) – российский живописец, мастер морского пейзажа.

⁴⁶ Репин Илья Ефимович (1844–1930) – живописец, график, педагог. Передвижник (с 1878 г.), представитель демократического реализма.

⁴⁷ Флобер Гюстав (фр. Flaubert Gustave; 1821–1880) – французский писатель, оказал влияние на развитие реализма в мировой литературе. В основе его поэтики было сближение художественного метода с объективными методами наблюдения, принятыми в естественных науках. Флобер исходил из представления о неизменном биологическом начале человеческой природы. Основные романы: «Госпожа Бовари» (1857), «Воспитание чувств» (1869), сатирический роман «Бувар и Пекюше» (издан в 1881 г., неоконченный), исторический роман «Саламбо» (1862). Автор исторической повести «Иродиада» (1877), драматической поэмы «Искушение святого Антония» (окончательная редакция опубл. в 1874 г.), а также пародийного «Лексикона прописных истин» (издан в 1910 г.).

⁴⁸ Фраза стала латинской поговоркой. Цицерон в «Парадоксах» (I, 1, 8) приписывает ее мудрецу Бианту – одному из легендарных семи мудрецов. Биант произнес эту фразу, когда его родной город Приена на мысе Микале (побережье Малой Азии) был взят неприятелем и жители в бегстве старались захватить с собой побольше вещей.

⁴⁹ Эмерсон Ральф Уальдо (англ. Ralph Waldo Emerson; 1803–1882) – американский философ, моралист, эстет, крупней-

ший поэт-романтик. Родоначальник трансцендентализма, развил идеи Шеллинга.

⁵⁰ Куинджи Архип Иванович (1841–1910) – российский живописец, передвижник с 1875 г. Руководил пейзажной мастерской Академии художеств в 1894–1897 гг. Занимался педагогической работой.

⁵¹ Галилей Галилео (итал. Galilei Galileo; 1564–1642) – итальянский ученый, один из основоположников точного естествознания, заложил основы механики.

⁵² Лавуазье Антуан Лоран (фр. Antoine Laurent de Lavoisier; 1743–1794) – французский химик, основоположник современной химии, основатель термохимии.

⁵³ Фарадей Майкл (англ. Faraday Michael; 1791–1867) – английский физик, основоположник учения об электромагнитном поле. Исследовал связи между электрическими и магнитными явлениями.

⁵⁴ Пастер Луи (фр. Pasteur Louis; 1822–1895) – французский ученый, основатель современной микробиологии и иммунологии. Открыл природу брожения, исследовал этиологию многих инфекционных заболеваний, создал метод профилактической вакцинации.

⁵⁵ Лессинг Готхольд Эфраим (нем. Lessing Gotthold Ephraim; 1729–1781) – немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик эпохи Просвещения, основоположник немецкой классической литературы. Он считал демократическую национальную культуру средством политического обновления Германии. Наиболее известное его произведение – трагедия «Эмилия Галотти» (1772).

⁵⁶ В Библии – две каменные плиты с десятью заповедями, врученные Богом Моисею на горе Синай.

⁵⁷ «Петербургская газета» – политическая и литературная газета, издавалась в Петербурге в 1867–1917 гг. С 1867 по 1871 г. газета выходила 3 раза в неделю, с 1871 г. – 4 раза, с 1878 г. – 5 раз, с 1882 г. выходит ежедневно. Основана в 1867 г. И. А. Арсеньевым. Сначала была мало распространена, но с 1871 г., когда была куплена С. Н. Худековым, приобрела обширный круг читателей. С 1871 г. газете был разрешен политический отдел. С 1879 по 1893 г. ее редакторами были И. А. Баталин, П. А. Монтеверде, А. К. Гермониус. С 1893 г. ее редактируют Н. С. Худеков и П. Ф. Левдик (временно). С 1895 г. к «Петербургской газете» бесплатно прилагался журнал «Наше время». В числе сотрудников газеты пользовались вниманием публики: публицисты – С. Н. Худеков, И. А. Баталин (Оса), П. А. Монтеверде (Амикус), А. Р. Кугель (Номо novus), А. А. Дьяков

(Юниус 2-й), беллетристы – Н. С. Лесков, С. Н. Терпигорев (Атава), В. Г. Авсеенко, И. И. Ясинский; юмористы – Д. П. Ломачевский и Н. А. Лейкин; поэты-юмористы – Д. Д. Минаев («Общий друг» и «Майор Бурбонов»), Г. Н. Жулев («Скорбный поэт» и «Дебютант»), Н. К. Никифоров («Боримир»); театральные и музыкальные критики – А. А. Плещеев и В. С. Баскин.

О любви

Впервые опубл.: Книжки «Недели». – 1897. – № 6. – С. 237–259; № 7. – С. 259–285; № 8. – С. 245–287; № 9. – С. 230–275; № 10. – С. 191–245; № 11. – С. 151–191; № 12. – С. 163–220. Под заглавием «Элементы романа». Каждый очерк имел свой подзаголовок и деление на разделы: № 6. «О поэзии». I–XI; № 7. «О высшем благе». I–IX; № 8. «О человеке-герое»; № 9. «О половой любви». I–XX; № 10. «О суевериях и правде любви». I–XXI; № 11. «О любви святой»; № 12. «Роман хорошего человека». I–XXII.

Повторно опубл. отд. изд.: Меньшиков М. О любви. – Спб., 1899. – 224 с.

Печатается по тексту повторной публикации.

¹ Анакреонт (древнегреч. Ἀνακρέων; 559–478 гг. до н.э.) – древнегреческий поэт. Для его творчества характерно легкое, беззаботное отношение к жизни, воспевание вина, чувственной любви, веселья. Среди русских переводчиков Анакреонта был Пушкин, который в шуточном стихотворении «Мое завещание друзьям» (1815) даже назвал его своим учителем.

² Пушкин А. С. Евгений Онегин. Глава 1, строфа IX, пропущенные строки (цит. по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 20 т. – М. – Л., 1937–1959. Т. 6. Евгений Онегин. – 1937. – С. 226, 546).

С. 226, черновые варианты IX главы:

Нас пыл сердечный рано мучит
И говорит Шатобриан:
Любви нас не природа учит
А первый пакостный роман –
Мы алчем жизнь узнать заранее
И узнаем ее в романе
[Лета] придут, а между тем

Не насладились мы ничем –
Прелестный опыт упреждая,
Мы только счастью вредим –
Незнание скроется, а с ним
Уйдет горячность молодая.
Онегин это испытал,
Зато как женщин понимал

(вариант: Не женщины любви нас учат / Мы узнаем ее в романе).

С. 546 беловые варианты IX главы:

Нас пыл сердечный рано мучит.
Очаровательный обман,
Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан.
Мы алчем жизнь узнать заранее,
Мы узнаем ее в романе
Мы все узнали, между тем –
Не насладились мы ничем.
Природы глас предупреждая
Мы только счастью вредим.
И поздно, поздно вслед за ним
Летит горячность молодая.
Онегин это испытал,
Зато как женщин он узнал

(вариант: Природы срок предупреждая / И после тщетно вслед за ним).

³ Грандисон (англ. Grandison) – герой романа С. Ричардсона «История сэра Чарлза Грандисона» (1754). Грандисон – добродетельный английский джентльмен, соперничающий в добродетели со своей невестой Гарриэт Байрон. «Грандисон» наравне с «Клариссой» того же автора входил в круг чтения Татьяны Лариной («Евгений Онегин»). По отзыву А. С. Пушкина, Грандисон «нам наводит сон». Критика обвиняла этого героя в отсутствии страстей. Это и послужило причиной неудачи образа и привело к неудаче романа.

⁴ Прево Марсель Эжен (фр. Prévost Marcel Eugène; 1862, Париж – 1941, Вианн, департамент Ло и Гаронна) – французский писатель. С 1909 г. – член Французской академии. Учился в католиче-

ских коллежах в Бордо и Париже, окончил Политехническую школу. Первый роман Прево «Скорпион» (1887, русск. пер. 1901 г.), рисующий нравы иезуитского коллежа, написан под влиянием Э. Золя. Автор любовно-психологических романов, сочетающих осуждение адюльтера и прославление христианского долга с эротическими сценами: «Мадемуазель Жоффр» (1889), «Осень женщины» (1893, русск. пер. 1893 г.), «Полудевы» (1894, русск. пер. 1895 г.; также одноименная пьеса, 1898), «Счастливая чета» (1901) и др. Позднее Прево выступал преимущественно как моралист: романы «Сильные девы» (т. 1, 2, 1900), «Письма к Франсуазе» (т. 1–4, 1902–1924). События Первой мировой войны 1914–1918 г. получили отражение в романах «Унтер-офицер Бенуа» (1916, русск. пер. 1916 г.), «Мой дорогой Томми» (1920).

⁵ Клопшток Фридрих Готлиб (нем. Klopstock Friedrich Gottlieb; 1724–1803) – немецкий поэт-лирик. Автор религиозной эпической поэмы «Мессиада» (т. 1–4, 1745–1773) в духе «Потерянного рая» Дж. Мильтона. Его творчеством начинался период высшего развития немецкой литературы XVIII в. Создатель иррационалистического течения в немецкой культуре нового времени, являлся кумиром молодых штурмеров. В 1774 г. опубликовал прозаическое сочинение «Немецкая республика ученых», в котором излагал свои мысли о поэзии, науке, религии.

⁶ Языков Николай Михайлович (1803–1847) – русский поэт, славянофил. Родился в помещичьей семье, в Симбирске. Отец — прапорщик Михаил Петрович Языков (1774–1836), мать – Екатерина Александровна Ермолова. Учился на философском факультете Дерптского университета (1822–1829). Дебютировал в печати в 1819 г. В 1826 г. гостил в Тригорском у А. С. Пушкина, который восторженно отзывался о стихах Языкова. Родовое имение поэта – село Языково Симбирской губернии. В сентябре 1833 г. проездом в Оренбург и обратно здесь бывал А. С. Пушкин. «Прибежищем поэзии» называли этот дом в первой половине XIX века, здесь неоднократно бывали декабрист В. П. Ивашев, поэт-партизан Д. В. Давыдов, писатель А. С. Хомяков. В 1831 г. вместе с П. В. Киреевским Языков начал собирать материалы по русской народной поэзии. Сблизился со славянофилами (семьей Аксаковых, А. С. Хомяковым). После пребывания за границей (с 1838 г.) в 1843 г. вернулся в Москву. В дерптский период творчества (1820-е годы) Языков создал самобытный, яркий и праздничный мир молодого раздолья

и вольнолюбия. Языков создал новый торжественный дифирамбический стиль «легкой поэзии». Самое известное произведение поэта – стихотворение «Ночь светла», ставшее романсом благодаря композитору Шишкину.

⁷ Барков Иван Семенович (1732–1768) – русский поэт, автор эротических, «срамных од», переводчик Академии наук, ученик Михаила Ломоносова, поэтические произведения которого пародировал.

⁸ Бодлер Шарль (фр. Baudelaire Charles; 1821–1867) – французский поэт.

⁹ Верлен Поль Мари (фр. Verlaine Paul Marie; 1844–1896) – французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма.

¹⁰ Ландскнехт (нем. Landsknecht, первоначально – «слуга страны», буквальный перевод, позднее в значении «пеший воин», «пехотинец») – немецкий наемный пехотинец эпохи Возрождения. Термин впервые был введен в употребление около 1470 г. Питером ван Хагенбахом, летописцем бургундского герцога Карла Смелого. Ландскнехты нанимались в основном из представителей низшего сословия (бедноты) в противовес рыцарям – дворянам, хотя последние нередко занимали посты высших офицеров в подразделениях ландскнехтов.

¹¹ Семирамида – царица Ассирии в конце IX в. до н. э., вела завоевательные войны, главным образом в Мидии. С именем Семирамиды традиционно ошибочно связывают сооружение «висячих садов» в Вавилоне – одно из семи чудес света (созданы в VI в. до н. э.). Ассирийское имя Семирамиды – Шаммурамат.

¹² Рибо Теодюль Арман (фр. Ribot Théodule; 1839, Генган – 1916, Париж) – французский психолог, родоначальник опытного направления во французской психологии.

¹³ Платон ((древнегреч. Πλάτων 438 или 427 – 348 или 347 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа, основавший (ок. 387 г.) в Афинах философскую школу, в рамках которой интенсивно разрабатывал диалектику – учение об идеях, развитии, наметил развитую впоследствии неоплатонизмом схему основных ступеней бытия.

¹⁴ Саади (между 1203 и 1210–1292) – персидский писатель и мыслитель, творивший во всех бытовавших на Востоке жанрах (любовная лирика – песни, газели, касыды, кита, а также послания-поручения, притчи). В произведениях ставил сложные религиозные,

философские и этические вопросы, проповедуя соответствующие образцы поведения. Представил жизнь, быт и практическую мудрость людей своей эпохи.

¹⁵ В греческой мифологии Филемон и его жена Бавкида отличались верностью и любовью до глубокой старости. За гостеприимство в их хижине в отличие от других жителей этого поселения Зевс и Гермес превратили их дом в храм, а супруги стали жрецами. Также боги наградили Филемона и Бавкиду долголетием и возможностью умереть одновременно. Ко времени смерти они превратились в деревья (Филемон – в дуб, а Бавкида – в липу), которые росли из одного корня.

¹⁶ Вулкан в древнеримской мифологии – бог разрушительно-го и очистительного пламени; позднее стал почитаться как защитник от пожаров, также ему приписывали способность на десять лет отсрочивать веления судьбы. Вулкан отождествлялся с древнегреческим богом-кузнецом Гефестом, но в мифологии Древнего Рима его связь с кузнечным делом не прослеживается, в то время как на Рейне и Дунае Вулкан отождествлялся с местными богами-кузнецами.

¹⁷ Хариты – в древнегреческой мифологии благодетельные богини, воплощающие доброе, радостное и вечно юное начало в жизни, женскую прелесть: Аглая (сияющая), Евфросина («благомыслящая»), Талия («цветущая»). Хариты представлялись в образе прекрасных девушек, соответствовали римским грациям.

¹⁸ Майя, богиня весны – в брахманизме и ведической религии имя богини, воплощающей иллюзорный мир. От санскритского «тауа» – иллюзия, кажущееся.

¹⁹ Цирцея, Кирка (греч. *Circe; Kirkh*) в древнегреческой мифологии – дочь Гелиоса и Персеи, волшебница, жила на о Эе (Эя), на который был заброшен во время своего странствия Одиссей. Цирцея обратила в свиней его спутников, а его самого удерживала на о. Эя в течение года.

²⁰ Феокрит (древнегреч. *Θεόκριτος*; конец IV – перв. пол. III в. до н. э.) – древнегреческий поэт, основатель жанра идиллии, в которой предметом любования становится простота и естественность незыскательного быта. Идиллии Феокрита положили начало европейской традиции буколической литературы.

²¹ Самсон – в Библии богатырь, который в течение 20 лет был судьей израильским, неустанно борющимся с окружавшими язы-

ческими народами, обладал необыкновенной физической силой, которая заключалась в его длинных волосах. Возлюбленная Самсона – филистимлянка Далила – остригла у него волосы во время сна и позвала филистимлянских воинов, которые ослепили его и заковали в цепи. В плену волосы у Самсона отросли вновь, он ощутил былую силу. Он разрушил храм, под развалинами которого погибли филистимляне и сам герой.

²² Мур Томас (англ. Moore Thomas; 1852) – поэт, песенник и автор баллад, писатель. Один из основных представителей ирландского романтизма. Судьба Ирландии – главная тема творчества Мура. Даже в образах его восточного романа «Лалла Рук» угадываются образы ирландских борцов за свободу, а в мотивах вставленных им в текст романа четырех поэм – ирландские мотивы.

²³ Алкивиад (древнегреч. Ἀλκίβιαδης; ок. 450–404 до н. э.) – древнегреческий политик и военный деятель, афинский стратег (с 421 г.), родственник Перикла, ученик Сократа. Возглавлял радикальное крыло афинской демократии, но впоследствии неоднократно менял свои политические взгляды.

²⁴ Ксантиппа (греч. Xanthippe) – жена Сократа, именем которой обозначают тип сварливой и взбалмошной супруги.

²⁵ Буфф Шарлотта-София-Генриетта (нем. Buff Charlotte-Sophie-Henriette; 1753–1828) – прототип Лотты в «Страданиях молодого Вертера» Гете. Буфф была второй дочерью судьи в г. Вецлар. Гете познакомился с нею в 1772 г. на сельском балу в Фольпертсгаузене, к этому времени Шарлотта в течение нескольких лет была негласно помолвлена с Иоганном Кристианом Кестнером, товарищем Гете. Чтобы не мешать этому браку, Гете выехал из Вецлара 11 сентября 1772 г. Ш. Буфф вышла замуж за Кестнера, который оставил мемуарную книгу «Гете и Вертер» (Штутгарт, 1855), где говорится о письме Гете супругам Кестнер. О встрече Гете с Ш. Буфф повествуется в книге Herbst "Goethe in Wetzlar" (Гота, 1881).

²⁶ Вероятно, Ральф Уальдо Эмерсон (1803–1882), автор трудов «Трактат о природе» (русск. изд. 1902 г.); «Опыты: критический очерк» (русск. изд. 1902–1903 гг.).

²⁷ Смит Адам (англ. Smith Adam; 1723–1790) – шотландский экономист и философ, представитель классической политэкономии. Автор книги «Теория нравственных чувств, или Опыт исследования законов, управляющих суждениями, естественно составляемыми нами, сначала о поступках прочих людей, а затем о наших собствен-

ных». В русском переводе П. А. Бибикова издано с приложением писем М. Кондорсе к Кабанису «О симпатии» (Спб., 1868).

²⁸ Йокай Мавр (венг. Jókai; 1825, Коморна – 1904) – венгерский романист. В 1894 г. был торжественно отпразднован его пятидесятилетний литературный юбилей.

²⁹ Шпильгаген Фридрих (нем. Spielhagen Friedrich; 1829–1911) – немецкий писатель. Ранний роман – «Загадочные натуры» (в 4 т., 1861). Наиболее известный роман – «Один в строю» (1866), русск. перев. «Один в поле не воин» (1867–1868). Писатель утверждает, что выдающаяся личность не может достичь успеха в преобразовании общества без опоры на массы. После 1870 г. в его романах преобладают сентиментально-морализаторские и мелодраматические тенденции («Бурный поток»; 1876). Социально-политические романы Шпильгагена были популярны в России во второй половине XIX в., особенно в народнической среде).

³⁰ Буа Жюль – французский писатель-мистик (конец XIX века). Писатель-мистик Жерар Папюс со Станисласом де Гуайтой (1861–1897) основал в 1888 г. Каббалистический Орден Розы и Креста. Созданный Орден Розенкрейцеров отождествил себя с Орденом Мартинистов. 2–15 мая 1891 г. Папюс принял участие в дуэлях между Станисласом де Гуайтой и писателем Жюлем Буа, препятствовавшим в печати обличению секты кармелитов. Жюль Буа был вовлечен в эту дуэль соперником де Гуайты, аббатом Булланом, являвшимся главой отделения секты Эжена Вентры «Труд Милосердия». Во время второй дуэли Папюс дрался с Жюлем Буа на саблях, однако оба противника только нанесли друг другу легкие раны. В дальнейшем между Папюсом и Жюлем Буа, поддавшимся ранее на ложь кармелитов, было заключено перемирие.

³¹ Де Мюссе Альфред (фр. Alfred de Musset; 1810, Париж – 1857, Париж) – французский поэт, драматург и прозаик, представитель позднего романтизма.

³² Леру Пьер (фр. Leroux Pierre; 1797–1871) – французский мыслитель, социальный философ и экономист, автор термина «социализм», основатель христианского социализма.

³³ Гильбер Иветта (фр. Guilbert Yvette; 1865, Париж – 1944, Экс-ан-Прованс) – французская певица и актриса кабаре «Прекрасной эпохи», модель.

³⁴ Отеро Каролина, сценический псевдоним “La Bell Otero” (1868–1965) – французская танцовщица и актриса, куртизанка.

Одна из самых знаменитых и богатых актрис Европы, соперничала с Сарой Бернар.

³⁵ Будда (563–483 до н. э.) – духовный учитель, основатель буддизма, жил в северо-восточной части Индийского субконтинента, создатель учения «Четырех Благородных Истин».

³⁶ Ману – в ведийской и индуистской мифологии древний мудрец, родоначальник человеческого рода. В пуранах и эпосе насчитывается 14 Маннов: 7 настоящих и 7 грядущих, от каждого из них ведет свой род человечество в соответствующий период (манвантару). Первым считается Манн Сваямбхува, сын Брахмы. Он считается автором законов Ману. Седьмой из Маннов, Вайвасвата, сын Вивасвата и божественной кобылицы Саранью, фигурирует в предании о всемирном потопе: во время омовения он случайно поймал маленькую рыбку, которая обещала спасти его от грядущего потопа, если он поможет ей вырасти. Рыба достигла огромной величины, по ее совету Вайвасвата построил корабль, привязал его к рогу рыбы, которая пригнала корабль к горе. Когда воды отхлынули, на опустевшей земле Вайвасвата принес богам жертву, из которой появилась девушка, ставшая женой Манна. В «Махабхарате» рыба являлась воплощением Брахмы, по другим преданиям, рыба – воплощение божества (аватара) Вишну.

³⁷ Зороастр (также Заратуштра от авест. *Zarathuštra* и перс. *Zarōštr*; греч. Зороамстр) – основатель зороастризма (маздеизма), религии древних персов, жрец и пророк, которому было дано Откровение Ахуры Мазды в виде книги Зендавеста (Авеста) – Священного Писания зороастризма.

³⁸ Конфуций (Кун-Цзы, реже Кун Фу-Цзы, латинизировано как *Confucius*; ок. 551, Цюйфу – 479 до н. э.) – древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство.

³⁹ В Библии Ветхозаветная книга (ок. III в. до н. э.) состоит из восьми глав и приписывается царю Соломону. «Песнь песней» – собрание отличающихся яркой поэтической образностью песен о любви. Оказала влияние на развитие лирической поэзии многих народов мира. Суламита – библейская Суламифь, возлюбленная царя Давида, героиня «Песни песней».

⁴⁰ Часть Ветхого Завета. Книга «Притчей» Соломоновых, сына Давидова: «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изре-

чения разума; усвоить привила благоразумия, правосудия, суда и правоты; простым дать смышленность, юноше – знание и рассудительность; (послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы); чтобы разуместь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их» (Притч. 1: 2–6).

⁴¹ Кронос – в древнегреческой мифологии один из титанов, сын Урана и Геи. Оскопив серпом отца, воцарился вместо него и взял в жены свою сестру Рею. По предсказанию Геи, его должен был лишиться власти собственный сын, поэтому Кронос проглатывал всех рождавшихся у Реи детей. Когда родился Зевс, Рея подменила младенца завернутым в пеленки камнем и укрыла его в надежном убежище. Возмужавший Зевс сверг отца и сбросил его вместе с другими титанами в тартар. Отождествляется с римским Сатурном. Изображается стариком с накинутым на голову покрывалом и с серпом в руке.

⁴² Уран – в древнегреческой мифологии божество, принадлежащее к самому древнему поколению богов, олицетворение неба, супруг Геи, вместе с ней породивший ор, нимф, титанов, киклопов, гигантов и др. Был свергнут сыном Кроносом.

⁴³ Ксенофонт (греч. Ξενοφών; ок. 430–355 или 354 до н. э.) – древнегреческий писатель и историк, придерживавшийся про-спартанских и антидемократических позиций. Известен простым и непринужденным стилем своих исторических сочинений. Внес в греческую историографию искусство литературного портрета. Основные произведения: «Анабасис», «Греческая история» (в 7 книгах), «Агесилай», «Киропедия».

⁴⁴ Федр (лат. Phaedrus; ок. 15 до н. э. – ок. 70 н. э.) – римский баснописец. Федр переложил традиционные басни Эзопа, сыграв роль посредника между древнегреческими баснями Эзопа и европейской басней (Лафонтен, Крылов).

⁴⁵ Эпиктет (греч. Ἐπίκτητος; ок. 50, Гиераполь, Фригия – 138, Никополь, Эпир) – древнегреческий философ-стоик, труды которого содержат моральную проповедь, где центральное место занимает тема внутренней свободы человека. Основное сочинение Эпиктета – «Беседы», записанные его учеником Аррианом.

⁴⁶ Аристофан (древнегреч. Ἀριστοφάνης; ок. 445 – ок. 385 до н. э.) – древнегреческий драматург, комедиограф, создатель древнегреческой комедии. Аристофан с недоверием относился к радикальной демагогии, увлекавшей городские низы, и к философии софистов.

⁴⁷ «Энеида» – произведение древнеримского писателя Вергилия, повествующее о мифологическом Энее – одном из главных защитников Трои во время Троянской войны, ставшем легендарным родоначальником Рима и римлян.

⁴⁸ Фома Кемпийский (голл. Thomas a Kempis; ок. 1380–1471) – нидерландский христианский писатель, более всего известный трактатом «О подражании Христу».

⁴⁹ Бэкон Фрэнсис Веруламский (англ. Bacon Francis; 1561–1626) – барон, английский мыслитель, лорд-канцлер при короле Якове I. **Основные сочинения** – «Новый органон» (1620), «О мудрости древних», утопия «Новая Атлантида».

⁵⁰ Мишель де Монтень (фр. Michel de Montaigne; 1533–1592) – французский философ, учение которого отличалось вольнодумством и своеобразным скептическим гуманизмом. Монтень боролся против схоластики и догматизма. Обращавшись к конкретным историческим фактам, быту и нравам людей, философ рассматривал человека как самую большую ценность. Основным сочинением Монтеня является философское эссе «Опыты» (1580–1588).

⁵¹ Паскаль Блез (фр. Blaise Pascal; 1623–1662) – французский математик, физик, религиозный философ и писатель, классик французской литературы, один из основателей математического анализа, теории вероятности и проективной геометрии, создатель первых образцов счетной техники, автор основного закона гидростатики. Перу Паскаля как религиозного писателя принадлежат сочинения: «Письма к провинциалу» (1656–1657 гг.), «Размышления г. Паскаля о религии и о некоторых других предметах» (1669 г.).

⁵² Катулл Гай Валерий (лат. Gaius Valerius Catullus; ок. 87 – ок. 54 до н. э.) – римский поэт, более всего известный циклом любовных стихов, адресованных женщине, скрытой под вымышленным именем Лесбия. Поэзию Катулла отличают непосредственность и сила чувства, а также разнообразие метрической структуры стиха.

⁵³ Корнель Пьер (фр. Corneille Pierre; 1606–1684) – французский драматург, представитель классицизма. Его пьеса «Сид» (1637) – первый образец классицистического театра.

⁵⁴ Спиноза Барух (Бенедикт) (голл. Spinoza Benedictus Baruch, фр. d'Espinoza; 1632–1677) – нидерландский философ, пантеист, сделавший центральным пунктом своей системы тождество Бога и природы, признав реальность бесконечно многообразных отдельных вещей, понимал их как совокупность модусов – единичных про-

явлений единой субстанции. Сочинения Спинозы: «Богословско-политический трактат» (1670), «Этика» (1677).

⁵⁵ Де Ларошфуко Франсуа (фр. François de La Rochefoucauld; 1613–1680) – французский писатель-моралист. Известен книгами, в которых в афористической форме переданы философские итоги наблюдений над природой человеческого характера. Основные произведения: «Мемуары» (1662), «Максимы» (1665).

⁵⁶ Де Шамфор Себастьян Реош Никола (фр. Sebastien-Roch Nicolas de Chamfort; 1741–1794) – французский писатель, мыслитель. Трагедия «Мустафа и Зеангир», книги «Максимы и мысли. Характеры и анекдоты».

⁵⁷ Де Вовенарг Люк де Клапье (фр. Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues; 1715–1747) – французский моралист.

⁵⁸ Стендаль (фр. Stendhal, наст. имя Анри Мария Бейль – Marie-Henri Beyle; 1783–1842) – французский писатель, один из основоположников французского реалистического романа XIX века. Создал трактат «О любви» (1822), о котором и говорит М. О. Меньшиков.

⁵⁹ Мантегацци Паоло (итал. Mantegazza Paolo; 1831–1910) – итальянский физиолог, патолог, антрополог. Автор книг по проблемам общей патологической физиологии, этнографическо-культурным проблемам сексуальности.

⁶⁰ Эмпедокл из Агригента (древнегреч. Ἐμπεδοκλῆς; ок. 490–430 до н. э.) – древнегреческий философ, поэт, врач, политический деятель; «корнями» всего сущего считал четыре вечных неизменных первоначала (землю, воду, воздух, огонь), а движущими силами – любовь (сила притяжения) и вражду (сила отталкивания), под действием которых космос то соединяется в единый бескачественный шар, то распадается.

⁶¹ Мирабо Оноре Габриель Рикети (фр. Mirabeau Honoré Gabriel Riqueti; 1749–1791) – граф, французский государственный и политический деятель времен Великой французской революции, депутат Генеральных штатов (с 1789 г.) от третьего сословия; выступая за конституционную монархию против абсолютизма, стал лидером крупной буржуазии; с 1790 г. – тайный агент королевского двора.

⁶² Рихард фон Крафт-Эбинг – см. примечание 36 к книге «Думы о счастье». С. 668.

⁶³ Пьеса В. Шекспира «Цимбелин», (“Cymbeline”), написанная приблизительно между 1609 и 1610 г. Была поставлена в 1611 г.

Опубл. в посмертном фолио 1623 г. В основе сюжета – вымышленная история из древних времен Британии.

⁶⁴ Рише Шарль Роберт (фр. Richet Charles Robert; 1850–1935) – французский физиолог, профессор медицинского факультета Парижского университета, автор исследований в области физиологии, экспериментальной психологии, нейрофизиологии, нейрохимии, проблем пищеварения, наркологии. В 1913 г. стал лауреатом Нобелевской премии в области медицины. Основные труды: «Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта» (Спб., 1885); «К вопросу о сомнамбулизме»; «Любовь: психологический этюд» (Спб., 1898); «Опыт общей психологии»; «Самозащита организма»; «Мысленное внушение и теория вероятностей» (труд отреферирован ученым-химиком А. М. Бутлеровым «Спиритический метод в области психофизиологии: Реферат статьи Ш. Рише о мысленном внушении» (Спб., 1885); «Люди-идиоты: будут ли люди как боги?»; «Опыт общей психологии»; «Умственные яды»; «Человек – царь животных: психологический этюд»; «Яды, действующие на сознание (алкоголь, хлороформ, гашиш, опиум и кофе)»; «Через сто лет» («Куда мы идем?») (Спб., 1893).

⁶⁵ Селимена – героиня комедии Ж.-Б. Мольера «Мизантроп», молодая красавица, возлюбленная Альцеста. Селимена – предмет обожания одного из главных героев комедии, молодого человека по имени Оронт.

⁶⁶ Кусков Платон Александрович (1834–1915) – религиозный философ-славянофил, поэт, переводчик, журналист, прозаик, литературный критик. Служил в Главном выкупном учреждении Министерства внутренних дел. В 1854 г. Кусков опубликовал свое первое стихотворение в журнале «Современник». В 1850–1860-х годах Кусков публиковал стихи и переводы в «Современнике», в журнале «Светоч» (1861 г.), а также сотрудничал в газетах «Русское слово» (1859 г.), «Время» (1861 г.), «Эпоха», где работал вместе с Ф. М. Достоевским, на которого оказал заметное влияние, по мнению В. В. Розанова: «Подозреваю я, что кое-что из его чувства Евангелия и истолкований его было навеяно на Достоевского (“Федор Достоевский”, никогда он иначе не называл), с коим он плечо о плечо работал около его “Времени” и “Эпохи”» (РГАЛИ. Ф. 419. В. В. Розанов. Ед. хр. 184. П. А. Кусков. Автограф. Л. 1). В 1861 по 1863 г. был активным участником редакционных собраний кружка «Время». В журнале «Заря» входил в почвенническо-славянофильский круг

вместе с А. А. Майковым и Н. Н. Страховым. По словам Розанова, Страхов называл Кускова «настоящим философом» (Там же. Л. 2). В «Заре» опубликовал перевод шекспировского «Отелло» (Заря. – 1870. – № 4) и часть драмы «Ромео и Джульетта» (1870 г.). Кусков являлся знатоком творчества Пушкина. В 1861 г. он опубликовал несколько фельетонов и рецензий в газете «Голос» А. Краевского. Как критик опубликовал работы «Нечто о нравственном элементе в поэзии» (Светоч. – 1861. – № 5); «Литературная истерика» (Время. – 1861 – № 7).

⁶⁷ Манон Леско – героиня романа А. Прево «История кавалера Де Грие и Манон Леско» (1731 г.).

⁶⁸ Впервые опубл. в журн. «Труд». – 1894. – № 10; с цензурными изменениями вошло в сборник Д. С. Мережковского «Новые стихотворения 1891–1895» (Спб., 1896. – С. 14) и в т. 22 Полн. собр. соч. в 24 т. (М., 1914. – С. 42). Строфа: «Эту заповедь в сердце своем напиши: / Больше счастья <Бога>, добра и себя самого / Жизнь люби, – выше нет на земле ничего. / Смей желать. Если хочешь – иди, согреси, / Но да будет бесстрашен, как подвиг, твой грех».

⁶⁹ Абельяр Пьер (Abélard, Abailard; 1079–1142) – французский философ, теолог и поэт; разработал в диспутах о природе универсалий схоластическую диалектику, характеризующуюся рационалистической направленностью, которая отражена в формуле: «Понимаю, чтобы верить». Абельяр написал автобиографическую «Историю моих бедствий», повествовавшую о трагической любви к Элоизе.

⁷⁰ Элоиза (ок. 1101–1164) – ученица и возлюбленная средневекового философа Пьера Абельяра, постригшаяся в монахини после того, как ее родственники совершили из мести расправу над Абельяром. В конце жизни являлась настоятельницей женского монастыря. Элоиза – героиня многих литературных произведений XVIII века, в том числе «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо.

⁷¹ Лейбниц Готфрид Вильгельм (нем. Gottfried Wilhelm von Leibniz; 1646–1716) – выдающийся немецкий философ, предтеча немецкой классической философии (развил в философскую систему учение о монадах), математик.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
--------------------------	---

РАЗДЕЛ I. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС	71
Чего забывать нельзя (1907. 4 января)	71
Великорусская партия I (1907. 8 мая)	76
Великорусская партия IV (1907. 21 июня)	83
Великорусская партия V (1907. 23 июня)	89
Великорусская партия VI (1907. 2 июля)	96
Великорусская партия VII (1907. 18 сентября)	102
Великорусская партия VIII (1907. 20 сентября)	109
I. Дружина храбрых (1907. 19 июня)	116
II. Дружина храбрых (1907. 7 июля)	123
Власть как право (1907. 21 августа)	129
Россия – прежде всего (1907. 1 ноября)	136
Чье государство Россия? (1908. 1 марта)	143
Письма к ближним. Как воскреснет Россия? (1908. 13 апреля)	149
Национальный союз (1908. 5 июня)	158
Национальное движение (1908. 18 июня)	165
Древние документы (по еврейскому вопросу) (1908)	171
Права на Кавказ (1909. 7 февраля)	181
Русское пробуждение (1910. 23 января)	188
Быть ли России великой? (1911. 26 февраля)	196

Великороссийская идея (1913. 5 сентября).....	205
Письма к ближним. Крайности сходятся (1916. 17 января).....	213
«Пророки» и держиморды (1916. 7 мая)	221
Письма к ближним. Золотое сердце (1916. 8 мая)	230
Америка и Россия (1916. 6 сентября)	238
Мрачные предсказания г. Милюкова (1916. 20 декабря).....	245
РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА, ПРАВОСЛАВИЕ	
И «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАВДА И ПРАВОСЛАВИЕ»	252
Совесьть и знание	252
Думы о счастье	271
Семья и общество	272
Народ.....	299
Природа.....	326
Труд	340
Цивилизация	361
Прогресс.....	392
Бог.....	418
О любви	424
О любовной страсти	426
Суеверия и правда любви	472
Любовь супружеская.....	544
Любовь святая.....	590
КОММЕНТАРИИ	623

Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 70 томов).

Редактор Л. А. Попенова
Корректор А. А. Полякова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 30.11.2011 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 33,7 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.